

*Памяти Сергея Анатольевича Старостина
(1953–2005)*

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Институт общественных наук
Школа актуальных гуманитарных исследований

Г. С. Старостин

(при участии А. В. Дыбо,
А. Ю. Милитарёва, И. И. Пейроса)

К истокам языкового разнообразия

*Десять бесед о сравнительно-историческом языкознании
с Е. Я. Сатановским*

|Издательский дом ДЕЛЮ|
Москва | 2015

УДК 81-115
ББК 81
С 77

Старостин Г. С. и др.

С 77 К истокам языкового разнообразия. Десять бесед о сравнительно-историческом языкознании с Е. Я. Сатановским. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. — 584 с.: ил. + цв. вкл. (8 с.).

ISBN 978-5-7749-1054-0

Книга, написанная в жанре диалога с представителями Московской школы компаративистики, представляет собой доступное изложение теоретических и методологических оснований, на которых оказывается возможной реконструкция древних праязыков, к которым восходит современное языковое разнообразие. Основная цель издания — доходчиво объяснить, чем реконструкция глубоких праязыковых состояний, таких как праиндоевропейский или прасино-кавказский, отличается от реконструкции более мелких праязыков, таких как праиндоевропейский; дать общую оценку перспективам развития сравнительно-исторического языкознания и роли этой дисциплины в ряду других наук о предыстории человечества; а также познакомить читателя с текущими результатами исторических исследований языкового разнообразия Земли.

УДК 81-115
ББК 81

ISBN 978-5-7749-1054-0

© Г. С. Старостин, А. В. Дыбо, А. Ю. Милитарёв, И. И. Пейрос,
Е. Я. Сатановский, 2015

© Ю. Б. Коряков, подготовка карт, 2015

© Институт общественных наук РАНХиГС, 2015

© ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2015

Содержание

<i>Е. Я. Сатановский</i> . Несерьезное предисловие	7
<i>Г. С. Старостин</i> . Серьезное предисловие	12
Беседа I. Введение в проблематику [<i>Собеседник — Г. С. Старостин</i>]	15
Беседа II. Как работает компаративист? [<i>Собеседник — Г. С. Старостин</i>]	63
Беседа III. Классификация языков и лексикостатистика [<i>Собеседник — Г. С. Старостин</i>]	129
Беседа IV. Ближнее и дальнее родство языков [<i>Собеседник — Г. С. Старостин</i>]	195
Беседа V. Ностратическая макросемья [<i>Собеседники — А. В. Дыбо, Г. С. Старостин</i>]	253
Беседа VI. Сино-кавказская макросемья [<i>Собеседник — Г. С. Старостин</i>]	313
Беседа VII. Афразийская макросемья [<i>Собеседники — А. Ю. Милитарёв, Г. С. Старостин</i>]	383
Беседа VIII. Языковое разнообразие в Африке [<i>Собеседник — Г. С. Старостин</i>]	409
Беседа IX. Языковые семьи Америки и Тихоокеанского региона [<i>Собеседники — И. И. Пейрос, Г. С. Старостин</i>]	455
Беседа X. Заключение. Глобальная перспектива [<i>Собеседник — Г. С. Старостин</i>]	503
Приложение 1. Персоналии	551
Приложение 2. Краткий обзор основных языковых макросемей мира	570
Указатель имен	578

Несерьезное предисловие

Инициатива наказуема. Любая и всегда. Если бы за два десятка лет до того, как книга, которую читатель держит в руках, была написана, автора настоящего предисловия не попросили бы помочь в одном, не слишком сложном, вопросе незнакомому с ним на тот момент московскому лингвисту Александру Милитарёву, он никогда не встретился бы с Сергеем Старостиным. Не узнал бы, что они профессионально занимаются исторической компаративистикой, которая представляет собой одно из наиболее перспективных направлений гуманитарных исследований в отечественной науке. Не подружился бы с ними и их соратниками и не начал бы в меру сил и возможностей поддерживать эту науку, которая его заинтересовала еще в ранней юности — спасибо журналу «Знание — сила». И много чего еще бы не произошло. В том числе не было бы этой книги.

В какой-то момент времени, в ходе выяснения, чего именно не хватает мэтрам, которые на тот период освоили Лейденский университет и Институт Санта-Фе, преодолев сопротивление консервативного западного академического истеблишмента, который вовсе не был готов рушить карьеры, построенные на общепринятых мифах, ради торжества объективной истины, стало ясно, что главное — это кадры. Те самые, которые решают все. Кадров этих в науке вообще и в компаративистике в частности большая нехватка. Особенно молодых. Дилетантов — пруд пруди. Интересующихся — без того, чтобы чему-то всерьез учиться, достаточно. А чтобы выучиться и двигать науку — это, как сказал бы Винни-Пух, совсем другие пчелы, которые делают совсем другой мед.

Соответственно, есть запрос академической общественности на пополнение кадров — есть отработанные методы пополнения рядов. Пишется

популярная книга. Интересная, легким хорошим языком, но профессиональная. Издается. А дальше все как на рыбалке. Прочел ее кто-то талантливый, загорелся, пришел (адрес понятен), разыскал кого надо (они все в книге обозначены) — и вот вам новое поколение ученых. Школа отечественной компаративистики выходит на следующий виток развития, процветает, и молодые гении при деле. Всем хорошо. Включая зарубежных коллег — из тех, кто во все это русское безобразие верит и продвигает его, несмотря и невзирая. Вроде Мюррея Гелл-Манна, который свою «Нобелевку» получил еще в 1960-е за кварки и Старостина со товарищи взялся поддерживать обеими руками. Благо с пониманием того, что есть настоящая наука, у него, одного из последних великих американских физиков, всегда все было в порядке.

Ну, дальше было как всегда. Пробовали писать так и эдак. Рассказывали обо всем, что хотелось бы описать, друзьям-журналистам. Сидели у них над душой и присылали им статьи из научных и популярных журналов. Результаты были мало впечатляющими — то есть практически нулевыми. После чего стало понятно: спасение утопающих...

То есть если Евгению Сатановскому по дружбе его с Сергеем Старостиным и Александром Милитарёвым позарез понадобилось, чтобы популярная книга о компаративистике появилась, это означало, что ему самому этим и заниматься. Так как к тому времени, как этот печальный факт стал окончательно ясен, ни один из помянутых джентльменов лично заниматься ею уже не мог: первый трагически рано ушел из жизни, а второй практически все свое время проводил далеко от Москвы.

Как все-таки добиться результата — а он есть, иначе бы читатель не держал в руках эту книгу, которая, будем надеяться, его увлечет и заинтересует, — подсказал случай. На глаза попалась изданная «АСТ» объемная беседа замечательного польского писателя-фантаста Анджея Сапковского с польским же журналистом Станиславом Бересем. И это был тот самый, необходимый для дела жанр. Ученым, как правило, популярные книги писать некогда. Айзек Азимов был абсолютным исключением. Зато рассказывать им ничего не мешает. Особенно при наличии заинтересованного и хоть как-то ориентирующегося в материале слушателя. После чего беседы нужно только расшифровать, распечатать, отредактировать и издать. Всего-то дел...

Ученые были. Ориентирующийся в материале слушатель был — он настоящие строки и пишет. Времени было более чем достаточно — все прочее было испробовано, заняло ряд лет и результатов не дало. Денег на техническое сопровождение... Тот самый случай, когда снявши голову по волосам не плачут. Их на академические проекты к тому времени ушло столько — приличный завод можно было построить. Соответственно, процесс пошел. И лет за пять получилась книга. Половину из этого срока беседовали и расшифровывали. За что огромное человеческое спасибо Георгию Старостину, Анне Дыбо, Илье Пейросу и Александру Милитарёву — их рассказы были увлекательны и дали прочную основу для дальнейшей работы. Потом все, что было изложено, дополнил и отредактировал Георгий Старостин — титанический труд, исключительно благодаря которому книга собственно и стала книгой. Что в результате получилось — судить читателю.

Автор настоящего предисловия на своем веку сам написал десяток книг — большей частью популярных. Издал в Институте Ближнего Востока почти три сотни сборников и монографий, несколько десятков которых лично редактировал. И в качестве руководителя комитета по высшему образованию и науке Российского еврейского конгресса поддержал издание нескольких сотен академических трудов, которые вошли в золотой фонд науки — благо посты председателя совета директоров, вице-президента и президента РЕК, которые он занимал, этому способствовали. Но книга, которую читатель держит в руках, особенно дорога ему — в первую очередь, из-за Сергея Старостина, который был ее вдохновителем.

Гениев среди близких знакомых, коллег и друзей автора было много — так получилось. Нобелевские лауреаты — физики и математики, великие писатели и знаменитые артисты, государственные деятели и полководцы, религиозные иерархи и миллиардеры... Такого как Старостин не было. Общаться с ним было все равно что быть накоротке с Колумбом, Ливингстоном или Эйнштейном — притом что более легкого и энергичного жизнелюба было поискать. Он ориентировался в языковом море, как полинезийский мореплаватель в океанских течениях. Отлично разбирался в музыке и в компьютерных науках. Знал, как устроен мир, и объездил множество стран — благо любой незнакомый ему язык осваивал с потрясающей легкостью. Полиглоты — вообще особая порода людей.

При этом он буквально лучился позитивом — со своей вечной иронией, нелюбовью к официозу и весело блестящими за стеклами очков слегка прищуренными глазами. Даже на присуждение ему звания члена-корреспондента Российской академии наук он пришел в джинсах — академики вздрогнули, но смолчали. Хотя, будем придерживаться фактов, когда его чествовали в Лейдене, на него все-таки надели мантию и докторскую скуфейку. Ну, европейцы — что с них взять. Однако чего там не было — напыщенности.

Заслуг у него было — как у десятка академических институтов. Однако главным достоинством в науке он почитал коллективную работу и был настоящим лидером команды, которая без него, скорее всего, в таком составе никогда бы не собралась — не говоря уже о прорыве на тот уровень, который он в Европе и Соединенных Штатах для российской компаративистики обеспечил. В том числе потому, что бывших советских ученых разбросало по всему свету, от Австралии до Израиля — и именно Старостин вновь объединил их вокруг Московской школы.

Отличный друг и отец — сегодня его академическое наследство, проект «Вавилонская башня», продолжает блестяще разрабатывать его сын, Георгий Старостин. С. А. Старостин умер в один миг, молодым: полвека не возраст. Просто упал после лекции в РГГУ — отказало сердце. Как там говорили древние греки про то, что боги забирают молодыми тех, кого любят? Потом было все, что бывает обычно. Огромная толпа пришедших проститься с ним в крематории. Поминки, на которых вокруг стола потерянно бродила добрая старенькая, с мягким плюшевым мехом лайка. И комок в горле, который остался до сих пор.

Он лежит на Донском кладбище, недалеко от крепостной стены монастыря, под старыми деревьями — один из самых выдающихся ученых-гуманитариев конца XX века. Может быть, величайший в своем поколении. Каждый год в Москве собираются на конференции его имени — «Старостинские чтения» — компаративисты со всего мира. Его дело продолжают — что может быть более достойным памятником? Хотя куда лучше было бы, если бы он занимался им сам. И для науки. И для его близких и родных. Но так не бывает — он сам это знал. Памяти Сергея Старостина, гения и весельчака, открывателя новых дорог, и посвящена эта книга.

Историки, археологи и палеонтологи изучают прошлое, каждый по-своему — об этом знают школьники и студенты. Генетика, этнография и палеоботаника предоставляют другие возможности. Компаративистика — на стыке лингвистики и математики, как любая наука, открывающая дверь в минувшие эпохи, немного напоминает жанр детектива. Тем более что сведения, которые она позволяет получить, как правило, невозможно добыть никаким иным путем. Человеку же, как правило, свойственно любопытство. Именно оно гонит за моря и океаны путешественников и охотников за растениями, собирателей коллекций и любителей древностей, геофизиков и геологов, полярников и альпинистов, в каждом из которых есть что-то от ребенка и что-то от авантюриста.

Гарантий никаких: может не повезти. После чего в лучшем случае провалится теория, будет раскритикована диссертация, перестанут финансировать исследования спонсоры. А в худшем... Корабль уйдет на дно, накроет лавина или экспедиция исчезнет — в джунглях, тундре, пустыне, на просторах океана или в антарктических льдах, все равно. Но люди идут по свету, отправляются в космос, ныряют в глубины или проводят годы жизни за рабочим столом, открывая новые миры — один за другим. Эта книга — дверь в мир столь же необычный, сколь малоизвестный широкой публике. Мир безумно интересный, хотя пишут и говорят о нем преимущественно дилетанты. Первая книга о компаративистике, созданная лучшими профессионалами в этой науке. Доброй охоты, читатель!

*Евгений Сатановский,
президент Института Ближнего Востока*

Серьезное предисловие

Тексты, которые мы предлагаем ниже вниманию читателя, — результат небольшой редакторской обработки десяти научных бесед, в ходе которых ученые — представители так называемой Московской школы компаративистики частично как бы интервьюировались Е. Я. Сатановским, частично уходили в свободное монологическое плавание, стараясь, впрочем, не отплывать чересчур далеко от основной темы беседы: лингвистической компаративистики (она же — сравнительно-историческое языкознание). Общая цель всех бесед всегда была одной и той же: попытаться, насколько это вообще возможно, «на пальцах» раскрыть основные цели, задачи, методы, достижения этой дисциплины, в зоне ответственности которой, по сути, оказывается каждый человек, как только он задает невинный вопрос: «а почему мы говорим именно так, а не иначе?..»

Впрочем, перед собеседниками Е. Я. Сатановского стояла и более сложная задача. Надо было не только объяснить, что такое компаративистика и как она помогает восстанавливать историю языков, выходящую далеко за пределы письменной эпохи, но и затронуть поистине взрывоопасный вопрос о том, каковы *пределы* этой дисциплины — насколько глубоко в языковое прошлое может проникнуть компаративист? Можно ли с помощью сравнительно-исторического метода «припасть к истокам» Языка как такового? Где заканчивается научный метод и начинается чистая интуиция, грозящая перейти сначала в околону научную фантазию, а затем в антинаучное безумие? Существует ли на этот счет консенсус в лингвистическом сообществе, и если нет, то почему? Что вообще сегодня делается интересного и перспективного в этой области? На все эти вопросы отвечает уже не компаративистика в целом, а скорее ее самая «мудреная» (и самая спорная) область — *макрокомпаративистика*, направление, являющееся одним из ключевых «ноу-хау» Московской школы; именно

беседам о макрокомпаративистическом направлении, сразу после нескольких вводных глав, и будет посвящена основная часть этой книги.

Так сложилось, что в качестве основного собеседника Е. Я. Сатановского на протяжении бóльшей части книги пришлось выступать автору данного предисловия — что почти наверняка накладывает отпечаток субъективного подхода на те или иные аспекты изложения материала и оценочные суждения, и за это у читателя приходится заранее просить прощения; в свое оправдание скажу лишь, что перед тем, как оказаться в печати, текст книги побывал в руках не у одного представителя Московской школы, и это помогло избавиться от ряда досадных неточностей и ошибок, почти неизбежных в формате устной беседы и требующих дотошной редактуры. Особую благодарность хочется выразить двум из наших собеседников — А. Ю. Милитарёву и И. И. Пейросу, а также М. А. Живлову, взявшим на себя труд просмотреть весь текст и избавившим его от ряда грубых «ляпов».

В качестве базового формата книги мы решили сохранить живой диалог, то есть публикуется она *примерно* в том же виде, в котором беседы с Е. Я. Сатановским сначала записывались на диктофон, а затем расшифровывались. Таким образом, любой из наших читателей сможет как бы поставить себя на место интервьюера, «вжиться» в беседу — что, может быть, весьма немаловажно для популярного изложения столь сложных материй. Насколько это возможно, мы старались выстроить наше изложение так, чтобы оно было понятно читателю, за плечами которого нет специального лингвистического образования — хотя, конечно, нет гарантии, что нам удалось сделать это на 100% (попробуйте «на пальцах» объяснить высшую математику младшекласснику! а уровень лингвистического образования даже в старшей школе, увы, у нас зачастую сопоставим с уровнем, не дотягивающим до трех классов арифметики).

К счастью, популярной литературы по общей теории языкознания все-таки сегодня выходит несколько больше, чем по компаративистике, так что будем надеяться, что это не очень серьезная проблема. К тому же по ходу изложения книга сопровождается многочисленными сносками, в которых даются ссылки на дополнительную литературу по теме — как специализированную, так и, наоборот, рассчитанную скорее на массового читателя.

Несмотря на более или менее свободное течение диалогов (или триалогов), книга в целом, как и положено книге, организована, на наш взгляд, достаточно логично. Первые три главы («беседы») — это своеоб-

разное «введение в проблематику», которое должно дать общее представление о том, что такое компаративистика, каковы ее методы, как отличить научный подход к истории языка от ненаучного и т. п. В четвертой главе вводится представление о макрокомпаративистике — учении о дальнем родстве языков. Главы с пятой по девятую посвящены конкретным макрокомпаративистическим исследованиям — гипотезам о гигантских языковых макросемьях, объединяющих сотни, а иногда и тысячи языков, которые могли за промежуток в 10–20 тысяч лет развиться из очень небольшого количества праязыков. Наконец, в последней, обобщающей, главе мы позволим себе вкратце обсудить популярный вопрос о «праязыке человечества» — вопрос, на который, как мы постараемся показать, нет и не может быть легкого ответа.

Хотелось бы надеяться, что наша книга хотя бы отчасти, наконец, закроет собой нишу, до сих пор пустовавшую на рынке научно-популярных изданий. Действительно, качественной популяризаторской литературы по историческому языкознанию у нас почти не выпускается, а по макрокомпаративистике — не выпускалось вообще нигде и никогда, ни у нас, ни на Западе: почему-то эти темы считаются то ли чересчур эзотерическими, то ли чересчур сложными для «обычного» читателя (хотя, казалось бы, куда им по сложности и эзотеричности до вполне себе раскупаемых бестселлеров Стивена Хокинга?). Лакуна эта, к сожалению, легко заполнима различными сочинениями безумно-дилетантского характера (от «языка древних русов», на котором говорили наши предки двадцать или сто тысяч лет назад, до попыток «разгадать праязык человечества» в древнеегипетской или древнешумерской письменности), и тем важнее, наконец, предоставить читателю хотя бы какую-нибудь возможность здоровой альтернативы. Конечно, любая «здоровая альтернатива» будет почти неизбежно носить более скучный, педантичный характер по сравнению с завлекательной игрой фантазии, не стесненной рамками каких-либо правил или методов. Но не стоит забывать простой мудрости — «истина горька, но плоды ее сладки».

Георгий Старостин,
лингвист

Беседа I. Введение в проблематику [Собеседник — Г. С. Старостин]

Е. Сатановский: *Начнем, пожалуй, с самого начала. Как специалист по сравнительно-историческому языкознанию скажите, по Вашему мнению, с какой конкретной детали лучше всего начать разговор о том, что это такое — сравнительно-историческое языкознание, и о том, как оно помогает разобраться в вопросах родства языков?*

Г. С.: По-видимому, начать надо с ответа на не самый простой вопрос — что вообще мы имеем в виду под «языковым родством»?

Языков в мире, как известно, очень много — на сегодняшний день насчитывается порядка шести-семи тысяч. В последней версии международного лингвистического каталога «Этнолог»¹ приводится цифра в 7106 единиц, но абсолютной точности здесь быть не может, потому что не существует единого строгого критерия, который позволял бы определить, где кончаются *диалекты*, то есть региональные варианты, одного языка и начинаются, собственно говоря, разные *языки*. Если принимать во внимание диалектное разнообразие языков — а практически любой язык, число носителей которого переваливает, скажем, тысяч за десять человек, делится на диалекты, — эти семь тысяч языковых единиц легко превратятся в семьдесят. Помимо этого, сколько языков *вымерло* за время существования Языка как такового — твердо не знает никто. Это могут быть еще десятки тысяч единиц.

В социологическом плане языки бывают разные — крупные, с миллионами носителей, или мелкие, на которых говорят от силы сто-двести человек в одной маленькой деревне где-нибудь в джунглях или в горной

¹ Ethnologue: Languages of the World (www.ethnologue.com).

местности. Бывают письменные, с длительной литературной традицией — но их очень мало на фоне бесписьменных, большая часть которых была записана исследователями только в XIX–XXI веках, в специально разработанных для этого системах фонетической транскрипции. Бывают языки, которыми занимаются тысячи ученых по всему миру, а бывают такие, про которые даже ученым ничего до сих пор достоверно не известно, кроме разве что самого факта их существования.

Откуда берется такое разнообразие? Почему языков в мире сегодня семь тысяч, а не один или два? И — связанный с этим вопрос: насколько существенно все эти шесть тысяч отличаются друг от друга? Ведь если языков так много, то, даже не будучи знакомым ни с одним языком, кроме своего родного, можно усомниться в том, что любые два произвольно взятых языка будут отличаться друг от друга в такой же степени, как любые два других. При сравнении (даже чисто любительского характера) одни языки окажутся «ближе» друг к другу, другие — «дальше»; почему?

Конечно, о том, что в языках, помимо *различного*, есть и очень много *сходного*, люди знали очень давно. Даже древние греки, считавшие свой родной язык верхом совершенства, а все остальные языки — «варварскими», признавали наличие таких сходств, например, с латинским языком, на который, после того как Греция вошла в состав Римской державы, эллинистическим грамматистам поневоле пришлось обратить внимание. Любой русский человек, прилежно изучающий английский, французский или любой другой европейский язык (кроме немногочисленных исключений, таких как венгерский или баскский, — почему, мы узнаем позже), также увидит между этими языками и своим родным немало общего. «Похожими» могут быть и какие-то общие *структурные* черты языков — например, общее устройство системы звуков или грамматики — и какие-то конкретные *формы* в сравниваемых языках, скажем, отдельные слова или части слов (грамматические показатели: приставки, суффиксы и т. п.).

Так, если мы обращаем внимание на то, что и в русском, и в английском есть три степени сравнения прилагательных (русск. *большой, больше, самый большой / наибольший* — англ. *big, bigger, biggest*), это пример *структурного* сходства: само по себе устройство одно и то же, а конкретные способы образования степеней сравнения в каждом из двух языков свои собственные. А вот то, что, например, русское слово 'нос' по-

английски звучит как *nose* [ноуз] — это уже сходство на уровне *формы* (два слова с одинаковым значением имеют при этом почти одинаковое звучание).

Каждое из таких сходств само по себе может быть *случайным* (если оно в сравниваемых языках появилось независимо друг от друга, в ходе различных исторических процессов) или *неслучайным*. «Неслучайность» сходства, в свою очередь, в подавляющем большинстве случаев объясняется двумя причинами:

1. **Общее происхождение** — все или хотя бы некоторые из языков, между которыми сходство прослеживается, унаследовали его от общего «языка-предка», из которого они развились.
2. **Контактное происхождение** — один язык мог позаимствовать эту черту или форму из другого (или же оба могли позаимствовать ее из третьего источника), притом что общего «языка-предка» у них могло и не быть.

В нашем примере сходство между русским *нос* и английским *nose* — это неслучайное сходство, которое специалисты объясняют общим происхождением из единого «языка-предка» — праиндоевропейского. Сходство между английским словом *shopping* и современным русским *шопинг* — разумеется, контактное: это очень недавнее заимствование в русский из английского. А вот, например, сходство между английским *bad* ‘плохой’ и русским *беда* — по всей видимости, случайное. Но чтобы понять, на каких основаниях лингвисты делают выбор в пользу одного из этих трех решений, нужно очень внимательно вникнуть в стандартную методику их работы.

И какое впечатление обычно производят на людей обнаруженные сходства (если они их таки обнаруживают)?

Г. С.: Даже минимальный опыт работы показывает, что сходные одновременно по форме (то есть звуковому составу) и по значению слова можно обнаружить между любыми двумя языками мира. Человек, который ничего не знает ни про элементарную статистику, ни про теорию

вероятностей (особенно применительно к языкознанию) и к тому же не имеет опыта серьезной работы с разными языками мира, может очень легко подпасть под пагубное «обаяние» таких сходств — и заразиться идеями, которые лично ему, может быть, покажутся революционными и в то же время едва ли не самоочевидными, но которые профессиональные лингвисты при этом отвергнут с порога и будут иметь на то веские основания.

Можно попытаться «доказать» таким образом общее происхождение русского языка и арабского, английского и гавайского, грузинского и майя и т. д. — достаточно посмотреть на любую «работу» чрезвычайно расплодившихся в последнее время языковедов-любителей (конкретных имен называть не будем, чтобы не создавать дополнительной рекламы; некоторых удастся с прямо-таки завидной регулярностью застать на телевизионных каналах или в массовой прессе типа «Комсомольской правды»).

Но действительно ли верно, что случайные сходства между похожими по звучанию и значению словами можно найти где угодно?

Г. С.: Давайте проведем тривиальный эксперимент. Возьмем совершенно произвольно взятый язык — выберем его случайным образом, например из общего компьютеризированного каталога языков мира «Этнолог» путем слепого нажатия клавиши. Допустим, таким языком оказался африканский язык гуде (чадская ветвь афразийской макросемьи), на котором говорит около 100 000 человек в Нигерии. Откроем его словарь¹ на первую же согласную букву (b) и посмотрим, есть ли там слова, «похожие» на русские. Конечно же, есть — и немало:

Гуде	Русский
bəəgə 'думать, размышлять'	выбирать, разбираться, подбирать (решение)
bələra 'простуда'	болеть, болезнь
bəlamə 'запинаться'	болтать, балаболить
bəlakaya 'хвалебная песнь'	былина
bəlha 'ухаживать'	баловаться, баловник

¹ Hoskison J. T. A Grammar and Dictionary of the Gude Language. Ohio State University, 1983.

bərai 'два'	пара
bəgəbəra 'пыль'	буря, буран
bəgəda 'прыгать на одной ноге'	бродить
bəgəkwa 'небольшой курятник'	барак
bəgyanga 'вид кустарника'	бурьян

Конечно, степень сходства между всеми этими парами может быть разной. И значение, и звучание в одних случаях покажутся «ближе» друг к другу, в других — немного «дальше». Но, во-первых, никаких объективных «запретов» на то, чтобы в ходе языковой эволюции постепенно развились именно *такие* различия в звучании и значении, нет. Ни один лингвист-профессионал, глядя на любой отдельно взятый пример из этой таблицы, не скажет: «Такое сходство может быть *только* случайным, развитие из общего источника здесь абсолютно исключено». Во-вторых, все эти сходства были обнаружены при просмотре менее чем *одной* страницы из 150-страничного словаря языка гуде. Можно себе представить, сколько их будет выписано, когда мы дойдем до конца словаря!

Доказывает ли это общее происхождение гуде и русского? Разумеется, нет. Ведь язык гуде был выбран абсолютно произвольно. Вряд ли, ткнув пальцем в небо, мы совершенно случайно получили сенсационный результат. Точно такой же трюк легко воспроизведет каждый из наших читателей, сняв с полки или открыв в Интернете словарь любого другого языка.

Но, может быть, это доказывает родство всех языков со всеми, их происхождение из единого источника? И на это единственно возможный ответ — ни в коем случае! Здесь на помощь приходит самая элементарная теория вероятностей.

На самом деле число возможных типов звуковых комбинаций в языках мира очень ограничено. Корни слов — основные «носители» значения — обычно состоят не более чем из 3–4 звуков (фонем), причем общее число разных звуков, которое в каждом конкретном языке служит для различения смысла, как правило, не превышает 40–50. Если же внутри

этого множества звуки еще и объединять в подмножества, элементы которых тесно связаны друг с другом (например, «парные» глухие и звонкие согласные), и сравнивать не только *б* с *б*, но и *б* с *п*, не только *д* с *д*, но и *д* с *т* и т. д.; если при этом еще и не обращать или почти не обращать внимания на гласные, которые, как хорошо известно лингвистам, в целом менее устойчивы к звуковым изменениям, чем согласные, то получится, что «звуковых костяков», которые можно сравнивать друг с другом, в отдельно взятом языке в среднем будет насчитываться всего около сотни. Почему? Очень просто. Структура чистого корня чаще всего — «согласный + гласный + согласный» (как в русском: *рук-а, ног-а, бег-ать, нос-ить* и мн. др.). Выкинув из сравнения «неустойчивые» гласные, остаемся с двумя согласными. 40–50 согласных звуков можно разбить примерно на десять классов, внутри каждого из которых живут «очень похожие» звуки. Помножим десять на десять (потому что в корне в среднем два разных звука) — получаем сто. (Разумеется, это *очень* грубая прикидка, но в данном случае вполне позволительная).

Получается, таким образом, что для *любого* значения случайная вероятность того, что оно будет в языке выражено определенным «звуковым костяком», — примерно одна сотая. Следовательно, случайная вероятность того, что один и тот же звуковой костяк будет выражать это значение в *двух* языках — $(0,01)^2 = 0,0001$, то есть в среднем на десять тысяч значений мы можем ожидать одно «полное» совпадение.

Но это — при том условии, что значения полностью совпадают (то есть сопоставляются не ‘дерево’ и ‘куст’ или ‘думать’ и ‘решать’, а только ‘дерево’ с ‘деревом’ и ‘думать’ с ‘думать’). А как быть, если мы принимаем во внимание слова с *похожими*, но не обязательно совпадающими значениями?

Представим себе, что каждое слово, которое в языке А обладает одним значением, теоретически можно сравнить в среднем с сотней слов в языке Б, обладающих похожими значениями (и это не предел — то же ‘дерево’ можно сравнить не только со ‘стволом’, ‘кустом’, ‘дровами’, ‘древесиной’, ‘кроной’ и т. п., но и с многочисленными названиями конкретных деревьев; а глагол ‘думать’ можно спокойно сравнивать с ‘знать’, ‘понимать’, ‘решать’, ‘планировать’, ‘чувствовать’, ‘соображать’, ‘считать’, ‘верить’, ‘полагать’ и мн. др.). Это уже означает, что

похожих слов между нашими двумя языками будет не одно на десять тысяч, а по крайней мере одно на *сотню* — значит, в словаре любого языка, содержащего 10 000 слов, мы найдем по меньшей мере сто слов, обнаруживающих сходства с любым другим языком.

Повторимся — набросанная здесь, так сказать, «на пальцах» модель чрезвычайно упрощенная и к тому же минималистская: на самом деле нам только что удалось обнаружить 10 «русско-гуде» сходств на примерно 50 просмотренных слов из словаря гуде, то есть в двадцать раз больше (!), чем в описанной модели. (Это не означает, что мы превысили порог случайности — просто мы не ввели в модель еще несколько усложняющих факторов, таких как, например, неравномерное распределение слов в языке по «звуковым костякам» и т. п.)

Итак, табличка «русско-гуде» сходжений, которую мы здесь выписали, не только не может сама по себе служить доказательством какой-либо общности этих языков — ее данные вообще нельзя рассматривать даже как «минимально значимый», «косвенный» аргумент в пользу такой общности.

Каким же образом тогда можно отличить случайные сходства между языками от неслучайных? Может быть, вообще любые сходства — случайные?

Г. С.: Разумеется, не любые. На протяжении всего хода истории новые языки образовывались своего рода «почкованием». Чем больше географическая площадь, заселенная носителями одного языка, тем выше вероятность, что на разных концах этого пространства язык начнет изменяться по-разному. В результате со временем из одного языка (он будет называться *праязыком*) получится сначала два-три (они будут называться языками-*потомками*), затем — в перспективе — сколько угодно. Те сходства, которые в языках-потомках остаются как «унаследованные» от праязыка, — безусловно, неслучайные.

То, что в русском языке слово 'небо' звучит точно так же, как в нигерийском языке нде (*nebo*), — случайность. А то, что оно звучит так же, как словацкое *nebo*, — неслучайно: это отражает общее происхождение этих слов из праславянского источника. (Впрочем, если уж соблюдать аккуратность, то на самом деле общее происхождение у словацкого *nebo*

с русским словом 'нёбо' = 'верхняя часть ротовой полости', '«небо» рта'; 'небо' в русском языке — более поздний церковнославянизм.)

Но умение отличать случайные сходства от неслучайных, а внутри неслучайных еще и проводить грань между сходствами, обусловленными общим происхождением от одного праязыка, и сходствами контактного характера — такое умение появляется у лингвиста-компаративиста вовсе не в ходе гадания на кофейной гуще и не через «внезапное прозрение». Само существование сравнительно-исторического языкознания как *научной* дисциплины в первую очередь зависит от того, есть ли в этой дисциплине строгий *научный метод*, с помощью которого можно копаться в языковой истории.

Не вооружившись предварительно таким *методом*, можно сколько угодно рассуждать о том, какие языки родственны каким другим, какими путями шло распространение языков по планете, какие языки «древнее», а какие «моложе» — все такие разговоры ни к чему не приведут. А как выглядит научный метод применительно к сравнительно-историческому языкознанию? Да точно так же, как и применительно к любой другой науке — объективное логическое рассуждение, проводимое на базе *наблюдений* над языковым материалом (к сожалению, вторая важнейшая составляющая научного метода — «эксперимент» — к компаративистике неприменима, так как для того, чтобы такой «эксперимент» провести, обычно требуется временной отрезок хотя бы в одну-две тысячи лет).

Итак, *сравнительно-историческое языкознание* — это наука, изучающая *сходства*, унаследованные языками от их общего предка или приобретенные в ходе «языкового обмена», и *различия*, возникшие в языках, произошедших от общего предка, за время их самостоятельного развития. «Научность» же этой дисциплины обуславливается тем, что в основе как сходств, так и различий между языками лежат определенные *законы* (не знающие исключений) и *тенденции* (измеряемые статистически) языкового развития — явления, поддающиеся наблюдению и описанию в рамках классического научного метода.

А для чего вообще нужно изучать эти сходства и различия? Каковы конечные цели, которые ставит перед собой лингвистическая компаративистика, и какое они имеют значение для человека?

Г. С.: «Конечную цель» компаративистики можно сформулировать очень просто. Если она способна открывать законы, которые определяют изменение языка, знание этих законов помогает восстанавливать историю языков — то далекое языковое прошлое, которое ни одна другая наука раскрыть и описать не в состоянии, поскольку ни в каких письменных памятниках оно не зафиксировано. Идеально-максималистская цель компаративистики — *проследить языковое многообразие планеты вплоть до того праязыка, от которого есть пошли все сегодняшние языки*. В то, что эта цель достижима, верят далеко не все компаративисты, и основания у такого скепсиса, безусловно, есть (в дальнейшем мы еще не раз вернемся к этой теме). Но даже самые заядлые скептики на сегодняшний день не доказали и обратного — что цель эта не может быть достигнута в силу каких-то непреодолимых теоретических препятствий.

Разумеется, в современном мире, озабоченном в первую очередь вопросами практической применимости знаний, сравнительно-историческому языкознанию, которое еще сто лет назад находилось чуть ли не в самом авангарде «гуманитарных» наук, приходится нелегко. Действительно — по большому счету, кому какая разница, как устроено генеалогическое дерево языков в какой-нибудь Новой Гвинее? Или как звучали слова ‘я’ и ‘ты’ на языках эпохи раннего неолита? Или сколько все-таки было у человечества изначальных праязыков — один, два, или много? Каким образом ответы на эти вопросы — даже при условии, что на них действительно можно получить ответы, близкие к истине, — могут помочь нам решить насущные проблемы?

Наверное, понять важность работы компаративиста будет проще, если провести аналогию с археологией. Ведь сравнительно-историческое языкознание — это своего рода «лингвоархеология». Археолог раскапывает, например, какой-нибудь металлический топор или остов повозки и датирует их тем или иным тысячелетием до нашей эры. Компаративист же реконструирует слова **pelekus* ‘топор’ и **kwekwlos* ‘колесо’, доказывая, что слова эти были в языке индоевропейцев¹, на котором говорили предки современных индийских, иранских, германских, романских, славянских

¹ Подробнее с этими и с многочисленными другими примерами реконструкций «культурного» слоя лексики древних индоевропейцев можно ознакомиться во втором томе монументального труда: *Иванов Вяч. Вс., Гамкрелидзе Т. В.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984.

и других народов. В чем здесь принципиальная разница? Разве что в том, что раскопанные топор и повозку можно выставить на всеобщее обозрение в музее, а реконструированные слова нигде не выставишь. Их судьба — быть опубликованными в «скучном» этимологическом словаре, который никто, кроме таких же специалистов-компаративистов (или, чуть шире, — людей с хорошим филологическим образованием), скорее всего, читать и даже держать на полке не будет.

Именно по этой причине — отсутствие тривиальной «наглядности» — интерес к сравнительно-историческому языкознанию существенно отстает от публичного интереса к той же археологии, несмотря на то что очевидной «выгоды» от деятельности археолога, казалось бы, тоже никакой нет. Но в совокупности и археология, и компаративистика, и другие области знания (например, сравнительно недавно возникшая, но успевшая набрать серьезные обороты популяционная генетика) — все они работают на одну и ту же цель: восстановить, казалось бы, безнадежно утраченную «память» о предыстории человечества — путях его расселения по земному шару и тех технологических и культурных прорывах, которые способствовали этому расселению.

Язык же был, по-видимому, главным «союзником» человека в ходе этого расселения. Только благодаря возможности языкового общения человеку удавалось решать все те сложнейшие задачи, без решения которых покорение планеты и технологический прогресс были бы принципиально невозможны. И, кстати говоря, *только* благодаря языковой дивергенции, то есть процессу разделения одного языка на большое количество потомков в ходе миграций, мы имеем в результате то колоссальное культурно-цивилизационное разнообразие, которое существует на сегодняшний день (и о настоящих масштабах которого, кстати, каждый отдельно взятый среднестатистический человек, на мой взгляд, имеет сильно заниженные представления).

Сравнительно-историческое языкознание позволяет нам узнать о предыстории человечества такую информацию, которую не может предоставить ни одна другая область науки. Современная генетика позволяет составить общую картину этапов расселения человечества по планете, сопровождаемую примерными датировками (пока что очень грубыми, но методика постоянно совершенствуется). Археология может дать представле-

ние о материальной культуре тех или иных доисторических племен. Но лишь лингвистика способна дать сколь-либо полноценное, всестороннее представление о *жизни* этих племен, как в материально-бытовом, так и в духовном аспектах. Ведь язык неразрывно связан с мышлением, и реконструкция языка, пусть даже частичная, «отрывочная», — это одновременно и реконструкция категорий мышления и путей их эволюции.

По большому счету, сравнительно-историческое языкознание — одна из тех немногих отраслей науки, которая может дать *научно обоснованный*, а не *спекулятивно-философский*, ответ на вопрос: «Почему мы все оказались такими разными?» Конечно, со всеми необходимыми оговорками — компаративистика далеко не всесильна, ее научная методология еще нуждается в совершенствовании, точность результатов напрямую зависит от количества и качества языковых данных «на входе» и т. д. и т. п. — но общий посыл верен.

Сразу встречный вопрос. Что сегодня происходит, на какую историческую глубину погрузилась наука? Вот у нас идет 2014 год, условно говоря, от рождения Христа, и уже много лет специалисты работают над тем, чтобы понять, что там существовало до того. О чем сегодня можно говорить более-менее уверенно?

Г. С.: В первую очередь нужно уточнить, что разные участки языкового континуума планеты специалистами обследованы с очень разной степенью точности и подробности. «Погружение» в языковое прошлое на разных участках земного шара бывает и очень глубоким, и, наоборот, очень поверхностным. Зависит это, конечно, в первую очередь от степени описанности языковой картины, ну и, в общем-то, от степени *интереса* к таким описаниям.

Например, своего рода «эталонной» языковой семьей — лучше всего и описанной, и реконструированной — обычно считается так называемая *индоевропейская* семья. Праиндоевропейский язык, вероятнее всего, существовал примерно в V тысячелетии до н. э., и про него нам теперь, с определенными оговорками, известно почти все: и звуковой состав, и огромный кусок грамматики, и по меньшей мере две-три тысячи морфем (лексических корней и грамматических суффиксов), и даже какие-то

особенности синтаксиса, словарной сочетаемости, поэтических формул и т. п.¹ Но это связано, на самом деле, со своего рода счастливой случайностью. Во-первых, к индоевропейской семье относится целый ряд языков, представленных очень древними письменными памятниками, — древнеиндийский (санскрит), древнегреческий, классическая латынь, древнехеттский, из чуть более поздних хронологических слоев — старославянский, древнегерманские языки, древнеармянский и другие. Наличие древних памятников сильно облегчает работу компаративиста (об этом мы еще будем говорить). А во-вторых, многие из этих языков лежат в основе классической литературы западной цивилизации — той самой, в рамках которой в XVIII–XIX веках и зародилось сравнительно-историческое языкознание! Разумеется, в такой ситуации ученые будут в первую очередь штудировать, так сказать, то, что «ближе к телу».

И до сих пор, даже несмотря на то, что по сравнительному изучению индоевропейских языков вышло в несколько раз больше литературы, чем по всем остальным языковым семьям мира, вместе взятым, люди продолжают идти в первую очередь в те или иные области индоевропеистики — становятся германистами, славистами, кельтологами, иранистами и т. п.; «далекие» языки прельщают их в гораздо меньшей степени. А это очень плохо — хотя бы и потому, что те же самые индоевропейские языки не существуют и никогда не существовали в «языковом вакууме». У них есть свои языковые «родственники», как близкие, так и дальние; они постоянно контактировали с другими языками, заимствуя большие словарные пласты из одних и, наоборот, «отдавая» собственную лексику другим. Не изучив досконально историю языковых семей, так или иначе связанных с индоевропейскими, невозможно до конца разобраться и в индоевропейской истории.

В целом можно сказать, что, чем дальше мы отходим от крупных языков и языковых семей, имеющих, так сказать, «существенную цивилизационную значимость», — таких как индоевропейские, семитские, тюркские, китайский, японский, — тем хуже мы представляем себе историю

¹ Из классических введений в индоевропейское языкознание, переведенных на русский язык, можно в первую очередь порекомендовать: *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938 (последнее переиздание — 2002 г.); *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980 (несмотря на название, книга на самом деле является пособием по индоевропейскому языкознанию, а не сравнительному языкознанию вообще).

языкового ареала. В Африке, в Америке, в Новой Гвинее, на островах Тихого океана до сих пор существуют тысячи языков, многие из которых даже не описаны — а те, которые описаны, не сопоставлены друг с другом, не исследованы в историческом плане даже на самом примитивном уровне.

И тем не менее особенно приобедняться тоже не стоит. Если в качестве эталона брать индоевропейскую семью — это, как я уже сказал, примерно V–IV тысячелетие до н. э., то есть 6–7 тысяч лет тому назад — то на это время компаративистами реконструирована целая группа, положим, несколько десятков праязыков, к которым сведено почти все языковое разнообразие Евразии и значительное число отдельных лингвоареалов Африки, Америки и Тихоокеанского региона. Конкретнее о них мы будем говорить позже; пока важно лишь отметить, что 6–7 тысяч лет — это тот хронологический предел, который отделяет то, что мы знаем более или менее «уверенно» (настолько, что относительно этих реконструкций существует некоторый консенсус среди всех специалистов-компаративистов), от гораздо более спорной территории.

А что происходит на этой «спорной» территории? Удастся ли все же реконструировать и дальше, на уровне еще более глубокой древности?

Г. С.: Более глубокая реконструкция уже лежит в ведении специальной области сравнительно-исторического языкознания — *макрокомпаративистики*. Это также вполне строгая и научная субдисциплина, но по сравнению с «обычной» компаративистикой она намного моложе, и поэтому разногласий между специалистами относительно того, как следует «правильно» спускаться вниз в нашем хронологическом батискафе, очень много.

В рамках той методологии макрокомпаративистики, которой придерживается наша Московская школа, лучше всего опять-таки обследована Евразия. Большая часть языковых семей этого материка поддается объединению в четыре гигантские макросемьи, для каждой из которых в том или ином виде предложены «зачатки» праязыковой реконструкции и классификации. Есть вполне серьезные идеи и относительно возмож-

ных макросемей на территории Африки и Америки, но это пока что сугубо предварительные гипотезы — своего рода «рабочая модель первого порядка», которую еще очень долго нужно будет тестировать и совершенствовать, прежде чем предъявлять публике как достоверный факт.

Вообще, там, где мы имеем дело с реконструкцией древнего состояния через сравнение состояний современных, специалист должен четко уметь проводить различие между разными типами гипотез. Есть гипотезы/теории *заведомо достоверные* — в компаративистике это, например, гипотеза индоевропейского родства, в пользу которой так много аргументов, что даже на математически-вероятностном уровне существование праиндоевропейского языка вызывает не большее сомнение, чем, например, гелиоцентрическая система. Это уже больше чем просто гипотезы — это почти что научные факты.

На уровне макрокомпаративистики те гипотезы, которые мы активно поддерживаем и пропагандируем, можно охарактеризовать как *высоковоероятные*. Макросемьи такого уровня, как ностратическая или синокавказская, о которых мы будем подробно говорить в дальнейшем, пока что не «доказаны» с помощью статистики или теории вероятностей. Но существует огромное количество серьезных лингвистических аргументов, которые подталкивают нас к тому, чтобы их принять как своего рода «рабочие модели», — а затем оказывается, что в рамках этих гипотез постепенно начинают получать объяснение и другие языковые факты, ранее казавшиеся необъяснимыми.

Дальше идут, скажем так, *относительно правдоподобные спекуляции* — гипотезы, которые базируются в основном на личной интуиции исследователя, а не на формальной системе аргументов. Единственное достоинство таких спекуляций в том, что они учитывают весь предшествующий опыт работы и никак не противоречат заведомо достоверным и высоковероятным гипотезам. То есть это «то, что в принципе вполне могло бы быть», но, чтобы вывести такие спекуляции на «серьезный» уровень, требуется еще очень много работы, и, разумеется, психологическая готовность от любой такой спекуляции отказаться, если окажется, что совокупные данные все-таки складываются не в ее пользу.

Сейчас очень соблазнительная «спекуляция» такого рода, к которой накопленные данные подталкивают и меня, и целый ряд моих коллег, за-

ключается в том, что большую часть языков мира можно свести к одному, очень, так сказать, мощному по своей «пробивной силе» языку, который существовал порядка 20–25 тысяч лет тому назад, скорее всего (хотя и не обязательно), в Африке или, может быть, на Ближнем Востоке. Потомки его в течение этих последних 20–25 тысяч лет расселялись по всему миру, ассимилируя и вытесняя менее удачливых «конкурентов», и единственные «оазисы», сохранившиеся от предшествующего языкового разнообразия, — это, во-первых, совершенно отличные от всех остальных койсанские, или бушменско-готтентотские, языки в Южной Африке и, во-вторых, колоссальное разнообразие папуасских языков на Новой Гвинее.

Маленький (и тоже очень спекулятивный) связанный с этим вопрос: а аборигены Австралии и Тасмании в данном случае куда относятся?

Г. С.: Языки аборигенов Тасмании очень сильно отличаются от языков аборигенов Австралии (по крайней мере, то, что мы про эти языки успели узнать, — активные носители тасманийских языков, увы, перевелись более чем сто лет назад). Но и те и другие, скорее всего, отражают очень древние волны миграций, задолго до того периода в 20–25 тысяч лет, к которому может относиться начало распространения по планете того «мегапраязыка», который мы обозначаем рабочим термином «борейский» (то есть «северный», противостоящий языкам койсанов и папуасов, сохранившихся в южных областях планеты; языки Австралии и Тасмании скорее ближе к папуасским, чем к «борейским»).

Может быть, здесь следует говорить с генетиками, с археологами, с палеонтологами? Есть же теория о волновом переселении человечества из той же самой Африки, об извержении вулкана Тоба, которое как раз прервало связь с той областью? Или это пока не «запараллелилось»?

Г. С.: Извержение вулкана Тоба — вообще очень смутная история, о влиянии которой на судьбы человечества мы можем говорить примерно с такой же уверенностью, как и о «борейском» праязыке, то есть с ми-

нимальной. Но если верна гипотеза, что это извержение действительно произошло в районе Суматры где-то 70–80 тысяч лет тому назад и привело к гибели большей части человечества, то событие это, скорее всего, все-таки имело место еще *до* первой успешной волны миграции из Африки. А что касается самой возможности таких миграций — они происходили в ледниковый период, когда и в Новую Гвинею, и в Австралию, и в Тасманию еще можно было попасть посуху.

Что касается параллелей, то в перспективе, конечно, мы рано или поздно придем к тому, чтобы предложить единый исторический сценарий развития — такой, который согласуется с данными и лингвистики, и археологии, и генетики, и других областей знания о дописьменной истории человечества. Но подчеркиваю — *в перспективе!* Вопрос о сотрудничестве между лингвистами и представителями других дисциплин поднимается в научно-популярной прессе так часто, что иногда кажется, как будто все просто ждут не дождутся каких-то сенсационных открытий — вот сейчас лингвисты, генетики и археологи соберутся на какой-нибудь совместный конгресс, посидят пару дней и предложат единую концепцию происхождения и расселения человечества.

Увы, не все так просто. Хорошей междисциплинарной согласованности данных не всегда удается добиться даже на «мелких» хронологических уровнях (таких как уровень индоевропейской семьи), что уж говорить о состоянии на 15–20 тысяч лет тому назад. Дело в том, что, во-первых, и археология, и тем более генетика (наука совсем молодая), как и лингвистика, пока еще находятся на этапе накопления первичных данных. В археологии постоянно осуществляются новые раскопы и происходят новые открытия, серьезно меняющие более ранние точки зрения на историю тех или иных регионов. В генетике сейчас очень активно собираются данные по генофонду самых разных народов планеты, но выборка все равно пока еще не очень репрезентативна, особенно когда дело касается малых племен (а ведь данные еще надо обработать и интерпретировать). Поэтому, на мой взгляд, хотя сотрудничество между лингвистами и представителями «смежных» дисциплин всегда полезно, не пришло еще время синтезировать все наши данные в единую непротиворечивую картину: никто из нас еще не готов утверждать, что такая картина сложилась в рамках *его* непосредственной дисциплины.

Во-вторых, нужно обязательно помнить, что динамика, которую выдают данные лингвистики и других наук, совершенно необязательно должна совпадать. Язык — одна из основных характеристик этноса (нации, народа, племени и т. п.), но он далеко не всегда передается в единой связке с другими его характеристиками, начиная с пресловутого «генофонда» и заканчивая элементами материальной и духовной культуры. Классический пример — венгры в Центральной Европе: согласно последним исследованиям, венгерский генотип более чем на 80% «европейский», а не «азиатский», притом что по языку ближайшие родственники венгров — это обские угры (ханты и манси), да и исторические сведения в данном случае надежно подтверждают, что венгры появляются в Европе не ранее IX века н. э. То есть генетика позволяет понять, что с венграми, условно говоря, «что-то не так» — наличествует «азиатский» компонент, — но она, скорее всего, скажет (и вполне справедливо), что компонент этот был относительно незначителен, что бóльшая часть современных венгров — это исконные жители Европы. Лингвистика же надежно устанавливает, что в языковом отношении эти европейцы были *ассимилированы* мажарскими завоевателями — переняли их язык и «оторвались» от собственных корней, каковыми бы они ни были до IX века.

Поэтому по умолчанию лингвистика, генетика, археология и т. п. будут не столько *подтверждать* друг друга, сколько *дополнять*. Генетика показывает динамику человеческого развития применительно, так сказать, к «телу» человека; лингвистика — к языку (и, через посредничество языка, к элементам мышления); археология — к материальной деятельности человека. Все эти аспекты пересекаются, но далеко не всегда совпадают.

Если же мы говорим о времени столь отдаленном, как донеолитическая эпоха, то здесь таких пересечений будет еще меньше. Ведь многие человеческие популяции глубокой древности исчезли, не оставив вообще никаких следов — или оставив их только в какой-то одной сфере. Скажем, раскопали некую археологическую культуру, которой, условно говоря, 25 тысяч лет. Какова вероятность того, что нам удастся ее убедительно соотнести с одним из реконструированных нами на это время праязыков? Очень небольшая — ведь праязыков, реконструированных на XXIII тысячелетие до н. э., вряд ли у нас будет больше, чем десяток

(пока что нет ни одного), а раскопок 25-тысячелетних стоянок в разных уголках планеты — масса. В общем, это очень сложные материи, и здесь мы пока можем только мечтать, что со временем появятся более точные методы и больший объем полученных с их помощью надежных реконструкций, которые помогут здесь продвинуться в нужном направлении.

А действительно, насколько «надежны» эти результаты? Вот сравнительно недавно, когда была образована корпорация нанотехнологий, ее руководство пыталось понять, как вообще лингвистика может быть соотнесена с точными науками. Ведь точные науки — это не абстрактная философия, не общие рассуждения, о том, «что могло бы быть», а строгие математические формулы. По Вашей оценке, насколько вообще точны и релевантны те результаты, которые получает историческое языкознание? И что говорят на эту тему внутри самого лингвистического сообщества?

Г. С.: Конечно, историческое языкознание возникло как отрасль гуманитарного знания. Оно никогда не обладало такой же степенью точности, как естественные науки, и, наверное, никогда и не будет обладать. (Впрочем, не будем с религиозным рвением преувеличивать «точность» «точных наук» — изучение феноменов Вселенной нередко провоцирует ученых на умозрительные спекуляции, ничуть не более «доказательные», чем в гуманитарных науках.)

Тем не менее за двести лет своего существования сравнительно-историческое языкознание вполне успешно оправдало свой научный статус. Оно обзавелось и строгой методикой, и формулами, и статистическими подсчетами, и вероятностными обоснованиями, и, что самое главное, в основе исторического языкознания всегда лежат конкретные эмпирические данные — результаты описаний конкретных языков, так же как, скажем, в основе биологии лежат результаты наблюдений над конкретными биологическими видами.

Понятно, что многие выводы исторического характера можно сделать и на чисто интуитивной основе. Не нужны подробные статистические выкладки или строгие правила для того, чтобы увидеть, сколько

«похожих» слов, например, между разными славянскими языками, и понять, что «похожесть» эта имеет существенно иной масштаб, чем та, которую мы только что наблюдали между русским и языком гуде. Но даже здесь будут возникать вопросы, на которые без научного метода ответить невозможно. Например, русское 'дождь' и чешское *dešť* (*дэшт*) — слова с одним и тем же значением, фонетически очень похожие и, скорее всего, родственные; а какая форма «древнее», или, точнее, как это слово должно было произноситься в языке-предке (праславянском)? Без метода остается только гадать, что, конечно, недопустимо.

Ну и, разумеется, чем «глубже» мы копаем, тем в меньшей степени можно полагаться на интуицию, — сходств становится меньше, исконно родственные слова становится намного труднее отличать от заимствований, и, самое главное, оперировать уже приходится не данными живых языков, а нашими же собственными реконструкциями. И тут без максимально объективной, в каких-то отношениях даже «алгоритмизированной» методики не обойтись.

Русское слово *волк* и древнеиндийское *vrkaḥ* (*врках*) похожи и восходят к праиндоевропейскому корню. Это можно с довольно высокой степенью уверенности сказать, даже ничего не предполагая про реальные пути исторического развития этого слова. Но если мы хотим этот праиндоевропейский корень сравнить с какими-нибудь похожими на него корнями в других языковых семьях, невозможно удовлетвориться формулировкой «в индоевропейском было что-то среднее по звучанию между *волк* и *vrkaḥ*». (Правда, именно так в каком-то смысле предлагал поступать американский лингвист Джозеф Гринберг, про которого мы будем много говорить в дальнейшем, но ровно за это он и подвергался жестокой и во многом справедливой критике.) Потому что «что-то среднее по звучанию» — на деле значит, что мы можем взять и русскую форму, и древнеиндийскую, и какую угодно, и в конечном итоге придем к тому, об опасности чего мы уже говорили в самом начале: сравнению всего со всем. Без метода, без процедуры — и с получением любых удобных для нас результатов, какие кому больше нравятся.

***А в чем же конкретно заключается эта объективная методика?
И как она воплощается на практике?***

Г. С.: Методика сравнительно-исторического языкознания складывалась на протяжении XIX века, и до сих пор, в общем-то, сидит на том фундаменте, который заложили (в основном) немецкие ученые-индоевропеисты.

Основана она на двух принципах — *системности* и *регулярности*. Как мы уже показали на примере русского и гуде (и как можно показать на примере любого другого языка), сравнивать можно что угодно, но для того, чтобы это сравнение имело смысл — чтобы на его основе можно было сделать правдоподобные и высоковероятные исторические выводы, — недостаточно просто «увидеть сходство», нужно убедиться в том, что это сходство — не результат случайности. Неслучайные сходства должны быть, во-первых, *регулярными*, во-вторых, *системными*.

Регулярность сходства означает, что оно должно прослеживаться на материале не одного, а хотя бы небольшой группы примеров: чем больше примеров на один и тот же тип сходства, тем меньше вероятность его случайности. Смотрим: русское *полный* и английское *full* (*фулл*) — похожи или нет? Если в русском слове вычленим исторический корень *пол-* и сообразить, что *n* и *φ* — близкие по произношению согласные, то, конечно, похоже. Что это доказывает? Ничего. Но если мы внимательно изучим весь материал, то увидим, что сходство первых звуков в русском и английском словах — рекуррентное, то есть многократно повторяющееся и в других случаях. Это уже не просто сходство, а *соответствие*:

русск. *поле* — англ. *field*; русск. *плыть* — англ. *flow* ‘течь’; русск. *первый* — англ. *first*; русск. *пясть* — англ. *five* (с разными суффиксами); русск. *поросенок* — англ. *farrow* ‘поросенок, пороситься’ (устаревшее слово); русск. *пясть* — англ. *fist* ‘кулак’; русск. *переть* (куда-то) — англ. *fare* ‘ехать, путешествовать’; русск. *пердеть* — англ. *fart*; англ. *free* ‘свободный’, *frie-nd* ‘друг’ — русск. *прия-тель*...

... и на этом список далеко не заканчивается. Можно также заметить, что значения слов больше чем в половине случаев совпадают, а в остальных случаях — отличаются лишь «по мелочи».

Это уже совершенно иная ситуация, чем в случае с «русско-гуде» родством. Там, правда, мы тоже постарались подобрать что-то похо-

же на «соответствие»: почти во всех случаях там, где в гуде слово начиналось с *b*, оно и в русском начиналось с *б*. Чуть позже я постараюсь вернуться к этому вопросу подробнее и объяснить, чем русско-английская ситуация отличается принципиально в лучшую сторону от русско-гуде; пока обратите внимание лишь на то, что значения русских и английских слов, в которых мы обнаружили соответствие *n: f*, в целом намного ближе друг к другу, чем значения слов в русском и гуде.

А что же имеется в виду под системностью? То, что сходства между языками, если они не случайны, как правило, будут носить организованный характер — настолько организованный, что, зная одни соответствия, мы, вероятно, сможем даже предугадать некоторые другие.

Например, как лингвист охарактеризует соответствие «русс. *n*: англ. *f*»? Оба этих согласных — по месту образования губные, по состоянию голосовых связок — глухие; отличие лишь в том, что *n* — взрывной, а *f* — щелевой, для его произнесения, грубо говоря, требуется меньше «речевых усилий». Можно предположить, что и в *других* случаях русским глухим взрывным согласным в английском языке будут соответствовать глухие щелевые. В частности, глухому русскому *m* в этом случае будет соответствовать глухой английский «межзубный» (то есть тоже щелевой) *th*. И действительно:

русс. *ты* — англ. *thou* (устаревшее слово); русск. *мом* — англ. *that*;
 русск. *тысяча* — англ. *thousand*; русск. *монкий* — англ. *thin*; русск. *мёрн* — англ. *thorn* 'колючка'; русск. *маять* — англ. *thaw* и др.

Это и есть типичный образец *системности* в наблюдаемых сходствах. Как известно, язык — это не хаотический набор звуков и слов, а система, подчиняющаяся многочисленным правилам (что мы, в общем-то, эксплицитно осознаем уже в первых классах на уроках родного языка). Соответственно, и изменения в языке тоже подчиняются своим правилам, а основная задача исторического лингвиста — эти правила обнаруживать и описывать. «Реконструкция», в которой нет правил, — не более чем полет фантазии, не имеющий никакой научной значимости.

С правилами, положим, понятно, а какую роль играет статистика? Как вообще математические методы в том или ином виде могут применяться к сравнительно-историческому языкознанию?

Г. С.: Математика никогда не лежала в основе сравнительно-исторического языкознания и, думаю, никогда и не будет лежать. Существует такая время от времени активизирующаяся в умах «мода на формулы» — мол, чем больше в наших публикациях будет сложных вычислений и малопонятных символов, тем «точнее» и «научнее» результаты. В итоге все чаще приходится читать и обсуждать абсолютно любительского уровня работы (часто написанные учеными, которых любопытство привело в лингвистику из антропологии, биологии, иногда даже из физико-химических наук), где много зубодробительной математики, но при этом непонятыми остаются самые тривиальные истины относительно природы языка и общих тенденций языковых изменений.

В целом для успешных занятий компаративистикой главным требованием до сих пор остается трезвая голова и верность элементарной логике — ничего другого от нее в период ее становления и не требовалось.

При этом, конечно, такая категоричность с моей стороны — это не более чем резкая реакция на такое распространенное мнение, как «если в вашей науке нет математики, то это вообще не наука». На самом деле, конечно, математике вполне находится применение и в компаративистике. Навскидку можно назвать как минимум две важнейшие сферы.

Первая — это вероятностно-статистическая оценка гипотез. Вот, например, мы только что перечислили девять примеров на регулярное соответствие русского *n* английскому *f*. Много это или мало? Достаточно таких девяти примеров для того, чтобы считать соответствие *истинным* (то есть отражающим историческую реальность), или же такой список мог сложиться случайным образом? Интуитивно, наверное, кажется, что достаточно. Но, во-первых, интуиция может обманывать (и я знаю немало примеров, в том числе и среди вполне солидных, здравомыслящих ученых-лингвистов, когда она именно что обманывала). А во-вторых, очень часто — и чем дальше в глубь времен мы продвигаемся, тем чаще — она просто молчит.

Вот есть, например, гипотеза о «японско-шумерском» родстве (несколько разных исследователей пытались ее продвинуть в свое время, совершенно независимо друг от друга). Есть похожие слова, попытка разработать какую-то «этимологию», есть люди, которым это кажется полным бредом, а есть и такие, которых это «убеждает». Тут-то как раз и пригодился бы статистический анализ, который разложил бы все по полочкам и показал, превышает ли накопленный объем «сходств» порог случайности или нет.

К сожалению, пока что большинство алгоритмов, созданных для такого анализа, находится в «зачаточной» стадии. Дело в том, что очень уж много факторов надо в них включать — необходим полный анализ звуковых систем сравниваемых языков с подсчетом частотностей всех звуков (фонем) во всех позициях в слове, необходимо научиться на полностью формализованном уровне как-то работать со значениями слов и т. п. Ни одной процедуры, в которой все это должным образом учтено, я пока не видел. Однако прогресс, безусловно, есть (по крайней мере, по сравнению с теми тривиальными вероятностными алгоритмами, которыми макрокомпаративисты типа Иллич-Свитыча или Гринберга оперировали пятьдесят лет назад), так что в целом все это направление очень перспективно.

Второе направление — это глоттохронологический метод вычисления даты языкового разделения (с точки зрения Московской школы компаративистики его можно назвать «методом Сводеша—Старостина»). О нем мы поговорим подробнее чуть позже; это хоть и спорная, но безусловно интересная тема.

Вообще компаративистика без сложных вычислительных процедур как-то еще может обойтись (подавляющее большинство компаративистов, надо сказать, вообще довольно-таки безграмотны в математическом отношении, что не мешает им получать вполне грамотные результаты, которые могут оценить и математики), но без умения *квантифицировать* полученные результаты — обречена на бесконечные бесплодные дискуссии.

Например, один из важнейших вопросов, который в методологии сравнительно-исторического языкознания, по большому счету, так окончательно и не разрешен, — это нахождение объективных, максимально независи-

мых от личных предпочтений и интуиции исследователя критериев того, *насколько* родственны те или иные языки. Ведь языковое родство не абсолютно, а относительно: очевидно, что русский «ближе» к польскому и болгарскому (славянским), чем к английскому и немецкому (германским), хотя все эти языки и родственны.

Или, например, возьмем четыре отдельные подгруппы индоевропейской семьи: (1) балтийские (литовский и латышский), (2) славянские, (3) индийские (хинди, бенгали, маратхи и мн. др.), (4) иранские (персидский, курдский, пушту, осетинский и мн. др.). Интуитивно, когда занимаешься сравнением всех этих языков, четко ощущается, что внутри индоевропейской семьи балтийские языки гораздо больше похожи на славянские, а иранские — на индийские. Но что значит «интуитивно ощущается»?

Можно привести конкретные примеры. Вот, в частности, слово 'голова' — по-русски *голова*, по-болгарски *glava* и т. д. (из праславянского **golvā*); по-литовски и по-латышски — *galva*. Ни в каких других индоевропейских языках этого слова больше нет; это так называемая совместная инновация — очень сильный аргумент в пользу того, что одним из потомков праиндоевропейского был «прабалто-славянский», в котором старое индоевропейское слово для 'головы' пропало и заменилось на новое. В индийском и иранском таких словарных совместных инноваций относительно немного. Но зато там (в древних языках — таких как санскрит и авестийский) грамматические системы настолько схожи друг с другом, что это довольно разительно отличает их от всех остальных ветвей индоевропейской семьи.

«Совместных инноваций» в этих двух парах языковых групп оказалось столько, что большинство индоевропейцев сегодня убеждены — ближайшими родственниками славянских языков действительно являются языки балтийские, а индийских — иранские. Здесь аргументов в обоих случаях было столько, что «гипотеза», можно сказать, плавно перетекла в «очевидность». Но эта ситуация — ни в коем случае не *норма*. Гораздо чаще в таких ситуациях *конкурируют* друг с другом альтернативные гипотезы, приводя к зачастую бессмысленной полемической рубке. Была ли, например, «итало-кельтская» ветвь в составе индоевропейского? Была ли «греко-армянская» ветвь? Или в других семьях: ки-

тайский — это одна из двух отдельных ветвей сино-тибетской семьи, наряду с тибето-бирманской, или одна из подветвей тибето-бирманского? И т. д. и т. п.

Для того чтобы прийти здесь к какому-то консенсусу — а без такого консенсуса доверие к результатам, получаемым компаративистами, будет очень низким, — необходимо учиться *квантифицировать* сходства и различия, подкреплять свои доводы математической статистикой. При наличии трех родственных языков X, Y, Z почти всегда будут обнаруживаться общие черты, характерные для X и Y, но не Z; для X и Z, но не Y; для X и Z, но не Y. Задача исследователя — суммировать эти общности, осмыслить и подвести под них статистическую базу. После этого можно будет уверенно говорить, что «праязык сначала разделился на X и YZ, после чего YZ разделился на Y и Z» (или наоборот).

Вот это — для «затравки» — то, что следует знать о применении точных методов в сравнительно-историческом языкознании.

Такой вопрос: прошло 25–30 лет с тех пор, как Московскую школу компаративистики пусть и неофициально, но довольно-таки эффективно возглавил Сергей Анатольевич Старостин. Что было тогда и что стало сейчас?

Г. С.: Во-первых, никаких революционных прорывов в методологии за это время не произошло. Однако это не трагично. У сравнительно-исторического языкознания никогда не было большой теоретической базы — это наука в высшей степени «практически-ориентированная».

Ну, с тех пор, как было сказано, что Земля вертится вокруг Солнца, никто в общем-то тоже за последующие 400 лет особо не продвинулся.

Г. С.: Смотря с какой стороны посмотреть, разумеется. Для кого-то между Ньютоном и Эйнштейном «научных революций» не существует, кто-то, наоборот, считает, что смены парадигм все это время происходили раз в двадцать лет. Я, со своей стороны, могу лишь видеть, что никаких принципиальных отличий в том, как мы обрабатываем языковой ма-

териал, от того, как его обрабатывали, например, немецкие лингвисты второй половины XIX века, нет.

«Технические» отличия — конечно, есть. Во-первых, за упомянутые 25–30 лет мы наконец твердо встали на путь полной компьютеризации. Это очень важно, потому что те объемы информации, которые нужны для работы в «глобальных» рамках — с языковыми семьями всей планеты, — уже настолько огромны, что без их компьютеризации, без возможности автоматизации поиска, без различных автоматических процедур обработки данных такая работа в принципе невозможна. Например, Владислав Маркович Иллич-Свитыч, основатель ностратического языкознания (о нем мы подробнее расскажем позже), был, несомненно, человек выдающихся способностей, умевший хранить огромные массивы информации в голове и еще большие массивы в режиме нон-стоп наносить на карточки. Однако если бы у него были под рукой нормальные компьютеры, нет сомнения, что даже за тот крошечный срок в 5–10 лет, который ему отпустила судьба, он успел бы сделать намного больше.

У нас же сегодня вся информация хранится в компьютерных базах данных, в рамках специальной компьютерной лингвистической «среды» StarLing, которую Сергей Анатольевич Старостин собственными руками запрограммировал еще в конце 1980-х годов (когда в академических институтах только-только начали появляться приличные компьютеры). Базы эти достаточно «открытые», то есть информацию из них легко переводить в общепринятые форматы, но главное — это то, что оказались созданы все условия для того, чтобы решать задачи очень масштабного уровня: например, сравнить по какому-то одному или нескольким параметрам несколько сотен языков.

Второе. После падения железного занавеса возникли совершенно новые перспективы в плане доступности данных. В советскую эпоху, по большому счету, профессионально заниматься можно было только языками народов СССР — и такие профессиональные занятия, действительно, были: на базе Отделения структурной и прикладной лингвистики филфака МГУ, например, регулярно устраивались крупные студенческо-аспирантские экспедиции на Кавказ, а также к северным нацменьшинствам и даже на Дальний Восток. Но «малыми» языками зарубежья при этом можно было заниматься в основном через общение

с информантами из какого-нибудь Университета дружбы народов (в частности, именно поэтому относительно неплохо развивалась советская африканистика), в лучшем случае — устраивая экспедиции в какую-нибудь дружественную социалистическую страну (например, Вьетнам), и то через жесткий партийный контроль (С. А. Старостина и И. И. Пейроса, например, во Вьетнам в свое время не пустили — по неблагонадежности). Что касается западной литературы, то она в библиотеки, конечно, поступала, но «выборочно» и в очень небольших количествах.

С наступлением эпохи гласности и падением занавеса в одних отношениях жизнь стала гораздо хуже — не только деньги на поддержку науки закончились, но и, например, совершенно прекратился приток новых изданий в библиотеки. С другой стороны, появилась возможность свободно передвигаться, контактировать с западными коллегами, участвовать в международных конференциях и разного рода исследовательских проектах. За последнее десятилетие к этому добавилось еще и бурное развитие Интернета — сейчас, например, к колоссальному количеству как старой, так и новой литературы можно получить доступ за несколько минут, вообще не выходя из дома.

В результате этой новой эпохи открытости и, если угодно, «глобализации» оказалось возможным собирать, систематизировать и изучать (в том числе и в историческом плане) даже уже не «выборочные» данные по тем или иным отдельным языковым «точкам» планеты, а целые пласты данных по языковым «континуумам». Это — колоссальный прогресс по сравнению с тем, что было 25 лет тому назад.

Тогда, если говорить о «глубоком» родстве, в рамках Московской школы были две основные гипотезы: *ностратическая* В. М. Иллич-Свитыча и *сино-кавказская* С. А. Старостина. Языки, которые в состав этих макросемей входили, были в основном представлены на территории СССР. Правда, в *ностратическую* макросемью Иллич-Свитыч включал также дравидийские языки в Индии, а в *сино-кавказскую*, согласно Старостину, входили сино-тибетские языки Китая и Южной Азии. Но сино-тибетских языков, например, сегодня насчитывается порядка двух сотен, и для того, чтобы тщательно восстановить прасино-тибетский, нужно иметь доступ к данным хотя бы для половины их числа — а в распоряжении С. А. Старостина были, в лучшем случае, данные по десяти-двенадцати.

Сегодня этого барьера больше не существует. Ему на смену пришел новый — острая нехватка кадров: всю эту лавину новых данных (при том что и раньше их было немало, но по сравнению с информацией, доступной сегодня и к тому же возрастающей с каждым днем, объем возрос в разы) просто-напросто некому обрабатывать. Но это — тема для отдельного разговора, вернемся к ней позже. А пока что сфокусируемся на позитиве: сегодня у нас достаточно данных, чтобы на серьезном уровне рассматривать возможности установления глубокого языкового родства и в Юго-Восточной Азии (так называемую австрическую гипотезу), и в Америке (так называемую америндскую гипотезу), и в Африке («нило-сахарскую», «нигер-кордофанскую» и другие гипотезы).

Сбор данных — это, конечно, хорошо, а были ли какие-нибудь конкретные результаты по «глубоким» исследованиям достигнуты за это время? Открытия, публикации?

Г. С.: Конечно, и не без этого. Вообще о конкретных достижениях мы будем говорить позже, в рамках нашего обзорного «лингвопутешествия» по планете, но один, самый наглядный, пример привести можно уже сейчас. Речь идет о так называемой алтайской семье, в которую объединяются такие известные языковые группы, как тюркская, монгольская, тунгусо-маньчжурская, а также корейский и японский языки. Сама по себе «алтайская гипотеза» довольно старая, ее корни уходят глубоко в XIX и даже (на «донаучном» уровне) в XVIII век, но серьезная сравнительная алтаистика, с применением сравнительно-исторического метода, началась только в XX веке. Однако даже к 1960-м годам, когда В. М. Иллич-Свитыч «осмелился» включить все алтайские языки в состав еще более глубокой макросемьи — ностратической, алтаистика оставалась еще довольно-таки «незрелым» направлением.

В частности, по разным причинам так и не появилось ни полной, систематической, учитывающей большой объем материала, реконструкции алтайского праязыка, ни единого корпуса общеалтайских этимологий; даже Иллич-Свитычу приходилось, занимаясь ностратикой, часто брать не «общеалтайские» основы, а отдельные тюркские или монгольские, что нехорошо — это в своем роде «перепрыгивание через ступеньку»,

довольно рискованное занятие, в конечном итоге приводящее к нагромождению ошибок.

Поэтому одним из важнейших достижений Московской школы компаративистики было, в частности, создание первого в мире этимологического словаря алтайских языков¹ — корпуса из более чем двух с половиной тысяч общеалтайских этимологий, объединенных единой, цельной системой соответствий, в котором была учтена вся предыдущая работа нескольких поколений алтаистов, и на ее основе выработана новая концепция звуковой и грамматической системы праалтайского языка.

Это событие исключительной важности: алтайская семья — очень глубокая, древнее индоевропейской (примерная датировка распада алтайского единства — VII–VI тысячелетие до н. э.), и вышедший в свет словарь — это, по сути, первый в истории сравнительно-исторического языкознания опыт столь детальной реконструкции такой древней семьи. Подчеркну — именно *опыт*, поскольку и к этому словарю остается немало претензий (в частности, довольно слабо проработана семантическая сторона этимологий); в дальнейшем его надо будет еще долго и тщательно перерабатывать. Но это — большая, сложная и в значительной степени реалистичная конструкция, и вся дальнейшая работа по алтаистике должна будет эту конструкцию только модифицировать и совершенствовать, подобно тому, как, скажем, индоевропейские этимологические словари XX века исправляли ошибки индоевропейских словарей XIX века, не отвергая их достоинств.

Кстати, наличие такого рода словарей играет на руку самым различным исследованиям, не обязательно связанным со «сверхдревними» временными глубинами. В частности, выход алтайского словаря пролил свет на совершенно новую, доселе никем не поднимавшуюся тему — изучение доисторических языковых контактов между алтайскими и китайским языком.

С. А. Старостину удалось обнаружить немалое количество очень вероятных заимствований — не из «праалтайского», потому что в рассматриваемый период праалтайский уже распался на множество языков-потомков, а как раз из каких-то потомков праалтайского — в древнекитайский язык, причем заимствования эти видны уже в древ-

¹ Starostin S. A., Dybo A. V., Mudrak O. A. Etymological Dictionary of the Altaic Languages. Leiden: Brill, 2003.

нейших памятниках китайской письменности, так что вряд ли они имели место позднее середины — конца II тысячелетия до н. э. А это, в свою очередь, во многом переворачивает традиционные представления о полной автохтонности / самобытности китайской цивилизации. То есть, конечно, о том, что Древний Китай вырос не на пустом месте, а в ходе очень интенсивного культурного обмена между представителями разных этносов и «протоцивилизаций», представление у ученых-китаистов сложилось уже довольно давно (об этом свидетельствуют, в частности, данные археологии), но лингвистические данные позволяют это представление оформить максимально конкретно.

(К примеру: скажем, такой известный мифологический образ, как *цилин*, знаменитый «китайский единорог», который в древнекитайский период произносился примерно как *гэрэн*, по-видимому, заимствован из алтайского обозначения одного из многочисленных копытных животных, отражающегося в письменном монгольском языке как *гэрюген* 'дикое животное; антилопа', а в корейском — как *корани* 'лось'. У китайцев это животное первоначально стало чем-то вроде племенного тотема, а еще позже окончательно утратило связь с реальностью и превратилось в утопическую мифологию.)

Это — лишь один пример конкретной публикации, самой объемной в рамках нашего московского проекта за последнее десятилетие. Но вообще главный упор мы делаем не столько на «бумажные» публикации, сколько на создание электронных баз данных и их публикацию в Интернете. С 1998 года работает сайт с броским, несколько романтическим названием «Вавилонская башня» (англ. «Tower of Babel»)¹, постоянно (хотя и несколько более «скачкообразно», чем хотелось бы) обновляющийся за счет новых коллекций этимологий и других материалов по разным языковым семьям. Там и происходит все самое интересное. Да, еще у нас с 2009 года два раза в год выходит журнал «Вопросы языкового родства»², который де-юре открыт для любых научных публикаций по сравнительно-историческому языкознанию, но де-факто пока в нем «доминируют» работы московских компаративистов и их ближайших коллег за рубежом.

¹ Постоянный адрес сайта: <http://starling.rinet.ru>.

² Веб-сайт журнала располагается по адресу: <http://johr.ru>.

Вернемся ненадолго к вопросу о «междисциплинарности». Была упомянута генетика как наука, одна из целей которой сопоставима с основной целью компаративистики — реконструкция доисторического прошлого человечества по тем «следам», которые оставило эволюционное развитие. А если говорить об эволюционной биологии в целом, то существуют ли здесь какие-то аналогии между эволюцией живых организмов и эволюцией языка?

Г. С.: Это, конечно, очень спекулятивная тема. Концепция языка как своеобразного «организма», которому, в числе прочих свойств организма, свойственно также развиваться и изменяться в ходе воздействия на него окружающей среды (а возможно, даже и в ходе приспособления к изменениям этой среды), восходит еще к XIX веку и даже в отдельных деталях предшествует теории Дарвина (известно, что на самого Дарвина в свое время оказала влияние эволюционная теория языка, разработанная немецким ученым Августом Шлейхером). И в этом плане сравнительно-историческое языкознание обладает притягательной силой для биологов — действительно, есть очень много разительных сходств между тем, как протекают эволюция языка и эволюция биологических видов.

Например, и тот и другой процесс происходят, как правило, *помимо* субъективной воли эволюционирующего объекта. Точно так же как живой организм не контролирует происходящие в нем мутации, языковые изменения чаще всего протекают незаметно. (Речь идет, конечно, не о таких изменениях, как, скажем, весьма заметный массивированный наплыв иноязычных заимствований — вспомним бесконечные и в основе своей бессмысленные стенания насчет «засорения родного языка» и т. п., — а о гораздо более существенных изменениях в звуковой и грамматической системах языка, которые обычно протекают медленно, но являются необратимыми, и в конечном итоге именно они и приводят к образованию нескольких новых языков на месте одного старого.)

Но в основе своей эти процессы все-таки, на мой взгляд, невозможно «запараллелить». В биологической эволюции ключевое значение имеет фактор естественного отбора — закрепляются и выживают те мутации, которые помогают организму лучше приспособиться к жизни в определенной среде. Относительно же языковых изменений очень редко когда

можно сказать, что то или иное изменение «помогло» языку. Вот, возвращаясь к уже разобранным примерам, индоевропейские звуки *p* и *t* в германских языках перешли в *f* и *th* — принесло ли это какую-нибудь «выгоду» германским языкам? Вряд ли. И механизмы, и последствия работы этих механизмов здесь совершенно иные, нежели в эволюции биологической, так что аналогия на самом деле очень слабая.

Но раз уж мы затронули вопрос эволюции, то, собственно, эволюционное происхождение человека как разумного существа, при всей сложности дискуссии — что такое разум и т. п., — связано с появлением языковых способностей. Ведь допустимо утверждать, что прорыв человека из животного царства, если уж считать человека биологически уникальным существом, в первую очередь обусловлен наличием у него языка. Можно ли это как-то подтвердить, изучая пути развития языка в истории человечества?

Г. С.: Конечно, это одно из самых распространенных объяснений того факта, что нашему виду, *Homo sapiens sapiens*, удалось практически подчинить себе планету за счет других видов, включая и своих ближайших родственников (например, неандертальцев, относительно языковой компетенции которых до сих пор идут бурные споры). Объяснение это, правда, базируется скорее на здравом смысле, чем на фактологической аргументации, но ведь и противоречащих данных тоже нет — других-то живых видов с сопоставимыми языковыми способностями нет, и нет никаких доказательств того, что когда-либо они существовали.

Однако здесь нужно сделать одну очень важную оговорку. Действительно, сравнительно-историческое языкознание, сопоставляя сначала современные или исторически зафиксированные в письменных памятниках языки, затем — переходя к сравнению реконструированных на этом первом этапе праязыков, постепенно продвигается во все более и более глубокое прошлое. И «смелые» компаративисты регулярно спорят с «осторожными» о том, где же проходит хронологический предел — допустимо ли реконструировать, если не «до бесконечности», то, по крайней мере, до того момента, пока все языки мира не сведутся к одной-единственной языковой форме?

К этому спору мы еще вернемся не раз, но сейчас важнее сказать о том, в чем «смелые» компаративисты, как правило, согласны с «осторожными»: даже если этот «первозык», к которому сводимы все ныне живущие языки, восстановим — нет никакой гарантии того, что это и окажется тот самый «язык Адама», на котором говорили самые первые наши предки, обладавшие языковыми способностями. Более того, скорее всего, это заведомо **НЕ** будет язык Адама!

Дело в том, что компаративистика, как и многие другие науки, занимающиеся реконструкцией далекого прошлого, вынуждена исходить из так называемого принципа униформизма (термин, изначально заимствованный из геологии) — непровергнутого утверждения, что те же самые базисные законы и принципы, которые определяют поведение изучаемого объекта в настоящем, соблюдались и в прошлом, в том числе в отдаленном прошлом. Для исторического языкознания это формулируется следующим образом — «принципиальных различий между реконструированными праязыками, сколь угодно отдаленными от сегодняшнего дня, и их современными потомками, не существует». По крайней мере до тех пор, пока у нас не появятся научно обоснованные причины предполагать обратное. (Пока что не появилось.)

Поясню, что имеется в виду. Все языки мира, несмотря на колоссальные различия между ними, тем не менее в своей основе едины. Например, во всех языках есть *слова*, которые состоят из *звуков* и из которых далее складываются *предложения*. Во всех языках *звуки* делятся на гласные и согласные. Во всех языках есть *универсальные смысловые концепты* и звуковые цепочки для их выражения. Во всех языках есть *грамматические правила*, определяющие то, в какой форме и в каком месте слово должно входить в состав предложения, и т. д. и т. п.

В принципе можно представить себе язык без какой-нибудь из этих «универсалий» — например, язык, который вообще обходится без согласных, или язык, в котором формально нет существительных (и предложение «погладь кошку!» звучало бы как «погладь оно-бегают-мяукает!», как это, кстати, бывает в ряде языков американских индейцев, но только для отдельных случаев), — но факт тот, что *естественных* языков, то есть таких, которые передаются из поколения в поколение без специального сознательного «тренинга», нарушающих эти закономерности, действитель-

но нет, и трудно представить себе, как они могли бы существовать. Когда же мы реконструируем праязыки, то, естественно, опираясь на современные состояния естественных языков и выводя из них более древние, мы точно так же не можем увидеть нарушения этих закономерностей. Количество здесь не может перерасти в качество — сколько бы красных кубиков мы ни складывали вместе, большой синий куб из них не получится.

Если нет ни одного языка, в котором есть только гласные, но нет согласных, то и в языке-предке, на котором говорили 20 или даже 50 тысяч лет тому назад, должны были быть и гласные, и согласные. То есть «должны были» — наверное, чересчур сильное утверждение; теоретически могло быть и иначе. Но в этом случае заведомо ничего не реконструируется. То, что у лингвистов *получается* убедительная реконструкция праиндоевропейского языка (V тысячелетие до н. э.) или даже чуть менее убедительная, но все же строго аргументированная и реалистичная реконструкция праностратического языка (X–XII тысячелетие до н. э.), автоматически означает, что эти праязыки подчинялись тем же самым закономерностям, что и современные. И ничего удивительного в этом нет — вот, скажем, выдающийся американский ученый, один из основоположников современной лингвистики Наум Хомский считает, что большинство этих закономерностей вообще составляет «универсальную грамматику», базисные структуры которой в нас заложены чуть ли не на генетическом уровне (а дальше уже заполняются конкретным «материалом» в зависимости от того, в какой языковой среде мы вырастаем).

Получается, что языки наших древних предков вообще ничем не отличались от тех языков, на которых мы говорим сегодня? В это трудно поверить — а как же разговоры о ключевых отличиях «первобытного менталитета» и т. п., ведь язык и менталитет должны быть неразрывно связаны?

Г. С.: Разумеется, «сверхдревние» и «современные» языки должны были сильно отличаться, так сказать, контентом — конкретным словарным, а иногда и грамматическим наполнением универсальных структур. Причем точно таким же образом, каким, например, отличаются и сегодня языки индустриальных обществ от языков немногочисленных остав-

шихся племен охотников и собирателей. Для людей, рождающихся и всю жизнь живущих в своей родной среде, не существует огромного количества реалий, актуальных для других людей, и это, понятным образом, отражается в словарном составе языка.

Однако все это совершенно непринципиально. Понятно, что в языках южноафриканских бушменов до знакомства с европейской цивилизацией не было слова ни для 'ружья', ни для 'авторучки', ни для 'машины' и т. п. — однако, как только эта цивилизация рядом с ними появилась, все эти слова в их языки тут же были заимствованы и без малейших проблем стали употребляться по обычным законам этих языков. С другой стороны, в тех же бушменских языках есть огромное количество лексики, обозначающей различные виды съедобных и лекарственных растений, — столько слов, причем активно употребляемых, для обозначения такого количества видов, что у нас даже сельскому жителю, скорее всего, не снилось, не говоря уже о городском.

Менталитет первобытного человека, может быть, в деталях, в том числе и существенных, отличен от менталитета человека «современного» (как бы ни трактовать смысл этих терминов), но это не отражается ни в глубинной структуре языка, более или менее единой по всему земному шару, ни в базовых «бытовых» концептах. У какого-нибудь слова 'ухо' в разных языках мира могут быть совершенно разные коннотации — одни народы проводят ассоциативную связь между 'ухом' и 'листом' дерева, другие — между 'ухом' и 'отверстием, дыркой' (ср. 'игольное ушко'), но факт тот, что в каждом языке мира есть слово 'ухо' = 'выступающая часть головы, с помощью которой можно слушать'. И если в том языке, который мы реконструируем, такого слова не оказывается, это по меньшей мере подозрительно.

Так вот — хоть мы и не *знаем*, как конкретно выглядел «язык Адама», а можем только догадываться, маловероятно, что язык в одночасье возник как сложная система. С того момента, когда человек впервые воспользовался всей новоприобретенной мощью своего эволюционировавшего речевого аппарата, должно было пройти немало времени, прежде чем из этого «протоязыка» сложился язык как многоуровневая организация, со своей морфемикой, сложным синтаксисом и т. п. И как раз *этот* этап, этап «становления» языка, компаративистика и не изучает — у нее

для этого просто нет возможностей. Если все языки мира и восходят к общему предку, и реконструкция этого общего предка — в пределах возможностей компаративистов, то, скорее всего, предок этот — лишь один из *нескольких* полностью сложившихся языков, существовавших в тот момент (скажем, 50 или 70 тысяч лет тому назад) на планете. Какие у него были «родственники», исчезнувшие бесследно, — мы не узнаем. Из чего он возник — мы тоже не узнаем.

Таким образом, компаративистика и глоттогония — это принципиально разные области науки?

Г.С.: Безусловно. Настолько разные, что хорошо известно классическое постановление Парижского лингвистического общества от 1866 года — полный запрет на обсуждение темы происхождения языка как вопроса, на который в принципе невозможно получить позитивный ответ. Кажется, этот запрет даже не был официально отменен, что, впрочем, не помешало новым теориям происхождения языка появляться на свет с завидной регулярностью и в XIX, и в XX веке.

Но в принципе в занятиях глоттогенезом нет ничего предосудительного, если опираться на подходящие для этого области науки — лингвистическую типологию и теорию «универсальной грамматики», нейрофизиологию, изучение детской речи, сравнительное изучение коммуникативных систем живых организмов, антропологию, палеонтологию и т. п.¹ Трагедия начинается только тогда, когда человек начинает искать «первокорни языка» в конкретных звуках и словах живых или реконструированных языков. Он при этом может считать, что занимается «наукой», или даже конкретно «компаративистикой», но на самом деле он в лучшем случае занимается бездоказательным гаданием, а в худшем — откровенно антинаучным разглагольствованием.

Классический и, увы, глубоко трагический пример — деятельность академика Николая Яковлевича Марра (1865–1934), который начинал как вполне компетентный исследователь кавказских языков (и за это

¹ Интересующимся общей теорией происхождения языка и новейшими исследованиями в этой области можно в качестве введения порекомендовать монографию: Бурлак С. А. Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы. М., 2011.

вполне заслуженно получил все свои титулы еще в дореволюционный период), но впоследствии увлекся собственными «революционными» концепциями происхождения и конкретных языковых семей, и языка вообще и на этой почве скатился буквально в сумасшествие. К сожалению, одно ему удалось отменно — придать своей теории «марксистскую» окраску, в результате чего школа Марра получила официальное признание и поддержку советской власти и на протяжении двадцати лет доминировала в советском языкознании¹.

Одним из фундаментальных постулатов его так называемого Нового учения о языке была «теория трудовых выкриков», согласно которой в основе всех слов во всех языках мира лежат четыре языковых «первоэлемента»: САЛ, БЕР, ЙОН, РОШ. Почему именно четыре и с помощью какой научной процедуры они получены — об этом история умалчивает, но, по-видимому, этих четырех слогов Марру хватало, чтобы из них, с помощью хаотических, не подчиняющихся никаким правилам перестановок и изменений артикуляции получать любое слово любого языка. Например, *Рос-сия*, *рус-ский* (и, конечно, *эт-рус-ки*) — производны от элемента РОШ, и т. п.

Здравомыслящие и образованные люди над этой «теорией» могли только смеяться (но, разумеется, не в открытую, до тех пор, пока в 1950 году марризму не положил конец лично Сталин, которого удалось убедить в несостоятельности этой антинаучной галиматии грузинскому лингвисту А. С. Чикобава), но дело в том, что при соблюдении определенной стилистики изложения такие сумасшедшие рассуждения могут оказаться соблазнительными для людей, малосведущих в лингвистике. И даже несмотря на то, что марризм в худших его проявлениях, казалось бы, давно закопан и забыт, все равно с завидным постоянством различные его потомки регулярно всплывают на поверхность — безусловно, за академическими рамками, но нередко при этом получая широкое хождение «в народе». За примерами далеко ходить не надо — почитайте текст какого-нибудь интервью или выступления нашего уважаемого юмориста М. Задорнова (ужас ситуации в том, что сам он, на мой взгляд, скорее «прикалывается» со своими «этимологиями» русских слов,

¹ Подробно и увлекательно жизнь, деятельность и влияние Н. Я. Марра описаны в научно-популярном исследовании: *Алпатов В. М. История одного мифа. М., 1991.*

но многие его слушатели/читатели, увы, охотно заглатывают наживку и принимают все сказанное за чистую монету), или... впрочем, нет, не будем упоминать «лингвофриков» конкретно по именам, чтобы не делать им лишней рекламы.

Сухая правда в том, что все эти поиски «языка Адама», «сакрального первоязыка человечества» и т. п. — *нефальсифицируемы*, если применять классический критерий Карла Поппера: ни «теория» Марра, ни какой-либо аналогичный бред, развиваемый сегодня его последователями, не получены в рамках применения какого-либо научного метода, и поэтому не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты. (Поэтому главный довод такого рода людей, если с ними вступать в дискуссию, — «а вы *опровергните* наши выводы, раз вы этого не сделали, значит, они имеют право на существование!» — на самом деле бессмыслен: нельзя же «опровергнуть» утверждение о том, что Вселенная была создана Летающим макаронным монстром.) А если так, то все эти «теории», по большому счету, равновероятны — и, следовательно, бессмысленны, поскольку смысл науки в том, чтобы найти либо *единственно верный* ответ на вопрос, либо *максимально вероятный* из множества альтернативных ответов.

Поэтому еще раз подчеркну — здесь и ниже мы будем говорить о компаративистике как науке, оперирующей на базе фактов и методов, что и позволяет ей *формулировать высоковероятные гипотезы* о нашем далеком прошлом, а не заниматься созданием иногда красивых, иногда забавных, но все же сказок.

Еще один вопрос на тему аналогий между лингвистикой и биологией. Заимствования из одних языков в другие — можно ли их изучать теми же самыми методами, какими биология исследует, например, горизонтальный перенос генов? Или наложение одного языкового субстрата на другой язык?

Г. С.: Вряд ли «теми же самыми методами», но и здесь некоторая почва для аналогии, безусловно, есть. В лингвистике существует такое понятие, как «языковой союз» (изначально — немецкий термин Sprachbund), принципиально отличное от «языковой семьи»: оно применяется по отноше-

нию к нескольким языкам из *разных* языковых семей или групп, которые волей судеб оказались размещенными на смежных территориях. Скажем, на Кавказе, где рядом друг с другом живут языки нахско-дагестанские, абхазо-адыгские, картвельские (грузинский), тюркские (азербайджанский), индоевропейские (армянский; осетинский, относящийся к иранской группе). Или на Балканах, где, правда, в основном представлены языки индоевропейской семьи, но совершенно разных групп — славянские (сербско-хорватский, болгарский и др.), греческий, албанский, романские (румынские) и т. п.

В таких ситуациях люди, говорящие на разных языках и даже принадлежащие к разным народностям, тем не менее регулярно контактируют друг с другом, женятся друг на друге и т. п., что в конечном итоге приводит к элементам языкового «смещения» — развитию некоторых общих особенностей, характеризующих все языки «союза», но не унаследованных ими от общего предка, а полученных «горизонтальным» способом. Например, характерной особенностью кавказского «союза» является наличие в подавляющем большинстве языков Кавказа так называемых абруптивных согласных — аналогичных русским *n, m, k* и др., но произносящихся с образованием дополнительной смычки в области гортани и поэтому, на наш слух, звучащих «резко». Есть они в том числе и в осетинском — «чистокровном» иранском языке, притом что в большинстве иранских языков, распространенных за пределами Кавказа, таких согласных отродясь не было. В каком-то смысле это и есть аналог «горизонтального переноса генов» в биологии — за исключением того, что в живых организмах такой перенос характерен в первую очередь для примитивных форм (вирусов, бактерий и т. п.), а в языках это происходит сплошь и рядом.

Внутри биологических видов, как известно, бывает и скрещивание — правда, как правило, особи, полученные в результате скрещивания, сами оказываются бесплодными. Здесь тоже иногда пытаются провести аналогию с лингвистикой. Например, тот же Н. Я. Марр активно развивал теорию, согласно которой новые языки обычно образуются не через дивергенцию (разделение), а путем *конвергенции*, то есть «языкового скрещивания». Впрочем, эту концепцию в том или ином виде разделяло и немалое количество вполне серьезных лингвистов (например, великий во многих

отношениях ученый Н. С. Трубецкой, который пытался доказать, что индоевропейская семья языков образовалась не из-за последовательного расщепления одного языка-предка, а в результате своеобразного «взаимного притяжения» многих исходно разных языков).

Сегодня, однако, представление о конвергенции как о серьезном движущем факторе возникновения новых языков почти никем не разделяется. В большинстве случаев даже внутри «языковых союзов» язык, подверженный серьезному влиянию извне, все равно сохраняет своеобразный «генетический костяк» (из чего конкретно он состоит, мы обсудим позже). Скажем, на русский язык за последнюю тысячу лет влияние оказывали и его финно-угорские соседи (повлиявшие, в том числе, и на его звуковой облик), и тюркские кочевники, принесшие с собой гигантский пласт заимствований (от *боярина* и *богатыря* до *башмака* и *таракана*), и, разумеется, европейские языки — голландский, немецкий, французский, английский и другие. В этом смысле русский — как и любой другой язык, в котором есть хотя бы одно иноязычное заимствование — можно, если угодно, называть «смешанным» языком. Но в плане своего происхождения русский язык был, есть и всегда будет оставаться (а) славянским и (б) индоевропейским. (Поэтому, кстати, все столь популярные сегодня причитания об «угрозах», которые «пресмыкание перед Западом» несет для русского языка, — абсолютная бессмыслица: заимствования такого рода, какие сегодня наблюдаются в русском языке из английского, только обогащают потенциал языка, а вовсе не приводят к его исчезновению.)

«Смешанных» языков, устроенных по принципу «пятьдесят процентов всего взял от 'языка-папы', пятьдесят — от 'языка-мамы'», *практически* не бывает. В очень редких (относительно всех остальных) ситуациях возникают так называемые креолы — как правило, это случаи, когда «туземное» население входит в контакт с более продвинутым в технологическом отношении «пришлым» населением (поэтому «креольские» языки чаще всего образовывались в колониальную эпоху, на стыке языков коренного населения Африки, Америки, Океании и языков европейских колонизаторов — английского, французского, испанского, голландского). Как правило, креольский язык — это своего рода «плохо выученный» язык пришельца-колонизатора, от которого довольно хорошо усваивается лексика и очень плохо — грамматика. Какое-нибудь «хиповское» «поспикал

с кульной герлой, подринкал вайну» — вот это типичный случай «креолизации»: знаменательные слова в массе своей английские, а грамматическое их оформление остается русским. Но «хиповский» жаргон как был, так и остался явлением отдельной субкультуры (к тому же стремительно уходящей в прошлое), а «креолы», наоборот, тем и знамениты, что стали в конечном итоге родными языками для немалого числа людей. (Креольский язык «ток писин», например, имеющий статус официального языка в Папуа-Новой Гвинее, — сегодня родной язык примерно для 50 000 человек и язык межнационального общения еще для нескольких миллионов; по сути он представляет собой страшно «ломаный» английский, посаженный на местную австронезийскую основу.)

Креолы — серьезная проблема для лингвиста-классификатора, и мы к ней еще вернемся, когда будем говорить о критериях установления языкового родства. Но вне зависимости от того, какое решение для нее будет предложено, никто не станет спорить с тем, что «креолизация» — это все-таки исключительное явление. В стандартной ситуации языкового развития, не предусматривающей «столкновения двух миров», аналогичного тому, которое произошло в эпоху европейской экспансии и колонизации в XVI–XIX веках, «горизонтальные» связи между языками ограничиваются заимствованием отдельных элементов лексики и, гораздо реже, грамматики, не затрагивающим основные структуры и фундаментальные «сущности» контактирующих языков. «Гибридизация» же в языковой истории человечества — явление, скорее сопоставимое с чем-то вроде искусственного выведения пород и сортов животных, чем с естественной биологической эволюцией.

Значит, скажем, язык суахили в Восточной Африке — это не смешанный бантуско-арабский язык?

Г. С.: Ни в коем случае. Ведь суахили не возник в результате установления торговых отношений между банту и арабами. Суахили — вполне нормальный язык из большой африканской семьи языков банту. Как родным им в Танзании и ряде прилегающих стран пользуются порядка 5 миллионов человек, что, в принципе, не так уж и много (хотя по стандартным африканским меркам, конечно, и немало: в среднем на произвольно взя-

том африканском языке обычно говорят от одного до, максимум, нескольких десятков тысяч человек). Но суахили «повезло»: его носители проживали в районах схождения крупных торговых путей, и это в конечном итоге привело к тому, что именно суахили стал языком межплеменного и межнационального общения на колоссальных территориях Восточной и Центральной Африки. Что касается арабского, то местное население, действительно, вместе с исламом, который они приняли в начале II тысячелетия н. э., усвоили и огромное количество арабской терминологии. Но арабизмы не проникли в «сердце» языка суахили — по своей генетической классификации он остается принадлежащим к группе банту, и только к ней.

История знает очень много примеров массивной «бомбардировки» языков заимствованиями извне, которая тем не менее привела к ассимиляции этих заимствований — вынужденных как бы «играть по правилам» того языка, в который они заимствуются. Это и огромный пласт французских заимствований в английском после норманнского завоевания в XI веке, и арабизмы в персидском и других языках Ближнего Востока и Центральной Азии, и китаизмы в японском, корейском, вьетнамском, тайском и других языках Юго-Восточной Азии, и «русизмы» в большинстве языков малых народов СССР и РФ. Ни один из этих языков не принято называть «генетически смешанным». Это нужно помнить — в самом крайнем случае термин «смешанный» применим только к языкам-креолам, подавляющее большинство которых совершенно не находятся на слуху у широкой публики, а, скажем, называть английский язык «смешанным германско-романским», что иногда приходится слышать от непрофессионала, нельзя, потому что тем самым мы затираем существенное различие между языком, который «просто» открыт к заимствованиям, и языком-креолом, который в историческом плане действительно образовался из двух других.

Нужно понимать, что любой язык может заимствовать из любого другого столько слов, сколько он пожелает, — но поменять своего «генетического предка» язык не может. Это примерно как поменять родных отца с матерью — при всем желании не получится. Можно уйти от родителей, можно получить вместо отца отчима или вместо матери мачеху, можно даже вообще не знать своих родителей, но в плане генетики

от собственного отца с матерью «уйти» невозможно. Язык, в общем-то, устроен точно так же: порвать со своей историей он не может. Что бы ни произошло в будущем с английским языком, он никогда не перестанет быть по происхождению ни германским, ни индоевропейским. Возможности здесь только две: остаться принадлежащим к германской группе индоевропейской семьи — или умереть.

Да, на базе английского языка в будущем могут еще складываться, как и в прошлом складывались, новые языки-креолы (в очень умеренном количестве), но естественный язык не «превращается» в креол — скорее креол «отпочковывается» от естественного языка (если соблюдать терминологическую точность, то сначала такое «отпочкование» проходит через так называемую стадию языка-пиджина, используемого для межнационального общения в профессиональных — чаще всего торговых — целях, а если в силу тех или иных обстоятельств этот пиджин для кого-то уже становится материнским языком, то тогда он трансформируется в полноценный креол)¹. Поэтому креолистика обычно стоит где-то на обочине сравнительно-исторического языкознания: креольских языков в мире мало, образовались они почти все в условиях «нового времени», было ли это явление хоть как-то распространено в глубоком прошлом — неясно. В общем, не в обиду будь сказано нашему замечательному социолингвисту Владимиру Ивановичу Беликову, большому специалисту по пиджинам и креолам и, так сказать, регулярному защитнику их интересов на скамье исторической лингвистики, тема «смешанности языков» вряд ли когда-нибудь станет ключевой для ее дальнейшего развития.

А как быть с представлением о «порче» языка? Вот, например, «японский английский» — можно это считать неправильным, искаженным языком?

Г. С.: Что значит неправильным? Кем искаженным?

Носителем.

¹ Подробно об особенностях образования и функционирования пиджинов и креолов можно узнать из учебника: Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. М., 2001.

Г. С.: Но в Японии же нет носителей английского языка в том смысле, в котором обычно понимается этот термин. Английский язык для японца — неродной.

Но говорит на нем огромное количество японцев.

Г. С.: Разумеется, но одно дело — родной язык, и совершенно другое — когда ты этому языку учишься в школе, пусть даже начиная с самого раннего возраста. Поэтому, скажем, «американский английский», который для американцев действительно родной, — это совершенно не то же самое, что «японский английский» или «русский английский».

Если японец учится иностранному языку в школе и делает в нем ошибки — это, конечно, «порча» языка. Если одни и те же ошибки делают *много* японцев из-за того, что усвоить норму чужого языка им мешают привычные для них структуры родного языка, — это тоже «порча». Так, в частности, возникает акцент — например, в японском языке нет звука *л*, и для японца естественна тенденция вместо *л* в иностранных языках подставлять наиболее близкий к нему по способу артикуляции звук *р*. Если японец вместо английского *like* произносит *райк* — это «неправильно». Но «неправильность» — понятие сугубо относительное. Представим себе ситуацию, при которой часть японцев по какой-то причине усвоила английский язык в качестве *родного* и начала использовать его в первую очередь для того, чтобы общаться между собой, а не с англичанами или американцами. В этом случае произношение *л* как *р* уже не будет «ошибочным», а, наоборот, станет нормативным для «японского диалекта английского языка». Собственно говоря, во многих случаях ровно по этой схеме и возникали новые диалекты, из которых потом развивались новые языки. Например, современное разнообразие романских языков, от румынского до французского и португальского, совершенно неузнаваемых по сравнению с классической и даже «народной» латынью, во многом связано с тем, что все это — бывшие латинские диалекты, выработанные среди первоначально нелатиноязычного населения Дакии, Галлии и Испании и неизбежно впитавшие в себя индивидуальные «акценты» тех языков, на которых изначально говорило это местное население.

А разве такие случаи не подпадают как раз под определение «смешанных» языков? Это не то же самое, что и «креолизация»?

Г. С.: Ни в коем случае. Чисто умозрительно можно себе представить, что в разных уголках Римской империи на стыке местных языков и латыни возникали пиджины и креолы. Но ни один из современных романских языков «креолом» назвать невозможно! Вся «база» этих языков — и их звуковой состав, и их грамматика, и основная лексика — процентов на девяносто, а то и больше, выводится из латыни. Местные языки, на котором население латинизированной части Европы говорило первоначально, оказали лишь косвенное влияние — послужили своего рода «катализатором» изменений, но конкретных материальных следов (в виде отдельных слов и, тем более, грамматических морфем) оставили очень мало. Это такие языковые элементы, которые обозначаются упоминавшимся выше термином *субстрат* — остатки, унаследованные одним языком от другого после того, как население сменило язык.

Например, французский язык в генетическом плане происходит от латыни, а не от галльского, который латынь довольно быстро вытеснила после завоевания Галлии Юлием Цезарем в 50-е годы до н. э. Это не мешает ему сохранять порядка двух-трех сотен (точное количество, разумеется, спорно) слов галльского происхождения — например, *mouton* 'овца', *sapin* 'ёлка' и другие. Но этих элементов так ничтожно мало по сравнению с остальными, что формально их можно рассматривать как «заимствования из галльского» на раннем этапе складывания французского языка. Хотя, конечно, в реальности они не «заимствовались», а скорее «сберегались» из предыдущего языкового слоя.

Такой вопрос: раньше в школах учили в основном мертвые языки — в средневековье и в классических гимназиях вплоть до XX века, латынь и греческий. В XX веке стали в более массовом порядке учить живые — немецкий, французский, итальянский, английский и другие. Это затронуло такое количество сотен миллионов человек, которого, пожалуй, в прошлые столетия не существовало. Это как-то влияет принципиально на языковые изменения? Скажем, опосредованно, через те же заимствования?

Г.С.: Нет, никакой принципиальной роли это не играет. Какую роль играла, скажем, средневековая латынь в процессе языковых изменений в средневековой Европе? Она, безусловно, обогащала европейские языки в плане лексики — прежде всего, литературные, «изысканные» варианты этих языков, из которых отдельные латинизмы постепенно просачивались и в «вульгарную» речь простого народа. Точно так же, как разные изводы старославянского, функционировавшего как язык священных христианских текстов, пополняли лексику «высокого стиля» русский и другие славянские языки. Это естественный процесс, характерный для любого культурного ареала, где образовался престижный письменный язык священных текстов или просто высоко развитой цивилизации (латынь, греческий, санскрит, арабский, китайский и т. п.).

А что в сравнении с этой ситуацией изменилось сегодня? Да, в общем, ничего. Действительно, образовательные программы сегодня ориентируются скорее на живые, чем на мертвые языки. Но это всего лишь означает, что «престиж» сегодня сменил, если можно так выразиться, ориентацию — с «культурной» на «экономическую». В остальном — все то же самое. Если говорить о пресловутой «глобализации», то сегодняшнее глобальное влияние английского на другие языки ничем принципиально не отличается от средневекового влияния латыни. Заимствуются другие слова, заимствуются, возможно, в большее количество языков, чем раньше (хотя это спорный момент), но на стандартные механизмы языковых изменений это никак не влияет.

Хотелось бы сказать, что у нас, например, сегодня на порядок больше людей стало использовать английский язык — в советское время он был мало кому нужен.

Г.С.: Безусловно. Но проникновениям заимствований способствует не *изучение* языка, а его *использование*. Может быть, в советское время общее число людей, изучавших в школе английский язык, было и не сильно меньше, чем сегодня. Но не было причин, побуждавших людей использовать новые слова английского происхождения в повседневной речи (за исключением, опять-таки, представителей молодежных субкультур, языковое влияние которых на общество *в целом* было пренебре-

жительно малым). С открытием границ и перестройкой социальной и экономической системы ситуация изменилась — возникли новые реалии, от «компьютеров» и «маркетинга» до «брокеров», «дилеров» и даже, увы, «киллеров», и для всех этих реалий требовались новые слова, которые в таких ситуациях проще и удобнее заимствовать из языка-донора, а не придумать на собственной почве (опять-таки ревнителям «языковой чистоты» стоит здесь помнить, что это процесс совершенно естественный, ничуть не более «вредный» для современных языков, чем для каких-нибудь языков соседних племен донеолитической эпохи).

И тем не менее можно ли сказать, что английский язык оказал «существенное» влияние на «постперестроечный» русский? Нет, и никакого такого влияния в ближайшем будущем не предвидится. «Существенное» влияние английский сегодня оказывает на языки национальных меньшинств в англоязычных странах — в том плане, что эти языки (североамериканских индейцев, австралийских аборигенов и т. п.) просто вымирают, точно так же, как и в России носители уральских, енисейских, тунгусских, камчатских языков ассимилируются русскоязычным большинством. Заимствования же, пусть даже массовые — это для языка, который существует не в вакууме, а в окружении других языков, естественное, а не «чрезвычайное» состояние. И в этом плане XX век не стоит как-то активно противопоставлять XIX или даже XIX до н. э.

То есть, условно говоря, англицизмы в современной русской компьютерной и экономической лексике ничуть не более экзотичны, чем голландская терминология во времена Петра I, или французская или немецкая в последующие эпохи?

Г. С.: Более того — они ничуть не более экзотичны, чем, например, открытые сравнительно недавно заимствования сельскохозяйственных и скотоводческих терминов из древних языков Северного Кавказа в столь же древние диалекты праиндоевропейского языка¹. Или заимствования из алтайских языков в древнекитайский, о которых мы уже упоминали.

¹ См. статью С. А. Старостина: Индоевропейско-северокавказские изоглоссы (1988 г.; перепечатана в: *Старостин С. А. Труды по языкознанию. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 312–358*).

Но, кстати говоря, для того чтобы это обнаружить — для того чтобы показать озабоченной общественности, что никакой «языковой катастрофы» ни с русским, ни с другими языками в сегодняшнем мире не происходит, а имеют место примерно те же самые процессы, которые сопровождали развитие человеческого языка с того самого момента, когда он разделился на несколько языков, — для этого, в частности, и необходимо развитие сравнительно-исторического языкознания. Потому что язык — это сложная система с массой сюрпризов и секретов, и человек, не имеющий объективного представления об истории собственного языка, но любящий при этом порассуждать на лингвистические темы, очень легко может прийти, мягко говоря, к неразумным выводам на основании произвольной и/или предвзятой трактовки фактов.

Беседа II. Как работает компаративист? [Собеседник — Г. С. Старостин]

Е. Сатановский: Прежде чем начать наше «лингвопутешествие» по разным уголкам планеты, до которых добрался человек со своим языковым разнообразием, стоит, наверное, узнать о том, какой вообще научной методологией обладает компаративистика, каким образом достигаются результаты?

Г. С.: Безусловно. В предыдущей беседе мы затронули отдельные, так сказать, «базовые постулаты» компаративистики — это, во-первых, трактовка языкового разнообразия как следствия длительного «языкового деления», с возможностью представить результат в виде классификационной схемы-дерева; и, во-вторых, необходимость опираться на системные закономерности, а не на случайные сходства. Но это — общие слова, такая своеобразная «конституция» компаративиста, а каждодневная работа ученого, помимо этого, должна опираться и на гораздо более конкретные «методические инструкции». Вот они и будут основной пищей для нашего второго разговора.

Можно, конечно, просто опустить эту тему как слишком «техническую» и перейти непосредственно к разговорам о языковых семьях. Но это очень нежелательно. Дело в том, что компаративистика — наука, во-первых, достаточно молодая (двести лет — ничто по сравнению с теми дисциплинами, которые ведут отсчет ну хотя бы от Аристотеля); во-вторых, не такая популярная и общеизвестная, чтобы за эти двести лет успело сложиться большое научное сообщество, объединенное общей методикой, «вес» которого достаточен для того, чтобы отводить от занятий сравнительным языкознанием людей, мягко говоря, эксцентричных (а иногда и откровенно психически неуравновешенных) — та-

ких, которые считают, что ограничивать себя в таких исследованиях вообще не надо, а полагаться следует исключительно на то, что «очевидно».

Такого рода людей, наверное, достаточно встречается в любой науке — вряд ли компаративистика в этом плане занимает какое-то исключительное положение.

Г. С.: Исключительное только с точки зрения процентного соотношения: очень нездоровое соотношение любителей и «фриков» на серьезных ученых. Первых, по-видимому, действительно не больше и не меньше, чем фанатов торсионных полей, мистической энергетики пирамид, «новой хронологии» и тому подобной чепухи, а вот вторых — ощутимо меньше, чем обычных историков, археологов, биологов, физиков и т. д. Причем часто приходится наблюдать очень тонкую градацию неадекватности. Много так называемой «компаративистики» подается якобы под научным соусом, люди заверяют в «верности идеалам» то отца-основателя компаративистики Уильяма Джонса, то основателя ностратики Иллич-Свитыча, то еще кого-нибудь, но с первых же строчек обнаруживают непонимание этих идеалов. (Мне, как одному из редакторов журнала «Вопросы языкового родства», увы, приходится сталкиваться с такими ситуациями на регулярной основе.) В итоге оказывается, что очень многие — не только общая читательская публика, но даже и та ее часть, для которой результаты компаративистов особенно важны, то есть наши коллеги-генетики, археологи, палеоантропологи и т. п. — зачастую не очень хорошо представляют себе, как отличить серьезное, заслуживающее самого пристального внимания, исследование по сравнительно-историческому языкознанию от исследований очень низкого уровня или даже откровенно антинаучного бреда.

Ровно для того, чтобы как-то изменить это положение дел, как мне кажется, и нужно постоянно заниматься наглядным разъяснением того, что неофициально называется «кухня компаративиста» — показывать общественности не только то, *что* получается в ходе работы, но и то, *как* мы приходим к нашим результатам. В противном случае все это похоже на чистой воды фокусничество — вытащил кролика из пустоты, не объ-

яснил суть трюка, и заинтригованный народ расходится по домам запикивать бедных животных в шляпы. Очень важно понимать, какие языковые данные для сравнения релевантны, как конкретно должно быть устроено сравнение, как научиться отличать случайности от закономерностей, как отличать генетические связи от ареальных и многое другое.

Каков вообще по численности порядок специалистов-компаративистов? Тысячи людей, сотни..?

Г. С.: Специалистов, профессионально и на регулярной основе занимающихся отдельными аспектами сравнительно-исторического языкознания, довольно много. Думаю, что две-три тысячи по всему миру точно наберется, может быть, даже больше. Но над «глобальными» вопросами компаративистики — разработкой теории, общей методологией, и уж, конечно, глубоким родством языков — из них трудится абсолютное меньшинство. В такой ситуации ничего обидного нет — это типично для любой науки, в которой специалисты узкого профиля, как правило, численно доминируют над специалистами широкого (и, в общем, так и должно быть — лучше быть специалистом узкого профиля, чем дилетантом широкого; люди же такого калибра, как В. М. Иллич-Свитыч или Джозеф Гринберг, которые были способны раскидывать свои сети максимально широко, не теряя при этом голову, представляют собой исключительные явления).

Обидно другое — а именно то, что подавляющее большинство этих специалистов до сих пор предпочитают применять свои способности в области индоевропейского языкознания. Объяснить это опять-таки нелегко. Компаративистика как наука зародилась, возмужала и заматерела в западных университетах — Германии, Франции, Италии, России и т. д. — и нет ничего удивительного в том, что основным ее объектом с самого начала были те языки, на которых, собственно говоря, и зиждется западная цивилизация: латинский, древнегреческий, древнегерманские, старославянский и как бы «примкнувшие» к ним, оказавшись с ними удивительно однородными, языки древних текстов индийской (санскрит) и иранской (авестийский) цивилизаций. Ну и, разумеется, их потомки — в первую очередь языки средневековой и современной Европы.

Конечно же, люди приходят к сравнительно-историческому языкознанию, как правило, не через таблицы фонетических соответствий, которых они в детстве не видят (а если видят, то убегают, поскольку это «скучно»). Приходят они к нему — если это действительно «от души», а не просто судьба так случайно сложилась — через что-нибудь вроде книжки «Мифы древних кельтов». Или даже через Толкиена с его «Властелином колец». Это, кстати, достаточно частый сценарий: в детстве человек увлекается Толкиеном, через Толкиена приходит к германской и кельтской мифологии, через мифологию приходит к конкретным языкам, а через языки — к индоевропеистике и сравнительно-историческому изучению индоевропейских языков как таковых. Ну и, разумеется, через собственную культуру — например, в славистику, даже чисто лингвистическую, люди часто попадают, так сказать, в поисках «корней», будь то увлечение культурой православной или, наоборот, древней языческой.

Таким образом, если в мире, паче чаяния, и наберется десять тысяч специалистов по сравнительно-историческому языкознанию, то можно уверенно предсказать, что семь-восемь тысяч из них будут либо индоевропейцами широкого профиля, либо более узкого — слависты, германисты, романисты, кельтологи, индологи и т. п. Из оставшейся группы львиная доля будет заниматься теми языковыми семьями или группами, которые можно условно обозначить как «культурно значимые» — или, точнее, «письменно-культурные»: языки с древней письменной историей, такой, которой всегда сопутствовал мощный цивилизационный подъем. Их за пределами индоевропейской семьи очень мало. На Дальнем Востоке — китайский, японский, в меньшей степени популярны корейстика, вьетнамистика. В Средней Азии — тюркская семья с ее полутора-тысячелетней историей. На Ближнем Востоке — разумеется, семитские языки: арабский, иврит, древние клинописные языки, такие как аккадский или угаритский. В Африке — древнеегипетский, в сильно меньшей степени языки банту. В Америке — разве что индейцы майя, очень «раскрученная» сегодня тема (у всех на слуху — уникальные иероглифы, загадочный календарь, якобы заканчивающийся в 2012 году, Мел Гибсон и т. д. и т. п.) — это притом что, вообще говоря, на территории Америки сегодня в живых остается еще примерно девятьсот других языков.

С другой стороны, каким-нибудь дравидийским языком гонди, на котором говорит несколько тысяч человек в индийских джунглях, занимается, может быть 4–5 человек во всем мире — и, разумеется, не специально языком гонди, а сравнительным изучением дравидийских языков вообще. Вряд ли можно найти человека, который решит всю свою научную жизнь посвятить изучению языка гонди, хотя занятие это на самом деле гораздо более интересное, чем может показаться тем, кто считает, что отдельного изучения «заслуживают» только языки с высоко развитой письменной культурой и литературной традицией.

А в чем, собственно говоря, заключается несправедливость? Ведь это же естественно — чем дольше существует письменность и литературная традиция, тем богаче и сложнее становится язык и, соответственно, тем больший интерес он и вызывает у будущих специалистов.

Г. С.: Богатство и сложность — понятия относительные. С точки зрения сложности устройства базовых структур (фонетики, грамматики) многие бесписьменные языки, с которыми европейские специалисты впервые познакомились триста или двести лет тому назад, дадут серьезную фору языкам письменным. Овладеть всеми тонкостями, скажем, глагольного спряжения каких-нибудь алгонкинских языков в Канаде, нилотских в Кении или кетского на Енисее — гораздо сложнее, чем выучить спряжение латинского или греческого глагола, которые среднестатистическому европейскому гимназисту в свое время казались особо изощренной пыткой.

В плане конкретной научной работы с этими языками привлекательно в первую очередь обилие материала. Древние рукописи (или клинописные таблички, стелы, надгробия и т. п.), каждая из которых легко вписывается в хорошо известную тебе традицию и одновременно с этим скрывает какие-то собственные «мини-тайны», — работа с практически нескончаемым потоком этого «сырья» важна, полезна и вместе с тем не сопряжена с особыми рисками (например, затеряться с никому не нужной экзотической специализацией). К тому же наличие письменной традиции означает, что в любой ситуации у исследователя в руках своего рода «якорь» — реальные, а не гипотетические данные. Заниматься, на-

пример, историческим развитием индоарийских языков или китайских диалектов гораздо спокойнее, когда есть доступ к древнему индоарийскому языку (санскриту) или к памятникам древнекитайского языка, из которого развились все современные диалекты.

Но если наша цель — это настоящая «лингвистическая палеонтология», попытка хотя бы частично восстановить историю возникновения языкового разнообразия на нашей планете, то для того, чтобы сложить этот гигантский пазл, вышеупомянутый язык гонди вполне может оказаться ничуть не менее значимым, чем китайский или санскрит. *Любой*, даже самый малый, вымирающий язык, на котором говорит пятьдесят человек где-нибудь в джунглях Амазонки или в снегах Гималаев, *может* сохранить отдельные архаичные черты, которые будут иметь огромное значение для реконструкции праязыка той группы, в которую он входит, а вслед за этим, может быть — и для реконструкции праязыков более глубоких уровней.

То есть часто задаваемый вопрос: «а какой язык самый древний?» — не так уж и бессмыслен, как можно было бы подумать?

Г.С.: Этот вопрос, действительно, задают очень часто, но он не столько бессмысленный, сколько некорректно поставлен: люди, задающие его, обычно сами не вполне понимают, что они имеют в виду. Если все языки восходят к одному предку, или даже к нескольким, появившимся примерно в одно и то же время, то все языки мира, конечно, «древние» в одинаковой степени: каждый из них — продукт многотысячелетнего развития из «языка Адама». Разный возраст могут иметь письменные памятники — но языков, имеющих хотя бы тысячелетнюю традицию письма, на нашей планете ничтожно малое число по сравнению с языками, обретшими письменность только в Новое время благодаря активным усилиям миссионеров и профессиональных лингвистов, или до сих пор остающимися бесписьменными.

Совершенно другое дело — понятие *архаичности*. Поскольку изменения в разных языках протекают с разной скоростью (зависит это от массы факторов, и к этому обстоятельству мы еще не раз вернемся), то в самой простой ситуации — разделение одного праязыка на два языка-потомка — вполне может получиться так, что по целому ряду параметров один из этих языков будет оставаться гораздо более похожим на праязык, чем его «брат».

В индоевропеистике, например, классический образец такого рода — это литовский и латышский языки, потомки прабалтийского. Оба, отделившись друг от друга примерно на рубеже нашей эры, развивались далее независимо на смежных территориях — но литовский при этом гораздо лучше сохранил общебалтийскую структуру слова и звуковой инвентарь, а в латышском произошли очень существенные изменения (скажем, слово 'дорога' в литовском сегодня звучит как *kelias* [кяляс], что довольно близко к древнебалтийскому состоянию, а в латышском — трансформировалось в *ceļš* [цельш]). Так что «древность» литовского и латышского, «языков-братьев», абсолютно одинакова, а вот «архаичность» — существенно различается: литовский по этому параметру значительно опережает латышский.

И в этой ситуации компаративиста, пытающегося проникнуть в глубь веков, разумеется, привлекают прежде всего «архаичные» языки. Неслучайно в учебниках по индоевропеистике развитие от праиндоевропейского к балтийским языкам иллюстрируется почти всегда на примере литовского, и лишь в исключительных случаях (обычно уже на продвинутом этапе изложения) иногда возникает необходимость подключить латышские данные. Конечно, «архаичность» — тоже понятие относительное. Ведь язык — это сложная система; он состоит из разных уровней и подуровней, от фонетики до грамматики и лексики, и часто бывает так, что язык оказывается «архаичным» по одним параметрам и, наоборот, весьма «инновативным» по другим.

Например, среди индоевропейских языков древнеиндийский (санскрит) исключительно архаичен в плане грамматики — очень хорошо сохраняет древнюю систему именного склонения и глагольного спряжения. А вот, скажем, в плане сохранности звуковой системы он значительно уступает древнегреческому хотя бы потому, что в санскрите три основных индоевропейских гласных (*a, e, o*) слились в один *a*, и получить правильное представление об индоевропейской звуковой системе, не выходя за пределы индийской группы, невозможно. Есть и «лексическая архаичность» — степень насыщенности языка заимствованиями. В этом плане английский, скажем, намного менее архаичен, чем немецкий, из-за того, что очень большая часть исконного лексического фонда в английском языке заменилась на заимствования (сначала из скандинавских языков, затем — из французского).

А существуют ли какие-то корреляции, скажем, между степенью архаичности языка и наличием той же самой литературной традиции? Можно ли сказать, что обретение языком письменности помогает ему сохранить архаичные черты?

Г. С.: Это очень интересный момент. Казалось бы, так оно и должно быть? Мы знаем, что письменность обычно консервативна, не поспевает за развитием устного языка, из-за чего время от времени приходится устраивать «реформы орфографии» и т. д. И действительно, письменность часто сохраняет более древний облик слова, которое в устном языке уже могло измениться до неузнаваемости. Всем хорошо известный пример — запутанность английской орфографии, когда «пишется одно, а произносится совсем другое»; например, пишем *knight* (к-н-и-г-х-т) ‘рыцарь’, а читаем *найт*. Притом что в близкородственном немецком языке, фонетически более архаичном, то же самое слово до сих пор и пишется, и читается примерно одинаково: *Knecht* (кнехт).

Английская орфография, впрочем, — это цветочки по сравнению, в частности, с тибетской, сохраняющей литературную норму полутора-тысячелетней давности, в то время как официальный тибетский (диалект Лхасы, столицы Тибета) «мутировал» катастрофическим образом. Например, числительное 8 средствами тибетского алфавита передается как труднопроизносимая последовательность *brgyad* (бргйад) — а лхасцы произносят это примерно как *гяй!*

Но в том-то и дело, что письменная традиция может *зафиксировать* язык в его текущем состоянии — точнее, в том состоянии, в котором он пребывал на момент создания или кардинальной реформы системы письма — но она никак не может *законсервировать* язык живого общения, оградить его от дальнейшего развития, даже если в этом обществе уровень грамотности приближается к ста процентам (а ситуация эта до совсем недавнего времени не была свойственна вообще ни одному обществу).

«Помогло» ли изобретение письма, скажем, санскриту? Только в том отношении, что на письме удалось зафиксировать и донести до современности древние тексты — Веды и другую «сакральную» литературу — примерно в том виде, в котором они произносились брахманами в I тысячелетии до н. э. Но народ все это время говорил не на классическом санскрите,

а на его живых потомках, которые со временем все более и более отдалялись от первоисточника. Замедлился ли этот процесс с изобретением письменности? Думаю, что ни на одну секунду — подавляющему большинству жителей Индии было куда важнее прокормить себя и свои семьи, чем учиться грамоте и «культуре речи».

Более того — можно даже утверждать, что, наоборот, наличие письменной традиции в определенных условиях служит *катализатором* языковых изменений. Точнее, так: культуры, в которых существуют письменность и литературная традиция, с большей вероятностью окажутся говорящими на «инновативных», чем на «архаичных» языках.

Откуда такая связь? Дело в том, что письменные культуры, особенно древние, — это, как правило, своего рода «центры притяжения»: они развиваются в рамках «престижных» цивилизаций, продвинутых в технологическом, военном, образовательном аспектах, что непременно ведет к поглощению ими соседних культурных традиций и, в том числе, к лингвистической ассимиляции соседних народов. То есть там, где есть письмо (как один из ключевых признаков «цивилизации» как таковой), почти всегда есть и языковая экспансия — именно так китайский, латынь, арабский из языков отдельных маленьких племен превращались в языки огромных царств и империй.

Там же, где есть языковая экспансия и массы людей, ранее говоривших на своих племенных языках, из соображений престижности начинают говорить на «центральной» языке, со временем вырабатывается общенациональный, объединяющий всех носителей стандарт — и этот стандарт, скорее всего, будет несколько упрощенным по сравнению с «исходником». Например, латинскому языку удалось распространить свое влияние почти на всю Западную Европу — но только за счет больших потерь, например радикального упрощения грамматической системы классического латинского языка. В то время как Цезарь и Цицерон писали свои труды на «эталонной», литературной латыни, используя весь колоссальный набор ее выразительных средств, простые жители Римской республики, особенно за пределами города Рима, уже, скорее всего, общались друг с другом на совершенно ином варианте этого языка.

Если мы обратимся на восток, то увидим, что самые архаичные диалекты китайского раскинуты по южным провинциям страны, в значи-

тельном отдалении от столичных центров; самые консервативные диалекты тибетского все остаются на периферии, либо на крайнем востоке, либо, наоборот, на крайнем западе тибетского ареала, и так далее. Это, конечно, тенденция, а не универсальный закон, но тенденция очевидная — чем больше людей говорит на языке, тем больше его структуры изменяются по сравнению с древним состоянием.

Для компаративиста, озабоченного вопросами реконструкции, главное значение имеет не культурный или социальный статус языка, не количество великих литературных памятников, на нем написанных, а в первую очередь степень *сохранности* в нем элементов, унаследованных им от древних состояний. И это означает, что, когда мы приступаем к генетической классификации языков какого-то ареала и к реконструкции лингвистической предыстории этого ареала, *все* языки и диалекты этого ареала априорно «равны в правах». На одном языке, предположим, говорит сто миллионов человек, он зафиксирован письменно уже тысячу лет назад и обладает богатейшей литературной традицией — а на другом говорит тысяча человек, его записали пару лет назад, и от него известны только грамматика и небольшой словарь. И тем не менее есть шанс, что именно *этот* мелкий язык сохраняет такие архаичные черты, которые его «великий» сосед утратил еще до того, как обрел письменность.

Отсюда понятный вывод: для того чтобы сравнительно-историческое языкознание хоть как-то приблизилось к реконструкции «глубоких» хронологических слоев, ему нужно охватить *все* без исключения языки мира — про каждый язык следует уверенно понимать, насколько его можно считать архаичным хотя бы в пределах своей языковой семьи.

А не достаточно ли будет в этой ситуации какой-то разумной выборки? С опорой, например, на те языковые семьи, которые уже сегодня хорошо изучены?

Г. С.: Тут дело в том, что никто на самом деле не знает, какая выборка будет «достаточной». Для того чтобы делать выборку, нужно понимать, из чего, собственно говоря, мы выбираем и почему мы выбираем именно одно, а не другое. Аргумент «потому что эти языки / семьи лучше всего изучены» здесь категорически не годится.

Допустим, лучше всего изучены две семьи — индоевропейская и семитская. *Допустим*, мы хотим показать, что праиндоевропейский и прасемитский имеют общего предка. Вполне вероятно, что они действительно его имеют. Начинаешь сравнивать праиндоевропейскую реконструкцию с прасемитской — и действительно, попадаются очень похожие корни, но ведь мы уже говорили, что одним «сходством» ничего не решишь. Нужна система, нужны соответствия, хотя бы отчасти подобные тем, которые я в предыдущем разговоре перечислял для английского и русского языков. Между праиндоевропейским и прасемитским *напрямую* такая система если и прощупывается, то с очень большим трудом и на очень небольшом наборе корней. Результаты получаются бездоказательными и неубедительными. Как быть?

Ответ один — запустить невод шире, не ограничиваться индоевропейско-семитским сравнением просто потому, что этим двум семьям «повезло» быть самыми хорошо изученными в историческом плане. Для семитских языков, например, сегодня убедительно показано, что их *ближайшими* родственниками являются берберская семья (языки кочевых племен Северной Африки — туарегов, кабилов, зенага и др.) и чадская семья (языки более или менее оседлого населения Чада и нескольких соседних стран). Берберских языков — порядка двадцати, чадских — около двухсот, но вся существующая научная литература по этим языкам, скорее всего, не сравнится по объему с научной литературой по такому одному-единственному семитскому языку, как арабский (а ведь есть еще и древнееврейский, протудированный вдоль и поперек; аккадский, изучение грамматики и текстов которого составляет отдельную отрасль науки, и так далее). Но только через внимательнейшее, пристальное изучение отношений между семитскими языками и их близкими родственниками можно прийти к тому, чтобы использовать семитские данные на еще более глубоком уровне.

Грубо говоря, основной принцип «глубинного» сравнения можно сформулировать как «не перепрыгивать через ступеньки». Хотим сопоставить арабский и русский, найти в них общие реликты от состояния на какое-нибудь пятнадцатое, двадцатое тысячелетие до н.э.? Ради бога — но *сначала*, в обязательном порядке, сопоставим русский с болгарским и польским, а арабский — с ивритом и аккадским. Получив общеславянский, сопоставим его с общегерманским и общеиндоиранским (выйдем

на праиндоевропейский уровень), а получив общесемитский, сопоставим его с берберскими и чадскими языками — выйдем на праафриканский уровень. И вот только когда можно будет с уверенностью сказать, что «с ближайшими родственниками покончено», можно будет замахнуться на совсем глубокое сравнение.

Таким образом, о «выборке» как таковой говорить не приходится. Любые выводы, полученные на материале девяти языков, могут подвергнуться корректировке, иногда очень серьезной, если к этому материалу подключить десятый. Требуется как минимум «рекогносцировка». Вот открыли, скажем, в джунглях Индокитая новый язык — нашли деревню, в которую ранее не ступала нога профессионального лингвиста, и оказалось, что тамошние жители говорят на чем-то, доселе науке неизвестном. Что это? Может быть, это просто слегка отличающийся от литературного стандарта диалект тайского или вьетнамского языков. В этом случае достаточно чуть-чуть «копнуть» — собрать самые общие сведения о грамматике и небольшой список слов, чтобы было наглядно видно: это всего-навсего местный диалект, серьезной значимости для исторического языкознания нет. Но может быть и иное — язык *похож* на тайский или на вьетнамский, но при этом отличий едва ли не больше, чем сходств. Звуковая система устроена иначе, слова процентов на пятьдесят совершенно иные и т. д. Значит, это может быть язык, входящий в ту же семью, что и тайский или вьетнамский, но составляющий особую ветвь этой семьи, — а это сразу же повышает интерес, так как в такой ветви могли сохраниться какие-то архаизмы, отсутствующие в других.

Именно из-за полной непредсказуемости, из-за невозможности оценить «потенциал» языка или диалекта, пока по нему не будут собраны хотя бы так называемые анкетные данные, создание глобальной генетической классификации и реконструкция сверхдревних языковых состояний *требуют* «равноправного» отношения ко всем языкам планеты. Но предъявить такое требование — одно, а вот добиться его осуществления на практике — совсем другое.

То есть, условно говоря, у нас нет ситуации равномерного распределения специалистов по языкам мира. Получается, что есть своего рода огромная «делянка» индоевропейских языков, большой «огород»

для семитских, отдельное «поле» для китайского с тибетским и еще несколько таких полигонов, а все остальные языки загнаны на мелкий клочок земли?

Г. С.: К сожалению, пока что во многом именно так, хотя следует признать, что за последние двадцать-тридцать лет ситуация начала слегка изменяться в лучшую сторону — но лишь слегка. Во-первых, до сих пор не заработала во всю силу описательная лингвистика — очень большое количество языков мира до сих пор остается без удовлетворительных описаний («удовлетворительной» можно назвать ситуацию, когда есть хотя бы краткая грамматика языка и словарь хотя бы на пару тысяч лексических единиц). Не скажу с уверенностью «за всю планету», но по тем ареалам, которыми я занимался вплотную (например, Африка), на один удовлетворительно описанный язык приходится в среднем два-три языка, по которым мне доступны только самые скудные данные (например, словарный список размером в 50, 100, 200 слов), и еще два-три языка, от которых вообще известны только названия, без каких-либо данных.

А если нет данных, то откуда мы знаем их названия?

Г. С.: Из общих лингвогеографических обзоров. Еще задолго до того, как за дело систематического научного описания языкового разнообразия мира принялись профессиональные лингвисты, описательной деятельностью занимались люди с самыми разными интересами — этнографы (которых интересовали в первую очередь быт и культура народов мира), чиновники (которым требовалось наладить контакт с этими народами), военные (которые их подчиняли) и главным образом миссионеры, точнее, та «продвинутая» часть христианских миссионеров, которая осознавала, что без правильного понимания менталитета местного населения обратить его в истинную веру будет невозможно — а главный ключ к пониманию менталитета, разумеется, язык.

Главный результат деятельности всех этих людей, а также примкнувших к ним на определенном этапе «чистых» лингвистов в том, что, так сказать, *первичное* лингвистическое картографирование планеты на сегодня проведено. Да, время от времени еще удается открыть, что местное

население говорит на языке, о котором никто и никогда не публиковал никаких сведений, — чаще всего в ходе этнографических экспедиций в совсем дикие места, которых на планете остается все меньше и меньше с каждым днем (амазонская сельва, новогвинейские горы, джунгли Индии и т. п.). Но это сейчас, пожалуй, происходит раз в несколько лет.

Другое дело — то, что про многие языки познакомившиеся с их носителями путешественники действительно публикуют лишь лаконичные сведения: «язык этого племени называется так-то и так-то; вот, для ознакомления, из него десять слов, которые мы записали на совместной охоте». Иногда, «ознакомившись» с этим десятком слов, получается даже довольно убедительно определить место этого языка в генетической классификации (наверное, любой наш читатель, если ему сообщить, что на языке X ‘живот’ будет *брюх*, ‘сердце’ будет *вутроба*, а ‘звезда’ будет *хвезда*, без дальнейших вопросов поймет, к какой группе вероятнее всего относится язык X). Но, во-первых, часто этой информации бывает недостаточно — особенно если у описываемого языка нет «близких» родственников, — а во-вторых, это не дает возможности полноценно оценить язык с точки зрения его архаичности, важности для реконструкции лингвистической предыстории всего рассматриваемого региона и т. д. Каждый неописанный язык — это очень неприятная дырка в той ткани, которую ткут компаративисты.

Конечно, огромное спасибо следует сказать и тем, кто все-таки собрал по малым языкам хоть какие-то сведения — тем более что очень многие из этих языков с тех пор уже давно успели вымереть. И хотя в целом роль миссионеров в тех ассимиляционных процессах, которые привели к колоссальному вытаскиванию европейскими «цивилизаторами» языкового и культурного разнообразия планеты, крайне неоднозначна, именно они, пусть и в искаженном виде, сумели донести до нашего времени огромное количество информации об этом самом разнообразии. И даже сегодня немалый процент грамматик и словарей малых языков продолжает составляться миссионерами, в частности в рамках глобального проекта «Летний институт лингвистики» (Summer Institute of Linguistics), основные цели которого носят чисто миссионерский характер («интеллигентная» христианизация малых народов через пропаганду грамотности на их родном языке и перевод на него Библии), но реализуются при этом с большой пользой для мировой науки.

А можно ли доверять работе миссионеров?

Г. С.: Ровно в той же степени, как и всем остальным. Описание языка, особенно такого, который по своим структурным особенностям сильно отличается от языков, привычных для «описателя», — задача сложная, требующая высокой квалификации. Вплоть до XX века, конечно, такой квалификации у миссионеров не было — но, в общем, не было ее и у ученых-языковедов, которым выйти из-под давления привычных европейских категорий тоже было очень не просто. Бывали редкие исключения — гениальные ученые, которым удавалось намного опередить свое время, например, замечательный кавказовед, генерал-майор Пётр Карлович Услар, который в середине XIX века с такой феноменальной точностью описывал языки малых народов Кавказа, что материалы его до сих пор не утратили актуальность. Но обычно материалы XIX века, не говоря уже о более ранних периодах, сегодня используют в качестве основного источника лишь в том случае, если соответствующие языки уже вымерли — как правило, старые описательные работы значительно упрощают или искажают истинное положение дел и сами нуждаются в очень тщательном критическом анализе со стороны современного исследователя.

Сегодня же миссионеры, берущиеся за лингвистическую тематику, обычно получают для этого вполне профессиональную подготовку — обучаются общему и прикладному языкознанию, проходят специальный тренинг и т. п., не хуже, чем у вполне «светски» ориентированных полевых лингвистов. К тому же с появлением технических средств — сначала возможностей звукозаписи, а затем компьютерной обработки данных — задача корректной записи даже сверхсложных в плане фонетической структуры языков значительно упростилась. Те описания и словари малых языков, которые сегодня выходят в свет, как правило, заслуживают доверия вне зависимости от того, вышли ли они в каком-нибудь престижном университетском издательстве Германии, Франции или США или просто выложены на сайт Летнего института лингвистики.

А как соотносится такого рода описательная деятельность с серьезными теоретическими прорывами в науке? Если говорить о лингвистических школах, что происходит в этой связи, например, в Рос-

сии или в Китае, где полным-полно «малых языков»? Работает ли это так же, как когда-то география или изучение биосферы? Ведь, скажем, какие-нибудь охотники за растениями или животными конца XIX века (да и не только XIX) очень много сделали для развития теории и методологии в своей сфере исследований.

Г.С.: С моей личной точки зрения (далеко не всеми разделяемой), общая ситуация скорее неутешительна. Тот идеалистический научный энтузиазм позитивистского типа, который продвигал лингвистические исследования в XIX — начале XX века, давно закончился. Какие-то глобальные цели ставить перед собой сегодня по меньшей мере немодно, если не сказать — невыгодно (в том числе и чисто экономически: здесь языкознание, как историческое, так и синхронное, не сильно отличается от других наук).

Существуют программы, нередко на государственном уровне, которые решают вполне благородные задачи — например, описание вымирающих языков. Скажем, крупнейший американский государственный фонд, National Science Foundation (NSF) недавно выделил очень большие деньги под одну из таких программ, причем программа нисколько не ограничена языками на территории США — если ты квалифицированный лингвист, можно подать заявку, что ты желаешь описывать такой-то язык хоть в Ботсване, хоть на Соломоновых островах, хоть где угодно. Но при этом эксперты, оценивающие заявки на конкурсной основе, как правило, оказывают предпочтение «точечным» проектам: описание и анализ грамматики такого-то конкретного языка, а не, скажем, общее краткое обзорное описание всех диалектов в такой-то области. Отчасти — по финансовым причинам (сидеть в одной деревне и работать с одной группой информантов стоит дешевле, чем объездить все деревни в округе), отчасти — из условно-аккуратных соображений, что «лучше меньше, да лучше».

Увы, на практике это нередко приводит к появлению такого рода «мини-специалистов» — людей, всю свою научную жизнь посвящающих изучению одного-единственного «малого» языка. Если бы полевой лингвистикой в мире при этом на регулярной основе занималось хотя бы три-четыре тысячи человек, то это, конечно, было бы замечательно: приставляем к каждому языку мира по лингвисту, и через несколько лет перед нами чуть ли не с фотографической точностью — вся языковая картина планеты. На са-

мом деле таких людей от силы пара сотен (и то, наверное, я преувеличиваю). Среди них, опять-таки, время от времени попадаются настоящие титаны — например, совершенно неумолимый профессор Джеффри Хит, за плечами которого уже, наверное, штук пятнадцать монографий, которые называются просто «Язык такой-то. Грамматика, словарь, тексты»; он описывал сначала, один за другим, языки австралийских аборигенов, а потом переключился на Западную Африку, где сначала штудировал арабские диалекты, потом языки сонгайской группы, сегодня, кажется, занимается языками догон в Мали. Это — великие люди, но, как и в любой другой области, в лингвистике великие люди тоже исчисляются единицами.

В ситуации, когда с каждым новым годом вымирает по меньшей мере два-три языка, такой «точечный» подход, конечно, неразумен. Впрочем, у «точечников» есть еще одно оправдание. Сегодня к научным описаниям, в том числе и лингвистическим, предъявляются очень высокие требования в плане точности и аккуратности: даже небольшой процент ошибок и элементарных «ляпов» очень серьезно снижает уровень доверия не только к исследованию, но и к исследователю (в частности, как мне кажется, репутация Дж. Гринберга в свое время пострадала в первую очередь не столько из-за его методологических просчетов и общей «смелости» выводов, сколько из-за многочисленных элементарных ошибок, которые он допустил при цитировании и грамматическом анализе материала, — а он к тому же еще и имел «наглость», будучи уличенным в этих ошибках, заявлять, что никакой катастрофы в этом нет, так как процент ошибок все равно не столь высок, чтобы существенно влиять на полученные результаты. Впрочем, это не совсем в тему, поскольку Гринберг сам почти не занимался полевыми исследованиями). И тут нетрудно понять, что «точечный» подход, при котором исследователь в течение долгого времени как бы «приставлен» к исследуемому языку, имея возможность тщательно проверить и перепроверить все мельчайшие детали своего описания, гораздо в большей степени застрахован от ошибок, чем исследователь, собирающий обзорные данные по ряду языков, — ведь у последнего просто не будет времени, чтобы тщательно разобраться в материале каждого из обозреваемых языков.

Есть и еще одна проблема. Люди, которые едут описывать языки, — это, как правило, не сравнительно-исторические лингвисты. Их обычно

мало волнуют вопросы языкового родства и уж тем более праязыковой реконструкции. Если немного огрубить ситуацию, то вот типичный подход современного лингвиста-описателя: «Я говорю по-английски (реже — по-французски, по-немецки, по-русски и т. п.), но мне очень интересно, как устроен какой-нибудь другой язык, желательно, такой, который совсем не похож на английский. Поэтому, если мне дадут подходящий грант, я поеду в Африку или в Новую Гвинею, чтобы описать синтаксические структуры, например, какого-нибудь языка ачولي или аснат. Может быть, кому-нибудь когда-нибудь мои результаты пригодятся, а если нет — ну что ж, займусь чем-нибудь еще». Это, конечно, все равно гораздо лучше, чем не делать вообще ничего (сидеть сложа руки и ждать, пока все языки вымрут), но условный «КПД» от такой деятельности, к сожалению, гораздо ниже, чем мог бы быть. Очень часто в результате такого подхода на руках у читателя оказывается масса маленьких статей типа «Механизмы образования логофорических конструкций в языке таком-то» — а полноценного, подробного описания этого языка как не было, так и нет. Это не преувеличение: лично мне, для того чтобы подключить к своей работе тот или иной язык, приходится данные по нему выдергивать буквально «по крупицам» — вот из такого рода статей, скрупулезно собранных по десятку разных лингвистических журналов.

Конечно, то, что я здесь говорю — это только попытка, так сказать, ясно обозначить приоритеты. На самом деле важна и полезна (хотя бы потенциально) любая описательная деятельность, даже по перепроверке тех материалов, которые уже были собраны предыдущими исследователями (поскольку *errare humanum est*, и от ошибок не застрахован даже самый опытный лингвист). Но на это нужно огромное количество «человеческих ресурсов» — гораздо больше, чем мировая лингвистика, даже с привлечением к ней миссионеров, антропологов и других представителей «смежных» профессий, способна сегодня поставить.

А как можно примерно оценить это количество? Допустим, у нас есть, условно говоря, порядка пяти тысяч языков, недостаточно хорошо описанных или совсем не описанных. Каков должен быть размер «армии» лингвистов, чтобы с этой массой справиться? И — логически вытекающий отсюда вопрос: сколько нужно в среднем пропустить

через себя студентов, чтобы получить одного хорошего исследователя? (Разумеется, в среднестатистическом плане — понятно, что иногда бывают сверхталантливые группы, а бывают такие, которые вообще не дают никакого результата.) Вопрос получается актуальным, потому что тут налицо некоторая вполне квантифицируемая и к тому же ограниченная во времени задача — ведь новых языков сегодня возникает гораздо меньше, чем исчезает старых.

Г. С.: Если подходить к этому вопросу совсем строго, то это число — пять тысяч — хорошо бы еще умножить хотя бы на 3 или 4, потому что очень многие из этих «языков» подразделяются еще и на «диалекты», степень архаичности и, так сказать, «индивидуальной неповторимости» каждого из которых заранее предсказать невозможно. Идеальная ситуация — это такой вид лингвистической рекогносцировки, при которой лингвист (лучше — группа лингвистов) расчерчивает территорию и просто объезжает один населенный пункт за другим. Скажем, в пределах одной деревни люди все-таки обычно говорят на одном диалекте (хотя и здесь бывают, конечно, непредсказуемые ситуации) — а вот язык жителей двух соседних деревень почти наверняка будет в каких-то отношениях отличаться друг от друга, иногда очень существенно. Так что на самом деле стоит задача описания не пяти тысяч языков, а...

...скажем, 20–30 тысяч диалектов. Но ведь и тут есть территории, которые на сегодня описаны в целом неплохо — бывший СССР, большая часть того же Китая...

Г. С.: Даже на территории бывшего СССР задачи по описанию живых языков и диалектов еще далеко не все выполнены. Экспедиции регулярно продолжают организовываться даже в русские деревни — записывать особенности произношения и словоупотребления пожилых бабушек и дедушек; а что уж говорить о языках национальных меньшинств. Но, конечно, если подходить к проблеме в сравнительном отношении, то по степени значимости для «палеолингвистики» на первом месте сегодня стоят совсем другие ареалы — Северная Индия, Индокитай, Новая Гвинея, Северная и Восточная Африка и т. п.

Есть еще один момент, который людьми «не в теме» часто упускается из виду. Может создаться такое представление, что, мол, если на языке разговаривает несколько сотен или пара тысяч людей и при этом у языка нет письменной традиции и литературной истории, то полноценное описание такого языка составить можно достаточно быстро, и чересчур большого объема оно не займет. В самом деле — сколько может быть слов в таком языке? Сколько разных значений может быть у этих слов, насколько сложными могут быть правила их сочетаемости в предложении и т. п.?

Вот просто один пример, для того чтобы это представление развеять. Это словарь одного-единственного (правда, представленного двумя очень близкими друг к другу диалектами) языка хайда, на котором сегодня как на родном говорит примерно 30–40 пожилых носителей на островах Хайда-Гуаи (бывшее название — о-ва Королевы Шарлотты) у северо-западного побережья Канады. Словарь составил лучший — к сожалению, недавно скончавшийся — специалист по этому языку, лингвист Джон Энрико¹. Он занимает примерно *две тысячи* страниц плотного текста формата А4 — во многом, правда, за счет того, что употребление всех слов тщательно проиллюстрировано примерами из текстов (как, в общем, и должно быть в хорошем словаре), но ведь образцы текстов в максималенно большом количестве — это тоже неперенная часть языкового описания, которое не может ограничиваться просто словами (например, невозможно написать полноценную грамматику языка, не проанализировав большой текстовый корпус). Две тысячи страниц — далеко не каждый язык, на котором говорит даже несколько миллионов носителей, может похвастаться таким словарем, но не потому, разумеется, что он «беднее», чем хайда, а лишь потому, что до сих пор такой словарь никто не составил. Языку хайда повезло — человек, который им занялся, проявил и очень активную заинтересованность, и колоссальную работоспособность. Многим другим просто не повезло.

Значит, получается, что на карте остается множество белых пятен, а людей, которые могли бы эти пятна «закрывать», не хватает. Так что же нужно сделать, чтобы подготовить таких специа-

¹ Enrico John. Haida Dictionary: Skidegate, Masset, and Alaskan Dialects. Fairbanks: Alaska Native Language Center, 2005.

листов-профессионалов, и сколько их должно быть, чтобы адекватно закрыть все пятна?

Г. С.: Подготовить — не очень сложно. Для этого нужно получить обычное лингвистическое образование (желательно, конечно, хорошее — в Москве нормальный мировой уровень выдерживается пока только в двух местах: МГУ и РГГУ), ну и, разумеется, нужна мотивированность: человек должен понимать и то, что от него хотят, и то, чего он сам хочет. Я очень не люблю, когда студентов «бросают на амбразуру» просто потому, что они сами не смогли определиться. Это, как правило, плачевно сказывается на рабочих результатах. К тому же языкознание — это все-таки не обтачивание гаек на заводе конвейерным методом: оно требует не только работоспособности, но и некоторой инициативности, умения самостоятельно разобраться во внезапно возникшей проблеме — а без собственной мотивированности, без желания что-то сделать именно потому, что это «твое», а не потому, что этого от тебя требует научный руководитель, качественного лингвиста, безусловно, не получится.

И все же — каким критериям должен отвечать специалист? Сколько языков ему надо знать?

Г. С.: «Знать» в смысле «уметь разговаривать»? Нисколько, хотя, разумеется, если он собирается заниматься полевыми исследованиями, то требуется умение говорить хотя бы на языке межнационального общения того ареала, в который он направляется. В России (да и, пока что, в большинстве республик бывшего СССР) это, понятно, русский; но, скажем, если человек едет в Восточную Африку, неплохо бы подучить суахили; если в Северную Африку — арабский; в Западную — французский, и так далее.

«Знать» нужно не тот или иной язык, тем более в совершенстве, а общие основы языкознания — иметь представление о том, как в языках мира бывает устроена фонология, морфология, синтаксис. Для того чтобы собирать материал от информантов, ни громадных знаний, ни какой-то «гениальности» не требуется. Положим, раньше требовалось иметь по крайней мере хорошо натренированное ухо, чтобы правильно записывать данные в языках со сложными звуковыми системами. Но сегодня

у нас, слава богу, существует различная аудиотехника, которая может выручить даже такого лингвиста, которому медведь на ухо наступил (да, встречаются и такие). В конце концов он потом может просто отдать собранный материал тем, кто лучше слышит.

В качестве иллюстрации — с чем работаете Вы? Какие языки знаете Вы, на каком уровне, с чем Вы работаете?

Г.С.: Я про себя должен признаться, что полевой работой не занимаюсь; мой личный опыт здесь ничтожен — только один раз ездил на Енисей к кетам, записывать кетский язык. (Отчасти так сложилось по объективным обстоятельствам — экспедиционный опыт чаще всего накапливается в студенческие годы, а мое студенческое обучение как раз пришлось на первую половину 1990-х, когда по известным обстоятельствам финансирование экспедиций было близко к нулевому, особенно в РГГУ, где я учился.) Это, конечно, досадно, потому что в полевых исследованиях приобретается бесценный методический опыт работы с живым языком, невозпроизводимый при работе с текстами и словарями.

С другой стороны, важно подчеркнуть, что и в лингвистике, как и везде, существует распределение труда. Лингвисты-«полевики» часто производят на свет хорошие описания, но при этом неспособны приложить к ним профессиональный исторический анализ. Наоборот, многие лингвисты-«историки» оказываются «профнепригодными» к полевой работе — например, с трудом распознают на слух важные звуковые оппозиции. К тому же приходится учитывать такой элементарный фактор, как *время*. На то, чтобы описать новый язык хотя бы до объемов монографии в несколько сот страниц, надо потратить от нескольких месяцев до нескольких лет работы — поэтому лингвист-компаративист в принципе не может выступать одновременно и как «полевик» (по крайней мере, на постоянной основе), если только он не узкий специалист по небольшой группе из, скажем, пяти-шести языков. (Пять-шесть языков можно, конечно, за одну человеческую жизнь и досконально описать, и исследовать, и реконструировать.)

С какими языками я работаю? Да, в общем, с какими придется, это не так уж принципиально; нормальный лингвист, получивший приличное образование, знает, что в языках больше общего, чем различного,

и в принципе не должен испытывать никакого страха перед тем, чтобы «залезть» в материалы по какой-то языковой группе, с которой он ранее никогда не имел дела. Конкретно — есть опыт работы с дравидийскими языками (в Индии); с енисейскими (кетский); с китайским и сино-тибетской семьей, в которую он входит; сейчас главная тематика исследований — африканская. Что касается, так сказать, степени погружения, то здесь все зависит от целей исследования. Если лингвиста интересует звуковая система языка, ему не нужно знать, как в нем устроены сложноподчиненные предложения. Если предмет исследования — генетические связи внутри группы языков, не обязательно реконструировать словарный корпус на две-три тысячи единиц, чтобы эти связи установить достоверно. И уж тем более, конечно, не нужно заучивать наизусть словари и грамматики — это фокус полиглота, а не лингвиста-исследователя.

А на каких языках Вы можете общаться, в «бытовом» плане?

Г. С.: По-английски, разумеется (без хорошего английского любой ученый сегодня в принципе несостоятелен, нравится это кому-то или нет). Чуть хуже — по-французски, по-итальянски; с большим трудом могу объяснить по-китайски, из-за недостатка разговорной практики — что при этом совершенно не мешает исследованиям по истории и внешним связям китайского языка. Есть, конечно, некоторый «джентльменский набор» языков, на которых важно научиться хотя бы читать, пусть даже со словарем, — языки, на которых существует длительная традиция написания научной литературы: те же английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и т. п. Но это, впрочем, актуально уже не только для лингвиста, а вообще для любого ученого.

Возвращаясь к общей картине — есть какая-нибудь статистика: сколько языков в год успевают описывать сегодня в мире? Единицы, десятки, сотни?

Г. С.: Статистики нет, потому что непонятно, что здесь считать статистикой. Есть, скажем, каталоги крупных издательств, которые можно сопоставлять и по ним прикидывать, сколько примерно новых грамматик

и словарей выходит за год; судя по тому, что поступает в нашу электронную библиотеку, примерно 10–15 новых монографий такого рода за год обычно выходит (не считая, конечно, переизданий, новых редактур старых трудов и т. п.). Но очень много данных публикуется в мелких статьях, которые единым скопом учесть гораздо труднее, и еще больше оседает в исследовательских архивах, откуда их надо «выдирать», нередко прикладывая большие усилия. В этом плане лингвисты, как это ни удивительно, ничем не отличаются от остальных людей: кто-то легко и спокойно делится данными со всем миром, кто-то, наоборот, предпочитает на этих данных «сидеть» — не потому, что рассчитывает на них как-то нажиться, разумеется (серьезных доходов описательная лингвистика не приносит), а по разным другим причинам, от честолюбия («мои данные, я должен их опубликовать первым») до научной скрупулезности («пока все не будет тщательно проверено и перепроверено, никто этим пользоваться не должен»).

В любом случае поток новых данных настолько велик, что тот небольшой отряд компаративистов, который, хотя и абсолютно децентрализован, но все же готов заниматься историческими исследованиями по бесписьменным языкам, с ним справиться не успевает.

И тем не менее — языки все равно вымирают с бешеной скоростью по сравнению с тем, как быстро их описывают. Мы же все время слышим, что вымер язык такой-то и такой-то...

Г. С.: Я не берусь реально оценивать степень «бешенства» этой скорости. Вымирание языков считается своего рода прописной истиной, но нужно отдавать себе отчет в том, что это в чем-то похоже на игру с «глобальным потеплением»: насколько я знаю по личному опыту общения, большинство серьезных ученых признают, что проблема есть, но масштаб этой проблемы, и уж тем более пути ее решения однозначно определить невозможно — тут в дело вступает личная интуиция, не подкрепленная объективными аргументами, а где-то и личная заинтересованность (выбить под свою тематику грант и т. п.).

Надо понимать, что умирание языка — процесс настолько же естественный, насколько и, скажем, смерть конкретного живого организма.

Двадцатый век с его глобализацией здесь не принес ничего принципиально нового: языки вымирали, причем довольно массово, и раньше. Достаточно опять-таки взглянуть на древнюю Европу до ее колонизации индоевропейскими племенами — германцами, кельтами, италийцами, греками: она была заселена почти вся, и все эти люди говорили на языках, исчезнувших бесследно (повезло только баскскому). И переживать по поводу того, что на таком-то языке больше никто не говорит как на родном, в общем, глупо: язык — это наш проводник в жизнь, и если жизнь устроена так, что говорить на нем стало невыгодно, значит, он умрет, и никакие искусственные усилия его не спасут.

Так что паника здесь неуместна, а вот согласованные усилия по масштабной лингвистической рекогносцировке и созданию полноценных описаний всех вымирающих языков, на которых еще умеют говорить последние носители, — это очень важно. Для сравнительно-исторического языкознания, о чем я уже упоминал, условно говоря, «культурная ценность» языка, масштабы его распространения и т. п. сами по себе никакого значения не имеют, а вот степень архаичности — безусловно, имеет. И в любой момент, действительно, могут исчезнуть такие языки, которые обладают очень большой ценностью для исторического языкознания — причем исчезнуть так, что мы про это даже не узнаем.

Грубо говоря, может быть, сию секунду где-нибудь в Новой Гвинее или в Непале умирает последний старик, носитель потрясающего языка, словарь которого мог бы стать очень важным звеном в какой-нибудь из цепочек реконструкций, пролить свет на всю языковую предысторию региона, помочь восстановить целую сеть миграций и контактов и т. п. Маловероятно, конечно, — и чем дальше, тем меньше таких шансов, но сдаваться нельзя.

Возьмем конкретный пример — ситуацию в Южной Африке. Самая большая языковая семья Африки — так называемая *нигер-кордофанская* семья. Это даже не просто семья, а макросемья, и состав ее пока что не определен однозначно. Внутри этой макросемьи самая массивная семья — языки *банту*, которые занимают практически всю территорию Южной и большую часть Центральной Африки. Языков банту около четырехсот; но при этом все они очень похожи друг на друга, гораздо в большей степени, чем, скажем, разные современные индоевропейские

языки похожи друг на друга. С точки зрения их «удельного веса» для реконструкции всей языковой предистории африканского континента, исследователю не нужно подробно возиться со всеми четырьмя сотнями — прабанту язык был реконструирован на материале нескольких десятков, и довольно успешно. Описание и подробный исторический разбор развития всех остальных языков банту — предмет «бантуистики», но не «африканистики» в глобальном ее понимании.

А вот на самом юге Африки, в своего рода «карманах», рядом с языками банту еще продолжают существовать отдельные *койсанские* языки — языки бушменов и готтентотов. Когда мы дойдем до подробного разговора об Африке, я постараюсь объяснить, в чем конкретно заключается уникальность этих языков — пока что просто скажу, что так, как в ряде отношений устроены койсанские языки, больше не устроен ни один язык мира. И поэтому каждое слово в каждом койсанском языке, которое до нас доходит (если только, конечно, это не какое-нибудь недавнее заимствование из тех же языков банту или европейских языков), — *буквально* каждое слово ценится на вес золота.

Увы, по сравнению с языками банту, которых 400, и все они вполне «живучи», живых койсанских языков сегодня — не более 15, и вымирают они очень быстро. Бушмены — охотники-собиратели, которых начали в свое время выживать с их территорий уже народы банту, а окончательно завершили это дело европейские колонизаторы. В 1956 году вышел в свет большой сравнительный словарь известных бушменских наречий, записанных в конце XIX — начале XX века; уже на момент выхода в свет этого словаря примерно половина перечисленных в нем языков оказалась вымершей. И вот тут надо, конечно, бить в колокола — хотя, возможно, уже поздно: та скудная горстка языков, которая осталась в живых, уже нашла своих исследователей и постепенно описывается с высокой степенью точности, а вымершие языки назад уже не вернуть.

Это совершенно точная информация, что носителей уже нет?

Г. С.: В самом лучшем случае иногда оказывается, что они просто выпали из поля зрения — но и это обычно происходит только тогда, когда язык уже перестает передаваться из поколения в поколение. Да, относи-

тельно недавно произошел вот такой сенсационный случай. Одна из самых архаичных бушменских семей — так называемая южнокойсанская: на языках этой семьи говорили бушмены на территории современной ЮАР, то есть на самых «лакомых» территориях и для народов банту, и для европейцев, и не случайно, что именно она вымерла раньше всех остальных. Так вот, совсем недавно — лет десять тому назад — почти чудом «раскопали» человек десять пожилых бушменских бабушек, которые оказались носителями одного из языков этой семьи. Для койсанологов, то есть специалистов по языкам бушменов и готтентотов, это примерно то же самое, что для физика открыть новую элементарную частицу. Конечно, бабушки эти сами уже давно не говорили на своем родном языке, какая-то часть опыта стерлась из памяти навсегда, какие-то слова и выражения «ушли», так что на их место приходится подставлять соответствующие эквиваленты из африкаанса. Но, поскольку этот язык все-таки был для них именно родным, в такой ситуации из памяти могут стереться только какие-то сложные элементы, усвоенные и запомненные уже в подростковом возрасте (скажем, «профессиональная» лексика — для бушменов это могут быть какие-нибудь названия редких растений и животных), а основа языка в худшем случае уходит в подкорку. Сейчас с этими бушменками работают высококвалифицированные лингвисты, и бесценный объем информации из этой подкорки удалось извлечь без труда.

Вот так получается, что эти десять бушменских бабушек олицетворяют собой целый колоссальный пласт истории — сегодня лингвисты узнают от них больше о языковой предыстории Африки, чем они могут узнать в ходе подробного изучения двух-трех сотен языков банту, на которых в совокупности говорят десятки миллионов человек; и никакого преувеличения здесь нет...

Понятно. Мы, на самом деле, существенно отвлеклись от заявленной темы разговора — «кухни компаративиста», переключив разговор скорее на «походное снаряжение» компаративиста. Допустим, тот огромный языковой массив, о котором мы говорим, все же художественно описан — или хотя бы такая его часть, с которой уже может работать лингвист-историк. Что представляет собой эта работа?

Г. С.: Ничего особенно сложного в работе компаративиста, на самом деле, нет, и в целом она требует скорее усидчивости и терпения, чем гениальных способностей или какого-то особо творческого подхода (как раз «творческий» подход к компаративистике, увы, скорее, вреден...). Если излагать ее основы очень сжато, то, наверное, хватит, одного тетрадного листка. К сожалению, основы эти, хотя они и завязаны на самой сути устройства языка и исторического процесса его развития, не входят в школьную программу (что жаль — их легко можно было бы изложить в доступной и увлекательной форме всего лишь на одном-двух уроках русского языка), и это вносит свою лепту в развитие чудовищной «любительской лингвистики», о которой мы уже упоминали, — «на русском языке говорили атланты», «армянский язык принесли переселенцы с Таити», «в чувашском / чеченском / арабском языке лежит ключ к постижению сакрального информационного кода человечества» и прочая ерунда.

Для того чтобы избежать такого рода «дилетантского срыва», необходимо, конечно, освоить хотя бы «азы» компаративистики (а за пределами «азов» особенно сложной теории в ней, в общем, и не наблюдается). Вряд ли кто-нибудь серьезно отнесется, скажем, к книге любителя-биолога, который будет на полном серьезе утверждать, что летучая мышь — это птица, а кит — рыба. Конечно, на уровне того, что называется «наивная картина мира» (и для изучения языка это очень важно), летучая мышь — это птица, поскольку она с крыльями и летает, а кит — рыба, поскольку живет в воде и имеет рыбообразную форму. Но в школе нам все-таки рассказывают основы биологической классификации и дают понять, чем летучая мышь отличается от птиц, а кит — от рыб. А вот, например, что такое регулярное фонетическое соответствие, в школе не рассказывают, хотя ничего сложного в этом понятии нет.

А каким образом можно компенсировать нехватку этого образования? Откуда вообще условный «любитель» может узнать о научной методологии исторического языкознания?

Г. С.: Мы, слава богу, живем в информационную эпоху, так что сегодня любой человек, имеющий доступ к компьютеру с Интернетом, к хорошим книжным магазинам или библиотекам, имеет возможность найти

всю необходимую информацию. Начать можно хоть с Википедии — и в русско-, и в англоязычном разделе набираем «Сравнительно-историческое языкознание» или «Comparative linguistics», читаем краткое определение и идем по ссылкам.

На русском языке сегодня самое подробное и современное введение в теорию и методику компаративистики — это учебник, написанный моей коллегой, Светланой Анатольевной Бурлак, по материалам лекций моего отца и учителя Сергея Анатольевича Старостина¹. Однако это не научно-популярное издание, а все-таки университетский учебник и читается он местами с трудом (по крайней мере, так утверждают некоторые читавшие его люди — мне, как человеку «в теме», трудно здесь составить объективное суждение).

А с популярным изложением основ как раз беда. Хотя по крайней мере одну книгу, давно ставшую классикой жанра, с удовольствием могу порекомендовать: «*К истокам слова*», написана известным филологом-индоевропеистом Юрием Владимировичем Откупщиковым, к сожалению, недавно скончавшимся (но книга при этом, будучи написана в 1986 году, успела выдержать уже четыре переиздания). Там все рассказано в занимательной форме, однако иллюстрирующий материал никогда не выходит за пределы индоевропейской семьи, и уж, конечно, о такой «рискованной» области, как дальнейшее родство языков, не сказано ни слова. Поэтому, надеюсь, в нашей дальнейшей беседе какие-то лакуны в популярных источниках удастся восполнить, а всякие неясности и сложности — изложить более понятным образом.

Итак, вернемся чуть назад, к тому месту, где я говорил, что сравнительно-исторический метод занимается поиском в языках *системных*, а не *хаотических* сходств. К пониманию того, что языки находятся друг с другом в системных отношениях, наука приходила постепенно. Прорыв произошел на рубеже XVIII–XIX веков, хотя отдельные системные корреляции между разными языками Европы (например, германскими или романскими) отмечались уже и до этого. То, что звуки от одного языка к другому могут изменяться по определенным правилам, было извест-

¹ Бурлак С. А., Старостин С. А. Сравнительно-историческое языкознание. 2-е изд. М., 2005.

но даже греческим и латинским грамматистам, которые в совершенстве знали оба языка и, конечно, не могли не сталкиваться с похожими словами на каждом шагу (благо древнегреческий и классическая латынь были еще гораздо ближе друг к другу во всех отношениях, чем их средневековые и, тем более, современные потомки).

Прорыв чаще всего связывается с именем Уильяма Джонса (William Jones, годы жизни: 1746–1794), британского юриста, филолога, полиглота, большого специалиста по «восточным древностям», особенно иранским и индийским. Именно он в знаменитой лекции, прочитанной 2 февраля 1786 года перед Королевским азиатским обществом, впервые во всеуслышание объявил о том, что между древнеиндийским (санскритом), латынью, греческим и рядом других классических языков Европы обнаружены сходства, которые носят настолько систематический характер, что иначе как происхождением от общего предка их не объяснить. Конечно, с тех пор оказалось, что на самом деле и не он первым высказал это предположение, и не самым корректным образом, и не только на материале индоевропейских языков, но на известность его это уже не повлияло — отцом-основателем компаративистики навсегда останется именно Джонс. Ну, или по крайней мере ее первым успешным «пиар-агентом».

А почему Джонс не предположил просто, что все эти остальные языки произошли из санскрита? Для чего понадобилось уже тогда, на заре компаративистики, вводить какое-то «третье неизвестное»?

Г. С.: Думаю, что Джонс ввел идею «общего предка», исходя в первую очередь из хронологических соображений. Уже тогда, в XVIII веке, было известно, что древнейшие тексты на санскрите («Веды») и, скажем, на древнегреческом (поэмы Гомера) примерно сопоставимы по своему возрасту (сегодня считается, что гомеровский греческий чуть-чуть моложе, лет примерно на триста, но это не принципиально). Значит, греческий никак не может происходить из санскрита, или наоборот — следовательно, систематические сходства между ними могут объясняться только наличием общего предка.

Это стоит специально уточнить, потому что ажиотаж, возникший в XVIII веке в связи с открытием европейцами санскрита (и поголовным

увлечением образованного сословия того времени индийскими древностями и «индийской мудростью»), со временем мутировал в такое смутно-абстрактное, гиперпочтительное отношение к санскриту: мне, во всяком случае, нередко приходится отвечать на вопрос «Правда ли, что все европейские языки (и в том числе русский) произошли от санскрита?» Нет, неправда. Все (точнее, почти все) европейские языки, в том числе и русский, а *также* санскрит и все его потомки — современные индийские языки — произошли от общего источника, языка, на котором говорили примерно пять-шесть тысяч лет тому назад и который ученые называют *праиндоевропейским* (а уж как его называли сами его носители, неизвестно).

Но то, что «Веды» и «Илиада» были написаны примерно одновременно, еще не означает само по себе, что язык «Вед» не мог быть одновременно и предком для языка «Илиады» — просто один, например, просуществовал долгое время без изменений, а другой по каким-то причинам «испортился». А если бы мы вообще ничего не знали о времени составления этих памятников? Какова была бы тогда позиция Джонса?

Г. С.: Трудно ответить за Джонса, но тема затронута очень важная. Если в конце XVIII века это еще было сделать сложно, то уже к середине XIX века лингвисты, не зная даже вообще ничего о времени создания древних текстов, могли без труда доказать, что языки этих текстов — «братя», а не «отец» и «сын».

Здесь мы, по сути, опять возвращаемся к дискуссии об «архаичности» в языке. Ни санскрит, ни древнегреческий сами по себе не обладают такой степенью архаичности, чтобы можно было уверенно объявить один из них предком другого. Оба сохранили большие пласты индоевропейского наследия, но, поскольку все языки со временем изменяются, ни один из них не сохранил это наследие на сто процентов. Но это — теория, а как доказать такое утверждение на практике? Джонс подобного рода доказательствами не занимался (не успел, собственно говоря, поскольку рано умер); для этого потребовалась долгая, скрупулезная работа ученых XIX века.

Чтобы объяснить суть доказательства, обратимся опять-таки к «азам». Основной прорыв в компаративистике XIX века был связан с тем, что исследовательский акцент оказался сконцентрирован на своего рода «первичном» языковом уровне — фонетическом. Напомню, что язык — это многоуровневая система: в «основании» его пирамиды лежат звуки (точнее, *фонемы* — минимальные «кирпичики», служащие для смысловоразличения), из фонем складываются значимые морфемы (корни, суффиксы, префиксы и т. п.), из морфем — слова-лексемы, из слов — словосочетания и предложения и так далее. Так вот, для сравнительно-исторического языкознания безусловно главным из этих уровней оказался фонетический, и вплоть до сегодняшнего дня «Основы сравнительно-исторического изучения языковой семьи такой-то» — это в первую очередь основы сравнительной фонетики этой семьи, которым в любом учебном пособии, как правило, отводится от одной до двух третей общего объема.

Почему фонетика? Дело в том, что только на материале фонетики оказалось возможным говорить о системных *законах* языкового изменения — законах, характер протекания которых не зависит от осознанной воли говорящего, и которые, собственно говоря, только поэтому и являются законами. Если бы все в развитии языка определялось индивидуальной прихотью — «вот мне нравится говорить *так*, и я буду говорить именно так» — никаких языковых законов не было бы, были бы одни случайные развития, из которых не сложилось бы ни системы, ни праязыковой реконструкции. Впрочем, язык на то и язык, что роль «индивидуальной прихоти» в нем ничтожно мала: ведь главная функция языка — обеспечивать коммуникативное взаимопонимание между всеми членами общества. Если же каждый член общества сам по себе был бы кем-то вроде Велимира Хлебникова, ни о каком взаимопонимании говорить бы не пришлось.

А что это за законы, и почему они протекают помимо нашей воли? Неужели звуковые изменения происходят так, что вокруг их не замечают?

Г. С.: Представьте себе, что вы с учителем изучаете иностранный язык, и учитель — по той или иной причине — не стремится поставить вам «правильное» произношение. Может быть, у него самого с произ-

ношением плохо, может быть, он носитель диалекта и сам стесняется своего произношения, может быть, считает, что произношению научиться в принципе невозможно. Скорее всего, вы в этой ситуации вообще не заметите, что у вас что-то не в порядке с произношением — не поправляют, и слава богу. Например, английский язык четко различает звуки [z] и [ð] (межзубный), а в русском [ð] нет, и естественная тенденция для изучающего английский — просто проигнорировать это различие и везде произносить [z] («зыс ыз зэ хауз зэт Джэк билт» и т. п.). Для того чтобы осилить это различие — в лингвистической терминологии называемое «фонологической оппозицией» — необходимо применить определенное усилие. Но зачем вам его применять, если вас и так поймут, а замечания никто не сделает?

И что самое интересное: если вы не усвоили правильное произношение [ð], это значит, что вы будете вместо этого звука произносить [z] во *всех* словах, где он встречается. Невозможно — просто теоретически исключено — что вы усвоите его в слове *this*, но не усвоите в слове *that*. Неправильно переданный звук будет передаваться неправильно потому, что вы не усвоили его артикуляционный механизм, а не потому, что он «плохо звучит» в том или ином конкретном слове. Следовательно, здесь налицо предсказуемая закономерность. Родной носитель английского языка, зная, как вы «неправильно» произносите те или иные слова, заранее сможет определить, как будут в вашем произношении звучать и другие слова с теми же самыми звуками.

Но ведь изучать иностранный язык, накладывая на него особенности собственного произношения, и перенимать язык от родителей — это совершенно разные ситуации. Разве ребенок, постепенно усваивающий язык с момента своего рождения, тоже усваивает его «с ошибками»? Ведь у него же нет заранее предустановленных шаблонов, как у русскоговорящего человека, вынужденно изучающего английский сквозь «призму» русской речи.

Г. С.: Ребенок, усваивая язык от родителей, конечно, может усвоить отдельные звуки с ошибками — в силу каких-то индивидуальных особенностей развития; сегодня для того, чтобы помочь ему эти ошибки преодо-

леть, существуют логопеды, но раньше за этим никто по-настоящему не следил (да и сегодня даже профессиональная помощь не всегда помогает исправить ситуацию). Все мы знаем случаи, когда человек с детства «картавит», «шепелявит», «сюсюкает» и т. д. Но эти случаи не имеют прямого отношения к языковым изменениям, поскольку все они индивидуальны. Реальные изменения имеют место тогда, когда их разделяет целое поколение юных носителей, а не отдельные его представители — в пределах целой деревни, целого города или даже области.

А как такое вообще возможно? «Ошибки» в речи одного, двух, трех детей в поколении понятны, но каким образом одна и та же «ошибка» может заразить целое поколение?

Г. С.: На этот вопрос однозначного ответа у исторического языкознания нет — скорее всего, потому, что его и не может быть: здесь на ситуацию может влиять целое множество факторов. На мой взгляд, основной из них — этническая смешанность. Что может заставить не одного ребенка, а целую группу детей одновременно начать говорить «не так»? Только такой тип ситуации, когда это «не так» они усваивают от окружающего их старшего поколения — а это, в свою очередь, возможно только в том случае, если старшее поколение до этого освоило соответствующий язык «как иностранный».

Поясню на гипотетическом примере. Скажем, существует себе на рубеже эпох какая-нибудь небольшая кельтская деревушка, и все ее жители разговаривают на одном из кельтских языков (например, на галльском). Далее приходят римляне, и деревня, вместе со всеми окрестностями, становится частью римской провинции. Жители, из соображений престижа, начинают постепенно заучивать латинский язык (в первую очередь, конечно, наиболее уважаемые и зажиточные, затем за ними постепенно подтягиваются остальные). Заучивая его, они все делают примерно одни и те же «кельтского типа» ошибки. В быту они частично продолжают использовать свой родной галльский язык, но стараются по возможности заменять его «порченным» латинским; развивается ситуация, которая в социолингвистике называется *билингвизмом*, то есть «двужычием», причем такой его разновидностью, в которой исходный язык стремится

к вымиранию. Детей своих эти кельты уже стараются с самого рождения приучать к тому, чтобы говорить на новом языке — и парадоксальность ситуации в том, что дети осваивают этот «порченный латинский» в каком-то смысле даже лучше, чем их родители, потому что механизм овладения языком в детском возрасте принципиально отличен от механизма заучивания иностранного языка «поверх» родного. Но основные образцы для подражания — все равно родители.

Кельтский ребенок, еще в младенческом возрасте вырванный из дома и переданный на воспитание в римскую семью, скорее всего, выучил бы латынь «правильно». Но это ситуация исключительная, а в обычном случае латинский язык он познавал от своих родителей-кельтов — бессознательно коверкавших его на свой кельтский лад. В результате то, что для родителей еще могло считаться «неправильно выученным» языком, в детской речи трансформировалось в языковую *норму* — и стало представлять собой результат исторического развития латинского языка на отдельно взятой территории.

Другой вид ситуации — межплеменные и межэтнические браки. Допустим, в экзогамном племени А принято брать в жены девушек из племени Б, а в племени Б, соответственно, наоборот, женятся на представительницах племени А. При этом оба племени говорят на разных языках; но жены, разумеется, переходят на язык племени мужа, который опять-таки выучивают не в совершенстве, а частично «подгоняя» под привычные им нормы своего родного языка. Что происходит дальше? Поскольку ребенок в самом раннем детстве общается в первую очередь с матерью (для обществ традиционного типа именно такая ситуация является нормой), язык передается скорее по материнской, чем по отцовской линии — в результате получается такая «ареальная трансфузия».

Получается, что языковые изменения происходят только там, где языки активно взаимодействуют друг с другом? А если язык полностью изолирован, никаких изменений не бывает?

Г. С.: Здесь, к сожалению, у нас практически отсутствует экспериментальная база, чтобы это проверить. Дело в том, что «полностью изолированных языков» в мире почти не бывает. В каком бы месте планеты

вы не жили, у вас всегда будут соседи — даже австронезийцы, планомерно заселившие острова и архипелаги Тихого океана, все равно, как правило, плавают «в гости» друг к другу, будь то в целях торгового обмена или, опять-таки, ради обмена женами.

В Европе один любопытный пример *почти* полной изоляции — это Исландия; после того, как ее в конце I тысячелетия н. э. практически «с нуля» заселили скандинавские племена, новых крупных миграций на этот остров больше не было (можно сравнить эту ситуацию с Британскими островами, которые заселяли французы-норманны, до них — скандинавы, до них — англо-саксы, до них — римляне, до них — кельты, а до них — условные «пикты», на самом деле, представлявшие собой несколько волн миграций, растягивающихся примерно на 25 тысяч лет. Неудивительно, что английский язык — один из наиболее «порушенных» в плане фонетики и грамматики германских языков). И действительно, исландский язык по всем свидетельствам удивительно мало изменился за последнюю тысячу лет по сравнению со своим предком — древнескандинавским языком VIII–X веков. Современные исландцы, хотя и не без усилий, но все же способны понять текст древнеисландских саг, написанных почти тысячу лет тому назад, — что абсолютно исключено, например, для современных англичан, которые без специальной подготовки не в состоянии даже приблизительно понять смысл, например, древнеанглийской поэмы «Беовульф» (датируется VIII–XI веками н. э.).

Отдельные изменения тем не менее произошли и в исландском языке: например, довольно существенно по сравнению с языком Саг изменилась система гласных. Поэтому *доказать*, что язык изменяется только в результате языковых контактов, все же вряд ли возможно. По-видимому, есть и другие факторы, определяющие направление языкового развития.

Что это могут быть за факторы?

Г. С.: Вспомним то, о чем мы уже говорили в ходе прошлой беседы: язык — это *система*, все элементы которой в той или иной степени связаны друг с другом. Если один из этих элементов «испортился» — вышел из употребления, заменился на другой и т. п. — система приходит в состояние дисбаланса и требует дальнейшей гармонизации. Иными слова-

ми, влияние внешнего фактора (например, соседнего языка) в каких-то случаях может потребоваться только на первом этапе: это своего рода «динамит», который расшатывает бывшее до этого достаточно стройным и устойчивым здание языковой структуры, и для того чтобы здание это не рухнуло, ему, уже опираясь на собственные ресурсы, требуется себя самого оперативно перестроить.

Поясню на примере, скажем, гавайского языка. Гавайский входит в большую группу полинезийских языков, которые в целом отличаются бедностью своего звукового состава, но даже среди полинезийских гавайский — своеобразный рекордсмен: в нем всего восемь согласных фонем (для сравнения — в русском порядка тридцати пяти — сорока). В частности, для гавайского характерно такое языковое изменение, как переход старого звука *k* в так называемую гортанную смычку, или гортанный взрыв (для русского языка этот звук нехарактерен, но мы регулярно произносим его в некоторых ситуациях, которые требуют жесткого водораздела между двумя гласными, как, например, в усиленном отрицании «не-а», фонетически [*n'e-ʔa*]). Соответственно, старое полинезийское слово *kiko* 'мясо' в гавайском стало звучать как *ʔiʔo*, *aka* 'корень' — как *aʔa* и так далее.

Однако получилось так, что этот переход нарушил определенную языковую универсалию: на свете нет ни одного языка, в котором не было бы звука *k* (или хотя бы очень близких к нему по месту артикуляции). Чем вызвана эта универсалия, сказать трудно, но факт остается фактом: если по каким-то причинам звук *k* переходит в другой звук, образуется очень неудобная для языка лагуна, которую он стремится как можно скорее прикрыть. И в гавайском языке этот переход вызвал своеобразную цепную реакцию — вслед за развитием {*k* → ?} незамедлительно последовало развитие {*t* → *k*}! Так что старое полинезийское слово *mata* 'глаз' стало *maka*, *mate* 'умирать' стало *make*, и т. д. Так система снова обрела баланс — причем, разумеется, не в результате проведения какой-то сознательной «языковой политики», а в результате подсознательной работы труднодостижимых психофизиологических факторов.

Хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от того, верна ли эта концепция «внешних толчков» с последующим «самонастраиванием» системы или нет, это не более чем попытка рационально объяснить *факт* — существование звуковых законов, не знающих исключений, то есть той

базы, без которой невозможно сегодня даже помыслить существование сравнительно-исторического языкознания как серьезной науки с собственной научной методикой.

До понятия «звукового закона, не знающего исключений», кстати, не додумались ни Уильям Джонс, ни Франц Бопп — автор первой подробной сравнительной грамматики индоевропейских языков (1816). Все они видели звуковые *соответствия* — то, что одному звуку в одном языке может регулярно соответствовать другой в родственном ему языке — но все они считали это скорее *тенденцией*, которая не обязана соблюдаться в каждом конкретном случае.

Постепенно, однако, до специалистов стало доходить, что «исключения» из звуковых законов на самом деле объясняются тем, что их перекрывают другие законы. Ведь языковых изменений за несколько тысяч лет накапливается очень много, и многие из них входят «в конфликт» друг с другом. Индоевропеисты более чем полвека распутывали сложный клубок исторических процессов, сопровождавших развитие латыни, греческого, санскрита и т. д., прежде чем, наконец, так называемой школе младограмматиков, оформившейся в 1870-е годы в Лейпцигском университете, удалось четко сформулировать постулат, до сих пор остающийся фундаментальной основой компаративистики — утверждение, что «звуковые законы не знают исключений».

Сразу подчеркну, правда, что утверждение это нужно, грубо говоря, понимать как характеризующее некоторый динамический процесс, а не как конечный результат. Скажем, звуковой закон «в русском языке звук *к* в позиции перед *ять* (ѣ) переходит в *ц*» означает, что в течение определенного времени в русском языке (а точнее — во всех древнеславянских диалектах) действовал звуковой закон: сочетание **кѣ** было непроносимым, вместо него славяне вынуждены были произносить **цѣ** (отсюда, в частности, русское *целый*, *целить* из ***кѣл-** = германское /готское/ *hails* ‘здоровый’, *hailjan* ‘лечить’). Но там, где в результате этого звукового закона образовалось неудобное чередование согласных (например, *вълкъ* ‘волк’, но местный падеж *вълцѣ-тъ*), как только этот закон перестал быть «активным», произошло обратное выравнивание — в форму *вълцѣ-тъ* по аналогии с формой именительного падежа «вернулся» старый звук *к*. Получается, таким образом, что из этого звукового закона

все же есть исключения — но на самом деле это не столько «исключение», сколько результат действия дополнительного психологического фактора, который наложился поверх звукового закона и отчасти нивелировал его «вредные» побочные эффекты.

«Младограмматикам» удалось установить и существование звуковых законов, и основные причины, по которым в языках могут впоследствии возникнуть отклонения от этих законов, и, таким образом, уже даже не заложить основы, а полностью выработать все основные приемы того, что сегодня называется *сравнительно-историческим методом*. Применение этого метода необходимо для достоверного установления факта языкового родства — и, разумеется, при реконструкции языка-предка для группы родственных языков. Вкратце основные «фазы» этого метода можно свести к следующим:

1. Предварительный этап: набор первичного, «сырого» материала. Здесь, опираясь исключительно на собственную интуицию и опыт, лингвист собирает вместе «похожие» слова языков, которые ему кажутся родственными.
2. Установление регулярных соответствий. Каждое сравнение в набранном первичном корпусе проверяется на предмет *рекуррентности* соответствий: от этапа «похожести» мы переходим к этапу «предсказуемости», отсеивая случаи, которые не подтверждаются статистикой и поэтому не могут считаться регулярными. Если регулярные соответствия установить удалось, значит, языки, скорее всего, действительно родственны, и одновременно мы заложили прочную основу для реконструкции их праязыка.

Такой вопрос: насколько существенно эти два этапа действительно отличаются друг от друга? Верно ли, что, когда мы переходим от сравнения «на глазок» в поисках похожих слов к поискам регулярности, первичный корпус сильно видоизменяется? И если да, то как сильно?

Г. С.: Безусловно, изменяется. Опираясь исключительно критерием «похожести», даже самый опытный лингвист на предварительном этапе выдвинет немало ошибочных сопоставлений — однако это такие ошиб-

ки, опасаться которых не следует: корректно осуществленная работа на втором этапе, скорее всего, их неизбежно вскроет.

Скажем, если мы занимаемся бинарным сопоставлением древнегреческого и латинского языков, то греческое слово *theos* 'бог', безусловно, похоже на латинское *deus* 'бог', и в предварительный «сырой» корпус обязательно попадет. Но дальше окажется, что ни одного другого «хорошего» примера на соответствие «греческое *th*: латинское *d*» во всем корпусе нет. Значит, соответствие, скорее всего, неверное. Чтобы это подтвердить, хорошо бы найти верное, и оно есть: на самом деле греческое *th* в начале слова соответствует латинскому *f* — греческое *thyrā* 'дверь' = латинское *foris* 'дверь', греческое *thermos* 'теплый' = латинское *formus* 'теплый', греческое *thymos* 'дух' (из старого значения 'дым') = латинское *fumus* и т. д. А вот латинское *deus* 'бог', как показывает дальнейший анализ, на самом деле соответствует... греческому имени верховного бога *Zeus* (Зевс), хотя фонетическое сходство здесь и не так сильно бросается в глаза.

Вообще говоря, между двумя словами, фонетически *соответствующими* друг другу, легко может не оказаться никакого фонетического *сходства*. Это очевидно даже с чисто логической точки зрения: все языки изменяются → языки, изменяющиеся вне контакта друг с другом, изменяются по-разному → рано или поздно в таких условиях любые два родственных языка разойдутся по своему звучанию настолько далеко, что без скрупулезнейшей исследовательской работы их родство останется скрытым. Вопрос лишь во времени — как скоро это произойдет. А скорость здесь, в зависимости от конкретных обстоятельств, может быть очень разной (вспомним разговор об «архаичных» и «инновативных» языках, с противопоставлением литовского и латышского и т. д.).

Возьмем конкретный пример. Есть ли фонетическое сходство между современным английским словом *wheel* [wi:l] 'колесо' и древнеиндийским *sakra* (чакра)? Очевидно, что нет: в них не совпадает ни один звук. И тем не менее на самом деле эти два слова связаны вполне четкими регулярными соответствиями. Можно даже, сильно поднажужившись, найти еще несколько примеров. Например, на соответствие «английское *wh-* [w-]: др. — индийское *c-*»: англ. *what* 'что?' = др. — инд. *cit* 'что', или англ. *while* 'временной промежуток' = др. — инд. *cira-* 'задержка'. Ко-

нечно, примеров этих будет очень немного, и убедительных выводов на их основе не сделать. Но здесь на помощь приходят данные других языков — ведь, кроме современного английского, у нас есть еще древнеанглийский, где ‘колесо’ будет *hwēol* или даже, в нестянутой форме, *hweogola*, сравнение которой с древнескандинавским *hjöl* дает прагерманскую реконструкцию **xwegwla-*. Если учесть при этом, что в санскрите совпали старые *r* и *l*, старый индоевропейский гласный **e* перешел в *a* и т. п., то постепенно эти формы начинают друг с другом «сходиться» — причем по четким правилам, каждое из которых можно обосновать и другими примерами.

А вот и обратный пример: современное греческое слово *mati* ‘глаз’ и индонезийское *mata* ‘глаз’. Похоже? Почти полное фонетическое совпадение, за исключением второго гласного, которым, казалось бы, можно и пренебречь. Но попробуем найти дополнительные примеры на такие «простые» соответствия между греческим и индонезийским — и не найдем ничего. На самом же деле греческое *mati* регулярно соответствует... русскому слову *око* и даже, что совсем, казалось бы, невообразимо, английскому *eye* [aɪ]. Хотя, впрочем, здесь надо сделать уточнение: русскому *око* и английскому *eye* в составе греческого слова соответствует не звуковая цепочка *mati*, а скорее... «пустота».

Дело в том, что новогреческое *mati* восходит к позднедревнегреческому *ommaton*, с регулярным упрощением начала и конца слова. Последнее, в свою очередь — уменьшительно-ласкательное образование от древнегреческого *omma* ‘глаз’. *Omma* — результат ассимилятивного развития (уподобления) из *op-ma*, где *-ma* — также старый суффикс, а корень — *op-*. Вся эта информация извлекается из памятников греческого языка и их языкового анализа. Дальше уже начинается сравнение с другими языками и реконструкция, в ходе которой устанавливается, что греческое *op-* — регулярное развитие из праиндоевропейского корня **ok^w-* ‘глаз’. Тут уже невооруженным глазом видна связь со славянским *оком*, а что с английским *eye*? Современное *eye* — результат развития из древнеанглийского *ēage*, которое, в свою очередь, восходит к прагерманскому **auga-* (в древнескандинавском ‘глаз’ так и будет *auga*), а прагерманское **-g-* — результат регулярного развития индоевропейского **-k^w-* в этой позиции в слове.

Конечно, все эти примеры, которые я привожу, — это своеобразный «экстрим» в компаративистике, которым профессионалы-компаративисты очень любят удивлять, а, если надо, и запугивать «любителей» (самый хрестоматийный пример в индоевропеистике — это армянское слово *erku* ‘два’, которое вполне регулярно соответствует русскому *два*, латинскому *duo* и т. д.). Если бы любое языковое родство со временем выливалось в столь сложные сценарии, боюсь, что ни Джонсу, ни Боппу, ни младограмматикам не только не удалось бы надежно установить состав индоевропейской семьи и примерный облик праиндоевропейского языка, но и вообще компаративистика могла бы не зародиться. На самом деле, если открыть большой сравнительный словарь индоевропейских языков, там на каждые один-два случая типа *sakra* : *wheel*, *duo* : *erku* и т. п. будет приходиться несколько этимологий, в которых есть и регулярные соответствия, и фонетическое сходство. Скажем, в *duo* : *erku* никакого фонетического сходства нет, но на русское *два* латинское *duo* вполне себе похоже.

То есть я хочу тем самым сказать, что в *обычном* случае — исключения, конечно, тоже встречаются — если компаративист сначала «на глазок» набросает корпус потенциальных этимологий, а потом начнет его тщательно прорабатывать на предмет поиска регулярных соответствий, то, скорее всего, процентов 50–70 у него в итоге точно останется; оставшиеся 30 через фильтр регулярности не пройдут, но на их место наверняка встанут другие 30, которые он первоначально не нашел из-за того, что слова не были похожи друг на друга.

А что было бы, если бы мы ничего не знали ни про древнеанглийский, ни про древнерусский, ни про древнегреческий? Могли бы мы тогда установить родство? Ведь очевидно, что при работе с неиндоевропейскими языковыми семьями очень часто будут возникать ситуации, когда никаких древних языков нет. И что тогда делать без такой «палочки-выручалочки»?

Г. С.: Не просто «очень часто», а, более того, это *нормальная* ситуация: у подавляющего большинства языков мира никакой письменной истории, уходящей корнями в глубокую древность, нет и в помине. Как я уже говорил, индоевропейские и семитские языки — два счастливых

исключения в море языковых семей, каждой из которых, можно сказать, очень повезло, если в ее составе обнаружили хотя бы один-два языка, представленные письменными памятниками хотя бы этак века с десято-го-двенадцатого (*нашей* эры, конечно).

Но настолько же, насколько типична ситуация, когда мы ничего не знаем про «отцов» современных языков, то есть про то, как эти языки выглядели тысячу, две, три тысячи лет тому назад, типична и ситуация, когда у нас есть сведения про их «братьев», то есть языков, имеющих с ними не очень отдаленного общего предка. Предположим, что мы ничего не знаем про историю английского языка. Но, во-первых, английский язык сам по себе представлен очень разными диалектами и некоторые из них гораздо более архаичны, чем литературный «British English». Во-вторых, у английского есть близкие родственники — в первую очередь фризский, затем голландский, немецкий и т. п. Сопоставив эти близкородственные языки и диалекты, обнаружив между ними регулярные соответствия, мы получим вполне надежную празападногерманскую реконструкцию, которая успешно заменит отсутствие древнеанглийского языка.

Конечно, такая субституция не всегда срабатывает на сто процентов. Некоторые компаративисты, испытывающие глубокий пиетет перед данными древних языков, любят, скажем, подчеркивать тот факт, что, сколько ни сравнивай современные романские языки, классический латинский язык Цезаря и Цицерона из этого сравнения все равно не выявится. Но при этом как-то забывается, что ближайший общий предок большинства современных романских языков — это вовсе не классическая латынь Цезаря и Цицерона, а так называемая вульгарная латынь — разговорный язык обычных римлян эпохи ранней Империи, то есть людей, которые в массе своей не умели ни читать, ни писать, совершенно не стремились к «литературизации» собственного языка и, скорее всего, уже даже в I веке до н. э. говорили друг с другом на существенно более простых в грамматическом отношении диалектах, чем то наречие, которое легло в основу «изысканного» литературного языка Цезаря и Цицерона. И вот эта самая «вульгарная» латынь, в которой уже упрощалась фонетика, отмирали некоторые падежные и глагольные формы, на которой вместо *equus* ‘лошадь’ говорили *caballus* (откуда итальянское *cavallo*, французское *cheval* и т. п.) и так далее — *эта* латынь в общих чертах вполне

хорошо восстанавливается через сравнение современных романских языков. Причем чем *больше* этих языков-потомков нам известно, тем более точной и убедительной будет реконструкция. Языковая семья, которая состоит из десяти разных ветвей, наверняка позволит лучше узнать ее предысторию, чем семья, состоящая из двух-трех ветвей.

А бывают ли языковые семьи, состоящие из одной ветви или вообще из одного языка? И если да, то как поступать с ними?

Г.С.: Безусловно, бывают. Это так называемые языки-изоляты, не имеющие близких — или вообще никаких — языковых «родственников». Причем, поскольку понятие языкового родства относительно, то и «изолированность» языка может быть относительной. Скажем, армянский или албанский языки — это языки-изоляты на хронологическом уровне языковой группы. У них нет такого же рода «близких родственников», какими, например, для русского являются другие славянские языки, для английского — германские, для французского — романские и т. д. Но при этом и армянский, и албанский — это языки индоевропейские, каждый из которых сам по себе представляет одну отдельную ветвь большой индоевропейской семьи. Поэтому на более глубоком хронологическом уровне — индоевропейском — они совершенно не изоляты.

С другой стороны, то, что у этих языков нет близких родственников, очень затрудняет конкретную работу с ними. Например, албанский — язык, во многих отношениях исключительно инновативный. Мало того, что за последние две тысячи лет он был чрезвычайно открыт к заимствованиям (сначала из латинского языка, затем из славянских, наконец, из турецкого), но и фонетическая структура его также претерпела колоссальные изменения (например, от индоевропейского **ed-* ‘есть, кушать’ осталось *ha*; **ok^w*- ‘глаз’ перешло в *si*, и можно еще много привести таких умопомрачительных примеров), так что очень не сразу удалось надежно установить, что албанский — индоевропейский язык.

Если бы мы знали по письменным памятникам историю албанского языка с древнейших времен, хотя бы с того же времени, что и историю греческого языка, проблем было бы гораздо меньше — но, к сожалению, первые известные албанские тексты датируются XIV–XV веками, когда все

основные «мутации» в этом языке уже закончились. Если бы албанский был не одним языком, а хотя бы небольшой языковой группой, наподобие славянской, мы могли бы сделать внутриалбанскую реконструкцию и однозначно выявить, что в этих языках архаично, а что — инновативно. Увы, и здесь ничего не выходит: современный албанский представлен всего лишь двумя диалектами (тоскским и гегским), очень близкими друг к другу и разошедшимися от своего «праалбанского» предка никак не более чем тысячу лет тому назад. Поэтому неудивительно, что вокруг истории и происхождения очень большого количества албанских слов до сих пор ведутся дискуссии — из-за того, что столько «воды утекло» с того момента, как албанский отделился от общеиндоевропейского ствола, и до того момента, когда он открыто появился на письменных страницах истории.

Тем не менее, несмотря на все трудности, этот хронологический зазор оказался, в случае албанского, не столь критическим. Гораздо более тяжелые ситуации встречаются там, где мы действительно сталкиваемся с *настоящими* изолятами — языками, ближайшие родственники которых отделены от них пятью, семью, десятью и более тысячами лет. Многие компаративисты в таких случаях принципиально считают, что родственные связи этих языков установить нельзя никакими средствами, и отвергают любые гипотезы едва ли не с порога. На самом деле случай каждого отдельного языка-изолята нужно разбирать отдельно: где-то удастся подкрепить гипотезу обнаружением регулярных фонетических соответствий, где-то удастся собрать внушительный этимологический корпус, а где-то все предположения действительно остаются на уровне фантомных спекуляций. Приведу несколько конкретных примеров:

- *японский* язык: судя по всему, изолят по меньшей мере на протяжении последних четырех-пяти тысяч лет, но при этом все же связанный глубокими родственными отношениями с корейским и, далее, с тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками в рамках большой *алтайской* макросемьи (существование которой многими лингвистами тем не менее оспаривается);
- *баскский* язык: по-видимому, приходится ближайшим родственником северокавказским (нахско-дагестанским и абхазо-адыг-

ским) языкам, но разделение общего предка имело место по меньшей мере шесть-семь тысяч лет тому назад, что, собственно, и дало им возможность в конечном итоге оказаться на разных концах Европы;

- *нивхский* язык на Дальнем Востоке (язык коренного населения части Приамурья и острова Сахалин, сегодня активно вымирающий): есть гипотезы касательно возможных родственных связей с другими дальневосточными семьями, например, чукотско-камчатской, и, возможно, даже с некоторыми североамериканскими семьями (алгонкинской), но регулярные соответствия практически не устанавливаются, этимологический корпус ненадежен, так что пока все находится скорее на уровне интуитивных догадок, подкрепленных горсткой примеров (достаточно красивых, чтобы продолжать думать о гипотезе всерьез, но совершенно не достаточных для того, чтобы считать ее научно обоснованной);
- *шумерский*: широко известен как первый язык в истории человечества, от которого до нас дошли письменные памятники, но родственные связи шумерского при этом остаются абсолютной загадкой. С кем только его не пытались породнить — и с индоевропейцами, и с семитами, и с кавказцами, и с дравидами, и с австроазиатами, и с японцами, и степень обоснованности у всех этих гипотез была примерно одинакова (то есть ни одной из них доверять нельзя). К сожалению, мистическое обаяние шумерской цивилизации столь велико, что эти отчаянные попытки будут продолжаться и дальше — хотя, на мой взгляд, дело это гиблое, по крайней мере до той поры, пока не будут разрешены многие другие спорные вопросы родства языков Евразии.

Языки-изоляты такого рода — это, конечно, бич компаративиста; единственное утешение в том, что их очень мало по сравнению со всеми остальными (точное число определить трудно, но, по-видимому, в целом не более одной сотни в общемировом масштабе), и, таким образом, успешное решение проблемы изолятов вовсе не обязательно для того, чтобы заниматься вопросами языкового родства и реконструкции на самых разных временных глубинах.

Еще вопрос. Понятно, что ключевую роль в установлении языкового родства играют звуковые законы; но верно ли, что, кроме звуковых законов, ничего больше устанавливать не нужно? Получается, что фонетические соответствия — это едва ли не единственная забота компаративиста?

Г. С.: Конечно, неверно. В первую очередь потому, что сопоставляется не только *форма* слова, но и ее *значение*. Если вообще не принимать во внимание значение слова, то регулярные соответствия можно будет установить между любыми фонемами любых языков. Вот я скажу, например, что русскому [т] в английском на самом деле соответствует [п], а русскому [р] соответствует английское [т], и пойду набирать примеры: русское *рот* — английское *top* ('верх'), русское *тер-еть* — английское *pet* ('гладить'), русское *старый* — английское *spat* 'метать икру' и т. д. 'Тереть' и 'гладить', кстати, вполне разумное семантическое сопоставление; все остальное, конечно, абсолютная бессмыслица, но если в методе эксплицитно не прописано требование сходства по смыслу, то и она имеет полное право на существование.

С другой стороны, «сходство по смыслу» — требование намного более расплывчатое, чем в случае со звуковыми законами. Я в большинстве примеров, которые приводил до этого, по возможности старался оперировать словами, которые в родственных языках не просто «сходны», а полностью совпадают по смыслу, но на практике, конечно, все время приходится иметь дело и со словми, со временем изменившими свое исходное значение. И тут регулярно возникают очень трудные задачи. Что такое «звуковой закон», понять, в общем, несложно. Смыслоразличительных звуков-фонем в языке мало (несколько десятков, в самом крайнем случае — под сотню), каждый из них встречается во многих словах и в ходе языкового развития ведет себя одинаково. А вот могут ли быть какие-нибудь «законы», определяющие изменение значений слова?

По-видимому, не могут, поскольку отдельных языковых значений в языке на порядок, а то и на несколько порядков, больше, чем фонем, и если изменилось одно значение одного слова, это не значит, что за этим неизбежно последует изменение и других значений. Иными словами, имея перед глазами конкретные примеры семантических соответствий

между двумя языками, мы не можем, как правило, предсказать другие семантические соответствия в этих же языках. Если я вижу, что слову *kata* языка А соответствует слово *hata* в языке Б, я имею полное право предположить, что слову *kara* языка А будет соответствовать в языке Б слово *hara*, даже не видя его, и очень высока вероятность того, что мое предположение оправдается. Но если слово *kata* в А значит 'голова', а слово *hata* в Б значит 'вождь, глава', то могу ли я заранее предсказать, что значит в языке Б слово *hara*, если в языке А слово *kara* значит, например, 'лицо'? Нет, не могу, потому что обе эти пары — автономны, и семантическое изменение в одной из них совершенно не обязано как-то влиять на другую.

Тут и начинаются основные сложности. Если «семантических законов», аналогичных «фонетическим», нет, это создает нехороший психологический фон для своеобразной вседозволенности. Классические индоевропеисты не видели здесь особой угрозы, поскольку работали в первую очередь с древними, относительно недавно отделившимися от общего предка языками. Как правило, значения сравниваемых слов в этих языках либо совпадали полностью, либо отличались очень незначительно. Но самое главное — подробно возиться с соответствиями значений *не было нужно* для того, чтобы обосновывать индоевропейское родство и решать те задачи, которые индоевропеисты считали наиболее актуальными: в первую очередь — реконструкцию звуковой и грамматической системы праиндоевропейского языка.

Предположим, перед вами такая пара слов: английское *bone* 'кость' и немецкое *Bein* 'нога' — или еще менее «тривиальный» случай: английское *clean* 'чистый' и немецкое *klein* 'маленький'. Можно ли считать эти пары слов родственными, то есть происходящими из общего источника? И если да, то какое было значение у соответствующего слова в праязыке? С точки зрения классической индоевропеистики рассуждение должно строиться следующим образом:

- (1) английский и немецкий языки родственны друг другу и восходят к общему предку; это многократно доказано на основании парных сопоставлений, значения которых гораздо ближе друг к другу, чем в приведенных примерах, и поэтому не подлежит сомнению;

- (2) пары *bone / Bein* и *clean / klein* регулярно соответствуют друг другу во всех отношениях (даже в плане гласных: в первом случае — такое же соответствие, как между англ. *goat* и нем. *Geiss* ‘коза’, англ. *home* и нем. *Heim* ‘дом’ и т. п.; во втором — такое же, как между англ. *wheat* и нем. *Weizen* ‘пшеница’, англ. *deal* и нем. *Teil* ‘часть, доля’ и т. п.). Следовательно, вероятность того, что это два случайных совпадения, ничтожно мала;
- (3) таким образом, обе этимологии будут считаться верными, по крайней мере до тех пор, пока не удастся найти альтернативные, более «очевидные» с точки зрения семантики (что очень маловероятно, поскольку для этого требуется появление каких-то новых, доселе неизвестных данных по уже очень подробно описанным и изученным германским языкам).

Опять-таки оба приведенных примера слегка утрируют ситуацию, потому что в обоих случаях у нас есть еще данные по древнегерманским предкам современных английского и немецкого, а также данные по многочисленным родственным языкам. Для прагерманского **klniz*, например, к которому восходит и английское *clean*, и немецкое *klein*, в языках-потомках обнаруживается целый спектр значений — ‘чистый’, ‘маленький’, ‘узкий’, ‘тонкий’, ‘изящный’, ‘нежный’, ‘сияющий’ и т. п.; общий инвариант всех этих значений — что-то вроде ‘тонкий-просвечивающий’ (как, например, тонкая ткань), из которого со временем легко развиваются все остальные. А прагерманское **bainan* ‘кость’ на самом деле сохраняет свое старое значение еще в древневерхненемецком; современное *Bein* ‘нога’ — результат сдвига значения в сторону более узкого ‘кость ноги’ и последующего расширения на ‘ногу’ вообще.

Но именно из-за наличия, в большинстве случаев, этих «промежуточных звеньев» строгие критерии сравнения значений в классической компаративистике так и не были разработаны — и плоды этого упущения стали серьезнейшим образом ощущаться тогда, когда компаративистика занялась сначала изучением бесписьменных языков и языковых семей, а затем — проблемами глубокого родства. Представьте себе, что вы имеете дело с теми же самыми английским и немецким языком — только у вас нет ни достоверных знаний об их истории, ни сведений

о других родственных им языках, да и строгие регулярные соответствия надежно устанавливаются не во всех случаях (не потому, что их нет, а из-за нехватки материала и из-за того, что очень много независимых изменений произошло с момента распада языковой общности). Как в таком случае решать проблему соотношения значений 'чистый' и 'маленький'? «Возьмем» мы такую этимологию или отбросим?

На практике это означает, что в дело может вступить личная интуиция лингвиста. Само по себе это не всегда страшно — интуиция основана на опыте, на индуктивном обобщении известных видов семантических корреляций и экстраполяции их на дальнейший материал. Но беда в том, что у лингвистов часто отсутствует четкое понимание того, до каких пределов можно применять интуицию. По существу, любое значение можно через некоторое количество промежуточных этапов связать с любым другим.

Скажем, допустимо ли сопоставлять *глаз* и *желудок*? На первый взгляд, конечно, нет, но если очень постараться, можно составить вполне правдоподобную цепочку переходов. Например: 'глаз' → 'лицо' → → 'перед, передняя часть' → 'грудь' → 'живот' → 'желудок'. Более того, если предположить, что значение 'перед' здесь исходное и перестроить цепочку так:

'глаз' ← 'лицо' ← 'перед' → 'грудь' → 'живот' → 'желудок'

то, пожалуй, для каждого из таких развитий можно будет подобрать хотя бы по одному-двум примерам в языках мира, которые бы эксплицитно подтверждали, что все они возможны.

Конечно, для того чтобы все эти переходы произошли, требуется *время*. Если бы мы сравнивали друг с другом, например, 'глаз' в английском языке и 'желудок' в немецком, можно было бы точно сказать: это невозможно, потому что за тот временной отрезок, который отделяет эти два языка, такие семантические переходы просто не успели бы произойти. Но на самом деле никто не умеет с помощью строгих математических методов измерять скорость семантических изменений, и уж тем более нельзя утверждать, что она во всех языках всегда одинакова (хотя для определенных слоев лексики такие закономерности подозреваются — об этом мы поговорим чуть позже).

Вот эта неопределенность, размытость семантических категорий и приводит к тому, что в этой области буйно расцветает личная фантазия, причем фантазировать здесь могут позволить себе и вполне профессиональные лингвисты — ведь, фантазируя, они ничего не *нарушают*. Восстанавливается, например, в праиндоевропейском корень **men-* ‘думать, мыслить’ (откуда латинское *mens* ‘разум’, и русское *мн-ить*, *по-мн-ить*, и английское *mind*, и многое другое), и отдельно восстанавливается корень **man-* или **mon-* со значением ‘муж, мужчина’ (откуда английское *man*, и русское *муж*, и санскритское *manu-*), а дальше возникает вопрос: а не один и тот же ли это корень? Согласные совпадают, гласные можно увязать друг с другом через грамматическое чередование, которых в праиндоевропейском было немало, а значения сравнивать никто не запрещал. Почему бы не предположить, что для праиндоевропейцев ‘мужчина’ — значит ‘мыслящий’, ‘понимающий’? Будет полноценная научная гипотеза, призванная подчеркнуть патриархальное сознание праиндоевропейского человека и т. п.

Вы имеете в виду, что такая связь на самом деле невозможна?

Г. С.: На самом деле «ужас» ситуации в том, что, когда дело касается семантики, мы не знаем твердо, что «возможно», а что «невозможно». Сегодня какая-то семантическая связь кажется абсолютно нереальной, а завтра открывается новый язык или языковая группа — и оказывается, что «бывает и такое». Учебники по компаративистике полны чудесных и удивительных примеров переходов значений — чего стоит, скажем, французское *foie* ‘печень’, происходящее из слова... *фига!* (о том, с чем связано это уникальное развитие, мы поговорим чуть позже).

Поэтому нет ничего принципиально *невозможного* в том, чтобы индоевропейские корни со значением ‘думать’ и ‘мужчина’ были связаны друг с другом. Но наша задача не сводится к тому, чтобы указать на то, что что-то *возможно*, особенно в такой области, как семантика. Наша задача — подкрепить эту возможность конкретными аргументами. В противном случае мы рискуем скатиться в область так называемой *народной этимологии* — произвольного объяснения значения того или иного слова, исходящего из его звукового сходства с другим словом, ко-

торое вызвано чисто случайными причинами. И надо сказать, что в индоевропеистике, науке вполне серьезной и уважаемой, народная этимология пользуется определенной популярностью там, где заканчивается собственно реконструкция, основанная на сравнении данных по разным языкам, и начинаются попытки определить связи уже между самими этими реконструкциями.

Например, реконструируется сложная форма **wlopek'a-* 'лиса' (на основании соответствия между древнеиндийским *lopāśa-*, греческим *alōpēks* и еще некоторых форм), а дальше, на основании звукового сходства между этой основой и двумя другими праиндоевропейскими корнями на полном серьезе выдвигается гипотеза, что слово это происходит от сочетания корней **wel-* 'губить, уничтожать' и **pek'-* 'мелкий рогатый скот', то есть 'лиса' = 'скотогубка'. Верная это «этимология» или нет? Конечно, странно, что именно 'лиса', а не 'волк', но, во-первых, мелкому скоту могут вредить и лисы, во-вторых, это может быть древним «табуированным» эвфемизмом (примерно как *медв-едь*, то есть «едающий мед», в славянских языках заменил старый индоевропейский корень для обозначения медведя), сконструированным по особым правилам.

В этих условиях существует единственная объективная основа — это *типология семантических изменений*, основанная на тщательно собранных и проверенных эмпирических данных. Да, изменения значений бывают самыми разными, в том числе и уникальными для какого-то одного языка или языковой группы. Но тем не менее *подавляющее большинство* семантических переходов в языках мира все же подчиняется определенным тенденциям, которые часто действуют совершенно одинаковым образом в самых разных уголках планеты. И если в XIX веке, в эпоху накопления первичных знаний лишь по нескольким языковым семьям, это еще не было абсолютно очевидным фактом, то сегодня, когда у нас уже есть богатый опыт исторического изучения языков по всему миру, мы начинаем понимать, что «семантический хаос» на самом деле можно упорядочить, разработав определенные механизмы контроля.

Механизмы эти в целом можно свести к двум простым правилам.

Первое правило: Постулируя семантическую связь между двумя значениями в двух языках, убедись в том, что такую же связь можно постулировать и между какой-нибудь другой парой языков (лучше всего —

если эта связь будет подтверждаться письменными источниками по истории этих языков, или обнаружится в виде полисемии, то есть многозначности, в одном и том же языке).

Второе правило: Постулируя семантическую связь между двумя значениями в двух языках, будь готов предложить конкретный *исторический сценарий* — объяснить, какое из этих двух значений исходно, а какое инновативно (или, может быть, из какого третьего значения все они происходят), и показать, что для такого сценария не существует непреодолимых препятствий.

Если эти правила не выполняются, это не значит, что этимологию обязательно нужно отвергнуть. Но она будет заведомо слабее любых других этимологий, в которых они выполняются, и при наличии альтернативы будет отвергнута обязательно.

Пример на первое правило. Допустим, мы хотим сопоставить в одном языке слово со значением *лицо*, в другом — слово со значением *глаз*. Мыслимо или немислимо такое изменение значения «в один шаг»? Мыслимо: сравните, например, такие контексты, как *Я взглянул ему в лицо* и *Я взглянул ему в глаза*, где общий смысл примерно один и тот же. Здесь ‘глаза’ — это как бы «главная часть» лица, к которой лицо может при необходимости «сводиться». Поэтому с чисто логической точки зрения связь возможна.

Но наша «логическая» точка зрения может на самом деле отличаться от того, что «бывает на самом деле». Со смысловой парой «*лицо: глаза*», по счастью, долго возиться не придется: такие семантические развития обнаруживаются и в Азии, и в Африке, и в Америке, они вполне естественны. Реже встречается смысловая пара «*лицо: рот*», имеющая обычно «животное» происхождение (поскольку у животного «морда» — это и «рот», и «лицо»). А вот, скажем, примеров на пару «*лицо: нос*» я уже не знаю. Даже если они где-то есть, то это большая редкость, и, чтобы сравнивать слова с такими значениями, нужны очень веские дополнительные основания.

Теперь пример на второе правило. Допустим, мы предлагаем сравнивать слово ‘зуб’ в языке А со словом ‘*колышек*’ в языке Б. Опять-таки, в первую очередь опираясь на общую логику — и тот, и другой объект сходны по ряду признаков (узкая заостренная поверхность и т. п.).

Во многих этимологических работах дело этим и ограничивается: реконструкция будет подаваться как * (форма) ‘зуб, колышек’. Но что имеется в виду? Имело ли это слово в праязыке оба значения? Или одно из них, и если да, то какое?

А нам обязательно это знать для того, чтобы увериться в правоте этимологии? И можно ли вообще это узнать достоверно?

Г. С.: Тут есть важная разница между словами «знать» и «считать вероятным». Попробую показать «на пальцах», конкретизировав этот пример, для простоты — пока что на вымышленной основе. Допустим, у нас такая ситуация:

Значение	Язык А	Язык Б
‘зуб’	titi	paka
‘колышек’	tapana	titi

Вероятно ли в этой ситуации, что в праязыке — предке и А, и Б — слово *titi* значило и ‘зуб’, и ‘колышек’? Не очень вероятно, поскольку в этом случае непонятно, откуда берется в языке Б слово *paka* ‘зуб’, а в языке А слово *tapana* ‘колышек’. Если они в этих языках унаследованы от праязыка, значит, наша задача — восстановить и их значения тоже. Но если мы полагаем, что праформа **titi* значила и ‘зуб’, и ‘колышек’, то обе эти позиции уже заняты, и наш сценарий оказывается тупиковым. Другой вариант — Б *paka* и А *tapana* не унаследованы от праязыка, а, например, были заимствованы из разных источников уже после распада их языковой общности. Но в этом случае хотелось бы, конечно, узнать, что это за источники; если в соседних, неродственных языкам А и Б наречиях ничего похожего нет, то такая гипотеза будет голословной.

Теперь предположим, что мы в ходе дальнейшего этимологического расследования обнаружили, что в языке Б есть прилагательное *tapa*, которое значит ‘острый’. Такая находка — для нас большая удача, потому что она уже позволяет предложить для всей ситуации стройный, непротиворечивый и типологически достоверный сценарий:

- а) в праязыке были слова **paka* 'зуб', **titi* 'колышек', **tapa* 'острие';
- б) в языке Б все эти слова сохранили свои значения;
- в) в то же самое время в языке А вместо старого слова *paka* 'зуб' сначала как разговорный «жаргонизм», а затем уже и в совершенно нейтральной функции стало употребляться слово *titi* 'колышек';
- г) когда основным значением слова *titi* стало 'зуб', то для того, чтобы снять многозначность, язык А в значении 'колышек' вместо старого *titi* стал употреблять производное от прилагательного *tapa* 'острый' — существительное *tapa-na* 'острие'. Таким образом система вернулась к первоначальному балансу.

А не слишком ли усложняют и запутывают работу все эти сложные процедуры? Ведь чем больше гипотетических допущений в таких реконструкциях, тем меньше доверия они вызывают.

Г. С.: В том-то как раз и дело, что гораздо меньшего доверия заслуживают реконструкции, в рамках которых *не* расписаны такие сценарии. Допустим, я открываю этимологический словарь произвольной языковой семьи и вижу там четыре разных вхождения *a, b, c, d* (реконструированных слова), которые в разных языках имеют такие значения:

- *a*: 'рука', 'кисть руки', 'кость';
- *b*: 'рука', 'ветка', 'лапа', 'рукав';
- *c*: 'рука', 'нога', 'горсть', 'крыло';
- *d*: 'рука', 'ладонь', 'лапа'.

Что все эти значения похожи друг на друга — более или менее очевидно: в каждом из четырех случаев что-то имеющее отношение к 'руке' или, на худой конец, к 'ноге', то есть 'конечность'. Но что *конкретно* значило каждое из этих четырех слов? Во всех четырех случаях есть значение 'рука', но вряд ли в праязыке было четыре разных слова, которые все значили 'рука' — здесь полезно вспомнить о «принципе униформизма»: если такого не бывает в известных нам языках (в том числе бесписьменных и т. п.), мы не имеем права это предполагать и для языков «дописьменно-

го» периода. Значит, скорее всего, каждое из этих слов изначально обладало лишь одним из значений, присущих ему сегодня в языках-потомках. Например, *a* могло значить 'рука', *b* — 'лапа', *c* — 'крыло', *d* — 'ладонь'. Но как установить наиболее вероятный сценарий?

Во-первых, с помощью наших знаний о типологии семантических изменений. Развитие 'лапа' → 'рука' естественно и частотно (ср. *уберите лапы!*), равно как и 'рука' → 'рукав' (в русском языке эти слова, как нетрудно увидеть, однокоренные). А вот развитие 'рука' → 'нога', по видимому, невозможно: нет ни одного достоверно известного случая, все-таки слишком разные объекты. Может, конечно, существовать какой-то родовой термин вроде 'конечности' (как английское *limb*, которое, кстати, само восходит к более раннему значению 'ветка'), но это обычно довольно специфическое слово, которое присутствует далеко не во всех языках, и вероятность, что оно будет служить основой для гораздо более «тривиального» значения 'рука' или 'нога', гораздо ниже.

Скорее уж и 'рука', и 'нога' могли бы развиваться как переносное значение через ту же 'лапу', и тогда значение *c* в праязыке мы бы стали восстанавливать как 'лапа'. Но тут возникнут проблемы с другими отражениями этой основы в языках-потомках — а как же 'горсть' и 'крыло'? И то и другое выводимы из значения 'рука' (к 'горсти' ср. английское *hand-ful*; 'крыло' получилось из старой 'руки', например, в древнекитайском и еще кое-где), но если мы восстанавливаем исходное значение *c* как 'лапа', получается, что здесь нужно предполагать очень сложную, «хронозатратную» цепочку переходов: 'лапа' → 'рука' → 'горсть' в одном языке и 'лапа' → 'рука' → 'крыло' в другом...

В общем, все это — хороший повод для того, чтобы еще раз как следует покопаться в предложенных этимологиях, безусловно, не принимая их «на веру», а применяя вместо этого критический подход.

Еще один полезный метод, который, к сожалению, очень недостаточно сегодня распространен в этимологических исследованиях — это так называемые *номинационные решетки*, которые в рамках нашей школы компаративистики, в частности, успешно разрабатывались А. В. Дыбо в ее алтаистических исследованиях. В самых общих чертах этот метод устроен так: берется определенное «семантическое поле», то есть небольшая группа близких друг к другу значений, и заполняется — в виде

таблицы — для всех родственных языков, этимологическим анализом которых мы занимаемся. При этом, разумеется, по всей таблице формы, соответствующие друг другу фонетически, отмечаются как потенциально (или доказанно, в зависимости от ситуации) родственные.

Например, один кусок такой таблицы может иметь следующий вид:

Значение	Язык 1	Язык 2	Язык 3	Язык 4
‘рука’	A	B	C	C
‘ладонь’	D	A	A	E
‘крыло’	B	F	G	G
‘перо’	G	G	H	H
‘волосы’	H	H	H	H
‘плоский’	E	E	E	E

Здесь A, B... H — это восемь разных корней, вероятно, восходящих к праязыку, значения которых могут отличаться в зависимости от того, в каком из языков-потомков мы их обнаруживаем. Если мы будем смотреть на каждое из *значений* в отдельности или если мы будем смотреть на каждую из *форм* в отдельности, понятный сценарий можно будет предложить только для двух последних слов — понятно, что H в праязыке, скорее всего, имело значение ‘волосы’, а E — ‘плоский’. Но если охватить взглядом всю таблицу в *целом*, то станет ясно, что:

- на значение ‘ладонь’ в первую очередь претендует корень A, так как он обнаружен в двух языках из четырех, а из оставшихся двух вариантов E — скорее всего, вторичен, так как легко объясняется как вторичное образование от значения ‘плоский’ (‘ладонь’ — ‘плоская’ часть руки, совершенно естественное в типологическом плане значение);
- на значение ‘перо’ претендует корень G, который его выражает в языках 1 и 2; в языках 3 и 4 значение ‘перо’ выражается тем же корнем, что и ‘волосы’, то есть здесь совпали в одном корне два близких значения;
- на значение ‘крыло’ претендует корень B, и он же, по-видимому, в языке 2 приобрел переносное значение ‘рука’;

- тем самым, по остаточному принципу, для значения 'рука' в языке годится только корень С.

Вот так, скомпоновав все данные в общую таблицу, мы сумели предложить для большинства форм *оптимальный сценарий* развития. На самом деле ситуация, конечно, может оказаться более сложной (например, если для каких-то из этих форм окажется высокой вероятностью того, что они не унаследованы от праязыка, а заимствованы из соседних, неродственных языков), но моя задача сейчас — в самых общих чертах продемонстрировать, как можно и нужно работать с семантикой. К сожалению, лишь очень немногие этимологические исследования подходят к этому вопросу с надлежащей степенью требовательности.

А почему? Казалось бы, если разработан метод, дающий конкретные результаты, грех им не воспользоваться. Или все-таки результативность применения таких «решеток» на сегодня остается низкой?

Г. С.: Дело в том, что семантика — вещь очень «скользкая». Когда занимаешься языками близкородственными, ее вообще почти не замечаешь: все слова либо совпадают по значению, либо имеют очень небольшие отличия. Все внимание уходит на фонетику. Скажем, чувашское *шӑл* 'зуб' и татарское *шеш* 'вертел' — соответствия между этими словами регулярны, значения похожи, а какое из них первично — дело десятое: в принципе достаточно просто записать в графе «значение» для праязыковой реконструкции что-нибудь вроде 'зуб, острое'. Для нас самое важное — это понять, родственны ли слова или нет, и реконструировать их «план выражения», то есть звуковую (фонемную) структуру.

Но со временем от сравнения близкородственных языков мы переходим к сравнению более дальнему и, следовательно, более сложному. На таких уровнях уже гораздо труднее однозначно устанавливать фонетические соответствия, и пропорционально возрастанию этой сложности возрастает роль тщательной семантической реконструкции. То, чем можно было пренебречь на начальных этапах работы, внезапно становится одним из важнейших аспектов. А поскольку «навыки» работы с семантикой оказываются изначально не очень хорошо развитыми, это в ко-

нечном итоге может привести к абсурдным результатам, уводящим даже профессионального исследователя в область народной этимологии и персональной фантазии.

Например, есть такой профессиональный африканист — большой специалист в различных областях африканской предьстории (археологии, этнологии и т. п.), Кристофер Эрет, по совместительству уже много лет занимающийся в том числе и вопросами лингвистической реконструкции и выпустивший штук пять этимологических словарей по разным африканским семьям. Для него абсолютно стандартный подход — это жесткие требования к фонетике сравниваемых слов, помноженные на абсолютное наплевательство по отношению к семантике. В результате получаются, например, такие «этимологии»:

- в трех ветвях кушитской семьи, очень далеко отстоящих друг от друга, берутся слова (а) 'низкий', (б) 'ребенок' и (в) 'хромой'. По своему звуковому составу они удовлетворяют постулированным для кушитских языков фонетическим соответствиям. Но как свести значения? Предлагается простое и в своем роде гениальное решение — из них как бы «выцеживается» общий семантический инвариант, и корень реконструируется со значением 'слабый'. Потому что понятно, что там, где 'слабый' — там и 'маленький', и 'низенький', и 'хромой', и 'больной', и 'ребенок', и, конечно, можно еще легко подогнать пару десятков подходящих значений;
- в трех ветвях койсанской (бушменско-готтентотской) семьи, отстоящих друг от друга еще дальше (вообще есть сомнения насчет того, что они действительно составляют одну семью), берутся слова (а) 'дым', (б) 'птица', (в) 'солнце' — и по тому же самому принципу из них вычленяется общий семантический инвариант 'парить (в небе)'! И опять-таки реконструируется общекойсанский корень именно с таким значением.

Но ведь с точки зрения общего здравого смысла здесь трудно прикопаться: действительно, и то, и другое, и третье передвигаются по небу. И с этой же точки зрения автор таких этимологий, наверное, имеет полное право на ответную реакцию — а чем, спрашивает-

ся, они хуже, чем, например, немецко-английское 'чистый/маленький'? Как понять, где начинается и где заканчивается наше «право» на такого рода семантическую реконструкцию?

Г. С.: Здесь есть три момента. Во-первых, «игры» такого рода со значениями слов допустимы *только* для семей, состоящих из близкородственных языков, — семей, где легко и надежно устанавливаются фонетические соответствия. Собственно говоря, повторимся, что в таких семьях и значения слов будут обычно очень близкими — казусы типа 'чистый / маленький' будут в абсолютном меньшинстве по сравнению с простыми случаями. Нужно обязательно уметь оценить ситуацию *в целом* — не на уровне отдельно взятой этимологии, а на уровне всего корпуса. Если из 50 этимологий 49 основаны на совпадающих значениях или очень простых семантических связях, и лишь одна имеет вид «эретовской» — ее можно принять за неимением лучшего объяснения для задействованных в ней слов.

Второй момент — упоминавшаяся выше «проверка на вшивость» по данным семантической типологии. Мы постулируем необычное изменение значения? Чем уникальнее оно оказывается, тем сильнее оно нуждается в типологической поддержке. Скажем, если вернуться к только что приведенному примеру, я знаю очень много случаев, когда слово 'птица' образуется от слова 'летать', но не знаю ни одного случая, когда бы от 'летать' мог получиться 'дым'. 'Дым' бывает производным от значения 'дуть' (даже русское 'дым' в историческом плане восходит к суффиксальному образованию от глагола 'дуть'), но 'дуть' и 'летать' — абсолютно разные значения, никогда не совмещающиеся в одном и том же корне. Значит, связать 'птицу' с 'дымом' не получается. Ну и, наконец, ни про один язык мира мне не известно, чтобы 'солнце' в нем мыслилось как 'нечто летающее / парящее по небу'. 'Солнце' бывает связано с 'огнем', 'жаром', 'теплом', а также с 'днем' ('дневное светило') — это сколько угодно. Но то, что оно летает по небу, в языке не отражается: это не столь важная характеристика этого объекта, чтобы он мог от нее получить свое название.

И, наконец, третий момент, также упомянутый выше, — необходимость *исторического сценария* развития. Реконструировать «вслепую»,

не умея составить хотя бы гипотетически того, что *могло* иметь место, нельзя. (Это относится, кстати, не только к семантике, но и к фонетике.) В двух примерах, взятых из реконструкций Эрета, это условие вроде бы соблюдается: для обоих слов предлагаются «пра-значения». Но что это за «пра-значение» — ‘парить в небе’? Значит, в праязыке было слово ‘парить в небе’, но не было слов ‘дым’, ‘птица’, ‘солнце’? Или, может быть, эти значения выражались другими корнями? Но нет: ни ‘дыма’ как такового, ни ‘солнца’ среди «пра-значений» Эрета не обнаруживается.

Получается, что отсутствие семантической реконструкции приводит к тому, что в «шапку» этимологической статьи регулярно выносятся что-то очень «абстрактное». Вместо ‘воды’ или ‘крови’ там оказывается «вид жидкости», вместо названий конкретных растений или животных — «вид дерева», «вид дикого зверя», вместо ‘руки’ или ‘ноги’ — «конечность» и т. п. Человек несведущий, взглянув на это хозяйство, может принять эти абстракции за реальность и, не дай бог, начать на этом основании строить теорию об абстрактном характере мышления древнего человека...

Как такие реконструкции могут вообще соотноситься с известным постулатом о «развитии от конкретного мышления к абстрактному»? В данном случае получается что-то полностью противоположное.

Г. С.: Этот постулат во многом умозрителен: когда мы занимаемся конкретными проблемами исторической семантики, то видим многочисленные примеры обеих тенденций. Способность обобщать и абстрагировать развилась у человека не сегодня и не вчера: абстрактные и родовые понятия есть во всех известных нам языках, в том числе и в языках наиболее «примитивных» первобытных племен, хотя, конечно, устроены эти семантические поля могут быть очень непривычным для нас образом. Никто не утверждает (кроме отдельных заведомо предвзятых теоретиков), что в праязыках, на которых люди говорили пять, десять, даже пятнадцать-двадцать тысяч лет тому назад, по определению не могли существовать абстрактные понятия. Но дело не в том, что компаративист должен, исходя из каких-то умозрительных соображений, отказываться

от реконструкций абстрактной лексики. Дело в том, что там, где есть абстрактная лексика, обязательно должна быть и конкретная. Представить себе язык, в котором есть слово для 'жидкости' вообще, но нет слова для 'воды' или 'крови', невозможно, в то время как обратное вполне допустимо и реально встречается.

Поэтому, если вы видите перед собой этимологический словарь, в котором, например, треть вхождений реконструируется со значением 'распухать, разбухать, раздуваться' — это отчетливый диагностический признак того, что с реконструкцией этой что-то не в порядке. Среди значений этих корней в языках-потомках будут и общие признаки ('большой', 'высокий', 'мощный', 'сильный', 'особый', 'главный'), и обозначения процессов ('увеличиваться', 'расти', 'подниматься', 'вставать', 'продвигаться вперед'), и масса конкретных объектов, которые так или иначе можно увязать с этими признаками ('гора', 'холм', 'бугор', 'кочка', 'шишка', 'рог', 'петушинный гребень', 'гриб' и т. д.). Никаких конкретных исторических сценариев развития всех этих значений при этом предлагаться не будет, и, самое главное, — мы так и не узнаем, как на этом праязыке выражались сами значения 'гора', 'рог', 'большой' и т. д., которые как-то в этом языке выражаться были обязаны.

И проблема здесь не только в том, что размытость семантической реконструкции ставит под сомнение праязыковую реконструкцию вообще. Она еще и в том, что вообще-то у праязыковой реконструкции есть несколько целей. Одна, «первичная» — подтвердить сам факт генетической классификации, послужить окончательным доказательством генетического родства. Но для достижения этой цели на самом деле не всегда обязательно проводить полную языковую реконструкцию. Иногда бывает достаточно, например, ограничиться небольшим подмножеством базисной лексики (о том, что это такое, мы поговорим в следующей беседе). Иногда языковое родство становится очевидным буквально на нескольких примерах. (Классическим примером такого рода является англо-немецкое троичное противопоставление: англ. *good* — *better* — *best*; нем. *gut* — *besser* — *beste* 'хороший — лучше — лучший'. Здесь есть и фонетическое сходство, и, частично, фонетические соответствия, и семантическое тождество, и грамматическое совпадение в парадигме образования степеней сравнения; языки, в которых можно обнаружить

хотя бы один такой пример, заведомо родственны, и никакие дополнительные сравнения этот факт не опровергнут).

Но есть и другая, более глубокая цель. Язык — это отражение определенной картины мира, как объективной (конкретные реалии, окружающие человека), так и субъективной, и поэтому реконструкция праязыка помогает реконструировать элементы как материального, так и «ментального» мира наших далеких предков. Например, прогресс в индоевропейской реконструкции помог восстановить, иногда до очень мелких деталей, элементы флоры и фауны, окружавшие индоевропейцев, названия отдельных культурных растений, сельскохозяйственных и скотоводческих терминов, отдельных слов, имеющих отношение к металлургии, военному делу, религиозным культам и т. п. (Весь этот лексикон, кстати говоря, очень подробно и увлекательно описан во втором томе уже упоминавшегося труда «Индоевропейский язык и индоевропейцы» Вяч. В. Иванова и Т. В. Гамкрелидзе — хотя там и обнаруживаются иногда отдельные перехлесты, например, попытка реконструировать для праиндоевропейского такие слова, как 'слон', 'обезьяна', 'леопард' и т. п., которые явно не тянут на общеиндоевропейский статус, а скорее оказываются так называемыми бродячими терминами, то есть словами, легко заимствуемыми из одного языка в другой на смежных территориях.) Именно лингвистические данные, и никакие другие, позволили почти безусловно доказать, что древние цивилизации Индии, Ирана, Греции, Рима возникали не автохтонно, а развились отталкиваясь от единой «индоевропейской» основы (которая, конечно, затем основательно перемешивалась с локальными, неиндоевропейскими традициями — отсюда и уникальная цивилизационная специфика всех этих культур).

Так вот, без тщательного «отслеживания» семантических процессов такая реконструкция на самом деле невозможна. При этом чем глубже семья, с которой мы имеем дело, тем важнее становится строгий контроль за реконструкцией значений. Например, для индоевропейской семьи однозначно восстанавливается терминология, связанная с земледелием. Достаточно привести один-единственный пример: славянский корень **or-* 'пахать' (откуда древнерусское *орать*, в современном русском сохранилось только *орало* 'плуг', и то только в составе идиоматического выражения) — то же, что латинское *ar-āre*, древнеанглийское

er-ian и готское *ar-jan*, греческое *ar-oō*, тохарское *āre* 'плуг'. Все это восстанавливается как **ar-* (с абсолютно регулярными соответствиями) и, разумеется, в значении 'пахать' (поскольку других значений нет вообще). И основ с такого рода значениями довольно много.

А вот совсем другой случай — попытка А. Ю. Милитарёва восстановить сельскохозяйственную терминологию для афразийской макросемьи, которой, по самым скромным подсчетам, не менее 12 тысяч лет (для сравнения, индоевропейской семье вряд ли исполнилось более шести). Об этом мы подробнее будем говорить дальше, но, забегаая вперед, скажу, что в этой попытке гораздо больше подводных камней, и, если среди индоевропейцев трудно найти хотя бы одного специалиста, который пытался бы отрицать наличие у индоевропейцев земледелия, то афразистов, однозначно поддерживающих «земледельческую гипотезу», намного меньше.

Почему? Потому что для того примера, который я только что привел, никакой семантической реконструкции проводить не нужно. Там у нас есть совершенно очевидный праязыковой корень, который (а) хорошо сохранился как минимум в нескольких далеко отстоящих друг от друга ветвях семьи, (б) везде имеет одно и то же значение — 'пахать'. В афразийской же макросемье таких корней *нет*. Вся восстановленная «земледельческая» лексика либо представлена в очень небольшом числе языков, либо расходится в значениях; например, в одной ветви корень значит 'чечевица', в другой — 'ячмень', в третьей — 'неизвестный вид злака' и т. п. Практически к каждой этимологии, пытающейся доказать праафразийское земледелие, так или иначе можно предъявить претензии по одному, а иногда и сразу по нескольким из этих поводов.

Но при этом делать из таких наблюдений вывод, что в индоевропейском земледельческая лексика «хорошая», а в афразийском — «плохая», и поэтому индоевропейцы земледелие знали, а афразийцы — нет, тоже было бы опрометчиво. Ведь если афразийцы «старше» индоевропейцев примерно на шесть тысяч лет, это автоматически означает, что любого рода культурная терминология в их языках-потомках сохранилась гораздо хуже. (Собственно говоря, даже в «хорошем» индоевропейском примере можно увидеть, что **ar-* 'пахать' в современных языках уже оперативно замещается: в русском вместо старого *орать* — *пахать*, в английском вместо старого *to ear* — *to plough* и т. д.). Поэтому нет ни-

чего удивительного в том, что афразийское земледелие, каким бы оно ни было, приходится реконструировать по «ошметкам», сохранившимся в основном за счет того, что афразийских языков очень много (а чем больше языков, тем выше вероятность сохранения старого праязыкового наследия хотя бы в нескольких из них).

И *тем важнее* в ситуациях, подобных афразийской, обращать повышенное внимание на методику реконструкции значений в праязыках разных уровней. Без попыток ввести историческую семантику в мало-мальски строгие рамки все попытки восстановить «реалии» глубокой древности обречены на вечный скепсис, потому что отсутствует даже приблизительный ответ на вопрос типа: «А если в одном языке значение ‘чечевица’, а в другом — ‘ячмень’, то что этот термин значил в праязыке?» Предположим, ‘зерно, семя’ вообще. «Но позвольте, а вот тут еще одна этимология, где в одном языке ‘рис’, а в другом ‘просо’. А это чем было? Тоже ‘зерном’? А чем тогда это ‘зерно-2’ отличалось от того ‘зерна-1’?» И так до бесконечности. Чтобы этих ситуаций не возникало, недостаточно просто «набирать корпус возможных этимологий» — необходимо очерчивать конкретные, непротиворечивые сценарии исторического развития корпуса.

Пора, наверное, подвести некий промежуточный итог. Повторю, что одно из главных свойств языка — это *системность*, которая проявляется не только на синхронном уровне, но и на историческом. Надежное обоснование родства двух или более языков обязательно требует продемонстрировать эту системность — в первую очередь на материале регулярных фонетических соответствий. Если соответствий нет, то и говорить не о чем. Но для того чтобы получить по-настоящему качественную праязыковую реконструкцию, нужно обращать внимание не только на звучание, но и на значение слов, причем важность этого параметра повышается прямо пропорционально к хронологической глубине реконструкции. Помимо этого нужно уметь отличать генетические сходства от ареальных, внимательно следить за дистрибуционными особенностями реконструируемых основ и не забывать проверять реконструкцию на «типологическую естественность» (то есть не нарушает ли восстановленная система или предполагаемые изменения, которым она подверглась в языках-потомках, каких-нибудь надежно уста-

новленных закономерностей или универсалий, свойственных языкам мира).

Все это требует долгой, кропотливой, часто довольно-таки нудной работы — так что не приходится удивляться тому факту, что сравнительно-исторической обработкой материалов по бесписьменным, младописьменным, малоизвестным, вымирающим и т. п. языкам готовы с энтузиазмом заниматься лишь немногие «активисты»: сил и времени на это уходит очень много, а результаты появляются нескоро, и популярности, пусть даже «локальной», на них особенно не словишь. Тем не менее это единственный по-настоящему продуктивный и научный способ заниматься языковой предысторией.

Беседа III. Классификация языков
и лексикостатистика
[Собеседник — Г. С. Старостин]

Е. Сатановский: В прошлых двух беседах у нас неоднократно мелькали слова «математика» и «статистика», но при этом никаких конкретных математических или статистических выкладок не приводилось. А существует ли действительно сколь-либо разработанный кем-нибудь математический аппарат для оценки тех результатов, которые получают компаративисты? Пусть хотя бы минимальный, протестированный хотя бы на нескольких ситуациях?

Г. С.: Как я уже говорил, главное для компаративиста — показать, что найденные им при сравнении языкового материала корреляции *неслучайны*. Во многих случаях неслучайность эта очевидна настолько, что никто, оставаясь в рамках обычного здравого смысла, не усомнится в выводах. Если я выложу перед слушателями на стол весь материал, где английское *t-* в начальной позиции соответствует немецкому *z-*, вряд ли кто-нибудь захочет сказать: «да, очень интересно и красиво, но я в это не поверю, пока не получу строгое математическое обоснование». Но если я забираюсь в языки, которые известны в гораздо меньшем объеме, или в языки, связанные более далеким родством (где родственных слов остается сильно меньше, чем в английском), или наталкиваюсь на какое-нибудь относительно *редкое* соответствие — а ведь в языках сплошь и рядом встречаются редкие фонемы, сравнительный материал по которым набирается с трудом — тут, конечно, убедительность выводов может напрямую зависеть от статистического подтверждения.

Как такое подтверждение можно получить? Обратимся к элементарной теории вероятности, чтобы «на пальцах» решить такую условную, сильно упрощенную, задачу. Допустим, в языке А в начальной позиции

встречается звук *d*-, причем общая доля корней, в которых мы его зафиксировали, составляет, скажем, 10% от всего материала. В языке Б в этой же позиции встречается звук *t*-, и общая доля корней, в которых он зафиксирован, также составляет 10%. Вопрос: сколько нужно представить сравнительных пар «слово на *d*- в языке А: слово на *t*- в языке Б», чтобы это звуковое соответствие можно было бы считать регулярным, то есть неслучайным?

Решение очень простое. Каковы наши шансы случайно столкнуться с одной такой парой? Возьмем любой корень из языка А, начинающийся на *d*-. Чему равна вероятность того, что в языке Б то же значение будет *случайно* выражено словом, начинающимся на *t*-? Очевидно, 0,1. Это значит, что на каждый десяток сопоставленных корней мы можем ожидать по меньшей мере одно случайное совпадение между *d*-корнем в А и *t*-корнем в Б. Значит, если всего *d*-корней в А и *t*-корней в Б мы, например, насчитали примерно по сто штук, нам нужно, чтобы в этой сотне было хотя бы 11 случаев желанного соответствия. Если их будет не более десяти, значит, мы не вышли за рамки случайных возможностей, и соответствие не получило требуемого математического обоснования. Однако, если соответствие есть и оно действительно регулярно, у нас, скорее всего, на такую сотню наберется гораздо больше, чем 11 случаев.

Но если этот алгоритм настолько прост, то откуда вообще берутся споры между компаративистами относительно того, чьи соответствия «более правильны»? Нельзя ли таким образом быстро разрешить все накопившиеся проблемы?

Г. С.: На самом деле, описанный алгоритм не просто «прост», он предельно упрощен. Проблем остается очень много. Во-первых, хорошо такая схема может работать только с высокочастотными фонемами. В тех языках, где фонологический инвентарь очень богат, вероятностный подход применять намного труднее. Во-вторых, описанная выше «стерильная» ситуация годится только для тех случаев, когда у сравниваемых слов полностью совпадают значения. Если мы допускаем семантическое варьирование, как в англ. *town* 'город' = нем. *Zaun* 'забор', вероятность случайного совпадения, в зависимости от числа значений, «допускае-

мых» к сравнению, может вырастать в разы. А редкая этимология обходится без сравнения слов с разными значениями — тут ведь ничего не поделаешь, значения слов тоже со временем неизбежно изменяются.

В-третьих и в-главных, доказать *неслучайность* совпадения — это только полдела. Необходимо еще доказать *генетическую*, а не *контактную* природу этого совпадения, и вот тут «тупой» вероятностный метод уже умолкает наглухо, потому что мы в соответствующий алгоритм не включили никаких параметров, по которым наш объективный счетчик вероятностей мог бы отфильтровать сходства, образовавшиеся в ходе языковых заимствований, от сходств, унаследованных от общего праязыкового источника.

Ровно поэтому, увы, мне пока что не известен ни один хрестоматийный случай, когда бы вероятностная оценка убедительно и неоспоримо подтвердила какой-то «интуитивно неочевидный» вывод компаративистов. Показать с помощью математики, что английский и немецкий родственны друг другу — нетрудно, но относительно этого пункта общий исследовательский консенсус был достигнут уже очень давно, задолго до подключения к этому вопросу математики. А вот сделать то же самое, например, для доказательства алтайского (тюрко-монголо-тунгусо-маньчжурского) родства — пока что толком не удалось. Здесь нужно применять гораздо более сложные алгоритмы, основанные на определенных теоретических предположениях, которые, в свою очередь, надо обосновывать и т. д. Какие-то отдельные наметки для родства такого уровня иногда выкладываются, но нет таких, которые не за что было бы раскритиковать.

Получается, что нет такого общепринятого теста, который мог бы объективно оценивать перспективность компаративистских гипотез любого уровня сложности? Не означает ли это, что многие из них обречены на то, чтобы всегда оставаться на уровне личной «вкусовщины»?

Г. С.: Безусловно, это очень больной момент в компаративистике. Конкурирующих гипотез языкового родства очень много, а единое компаративистское сообщество, которое могло бы их оценивать исходя из полностью стандартизированной системы критериев, отсутствует. На-

верное, не преувеличу, если скажу, что представление о регулярных фонетических соответствиях — это едва ли не единственная «склейка», которая объединяет всех компаративистов (хотя и здесь можно найти отдельных «диссидентов», например, сторонников так называемой теории лексической диффузии, утверждающих, что звуковой закон иногда охватывает лишь определенную словарную выборку, а вовсе не весь лексический материал языка¹). Этого явно недостаточно для того, чтобы разрешать все спорные случаи.

Два самых типичных вопроса, традиционно мучающих компаративистов, — вопрос *доказательства родства* («родственны ли языки А и Б?») и *внутренней классификации* групп родственных языков («если языки А, Б и В родственны, то какой из двух языков, Б или В, связан с А более тесным родством?»). Ни тот ни другой до сих пор не имеют единого общепринятого «алгоритмического» решения.

Начнем с вопроса о доказательстве языкового родства. Уже было сказано, и неоднократно, что главное здесь — установить между сравниваемыми языками *системные*, а не хаотичные схождения, в первую очередь — регулярные звуковые соответствия. Установили соответствия — доказали родство? Нет, не так все просто.

Во-первых, хорошо известно, что регулярные соответствия бывают и между такими языками, один из которых заимствует много лексики из другого. Заимствования эти тоже подчиняются определенным звуковым законам и вполне поддаются описанию в терминах звуковых соответствий. Например, почти все чтения китайских иероглифов имеют свои закономерные аналоги в японском языке — поскольку были они массово заимствованы из китайского в IV–VII веках н. э. и вполне гармонично «прижились» в японском.

Еще тяжелее, когда заимствования имеют место между двумя языками, которые и без них связаны относительно близким родством. В этом случае легко могут образовываться «дублиеты»: заимствующий язык в одном значении или функции сохраняет «старое» слово, унаследованное от праязыка, а в другом закрепляет «новое», свежезаимствованное

¹ Теорию «лексической диффузии», изначально сформулированную китайским лингвистом У. Вангом, в дальнейшем активно развивал знаменитый социолингвист Уильям Лабов; подробное описание можно найти, например, в работе: *Labov W. Principles of Linguistic Change. Vol. 1: Internal Factors.* Cambridge, Massachusetts, 1994.

из родственного языка-соседа. Например, мы все со школьной скамьи знаем такие случаи в русском языке: слова *молоко*, *город*, *порох*, *борозда* и др. (с так называемым полногласием) — это «исконно» русские слова, то есть унаследованные живым языком от древнерусского (а древнерусским — от общевосточнославянского) предка, в то время как их «дублетные» неполногласные варианты *млеко*, *град*, *прах*, *бразда* — церковнославянизмы, заимствованные в русский язык из литературного языка, созданного на несколько иной (хотя и также славянской) диалектной основе. И нельзя даже сказать, что всегда в таких случаях заимствованное слово будет закреплено за «высоким штилем», а исконное останется разговорной нормой — наглядный тому пример судьба пары *ворог / враг*, где все произошло с точностью до наоборот: исконное слово стало высокостильным архаизмом, а заимствование вошло в живой обиход.

История компаративистики знает немало примеров, когда языки классифицировались неверно из-за того, что лингвисты принимали слова, заимствованные из одного языка в другой, за признаки исконного родства. Например, дравидийские языки Южной Индии, такие как тамильский и телугу, некоторое время считали родственными индоарийским языкам — только из-за того, что в эти языки в свое время проникло очень много заимствований из санскрита. Или, скажем, армянский язык: его довольно быстро опознали как относящийся к индоевропейской семье, но внутри этой семьи какое-то время считалось, что он стоит ближе всего к ее иранской ветви — только потому, что он испытал серьезное вторичное влияние со стороны персидского, хотя на самом деле армянский — совершенно отдельная ветвь и если к чему-то внутри индоевропейского ближе всего и стоит, то скорее к греческому.

И второе. Опыт работы все четче и четче показывает, что обобщать наличие регулярных (точнее, рекуррентных, то есть устанавливаемых на более чем одном примере) соответствий в качестве *единственного* условия для доказательства языкового родства — довольно рискованный принцип. Мы начинали нашу первую беседу с демонстрации того, как легко найти между русским языком и любым другим много случайных словарных «созвучностей». Посмотрим еще раз на табличку, которую мы тогда составили для русского и «псевдородственного» ему африканского языка гуде:

	Гуде	Русский
(1)	bəəgə 'думать, размышлять'	выбирать, разбираться
(2)	bələgə 'простуда'	болеть, болезнь
(3)	bələmə 'запинаться'	болтать, балаболить
(4)	bələkaya 'хвалебная песнь'	былина
(5)	bəlha 'ухаживать'	баловаться, баловник
(6)	bərai 'два'	пара
(7)	bəgəbəgə 'пыль'	буря, буран
(8)	bəgədə 'прыгать на одной ноге'	бродить
(9)	bəgəkwa 'небольшой курятник'	барак
(10)	bəgyanga 'вид кустарника'	бурьян

Давайте теперь «ужесточим» наши требования: к сравнению будут привлекаться только такие формы, которые «регулярно соответствуют» друг другу. Смотрим сперва на начальный согласный. Здесь все хорошо: почти во всех случаях гуде *b*- регулярно соответствует русскому *б*-. Единственное исключение — *bərai* 'два' и русск. *пара*; эту «псевдоэтимологию» нам придется отбросить.

Теперь смотрим на второй согласный. Здесь гуде *-r-* регулярно соответствует русскому *р* (1, 7, 9, 10); гуде *-l-* регулярно соответствует русскому *л* (2, 3, 4, 5). Можно предположить, что и соответствие «гуде *d*: русск. *д*» (8), и «гуде *k*: русск. *к*» (9) тоже окажутся регулярными, правда здесь нужно уже искать дополнительные примеры. Вне всякого сомнения, при должном старании они найдутся: кто ищет, тот всегда найдет.

Сложнее с гласными: тут явно большой разброд, и гуде *ə* в русском соответствует едва ли не любой другой гласной (*a, u, o, ы, y*). Но соответствия в области гласных в принципе почти всегда труднее устанавливать, чем в области согласных (в этом вам признается любой компаративист): они гораздо менее однозначны и часто зависят от очень большого числа факторов (например, влияние окружающих их слева и справа согласных, влияние гласных в соседних слогах, словарное ударение и т. д.). В русском языке гласные к тому же иногда участвуют еще и в грамматических чередованиях (ср. *вы-бир-ать*: *вы-бер-у*, *брод-ить*: *бред-у*), а про предысторию вокализма гуде мы (по условиям эксперимента) вообще

ничего не знаем. Так что и здесь можно как-то выкрутиться без особой головной боли.

В чем тут дело? Да все в том же, о чем мы уже говорили: чрезмерно увлекшись *звуковой* стороной сравнения, мы позабыли о *смысловой* стороне. Если человеку, имеющему некоторый опыт работы с материалами родственных языков, показать только внешнюю сторону русско-гуде сравнений 1–10, например скрыв конкретные значения слов в гуде, он, может быть, и заподозрит здесь возможность родства. Но достаточно одного взгляда на семантику предлагаемых «этимологий», и сразу видно: что-то здесь не то. По сравнению с русско-английскими примерами, которые мы приводили выше, «русско-гуде» сопоставления явно выглядят как-то... бледновато. Только как нам убедительно, на строгой научной основе, обосновать эту «бледноватость»?

Конечно, можно долго, кропотливо, с учетом типологии семантических изменений по языкам мира, разбирать здесь каждый случай. Но вряд ли это что-то даст: не просматривать же все языки мира на предмет обнаружения в них многозначности 'прыгать / бродить'! Нужен какой-то критерий, который поможет, во-первых, достаточно быстро, во-вторых, на более или менее объективной основе, без «вкусовщины», отделять серьезные гипотезы от несерьезных — и еще очень желательно, чтобы критерий этот был *универсальным*, то есть мог быть применен к любой паре языков или языковых групп. Про тот же русский язык мы в конце концов хотим получить исчерпывающее представление о том, каким языкам он родствен, каким — нет; а для этого нужно уметь на равноправной основе сопоставить его по этому критерию с любым другим языком планеты.

А почему такой критерий не стали искать «младограмматики» — ведь они должны были столкнуться с этими проблемами, устанавливая между языками регулярные соответствия? Или все же искали, но не нашли?

Г. С.: Дело в том, что младограмматики занимались в основном вопросами родства индоевропейских языков. О том, до какой степени близородственны все индоевропейские языки, представление могли дать

уже хотя бы те англо-русские параллели, которые мы рассматривали. А ведь в распоряжении компаративистов есть не только современные английский и русский, но и масса данных по другим близкородственным им германским и славянским языкам, не говоря уже о главном: наличии древних памятников славянской и германской литературных традиций, которые вообще отменяют для нас необходимость напрямую сопоставлять живые, сильно видоизменившиеся языки. Установить регулярные соответствия гораздо проще между, скажем, готским и старославянским, чем между русским и английским.

Поэтому с такими ситуациями, как «русско-гуде», младограмматики практически не сталкивались, то есть они никогда не попадали в положение, когда бы перед ними оказался такой список сомнительных квазиэтимологий и им надо было бы принять решение — «родственны эти два языка или нет?»

Кстати говоря, в тех редких случаях, когда ситуация эта все же возникала, проколы в индоевропеистике XIX века легко могли иметь место. Классический пример — один из отцов-основателей индоевропеистики, Франц Бопп, который к концу жизни увлекся идеей расширения границ индоевропейской семьи настолько, что стал, на основании отдельных сходств, включать в нее картвельские языки Кавказа и даже малайско-полинезийские языки. (Бопп, правда, жил задолго до младограмматиков и не требовал регулярности фонетических соответствий — но это означает лишь, что ему такие «фокусы» простительны, за относительной неразвитостью компаративистики на момент начала XIX века, в то время как, например, австралийскому профессору македонского происхождения Илье Чашуле, пытающемуся сегодня на полном серьезе включить в индоевропейскую семью язык-изолят бурушаски на Памире и регулярно публикующему на эту тему статьи в толстых журналах, — никоим образом нет.)

Но вообще для индоевропеистов «классического» периода, да, впрочем, и для современной индоевропеистики, гораздо более актуальным и сложным остается другой вопрос — не «какие языки индоевропейские, а какие нет?», а «какие индоевропейские языки ближе к каким другим индоевропейским языкам?». На этот вопрос полного ответа до сих пор не получено.

Дело в том, что индоевропейская семья состоит примерно из десяти-двенадцати ветвей. Отнести тот или иной индоевропейский язык к той или иной ветви — романской, германской, кельтской, славянской, индоарийской и т. д. — как правило, нетрудно, потому что каждая из них характеризуется таким количеством индивидуальных особенностей (в фонетике, грамматике и лексике), что «диагноз» языку, претендующему на вхождение в нее, поставить не составляет особого труда. Но вот уже ответ на вопрос, какие ветви внутри индоевропейской семьи ближе друг к другу, натолкнулся на непреодолимые препятствия.

Что вообще означает «двенадцать ветвей»? Здесь же нет прямой аналогии с какими-нибудь двенадцатью коленами Израиля: язык, как правило, не разделяется *сразу* на двенадцать частей. Сначала, в ходе первых волн миграции, по независимому пути развития начинает идти одна группа отделившихся языковых носителей, затем, разросшись до определенных пределов, она уже сама разделяется на две-три группы и так далее. Значит, у каждой ветви индоевропейской семьи должны быть «более близкие» и «более дальние» родственники, и очень важно постараться их всех идентифицировать с максимальной точностью, потому что эта идентификация позволяет до некоторой степени восстановить и саму историю расселения индоевропейских племен по Евразии.

Как это обычно делается? Традиционно для такой внутренней классификации применялся так называемый метод совместных инноваций. Про это мы уже немного говорили раньше: для внутренней классификации языков значение имеют только те элементы, которые в них появились вторично, не будучи напрямую унаследованными от праязыка. Например, во всех славянских языках звуку, который для праиндоевропейского восстанавливается как *g-, соответствует звук z-: русское *зн-ать*, сербское *зн-ати*, чешское *zn-ati*, польское *zn-ać* и т. д., но при этом латинское *gn-osco*, греческое *gi-gn-osko*, древнеирландское *gn-inaim* и т. д. Это — важная «совместная инновация» славянских языков, для которой естественнее всего предположить, что она имела место *один раз* в том промежуточном праязыке, который уже не был праиндоевропейским, но еще не был тождествен современным славянским языкам, то есть был «праславянским». Таких совместных инноваций среди всех славянских языков очень много, и поэтому в исторической реаль-

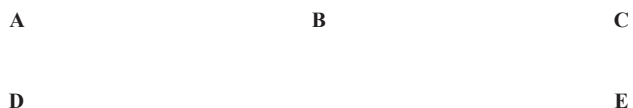
ности праславянского языка сомневаться приходится не больше, чем в исторической реальности праиндоевропейского.

Аналогичным образом, переходя на чуть более глубокий уровень, мы видим, что довольно много общих инноваций у славянских языков с балтийскими (литовским и латышским). Например, слово 'голова' — общее не только для всех славянских языков (русское *голова*, болгарское, сербохорватское *глава*, чешское *hlava*, польское *głowa* и т. д.), но и для балтийских: литовское и латышское *galva*. Это слово (по крайней мере, в значении 'голова') явно не унаследовано этими языками от праиндоевропейского, потому что в других ветвях, с гораздо более надежной дистрибуцией, представлено совсем другое слово. То, что оно и в балтийских, и в славянских вытеснилось за счет новой 'головы' — серьезный аргумент в пользу некогда существовавшего балто-славянского единства. Таких аргументов, опять-таки, накапливается довольно много и в грамматике, и в фонетике, и в лексике, и в итоге можно предполагать, что за некоторое время до существования праславянского языка существовал и его непосредственный предок — *прабалто-славянский*.

А вот дальше начинаются серьезные проблемы. «Балто-славянские» языки, взятые в целом, обнаруживают несколько совместных инноваций с индоиранскими языками, несколько — с германскими, несколько — с кельтскими, и точно подсчитать, сколько они «инновировали» совместно с кем, очень трудно, не говоря уже о том, что разные совместные инновации для разных исследователей будут иметь разный «вес». Кто-то будет говорить, что самое важное — это общие фонетические изменения, кто-то — грамматические, кто-то — лексические, кто-то будет призывать анализировать все в комплексе, но в любом случае однозначно построить на этой основе такое индоевропейское дерево, чтобы языковые группы распались последовательно, а не все сразу, очень трудно.

То, что внутри большой языковой семьи «совместные инновации» можно иногда проследить между едва ли не любыми двумя ветвями, было подмечено уже в XIX веке. Тогда одним из самых знаменитых в индоевропеистике был заочный «конфликт» между двумя моделями классификации — «древесной», связанной с именем уже упоминавшегося Августа Шлейхера (1821–1868), и «волновой», созданной диалектологом Иоганном Шмидтом (1843–1901). Шмидт, под влиянием своих занятий

диалектологией, утверждал, что языковые изменения носят характер «волны»: та или иная фонетическая, грамматическая или лексическая «мутация», возникнув в определенной точке, дальше начинает расходиться концентрическими кругами, распространяясь на соседние диалекты. Если, например, на некоем языке говорят в пяти населенных пунктах от А до Е, расположенных таким образом:



то одна инновация может затронуть, скажем, область СЕ, другая — область ВС, третья — область АВ, четвертая — АВD, пятая же будет настолько сильной, что коснется всего массива ABCD, но по той или иной причине не «дойдет» до диалекта Е. Как в таком случае классифицировать эти диалекты?

Революционность концепции Шмидта заключалась в том, что «генеалогическое древо» языков согласно его плану упразднялось за ненадобностью и даже вредностью. Языки делились не «раз и навсегда» и уж тем более не «напополам», как клетки в ходе мейоза, а постепенно, «кусочками», причем конкретные изменения переплетались друг с другом, образуя сложную калейдоскопическую картину, которую исторический лингвист может распутать лишь отчасти, и то при наличии исчерпывающих данных.

Аргументация Шмидта, которую он сопровождал многочисленными конкретными примерами из своей диалектологической практики, выглядит очень убедительно — и тем не менее даже под столь сильным напором от концепции «генеалогического древа» компаративистика так и не отказалась. Скорее, произошло нечто сопоставимое с появлением корпускулярно-волнового дуализма в физике: наука научилась жить с пониманием того, что в каждой языковой семье могут быть и будут динамические процессы, носящие как «древесный», так и «волновой» характер, дополняющие, а не взаимоисключающие, друг друга.

А какие из этих процессов имеют решающее значение для построения тех хрестоматийных классификаций языков, которые приводятся в учебниках? Насколько вообще «волнообразные» явления учитываются в таких классификациях?

Г.С.: Сначала уточним, что вообще имеется в виду под «древесными» и «волновыми» изменениями. «Древесное» изменение — это так называемый «сплит», «расщепление», обычно связанное с существенным социальным изменением, чаще всего миграцией. Было одно племя, часть отселилась за соседнюю гору, стало два племени, потерявших контакт друг с другом; с этого момента их языки изменяются независимо. «Волновое» изменение не предполагает обязательных масштабных перемен в жизни общества, но предполагает обязательное наличие языковых контактов — иначе «волна» просто не сможет возникнуть.

«Волновые» изменения чаще всего имеют место там, где есть так называемый «диалектный континуум» — группа близкородственных (и, скорее всего, взаимопонятных) диалектов, соседние члены которой связаны между собой теснее, чем те, которые находятся в большем отдалении друг от друга. Если же два языка разошлись уже очень сильно, общей «волной» их, как правило, не накрывает. Именно поэтому «волновая» модель важна в первую очередь для диалектолога, основная задача которого — создание так называемого диалектологического атласа, на картах которого для соседних диалектов последовательно отмечаются совместные инновации¹. Для компаративиста, озабоченного созданием более глубокой классификации, «волны» уже не столь актуальны.

Может ли «теория волн» помочь нам объяснить, почему так трудно построить однозначную классификацию индоевропейских групп? Чисто теоретически — да. Она предполагает такой сценарий: индоевропейские племена, сформировавшись где-то на своей условной индоевропейской прародине, долгое время жили примерно на одном и том же месте, образуя сложный диалектный континуум. Так на какой-нибудь площади в несколько сотен квадратных километров постепенно сложились диалекты «куколки», из которых уже сильно позже «вылупились» италийские, германские, славянские, индоиранские и другие полностью автономные языки. На этом этапе последовательно бушевали «волны», которые сегодня могли затронуть «славяно-германский» кусок, завтра — «германо-италийский», послезавтра — «славяно-индоиранский» и т. д. Построить для

¹ См., например, три выпуска «Диалектологического словаря русского языка» (М.: Наука, 1986–1996), посвященных соответственно фонетическим, морфологическим и синтаксическим изоглоссам между русскими диалектами европейской части России.

этого диалектного континуума нормальное генеалогическое древо невозможно.

Второй этап знаменуется началом миграций: сначала с места снимаются условные «протоиндоиранцы», потом «протогерманцы», потом — «протославяне» и т. п. (последовательность, конечно, может быть и иной). С этого момента «волновые» процессы прекращаются и начинаются «древесные» изменения — языки изменяются уже не в связке друг с другом, а совершенно независимо. Но за время своей «совместно-волновой деятельности» каждая пара ветвей уже получила некоторое количество общих инноваций, достаточных для того, чтобы спутать нам карты — тем более что мы приступаем к классификации этих языков спустя пять-шесть тысяч лет после их разделения.

Такой сценарий реально докажем на базе фактов, или это скорее умозрительная абстракция, с помощью которой проще всего объяснить то, что мы сегодня наблюдаем?

Г. С.: Доказать такой сценарий на базе фактов можно будет, наверное, лет через тысячу. Сегодня диалектология — довольно хорошо развитая область лингвистики, и для многих языков, особенно крупных, диалектологические «замеры» проводятся на постоянной основе. Еще двести лет тому назад системная диалектология вообще не существовала как отдельная дисциплина. Когда у нас накопится богатый опыт диахронических измерений, из него уже можно будет извлечь строго фактологические выводы. Пока же довольствоваться можно индуктивными соображениями и теоретическими выкладками.

Тем не менее нужно все-таки сказать, что в целом роль «волн» в языковом развитии, как правило, сильно преувеличивается. Дело в том, что по мере того как различия, накапливаемые в языках, превращают их в невзаимопонимаемые, потенциал «волновых» явлений иссякает. Для того чтобы изменения распространялись с одного диалекта на другой, у них обязательно должны быть многочисленные точки соприкосновения. Когда эти точки исчезают, возможностей для обмена элементами формы и содержания становится намного меньше и «волны» уже не возникают.

Ведь «языковое изменение» — это не какое-то молниеносное явление, в один момент охватывающее всю территорию распространения языка. В древнерусском языке, как известно, было слово ‘око’, которое к современному периоду заменилось на ‘глаз’ (‘око’ сохраняется лишь как архаизм). Началась эта замена где-то на рубеже XVI и XVII веков, причем сначала ‘глаз’ имел узкое значение ‘глазное яблоко’, не употреблялся в множественном числе (только ‘очи’) и т. д. — «волнами», в течение нескольких поколений, это новое слово кочевало по стране и вытесняло старое. Однако *только* в пределах распространения русского языка: даже в совсем близко родственных украинском (*око*) и белорусском (*вока*) языках остается старое слово. Значит, в этих условиях, даже несмотря на то, что определенная степень взаимопонимания между восточнославянскими языками сохраняется до сих пор, «волна» уже не действует.

А бывают ли такие «волны», которые могут одновременно действовать на уже далеко разошедшиеся друг от друга языки? Или даже такие языки, которые вообще не родственны друг другу!

Г. С.: Бывают. Но это волны очень определенного характера. Например, это может быть какое-нибудь «техническое» заимствование: возникает новая реалья (неважно какая, от названия какого-нибудь окультуренного растения до технических новинок), и слово, созданное для нее в одном языке, «волнами» распространяется по всем соседям. В языках Европы такими «волнами» в каком-то смысле, например, можно считать научную терминологию, созданную на основе латинского и греческого языков и разошедшуюся практически по всему континенту. Но для генетической классификации языков Европы эта терминология не имеет ни малейшего значения.

Получается, что какие-то элементы языка имеют большую склонность к тому, чтобы распространяться «волнами», а какие-то — наоборот, стремятся к тому, чтобы передаваться «по наследству»?

Универсальных законов здесь нет. Сегодня уже достаточно твердо установлено, что почти любое языковое явление — звук, слово, грамматический формант, синтаксические особенности и т. п. — может быть пере-

дано как «вертикально», то есть генетически, так и «горизонтально», то есть через заимствование. И тем не менее, конечно же, в языке — не только в каждом конкретном языке, но и в «Языке» как таковом — существует некоторое более или менее стабильное «ядро», которое, во-первых, устойчиво к внешним воздействиям (то есть с большой неохотой замещает свои составные элементы на заимствования), во-вторых, само по себе, без внешних воздействий, «мутирует» очень медленно. Именно это ядро и является определяющим для генетической характеристики языка.

Что входит в это ядро? Чаще всего, конечно, основным компонентом его считается *грамматика* языка. Грамматика, как известно, в несколько огрубленном представлении делится на синтаксис (правила образования предложений из словоформ) и морфологию (правила образования словоформ из морфем — корней и аффиксов). Синтаксис в историческом языкознании традиционно располагается на отдаленной периферии, что резко контрастирует с современным общим языкознанием, где он, наоборот, обычно ставится в центр исследовательской деятельности. Но этому есть понятное объяснение: синтаксис — это в первую очередь *структурные правила*, определяющие порядок слов, выбор тех или иных словоформ для заполнения определенных позиций в предложении и т. д. С исторической точки зрения структурные правила, во-первых, не очень устойчивы, а, во-вторых, их элементарно *мало*, чтобы на них могла основываться историческая классификация языков.

Скажем, в одной сотне языков нормальный порядок слов — подлежащее-сказуемое (‘караван идет’), в другой — сказуемое-подлежащее (‘идет караван’). Как можно интерпретировать этот факт в историческом плане? Никак. Здесь есть только два варианта — либо сначала подлежащее, либо сначала сказуемое. Даже если предположить, что все эти языки восходят к общему предку, в котором нормальным порядком слов было «подлежащее-сказуемое», это значит, что любое изменение здесь могло быть только в одном направлении. В фонетике, например, звук [s] теоретически может перейти в шипящий [š], в мягкий [s̃], в звонкий [z], в придыхательный [h], в межзубный [θ] и т. д. В семантике — значение слова ‘идти’ может измениться на ‘приходить’, ‘уходить’, ‘бежать’, ‘летать’, ‘собираться’, и т. д. В синтаксисе же набор опций по каждому конкретному правилу обычно небольшой, и по основным синтаксиче-

ским критериям языка мира в целом легко классифицируются на очень небольшое число возможных типов. Это очень привлекательно для тех специалистов, которые занимаются теорией «универсальной грамматики», но никак не для компаративистов.

Так что про синтаксис мы больше говорить не будем. Поговорим вместо этого чуть-чуть о морфологии. Тут развернуться можно гораздо увереннее, потому что речь уже идет не о *структурах* или *правилах*, а о конкретных *формах*. Например, то, что в языке таком-то есть грамматическая категория «падежа», для исторического языкознания не очень важно. Такая категория есть, наверное, в половине языков планеты, и хорошо известно, что она то возникает, то утрачивается в результате действия непредсказуемых факторов. С другой стороны, если посмотреть на такой набор форм (кусочек парадигмы слова 'нога', восходящего к индоевропейскому корню **ped-*, но корень нас здесь как раз совершенно не интересует, только окончания):

Форма	Санскрит	Латынь
винительный падеж, ед. ч.	rād- am	ped- em
родительный падеж, ед. ч.	pad- as	ped- is
винительный падеж, мн. ч.	pad- as	ped- ēs
родительный падеж, мн. ч.	pad- ām	ped- um

— то сразу будет видно, что такая ситуация никак не может быть случайной: соответствия гласных в этих окончаниях нетривиальны (но объяснимы), зато финальные согласные совпадают лоб в лоб. Здесь налицо не просто *сходства* в морфологии, а системные, *парадигматические* сходства, которые практически исключают возможность не только случайного совпадения, но и заимствования: грамматические парадигмы не заимствуются из языка в язык (если такое происходит, то это на самом деле уже смена языка).

Морфологические параллели такого рода позволяют и убедительно доказывать родство языков, и, во многих случаях, строить правдоподобные гипотезы о внутренней классификации языковых семей. Однако идеализировать этот критерий (а многие лингвисты именно так и посту-

пают¹⁾ на самом деле нельзя. Тот пример, который я только что привел в табличке, не случайно взят из древних индоевропейских языков: индоевропеистика, а с ней и все сравнительно-историческое языкознание в целом, по сути «выросла» как раз из сравнения столь удивительно похожих друг на друга морфологических систем древних индоевропейских языков. Неудивительно, что «морфологический критерий» больше всего любят компаративисты, привыкшие к систематической работе с древними текстами классических языков (в первую очередь — индоевропейских или семитских), а те компаративисты, которые работают с полевыми данными по бесписьменным языкам, как правило, относятся к нему без какого-то особого пиетета.

То есть бывают такие языки, в которых морфология не может показать родство?

Г. С.: Безусловно. Во-первых, морфология заведомо не может служить *универсальным* критерием родства — хотя бы потому, что бывают так называемые изолирующие языки, в которых ее почти нет (например, в китайском и массе других языков Юго-Восточной Азии — тайских, мон-кхмерских и т. д.). Как, например, показать, что тайский язык связан генетическим родством с лаосским, если в них толком нет ни суффиксов, ни префиксов? Это можно сделать только на уровне отдельных *слов* (в том числе служебных), что для любителя морфологического критерия неудобно — слова ведь легче заимствуются из языка в язык, чем суффиксы и префиксы.

Плохо работает морфологический критерий и на *формальном* уровне. Чтобы что-то сравнивать, нужно, чтобы объекты сравнения были сопоставимы на равных основаниях. Но грамматические системы разных языков могут быть устроены настолько по-разному, что любая единая модель, по которой можно было бы сравнить грамматики всех языков мира, по сути будет типологической, а не исторической. Получится что-то вроде универсального вопроса: «есть ли в этом языке показатели

¹Требование обязательного наличия между языками системных изоморфизмов в области морфологической парадигматики характеризует, например, достаточно популярное историко-типологическое направление, развиваемое в западной лингвистике Джоанной Николс и ее последователями (см., например: *Nichols J. Linguistic diversity in space and time. University of Chicago Press, 1992*).

множественного числа или нет? есть ли в этом языке показатели времени или нет? различаются ли в этом языке формы инклюзива ('мы с тобой') и эксклюзива ('мы без тебя') в местоимении 1-го лица множественного числа или нет?» и т. д. и т. п. А это уже сопоставление по типологическим признакам, а не по конкретным морфемам.

На самом деле чем дальше мы этим занимаемся, тем лучше понимаем, что какая-то особая «сверхустойчивость» грамматики, превосходящая по своей прочности все остальные слои языка, — компаративистский миф, или по крайней мере сильное преувеличение. Морфологическое устройство языка может и очень сильно, и довольно быстро измениться в зависимости от того, в какое окружение попадает этот язык. Очень хороший пример — сино-тибетские языки. Будучи изначально родственными языкам северокавказской семьи (об этом мы подробнее поговорим чуть позже) и обладая, как и все северокавказские языки, очень богатым морфологическим аппаратом, они со своими носителями ушли в Юго-Восточную Азию, попали там в окружение изолирующих языков австрической макросемьи и под их влиянием постепенно, примерно за пару тысяч лет, растеряли всю свою морфологию — сегодня большая их часть либо относится к «изолирующему» типу, либо построила себе новую морфологию практически «с нуля», превратив в новые грамматические морфемы старые автономные служебные слова. В результате морфологический принцип сравнения между сино-тибетскими и северокавказскими языками вообще неприменим, потому что сравнивать нечего.

Впрочем, не нужно даже так далеко ходить. Отличный пример — английский и русский языки. Что можно получить из сравнения грамматики современного английского и русского языков? Да практически ничего. Положим, русский язык во многом еще остается морфологически архаичным: по сравнению с исходной реконструируемой индоевропейской системой и даже по сравнению с праславянской его морфология сильно обеднела, но все-таки остаются хорошо развитая система падежного склонения, глагольные окончания лица и числа и т. д. Английская же морфология практически исчезла как класс. Остались какие-то жалкие кусочки, которые, конечно, восходят к более древним источникам. Например, суффиксы причастий прошедшего времени *-n-*, как в формах *done*, *gone*, и *-d*. Исторически они, действительно, соответствуют русским

причастным суффиксам *-н (н)-* и *-т-*, но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы доказать русско-английское родство на основе морфологии.

Конечно, английский — это такой своеобразный «морфологический экстрим». Другие языки германской группы старую морфологию сохраняют лучше. Но в том-то и дело, что «морфологический коллапс» может произойти с абсолютно *любым* языком — просто для этого должны сложиться определенные условия. И, более того, рано или поздно он практически *неизбежно* произойдет. Поэтому, если с помощью грамматики удастся доказать языковое родство или построить убедительную языковую классификацию — это замечательно. Но если не удастся — это еще совершенно не значит, что такого родства нет.

Значит, там где морфологии нет или не хватает, чтобы определить как факт, так и степень языкового родства, приходится все это переносить на лексику. Слов, и даже не самих слов, а только корневых морфем слов, в любом языке, разумеется, гораздо больше, чем грамматических морфем, — как минимум на порядок. Но и «претензий» со стороны лингвистов к лексическим сравнениям тоже гораздо больше.

Существует устойчивое интуитивное представление, корни которого, пожалуй, уходят к самым основам структурной лингвистики, заложенным в начале XX века Фердинандом де Соссюром, и даже глубже: грамматика языка — это его «скелет», «костяк», а лексика — это «кожа», покрывающая этот скелет, такой «наносной» компонент, который приходит и уходит: сегодня есть, завтра нет. Язык определяется структурными *правилами*, а не словарным наполнением, во многом эфемерном. Поэтому измерять лексические расхождения с помощью количественных методов, да еще и пытаться на основании этого делать какие-то исторические выводы — процесс бессмысленный. Существует тьма-тьмушая разных факторов, которые влияют на лексические изменения, и никакого постоянства или предсказуемости в этих изменениях нет.

Классический пример — английский и исландский языки, оба германские. Исландцы заселили Исландию в IX веке и последнюю тысячу лет живут там, ни с кем в особо тесные контакты не вступая. И лексика в исландском языке осталась... не то чтобы совсем без изменений, конечно, но в целом современный исландец может без особого напряжения разобраться в текстах, скажем, классических исландских саг. А с англий-

ским совсем другая история: после завоевания Англии норманнами, говорившими на французском языке, он не только существенно поменял свою звуковую систему, но и впитал в себя огромное количество французской лексики, довольно часто — за счет исконно древнеанглийской. Для современного англоязычного читателя без специальной подготовки древнеанглийские тексты примерно того же возраста, что и исландские саги, принципиально недоступны.

А вот ситуация с японским языком: там примерно половина всей лексики, если «тупо» считать по словарю, — китайского происхождения, и основной массив этих заимствований приходится на относительно небольшой период в двести-триста лет тесных языковых контактов. Причем с грамматикой ничего подобного не происходит: все основные грамматические показатели в японском языке остались строго «свои». Можно ли в такой ситуации ориентироваться на *словарь* как на «путеводную звезду»? Получается, что нет, иначе мы вообще можем договориться до того, что английский язык происходит от французского, а японский — от китайского.

Может быть, в таких ситуациях стоит вернуться обратно к концепции «смешанных» языков? Если в японском половина слов — китайского происхождения, можно ли уверенно говорить, что японский не «происходит» от китайского? Или здесь в первую очередь все-таки показательны данные грамматики?

Г. С.: Грамматика, конечно, очень показательна, но, как я уже говорил, иногда грамматики (точнее, морфологии) может не оказаться вообще, поэтому опираться на грамматику как на универсальную панацею не получается. А вот с лексикой ситуация довольно интересная.

В 1950-е годы американский лингвист Моррис Сводеш предложил ввести в языкознании формальное разграничение между так называемым *базисным* и *культурным* слоями в языковом лексиконе. *Базисная* лексика — это, в широком смысле термина, слова, которые обозначают «универсальные» понятия, не зависящие от культурного, технического, художественного, научного или любого другого уровня народа или племени, говорящего на этом языке. Слова для обозначения таких понятий существуют во всех известных нам языках, включая языки самых «ди-

ких» охотников-собирателей, и можно с уверенностью предполагать, что они в том или ином виде присутствовали уже на самой заре существования человеческого языка — в каком-то смысле одним из ключевых признаков оформления языка современного типа должно было оказаться становление системы базисной лексики.

Что входит в базисную лексику? То, что нас окружает неизменно — такие природные объекты и явления, как 'солнце', 'луна', 'звезды', 'земля', 'вода', 'ветер', 'огонь', 'камень' и т. д. То, из чего состоим мы сами, то есть части тела — 'рука', 'нога', 'голова', 'глаз', 'ухо' и т. д. Простые, обычные для человека физические действия — 'стоять', 'сидеть', 'лежать', 'есть', 'пить', 'говорить' и т. д. К базисной лексике относятся и некоторые полуслужебные слова — местоимения: личные ('я', 'ты'), вопросительные ('кто', 'что'), указательные ('тот', 'этот') и т. д.

Базисная лексика в составе словаря занимает относительно небольшое место — это, наверное, в общей сложности несколько сотен слов, что на фоне словарей на несколько сотен тысяч лексических единиц (для хорошо описанных языков) может показаться каплей в море. Но при этом нужно еще помнить, что в живой речи слова мы употребляем очень неравномерно — и базисная лексика в ней, как правило, очень частотна.

Базисной лексике противопоставлена *культурная*. Это своего рода «наносной» слой — слова, наличие которых в языке само по себе необязательно и которые в целом легче и чаще, чем базисная лексика, заимствуются из одного языка в другой. Это могут быть и абстрактные понятия ('любовь', 'война'), и названия артефактов (от 'топора' до 'ракеты'), и различная терминология, завязанная на хозяйственной, культурной, религиозной деятельности человека. К культурной лексике относятся и разного рода «сложные» термины — слова, значения которых в других языках часто приходится передавать длинными описательными конструкциями. Скажем, какое-нибудь русское слово 'суверенитет' на языки южноафриканских бушменов перевести напрямую невозможно, можно лишь подробно объяснить, что это такое, — равно как и, например, бушменское слово *нчъум* на русский язык «переводится» лишь как 'особым образом растягивать на земле шкуру для того, чтобы изготовить из нее охотничью сумку'. Специфика той или иной культуры во многом обу-

словлена языком — и, в частности, тем, какого рода сложные понятия выбирает этот язык, чтобы облечь их в простые словарные формы.

К «культурной» лексике относятся также все так называемые стилистически маркированные слова — в частности, синонимы базисных понятий, имеющие подчеркнуто архаичные, «высокие» оттенки значения, или, наоборот, подчеркнуто вульгарные, жаргонные. Например, слово *рот* относится к базисной лексике, а вот высокостильное *уста* или, наоборот, ругательное *хлебало* — к культурной (да-да, ругательная лексика формально тоже «культурная», так как формируется в рамках той или иной культуры).

Так вот, основной заслугой Сводеша было не то, что он впервые говорил об этих двух типах лексики — о существовании как бы более «общих» и более «специфических» слов было и так хорошо известно — а то, что он показал, что эти два типа имеют принципиально разную значимость для исторического языкознания. И ключевой для установления языкового родства оказывается, как несложно догадаться, именно базисная лексика.

Именно в силу своей неуниверсальности и, так сказать, «ограниченной применимости» в конкретных этнокультурных ситуациях, культурная лингвистика гораздо чаще, чем базисная, заимствуется из одного языка в другой. Если взять, например, русское слово 'революция' и посмотреть, как оно выглядит во всех европейских языках, получится примерно одно и то же: по-английски [*революишн*], по-французски [*революсьон*], по-итальянски [*риволюцьоне*] и так далее. Разумеется, это не значит, что существовал какой-то общий «праевропейский» язык, в котором было слово 'революция'. На самом деле хорошо известно, что это достаточно искусственный научный термин, образованный на латинской основе и проникший постепенно во все европейские (и не только европейские) языки. То есть в классической латыни, конечно, было слово *revolutio*, но там оно значило просто 'круговорот' и совершенно не использовалось как социологический термин.

А то, что это слово заимствовалось во все эти языки, а не было унаследовано непосредственно из латыни или откуда-нибудь еще, мы действительно знаем или это такое умозрительное предположение?

Г. С.: Знаем совершенно однозначно, и не только потому, что можем проследить его историю по письменным источникам, но и даже без всяких письменных свидетельств — если сравнить русский, французский и английский, окажется, что в нем нарушены фонетические соответствия, ожидаемые от сопоставлений в исконном лексическом слое. Не говоря уже о том, что внутреннее устройство этого слова можно понять только в латыни. Там *re-volu-tio* — это нормальное, продуктивное образование от глагольного корня *volv-* ‘вращаться’ с приставкой *re-* ‘вновь’ и суффиксом *-tio (n)*, образующим существительные. А в русском, например, среди продуктивных морфем нет ни такого суффикса, ни такой приставки, ни, самое главное, такого корня. Нет, тут как раз все «чисто»: то, что подобного рода примеры заимствуются «по цепочке» из языка в язык, обосновывается совершенно элементарно. «Настоящие» этимологические параллели между английским, французским и русским устроены, как правило, гораздо сложнее и невооруженным глазом часто не обнаруживаются.

Так вот, если же взять образцы базисной лексики — ‘рука’, ‘нога’, ‘голова’, ‘солнце’ и т. д. — и посмотреть, как они распространены в тех же европейских (или любых других) языках, оказывается, что, в отличие от лексики культурной, эти слова почти не заимствуются. То есть они оказываются практически столь же «устойчивыми» к «горизонтальной передаче», как и грамматические морфемы. Из языка в язык ‘руку’ или ‘ногу’ заимствовать оказывается так же трудно, как, скажем, какое-нибудь окончание винительного падежа.

А разве это не логично? Если базисная лексика универсальна, значит, эти значения и так уже выражаются во всех языках. Может ли для языка быть какой-нибудь смысл в том, чтобы заимствовать слово, которое в нем и так уже есть?

Г. С.: Конечно, логично, и, конечно, основная причина именно в этом. Но стоит все-таки уточнить, что заимствования не всегда ведут себя столь предсказуемо. Нередки случаи, когда то или иное слово в языке просто замещается заимствованием. Вот в английский язык вошла тьма-тьмушая французских заимствований — это все-таки не значит,

что в английском языке до XI века не существовало слов, имевших такие же значения. Например, в древнеанглийском было слово *ĕa* 'река', этимологически, кстати, родственное хорошо известному латинскому *aqua* 'вода'. При норманнах слово вышло из употребления, заменившись на *river*, заимствованное из французского, — это же не значит, что англичане познакомились с реками только после прихода норманнов! Просто «в моду», по каким-то причинам, которые сейчас уже трудно установить, даже среди рядовых англосаксов получил распространенные галлицизм.

Такое, кстати, вполне нормально в ситуации *билингвизма*, когда один и тот же человек вынужден пользоваться двумя разными языками в зависимости от того, с кем и в каком контексте он общается. Но даже в этом случае статистика наглядно свидетельствует: базисная лексика из одного языка в другой передается гораздо менее охотно, чем культурная.

Получается, таким образом, что у каждого языка есть основной лексический фонд, который и указывает на его генетическую принадлежность, — такой «набор генетических маркеров» — и этот фонд противопоставлен «наносному» культурному слою, который может быть как унаследован, так и заимствован. Такие вот «базис» и «надстройка», почти как по Марксу.

Ценность этого открытия прежде всего в том, что открывается возможность предложить единый формальный и универсальный критерий оценки родства — если «базисные» значения обязательно выражаются, так или иначе, в любом языке, значит, можно составить из них универсально применимый список и протестировать его на всех известных нам языках и языковых группах.

Сводеш, основываясь исключительно на собственном опыте и интуиции, составил такой список из 200 слов, впоследствии для удобства сократив его наполовину; сегодня в зависимости от степени детализированности исследования может использоваться как двухсотсловный, так и (гораздо чаще) стословный список. (В какой степени «размер имеет значение» — об этом поговорим чуть позже.) Стословный список, вероятно, имеет смысл привести целиком, для наглядности, тем более что мы дальше все время к нему будем возвращаться. В него входят следующие элементы:

- **человек:** человек, мужчина, женщина, имя;
- **части тела:** живот, грудь, рука, нога, колено, ноготь, шея, голова, волосы, глаз, ухо, нос, рот, язык, зуб, кожа, кость, кровь, сердце, печень;
- **животные и их части тела:** птица, рыба, собака, вошь, яйцо, рог, хвост, перо, мясо, жир;
- **растения и их части:** дерево, лист, кора, корень, семя;
- **различные природные объекты и явления:** солнце, луна, звезда, земля, вода, огонь, камень, песок, гора, дорога, облако, дождь, пепел, дым, ночь;
- **обозначения признаков:** большой, маленький, хороший, полный, новый, длинный, круглый, холодный, теплый, сухой;
- **в том числе цветообозначения:** белый, черный, красный, зеленый, желтый;
- **обозначения действий или состояний:** идти, приходить, летать, плавать, стоять, сидеть, лежать, спать, умирать, убивать, давать, пить, есть, кусать, жечь, видеть, слышать, знать, сказать;
- **местоимения и кванторные слова:** я, ты, мы, этот, тот, кто, что, весь;
- **числительные и количественные слова:** один, два, много;
- **служебные частицы:** не.

А на чем основан именно такой выбор? По каким-то специальным критериям отбирались именно эти слова, или исключительно интуитивно?

Г. С.: В целом скорее интуитивно. Подразумевалось, что именно эти «базисные» термины отличаются повышенной «устойчивостью». Впрочем, этот термин стоит пояснить. Я бы сказал, что слово можно назвать «устойчивым», если временной отрезок, который проходит от его появления в языке до его исчезновения из языка, существенно превышает аналогичный временной отрезок для большинства других слов этого языка. Если еще точнее — от его появления в языке в конкретном «своде-шевском значении» вплоть до его исчезновения из языка *или* утраты им этого значения.

Например, древнеанглийское слово *sweltan* 'умирать' из современного языка исчезло бесследно, заменившись на заимствование *die* скандинавского происхождения. А вот древнеанглийское слово *hund* 'собака', хотя в значении 'собака' оно и заменилось на современное *dog* (происхождение этого слова вообще неизвестно), в языке осталось как *hound* 'охотничья собака, ищейка'. И в том и в другом случае, однако, для английского языка и *sweltan*, и *hund* оказались сравнительно неустойчивыми, в отличие, например, от *etan* 'есть' (современное *eat*) или *lūs* 'вошь' (современное *louse*).

Значит, получается, что и в «сверхустойчивом» стословном списке Сводеша тоже на самом деле не все элементы одинаково «устойчивы»?

Г.С.: Конечно. Существует некоторая среднестатистическая тенденция. Если взять, например, то же значение 'умирать' и посмотреть, насколько слова с этим значением устойчивы на произвольной выборке из нескольких сотен языков по всему миру, окажется, что устойчивость эта будет на порядок выше, чем, например, устойчивость глаголов 'прыгать' или 'плевать'. Но это не значит, что существует какой-то непреложный, единый для всех языков «закон устойчивости глагола 'умирать'». Например, праиндоевропейский корень **mer-* 'умирать' до сих пор в этом значении сохраняется в русском языке (*у-мир-ать*), во французском (*mour-ir*), в персидском (*mord-*) и т. д., но в английском успел за то же самое время заместиться уже как минимум дважды: сначала на *sweltan*, а затем на *die*. А вот значение 'глаз', наоборот, в английском до сих пор продолжает выражаться старым корнем (*eye*, из индоевропейского **okw-*), а в русском вытеснено инновацией 'глаз' (старое слово *oko* из языка не ушло, но сохраняется только как стилистический архаизм).

Конечно, можно спросить: а почему, собственно, мы должны здесь полагаться на интуицию — почему нельзя такой список составить каким-то формальным способом? Ответ простой: конечно, можно, и в перспективе очень нужно, но для этого, по большому счету, необходимо *всю* лексику в языках мира протестировать на предмет среднестатистической устойчивости. Когда-нибудь это будет сделано, но пока до этого еще очень дале-

ко — адекватно решить эту задачу можно только после того, как будет проведена сравнительно-историческая обработка всех (или хотя бы очень большой и репрезентативной выборки) языковых семей мира.

С другой стороны, список Сводеша на самом деле составлен довольно качественно. Есть отдельные элементы, к которым очень большие претензии, — например, слово ‘круглый’, которое во многих словарях просто отсутствует или выражается какими-то звукоподражаниями (типа *кур-кур* или *буль-буль*), или слово ‘желтый’, которое во многих языках вообще не отличается от слова ‘зеленый’ или, даже если отличается, не входит в «основные» цвета палитры и все время образуется от каких-то подручных объектов (от ‘мочи’ до каких-нибудь желтого цвета жуков и т. п.). Но на общем фоне это скорее мелочи, с которыми можно смириться. Поскольку список используется уже полстолетия, то сейчас, когда таких списков составлены уже многие сотни, менять отдельные его элементы — себе дороже.

А перечисленные элементы семантических групп отбирались скорее случайно или по какой-то накатанной схеме?

Г. С.: По-разному. В некоторых случаях отбор делался явно с большим умом. Например, в подгруппе ‘животных’ из всего массива домашних животных неслучайно представлена одна ‘собака’ — единственное домашнее животное, которое известно у всех народов мира, в том числе даже наиболее «примитивных» охотников-собирателей. Это слово, таким образом, будет заведомо удовлетворять критерию универсальности. А вот из диких животных в список намеренно попала только... ‘вошь’ — тоже, безусловно, универсальный спутник человека на всем пути его существования вплоть до совсем недавнего времени.

Из числительных в стословной части списка намеренно оставлены только ‘один’ и ‘два’ — поскольку в некоторых языках (например, в ряде бушменских наречий) система исчисления, действительно, до сих пор представлена системой «один-два-много». До двух, кажется, умеют все-таки считать абсолютно все народы, а вот ‘три’ — уже более сложное, не столь универсальное понятие, не говоря уже о числительных еще более высокого ранга.

Или, например, можно обратить внимание на местоимения: почему есть 'я' и 'ты', но нет 3-го лица 'он'? Потому что специальные местоимения 'я' и 'ты' есть абсолютно во всех языках мира, а вот местоимение 'он' может и отсутствовать — например, в латинском языке вместо него используются указательные местоимения 'этой', 'тот' и т. д., в зависимости от того, насколько референт удален от говорящего, и это далеко не единичная ситуация. Поэтому 'я' и 'ты' в языках мира обычно устойчивы, а 'он' — гораздо более «подвижная» единица.

Бывают, конечно, и отдельные «промахи». Например, включив в список слово 'рог', Сводеш не учел, что на многих островах мирового океана рогатые животные отсутствуют как класс — поэтому в полинезийских языках это слово пропало, как только полинезийцы переселились на острова, и пришло обратно только вместе с европейцами, которые завезли на эти острова рогатый скот (что уже, конечно, не представляет особого интереса для компаративиста, реконструирующего глубокую древность). Или, например, в некоторых языках уже упоминавшихся бушменов отсутствует слово 'рыба' — по понятной причине, если учесть их естественный ареал обитания (пустыня Калахари). Но это тоже мелкие технические проблемы, которыми можно пренебречь. Если в сравниваемых языках остаются пустыми одна-две «ячейки» в стословном списке, сравнение от этого сильно не страдает.

Но это в какой-то степени дискредитирует идею «универсальности» списка? Предполагается ведь, что в нем представлена самая употребительная лексика — а параллельно с этим оказывается, что какие-то слова из него где-то могут вообще не существовать.

Г. С.: Последнее, кстати, не вполне верно. «Базисная» лексика, действительно, во многом пересекается с «общеупотребительной», то есть статистически частотной — но далеко не во всем. В современном русском языке слово 'штаны' или, скажем, даже 'компьютер' мы наверняка употребляем чаще, чем слово 'печень', но при этом и 'штаны', и 'компьютер' — это «культурная» лексика, совершенно не показательная для определения русского языка как славянского ('штаны' заимствованы в русский из тюркского источника, 'компьютер' — из английского), а 'печень' — исконно славянское слово (от глагола 'печь').

Что касается универсальности, то в будущем, конечно, список Сводеша будет усовершенствован — вместо 'рога', 'рыбы', 'круглого', 'желтого', некоторых других «неудобных» слов там окажутся другие, которые Сводеш случайно просмотрел. Но сейчас это не критично. Статистические методы, основанные на стословном списке, позволяют наличие отдельных «дырочек» в том или ином списке, главное, чтобы они не превышали критическую массу.

Теперь — для чего, собственно, нужны эти списки?

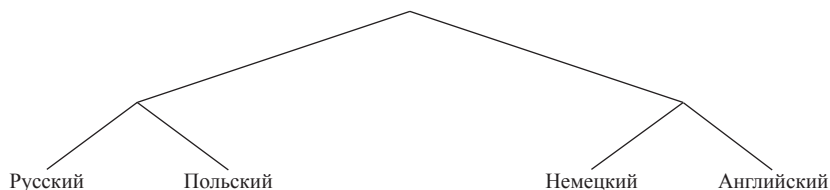
Предположим, перед вами лежат три «стословника», составленных по русскому, польскому и английскому языкам. Если посчитать, сколько русских и польских слов в этом списке имеют общее происхождение — то есть представляют собой историческое развитие из одного и того же «пра слова», будучи связаны регулярными фонетическими соответствиями, — то их наберется по крайней мере 82 из 100. Русско-английских же общих слов в нем будет всего 32, равно как и польско-английских (тоже 32). Что это значит? Наиболее естественная интерпретация — то, что предок английского языка (то есть прагерманский язык) отделился от общего предка «русско-польского» языка (то есть праславянского) до того, как русский отделился от польского. Так оно, собственно говоря, и было: статистика совпадений здесь хорошо подтверждается и другими данными (например, сравнительной фонетики и грамматики).

Обобщив это и другие аналогичные наблюдения, легко формулируем общий принцип: *чем ближе друг к другу (хронологически) два языка, тем больше процент слов, имеющих общее происхождение в их стословных списках*. Он и лежит в основе метода, названного *лексикостатистикой* — оценки степени языкового родства по количеству сходжений в базисной лексике.

Лексикостатистика — это и есть, по сути, тот самый математический «ключик», который нам был нужен для того, чтобы научиться составлять формально-объективные классификации, не зависящие от субъективных прихотей исследователя. Давайте добавим к нашим трем языкам еще один, скажем, немецкий, и составим для всех четырех общую табличку, указывающую проценты совпадений (так называемую лексикостатистическую матрицу):

	Польский	Немецкий	Английский
Русский	82%	30%	32%
Польский		31%	32%
Немецкий			77%

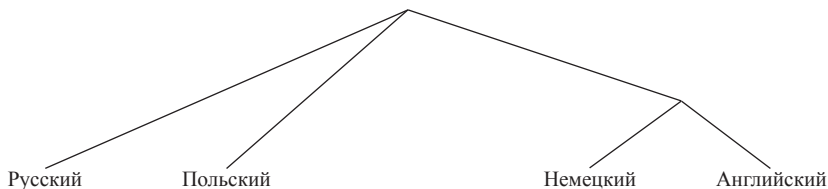
Эту матрицу можно трансформировать в генеалогическое дерево — проще всего это сделать так называемым методом ближайших соседей. Больше всего совпадений между русским и польским — они объединяются в один узел. На втором месте немецкий и английский — они объединяются в другой узел, и, наконец, обе пары сводятся вместе, исходя из усредненного процента совпадений между условным «русско-польским» (то есть славянским) и «англо-немецким» (то есть германским), примерно так:



Конечно, этот пример довольно-таки тривиален. Когда общее число языков сильно больше, а процентный «зазор» между ними намного меньше, встает вопрос о статистических погрешностях: скажем, между А и В 32% совпадений, а между А и С — 34%, значит ли это, что предок В действительно отделился от общего предка А и С, или же такое маленькое расхождение ничего не значит? И если последнее, то каковы размеры допустимых погрешностей?

Но самая главная трудность вот в чем. Конечно, лексикостатистическую матрицу можно составить на достаточно объективной основе, а построить по такой матрице генеалогическое дерево компьютер может вообще без прямого участия человека. Однако для того, чтобы мы могли сказать: «это генеалогическое дерево, которое построил компьютер, — не просто радующая глаз картинка, а отражение реального исторического процесса дробления некогда единого праязыка», этого вообще-то недостаточно.

Предположим, например, такой гипотетический сценарий. Не было никакого «праславянского», реальный процесс развития наших четырех языков был примерно таким:



Как такую схему можно согласовать с нашей лексикостатистической матрицей? Нетрудно. 82% общей «русско-польской» лексики означают, что остальные 18% лексики праязыка после их распада заменились на новые слова либо в русском, либо в польском, либо и там и там. А в немецком и английском за то же самое время просто заменилось сильно больше слов. За то же время, что в русском или в польском языке заменялось одно слово из стословного списка, в «англо-немецком» заменялось, например, три или четыре. Отсюда такие разительные расхождения в матрице.

Понятно, что в данном конкретном случае такой сценарий ни один человек, находясь в здравом уме, не предложит, благо для классификации славянских и германских языков предостаточно оснований, помимо лексикостатистических. Есть грамматика, есть фонетика, есть, в конце концов, даже «экстралингвистические» данные — история, археология и т. п. Но для других языковых семей, которые описаны гораздо хуже, для которых нет древних языков, исторических источников и т. д., классификацию очень часто строить вообще не на чем, кроме как на материалах обычных словарных списков.

А теперь проведем эксперимент. Возьмем несколько ветвей индоевропейской семьи, примерно равноудаленных друг от друга, выберем из каждой из них по одному современному языку (скажем, хинди из индо-иранской ветви, русский из славянской, немецкий из германской, испанский из романской, ирландский из кельтской) и посмотрим на то, какая получается матрица:

	Русский	Немецкий	Испанский	Ирландский
Хинди	26%	20%	25%	20%
Русский		30%	31%	28%
Немецкий			36%	23%
Испанский				27%

Очень интересный результат. Праиндоевропейский, по примерным оценкам исследователей, распался на все эти ветви где-то в V–IV тысячелетиях до нашей эры — а процентный «зазор» между отдельными современными языками, представляющими разные ветви, не превышает 13%, причем «подскок» между немецким и испанским (до 36%) скорее нетипичен, а вообще процент совпадений в среднем колеблется где-то вокруг средней величины в 30%. Нигде не наблюдается ни неоправданно высоких аномалий (скажем, процентов 60–70 совпадений между языками разных ветвей), ни, наоборот, явно заниженных корреляций (скажем, процентов в 10–15%).

Но «чудеса» на этом не заканчиваются. Возьмем, например, совсем другую языковую семью — семитскую, которая, также судя по оценкам исследователей, распалась примерно в то же самое время, что и индоевропейская (судя хотя бы по тому, что между носителями обоих праязыков можно установить наличие лексических контактов). Произвольно выбираем два языка из двух современных ветвей — например, амхарский язык в Эфиопии и современный мекканский диалект арабского языка. Между ними в стословном списке оказывается... 25% лексических сходжений — ровно столько же, сколько, например, между хинди и испанским! Притом что, конечно, индоевропейские языки вообще-то должны развиваться по «своим» законам и параметрам, а семитские — по своим.

Сводеш, разрабатывая свой метод оценки степени языкового родства, как раз и обратил внимание на эти корреляции и сделал следующий вывод: *мало* того что «чем ближе языки, тем больше общей лексики» — на самом деле существует *формальная зависимость* между процентами этимологически совпадающей лексики в сравниваемых языках и *временем* этого распада. То есть две пары языков, каждая из которых обнаруживает, скажем, 20% общей лексики, не просто «связаны довольно даль-

ним родством» — предполагается, что предки этих пар языков разделились на две ветви *примерно в одно и то же время*. И, более того, мы это время можем высчитать.

Получается, что существует определенная неизменная скорость изменения слов, которая вообще ни от чего не зависит, кроме какого-то «первотолчка»?

Г. С.: Примерно так. Как раз в это время, в 1950-е годы, был открыт метод радиоуглеродного датирования ископаемых останков, который, как известно, основан на постоянной скорости полураспада изотопа ^{14}C . На Сводеша это произвело большое впечатление (он, в общем, этого никогда и не скрывал), и вместе с рядом коллег, которых ему удалось своим энтузиазмом заразить, он разработал аналогичную методику для исторического языкознания. Если общая процедура классификации языков на основании статистических подсчетов по базисной лексике получила название *лексикостатистики*, то математическая процедура Сводеша была им названа *глоттохронологией* (эти два термина иногда употребляют как синонимы, но на самом деле корректнее говорить, что глоттохронология — это несколько более узкое применение лексикостатистики)¹.

В основе глоттохронологии лежит следующий фундаментальный постулат: базисная лексика языка, в отличие от «культурной», изменяется с постоянной скоростью, вне зависимости от географических, социальных или культурных условий, в которых этот язык существует. Будь то язык, на котором говорит 100 человек в какой-нибудь папуасской деревне или джунглях Амазонки, или язык высокоразвитой, урбанизированной, экспансивной цивилизации на 100 миллионов человек, в них *обоих* за одинаковый отрезок времени базисная лексика изменится примерно на одно и то же число единиц.

¹ Научная литература по лексикостатистике и глоттохронологии столь многочисленна и разнообразна, что никакого единого обзорного труда по этой дисциплине порекомендовать невозможно. С основами «классической» (сводешевской) глоттохронологии удобно ознакомиться через подборку статей в первом выпуске сборника «Новое в лингвистике» (М., 1960), где представлены работы как самого Сводеша и его коллег, так и критические отзывы. Более современные подходы к глоттохронологии (как «реформистские», так и резко негативные) представлены в англоязычном двухтомном сборнике «Time Depth in Historical Linguistics» (Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2000).

А как этот постулат доказать? Все-таки с изотопом ^{14}C ситуация понятнее — есть эксперименты, математические расчеты, калибровки и т. д. А здесь как провести эксперимент? Стословный список же не посадишь в пробирку.

Г.С.: Эксперимент, конечно, провести невозможно, но есть возможности для калибровки. Чтобы «замерить» среднюю скорость, с которой элементы базисной лексики, так сказать, выходят из строя, заменяясь на другие, нужно собрать вместе все языки, письменную историю которых мы можем проследить хотя бы на одну-две тысячи лет назад. Конечно, как уже я, собственно, говорил, это капля в море, но и она достаточно репрезентативна. Это в первую очередь индоевропейские языки — санскрит с его современными новоиндийскими потомками, латынь с выросшими из нее романскими языками, греческий, древние германские и славянские языки и т. д. Затем — семитские (например, расстояние от коранического арабского до современных диалектов) ...

Иврит?

Г.С.: Нет, иврит как раз для эксперимента не годится, потому что в этом случае нет естественного развития от древнего состояния языка к современному. Иврит после уничтожения еврейского государства был «законсервирован», почти две тысячи лет ни для кого не был родным языком и только в XX веке его успешно «разморозили» так, что сегодня он опять функционирует как естественный язык. Это такой своеобразный уникальный эксперимент, поставленный человечеством над самим собой, совершенно беспрецедентный. Но для компаративиста, занимающегося реконструкцией древности, современный иврит по большому счету бесполезен — «котируется» только оригинальная ветхозаветная версия.

Из других языков, история которых известна хотя бы на полторы-две тысячи лет, можно еще использовать египетский (тут история известна от III тысячелетия до н. э. вплоть до прямого потомка египетского в Средние века — коптского языка); на Дальнем Востоке — китайский (базисная лексика хорошо описана начиная с I тысячелетия до н. э.), отчасти японский (древнеяпонские памятники приходятся на VII–VIII века н. э.).

Такие ареалы, как Америка, Африка (за исключением Египта), Тихоокеанский регион и т. д., увы, в «эксперименте» принимать участие уже не могут. Но даже того, что есть, уже достаточно, чтобы кое-какие предварительные выводы сделать.

Еще один источник калибровки — там, где нет письменной истории языков, сравнивать проценты лексикостатистических схождений между современными живыми языками, опираясь на примерную дату распада их праязыка, которую подсказывают внешние данные: история и археология. Таких ситуаций тоже относительно немного, и чем глубже мы уходим в историю, тем менее надежны результаты, но есть и довольно убедительные ситуации — например, островные миграции австронезийских народов, сопровождавшиеся языковым дроблением, можно довольно убедительно реконструировать по археологическим следам примерно на протяжении последних трех-четырёх тысяч лет. Распад тюркской языковой общности приходится примерно на VI–VII века — время расцвета Тюркского каганата и широкого расселения тюркоязычных племен по Средней Азии, хорошо задокументированного в исторических памятниках (только болгарская ветвь, в которую входит чувашский язык, должна была отделиться несколько раньше). Опираясь на такие, достаточно надежные, точки отсчета, можно смотреть, в каких австронезийских, тюркских и т. п. языках сколько слов заменилось за последние столько-то тысяч / сотен лет.

Итак, Сводеш с несколькими коллегами проанализировали на предмет «калибровки» много разных примеров (хотя и далеко не все) и на основании этого анализа вывели «коэффициент распада» — согласно Сводешу, из 100-словного списка за 1 тысячу лет в среднем должно выпадать (то есть замещаться на другие слова) порядка 14 единиц. А если так, то все остальные значения высчитываются по стандартной экспоненте — формуле радиоактивного распада. Она для нашего случая, в слегка упрощенной записи, будет выглядеть так:

$$c = e^{-\lambda t}$$

Здесь t — это определенный временной интервал; c — это количество слов из стословного списка, которое за этот интервал осталось «нетронутым»; а лямбда-коэффициент λ — это и есть та самая скорость изменения, то есть 0,14 по Сводешу. Что такое e , мы все должны помнить

из школьного курса анализа; для тех, у кого с математикой непростые отношения, напомним, что задача, связанная с *ускорением*, положительным или отрицательным, изменения величины, в каждый данный момент зависящим от размеров самой этой величины, обычно решается с применением дифференциальных уравнений.

Получается, например, что если в списке осталась половина от исходных элементов, то $t = -(\ln c : \lambda) = -(\ln 0,5 : 0,14) \approx 5$ (тысяч лет), то есть из любого стословного списка в среднестатистическом случае половина должна выпасть примерно за пять тысячелетий. И так далее.

Но это в том случае, если мы высчитываем разницу между стословным списком в «языке» и тем, что осталось в его потомке. А если считать между двумя современными языками?

Г. С.: Если считать совпадения между количеством языков n , это количество просто должно вставляться в формулу:

$$c = e^{-n\lambda t}$$

Соответственно, если между двумя языками обнаружено 50% совпадений, то $t = -(\ln c : 2\lambda) = -(\ln 0,5 : 0,28) \approx 2,5$ (тысяч лет). Значит, если в стословнике между двумя языками совпадает половина, это означает, что их ближайший общий предок распался примерно две с половиной тысячи лет назад.

Посмотрим теперь на процентные совпадения между русским и хинди. Там у нас в таблице было число 26%. Тогда $t = -(\ln 0,26 : 0,28) \approx 4,8$ (тысяч лет). Получается, что ближайший общий предок русского и хинди — то есть ближайший общий предок всех славянских и индоиранских языков, то есть какой-то из диалектов праиндоевропейского — должен был распасться где-то на рубеже III тысячелетия до н. э. Это «нижний рубеж» датировки индоевропейского; обычно мнения лингвистов, помноженные на археологические и другие соображения, укладываются в диапазон где-то от V до III тысячелетия, и такая датировка вполне реалистична.

А каков в этом случае размер статистической погрешности? Речь же не может идти о том, что этот метод претендует на абсолютную точность...

Г. С.: Да, это очень важный момент, который иногда кажется интуитивно очевидным, но опыт показывает, что его все-таки лучше эксплицитно оговорить. Иногда в работах по глоттохронологии можно встретить формулировки типа «языки такой-то и такой-то, дата распада — 2547 год до н. э.», «языки такой-то и такой-то, дата распада — 1234 год н. э.» и т. д. Разумеется, формула на то и формула, чтобы выдавать точные числа. Но в историческом плане такие точные датировки, во-первых, бессмысленны сами по себе (языки не «распадаются» за один год, для этого нужно хотя бы несколько поколений), а во-вторых, ни Сводеш, ни сменившие его в дальнейшем «глоттохронологи» никогда не настаивали на том, что лямбда-коэффициент 14 (или любой другой) *обязан* быть ровно 14, не больше и не меньше, для любого языка любой семьи в любое конкретно взятое тысячелетие. Везде и всегда может быть некоторая степень погрешности, а вот каких конкретных размеров она может достигать — здесь уже надо проводить гораздо более подробные и репрезентативные разыскания.

Так вот, на какое-то время метод глоттохронологии, внедренный Сводешом, вошел «в моду» — лингвисты поиграли с ним как с этакой чудной новой игрушкой, а затем столь же быстро забросили. Конкретных претензий технического характера было довольно много, мы о некоторых из них поговорим чуть позже, но в первую очередь, конечно, он вызывал раздражение у традиционалистов. На всякий случай напомним, что пик увлечения глоттохронологией пришелся на 1950-е годы — это как раз время расцвета структурализма, формальных методов в языковедении, «Синтаксических структур» Хомского и т. д., и глоттохронология, с ее «механистическим» подходом к языковому материалу, во все это успешно вписывалась: вот, мол, и компаративисты наконец-то подтягиваются к изучению своего объекта с математическим аппаратом. Но, как любая «новизна» в рамках традиционно устоявшейся дисциплины, она, конечно, должна была столкнуться и с существенным противодействием — причем не будем оппонентов огульно обвинять в ретроградстве, многое в их критике было вполне справедливым.

Главный вопрос, конечно, был таков: откуда берется какая-то «постоянная» скорость каких-то языковых изменений? Язык — это же не набор атомов углерода, это довольно аморфная, трудноопределимая система знаков, на которую влияет целое море социально-культурных факторов.

Одни языки, например, развиваются в изоляции, другие — в тесном окружении целой сети родственных или неродственных языков. На одних говорит племя из сотни человек, затерянное в глубоких джунглях, на других — огромные многомиллионные народы, рассеянные по гигантским территориям. Одни — бесписьменные, на другие оказывает влияние тысячелетняя литературная традиция и т. д.

Само по себе различие, которое Сводеш проводил между «базисной» и «культурной» лексикой, тоже часто ставилось под сомнение: ведь никакого реального обоснования для своего списка он не привел, а то, что одно и то же значение на самом деле в одном языке может быть «базисным», а другое — «культурным», можно увидеть на самых разных примерах. Скажем, 'солнце' для кого-то — это просто большой желтый шар в небе, от которого идет свет и тепло, а для кого-то это одновременно еще и одушевленное божество, с которым связаны различные мифологические сюжеты и т. д. (как греческий Гелиос, древнеиндийский Сурья, аккадский Шамаш и многие другие). В первом случае понятно, что это слово может быть «устойчивым», а во втором оно очень легко может быть заимствовано — ведь имена богов и религиозные термины известны тем, что очень любят «кочевать» от культуры к культуре и, соответственно, от языка к языку.

А можно ли вообще с теоретических позиций как-то обосновать этот постулат глоттохронологии? Или он устанавливается исключительно эмпирически, как «волшебное» свойство языка?

Г. С.: Это очень сложный вопрос и, надо сказать, очень мало обсуждавшийся в литературе. Кое-какие соображения были уже у Сводеша и сводились они, в общем, к разумной идее: с одной стороны, языковые изменения неизбежны, в том числе и лексические, поскольку изменчивость — одно из основных свойств языка, с другой — языковых изменений не может «за раз», то есть за одно поколение, накапливаться слишком много, потому что язык должен обеспечивать взаимопонимание в том числе и между поколениями. Мы все видим, что язык «пожилых» поколений обычно чем-то отличается от языка молодежи, но не бывает так, чтобы девятидесятилетний старик не мог объясниться на одном и том же языке с пятнадцатилетним подростком, если только, конечно, подросток не говорит намеренно

на каком-то особом, полуискусственном «жаргоне» (а «жаргоны» — это такие подсистемы внутри языка, которые нисколько не вытесняют основной регистр этого языка, а сосуществуют с ним).

С другой стороны, все равно таких теоретических соображений явно недостаточно для того, чтобы обосновать «магическое» число 14. 14 слов из ста за тысячу лет — значит, если принять условное «поколение», скажем, за 30 лет, будет примерно по одному слову за два поколения. А если будет по одному слову за *одно* поколение? Вряд ли от этого будет какой-то серьезный ущерб для взаимопонимания, а между тем это уже увеличивает наш коэффициент вдвое, и метод будет полностью обесценен. Мы же не можем *доказать*, что за два поколения в стословном списке может замениться *максимум* одно слово.

Есть чуть более сложное обоснование, я о нем упомяну позже, но и оно никак не может считаться строгим. Так что по большому счету, действительно, говорить о постоянной скорости изменения базисной лексики можно только на основании конкретных *наблюдений*. Как бы то ни было, первоочередная наша задача — это *описание* фактов; *объяснение* этих фактов — это уже следующий этап, причем даже самая строгая наука должна иногда смиряться с тем, что какие-то факты объяснению не поддаются, по крайней мере до тех пор, пока мы не усовершенствовали методологию исследования. В конце концов все знают, что существует гравитация, а откуда она берется — полностью удовлетворительного объяснения пока что не существует, несмотря на фантастическое развитие физики в XX веке. Но вряд ли кто-то скажет, что, раз гравитацию удовлетворительно объяснить не удастся, значит, она не существует. Здесь то же самое: главное для нас — это факты.

И что же, факты действительно подтверждают правоту Сведеша?

Г. С.: Вот тут и начинается самое интересное. Всеобщее разочарование в глоттохронологии связано как раз с тем, что нашли такие факты, которые, казалось бы, должны были фундаментальный постулат Сведеша свести на нет.

В 1962 году два норвежских лингвиста, Кнут Бергсланд и Ганс Фогт, опубликовали большую статью, сопровождаемую развернутой дис-

куссией, которая так и называлась: «К вопросу об обоснованности глоттохронологии»¹. В ней они подробно разобрали несколько тестовых ситуаций и пришли к выводу, что никакой единой скорости «лексического распада» не существует.

Самый интересный результат они получили при сравнении современного исландского и норвежского языков: получалось, что примерно за одно и то же время (около тысячи лет) из исландского «вымылось» всего 4 слова, а из норвежского — 21! Это, конечно, уже не вписывается в рамки никаких погрешностей — и, более того, одного такого примера вполне достаточно для того, чтобы поставить под сомнение всю глоттохронологическую базу: ведь вся она «калибруется» на материале одного-двух десятков ситуаций, не больше.

Так что статью Бергсланда и Фогта общественность восприняла как доказательную — тем более что в ней была приведена вся документальная база, даже опубликованы все списки, что для сегодняшних журнальных публикаций по лексикостатистике скорее редкость (сегодня редакторы многих вполне уважаемых журналов почему-то считают, что среднестатистический читатель все равно в языковом материале копать не станет, и никаких списков обычно не публикуют — кому надо, пусть связывается с авторами). Короче, сделано все было очень профессионально, и «антиглоттохронологи» до сих пор цитируют ее с большим удовольствием, как и пятьдесят лет назад.

Но ироничнее всего то, что *сами* же авторы статьи, выведя столь разительные расхождения между исландским и норвежским, косвенно намекнули в заключительной части на то, как эту проблему можно объяснить и решить, причем намеком никто в то время по существу не воспользовался.

В чем разница между исландским и норвежским? Это в каком-то смысле две *крайние* ситуации, на которые совершенно случайно вышли исследователи (неслучайно оба они по национальности — норвежцы). Исландский язык, как я, собственно, уже говорил, последнюю тысячу лет развивался в относительной изоляции в силу своей географической обособленности. Что касается норвежского, то норвежский — это на самом деле два языка. Есть так называемый нюнорск («новый норвежский»),

¹ On the validity of glottochronology // Current Anthropology. 1962. 3 (2). P. 115–153.

основанный на западнонорвежских диалектах и считающийся «чистым» норвежским языком, более или менее свободным от континентального влияния. Но подавляющее большинство норвежцев говорит на так называемом букмоле («книжном» языке) — особой форме норвежского языка, испытавшей колоссальное влияние со стороны датского (в чем-то эта ситуация напоминает «суржик» — русифицированный вариант украинского языка — но есть и существенные социолингвистические различия).

Так вот, сравнение Бергсланд и Фогт проводили между исландским и «букмолем» — и сами же обратили внимание на то, что в «букмолем» есть некоторое количество заимствований из немецкого, но не учли при этом слова датского и (в меньших количествах) шведского происхождения. Эксплицитно учесть эту деталь пришлось уже Сергею Анатольевичу Старостину, который написал об этом в очень важной работе 1989 года¹ — и обнаружил, что если из подсчетов все эти случаи *исключить*, то окажется, что «собственных» лексических замен в литературном норвежском за последнюю тысячу лет было примерно столько же, сколько и в исландском — точнее, порядка четырех-пяти.

Но четыре-пять — это же не четырнадцать, как было у Сводеша. Значит, он все-таки ошибался в своих подсчетах?

Г. С.: По-видимому, Сводеш несколько завысил «реальный» коэффициент, который в расчете на тысячу лет все-таки должен быть скорее одно-, чем двузначным, то есть 14 слов за тысячелетие — это явно чересчур. Но каким образом это получилось?

Дело вот в чем. Все лексические замены в 100-словном списке, когда одно слово выходит из употребления и заменяется на другое, можно условно разделить на *внешние* и *внутренние*. *Внутренняя замена* — это ситуация, когда слово заменяется на другое слово из того же самого родного языка. *Внешняя замена* — ситуация, когда слово заимствуется из другого языка. Например, когда в русском языке старое слово *брюхо* в семантически нейтральных контекстах заменяется словом *живот* —

¹ «Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика». Напечатано в сборнике: Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока (М.: Наука, 1989). В дальнейшем перепечатано в: *Старостин С. А.* Труды по языкознанию. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 407–447.

это внутренняя замена, так как 'живот' — исконно русское слово (первоначально, как нетрудно догадаться, оно обозначало просто 'жизнь'). Если же древнеанглийское слово *beorg* 'гора' заменяется на слово *mountain* — это внешняя замена, потому что новое слово заимствовано из французского (в современном французском — *montagne*).

Так вот, когда говорят о непредсказуемых «скачках» в скорости лексических изменений, почти все они оказываются заменами *внешними*.

Вообще заимствования «базисной» лексики — вещь довольно редкая. Для того чтобы один язык из другого начал заимствовать слова, относящиеся к списку Сводеша, влияние языка-«донора» должно быть колоссальным. Например, в английском языке французские заимствования исчисляются тысячами, а в стословнике их *два*: только что упомянутое *mountain* и *round* 'круглый'. Про то, насколько японский язык испещрен китаизмами, я тоже уже говорил — а в стословнике китаизмов ровно три: *нику* 'мясо', *синдзо* 'сердце' и *кандзо* 'печень' (и, кстати, явно не случаен тот факт, что все эти слова обозначают внутренние органы или ткани — изначально они заимствовались как «формальные» анатомические термины).

Так что даже элементарная «престижность» языка-«донора» не гарантирует того, что базисная лексика вашего языка размоется за счет чужеродного влияния. (Это, кстати, к вопросу о «порче» языка: пока базисная лексика остается нетронутой, ни о какой «порче» говорить не имеет смысла.) Но бывают, конечно, исключения, которыми охотно подпитываются оппоненты глоттохронологии — такие, как вышеупомянутый норвежский букмол.

Что там, собственно говоря, случилось? До XIV века в стране говорили только по-норвежски — на разных, но очень близких друг к другу диалектах одного языка. Затем страна попала под политическое и культурное влияние Дании; местные элиты, в частности, почти полностью перешли на датский язык. Ситуация была, на самом деле, очень похожа на англо-французское двуязычие в XI–XIII веках. Но с однимотягчающим обстоятельством: датский и норвежский языки были очень близки друг к другу, намного ближе, чем английский и французский. Те все-таки относились к двум разным ветвям индоевропейской семьи, а датский и норвежский — фактически близнецы-братья, «свежие» потомки единого общескандинавского языка. Соответственно, датской лексике в разговорный норвежский было проникать гораздо легче. Получился такой

уникальный датско-норвежский гибрид. И, конечно, от него трудно в такой ситуации ожидать строгого следования глоттохронологическим закономерностям.

Получается, что такие ситуации возможны только при условии, когда два языка близкородственны? То есть английский, скажем, при всем желании не смог бы усвоить базисную лексику французского?

Г. С.: Нет, бывают и такие ситуации, когда один или несколько языков подвергаются серьезной «лексической бомбардировке» со стороны совершенно не родственных им языков. Вообще чаще всего такие ситуации просто приводят к смене языка. Но в отдельных случаях языку-«акцептору» неожиданно удается устоять даже перед самым диким напором, хотя и за счет немалых потерь.

Хорошо известен, например, случай удивительного языка брахуи. Он относится к дравидийской семье — единственный дравидийский язык за пределами Индии, говорит на нем сегодня около двух миллионов человек на юго-западе Пакистана и еще отдельные небольшие группы в Афганистане. Интересен же он для компаративиста в первую очередь тем, что лексика его отличается особенно «пониженным иммунитетом» — заимствуется с большой охотой и культурный, и базисный слой, причем буквально отовсюду: из хиндустани, из белуджского, из персидского, из арабского, то есть практически все крупные языки, которые его окружают, оставили свой след. Почему так произошло — непонятно. Ответ нужно искать в исторических условиях, в структуре социума, в «этнопсихологии», в каких-то других факторах.

Но важно то, что даже в случае брахуи базисная лексика в целом выдержала «удар»: по проверенным мною подсчетам, в стословном списке примерно 30% слов недравидийского происхождения, притом что культурная лексика заимствована из окружающих языков процентов этак на 70–80. Единственная проблема: если мы будем сравнивать брахуи и какой-нибудь «нормальный» дравидийский язык, скажем, тамильский или каннада, не проводя водораздел между внешними и внутренними заменами, то, конечно, окажется, что скорость изменения базисной лексики в брахуи в два-три раза завышена по сравнению с остальными дравидийскими

языками. Но если мы закроем глаза на внешние замены и будем смотреть только на внутренние, то окажется, что там скорость изменений была примерно одинакова. Получается, что та ротация лексики, которая в брахуи имеет место «сама по себе», ничем не отличается от аналогичной ротации в других языках, а искажают ситуацию только заимствования, приходящие «извне» языка. Значит, для того чтобы глоттохронология работала успешно, заимствования надо идентифицировать и исключать из подсчетов.

А все ли заимствования необходимо исключать, или только «массовые»? И всегда ли получается их идентифицировать?

Г. С.: Вот это очень сложные вопросы, которые пока что удовлетворительно не решены, и тут предстоит еще масса кропотливой работы с материалом, прежде чем можно будет уверенно дать ответ. Поэтому выскажу пока вкратце лишь несколько соображений.

Насчет того, что исключать, а что не исключать. Тут есть одна тонкость. В ситуациях типа норвежской или брахуи все просто: один язык как бы «атакует» другой, и под его напором исконные формы умирают и замещаются на иноязычные. Когда такого массивного напора нет, заимствований в базисную лексику обычно не бывает. Но некоторые заимствования ведут себя хитрым образом. Скажем, некоторое слово проникает из соседнего языка в ваш язык не в базисном значении, а в «культурном» — очень узком, стилистически маркированном, «техническом» и т. д. Затем оно некоторое время в вашем языке «обживается», со временем вообще перестает восприниматься как иноязычное, а потом, обжившись, начинает уже претендовать на базисность.

Представим себе, например, что в русском языке слово *башка* стало употребляться вместо слова *голова*. Это ведь нетрудно сделать: оно и сейчас уже отличается от *головы* только стилистически — поскольку имеет явно вульгарный оттенок («думай башкой», «башку оторву» и т. д.). Но такого рода вульгаризмы — это вообще-то один из самых «сочных» источников лексических замен. Поэтому вполне можно допустить, что лет через сто-двести носители русского языка вообще забудут, что когда-то было слово ‘голова’ (особенно если не будут книжки читать), и полностью перейдут на ‘башку’.

А что, собственно, такое 'башка' и откуда она в русском языке взялась? Это же как раз заимствование — из тюркских языков, где *баиш* как раз и значит 'голова', причем совершенно не как вульгаризм, а просто обычная 'голова'. В русский это слово попало в ходе торгового обмена с татарами, то есть изначально как 'голова скота', ну и, параллельно, этим же словом было соблазнительно маркировать всякого рода «нерусскую / басурманскую голову» (помним же у Пушкина: *Иль башку с широких плеч / у татарина отсечь*). А сегодня оно уже переместилось, так сказать, «на уровень выше» — оставаясь в «вульгарном» регистре, но при этом уже совершенно затерлась связь и со скотом, и с татарами; если русскоязычного человека специально не просветить, он и не подумает, наверное, что, произнося слово *башка*, употребляет «тюркизм».

Так вот, если *башка* когда-нибудь вытеснит из употребления *голову*, то, конечно же, это уже будет внутренней заменой, потому что слово долгое время прожило в русском языке в «небазисном» значении, и вряд ли будет корректно исключать его из подсчетов. А вообще в стословном списке русского языка нет ни одного тюркизма (в отличие от «культурной» лексики, где их очень много).

Это понятно, но это пример гипотетический. А какие-нибудь реальные примеры, где заимствование действительно «обжило» в языке?

Г. С.: Конечно, есть и такие. Классический пример — история слова 'печень' в романских языках. В латыни оно звучало как *iesur*, это хороший индоевропейский корень с надежной этимологией (в частности, оно родственно греческому *hēpar*, откуда *гепатит* и другие заимствования с тем же корнем). Древние римляне, как известно, были вполне себе гурманами, и одним из их любимых блюд было так называемое *iesur ficatum* — птичья печень, набитая фигами, своего рода ранний аналог знаменитого фуа-гра. *Ficatum* — буквально 'нафигованный', от слова *ficus* 'фига', заимствованного в латынь из какого-то средиземноморского источника. Опять-таки слово попало в язык, «обжило», от него даже стали образовываться грамматические производные (глагол *ficare* 'набивать фигами').

А дальше произошло самое интересное — вместо длинного *iecur ficatum* латиняне стали говорить просто *ficatum*, потому что и так ведь понятно, что имеется в виду, не так ли? Получается противопоставление: *iecur* говорится про печень человека, *ficatum* — про печень как гастрономический объект. Ну и, разумеется, о съедобной печени речь в средне-статистическом разговоре идет чаще, чем о печени человеческой. Итог предсказуем — в разговорном латинском языке слово *iecur* просто исчезло, а *ficatum* стали говорить о *любой* печени, в том числе и человеческой. И, таким образом, в современных романских языках никакого следа старого *iecur* не осталось, а все слова со значением 'печень' развились из старого *ficatum*: итальянское *fegato*, испанское *higado*, французское *foie* (откуда как раз то самое *фуа-гра*, 'жирная печень') и т. д.

Вот и получается — слово в конечном итоге имеет заимствованное происхождение, но лексическая замена (*iecur* на *ficatum*) однозначно должна определяться как внутренняя.

Но такая «стратегия подсчетов», конечно, очень осложняет жизнь. В данном конкретном случае все понятно — мы знаем до некоторой степени историю латинского языка и понимаем, что слово *ficatum* в него не могло попасть сразу в значении 'печень'. А что делать, когда у нас таких исторических сведений нет? И здесь же возникает трудность более общего характера, обозначенная во втором из заданных вопросов, — всегда ли можно понять, заимствовано ли слово из другого языка или является исконным?

Это связано с такой проблемой. Практически в каждом языке, сколь бы хорошо он и его соседи ни были изучены, всегда присутствует некоторый процент «загадочной» лексики — слова, которые вообще не имеют никакой этимологии, берутся непонятно откуда. Например, в английском — совершенно непонятно, откуда берется слово *big* 'большой'. Появляется оно в среднеанглийский период (в виде *bigge*), а до этого проследить его историю нет никакой возможности. Из воздуха слова не зарождаются, «просто так» ниоткуда не возникают. Либо оно восходит к какому-то общегерманскому корню — но тогда где его «родственники» в других германских языках, почему они там не оставили никакого следа? Либо же это заимствование — но откуда? Мы знаем «обычные» источники заимствований в английском: это, как правило, либо скандинавские языки, либо французский. Ни в том ни в другом ничего похожего нет.

Может быть, это заимствование из какого-то неизвестного нам, давно вымершего языка, например, из языка догерманского или даже докельтского населения Англии. Скажем, оно могло проникнуть как жаргонизм в какой-нибудь из древнеанглийских диалектов, несколько веков «пряталось» в этом диалекте, не попадая на страницы текстов, а потом, наконец, вылезло наружу в среднеанглийский период. Вполне себе допустимый сценарий — вот только фактологических подтверждений у него нуль, и кричать, что «мы обнаружили скрытое заимствование!» здесь рановато.

Так что С. А. Старостин, с одной стороны, довольно элегантно и корректно разрешил основной глоттохронологический «затык», с другой — серьезно прибавил работы будущим глоттохронологам-лексикостатам. Исходный метод Сводеша предполагал, что мы умеем отличать *родственные* слова от *неродственных*, то есть работаем с языковыми группами, к которым успешно применили сравнительно-исторический метод. То есть знаем, что русское слово *сердце* родственно английскому *heart*, поскольку связано с ним регулярными соответствиями, но не родственно, скажем, албанскому *zemer*. А вот метод Старостина предполагает, что мы вдобавок к этому еще и должны понять, исконным ли в албанском языке является это самое *zemer*, то есть является ли оно потомком какого-нибудь индоевропейского корня, или же это заимствование. А в албанском языке выявлять заимствования и искать индоевропейские этимологии — это вообще своего рода «высший пилотаж»: даже самые образованные и сообразительные индоевропеисты здесь нередко пасуют, потому что и фонетика, и лексика этого языка подверглись очень серьезным изменениям за время его нахождения на Балканском полуострове.

И тем не менее факт остается фактом: если мы хотим пытаться как-то развить идею постоянной скорости лексических изменений, заимствования, особенно массовые, обязательно надо отфильтровывать. Были в некоторых западных работах попытки как-то встроить фактор языковых контактов в формальную сторону модели — то есть не отфильтровывать заимствования «вручную», а попробовать ввести «поправку на заимствования» в сам алгоритм подсчетов, но, кажется, они все провалились, потому что у заимствований постоянной скорости нет и быть не может. Как можно построить единую модель, если один язык за тысячу лет может не заимствовать ни одного слова в стословный список, а другой,

пусть даже в виде исключения — штук десять-пятнадцать? Единственный выход — «ликвидировать» эти заимствования, исключив их из сравнения, и замерять скорость «внутренних» замен.

В модели С. А. Старостина эта «ликвидация» очень тривиальна. Идентифицированным заимствованиям условно присваивается отрицательный номер, и алгоритм, который строит лексикостатистическую матрицу, просто игнорирует их в своей работе. То есть, если в языке опознано, скажем, десять заимствований, сравнение работает на материале остальных 90 слов.

Так чему же в итоге оказался равен «коэффициент» Сводеша? Сколько слов в нормальных условиях, когда заимствований нет, выпадает из 100-словного списка за тысячу лет?

Г. С.: По версии Старостина получилось, что этот коэффициент должен примерно совпадать с тем, что мы видим для исландского. От времени написания древнеисландских саг до современности как раз и прошла примерно тысяча лет, заимствований в стословник не было, измениться успело порядка 4–5 слов. Он провел аналогичные подсчеты для других случаев (романских, германских, китайского, японского языков), и везде получалось примерно то же самое: коэффициент Сводеша оказывался явно завышенным. В конечном итоге удалось вывести среднюю величину коэффициента в 0,05 (то есть 5 слов за 1000 лет).

Дальше, правда, начинались новые проблемы. Оказалось, что если в классическую формулу глоттохронологии просто поставить новый коэффициент, она начинала сбиваться на тех или иных временных отрезках — например, на уровне «очень близкого» родства (такого, как между русским и белорусским) или, наоборот, «очень дальнего» (такого, как индоевропейского).

Формулу удалось привести «в чувство» только введя в нее ряд дальнейших поправок. Они все очень подробно обсуждаются в статье 1989 года, и я не буду здесь распространяться относительно технических деталей, а вместо этого просто приведу новый вариант, который выглядит вот так:

$$c = e^{-\lambda ct^2}$$

и поясню суть дела. Видно, что внутрь показателя степени добавились «лишнее» c и «лишнее» t , то есть получается, что скорость «распада» списка λ :

- во-первых, зависит от того, сколько на тот или иной момент в языке уже осталось слов из первоначального списка (c);
- во-вторых, зависит от того, сколько времени (t) в языке просуществовало то или иное слово.

Переводя это в формат «языка исторических закономерностей», можно определить обе поправки так. Скорость распада списка на самом деле не постоянна, она то увеличивается, то уменьшается, потому что: (а) *чем меньше слов остается в первоначальном списке, тем медленнее «вымываются» из него те, которые остались*; (б) *чем дольше некое слово существует в языке, тем более вероятно его исчезновение в следующем поколении*.

Как это получается? Основной постулат Сводеша подразумевает, что каждый из ста элементов списка имеет в каждый конкретный момент времени одинаковую вероятность выпадения. Но на самом деле это, конечно, не так. Хорошо известно, что и внутри самого «стословника» тоже есть более и есть менее устойчивая части лексики. Например, личные местоимения ‘я’ и ‘ты’ абсолютно во всех языковых семьях мира гораздо более устойчивы, чем прилагательные ‘круглый’, ‘желтый’ или ‘маленький’. Или, что намного менее очевидно, слово ‘глаз’ гораздо устойчивее, чем слово ‘нос’, — это не интуитивная догадка, мы это реально видим по конкретной статистике, устанавливаемой по языковым базам данных.

А раз так, то понятно, что скорость изменения исходного списка со временем будет замедляться. Сначала из него довольно быстро выпадет «неустойчивая» часть, типа ‘круглого’ и ‘желтого’, затем в какой-то момент останется только устойчивая лексика, типа ‘я’, ‘ты’ и т. п., и она будет еще очень долго сопротивляться «вымыванию». Этот фактор в исходной модели Сводеша остался неучтенным, но на самом деле он очень важен.

Кстати, помимо чисто математических аспектов, «ранжирование» стословника по степени устойчивости базисной лексики имеет огромное значение и в «практических» вопросах определения языкового родства. Например, если вы видите, что в языках, которые вы сравниваете, друг

на друга похожи слова 'круглый' и 'желтый', но совершенно при этом не похожи ни 'я', ни 'ты', ни 'глаз', можно не сомневаться — перед вами, скорее всего, следы языковых контактов. Потому что просто не бывает так, чтобы от языка-предка в двух языках-потомках сохранились 'круглый' и 'желтый', но не сохранились при этом общие личные местоимения. Ни одной такой ситуации историческое языкознание пока не знает и, смею думать, никогда не узнает.

В этой связи можно, кстати, вспомнить ситуацию с японским и китайским, между которыми в стословном списке три совпадения: 'мясо', 'печень', 'сердце'. Все эти слова обладают «средней» устойчивостью — и то, что между японским и китайским нет ни одного общего слова с «высокой» устойчивостью, лексикостатисту подскажет, что перед ним наверняка три заимствования, даже если он вообще ничего не знает об истории японско-китайских отношений.

А каким образом вообще можно определить «высокую», «среднюю», «низкую» устойчивость тех или иных слов?

Г. С.: Очень просто. Берем любую языковую семью и смотрим, сколькими разными корнями в ней представлено то или иное значение. Например, возьмем значение 'зуб' и посмотрим, как оно себя ведет в германских языках:

немецкий: *Zahn*, английский: *tooth*, голландский: *tand*, исландский: *tönn*, норвежский: *tann*, шведский: *tand*, датский: *tand*.

Все эти формы родственны, все они регулярно отражают прагерманскую форму **tanθu-z ~ *tunθu-z*. Значит, в германской группе значение 'зуб' отличается абсолютной устойчивостью — старое слово осталось вплоть до наших дней во всех без исключения языках. А теперь возьмем, например, слово 'убивать':

немецкий: *töten*, английский: *kill*, голландский: *doden*, исландский: *drepa*, норвежский: *drepe*, шведский: *dräpa*, датский: *dræbe*.

Здесь совсем по-другому: в немецком и в голландском один корень, в английском — другой, в скандинавских языках — третий. Значит, ка-

кой бы из этих трех корней ни отражал старое прагерманское слово 'убивать', это слово оказалось намного менее устойчивым — заменилось по крайней мере в двух ветвях.

Так можно пройти по всему германскому списку и упорядочить элементы списка Сводеша на предмет устойчивости. Конечно, ограничиться одним германским списком неинтересно. Языков мало, а возраст германской группы очень небольшой — подавляющее большинство элементов списка вообще не успело заместиться ни в одном из этих языков, то есть устроено так же, как 'зуб'. Но дальше ту же самую операцию можно повернуть и с языками других групп, а затем уже и целых больших семей: индоевропейской, семитской, уральской, алтайской и т. д. Старостин в одной из своих работ так и сделал — и выработал нечто вроде «среднестатистического индекса стабильности» для всего списка Сводеша¹. Так что теперь мы на вполне формализованной эмпирической основе знаем, что устойчиво, а что нет.

И какие же слова оказались самыми устойчивыми?

Г. С.: Могу привести первую двадцатку: *мы, два, я, глаз, ты, кто, огонь, язык, камень, имя, рука, что, умирать, сердце, пить, собака, вошь, луна, ноготь, кровь*. А на последних местах оказались такие слова, как *хороший, много, гора, живот, маленький*.

Исходя из представления о большей/меньшей устойчивости тех или иных элементов базисной лексики, кстати, можно при необходимости изготавливать и «сжатые» версии списка. Так, известный лингвист-синолог С. Е. Яхонтов уже в конце 1980-х годов составил «35-словный» список — сокращенный вариант, состоявший из тех лексем, которые он считал самыми устойчивыми. Но это, правда, было основано лишь на его исследовательской интуиции. Наша же школа сейчас, в частности, пользуется 50-словным вариантом, который представляет собой просто первую половину всего списка, отсортированную по индексу стабильности (с несколькими дополнительными заменами технического характера).

¹ «Определение устойчивости базисной лексики». Статья опубликована в сборнике: *Старостин С. А. Труды по языкознанию*. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 827–839.

А для чего нужны эти сокращенные варианты?

Г. С.: Они очень полезны в ряде ситуаций. Например, если имеешь дело с родством очень глубокого уровня (о котором мы подробнее поговорим в следующий раз), то использовать полный 100-словный список для обоснования такого родства бессмысленно. За 7–8 тысяч лет «неустойчивая» половина все равно рассыплется, и в этой ситуации важно сразу же обращать внимание на, так сказать, «железобетонные генетические маркеры». Если я исследую гипотезу о сверхглубоком родстве, скажем, между индоевропейскими и уральскими языками, мне не очень интересно сравнивать в них слово ‘желтый’, мне гораздо важнее знать, как в них устроены личные местоимения.

А вот если речь идет о том, что нужно построить классификацию для языковой группы «мелкого» уровня — германской, славянской, тюркской — тут как раз не имеет смысла пользоваться 35- или 50-словным списком. Будет у вас 10 языков, и во всех этих языках все или почти все 50 устойчивых элементов будут просто лоб в лоб совпадать — как тут построить классификацию? Здесь как раз важно смотреть, как себя будут вести всякие ‘маленькие’ и ‘желтые’, где они сохранились, где заменились, какова дистрибуция разных корней по языкам и подгруппам и т. д.

Хорошо, это понятно. А как понять зависимость распада списка от времени, которое то или иное слово «проживает» в языке? У слов существует какой-то заранее установленный «жизненный срок»?

Г. С.: Как ни удивительно, в каком-то смысле — да. Посмотрим еще раз на то, как себя ведет значение ‘убивать’ в немецком языке. Там в одном случае (немецкий и голландский) оно выражается специальным «казативным» образованием от глагола ‘умирать’ (буквально ‘заставлять умирать’), в другом случае (английский) оно оказывается бывшим переносным значением глагола ‘мучить, наказывать’, в третьем (скандинавские) — тоже переносным значением глагола ‘бить’... а было ли, собственно, в прагерманском специальное слово со значением ‘убивать’? Если и было, то «умерло» почти сразу после того, как прагерманский распался на отдельные ветви — в одной ветви заменилось на одно, в дру-

гой — на другое и т. д. Такого рода ситуации в практике компаративиста встречаются сплошь и рядом, и, конечно, наводят на мысль о том, что в какой-то момент слову действительно «приходит срок».

Никакой мистики здесь на самом деле нет: С. А. Старостин в конечном итоге предложил вполне красивое объяснение этому факту — через *полисемию*. Дело в том, что для слов совершенно естественна тенденция со временем накапливать переносные значения. Например, ‘голова’ сначала означает только часть тела, а потом развивает такие метафорические значения, как ‘верхушка, вершина’, ‘кончик’, ‘начало’, ‘начальник’ (ср. *городской голова*) и т. д.; ‘луна’ как небесное тело становится еще и ‘месяцем’ (календарным сроком); ‘большой’ становится ‘великим’, ‘могучим’, ‘сильным’ и т. д. Накопилось некоторое количество переносных значений — возникают проблемы с многозначностью, в каких-то синтаксических контекстах может стать непонятным, какое значение имеется в виду. В связи с этим возникает необходимость снова как-то разграничить эти значения, и вот в такой ситуации как раз вполне какая-нибудь *башка* может взять и стать базисной *головой*.

Конечно, реальные факторы, которые подталкивают слова к тому, чтобы они множили или изменяли свои значения, очень многообразны, и мы только-только начинаем в этом разбираться. К модифицированной глоттохронологической формуле есть много претензий; ее существенный плюс заключается в том, что она просто *работает* — с заменой сводешевского коэффициента 0,14 на 0,05 и с двумя поправками, которые я упомянул, результаты по тестируемым ситуациям в основном сходятся с истиной, а по нетестируемым — обычно оказываются, скажем так, реалистичными.

Но при этом все равно не удастся как-то переломить общественное недоверие к глоттохронологии? Или ситуация меняется?

Г. С.: Неизбежно меняется. Конечно, время от времени какой-нибудь маститый лингвист пишет очередной обзорный труд, в котором говорит о том, как лексикостатистика Сводеша себя дискредитировала и т. д. Иногда ситуация вообще доходит до абсурда: в некоторых работах (даже могу привести конкретный пример — очень хороший и профессиональный во многих отношениях учебник по компаративистике американиста

Л. Кэмпбелла¹) «лексикостатистика» определяется как метод, *противопоставленный* сравнительно-историческому языкознанию. Вот, мол, есть классическая методика доказательства языкового родства через сравнительно-исторический метод (то есть регулярные соответствия и т. д.), а есть — через лексикостатистику, когда сравниваются похожие слова в языках и считаются проценты совпадений.

Это, разумеется, ерунда. Действительно, бывают отдельные применения лексикостатистики «на глазок», особенно популярные среди полевых лингвистов, которые проводят обзорные исследования в ранее неизведанных территориях. Скажем, приезжает специалист в Новую Гвинею, задача у него — за короткий срок собрать хотя бы какие-нибудь сведения по языкам такой-то области и составить их примерную классификацию. А языков этих, скажем, 80 штук. Что тут можно сделать? Понятно, что: берется список Сводеша, или какой-нибудь другой стандартизированный список лексики, человек проезжает по 80 деревням, в каждой записывает по списку — это пара часов работы с информантом — затем списки сравниваются, без какой-либо серьезной исторической обработки, установления соответствий, просто на предмет того, «похожи» ли слова или нет; далее составляется лексикостатистическая матрица, строится дерево, и вот, классификация готова.

Такая «предварительная лексикостатистика» — штука небесполезная, и если описываемые языки близкородственные, то очень может быть, что она даже даст правильные результаты. Но, во-первых, даже для близкородственных языков рано или поздно фонетические соответствия все-таки надо будет установить и описать, а, во-вторых, для языков, связанных уже чуть более дальним родством, результаты такой «предварилочки» будут, скорее всего, катастрофически недоказательными, и ни один аккуратный лингвист их никогда не представит в качестве серьезного аргумента.

Настоящая же лексикостатистика никоим образом не противопоставлена сравнительно-историческому методу — наоборот, она с ним неразрывно связана и его дополняет. Вернемся к тем самым двум вопросам, с которых мы начали: (а) как доказать, что языки А и В родственны? и (б) как доказать, что из трех родственных языков А, В, С А ближе к С, чем к В? На оба эти вопроса лексикостатистика дает четкий ответ:

¹ *Campbell Lyle. Historical Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press, 2004.*

- если А и В родственны, в их базисной лексике обязательно будет некоторый процент совпадений, подчиняющихся регулярным фонетическим соответствиям (как русское *сердце* — английское *heart*);
- если процент совпадений в базисной лексике выше между А и С, чем между А и В, значит, исторически А ближе к С (то есть сначала общий язык-предок разделился на В и А-С, затем А-С разделился на А и С).

Таким образом, *качественная* лексикостатистика может на самом деле проводиться на материале группы языков *только* после того, как эти языки уже были обработаны с помощью сравнительно-исторического метода. Ее можно рассматривать как своеобразный финальный аккорд. Сравнительный материал собран? Соответствия установлены? Этимологический корпус составлен? Переходим к последнему этапу — лексикостатистическому тестированию. Если оно пройдено успешно, значит, соответствия и этимологии верны. Если нет — значит, соответствия установлены неверные, языкового родства нет или оно недоказуемо.

И что, бывают такие случаи, когда кто-то утверждает, что установил языковое родство, следуя сравнительно-историческому методу, а лексикостатистическое тестирование показывает обратное?

Г. С.: Бывают, и не так уж и редко. Я ведь уже говорил, что создать «иллюзию» доказательства языкового родства на самом деле несложно — давайте вспомним хотя бы все тот же пример с русским и гуде. Зачатки этимологического корпуса мы составили, не выходя за пределы первых двух страниц словаря гуде. Фонетические соответствия художественно сумели набросать. Остается только расширить корпус сравнений, правильно оформить сопровождающий текст (обязательно упомянув, что «родство доказано в строгом соответствии с требованиями сравнительно-исторического метода»), и на наше «доказательство» могут повестись даже отдельные профессиональные лингвисты, не говоря уже о ничего не подозревавшем неспециалисте.

Но посмотрим теперь, проходит ли «русско-гуде» гипотеза лексикостатистическое тестирование. Для краткости возьмем пока что только

первые пятнадцать «сверхустойчивых» элементов списка Сводеша (в остальной части, смею уверить, ситуация будет точно такой же):

мы — *amə*, *два* — *bəra*, *я* — *nyɪ*, *глаз* — *ɡinə*, *ты* — *hə*, *кто* — *wɪ*, *огонь* — *ɡɪnə*, *язык* — *ɡana*, *камень* — *faara*, *имя* — *ləta*, *рука* — *tsiinə*, *что* — *mɪ*, *умирать* — *əntə*, *сердце* — *moodafa*, *нуль* — *sa*.

Видно, что ситуация не очень утешительная. Когда мы «устанавливали соответствия», они, в общем-то, были довольно простыми: *b* — *б*, *r* — *р* и так далее. Если пытаться эту простую модель применить к перечисленным словам, то что мы имеем? Положим, местоимение ‘мы’: *мы* — *amə*, но при этом ни ‘я’, ни ‘ты’ никак совместить не получится, а это уже очень плохо: местоимение ‘мы’, в котором один согласный *m*, можно легко найти в паре тысяч языков по всему миру. Еще ‘огонь’ похож (гуде *ɡɪnə*), хотя придется объяснять, куда делось (или откуда взялось) *o*- в русском слове. Больше — *ничего*. Можно попробовать как-то подтянуть еще пару *имя* — *ləta*, но это предполагает соответствие «нуль (в начале слова): *l*-», на которое нужны еще хорошие примеры.

Для сравнения — между русским и английским из этих 15 слов общее происхождение будут иметь *восемь*, включая почти все местоимения. Правда, связь между такими парами, как *язык* и *tongue*, *имя* и *name* предполагает отдельные до конца не объясненные нерегулярности в соответствиях. Но даже если мы их исключим, 6 из 15 — это совершенно не то же самое, что 2 из 15.

А можно как-то показать, что «огонь — ɡɪnə» — это действительно случайное совпадение?

Г.С.: Безусловно. Но для этого нужно сделать важное уточнение. Вот это самое лексикостатистическое тестирование на самом деле, конечно, само по себе не доказало, что «русский и гуде не родственны друг другу». Оно показало, что такого родства *либо* не существует, *либо* же оно очень далекое.

Предположим, что параллели *мы* — *amə* и *огонь* — *ɡɪnə* истинны, что они восходят к генетически общему предку, который существовал тысяч десять лет тому назад (меньше даже по самым «мягким» вариантам глоттохронологии не получится). Но при этом, если подключить

сюда же материалы по другим языкам, то тестирование совершенно однозначно показывает, что есть такие языки, которые в генетическом отношении, безусловно, *ближе* как к русскому, так и к гуде. Для русского это будут языки славянские (здесь вообще будет совпадать все, кроме 'глаза'), затем — прочие индоевропейские; для гуде — чадские (огромная семья из нескольких сотен языковых единиц).

Значит, проверить этимологическую истинность пары «*огонь* — *gupa*» можно через «посредничество» других, более близкородственных, языков. Можно ли слово 'огонь' восстановить на праславянском уровне в том же значении? Да, и даже на балто-славянском: оно соответствует болгарскому *огън*, польскому *ogień*, литовскому *ignis* и так далее. С общеиндоевропейским уровнем сложнее, но есть такие параллели, как латинское *ignis* и древнеиндийское *agni-*, — так что вполне можно считать балто-славянское слово потомком общеиндоевропейского корня. А вот гуде *gupa* на общечадский уровень не выводится никак; за пределами одной очень маленькой подгруппы эта основа не встречается. Так что можно совершенно уверенно утверждать, что сходство между *огнем* и *gupa* — чистая случайность.

Общую закономерность можно сформулировать так: *если два языка родственны, то число лексикостатистических совпадений между ними неизбежно возрастает при переходе сначала от современных к древним формам, затем — от древних форм к реконструкциям.*

Так что фиктивность «русско-гуде» родства наглядным образом выявляется именно на этапе лексикостатистического тестирования. Лексикостатистика, когда она работает в «тандеме» с классическим сравнительно-историческим методом, оказывается строгим и очень эффективным фильтром, отсеивающим как совсем безумные гипотезы, так и такие, которые на первый взгляд могут показаться серьезными, но на самом деле просто злоупотребляют тем, что никто и никогда так и не сформулировал стопроцентно четкого и ясного определения сравнительно-исторического метода.

Из конкретных примеров — скажем, некоторое время была довольно популярной (и до сих пор еще часто упоминается в литературе) гипотеза «дравидийско-эламского» родства, которую выдвинул американский лингвист Дэвид Макальпин. Популярность ее связана с тем, что язык древнего Элама традиционно считается «изолятом», как шумерский,

а доказательство родства древнего, культурно значимого языка, традиционно считающегося изолятом, с какой-то современной языковой семьей — это всегда сенсация. Вот такую мини-сенсацию произвели в 1970-е годы его публикации, в которых он утверждал, что ему удалось обнаружить многочисленные грамматические и лексические параллели между языком эламских текстов, записанных клинописью, и дравидийскими языками в Индии.

Я лично смотрел и анализировал эти параллели¹, там действительно были довольно интересные схождения, и, в общем, понятно, почему автору удалось заразить своей гипотезой не только неспециалистов, но и ряд вполне профессиональных лингвистов. Пришлось провести лексикостатистическое тестирование (полный стословный список по эламскому языку, правда, составить не получилось — слишком мало текстов; но все-таки больше половины позиций удалось заполнить) — и результаты были плачевны: оказалось, что и такие эламо-дравидийские параллели, которые удовлетворяют системе соответствий Макальпина, и такие, между которыми просто наблюдается фонетическое сходство, исчисляются буквально единицами: *два* схождения между эламским и прадравидийским на весь стословный список! Это даже хуже, чем между русским и гуде, где мы только что нашли 2 схождения из 15.

Фактически в такой ситуации ни о каком эламо-дравидийском родстве не может даже и близко быть речи. Может быть, на *очень* глубоком уровне, в рамках какой-нибудь колоссальной «макро-макросемьи», куда входят вообще все языки Евразии, но это уже совершенно другая тема: тут-то речь идет о наличии «ближайшего общего предка». Так вот, нет и не может быть никакого «ближайшего общего предка» между дравидийскими языками и эламским, как сильно бы нам ни хотелось подыскать для эламского «близких родственников».

Так все-таки: если лексикостатистическое тестирование — такой качественный фильтр, почему он не пользуется бóльшей популярностью?

¹ Наиболее подробное изложение «эламо-дравидийской» гипотезы можно найти в монографии: McAlpin David. Proto-Elamo-Dravidian: The evidence and its implications. Philadelphia, 1981. Критический анализ Г. Старостина опубликован в статье: Starostin G. On the genetic affiliation of the Elamite language // Mother Tongue. 2002. VII. P. 147–170.

Г.С.: Я хотел бы надеяться, что это своего рода историческая случайность. Дело в том, что до сих пор в умах многих, в том числе и весьма достойных и заслуженных, лингвистов-компаративистов лексикостатистика и глоттохронология до сих пор ассоциируются с двумя недоразумениями: (1) лексикостатистика — это такое «умение срезать дистанцию для ленивых», когда не хочется заниматься подробной реконструкцией, а хочется быстро и эффективно получить красивое генеалогическое дерево на картинке; (2) глоттохронология — это такое шарлатанство, когда тебе говорят: «языки X и Y распались в 1076 году до н. э., это доказано строгим математическим методом».

Наша школа сегодня старается работать на опровержение этих недоразумений, к которым, увы, в свое время приложил руку и сам Сводеш, особенно в поздних своих работах. Конечно, и базовый лексикостатистический метод, и его глоттохронологическая аппликация еще очень сильно нуждаются в доработке и дальнейшем тестировании. В первую очередь, нужны более гибкие модели колебаний скорости лексических изменений. Похоже, что сводить все к единой жесткой константе — скажем, 5 слов за тысячу лет и т. п. — все же неразумно: должен оставаться некоторый «люфт», скажем, через определение «верхнего» и «нижнего» пределов скорости внутренних лексических замен.

Далее, существующие на сегодня стословные списки сами по себе очень несовершенны. Основной их недостаток, на мой взгляд — злоупотребление *синонимией*. На этом стоит остановиться чуть подробнее, наверное.

Дело в том, что значения элементов 100- и 200-словного списка были в массе своей определены у Сводеша недостаточно четко. По сути, он просто привел 100–200 английских слов и отождествил их с значениями-концептами. Но концептуализация мира в разных языках устроена по-разному. Например, в списке есть слово *hair* ‘волосы’. Для английского или для русского языков это нормально, но в очень многих языках ‘волосы на голове’ — это одно слово, а ‘волосы на теле’ — другое. Или может быть так, что собирательное существительное ‘волосы’ выражается одним корнем, а единичное ‘волосок’ — другим. Или, скажем, английское *moon*: чему оно соответствует в русском языке — ‘луне’ или ‘месяцу’? О многих трудностях такого рода мы вообще не задумываемся до тех пор, пока не сталкиваемся с ними вплотную. Например, глагол *eat* ‘есть’ — в некоторых языках Африки оказывается, что существует отдельно глагол ‘есть твердую пищу’

(например, мясо) и отдельно 'есть мягкую пищу' (например, растительную). Или слово 'холодный' — бывает так, что 'холодный' применительно к температуре воздуха выражается одним словом, а применительно к температуре конкретных объектов ('холодные руки') — другим. И такие ситуации могут возникнуть едва ли не для любого из элементов списка.

Как тут выходить из положения? У Сводеша изначально было предложено простое решение — если непонятно, какое из двух или более слов подходит для стословного списка, берутся все. Например, в готском языке, который нам известен по переведенным отрывкам Нового Завета, есть два синонима для значения 'есть' — *etan* и *matjan*. Вставляем *оба* эти слова в список. Для *matjan* соответствий в других германских языках нет, а для *etan*, конечно, есть — это английское *eat*, немецкое *essen* и т. д. Значит, можно постулировать лексикостатистическое совпадение.

На самом деле в таком подходе есть что-то сущностно неправильное. Базисные концепты — они на то и базисные, чтобы можно было их определить однозначно и непротиворечиво. В противном случае методика будет давать сбои, а самое главное — не получится толком высчитать никакие скорости лексических замен. Потому что если мы позволяем «брать столько синонимов, сколько можно», то, разумеется, лексикостатистических совпадений между языками будет больше, и, значит, средняя скорость распада списка будет меньше. Так что, если хочется развивать метод в сторону дальнейшей формализации и уточнения, здесь нужно принимать какую-то единую стратегию.

Лично я за то, чтобы стараться максимально ограничивать синонимию при подсчетах, хотя и не все коллеги разделяют это мнение. Для этого нужно максимально точно определять, какие значения мы имеем в виду: например, не просто 'волосы', а 'волосы на голове', не просто 'есть', а 'есть (применительно к наиболее типичной, базовой пище)' (в большинстве традиционных обществ, за исключением разве что кочевых скотоводческих, это в первую очередь пища растительного происхождения — дикие растения у собирателей или культурные злаки у земледельцев) и т. д.

Помимо прочего, такой подход в каком-то смысле *дисциплинирует* исследователя-лексикостатиста, стимулирует его к тому, чтобы внимательно разбираться в тонких смысловых различиях между словами, которые на первый взгляд можно принять за полные синонимы. А это,

в свою очередь, приближает нас к той заветной мечте, о которой я уже говорил — семантической реконструкции. Потому что реконструкция значений на прауровнях должна начинаться с точного определения и разграничения их в языках современных.

Кстати говоря, даже с чисто филологической точки зрения такая «работа на ликвидацию синонимии» очень полезна. Скажем, те же готские глаголы *etan* и *matjan* во всех словарях готского языка переводятся просто как 'есть'. Но встает конкретный вопрос — а какое из этих слов «главное» 'есть'? — и вот тогда-то и оказывается, что, во-первых, *etan* в известных нам текстах встречается очень редко, а *matjan* — намного чаще; во-вторых, *etan* встречается почти исключительно в «грубых» контекстах, типа 'есть (жрать) вместе со свиньями' и т. д. Это значит, что мы обнаружили важный исторический факт, который обычные готские словари игнорируют: на самом деле старое общегерманское слово 'есть' в готском языке перестало быть базисным, перейдя в «грубый», стилистически маркированный регистр, а в базисной функции стало употребляться *matjan* — глагольное производное от существительного *mats* 'еда, пища' (кстати, родственного английскому *meat*, которое сегодня значит 'мясо', а раньше имело то же самое, более широкое значение 'еда, пища /любая/').

В общем и в целом, за лексикостатистикой видно колоссальное будущее — и Сводеш, и С. А. Старостин, на самом деле, только наметили пути ее развития, а работы по совершенствованию и ее математического аппарата, и филологических методов обработки лексического материала, и семантического анализа еще непочатый край, и некоторые результаты могут оказаться совершенно непредсказуемыми. Какие-то мелкие открытия в ходе конкретной работы над составлением и анализом стословников у меня и у моих коллег появляются чуть ли не каждый день.

А много ли людей у нас на сегодня вообще занимаются лексикостатистикой? Особенно учитывая ее относительную непопулярность?

Г. С.: В рамках Московской школы компаративистики здесь основная заслуга, конечно, за С. А. Старостиным — он собственными усилиями этот метод, можно сказать, «возродил из пепла», усовершенствовав теоретическую базу; но самое, пожалуй, главное — существенно облегчил

техническую сторону работы. Дело в том, что лексикостатистические подсчеты «вручную» — дело несложное, но довольно нудное, особенно когда имеешь дело с большим числом языков одновременно. Понятно, что стословные списки в любом случае надо составлять вручную, но в докомпьютерную эпоху надо было, помимо этого, и все калькуляции проводить вручную (или как минимум на калькуляторах, тупо обсчитывая каждую пару языков) — представьте себе, у вас большая семья из 100 языков, лексикостатистическая матрица строится попарно, значит, надо пять тысяч парных схождений просчитать по формуле.

Поэтому Сергей Анатольевич уже в середине 1980-х годов, как только в стенах Института востоковедения АН СССР, где он тогда работал, появились первые приличные компьютеры, задался целью всю эту ответственность перенести на машинные мозги, и так родилась «лингвистическая среда StarLing» (изначально просто Star), которую сегодня использует практически вся Московская школа. В ней изначально была опция создания этимологических баз данных и стословных списков и обработки их с помощью автоматических процедур, которые, в частности, генерировали лексикостатистические матрицы и рисовали генеалогические деревья. Это позволило очень быстро и оперативно получать лексикостатистические результаты для самых разных семей. Насколько мне известно, на сегодняшний день этот софтвэр, специально приспособленный для историко-лингвистических нужд, остается абсолютно уникальным, и он нам дает возможность легко и непринужденно сочетать занятия «традиционной» компаративистикой с лексикостатистической обработкой материала¹.

В 2011 году (уже после смерти С. А. Старостина) нами был запущен проект с довольно помпезным (и труднопроизносимым) названием «Глобальная лексикостатистическая база данных»² — как своего рода «дочернее ответвление» большого проекта «Вавилонская башня», о котором я уже говорил. У него, как и у самой «Вавилонской башни», очень амбициозная цель — создать единый инвентарь стословных списков Сводеша (а в перспективе, скорее всего, и расширить их как минимум до 200-словных) по всем языкам мира, или по крайней мере по всем тем языкам мира, для которых такие списки во-

¹ По состоянию на 2014 год лингвистическая среда StarLing продолжает разрабатываться учениками С. А. Старостина (в первую очередь Ф. С. Крыловым) и доступна для всеобщего бесплатного использования на веб-сайте проекта «Вавилонская башня» (<http://starling.rinet.ru>).

² Постоянный адрес сайта: <http://starling.rinet.ru/new100>.

обще можно раздобыть. Мы разработали для этих целей унифицированную систему транскрипции (чтобы, освоив ее, пользователь системы мог без труда разобраться в фонетике любого языка, даже не зная о нем вообще ничего), строгие критерии к подбору значений и отсеву синонимов, систему удобочитаемых аннотаций и исторических комментариев, то есть это не просто сгруженные в кучу, непонятно для чего нужные группы слов — как, например, набор разрозненных стословников в англоязычной Википедии — а прошедший первичную лингвистическую обработку материал для построения на его основе единой генеалогической классификации языков мира.

И как скоро можно будет увидеть построенную на основе этого материала единую генеалогическую классификацию языков мира?

Г. С.: Нескоро, конечно. По отдельным мелким языковым группам — уже сейчас или в ближайшее время. По большим семьям — в течение трех-четырех лет. А вот дальше... для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо уже перейти к следующей теме для разговора: проблеме установления *дальнего* родства языков на сверхглубоких хронологических отрезках.

Но прежде чем к ней перейти, закончим с лексикостатистикой. Надо сказать, что за последнее десятилетие интерес к этой методике снова начал возрастать в том числе и на Западе, где он связан вовсе не с деятельностью С. А. Старостина, а с тем, что историческим языкознанием в рамках междисциплинарных исследований стали активно интересоваться представители смежных наук — социологии, антропологии, биологии, даже физики. Особенно отличаются здесь современные биологи-кладисты, которые постоянно заняты разработкой новых классификационных моделей и с удовольствием тестируют их на самых разных системах — в том числе и на языковой. И здесь лексикостатистика оказывается очень соблазнительным аналогом, скажем, классификаций биологических видов по их генным характеристикам. Элементы стословного списка — те же самые «признаки», так почему бы не «высчитать» классификацию по таким же алгоритмам, которые уже успешно работают в генетике?

Поэтому нас действительно в последнее время захлестнула целая волна публикаций, регулярно мелькающих в американских научных журналах общей направленности, типа «Science» или «Nature», авторы которых объявля-

ют о том, что им удалось классифицировать — или даже датировать — те или иные языковые семьи (индоевропейскую, семитскую, австронезийскую и т. п.) с помощью «самых современных методов» (чаще всего это один из вариантов метода максимального правдоподобия или алгоритм, основанный на «байесовской вероятности»). Результаты этих классификаций, как правило, в общем и в целом совпадают с результатами «обычной» лексико-статистики по Сводешу / Старостину, хотя глоттохронологический метод первого эти авторы обычно спешат объявить изжившим себя (скорее всего, чтобы ненароком не навлечь на себя гнев компаративистов-«традиционалистов»), а про поправки второго чаще всего вообще ничего не знают.

Там же, где они *не* совпадают с глоттохронологией Сводеша / Старостина, нередко случаются исторические курьезы, на которые авторы могут вообще не обратить внимания. Например, в 2003 году новозеландские антропологи Расселл Грей и Квентин Эткинсон опубликовали свои результаты по построению нового генеалогического древа индоевропейских языков. Их статья в «Nature»¹ оказалась очень популярной, но мало кто (из лингвистов) обратил внимание, что, например, согласно их параметрам хронологической калибровки, распад иранской ветви языков у них пришелся примерно на VI век до н. э. — время, когда на Ближнем Востоке уже господствовала империя Ахеменидов, в которой говорили и, главное, *писали* на древнеперсидском языке, относящемся к западноиранской подветви иранской группы; а написание древнейших частей «Авесты», священного текста зороастрийской религии, обычно относят к еще более раннему периоду, притом что авестийский язык — никоим образом не «праиранский». То есть этот вопрос их *вообще* не заинтересовал. Данные введены в машину, обработаны статистически, дерево получено, а соответствует оно историческим реалиям или нет — дело десятое.

В итоге этот подскок интереса к формальным статистическим методам в исторической лингвистике может сослужить науке дурную службу: нам уже приходилось читать ворчливые, а то и гневные отклики представителей традиционных школ сравнительно-исторического языкознания, которые совершенно справедливо указывают на то, что просто засовывать «сырой» языковой материал в компьютер и доверять всю остальную работу алгорит-

¹ Gray Russell D., Atkinson Quentin D. Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European origin // Nature. 2003. 426. P. 435–439.

мам, игнорируя многочисленные вопросы исторической интерпретации этих результатов — занятие абсолютно бессмысленное. Науке нужна не красивая картинка, а правдоподобная реконструкция исторического процесса.

Так что основную задачу нашего проекта мы сегодня видим как раз в том, чтобы максимально грамотно и полноценно совместить классическую компаративистику со статистической методикой. Как правило, автора математической модели в первую очередь волнуют цифры, которые он видит в матрице, — нас гораздо больше интересует то конкретное содержание, которое стоит за этими цифрами. Если я вижу, что между хинди и немецким 20% совпадений в списке Сводеша, я хочу прежде всего быть уверенным в том, что я, так сказать, могу «отчитаться» по каждому из этих совпадений — насколько регулярны фонетические соответствия, по которым они определены как совпадения, насколько надежно соответствующие слова могут быть выведены на праиндоевропейский уровень, в каком значении они на этом уровне присутствовали и т. д. И «Глобальная лексикостатистическая база данных» уже устроена или будет устроена так, что все ответы на эти вопросы можно будет получить через одно нажатие клавиши.

Последний вопрос. Все-таки сто слов — это не слишком ли малое количество для такого масштабного проекта? На вашем основном сайте, «Вавилонской башне», насколько я понимаю, все-таки выкладываются подробные этимологические базы, там иногда по несколько тысяч корней, реконструированных для праязыков. А тут — всего сто слов с замахом на глобальную классификацию...

Г. С.: Во-первых, одно никоим образом не отменяет другое. Во-вторых, как я уже сказал, со временем от 100 слов мы, может быть, перейдем и к большему количеству (сейчас, например, мы работаем над гораздо более сложной статистической моделью, в рамках которой можно пользоваться не одной, а четырьмя-пятью сотнями элементов, причем уже с допущением тривиальных семантических переходов между языками). В-третьих, подчеркну еще раз, что в любом случае «правильная» лексикостатистика неразрывно связана с этимологической работой.

Предположим, я составляю 100-словные списки для языков Африки. Есть там такая западно-нилотская группа, в которую входит, скажем, язык

шиллуку (в Судане) и язык мабаан (в Эфиопии). На шиллук слово 'кость' будет *tšogo*, на мабаан — *oo*. Как мне их маркировать в базе данных — как родственные слова или нет? С одной стороны, фонетическое сходство ограничивается гласными. С другой, как человек, немного знакомый с типологией фонетических изменений, я знаю, что теоретически допустим сценарий, при котором в мабаан оба согласных могли выпасть. Но «допустим» — это не очень серьезно; столь же легко «допустимо» и то, что эти два слова просто не имеют друг к другу никакого отношения. Мне ведь нужно показать не то, что такой сценарий «допустим», а то, что он *наиболее вероятен* из всех возможных — а для этого нужно между этими словами установить регулярные соответствия. А смогу ли я подтвердить эти регулярные соответствия, оставаясь в рамках стословного списка? Совершенно не факт. Гипотеза сформулирована, а материала среди сотни слов для того, чтобы подтвердить ее или опровергнуть, может просто не хватить. И тут необходимо делать стандартную работу компаративиста — прочесывать словарный материал, смотреть, сколько еще примеров на соответствие «*tš-*: нуль», а сколько — на соответствие «*-g-*: нуль». Оказывается, такие примеры есть, и их вполне достаточно для того, чтобы подтвердить мое исходное подозрение.

Так что тщательный лексикостатистический анализ языков мира — это на самом деле лишь сведенный к определенному минимуму обычный этимологический анализ. Разница лишь в том, что результаты этого анализа легко и удобно квантифицировать, получая в итоге осмысленные и достоверные классификации. Или, в редких случаях, недостоверные — тогда это дает повод задуматься над тем, с каким конкретным дефектом лексикостатистической методики мы столкнулись сегодня. Но эти случаи *действительно* редкие — о чем можно заявить вполне ответственно, по результатам уже обчисленных списков по примерно половине языковых семей мира (среди которых языки Евразии уже, например, «посчитаны» практически в полном составе).

На этом мы, пожалуй, закруглимся с обсуждением лексикостатистической тематики (конкретных деталей тут может хватить еще страниц на сто-двести), хотя в том или ином виде она в наших дальнейших беседах будет фигурировать постоянно. Надеюсь, что создать у нашей аудитории более или менее цельное представление как о достоинствах, так и о текущих недостатках этой методики у нас получилось.

Беседа IV. Ближнее и дальнее родство языков
[Собеседник — Г. С. Старостин]

Е. Сатановский: Из трех наших разговоров стало более или менее понятно, что языки нельзя сравнивать «абы как». Но вот мы взяли на вооружение самую что ни на есть качественную методологию — с регулярными соответствиями, с контролем за семантическими изменениями, с лексикостатистикой, с последовательным «ступенчатым» сравнением от более близких к более дальним родственникам и так далее. И насколько же глубоко в прошлое вся эта методологическая база позволяет нам продвинуться?

Г. С.: Давайте, пожалуй, опять начнем издалека. В XIX веке возник концепт «праязыка» — точнее, не сам концепт (о том, что одни языки происходят от других, догадывались, конечно, и раньше), а представление о том, что «праязык» — это такая почти что осязаемая реальность, которую, опираясь на данные языков-потомков, можно восстановить до такой степени, что даже можно будет научить человека на нем разговаривать. Например, всемирную известность получила басня про овцу и лошадей, которую в 1868 году на праиндоевропейском языке написал и опубликовал Август Шлейхер. Еще бы: человек публикует целый текст, пусть даже короткий, написанный на языке, от которого до нас не дошло ни одного письменного свидетельства, — причем текст, полученный не через мистическое откровение, а через строгое применение определенных правил, основанных на наблюдении языковых закономерностей. Текст, правильность которого может оценить любой желающий, знакомый с материалом, и, при необходимости — подправить (сейчас существует уже порядка пяти альтернативных версий, отражающих различные этапы состояния индоевропейских исследований).

Чуть позже, когда изначальная эйфория прошла и обнаружились многочисленные проблемы, мешающие однозначно реконструировать фонетику, морфологию, синтаксис, лексику «праязыка», к этому понятию стали относиться осторожнее.

Например, один из виднейших индоевропеистов начала XX века, Антуан Мейе¹, всячески призывал понимать «праязык» не как реальность, а как условность. То есть, если мы, например, восстанавливаем праиндоевропейское слово **māter* ‘мать’, это по существу есть не более чем сокращенная запись чего-то вроде: «такое слово из письменно незафиксированного языка, первый звук которого в индоиранских, славянских, германских, романских и т. д. языках отражается как *m*; второй звук которого в индоиранских, славянских и романских языках отражается как *ā*, а в германских — как *ō*; третий звук которого в индоиранских, славянских и романских языках отражается как *t*, а в германских — как *θ*...» и так далее.

Такая гипераккуратность имела и позитивные, и негативные последствия. Позитивные — в том плане, что это помогло преодолеть некоторую излишнюю эйфорию и твердо запомнить, что реконструкция возможна лишь там, где ее нам «милостиво» позволяет совокупность конкретных языковых данных. Нет или недостаточно данных — нет и реконструкции. Если данные позволяют сделать несколько взаимоисключающих выводов — значит, возможно несколько вариантов реконструкции, и ни один из них в ущерб остальным не может рассматриваться как непреложная истина или, того хуже, «догма».

Негативные последствия такого подхода оценить труднее, но они тоже не замедлили себя ждать. Во-первых, некоторые лингвисты восприняли слова Мейе чересчур буквально, то есть как утверждение о том, что «праязыки» как дискретные сущности вообще никогда не существовали. Что нельзя, например, понимать понятие «праиндоевропейский язык» как «язык, на котором столько-то тысячелетий назад в такой-то деревне или на такой-то стоянке говорило столько-то человек». На самом деле его надо понимать, например, как «группа разрозненных, но до опреде-

¹ С основными теоретическими взглядами А. Мейе можно ознакомиться, например, в его работе «Сравнительный метод в историческом языкознании» (1928; издание на русском языке — М.: УРСС, 2004).

ленной степени взаимопонятных диалектов, постоянно контактирующих друг с другом и то сближающихся, то отдаляющихся в зависимости от изменения социальных условий».

А есть какая-то принципиальная разница? Понятно, что в теоретическом плане это, действительно, разные феномены, но оказывает ли это принципиальное влияние на конкретную рабочую практику лингвиста-«реконструктора»?

Г. С.: Безусловно. Если мы отказываем праязыку в дискретности, это развязывает нам руки в очень многих областях реконструкции — позволяет, например, давать якобы конкретные «умные» ответы на разные сложные вопросы, которые на самом деле не несут никакого смысла.

Приведу простой пример. В некоторых ветвях индоевропейских языков в ряде окончаний существительных множественного числа встречается согласный *-m-* — например, в русском: дательный падеж — *людья-м*, творительный падеж — *людь-ми* и т. п. То же, например, в литовском: от слова *aki-s* ‘глаз’ дательный падеж множественного числа — *aki-ms* ‘глазам’, творительный — *aki-mis* ‘глазами’. С другой стороны, в санскрите на месте этого *-m-* неожиданно оказывается звонкий придыхательный *-bh-*: от слова *dama-s* ‘дом’ дательный падеж множественного числа будет *dame-bhyas*, что, в свою очередь, соответствует латинскому *-b-* в форме *domi-bus* (от *domu-s* ‘дом’).

Проблема в том, что регулярного соответствия типа «славянский + балтийский *m*: индийский *bh*: латинский *b*» не существует. То есть индийский и латинский звуки друг другу соответствуют хорошо, а вот балто-славянский *m* в эту картину никак не вписывается. Можно было бы думать, что это вообще совсем разные окончания, в историческом плане друг к другу никакого отношения не имеют. Но это очень маловероятно. Звуки очень похожи друг на друга (и *m*, и *b/h/* — по месту образования губные согласные), обнаруживаются не в одном, а сразу в нескольких падежных окончаниях и только в них, и никаких других этимологий для них предложить нельзя (то есть в санскрите, например, нет никаких следов такого рода окончаний со звуком *m*, а в балто-славянских языках, наоборот, нет никаких окончаний на звук *b*).

Подобного рода ситуацию (а возникают они нередко), если мы откажемся от идеи полной дискретности праязыка, можно «объяснить» таким образом: не было единого праиндоевропейского языка, был диалектный континуум, и где-то среди этого континуума был, условно говоря, «*m*-диалект», а где-то был «*bh*-диалект», и из первого со временем образовались балто-славянские языки, а из второго — индийские, и, может быть, из него же и латинский (хотя, скорее всего, латинский — из третьего диалекта и т. п.). Ведь «праязык» — это такая условность, ей удобно воспользоваться там, где она хорошо объясняет регулярные соответствия, а там, где возникают проблемы, выходящие за рамки простой системы соответствий, о ней можно и забыть.

На самом деле это «объяснение» — псевдообъяснение. Какой бы вид ни имел индоевропейский праязык (диалектный континуум, ограниченное «монолитное» языковое пространство или еще что-то), формы на *-m* и на *-bh* — не абстракции, а предельно конкретные образцы языковой реальности, и, следовательно, они либо родственны, то есть происходят из одного источника, либо нет. Большинство индоевропейцев согласны с тем, что они все-таки родственны. Значит, один из этих вариантов должен быть *первичным*, а другой *вторичным* (теоретически может быть еще третий вариант, что оба они развились из какого-то третьего прототипа), и настоящая задача компаративиста — не ссылаться на туманный «континуум», а постараться привести конкретные аргументы в пользу одного из двух.

И какие это могут быть аргументы, если соответствия нерегулярны?

Г. С.: В разных ситуациях — разные. Например, можно смотреть на дистрибуцию. В данном случае *b* (*h*) -варианты разбросаны по разным концам индоевропейского пространства — от Индии до Италии. *m*-варианты, напротив, ограничиваются более узкой областью — Северная и Восточная Европа (балто-славянские и германские языки). Значит, это уже увеличивает вероятность того, что *m*-вариант — более поздняя «мутация» *bh*-варианта. Далее, звук *-bh* в падежных окончаниях нетипичен: там гораздо чаще представлены сонорные согласные (*m*, *n*, *y*) и, следовательно, развитие *-bh* → *-m* «под влиянием» других грамматических

морфем было бы более естественным, чем обратное. Есть и некоторые косвенные аргументы чисто фонетического характера. Всей совокупности этой аргументации недостаточно для того, чтобы на условные «сто процентов» определить **bh* как первичный вариант, но разумный сценарий предложить вполне можно, а самое главное — сама *постановка* задачи, вместо *ухода* от нее, может навести на какие-то новые идеи, соображения, открытия.

Так что мы как раз выступаем за максимальную *конкретизацию* представления о праязыке, когда праязыковая реконструкция стремится к однозначности — подчеркиваю: *стремится*, потому что, разумеется, полная однозначность заведомо недостижима даже в относительно простых реконструкциях. Но самое главное — нужно понять, что только признание за «праязыком» статуса исторической объективной реальности может удовлетворительно объяснить процентов восемьдесят тех наблюдений, того богатого опыта, который был накоплен компаративистами за двести лет работы; а оставшиеся условные двадцать процентов «проблемных» случаев как минимум не противоречат концепции праязыка — либо они в нее укладываются за счет каких-то гипотетических допущений (вполне реалистичных), либо от них вообще можно отказаться (даже ситуацией с *t*-вариантами и *bh*-вариантами можно было бы «пожертвовать», признав эти окончания неродственными, если бы не было серьезных аргументов, которые позволяют здесь «обойти» проблему регулярности).

А нет ли здесь элемента самообмана, из разряда «если теория противоречит фактам, тем хуже для фактов»?

Г. С.: В том-то и дело, что нет на самом деле таких фактов, которым бы эта теория откровенно противоречила. Исторически зафиксированные примеры праязыков мы хорошо знаем — например, латинский язык, на котором в VIII веке до н. э. говорила крохотная горстка людей в Центральной Италии, а сегодня на его языках-потомках говорят миллионы людей по всему миру: это был вполне конкретный язык, который со временем разросся до «диалектного континуума», из которого потом выделялись отдельные романские языки — но изначально это был впол-

не себе дискретный «маленький» язык без диалектного членения. Всякого рода нерегулярности, странности, труднообъяснимые факты в современных романских языках вполне себе присутствуют — но объяснять их все же пытаются, и совершенно справедливо, разными процессами, имевшими место уже на «романском» этапе, а не тем, например, что кто-то из них отражает какую-то сверхдревнюю диалектную особенность.

Так что, обосновывая родство группы из нескольких языков, устанавливая между ними соответствия, восстанавливая праформы их лексических и грамматических морфем, мы действительно делаем серьезную заявку на объективную реконструкцию некогда существовавшего реального языка (точнее, морфемного инвентаря этого языка), на котором единообразно говорила сравнительно небольшая группа носителей; по мере того как она разрасталась и рассеивалась по окружающим регионам, возникало сначала диалектное, а затем и языковое разнообразие, но все оно в конечном счете сводится к языку-предку.

Итак, начиная с XIX века основным занятием сравнительно-исторического языкознания была реконструкция праязыков. Начали с праиндоевропейского, по понятным причинам: чтобы реконструировать праязык, нужно знать языки-потомки, а в XIX веке лучше всего ученые знали потомки праиндоевропейского — латынь, греческий и недавно добавившийся к ним санскрит. Затем сравнительно-исторический метод перекинулся на семитологию: сравнение еврейского, арабского и древних клинописных языков (в первую очередь аккадского, открытого в середине XIX века) привело к реконструкции прасемитского состояния. Далее пошли реконструкции для других языковых групп — в Евразии (уральской, тюркской, дравидийской, тибето-бирманской и т. д.), в Африке (банту), в Америке (там особенно популярным в начале XX века было сравнительное изучение крупной семьи алгонкинских языков в Северной Америке).

Примерно к середине XX века оказалось, что сравнительно-исторический метод «тенетами» своими так или иначе опутал очень большую часть планеты (хотя оставались при этом и очевидные зияния — например, почти вся Южная Америка или Папуасия), так что по крайней мере для хорошо известных и исследованных языковых семей их историю получилось рассмотреть на глубине от трех до семи-восьми тысяч лет.

А что вообще привлекало (и продолжает, по-видимому, привлекать) людей к такого рода лингвистической реконструкции? В чем условная «выгода» от этого процесса?

Г. С.: Думаю, что в первую очередь — то, что вместе с реконструкцией праязыка до некоторой степени реконструируются и «прареалии» народа, когда-то говорившего на этом языке. Упоминалось уже, что семантическая реконструкция — до сих пор одна из наиболее слабо разработанных областей компаративистики. И все же, пусть приблизительно, но значения слов восстанавливаются — а с ними восстанавливаются и конкретные образы. Сегодня мы *знаем* (подчеркиваю — *знаем* в том смысле, что вероятность того, что мы здесь ошибаемся, стремится к нулю), что у праиндоевропейцев были навыки и земледелия, и скотоводства, и металлургии. Мы даже в состоянии что-то сказать об их религиозных верованиях — например, то, что греческий бог Зевс, римский бог Юпитер (из **yeus-pater*, буквально ‘отец Йеус’) и ранневедийский бог Дьяус, который потом исчез из индийского пантеона, все отражают праиндоевропейскую основу **dyeu-*, которая одновременно означала ‘день, дневной свет’ и служила именем одному из верховных индоевропейских богов — возможно, главе всего пантеона.

Но самое главное — появилась просто реальная возможность ответить на вопрос *почему*: *почему* слова звучат так, как они звучат, *почему* вещи называются так, как они называются?

Но это ведь только до определенных пределов? Положим, мы знаем, что греческий Зевс — потому Зевс, что он происходит от индоевропейского *dyeu- ‘дневной свет’. Это же просто ставит новый вопрос — а откуда берется индоевропейское *dyeu- ‘дневной свет’?

Г. С.: Совершенно верно. Но, во-первых, уже сам факт того, что хоть как-то удастся приоткрыть завесу над «бессловесным» временем, может потрясти воображение. Представляете себе внезапно обнаруженную «аудиозапись» какого-нибудь из наших далеких предков, жившего семь-восемь тысяч лет тому назад? Конечно, реконструкции праязыка до аудиозаписи далеко. Более близкой аналогией, наверное, будет что-то вроде

«рукописи, найденной в бутылке» — письменный текст с наполовину размытым содержанием — но и это уже огромное достижение. Языки-потомки получаются как бы такими «шифрованными машинками», каждая из которых утрачивает одну часть информации, видоизменяет другую, и чем больше таких машинок удастся получить в свое распоряжение, тем точнее восстанавливается исходный текст.

Во-вторых — и вот тут уже следует сосредоточиться — никто ведь не сказал, что процесс реконструкции обязательно должен *заканчиваться* на уровне праиндоевропейского или прасемитского. Почему бы не попытаться двинуться еще дальше, к тем языкам-предкам, от которых произошли сами праиндоевропейский и прасемитский?

Так-таки никто и не сказал?

Г.С.: Нет, конечно, время от времени в лингвистической литературе встречается утверждение: «Нельзя реконструировать до бесконечности». Но никто и не призывает реконструировать до бесконечности. Во-первых, человеческий язык современного типа — явление вполне конечное, и есть все основания полагать, что вряд ли ему больше ста тысяч лет от рода (и это с очень большим запасом; скорее всего, реальное число еще меньше). Во-вторых, все современные языки планеты теоретически могут восходить к единому общему предку, которому сильно *меньше* ста тысяч лет. Впрочем, об этом мы поговорим подробнее несколько позже. Пока скажем лишь, что речь идет не о «реконструкции до бесконечности», а о теоретической *допустимости* самой идеи реконструкции «пра-праязыков» через сравнение реконструированных «праязыков»: можно это делать или нельзя?

Так вроде бы получалось, что можно — мы же говорили о «ступенчатости» реконструкции.

Г.С.: Конечно. В идеале у нас есть, скажем, живые германские, романские, славянские, индийские языки, которые мы сводим к прагерманскому, прароманскому, праславянскому, праиндийскому, а дальше, на втором этапе — эти «праязыки первого уровня» сравниваем между собой и восстанавливаем на их основе праиндоевропейский.

Самой индоевропеистике, однако, удалось избежать «ступенчатости» за счет наличия древних языков. Зачем специально реконструировать, например, «прароманский», если он нам известен (латынь), или «праиндийский», если он явно почти ничем не отличался от древнего ведического санскрита, или «праславянский», если есть старославянские тексты тысячелетней давности, и т. д.? (На самом деле «праславянская» реконструкция, конечно, существует, так как праславянский не тождествен старославянскому, но на ранних этапах развития индоевропеистики без этой реконструкции вполне можно было обойтись). Но вот уже, например, с уральскими или с какими-нибудь австронезийскими языками, где древних текстов нет, все будет сложнее; тут без «ступенчатого», постепенного продвижения вглубь не обойтись.

И тем не менее общей чертой всех этих семей является, я бы сказал, своеобразная *интуитивная очевидность* родства всех или большинства их членов. Грубо говоря, все индоевропейские языки даже без полной таблицы фонетических соответствий похожи друг на друга настолько, что предъявление такой таблицы уже, в общем-то, будет восприниматься лишь как формальное подтверждение того, что мы и так подозревали.

Неужели? А разве можно интуитивно догадаться о родстве русского с английским? И почему, если это так, о существовании индоевропейской семьи заговорили только в конце XVIII века?

Г. С.: Да, здесь нужно уточнить, что речь идет, конечно, не об интуиции среднестатистического языкового носителя — скорее об интуиции среднестатистического лингвиста-компаративиста, который уже имеет представление об общих принципах развития языков, о том, какие бывают фонетические и семантические изменения, о том, в каких слоях языка лучше сохраняются архаичные черты и так далее — все то, о чем мы уже говорили. Пока эта область знания никак не развивалась, говорить о том, какие языки «скорее всего родственны», а какие — «скорее всего неродственны», вообще не имело смысла. Но сегодня ситуация обстоит иначе. Дайте мне словарь любого неизвестного мне языка, и я за пять, максимум десять минут угадаю с почти стопроцентной вероятностью, индоевропейский он или нет — и то же самое проделает любой специалист по любой крупной семье Евразии (и даже не обязательно специалист).

Но индоевропейская семья, вообще-то, относительно *молодая*. Первый известный нам индоевропейский язык, хеттский — это II тысячелетие до н. э., а распад общеиндоевропейского предка большинство специалистов относит примерно к IV–V тысячелетиям до н. э.; об этом свидетельствуют и данные глоттохронологии, и реконструированные контакты праиндоевропейского языка с другими языковыми семьями, и соотнесение данных лингвистической реконструкции с археологическими данными. Получается, что на праиндоевропейском языке говорили всего шесть-семь тысяч лет назад — но что это в сравнении с вечностью? Точнее, с приблизительным возрастом человеческого языка как такового, которому может быть и 50, и 70, и 100 тысяч лет?

То есть реконструкция таких древних праязыков, как праиндоевропейский, прауральский, прасемитский и другие нас не сильно приближает к тому, чтобы раскрыть секрет происхождения языка как такового?

Г. С.: Формально — приближает, в таком же смысле, как полет на самолете приближает нас к Луне. Но пытаться разглядеть в реконструированных индоевропейских, уральских или семитских праформах что-то, условно говоря, «первочеловеческое» — занятие совершенно бесполезное. По всей видимости, это были просто обычные языки — каждый из них имел собственную специфику, как и любой из ныне живущих на планете языков, но ничего *принципиально* отличного от языков современных в них не было. Такие же звуки, такие же грамматические морфемы, корни, слова, предложения. И, самое главное, точно так же соблюдался принцип *произвольности* среднестатистического языкового знака. Почему на праиндоевропейском значение *вода* передавалось как **wedor*, а *огонь* — как **pehwor*? Очевидно, потому, что в таком виде эти слова «достались» праиндоевропейскому от его еще более древнего предка. Другой причины нет. Единственный способ докопаться до «первопричины» — и совершенно не факт, что это в конечном итоге удастся сделать — это пытаться идти дальше, глубже, попробовать добраться до этого еще более древнего предка.

Верно ли, что тут уже речь идет не просто о более древнем предке, а о предке настолько древнем, что «интуиция» уже оказывается бессильной? Как, скажем, в квантовой механике, где, для того чтобы постичь основы мироздания, необходимо бытовой «здоровый смысл» оставить за дверью и заменить его математической абстракцией?

Г. С.: Не совсем так, потому что ничего из того, о чем я буду дальше рассказывать, на самом деле не противоречит ни «здравому смыслу», ни тому позитивному опыту, который за последние двести-триста лет был накоплен в рамках сравнительно-исторического языкознания.

Но определенную разграничительную черту, конечно, в целях справедливости провести стоит. Почти все из изложенного в наших предыдущих разговорах — это, по существу, «азы» сравнительно-исторического языкознания. Общие принципы исторического изменения языков, регулярные фонетические соответствия, примат устного языка над письменным, языковая дивергенция, а не конвергенция, как основная причина образования новых языков — все эти и другие упоминавшиеся постулаты, регулярно подтверждающиеся на практике, вообще не могут служить предметом научной дискуссии. Согласие с этими теоретическими постулатами, опора на них в своей практической деятельности — это то, что отличает настоящего лингвиста-компаративиста от любителя, непрофессионала, сумасшедшего мистика и т. п. Если человек не принимает эту базу, говорить с ним ни мне, ни моим коллегам не о чем, потому что его интересует не серьезная научная работа, а удовлетворение собственных фантазий.

А вот *теперь* мы немного поговорим уже о той части методологии, которая носит действительно спорный характер. Тут начинаются серьезные разногласия между различными признанными специалистами в области сравнительно-исторического языкознания, и я постараюсь разные мнения озвучить максимально объективно, но заранее честно предупреждаю, что, как убежденный представитель так называемой Московской школы компаративистики, отстаивать буду в первую очередь именно ее позиции. Разумеется, не потому, что она «Московская» («научный патриотизм» здесь неуместен), а потому, что действительно считаю их более перспективными.

Итак, вернемся к вопросу: существует ли крайний предел для применения сравнительно-исторического метода? И если да, то какой? На какую глубину тысячелетий можно проникнуть с помощью реконструкции? «До упора», то есть до того момента, когда все языковое разнообразие сводится к единому предку (или предкам в случае полигенеза)? Или, наоборот, не дальше, чем до семи уровня индоевропейской? На шесть тысяч лет? Восемь? Десять? Или в разных местах планеты на разные глубины, в зависимости от обстоятельств? И можно ли вообще здесь прийти к какому-то согласию, построить какие-то модели, свободные от субъективности и «вкусовщины»?

Но ведь эта проблема, собственно говоря, не ограничивается лингвистикой: в любой науке о происхождении человека (да и о происхождении мира), чем глубже мы пытаемся проникнуть, тем меньше достоверных данных, доказательных аргументов, непроверяемых свидетельств — и тем больше эти лакуны заполняются недоказуемыми гипотезами, спекуляциями, фантазиями...

Г. С.: Конечно. Но, как и в любой другой исторической науке, здесь нужно уметь правильно разбираться в причинно-следственных связях, трезво оценивать конкурирующие гипотезы с вероятностных позиций и стремиться к тому, чтобы историческая реконструкция была реалистичной и внутренне непротиворечивой. Впрочем, главная проблема не в этом. Главная проблема — хватит ли нам элементарно *данных* для того, чтобы заполнить лакуны.

Что имеется в виду? Вне зависимости от того, происходят ли языковые изменения «взрывообразно», когда язык последовательно проходит через периоды то бурных трансформаций, то относительной стабильности, или же имеют постоянную и неизменную скорость, очевидно, что, чем больше проходит времени, тем меньше языки, развившиеся из одного предка, похожи друг на друга, тем больше происходит изменений в лексике, грамматике, фонетике, слова изменяют значение и т. д. В какой-то момент невооруженный глаз непрофессионала перестает улавливать системные сходства между языками, а еще через некоторое время это становится большим трудом уже и для профессионального лингвиста.

Элементарные примеры можно подбирать все из тех же индоевропейских языков. Скажем, есть древнеиндийский корень *pad-* ‘нога’ и латинский корень *ped-* с тем же значением. Совпадает все, кроме гласных. А вот их потомки две с половиной тысячи лет спустя: хинди *pair* (читается *пэр*) и французское *ped* (читается *пье*). Сходство осталось только между начальными согласными. Французский в этом отношении вообще лидирует — латинское слово *aqua* ‘вода’ по совершенно регулярным правилам превратилось в *eau* (читается просто *о*), и хотя не все слова и тем более не все языки столь жестоко «насилуют» свою звуковую систему, такая ситуация вполне нормальна. Если язык-потомок не стал неузнаваем за тысячу лет, то станет за две; не станет за две — точно станет за четыре; если каким-то чудом «продержится» четыре — станет за шесть. «Застывших» языков не бывает.

Конечно, даже для французского и хинди профессиональный лингвист, скорее всего, даже не имея информации про их предков, сможет найти зацепки. Ведь и внутри коротенького списка Сводеша что-то можно найти: например, ‘имя’ — по-хинди *nam*, по-французски *nom*; ‘умирать’ — по-хинди *mar-*, по-французски *mourir*. Правда, этих явных сходств будет так мало, что нам скажут: это все в пределах статистической погрешности, может быть, речь просто идет о случайных совпадениях. Тогда надо будет, отталкиваясь от этих зацепок, постараться найти дальнейшие параллели; в конечном итоге они, конечно, найдутся, но времени и сил потратить на доказательство родства французского и хинди придется намного больше, чем на доказательство родства санскрита и латыни. А если родство еще глубже?

Например, достаточна высока вероятность того, что общий предок русского и японского распался примерно 10–12 тысяч лет тому назад. Но к этой гипотезе принципиально невозможно прийти, сопоставляя сегодняшние русский и японский языки — скорее всего, девяносто процентов тех скудных сходств, которые мы между ними обнаружим, окажутся случайными, если не считать, конечно, очевидных недавних заимствований из одного языка в другой (обычно это обозначения всяких специфических местных реалий — ‘самурай’, ‘гейша’, ‘сакура’ и так далее). Кому придет в голову, что, например, русский глагол *слышать* может восходить к общему слову-предку с японским *кику*?

Кстати говоря, заимствования между дальнородственными языками — вообще очень серьезное препятствие на пути установления генетических связей, нередко ведущее исследователя по ложному следу. Было время, когда, например, дравидийские языки в Индии считали родственными санскриту и другим индоарийским языкам, такое огромное количество заимствований впитал в себя их лексический инвентарь. Потом присмотрелись и обнаружили: оказывается, большинство санскритских слов — религиозного, философского, административного происхождения. А поскольку большинство древних литературных памятников на дравидийских языках — это либо официально-административные надписи, либо религиозные тексты, то и неудивительно, что процентов 70 слов в них имеют санскритское происхождение.

Но дравиды и санскрит, японцы и китайский, персы и арабский, европейские языки и латынь — с этими ситуациями разобраться легко, потому что в них мы владеем реальной исторической информацией, которую не нужно реконструировать. А что делать с Африкой, Америкой, Австралией? Здесь также нередко один язык оказывался в доминирующей позиции и становился «донором» для окружающих его менее престижных языков, но это уже просто так не увидишь — приходится «вычислять» с помощью сложной дистрибутивной, статистической, этимологической обработки данных. А если это доминирование имело место пять, шесть, восемь тысяч лет тому назад? К сегодняшнему дню эти заимствования настолько уже должны были «вжиться» в общую структуру языка, что выявить их в бесписьменном, да еще зачастую и плохо описанном окружении — задача поистине титаническая.

Значит, пять-восемь тысяч лет как раз и могут оказаться тем пределом, одолеть который компаративистская методология уже не в состоянии?

Г. С.: Такое мнение есть, и сегодня оно вполне еще имеет право на законное существование, потому что накопленная нами база не настолько убедительна, чтобы полностью развеять сомнения. Вообще, наверное, в зависимости от того, как бы они ответили на вопрос о «пределе», всех сегодняшних специалистов можно разделить на несколько типов.

Иногда говорят о двух группах, используя для их обозначения английские термины «сплиттеры» (*splitters*, то есть «раскалывающие») и «ламперы» (*lumpers*, то есть «сваливающие в кучу»). Вообще это противопоставление характерно для самых разных наук, но в историческом языкознании «сплиттеры» — это те, кто «неохотно» объединяет языки в связанные общим происхождением семьи, требуя для этого наистрожайших, «водонепроницаемых» доказательств, а «ламперы» — те, кто в таких объединениях не видит ничего катастрофического. «Сплиттер» может, например, в языковом наследии коренного населения Америки видеть несколько десятков не связанных друг с другом языковых семей, а «лампер» на том же месте увидит одну колоссальную макросемью, все языки которой восходят к общему предку.

На самом деле такое разбиение является чересчур упрощенным, потому что и разделять, и объединять можно исходя из очень разных представлений и опираясь на совершенно различные методы и критерии. С этой точки зрения, например, и Джозеф Гринберг, и С. А. Старостин — оба классические «ламперы», но на самом деле у обоих подходы к этому вопросу были совершенно разными, и в некоторых деталях второй был явно ближе к «сплиттерам». Поэтому точнее, наверное, было бы говорить о разделении как минимум на три группы — назовем их, довольно условно, такими длинными словами: **гиперскептики, мультилатералисты и макрокомпаративисты.**

Кто все эти люди? «Гиперскептики» — это группа, которая претендует сегодня на «мейнстримовость», то есть лидирующие позиции, в сравнительно-историческом языкознании, хотя на самом деле убежденных гиперскептиков, хорошо владеющих материалом и умеющих обосновать свои позиции, в компаративистике не так уж и много. Гиперскептики убеждены, что хронологический предел работы компаративиста существует, и отстоит он от настоящего времени не так уж и далеко — скажем, на пять-шесть тысяч лет, может быть, где-то в исключительных случаях на семь-восемь, но сути это не меняет. Реальные задачи компаративиста в понимании гиперскептика — это тщательная «шлифовка» предыстории относительно молодых языковых семей, уровня индоевропейской или уральской: уточнение уже существующих реконструкций, решение спорных вопросов, разработка корреляций между лингвистиче-

ской реконструкцией и данными археологических и антропологических исследований и т. д.

Все попытки «копать глубже» в рамках этой философии по определению обречены на неудачу. То есть, как правило, даже закоренелые гиперскептики говорят, что у них нет принципиальных возражений против попыток обоснования глубокого хронологического родства, но при этом они выставляют к строгости этого обоснования такие требования, которые можно считать заведомо невыполнимыми (и думаю, что сами это хорошо понимают).

Например?

Г. С.: Например, гиперскептик обычно требует от макрокомпаративиста, чтобы родство на глубоком уровне было продемонстрировано так же наглядно, как это сделано для индоевропейской семьи — ведь вся теоретическая база компаративистики сформировалась на основе индоевропеистики. Но для этого нужны такие же условия. Предположим, мы хотим доказать родство нескольких реконструированных праязыков — скажем, праиндоевропейского, прауральского, пратюркского, прамонгольского — на еще более глубоком уровне. В этом случае праиндоевропейский для нас должен быть аналогом санскрита, прауральский — аналогом латыни, пратюркский — аналогом древнегреческого, прамонгольский — аналогом старославянского.

Но, во-первых, мы, конечно же, не обладаем относительно этих четырех реконструкций такой же полнотой и достоверностью сведений, как относительно древних индоевропейских языков. Значительные сегменты их структуры, грамматики, словарного состава все равно нам будут неизвестны, или же реконструкция этих сегментов может оказаться ненадежной (если, например, они сохранились только в одном-двух языках-потомках).

Во-вторых и в-главных, надо быть готовым еще и к тому, что *время*, отделяющее эти праязыки друг от друга, может быть больше, чем нам бы того хотелось. Скажем, праиндоевропейский от его зафиксированных языков-потомков отделяет, судя по глоттохронологии, отрезок в две-три тысячи лет. Если бы его отделял от первых известных нам потомков отрезок в пять-шесть тысяч лет — это ситуация, когда у нас нет санскрита,

латыни и старославянского, а есть хинди, русский и французский — гиперскептик, скорее всего, серьезно усомнился бы в реальности индоевропейского праязыка. А что, если праиндоевропейский и прауральский отделяет друг от друга именно такой отрезок? Значит ли это, что никакой надежды нет? Или, может быть, какой-то степенью строгости и точности реконструкции можно пожертвовать?

Гиперскептики утверждают, что нельзя — только строжайшее соблюдение принципа регулярности соответствий, который к тому же должен работать на большом объеме грамматического и лексического материала, может оправдать попытку выхода на «макроуровень». И сами же признают (иногда эксплицитно, иногда имплицитно) — надежд на то, что таким образом когда-нибудь будет доказан хоть один случай настоящего «глубокого» родства, практически нет, так что, в общем лучше даже и не пытаться.

А кто они, эти гиперскептики? Это российские лингвисты, американские, европейские? Преимущественно индоевропейисты или специалисты по другим семьям среди них тоже встречаются?

Г. С.: «Практикующих» гиперскептиков, то есть гиперскептиков-теоретиков, сознательно поднимающих эту проблему и пишущих о ней научные работы, вообще очень мало, потому что здесь нужна довольно мощная квалификация — надо разбираться в вопросе, активно штудировать исторические исследования по разным языковым семьям, ну, и, разумеется, иметь время, силы и желание на то, чтобы публично озвучивать свою позицию.

Наверное, ведущим гиперскептиком на сегодня можно считать американского компаративиста, крупного специалиста по ряду языковых семей Северной Америки Лайла Кэмпбелла: всем интересующимся очень рекомендую прочесть опубликованную им совместно с коллегой, также американистом, Уильямом Позером монографию о методологии генетической классификации языков¹ — на сегодня это, пожалуй, такой

¹ *Campbell Lyle, Poser William J. Language classification: history and method. Cambridge University Press, 2008.* Критическая рецензия Г. С. Старостина (на английском) опубликована в журнале «Вопросы языкового родства» (2009. Вып. 2. С. 158–174).

«канон» для гиперскептиков. Написано интересно, профессионально, со знанием дела и с чудовищной предвзятостью (я об этом писал довольно подробно в рецензии на труд).

Но в принципе, конечно, гиперскептический подход вполне типичен и для многих европейских специалистов, и даже для некоторых российских (особенно, наверное, это характерно для Санкт-Петербурга; в Москве для гиперскептиков условия сложились менее благоприятные ввиду общего авторитета В. А. Дыбо и С. А. Старостина). Вообще, быть гиперскептиком — чрезвычайно удобно: занятие такой позиции тебя самого ни к чему не обязывает (поскольку непосильное «бремя доказательства» ты априорно перекидываешь на плечи своих оппонентов) и одновременно создает вокруг тебя своеобразную ауру научной честности и принципиальности — действительно, мы же хотим, чтобы лингвистика, и историческое языкознание в том числе, приближалось к стандартам точных наук, зачем же заниматься заведомо недостоверными спекуляциями на такие темы, где точных результатов получить нельзя?

Описание получается довольно ироничным — то есть, на ваш взгляд, такая «гиперскептическая» позиция на самом деле предвзята? Вообще не имеет права на существование?

Г. С.: Предвзятость здесь часто присутствует, конечно, но гиперскептицизм играет и безусловно позитивную роль: активные «гиперскептики», выступая в качестве самых суровых судей макрокомпаративистов, так или иначе заставляют их максимально трезво и ответственно подступать к сложнейшим вопросам своей дисциплины — позволяют, так сказать, взглянуть на себя «со стороны» и понять, какие вообще могут быть претензии к их методике и конкретным рабочим результатам. А претензии часто бывают вполне справедливыми, но тут мы слегка забегаем вперед.

На другом полюсе оси располагаются те, кто говорит: да, сравнительно-исторический метод действительно не работает должным образом на таких глубинах, и вряд ли у нас получится когда-нибудь качественно реконструировать праязыки даже 10–12-тысячелетней давности, не говоря о еще более древних состояниях, но должны же быть какие-то альтернативные методы, чтобы хотя бы в общих чертах набросать об-

щую классификационную картину языков мира, так, чтобы их можно было разбросать по небольшому числу гигантских «макросемей», а в перспективе — свести к одной (если верен моногенез) или к очень малому числу (если верен полигенез), так, как это делается в биологии.

Наиболее известная попытка проникнуть в глубь времен без прямой опоры на сравнительно-исторический метод связана в первую очередь с такой знаменитой и противоречивой фигурой, как американский лингвист Джозеф Гарольд Гринберг (1915–2001). Большинству сегодняшних лингвистов он известен в первую очередь как типолог — по сути, его можно считать отцом-основателем лингвистической типологии как отдельной субдисциплины. Он обладал совершенно титанической работоспособностью, о которой большинству из нас остается только мечтать, — за свою долгую жизнь успел не просто ознакомиться, но и тщательно изучить и проанализировать языковые структуры почти всех известных языковых семей Африки, Америки, Евразии и Индо-Тихоокеанского региона, то есть о том, что в языках бывает разное и что — общее, знал лучше любого своего современника. Это ему позволило, в частности, разработать исчисление языковых «универсалий» — свойств, присущих всем без исключения известным языкам мира. Некоторые из гринберговских «универсалий» со временем удалось опровергнуть, но в массе своей они до сих пор актуальны.

Гораздо меньше ему повезло с признанием своих заслуг в области исторического языкознания. Гринберг по своей природе был в первую очередь «классификатором», а не «реконструктором»: сам он реконструкцией праязыков никогда не занимался и, в общем, склонен был считать, что про исторические связи современных языков все, что вообще можно узнать, можно узнать и не прибегая к реконструкции. Поэтому вместо сравнительно-исторического метода он использовал процедуру, которую сам называл «*mass comparison*» — «массовое сравнение» (позже, наверное, посчитав этот термин недостаточно солидным, он стал вместо него употреблять термин «*multilateral comparison*» — «многостороннее сравнение»)¹.

¹ К сожалению, исторически ориентированные (в отличие от типологических) работы Гринберга почти не переводились на русский язык. В оригинале его важнейшие методологические (и не только) статьи собраны в издании: *Greenberg Joseph. Genetic Linguistics: Essays on Theory and Method. Oxford University Press, 2005.*

Суть «массового сравнения» в следующем. Действительно, чем больше времени проходит, тем меньше остается в родственных языках общего, так что в какой-то момент случайные сходства уже невозможно отличить от неслучайных. Но ведь при этом *разные* языки теряют *разные* характеристики праязыка. Не может быть такого, чтобы, например, праязык распался на сто родственных языков, и при этом *все* эти сто родственных языков за одно и то же время потеряли *ровно одни и те же* самые звуки, слова, грамматические элементы. (Разумеется, при условии, что носители этих языков разошлись по разным территориям и их языки действительно изменяются независимо друг от друга — как обычно и происходит.)

Получается своеобразный «пазл»: каждый язык сохраняет в себе какие-то частички от праязыка, и чем больше родственных языков мы сопоставляем, тем больше этих частичек нам удастся обнаружить. Предположим, между языками А и В мы нашли сотню похожих слов — число явно недостаточное, чтобы на этом основании делать серьезные выводы. Но дальше окажется, что между языками А и С мы тоже нашли сто похожих слов, причем пятьдесят из них — общие для всех трех. Подключив же язык D, мы между ним и А, В, С нашли всего десять общих слов. Значит, А, В и С, скорее всего, имеют общего предка и относятся к одной семье, а D — к другой.

А чем эта методика принципиально отличается от лексикостатистики? Там же применялся практически тот же самый прием?

Г. С.: Отличий очень много. Начнем хотя бы с того, что «классическая» лексикостатистика работает для языков, между которыми уже установлены регулярные соответствия, в то время как «массовое сравнение» регулярностью соответствий пренебрегает. К тому же лексикостатистика — это скорее заключительный этап сравнения, чем начальный.

Есть, конечно, то, что мы называем «предварительной» лексикостатистикой — сравнение стословных списков «на глазок», без соответствий. Это уже больше похоже на «массовое сравнение». Но и здесь подход Гринберга гораздо менее строг. Во-первых, к «массовому сравнению» разрешается привлекать абсолютно любые слова, совершенно не обязательно только узкий, заранее фиксированный список (на то оно и «мас-

совое»). Во-вторых, допускаются семантические сдвиги — скажем, слово 'рука' в одном языке может сравниваться со словом 'палец' в другом, со словом 'локоть' в третьем, со словом 'плечо' в четвертом, со словом 'давать' в пятом и т. п. (этот пример, кстати, взят из совершенно конкретного сопоставления Гринберга по языкам Америки). Чисто формально Гринберг в своем праве — действительно, все эти слова имеют общую смысловую часть, и каждая конкретная пара таких значений может отражать реальный семантический переход.

Но ведь получается, что мы, по сути, вернулись к тому же, откуда начали — к бессистемному сравнению, в ходе которого случайных сходств можно нарыть сколько угодно между любыми языками.

Г. С.: Безусловно — если говорить о *парных* сопоставлениях, то это ровно тот самый пример «русско-гуде» псевдородства, с которого мы и начинали наши беседы. И это как раз Гринберг понимал. Его идея заключалась в том, что нельзя (если только речь не идет о ситуациях совсем близкого родства) оперировать *парами* — необходимо оперировать сразу массивными кластерами языков. Если сходство наблюдается между двумя языками — вероятность случайности очень велика. Если между тремя — она уже серьезно снижается. Если задействовано *десять* языков — случайность, по утверждению Гринберга, оценивается уже с ничтожной вероятностью.

В соответствии с теорией Гринберга, сопоставляя, скажем, английский язык и хинди, мы не сможем прийти к однозначному выводу о том, что они родственны. Английское слово *tooth* 'зуб' чем-то напоминает хинди *dāt*? Мало ли что чего напоминает — английское слово *much* 'много', например, не просто напоминает, но почти совпадает с испанским *mucho* 'много'. Сам по себе этот пример не доказателен. Но если мы добавим сюда же формы, с одной стороны, в других германских языках (голландское *tand*, шведское *tand*, норвежское *tann*, немецкое *Zahn*), с другой — в других индоарийских (панджаби *dand*, пахари *dant*, сингальское *data* и др.), это делает сопоставление гораздо более надежным.

Здесь же, кстати, открывается и еще одно важное преимущество «массового» сравнения: раскрытие исходной формы слова и тех возможных

звуковых изменений, которое оно претерпело, за счет обнаружения его сразу в нескольких языках в разных «переходных» стадиях. Если напрямую сопоставлять английское *tooth* и немецкое *Zahn* (читается *цаан*), сходства как такового мало — если не знать регулярных соответствий между этими языками, не всякому профессионалу придет в голову, что они происходят из одного источника. Но если сюда же добавить формы из других германских языков — *tand*, *tann* и др. — выстраивается красивая «цепочка переходов»: *Zahn* — *tann* — *tand* — *tooth*, каждый из членов которой фонетически ближе к своим левому и правому соседям, чем сами эти соседи друг к другу. Опять же: если бы все эти германские языки не были родственны, какова была бы вероятность выстраивания такой цепочки?

То есть пользоваться самой идеей звуковых переходов можно, но про регулярные соответствия при этом говорить нельзя?

Г. С.: Не то чтобы «нельзя», но, согласно гринберговской концепции оценки данных «на глазок», совершенно не обязательно для того, чтобы устанавливать родство между языками и классифицировать их. Как типолог, он признавал значимость учета того, какие звуковые изменения *бывают*. Например, звук *t* в языках мира часто переходит в *ц* или *ч*, значит, слова на *t*- и на *ц*- сопоставлять «на глазок» можно; а вот звуковых переходов между *t* и *n* практически не бывает, значит, фонетические структуры вида *ta* и *na* сопоставлять нельзя.

При этом, конечно, любой строгий компаративист скажет: из того, что *t* в языках мира «часто» переходит в *ц*, никоим образом не следует, что в любом языке мира, в любом слове этого языка *t* может перейти в *ц*. Утверждая что-то в этом роде, мы скатываемся, по сути, на антинаучные позиции. Для любых звуковых изменений существуют определенные условия, и Гринберг отлично это понимал. Для него важность имело не то или иное конкретное сопоставление, а исключительно статистика — «массовость». Грубо говоря, «массовое» сравнение гласит, что рано или поздно количество всегда переходит в качество: что, например, большая языковая семья, представленная корпусом в тысячу «массовых» сопоставлений, — таксономическая и историческая реальность уже просто потому, что из этой тысячи сопоставлений не могут быть неверными *все*.

Чтобы не быть совсем голословными, посмотрим на конкретный пример «массового сравнения» — на такое сопоставление из сравнительного словаря Гринберга по языкам индейцев Америки («американдским»)¹:

- макро-же: СОЛНЦЕ — бороро *ari* ‘луна’; каинган: каме *eri*, апукарана *ãri* ‘солнце’;
- макро-паноа: СОЛНЦЕ — гуайкуру: тоба *ala*, комплек *olo* ‘зенит’, гуачи *oalete* ‘луна’, тоба *lon* ‘зажигать’, мокови *alon* ‘гореть’; ленгва: маской *aleu* ‘жечь, светить’, *p-eltin* ‘луна’; луле *ale* ‘гореть’, *alit* ‘солнце’; матако: чороти *wela*, энимага *wal* ‘солнце’; вилела *olo* ‘солнце’;
- макро-кариб: ОГОНЬ — кариб: трио *ole-ole* ‘пламя’, кричана *iri (-ipo)* ‘очаг’, суринам *t-u.ri* ‘факел’; уитото *ole* ‘огонь’; ягуа: ямео *ole* ‘огонь’;
- экваториальные: СОЛНЦЕ — майпуран: кайери *eri* ‘солнце’, пиапоко *eeri, eri* ‘солнце’, аполиста *uri* ‘звезда’, отомако *ura* ‘луна’;
- макро-тукано: СОЛНЦЕ — капиксана *varuvaru*; катукина: катукина *walja* ‘луна’, парава *wadia* ‘луна’; иранше *ire?* ‘солнце’; мобима *il-* ‘сушить на солнце’; пуинаве: тикиэ *uero*, йехубде *werho* ‘луна’, керари *uidn* ‘луна’;
- чибча-паэзан: ДЕНЬ — чоко: катио *una* ‘светить’; чиму: этэн *inen* ‘свет’; хирахара: айоман *iñ* ‘солнце’; паэс *en* ‘день’;
- хока: СОЛНЦЕ — чимарико *alla, ala* ‘солнце’; комекрудо *al* ‘солнце’; каранкава *auil* ‘луна’; восточный помо: *la:* ‘солнце, луна’; северный / центральный помо: *da* ‘солнце’; салинан *na?* ‘солнце’; юман: юма *ña*, типай *ña:*, килива *inja:* ‘солнце’ и др.

Это — вполне типичный для Гринберга и очень наглядный образец массового сравнения. Мы действительно видим здесь примеры из очень большого количества языков (причем список, как подчеркивает автор, не является исчерпывающим) — в основном по Южной Америке, но здесь же и большая семья хока из Северной Америки, то есть сравнение открыто претендует на статус «глобально-американдского».

¹ *Greenberg Joseph. Language in the Americas. Stanford University Press, 1987.*

Что касается значений сравниваемых слов, то семантика здесь везде так или иначе связана с «жаром» — ключевыми значениями оказываются 'огонь' и 'солнце', но так или иначе в сравнении задействованы и такие значения, как 'гореть', 'жечь', 'зажигать', 'светить', 'луна', 'звезда', 'день', даже 'сушить'; тем не менее каждая отдельно взятая семантическая связь такого рода до некоторой степени оправдана, потому что такие семантические переходы действительно бывают. Например, значения 'солнце' и 'день' во многих языках мира выражаются одним и тем же корнем или словом (как в китайском), равно как и пара 'огонь': 'гореть'. Один и тот же корень для 'солнца' и 'луны' — специфика скорее американского континента, но воспроизводится с завидной регулярностью (то есть 'солнце' = 'светило (дневное)', 'луна' = 'светило (ночное)'), и т. д.

По *форме* же получается, что сравниваются слова вида VRV / VLV, где V — практически любой гласный, причем он может «усекаться» и в начале слова (как в помо *la:*), так и в конце (как в мобима *il-*), а в середине стоит плавный сонорный *r* или *l*, реже *n*. Опять-таки: все такого рода фонетические изменения (выпадение гласного в начале или конце слова, переход *r* в *l* или наоборот, даже развитие *l* в *n* и т. п.) в языках мира хорошо известны, и чисто *умозрительно* все перечисленные формы действительно могут быть связаны. Но при этом ничего ровным счетом неизвестно насчет того, насколько эти развития естественны и регулярны именно в *этих* языках, а не «вообще».

Можно ли сказать, что этот пример доказателен и что все эти формы действительно свидетельствуют в пользу общего предка для по крайней мере шести крупных семей Америки? Сам по себе, в одиночку, он, конечно, ничего не значит — мы могли бы с таким же успехом добавить сюда материал из любой другой семьи. Например, из индоевропейской: хеттское *ar-ma* 'луна'; древнеанглийское *āl* 'пламя', шведское *ala* 'пылать'; армянское *arev* 'солнце'; авестийское *ayarə* 'день' и т. д. К счастью, история индоевропейских языков изучена гораздо лучше, чем история языков Америки, и про все эти сваленные в одну кучу слова можно уверенно сказать, что они на самом деле восходят к совершенно разным корням и сами по себе не доказывают даже факт родства самих индоевропейских языков друг с другом, не говоря уже о возможном «свойстве» их с языками Америки.

Однако дело в том, что в сравнительном корпусе Гринберга таких примеров не один или два, а две-три сотни (а в «америндском словаре» главного ученика Гринберга, М. Рулена, их набирается уже порядка тысячи). И здесь уже остро встает вопрос: может ли такое число сходжений быть случайным? Не преодолели ли мы, набрав колоссальный сравнительный материал, тот порог, за которым количество переходит в качество?

Для этого, очевидно, требуются сложные статистические алгоритмы? Кто-нибудь этим вообще занимается?

Г. С.: Занимаются, и очень активно — и в основном как раз для того, чтобы показать несостоятельность методологии Гринберга. Есть целая серия работ американских лингвистов, например, у индоевропеиста Дона Ринджа (Don Ringe), «заклятого» оппонента гринбергианства, в которых формально показано, какие колоссальные объемы случайных совпадений возможны, если мы сопоставляем слова в разных языках «без строгих правил», то есть не ограничивая себя ни фонетическими законами, ни семантическими универсалиями¹. К сожалению, все они представляют собой несколько упрощенные модели: по-настоящему полноценный алгоритм оценки построить очень трудно, хотя бы потому, что в нем должны учитываться не только общие правила, работающие на всех языках и языковых семьях, но и индивидуальные особенности языков (например, конкретные звуковые системы, где все звуки ранжированы по частотности; типовые переходы значений в разных лингвогеографических ареалах и т. д.).

Поэтому очень трудно методику Гринберга подвести под критерий «фальсифицируемости», которым должна обладать научная теория: нет надежного способа объективно показать «истинность» или «ложность» его америндского сравнения — по крайней мере до тех пор, пока мы не пройдемся по всем его этимологиям, вооружившись классическим сравнительно-историческим методом, и не оценим каждую из них на истинность. Но это уже требует колоссальных затрат сил и времени, а «массовое сравнение» как раз и было нацелено на то, чтобы подменить срав-

¹ См., например, монографию: Ringe Donald A. On Calculating the Factor of Chance in Language Comparison. Philadelphia, 1992.

нительно-исторический метод в тех ситуациях, где не хватает рабочих рук — например, в америндской. Вот и получается тупик, выход из которого пока не найден.

А много ли языковых семей сегодня расклассифицировано по методу Гринберга, и как к этим классификациям относится лингвистическая общественность?

Г.С.: Гринберг прожил долгую и очень насыщенную жизнь, и в той или иной степени свой «метод» сравнения успел применить едва ли не ко всем языковым семьям мира — в его записных книжках (многие из которых, кстати, так и остались неопубликованными) буквально тысячи и тысячи сопоставительных таблиц с лексическими и грамматическими данными. При этом основной интерес он всегда питал к языкам бесписьменным, «мелким», тем самым, на которых в абсолютном отношении говорит подавляющее меньшинство людей планеты, но которые в совокупности для реконструкции языковой предыстории человечества значат намного больше, чем, скажем, бесконечная шлифовка индоевропейской реконструкции.

Первым крупным опытом Гринберга была классификация языков Африки: все огромное разнообразие этого континента, почти две тысячи языков, он «на глазок» разбросал по всего четырем огромным макросемьям (каким конкретно — об этом мы будем говорить предметно, когда дойдем до описания ситуации на африканском континенте). Конечно, классификация Гринберга, как и положено, шла «снизу вверх»: сначала он группировал языки по мелким группам, группы объединял в семьи разных уровней, и лишь на финальном этапе переходил к макрообъединениям. Эта работа заняла почти двадцать лет, но к началу 1960-х годов была в основном закончена. Коллеги-рецензенты ворчали, и часто справедливо, но признавали, тем не менее, колоссальность масштаба, относительную разумность выводов и, главное, отсутствие альтернативы — *какую-то* классификацию всей этой африканской глыбы надо было иметь, хотя бы для чисто технического удобства, и с гринберговским делением до поры до времени смирились.

Настоящий скандал разразился примерно двадцать лет спустя — когда Гринберг опубликовал очередную монографию, на сей раз посвящен-

ную классификации языков Америки, где с помощью того же самого метода массового сравнения как бы «одним росчерком пера» свел все необъятное многообразие наречий этого континента к одной-единственной гигантской макросемье — «американской» (за исключением разве что особого статуса семьи на-дене, а также эскимосско-алеутских языков). Книга эта вышла в 1987 году и вызвала чудовищный шквал критики со стороны коллег-американистов, особенно со стороны уже упоминавшегося Лайла Кэмпбелла, который чуть ли не напрямую заявил, что она вообще ставит под угрозу дальнейшее существование американистики как научной дисциплины и что долг каждого порядочного человека в этой ситуации — «перекричать» (*shout down*) Гринберга.

А почему именно американские, а не африканские штудии вызвали такой гнев? Это определялось конъюнктурными соображениями?

Г. С.: В определенном смысле да. Во-первых, книга вышла через двадцать лет после выхода итоговой монографии по Африке, а за это время успела смениться лингвистическая парадигма: на передовые позиции в лингвистике окончательно вышла американская школа, у которой приоритеты были изначально расставлены несколько иначе. Грубо говоря, языками Африки в основном занимались европейские (немецкие, французские, английские) компаративисты, которых вопросы генетических связей этих языков занимали очень сильно; языками индейцев Америки занимались, как нетрудно догадаться, в основном американские лингвисты, которые изначально тяготели скорее к антропологии, чем к истории, и которых структурные различия в языках их континента занимали больше, чем сходства. Отсюда — очень жесткие требования, которые американистика уже в середине XX века выставляла к гипотезам языкового родства, и в этом контексте «массовое сравнение» Гринберга для них оказалось как минимум ересью, если не сказать больше — кощунством.

Может быть, если бы Гринберг забросил свои классификационные исследования после Африки, жизнь сложилась бы иначе. Но после фактического разгрома, который он потерпел со стороны американистов-«консерваторов», все дальнейшие его изыскания в этой области воспринимались уже только скептически. Сам он не унывал совершенно —

остаток своей жизни он посвятил классификации языков колоссального Индо-Тихоокеанского региона (Папуасии и Австралии), а уже совсем под закат опубликовал большой двухтомник по классификации языков Евразии. И все это принималось в штыки, потому что «метод Гринберга» уже превратился в своего рода пугало, которое вошло во все учебники по компаративистике исключительно под знаком минус.

Конечно, все прошлые заслуги Гринберга, в первую очередь в области лингвистической типологии, были столь велики, что выжить его из академических кругов было невозможно — он до конца жизни проработал в своем родном Стэнфордском университете в Калифорнии, более или менее свободно печатался, участвовал в жизни научной общности, пользовался относительным уважением коллег, имел учеников. Но после его смерти в 2001 году «школа Гринберга» вынуждена была фактически прекратить свое существование.

А куда же подевались все ученики? Пришлось переквалифицироваться в управдомы?

Г. С.: В каком-то смысле. Я знаю как минимум одного, который до сих пор живет, но не очень здравствует — это Мерритт Рулен, который уже после смерти Гринберга продолжил заниматься «массовым сравнением» языков Америки, но, в общем, никаких качественных сдвигов не добился. У него есть ряд очень неплохих популярных монографий для специалистов, где доступно описываются азы макрокомпаративистики и приводится детальный обзор по языковым семьям¹, но при этом все эти монографии, конечно, пропитаны духом «гринбергианства», и компаративисты-«консерваторы» их давно заклеили точно так же, как и работы самого Гринберга. Еще один бывший гринбергианец — Тимоти Ашер, очень своеобразный лингвист-самоучка, долгое время был членом нашего проекта «Эволюция языка» и в конце концов «перевоспитался»: сегодня он занимается последовательной классификацией языков и мелких языковых групп Папуасии уже скорее на основе классической сравнительно-исторической методологии, чем «массового сравнения».

¹ См., например: *Ruhlen Merritt. A Guide to the World's Languages. Stanford University Press, 1991.*

Но при этом и Рулен, и Ашер, и все остальные немногочисленные гринбергианцы, как нынешние, так и бывшие, продолжают работать как бы вне лингвистического «мейнстрима».

Так все-таки, «массовое сравнение», на Ваш взгляд — это скорее «хорошо» или «плохо»? Как, например, к нему относятся в рамках Московской школы?

Г. С.: Однозначного ответа нет и быть не может. Сам Гринберг, вне всякого сомнения, как я уже говорил, — великий ученый, и даже самые смелые его опыты в рамках «массового сравнения», на мой взгляд, заслуживают того, чтобы их как минимум внимательно изучать. Конечно, «массовое сравнение» базируется в первую очередь на интуиции, на своего рода «языковом чутье», которое у человека развивается пропорционально числу человеко-часов, затраченных на изучение и анализ языкового материала, — а Гринберг, наверное, этих человеко-часов за свою жизнь потратил больше, чем любой другой лингвист. Причем (это надо добавить обязательно, чтобы не обольщались сумасшедшие) речь идет не о каком-то «гениальном прозрении», «умении увидеть то, чего не видят другие» и т. д., а именно о такой интуиции, которая основана на (а) хорошем образовании и (б) колоссальном личном опыте. Гринберг не отрицал и не перечеркивал достижения сравнительно-исторического языкознания, не оспаривал основные постулаты младограмматиков, не имел ни малейшего желания противопоставить себя и свой метод всему предшествующему развитию науки — наоборот, всячески подчеркивал, что «массовое сравнение» абсолютно совместимо с традиционной компаративистикой.

С другой стороны, интуиция — это, конечно, замечательно, но далеко не каждый лингвист обладает работоспособностью и эрудицией, сопоставимыми с гринберговскими, и интуиция Гринберга оказывается бесполезной там, где полученные с ее помощью результаты нужно как-то оценить, верифицировать другому специалисту. Там, где есть строгий, формальный метод, к этой верификации может подключиться кто угодно (или *что* угодно — например, компьютерный алгоритм); там, где вместо метода — «прикидка на глазок», результаты могут быть самыми плачевными. Ни один «гринбергианец», например, не в состоянии объяснить, *почему* ему кажутся убедительными

тельными те или иные корпусы гринберговских сравнений — чаще всего в ответ получаешь что-то вроде того, что «чем больше корпус, тем очевиднее корректность результатов», то есть какая-то полная ерунда на самом деле.

И тем не менее работы Гринберга и гринбергянцев действительно не лишены интереса. Их основная ценность на самом деле заключается в том, что они предоставляют нам определенную рабочую схему, такую «грязную модель», которая тем не менее не является целиком высосанной из пальца, а основана на в целом разумных доводах. (Если очень грубо, то я бы попробовал сформулировать так — отличие Гринберга от «любителей» и «сумасшедших» в том, что Гринберг, будучи неспособен убедить нас в том, что все было именно так, как он излагает, показывает, как *могло бы быть*; непрофессионал же, как правило, утверждает то, чего *быть в принципе не могло*.)

«Пикантность» ситуации в том, что, несмотря на ожесточенные баталии, которые в последние десятилетия разворачивались вокруг гринбергянства, не всегда отчетливо понятно, о чем, собственно говоря, идет спор. Скажем, тот же Гринберг никогда не утверждал, что все полученные им результаты абсолютно доказательны и неопровержимы. Он считал, что метод его «легитимен» для построения генетических классификаций и что на самом деле массовое сравнение — это такой отдельный этап, который должен предшествовать реконструкции, но при этом совершенно ее не отменяет. Мы, в какой-то степени, с этим согласны — действительно, вот есть полученная «на глазок» предварительная классификация, ее можно взять за исходник, а дальше смотреть, насколько она изменится, когда за работу возьмется настоящий компаративист, вооруженный младограмматическим аппаратом.

Тут, конечно, уже есть некоторые расхождения: Гринберг довольно скептически относился к способности праязыковой реконструкции повлиять на генетическую классификацию, установленную через «массовое сравнение»; здесь он занимал жесткую позицию — если факт и степень языкового родства нельзя показать через сопоставление живых языков, то и через реконструкцию его тоже не покажешь. При этом аргументация его такая: ведь реконструкция, как ни крути, все равно основывается на формах живых языков и, значит, по определению не может содержать ничего *принципиально* отличного от этих форм.

Но ведь реконструкция — это же не просто проекция того, что есть сейчас, на то, что было раньше? Разве, реконструируя, мы не восстанавливаем более древний звуковой облик слова?

Г. С.: Имеется в виду следующее. Допустим, английское слово *eye* [ai] 'глаз' на праиндоевропейском уровне восстанавливается как **okʷ-*. Но при этом мы ведь не можем проделать весь путь от *eye* до **okʷ-*, если у нас нет ничего, кроме английского! Для этого нам надо воспользоваться сравнительными данными — у нас есть древнеанглийское *ēage*, немецкое *Auge*, готское *augō*, русское *око*, латинское *oculus* и т. д. и т. п. Большинство *этих* форм — а они все тоже так или иначе либо существуют в современных языках, либо исторически зафиксированы в древних — уже гораздо больше похожи на индоевропейское **okʷ-*, чем английское *eye*. Спрашивается, действительно ли нам нужна реконструкция, для того чтобы говорить о том, что они все родственны? Не проще ли просто перечислить их все через запятую, а про английское *eye* вести отдельный разговор (чтобы показать, как оно может относиться сюда же)?

То есть идея сводится к тому, что, как бы реконструкция наша ни была непохожа на формы в языках-потомках, обязательно должна найтись хотя бы *одна* форма хотя бы в одном языке-потомке, которая будет похожа на своего далекого предка, — и задача классификатора в том, чтобы выявить максимально архаичные языки и использовать их как главную опору. Не получится, уверяет Гринберг, легко и просто найти следы индоевропейского родства между французским, ирландским и, скажем, хинди. Но если мы построим огромную таблицу, куда, с одной стороны, включим по одной-две тысячи языковых морфем этих языков, а с другой — еще столько же от их более «консервативных» родственников, ситуация сразу прояснится.

К сожалению, здесь очень сложно показать, в каких случаях такая методика «сработает», а в каких — нет. Пока мы на более или менее твердой почве (например, в рамках индоевропейской семьи), рассуждения Гринберга кажутся разумными и доказательными. Как только мы выходим за эти рамки — сталкиваемся с языками без известной истории, с так или иначе разрушенными звуковыми системами, с неразведанными возможностями контактно-ареального развития, с родством, которое,

может быть, уходит не на три-четыре, а на десять-двенадцать тысяч лет в глубь веков — вот тут начинаются совершенно непреодолимые в рамках «массового сравнения» проблемы.

Значит, на работы Гринберга по классификации языков Африки, Америки, даже Евразии опираться все-таки нельзя? А те сравнения, которые опубликованы в его монографиях — считаются ненаучными?

Г. С.: Вот это как раз, на мой взгляд, не совсем правильный подход. «Опираться» на них нельзя в том смысле, что результаты Гринберга нельзя принимать за *научные данные*, отталкиваясь от которых, можно было бы строить дальнейшие гипотезы о человеческой предыстории. Этим, к сожалению, грешит немалое число представителей смежных дисциплин — прежде всего генетики и археологи, у которых есть собственные методы реконструкции этой предыстории и которым не терпится сопоставить собственные результаты с тем, что накоплено у лингвистов. А когда речь идет, например, о датах в десять-двенадцать тысяч лет, то у кого из лингвистов вообще есть идеи насчет языкового родства на таком глубоком уровне? Правильно — у Гринберга, к нему и идут за результатами. Вот этого делать, наверное, нельзя, или по крайней мере нужно очень твердо отдавать себе отчет в том, что это за результаты, по какой методе они получены, и насколько они сугубо предварительны.

С другой стороны, нельзя сказать, что у Гринберга совсем нет метода. Он есть — просто он даже в его собственных работах не очень хорошо эксплицирован, очень многое остается за рамками теоретического изложения. Например, Гринберга очень любят критиковать за «семантическую вседозволенность» (это как в том америндском примере про ‘солнце’, который я приводил выше, когда для сравнения привлекается не только ‘солнце’, но и ‘луна’, ‘звезды’, ‘день’, ‘гореть’, ‘сушить’ и т. д.): якобы каждое следующее значение, «допущенное» к сравнению, только повышает шанс проникновения в корпус случайных созвучий. При этом замалчивается то, что Гринберг очень хорошо представлял себе, какие значения в языках мира тесно связаны с какими другими, и на самом деле никакой «вседозволенности» не было, а для каждого значения у него в голове был довольно четко очерчен круг смежных значений, слова с ко-

торыми могли допускаться к сравнению. Но — именно что *в голове*: никаких официальных списков «того, что можно, а что нельзя», он не публиковал, и тем самым оказывался уязвимым для критики, формально — вполне обоснованной, хотя и не вполне справедливой.

Поэтому классификации Гринберга можно рассматривать всерьез — как сырые рабочие модели, которые, для того, чтобы они превратились в нечто более значимое, необходимо тщательно выверить более строгими методами. Если такое выверение состоится и результаты полностью совпадут с результатами Гринберга — что ж, значит «массовое сравнение», даже несмотря на столь сильную зависимость от интуиции, может дать позитивные результаты. Если не совпадут — значит, надо смотреть, на сколько, где есть сходства, где расхождения, в чем возможная причина ошибок и т. п.

О каких «более строгих» методах идет речь? Это все тот же классический сравнительно-исторический метод? Лексикостатистика? Или еще что-то, специально придуманное для работы на «больших глубинах»?

Г.С.: Тут мы как раз подходим вплотную к изложению *третьего* возможного подхода к сравнению языков на глубоких уровнях — подхода, который разделяют лингвисты, для которых одинаково неприемлем и тупиковый гиперскептицизм таких специалистов, как Кэмпбелл, и чересчур размытый, неформализуемый и в целом «нефальсифицируемый», то есть не строго научный, метод «массового сравнения» по Гринбергу. Именно для этого подхода, пожалуй, я бы зарезервировал использование длинного термина *макрокомпаративистика* — чтобы он обозначал не любые попытки так или иначе спекулировать на тему того, какие языковые семьи были на планете десять или пятьдесят тысяч лет тому назад, а только такие попытки, которые проводятся на базе классического сравнительного метода.

Чтобы закончить уже с Гринбергом и перейти к тому, чем занимаемся мы, скажу последнее: главной целью Гринберга в его исторических штудиях всегда была именно *классификация* — вопрос о том, как правильно разложить языки «по полочкам» и, главное, «по шкафам». *Реконструкция* праязыков для этих «полочек» и «шкафов» его практически не интересовала, разве что в той степени, в которой что-то где-то могло оказать-

ся важным для классификации. Но для настоящего историка языка такая реконструкция всегда важнее «голой» классификации. Конечно, знание того факта, что, например, русский, финский и японский относятся к одной макросемье, а чеченский, китайский и кетский — к другой, дает нам некоторый ключ к решению дальнейших исторических задач: например, к прочерчиванию возможных сценариев расселения народов на территории Евразии в доисторические времена. Но не более того. Реконструкция же общих праязыков на этих уровнях дает выход на принципиально иной уровень — позволяет проследить пути развития звучания и значения конкретных слов, восстановить, вместе со словами, культурные реалии жизни этих древних народов, наконец, что-то вообще лучше понять об общих тенденциях и закономерностях того, как изменяются (а, значит, и как вообще устроены) языки.

Иными словами, классификация языков по семьям не должна рассматриваться как *самоцель*. Гринберг же, как кажется, в пылу работы об этом нередко забывал: иногда создается впечатление, что определенные языки-изоляты или небольшие языковые группы он «запихивал» в состав крупных семей просто из абстрактной любви к порядку, «чтобы не валялось», иногда на основании жалкой горстки созвучий, совершенно не отличимых от случайных совпадений. Так, конечно, не годится: генетическая классификация языков создается не просто для абстрактного «удобства», чтобы у каждого объекта было свое определенное место в системе (по-английски это называется *referential model* — «справочная модель»), а для того, чтобы служить наглядной иллюстрацией исторического процесса. Классификация лишь задает динамику изменения, реконструкция же, собственно, говорит о том, *что* конкретно изменилось, *как* и — не всегда, но в идеале — *почему*.

То есть имеется в виду, что даже если удастся классифицировать все языки мира, не прибегая к праязыковой реконструкции, сама по себе эта классификация все равно мало что будет значить?

Г. С.: Не то что «мало», а просто трудно себе представить хорошую классификацию без реконструкции, равно как и хорошую реконструкцию без классификации. Скажем, в биологии традиционная (линнеев-

ская) классификационная модель оказалась чрезвычайно удобной, но она была чисто типологической, ориентированной на внешние признаки. Когда в биологии появился исторический аспект — сначала теория эволюции, потом генетика, потом молекулярная биология и т. д. — возникла потребность заменить или хотя бы уточнить линнеевскую классификацию так, чтобы организмы на генеалогическом древе располагались по критерию «ближайшего общего предка». Нужно ли для того, чтобы сводить виды вместе на «древо жизни» все дальше и дальше, обязательно «реконструировать» этих ближайших общих предков? В определенном смысле — да, то есть речь идет, конечно, не о гипотетической картинке (как мог выглядеть общий предок кошки и собаки), а о сведении геномов современных видов к некоторым промежуточным общим инвариантам — для этого нужно сопоставлять участки геномов, находить различия, определять, где сохраняется старая структура, а где, напротив, имела место мутация и т. д.

Аналогично и с языком: если мы хотим, чтобы за классификацией стояло реальное историческое содержание, нужна реконструкция — процедура, «фильтрующая» те многочисленные изменения, которые в языках накапливаются тысячелетиями, и позволяющая объективно обосновать, каким из современных форм «посчастливилось» сохранить наиболее древний вид и наиболее древнее значение, а если никаким — постараться с помощью сравнительного метода восстановить значение и звучание.

Кстати говоря, на этот момент мы, кажется, недостаточно обратили внимание в прошлых беседах. Действительно ли можно реконструировать — вывести из небытия — что-то (звук или значение), не сохранившееся ни в одном реально засвидетельствованном языке? Понятно — когда этот звук или значение сохранились хотя бы в одном языке...

Г. С.: Да, конечно. Например, можно обнаружить, что в одном языке звук *x* регулярно соответствует в другом языке звуку *ч*. Наиболее естественный сценарий здесь — предположить, что не один из них развился из другого, а что оба они развились из третьего, а именно, глухого взрыв-

ного *к*. Потому что, с одной стороны, ослабление *к* → *х*, с другой — смягчение *к* → *ч* — совершенно типичные и неоднократно засвидетельствованные в разных языках мира фонетические развития. Любой другой сценарий здесь будет намного менее вероятен¹.

Аналогично со значением. Предположим, у вас в одном языке слово имеет значение ‘начало’, а в другом ‘волосы’, и по своей звуковой структуре они регулярно соответствуют друг другу. Это с близкой к ста процентам вероятностью означает, что в праязыке это слово имело значение ‘голова’, опять-таки потому, что развитие от ‘головой’ к ‘началу’ (‘верхушка’, ‘кончик’ и т. п.) абсолютно естественно, равно как и развитие от ‘головой’ к ‘волосам’ (например, русское *помыть голову* — это же на самом деле *помыть волосы*).

Конечно, все это решения по сути своей *вероятностные*. Абсолютной уверенности в «достоверности» реконструкции быть не может по определению — ведь речь идет не о математической дедукции.

Но ведь здесь, наверное, ситуация не столь уж отличная от физики, где никто в конечном счете не может пощупать или увидеть элементарную частицу? Ведь физики спокойно оперируют умозрительными моделями; можно даже сказать, что и электронный микроскоп нам дает не саму молекулу, а образ молекулы, исходя из заложенной в нем идеи что-то и как-то вам показать. Тем не менее все это укладывается в стройные теории, а потом от этих теорий уже происходит переход к конкретным, вполне практическим результатам.

Г. С.: Конечно, в естественных науках, особенно в физике, ученые уже давно оперируют сущностями чисто умозрительными — но есть и серьезные различия. В физике настоящим уважением все-таки пользуется теория, которую можно подтвердить экспериментально. Кварк, например, нельзя увидеть ни в какой микроскоп, но можно поставить сложный эксперимент и предсказать его исход, используя идею кварка. Если предсказание сбудется — значит, идея верна. Не сбудется — значит, идея

¹ С богатым материалом по сравнительной типологии фонетических изменений, который можно использовать для верификации такого рода «смелых» реконструкций, можно ознакомиться, например, в классической монографии: *Серебрянников Б. А.* Вероятностные обоснования в компаративистике. М.: Наука, 1974.

была неверной (или условия проведения опыта были заданы неверно, но это отдельный разговор).

В историческом языкознании, как уже говорилось, «поставить опыт» — задача нереальная, в каком-то смысле сопоставимая с задачей получить в лабораторных условиях из обезьяны человека. А там, где невозможна экспериментальная проверка, трудно добиться такого уровня достоверности теории, когда бы вокруг нее сформировался полный консенсус. Грубо говоря, если один компаративист говорит другому «коллега, у вас очень интересные результаты, но я позволю себе с вами не согласиться», с этим ничего не поделаешь — как бы тщательно вы не выстраивали свою доказательную базу, компаративистика не обладает достаточной степенью предсказательной силы.

Есть, конечно, регулярные фонетические соответствия, когда, зная звуковые законы, мы можем по внешнему виду слова в языке А предположить достоверную гипотезу о том, какой вид это же слово будет иметь в языке Б. Но ведь и регулярные соответствия могут нарушаться в определенных условиях — помните, «у каждого слова своя история». Математической строгости здесь нет и быть не может: на любую сетку закономерностей, которую мы устанавливаем, сколь бы сложной, последовательной, четкой, красивой она ни была, будет неизбежно накладываться сетка случайностей. Был бы возможен жесткий «историко-лингвистический детерминизм» — все бы уже давным-давно было реконструировано, вплоть до праязыка человечества.

Тем не менее для тех, кто по той или иной причине «боится» лингвистической реконструкции, или для тех, кто считает, что даже самая лучшая из возможных реконструкций не сравнится по степени достоверности с реальными данными (а есть, действительно, такие лингвисты, которые сурово заявляют, «я с реконструкциями не работаю, я им не доверяю, верить могу только достоверно зафиксированным формам в живых или мертвых письменных языках!»), — попробую это суеверие перебить вот каким аргументом.

Представим такую ситуацию. Есть три родственных языка, записанных с разной степенью точности. Предположим, один записывал какой-нибудь миссионер в середине XIX века, без специального лингвистического образования, незнакомый ни с чем, кроме классической

латыни и греческого. Другой был записан профессиональным лингвистом начала XX века, но с плохим слухом — согласные худо-бедно записал правильно, а гласные все уже попутал, да еще и в значениях записываемых слов понаделал ошибок. И только третий язык был записан уже в конце XX века хорошо подготовленной командой специалистов, с профессиональной аппаратурой, современным уровнем подготовки и т. п. Но вот беда — по сравнению с теми двумя, уже вымершими, этот, третий, оказался инновативным: заимствовал половину лексики у соседей, утратил много важных фонологических противопоставлений, в общем, для лингвиста-историка гораздо менее интересен, чем те два, вымершие.

Так вот: если все эти языки действительно родственны, и если материалов, пусть и очень низкого качества, по первым двум осталось много, то реконструкция общего для них праязыка сама по себе будет *надежнее, достовернее*, чем эти материалы. Ошибки, допущенные одним из исследователей, будут незаметны сами по себе, но будут бросаться в глаза при сопоставлении с данными родственных языков. Каждая из форм сама по себе может быть сомнительной, но, «поддерживая» друг друга, они образуют сеть, где достоверность каждого элемента повышается за счет его соседей. А общий инвариант этой сети — это и есть реконструкция, и «бояться» ее не нужно — разумеется, при условии, что она построена по всем надлежащим правилам.

Впрочем, мы успели несколько отклониться от главной темы. К чему я, собственно говоря, клоню? К тому, что и лично я, и, по большому счету, вся Московская школа компаративистики, все мои коллеги придерживаются *третьего* подхода к проблеме изучения «дальнего» языкового родства — а именно что серьезное изучение такого рода *возможно* (в этом мы расходимся с «гиперскептиками»), но возможно только в рамках классической парадигмы сравнительно-исторического языкознания, а не «массового сравнения» по Гринбергу. Иными словами, залезать в глубокие хронологические дебри хотелось бы не «абы как», а по строгим, понятным правилам — анализируя системные закономерности в сходствах между реконструированными праязыками, а не захватывая хаотические «охапки» похожих форм в их потомках, игнорируя качество в интересах количества.

То есть речь идет все о том же «ступенчатом» сравнении, о котором мы уже говорили — от реконструкции «мелких» праязыков к более крупным? Не встанет ли тут вопрос о том, можно ли реконструировать до бесконечности — ведь на каждом новом витке реконструкция будет становиться все менее и менее надежной...

Г. С.: С чисто теоретической точки зрения нет никаких препятствий для реконструкции «до бесконечности». Если языки изменяются по строгим правилам, для профессионального компаративиста не составит особого труда установить правила, по которым, скажем, для тысячи мелких языков будет реконструировано сто праязыков «низкого уровня», для этих ста праязыков — десять пра-пра-языков «глубокого уровня», и для этой десятки — единый праязык «сверхглубокого уровня» (разумеется, при условии, что все эти языки действительно связаны друг с другом именно в рамках такой модели родства).

Проблема, конечно, в «факторе случайности». Нерегулярные звуковые развития, вторичные изменения форм по аналогии с другими формами, непредсказуемое исчезновение слов из языка из-за того, что они были вытеснены заимствованиями, и т. д. — все это так или иначе затрагивает любой язык, изменяющийся с течением времени, и, действительно, рано или поздно результаты «случайных» изменений, перекрывая результаты «системных» изменений, серьезно осложняют жизнь «реконструктора».

Еще одна проблема — хронологическая. Ступенчатая реконструкция относительно легко осуществима там, где «ступеньки» имеют примерно одинаковую длину. Скажем, современные славянские языки от праславянского отделяет примерно две — две с половиной тысячи лет. Праславянский от праиндоевропейского — от трех до четырех тысяч лет. За такой временной отрезок язык изменяется до «бытовой неузнаваемости», но при наличии сравнительного материала (славянские языки сравниваются друг с другом, праславянский — с другими членами индоевропейской семьи), как правило, удается убедительно восстановить очень большой пласт фонетической, грамматической и лексической информации.

А вот с языками так называемой алтайской семьи (или «макросемьи») ситуация складывается иначе. Тут от пратюркского (которому около двух тысяч лет, примерно как и праславянскому) и прамонгольского

(которому не более тысячи лет) требуется перейти к праалтайскому — их ближайшему общему предку — перешагнув через «ступеньку» длиной почти в шесть тысяч лет. Казалось бы, что четыре, что шесть тысяч лет — какая разница? Но в масштабах «лингвистической эпохи» человечества на самом деле может быть очень большая.

Чем дольше временной отрезок, тем больше вероятность того, что в какой-то точке язык пройдет через массивную перестройку, например, из-за масштабных контактов с каким-то соседним племенем — скажем, аналогичную той, которой подвергся английский язык под влиянием французского, или японский под влиянием китайского. Если же таких перестроек будет две или три, то возможность «отфильтровать» наносы шести-, семи-, восьмитысячелетней давности будет стремительно таять.

Наконец, еще одна проблема — в количестве материала. Гринберг, с его «массовым сравнением», построил свою методику так, что на первый взгляд кажется — чем глубже мы уходим в прошлое, тем *лучше*. Например, славянских языков у нас всего примерно полтора десятка. Индоевропейских языков — уже на порядок больше, несколько сотен. В «евразийскую» макросемью, которая, по мнению Гринберга, объединяла индоевропейские, уральские, алтайские и другие семьи Евразии, входят около тысячи. Отсюда логически следует, что «евразийское языковое наследие» должно быть примерно равномерно разбросано по всем этим языкам, то есть для поиска старых лексических корней и грамматических морфем «праевразийского» языка мы можем свободно пользоваться сотнями языков. Если же мы идем по тернистому пути реконструкции, то получается, что мы реконструируем праиндоевропейский, прауральский, праалтайский, еще один-два праязыка и... все. Для выхода на более глубокий уровень сравнения мы сравниваем уже даже не десять-пятнадцать языков, как в случае со славянскими — мы сравниваем три, четыре, пять праязыков, это наш численный предел, а, как известно, точность реконструкции напрямую зависит от числа языков, которые мы берем для сравнения.

Есть подозрение, что здесь кроется какая-то схоластика. Ведь исходные данные у нас одинаковы — современные языки, что у Гринберга, что у, так сказать, компаративистов традиционной закалки. В чем реально разница?

Г. С.: В том, что реконструкция *фильтрует* данные, в отличие от «массового сравнения». Возьмем, например, русское или даже общеславянское слово *кость*. Оно фонетически похоже на слово *xōtsol* ‘кость’ в языке курух, на котором говорят в Северной Индии. Славянские языки — индоевропейские, курух — дравидийский; значит, в рамках «массового сравнения» мы это сопоставление можем на законных основаниях положить в корзинку, где у нас лежат все прочие дравидийско-индоевропейские сравнения — которые мы набираем для того, чтобы подтвердить гипотезу о том, что индоевропейские и дравидийские языки (наряду с другими языковыми семьями) действительно входят в одну большую, «сверхглубокую» макросемью.

«Человек реконструирующий» подойдет к вопросу принципиально иначе. Он скажет: прежде чем «вытягивать» славянское слово на столь глубокий уровень, не логично ли было бы сначала посмотреть, каковы его шансы на то, чтобы быть реконструированным на праиндоевропейском уровне? И, аналогичным образом, уверенно ли слово в языке курух выводится на общедравидийский уровень? И в такой же ли фонетической форме, и в том же ли самом значении? Для того примера, который я выбрал, ответ будет такой: славянское слово на общеиндоевропейский уровень выводится, потому что у него есть прямая параллель в латыни (*costa* ‘ребро’), но вряд ли это было в этом праязыке основным словом в значении ‘кость’. Дравидийское же слово за пределами маленькой подгруппы северодравидийских языков больше нигде не встречается, и вероятность того, что оно было унаследовано языком курух от прадравидийского состояния, совсем невелика.

А если не от прадравидийского, то откуда? Много ли вообще в языках бывает таких слов, которые берутся «ниоткуда»?

Г. С.: Много. Как бы хорошо ни была изучена та или иная языковая семья, почти в любом языке, и уж тем более — языковой группе, всегда будет обнаруживаться некоторый процент слов совершенно неизвестного происхождения. Поскольку новые слова, а, точнее, новые морфемы не образуются «из воздуха» (слова, конечно, могут в языке образовываться одно от другого, а *корни* слов — практически нет), единственный

источник этих морфем — заимствования из других языков, на которых говорили соседние народы. Эти языки сами по себе вымерли, их носители перешли на другие наречия, но оставили по себе след в виде заимствованных слов — так называемый *субстратный* слой. Например, в славянских языках есть финно-угорский субстратный слой, в романских языках — кельтский субстратный слой, а если покопаться глубже, то во всех языках Западной Европы есть слова, совсем не имеющие индоевропейской этимологии, — это слова, заимствованные из древних языков Европы, на которых говорили люди до вторжения на их территорию кельтских, германских, италийских племен. И это явление универсальное — язык никогда не развивается в вакууме.

Соответственно, если реконструкция не проводится последовательно, дотошно, шаг за шагом, мы регулярно рискуем принять за следы генетического родства следы заимствований или просто случайные совпадения. Для того чтобы избежать попадания в эту ловушку, нужна сложная, но при этом понятная и объективная система фильтрации: для реконструкции на глубоких уровнях пригодна лишь та языковая информация, которую нельзя объяснить как «наносную», появившуюся в языке в результате горизонтальной трансмиссии — заимствований. И даже не просто «нельзя объяснить», а которую «нельзя серьезно заподозрить». «Объяснить», откуда в языке курух берется слово *xōtsol* ‘кость’, мы не можем, но серьезно усомниться в том, что оно восходит к общедравидийскому состоянию, — почти что обязаны.

Короче говоря, реконструкция праязыков глубинного уровня и составление генетической классификации для так называемых макросемей не должны проводиться вслепую: настоящий исторический лингвист должен нести ответственность за каждую предлагаемую этимологию, уметь не просто ткнуть пальцем в одно и в другое слово и сказать «вот это и это, наверное, родственные формы», а прочертить конкретный маршрут между этими формами — реконструировать «исходник», установив регулярные фонетические соответствия, описать пути изменения значений и т. д., в общем, проделать большую и сложную работу, чтобы распахнуть как можно больше секций в том «черном ящике», который отделяет одну форму от родственной ей другой.

Можно какой-нибудь наглядный пример для ясности?

Г. С.: Да, давайте посмотрим вот на такую «глубокую» этимологию: как обосновать — подчеркиваю, *обосновать*, а не *доказать*, о строгом, неоспоримом доказательстве математического толка здесь речи быть не может — родственную связь между, например, русским словом ‘солнце’ и корейским словом *хэ* с тем же значением. Сразу оговорюсь, что дело здесь не только и не столько в том, что специально выбраны два слова, столь «непохожие» друг на друга — опытный лингвист в два счета покажет, как одна форма могла теоретически развиться из другой, не нарушив никаких универсальных тенденций развития, — а дело в том, чтобы подтвердить именно такой сценарий развития.

С «русской стороны» сравнения наш анализ должен сводиться к тому, чтобы показать, какой в слове ‘солнце’ *исторический* корень и какой примерно вид он имел в праиндоевропейском языке. Чтобы отбросить суффикс *-це*, далеко ходить не надо: он здесь такой же, как в слове *окон-це*, *болот-це*, и даже *серд-це* (без суффикса этот корень сохраняется в *сердобольном*, *милосерд-ии* и т. д.), собственно, и для ‘солнца’ есть архаичное однокоренное слово *посолонь* (= ‘по ходу солнца’). А вот что дальше?

Дальше, во-первых, оказывается, что в праславянской основе **sьlnь* ‘солнце’ конечный элемент **-нь* — еще один суффикс: это видно по внешнему сравнению с ближайшими родственными формами в балтийских языках (литовское *saule*, латышское *saule*), и дальнейшие формы, легко возводимые к общеиндоевропейскому прототипу **saw (e) l-*, обнаруживаются в германских языках (древнескандинавское *sól*, откуда *sol* в современных датском, норвежском и т. д.), в греческом (*hēlios*, закономерно развившееся из **sawelios* — в древнегреческом регулярно выпадает *w*, а *s-* переходит в *h-* в начале слова) и даже в санскрите (*suvar* ‘солнце’, с опять-таки вполне закономерным переходом старого *l* в *r*).

Дальше еще интереснее: оказывается, что и корень **saw (e) l-* разложим на составные элементы, потому что в целом ряде индоевропейских ветвей он на самом деле выступает в двух вариантах — один заканчивается на *-l-*, как в перечисленных формах, а другой — на *-n-*: к варианту **s (a) we-n-* восходят такие формы, как готское *sunþō*, древнеанглийское *sunna* и, разумеется, современные английское *sun* и немецкое *Sonne*;

в языке Авесты представлены оба варианта — *xvar-* (из **swel-*) и *xvəng* (из **swen-s*). Сопоставление с другими похожими случаями показывает, что это легче всего объяснить как развитие из двух вариантов основы, к которым присоединялись разные падежные окончания. В конечном итоге получается, что в наиболее «чистом» виде старый корень допустимо и даже «рекомендовано» восстанавливать как **sāw-* или, может быть, **seHw-*, где *H* — особый «ларингальный» согласный, отвечающий за тембр и долготу гласного в языках-потомках (это уже очень сложный сюжет, на него здесь места совсем не хватит).

Теперь посмотрим, что с корейским. Корейский, особенно современный — язык с очень «инновативной» фонетикой: с этим скорее согласны даже те, кто до сих пор не признает алтайскую теорию, согласно которой его ближайшие родственники — это японский, тунгусо-маньчжурские, монгольские и тюркские языки, сравнение с которыми идею «разрушенности» корейской фонетики в целом хорошо подтверждает. Корейское *хэ* (*hə*) ‘солнце’ в рамках этой гипотезы сопоставляется с базисным словом ‘солнце’ в языках тунгусо-маньчжурской ветви, где оно восстанавливается как **sigū-n* (*siyūn* в эвенкийском, *siun* в нанайском, *sūn* в удэгейском, *šun* в маньчжурском и т. д.). В корейском — опять-таки по правилам *регулярных* соответствий — начальный *s-* «ослабел» до состояния *h-* (как в *хуэ* ‘язык’ = японское *sita*, *hok-* ‘мало’ = японское *suku-* и т. д.), а срединный *-g-* выпал (как в *ра* ‘место’ = тунгусо-маньчжурское **buga*, *əi-* ‘окружать’ = тунгусо-маньчжурское **ege-* и т. д.). Не вполне ясными остаются соответствия гласных (с этим в алтаистике и в макрокомпаративистике вообще довольно большие проблемы), но и здесь существуют вполне достоверные сценарии развития (просто их очень долго излагать).

В конечном итоге на праалтайском уровне здесь, на основании согласуемых «показаний» корейского и тунгусо-маньчжурских языков, восстанавливается основа **sogu* или **syogu* ‘солнце’. И уже на этом этапе она сопоставляется с праиндоевропейским **sāw-* / **seHw-*. Тут, уже в рамках «ностратической», или «евразийской» гипотезы, о которой у нас подробно пойдет речь в следующей беседе, устанавливается регулярное соответствие между праалтайским срединным **-g-* и индоевропейским **-H/w/-* — на сильно ограниченном корпусе примеров, но тем не менее включающем очень сильные и убедительные случаи (например, праал-

тайское **phyag-* ‘жар, огонь’ = праиндоевропейское **peHw-* ‘огонь’, или праалтайское **sēg-* ‘кровь’ = праиндоевропейское **esH-r / *esH-n* ‘кровь’ и т. д., причем это все корни, хорошо представленные и убедительно реконструированные и в индоевропейских, и в алтайских языках).

И вот только проделав всю эту работу и восстановив, хотя бы примерно, общеностратическую основу **sUg-*, можно говорить о том, что русское *солнце* и корейское *хэ*, действительно, *очень вероятно* связаны генетическим родством — через сложную цепочку развитий:

- для русского: от ностратического **sUg-* к раннеиндоевропейскому **seHw-* → позднеиндоевропейскому **sāw-el-* → праславянскому **sъ-l-nь* → русскому **солонь, солн-це*;
- для корейского: от ностратического **sUg-* к алтайскому **s (y) ogi* → → среднекорейское *hǎi* → современное корейское *hǎ*.

Могло ли у нас получиться что-то подобное, если бы мы ограничились «массовым сравнением»? С одной стороны, конечно, в рамках «массового сравнения» мы бы вообще не сформулировали, даже в самом общем виде, гипотезы о том, что русское *солнце* и корейское *хэ* как-то связаны друг с другом. С другой стороны — что довольно забавно — мы вполне могли бы набрести на разительное сходство между, например, английским *sun* и удэгейским *sūn*, которые, по чистой случайности, тоже входят в эту же этимологию, и предположить, что, быть может, они отражают общий корень. Причем мы бы, наверное, даже не потрудились подумать о том, что *-n* и там, и там — это суффиксы, к тому же *разного* происхождения, прилепившиеся к корню совершенно по разным причинам в тунгусо-маньчжурских и в германских языках. Чисто *случайно* мы наткнулись бы на нескольких из многочисленных потомков этой основы, лишь в силу того, что линии их развития оказались в чем-то сходными. Но привести аргументы в пользу того, что сходство это не случайное, а исторически обусловленное — этого мы бы сделать никак не смогли.

Здесь же, «прочертив маршрут» развития, мы совершенно конкретно показали, *как*, в рамках какого реалистичного исторического сценария, растянувшегося с обеих сторон примерно на десять тысяч лет, все эти формы могли быть родственны друг другу. И это — на самом деле чрезвычайно сильный аргумент, хотя, повторяю еще раз, строгим доказатель-

ством этот сценарий не является. Сам по себе — но чем *больше* такого рода случаев, чем больше примеров регулярных закономерностей, чем стройнее они вписываются в общую систему, тем убедительнее и достовернее оказывается вся «макрогипотеза». В какой-то момент аргументация достигает критической массы, и вероятность обратного — то есть того, что во всех-всех-всех описываемых случаях мы на самом деле имеем дело с результатами случайных совпадений, — становится пренебрежимой.

Да, но ведь параллельно с нарастанием критической массы аргументации нарастают и погрешности. Ведь если любая реконструкция — это гипотеза, то, значит, реконструкция на базе других реконструкций — это гипотеза в квадрате, и так далее. Не существует ли чисто математического обоснования того, что реконструировать на таких больших временных глубинах — занятие бессмысленное, потому что с какого-то момента начинаются такие погрешности, при которых утверждать вообще уже ничего нельзя?

Г. С.: Не существует, но дело даже не в этом. Дело в том, что процесс реконструкции устроен несколько более сложно, чем «восстанавливаем 70% праязыка А, восстанавливаем 70% праязыка Б, потом сравниваем их друг с другом и восстанавливаем 50% праязыка АБ», и так далее, пока уже вообще не останется материала для сравнения. Дело в том, что мы регулярно сталкиваемся и с обратной ситуацией — когда реконструкция праязыка АБ позволяет уточнить и дополнить реконструкцию праязыков А и Б. То есть мы не всегда *теряем* информацию при переходе на более глубокий уровень — иногда мы ее *получаем*.

Это явление, вообще говоря, было хорошо известно уже классикам индоевропеистики XIX века. Например, так называемый закон Вернера, который в 1875 году открыл датский лингвист Карл Вернер: ему удалось объяснить некоторые доселе неизвестные «странности» развития согласных в германских языках с помощью внешних данных — таких языков, как санскрит и древнегреческий. Оказалось, что все дело в ударении. В германских языках оно обычно предсказуемое (то есть существуют точные правила, на какой слог в каких случаях падает ударение), а в греческом и в санскрите — нет. Но Вернеру удалось соотнести два разных

пути развития корневых согласных в прагерманском с двумя разными местами ударения в санскрите и греческом, и тем самым, в частности, доказать, что в прагерманском ударение было точно таким же разноместным, как в санскрите и греческом.

Детально пересказывать суть открытия здесь, наверное, не обязательно, но из него следует важная импликация: оказывается, некоторые элементы праязыка, обычно от нас скрытые, могут раскрыться при выходе на внешний уровень сравнения. Получается, что реконструкция может, так сказать, идти кругами, или, точнее, зигзагами. Мы реконструируем прагерманский — сравниваем результаты реконструкции с санскритом и греческим — реконструируем праиндоевропейский — затем, уже отталкиваясь от реконструированного праиндоевропейского, возвращаемся обратно, чтобы на этой основе уточнить реконструкцию прагерманского.

А вот другой пример, для разнообразия, из совсем другой области — африканской. В восточнонилотскую семью, на языках которой говорят в Южном Судане и в Кении, входит группа языков тесо-туркана, группа языков онгамо-маа (сюда входят хорошо известные туристам и поклонникам канала *Discovery* скотоводы масаи) и группа языков бари. В тесо-туркана общий инвариант для слова 'кровь' будет **-kot-*, в онгамо-маа — тоже **-kot-*, а в бари — **rim-*. При этом достоверно известно, что группа бари от общего праязыка отделилась первой. Вопрос: какой из этих двух корней значил 'кровь' в праязыке?

Вряд ли при таких данных на этот вопрос вообще можно ответить.

Г. С.: Именно, потому что здесь бинарное противопоставление: в одной большой ветви А, в другой — Б. Вероятность и того и другого решения примерно одинакова, значит, надежно реконструировать на правосточнонилотском уровне здесь ничего нельзя.

Теперь посмотрим, что с ближайшими родственниками восточных нилотов — западными нилотами (это племена динка, нуэр, шиллук и многие другие жители Южного и Центрального Судана). У них старое слово 'кровь' оказалось более стабильным: практически во всех языках до сих пор сохраняются рефлексы старой основы, которая уверенно реконструируется в виде

**rem*. Соотнесим эту реконструкцию с восточноилотскими данными — разумеется, западноилотское **rem* хорошо соответствует прабари **rim-*. Таким образом, внешняя параллель помогла нам определиться с ситуацией внутренней: в языках бари сохранилась старая правосточноилотская основа, а в тесо-туркана и в онгамо-маа ее вытеснила более новая.

Такого типа ситуации в реконструкциях разного уровня встречаются на каждом шагу, и по мере того, как мы уходим вглубь, что-то неизбежно теряется, но что-то, наоборот, прибавляется. Это как бы такое своеобразное решение огромной системы уравнений с массой неизвестных — полнотью решить ее невозможно в принципе, но при этом новые уравнения не только добавляют лишние неизвестные, но и одновременно помогают найти значения старых.

Поэтому, на самом деле, ни у кого из нас на сегодняшний день нет точного ответа на вопрос о «пределе» реконструкции. Как мне кажется, главная проблема здесь — это не сама по себе хронологическая глубина, а то, что на каждом новом хронологическом «витке» наш редукционизм оставляет нас все с меньшим и меньшим числом реконструированных праязыков. При этом, если, например, мы все сегодняшнее языковое разнообразие Евразии сумели свести к десятку праязыков, глоттохронологическая датировка которых приходится на диапазон, скажем, от VI до IV тысячелетий до н. э., это же не значит, что шесть-восемь тысяч лет тому назад все население Евразии говорило всего на десяти языках. Помимо этих десяти языков, обязательно должна была быть и масса других — вымерших, вытесненных десятком «победителей» (как это происходит и в биологии, в ходе естественного отбора). Причем вытеснить-то они их вытеснили, но почти наверняка сохранили многие из их лексических элементов в себе (как «субстратные» явления). И теперь нам на таких громадных временных глубинах приходится «нащупывать» не только праязыки-«победители», но и выявлять в них следы языков «побежденных»...

В общем, все эти задачи чрезвычайно сложные, и к решению некоторых из них мы только начали подступать, но даже частичный сценарий, который можно предложить для эпохи десяти-, двенадцати-, двадцатитысячелетней давности, — это уже грандиозный прорыв, *если* (и только если) можно показать, что он системнее и естественнее объясняет факты, чем любой другой. И кое-что в этой области мы, как кажется, уже сделали.

«Мы» — это кто? Как давно вообще лингвисты занимаются «макрокомпаративистикой», и кто сегодня ей занимается?

Г. С.: По большому счету предыстория макрокомпаративистики уходит почти в ту же (сравнительно недавнюю, надо сказать) эпоху, что и обычное сравнительно-историческое языкознание. Первые лингвисты, занимавшиеся историческим изучением и реконструкцией в области индоевропеистики, уралистики, семитологии и т. д., как правило, не боялись глядеть шире и строить далеко идущие гипотезы о том, с какими другими языками можно сравнивать ту семью, которой они занимаются.

Конечно, в течение XIX века большинство этих гипотез не сильно отличалось по степени надежности от теорий Гринберга — но для того времени это еще было нормально, потому что не успела как следует оформиться базисная методология компаративистики (с требованием регулярности соответствий и т. д.). В общей атмосфере, когда еще было не вполне ясно, как «можно» заниматься этой наукой, а как «нельзя», заведомо фантастические идеи было очень трудно отличить от перспективных. Скажем, один из отцов-основателей индоевропеистики, Франц Бопп, в своих поздних работах пытался обосновать родство индоевропейских языков то с малайско-полинезийскими, то с картвельскими (то есть грузинским и его ближайшими родственниками) — первая из этих гипотез сегодня всерьез не рассматривается никем, а вторая, наоборот, оказалась (хотя и с некоторым напрягом, о чем мы поговорим позже) интегрирована в теорию ностратического родства.

К началу XX века, когда младограмматики завершили, наконец, формирование компаративистики как строгой теории, один за другим начали выходить в свет большие этимологические корпуса — словари реконструированных форм праиндоевропейского, прасемитского, прафинно-угорского, прадравидийского и других праязыков «среднего уровня». В какой-то момент неизбежно должна была появиться и созреть идея того, что и эти корпуса все, в свою очередь, можно сравнить друг с другом на предмет не просто выявления родственных отношений еще более глубокого уровня, а строгого обоснования этих отношений — установив регулярные фонетические соответствия уже между этими реконструированными праязыками, и на их основе набрав новый корпус этимологий. И созрела она,

любопытным образом, в Москве — именно здесь в 1960-е годы жили и работали «отцы-основатели» современной макрокомпаративистики Владислав Маркович Иллич-Свитыч и Арон Борисович Долгопольский.

Почему именно в Москве?

Г. С.: Трудно сказать. В определенной степени это, вероятно, продукт исторической случайности. Как известно, сравнительно-историческое языкознание в Советском Союзе в сталинские годы пережило очень непростой период. В качестве догмы тогда было принято печально известное «учение Марра», о фантастических концепциях которого мы уже говорили. Поскольку в центре «учения» стояла идея того, что языки развиваются через загадочное «скрещивание», а не дивергенцию, которое удалось худо-бедно привязать к марксистской теории, классическая компаративистика подвергалась гонениям наряду с прочими «буржуазными» науками, такими как генетика и кибернетика. После того как сравнительно-историческое языкознание оказалось реабилитировано, ожидаемо наступил всплеск активности, и в конце 1950-х — начале 1960-х годов на сцене появилось очень много молодых, активных игроков, потому что «оттепель» с ее пусть и слегка наивным, но очень продуктивным идеализмом затронула все сферы науки: в синхронной лингвистике наступил расцвет структурализма, а в исторической — благодаря колоссальной трудоспособности таких лингвистов, как В. М. Иллич-Свитыч, у многих (хотя и далеко не всех) специалистов появилась искренняя убежденность в том, что нет теоретического предела возможностям сравнительно-исторического метода.

Подробнее про возникновение «ностратической гипотезы» и роль, которую в отечественной (да, в общем, и мировой) компаративистике сыграли Иллич-Свитыч и Долгопольский, наверно, мы будем говорить чуть позже, а пока что в завершение хотелось бы чуть-чуть пояснить, что такое, собственно говоря, представляет собой Московская школа компаративистики (тем более что по ходу беседы она уже неоднократно упоминалась без комментариев, а ничего само собой разумеющегося в этом термине нет).

Собственно говоря, о «школе» как таковой в строгом смысле слова — с какими-то специфическими именно для этой и никакой другой группы

людей установками, аксиомами, методами, тем более закрепленными в каких-нибудь «уставах» или «манифестах» — речи не идет. Скорее можно говорить о довольно размытой и изменчивой по составу группе единомышленников-компаративистов, которая в 1960-е–1970-е годы складывалась на базе Отделения структурной и прикладной лингвистики МГУ, затем, с открытием новых перспектив, перекочевала под крышу РГГУ (в 1991 году — на Факультет теоретической и прикладной лингвистики, потом, после реорганизации Факультета в 1999 году, в специально созданный Центр компаративистики при Институте восточных культур), а сегодня отдельные ее представители работают также в Институте языкознания РАН и начиная с 2013 года в сформированной в рамках Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания.

Единогo «отца-основателя» у Московской школы нет; скорее можно говорить о нескольких поколениях ученых, которые вносили и продолжают вносить вклад в ее развитие. Во-первых, есть своего рода «патриархи», которые заложили основы макрокомпаративистики — уже упомянутые В. М. Иллич-Свитыч (к сожалению, настоящим «патриархом» стать ему так и не удалось, так как он трагически погиб в очень молодом возрасте), А. Б. Долгопольский (до начала 1970-х годов работал в Москве, затем был вынужден эмигрировать в Израиль, скончался в 2012 году), В. А. Дыбо (сегодня он заведует Центром компаративистики в РГГУ), в какой-то степени к ним, наверное, примыкает и Вяч. Вс. Иванов (хотя для него компаративистика — лишь одна из многочисленных сторон его филологической деятельности), и в какой-то степени академик А. А. Зализняк: хотя его работа в основном протекает в русле общего языкознания, славистики и русистики, очень серьезное влияние он, несомненно, оказал и на отечественных компаративистов.

Во-вторых, это так называемая ОСиПЛловская плеяда — те самые «дети оттепели», проходившие через школу Отделения структурной и прикладной лингвистики в 1960-е и 1970-е годы. Тут исчерпывающий список привести вряд ли возможно, потому что многие попадали в компаративистику «временно», то выпадая из обоймы, то возвращаясь в нее, но перечислю хотя бы несколько крупнейших фигур (тем более что некоторые из них примут участие в наших дальнейших беседах). Это, прежде всего, мой покойный отец

и учитель — Сергей Анатольевич Старостин: его, действительно, можно в каком-то смысле назвать неформальным «главой Московской школы», поскольку с конца 1970-х годов и вплоть до своей внезапной смерти в 2005 году именно его усилия в первую очередь объединяли в «команду» всех остальных — он занимался проблемами самых разных языковых семей, разрабатывал методологическую базу для макрокомпаративистики, создал сложнейшую компьютерную среду StarLing, предназначенную специально для обработки лингвистического материала (на ней сегодня сидит практически вся Московская школа), организовывал коллективные гранты, проекты, конференции, преподавал студентам в МГУ и в РГГУ — в общем, делал все возможное для того, чтобы «школа» действительно была «школой».

Из близких коллег С. А. Старостина большинство до сих пор живет, здравствует и работает в различных областях компаративистики — это С. Л. Николаев (занимается индоевропейскими, кавказскими, американскими языками), А. Ю. Милитарёв (семитские и другие языки афразийской макросемьи), И. И. Пейрос (языки Америки, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона), А. В. Дыбо (тюркские и другие алтайские языки), О. А. Мудрак (алтайская макросемья и языки древнего населения Сибири и Дальнего Востока — чукотско-камчатские, юкагирский, нивхский, эскимосско-алеутские и т. д.), О. В. Столбова (чадские языки в Африке). Некоторых, увы, также уже нет в живых — например, замечательно-го специалиста по уральским языкам Е. А. Хелимского, последние годы жизни заведовавшего кафедрой уралолистики в Гамбургском университете.

Третье «поколение», к которому имеет честь принадлежать и Ваш почтенный слуга, — это в основном выпускники Факультета (ныне Института) теоретической и прикладной лингвистики РГГУ, где в 1990-е годы преподавали многие из перечисленных ученых. Нельзя сказать, чтобы из стен РГГУ вышла целая армия компаративистов, но на той волне бурного научного энтузиазма, которая прошла в начале 1990-х годов (даже несмотря на катастрофически невыгодные экономические условия, в которые попала российская наука), команду все же удалось пополнить и обновить. Сейчас у нас в проектах «Вавилонская башня» и «Эволюция языка», помимо «ветеранов» Московской школы, так или иначе задействовано (кто-то в большей, кто-то в меньшей степени) около десятка молодых квалифицированных специалистов.

Общаются и обмениваются опытом они, кстати, на регулярной основе в рамках так называемого Ностратического семинара (имени В. М. Иллич-Свитыча), который еще в 1960-е годы организовали В. А. Дыбо и А. Б. Долгопольский — знаменитый «кухонный» семинар московских компаративистов, когда-то проводившийся просто на квартире у В. А. Дыбо, а с 1991 года переехавший на постоянную основу в РГГУ. Думаю, что ничего аналогичного этому семинару уже давно в мире нет — во-первых, потому, что он носит смешанный «рабоче-докладной» характер (то есть в рамках семинара не только докладываются результаты проведенных исследований, но и непосредственно проводится этимологическая работа), во-вторых, потому, что на нем могут обсуждаться вопросы истории абсолютно любых языков и языковых семей мира — считается, что настоящий компаративист должен быть способным понять и оценить результаты исторических исследований даже по таким языкам, про которые ничего заранее не знает. (Кстати говоря, очень часто действительно бывает так, что опыт, накопленный в рамках изучения одной языковой семьи, оказывается чрезвычайно полезным для решения сложных вопросов по совершенно другой семье.)

И что, все сегодняшние участники Ностратического семинара — в той или иной степени макрокомпаративисты?

Г. С.: Конечно, нет. Многие честно занимаются вопросами истории языков одной конкретной семьи и в проблематику «глубокого родства» вникают лишь как пассивные (но все же интересующиеся) слушатели. Но дело даже не в том, кто чем *занимается*, а дело в *отношении* к проблеме. В рамках Московской школы компаративистики в целом разделяется мнение, что между реконструкцией «мелких» семей на материале живых языков и реконструкцией «глубоких» семей на «вторичном» материале праязыковых реконструкций нет и не может быть *принципиальных* различий. Поскольку мы признаем за реконструкцией статус *приблизительной исторической реалии*, а не чисто фиктивной условности, нет и не может быть запрета на дальнейшее оперирование этими реалиями.

Поэтому, например, индоевропеист, работающий в рамках Московской школы, столкнувшись с трудноразрешимой проблемой, не станет

убегать в «гиперскептическом ужасе», если кто-то внесет предложение — «давайте посмотрим, нельзя ли эту проблему решить с помощью внешних данных, например, уральской или алтайской семьи». Например, он может с интересом отнестись к попыткам объяснить происхождение сложной системы индоевропейской грамматики из сращивания корней со служебными словами, к которым можно найти убедительные параллели в других языках ностратической макросемьи, и к другим опытам такого же рода — не обязательно принимая их на веру, но не относясь к ним с предвзятым скепсисом.

Таким образом, чтобы «принадлежать к Московской школе», совершенно не обязательно иметь диссертацию по ностратической, сино-кавказской или любой другой реконструкции «макроуровня» — нужно просто понимать, в чем суть такого рода гипотез и признавать их общее право на существование, что мне кажется вполне разумным. Есть еще некоторые особенности, типичные для Московской школы, — например, активное использование лексикостатистического метода (включая глоттохронологический аспект) и вообще идея примата лексических данных над грамматическими в реконструкции; это все вошло в обиход, в основном, с подачи С. А. Старостина и закрепилось в нашей практике очень прочно, хотя критика лексикостатистики среди московских компаративистов — тоже не редкость, и это абсолютно нормально, потому что метод, при всех его достоинствах, пока остается сыроватым.

А за пределами собственно Москвы как обстоит дело с макрокомпаративистикой? Можно ли, например, говорить о «де-факто представителях Московской школы» за рубежом?

Г. С.: Если исключить тех изначально московских лингвистов, которые в силу разных причин вынуждены были эмигрировать, либо в советскую (А. Б. Долгопольский), либо в постсоветскую эпоху (И. И. Пейрос, Е. А. Хелимский), то в так называемых мейнстримовых лингвистических кругах за рубежом настоящих макрокомпаративистов, так сказать, духовно близких к Московскому кружку, очень немного. По понятным, наверное, причинам, их больше в странах Восточной Европы — например, такие лингвисты, как Вацлав Блажек в Чехии или Ирен Хегедюш в Венгрии.

Отдельные макрокомпаративисты, по стилю работы близкие к московскому направлению, есть в Америке.

Но вообще главная проблема во взаимоотношениях Московской школы с «лингвистическим мейнстримом» — это проблема достижения *взаимопонимания*. Основная трудность не в том, что сообщество исторических лингвистов по всему свету, само по себе чрезвычайно разрозненное, не приемлет принципы и методы московской компаративистики, а в том, что у очень многих его представителей до сих пор не сложилось о них четкого представления. Например, опыт общения показывает, что многие американские лингвисты вообще не знают о том, что «массовое сравнение по Гринбергу» и «ностратика по Иллич-Свитычу» покоятся на совершенно разных фундаментах: для них это все примерно одно и то же (поиск «методом тыка» признаков глубокого родства, в конечном итоге не отличимых от случайных совпадений). Просто Гринберга, как соотечественника, американские ученые знают (и, как правило, не любят), а Иллич-Свитыч, Старостин и другие для них — «темные лошадки».

Это просто обычное недоверие различных национальных традиций друг другу или нечто большее?

Г. С.: Честно говоря, мне меньше всего хотелось бы объяснять сложившуюся ситуацию национальными традициями, недобросовестной конкуренцией (с «недопущением оппонента на внешний рынок всеми возможными средствами» и так далее). Все-таки наука по природе своей интернациональна, и задачу Московской школы тоже хотелось бы видеть не в «победе над конкурентами», а в том, чтобы заполнить там, где мы их видим, пустоты в научной картине мира. Конкурентов, собственно говоря, у нас в строгом смысле слова и нет — проблемами глубинного родства в мире занимается такое ничтожное число специалистов, что о «конкуренции» здесь говорить не приходится. Речь скорее о признании со стороны лингвистического мейнстрима *правомерности* того, чем мы занимаемся. А признание это получить трудно: для этого нужно вести очень большую, планомерную, постоянную разъяснительную работу, особенно среди молодых западных специалистов (таких, которые еще не успели «сжечь мосты» в своей борьбе с макрокомпаративистикой).

Но ситуация при этом совсем не безнадежная. Дело в том, что в конце 1980-х, когда пал железный занавес и русские лингвисты наконец оказались на Западе, одно время существовала такая романтическая иллюзия, что вот сейчас «школа Иллич-Свитыча / Старостина завоюет мир». Не завоевала — иллюзия быстро рассеялась. Отчасти в этом были виноваты сами русские лингвисты, не привыкшие к американской парадигме (где, в частности, работа мелкого масштаба, но при этом выполненная с безукоризненной аккуратностью, ценится выше, чем крупномасштабное исследование, где всегда можно придраться к отдельным деталям. Те же претензии, кстати, предъявлялись и по отношению к Гринбергу, и очень эффективно: даже две-три грубые ошибки, выявленные на материале двух-трех сотен страниц текста, способны произвести очень глубокое впечатление на читателей антигринберговских рецензий, а проверять, насколько эти ошибки реально обесценивают результаты в целом, конечно, никто уже не станет — проще обобщить негатив на все исследование). Отчасти просто сами ожидания изначально были ложными: сейчас ясно, что такое сложное направление, как макрокомпаративистика, никем (кроме, может быть, отдельных безумных романтиков) и никогда не будет воспринято с распростертыми объятиями. Путь к серьезному международному признанию, внедрению в куррикулумы, учебную практику, к интеграции с другими дисциплинами здесь неизбежно будет долгим и сложным.

И на каком этапе этого пути мы сегодня находимся?

Г. С.: Пока не очень ясно. Многое будет зависеть от того, удастся ли Московской школе, во-первых, предельно четко и доступно донести до всей научной общественности свою методологию (а этому препятствуют в том числе и многочисленные разногласия среди самих участников Московской школы, далеко не монолитной), во-вторых, доказать ее конкретные преимущества над альтернативными методами, начиная с того же «массового сравнения» и заканчивая довольно модными сегодня классификационными методиками, заимствованными из биологических наук. Надеюсь, что со временем этого удастся добиться — во всяком случае, мы для этого делаем все возможное: у нас есть свой научный рупор (журнал «Вопросы языкового родства», издаваемый на базе РГГУ

и имеющий широкую международную дистрибуцию), свой веб-сайт, где сейчас активно разворачивается проект «Глобальная лексикостатистическая база данных», мы поддерживаем активные связи с коллегами в ряде крупных европейских и американских научных центров (Институт Макса Планка в Лейпциге; Национальный институт восточных языков и цивилизаций в Париже; Лейденский университет; Институт Санта-Фе в Нью-Мексико), проводим конференции (в частности, ежегодные «Чтения памяти С. А. Старостина» в РГГУ) и т. д.

Конечно, из-за большой текучки кадров и экзотичности тематики поддерживать «бешеные» темпы работы совершенно невозможно. Но, как мне кажется, самое главное здесь — это иметь ресурсы на то, чтобы хоть в какой-то степени поддерживать «олимпийский огонь», который нам достался в прямое наследство от классических компаративистов XIX века, и пытаться хотя бы слегка раздуть его в правильном направлении — одновременно бороться, по мере сил, с «гиперскептицизмом» и уходить от уровня «массового сравнения» в сторону более строгих стандартов макрокомпаративистики. И, конечно, публиковать конкретные исследования, реконструкции, классификации по языковым семьям самых разных уровней.

Такие ресурсы у нас сегодня есть: в той или иной степени совокупными усилиями нашего Центра компаративистики (в Москве) и отдельных наших коллег (за рубежом) удастся проводить исследования почти по всем языковым ареалам планеты — с тем, чтобы результаты постепенно сводить в единую глобальную классификационную систему. Поэтому в дальнейших наших беседах имеет смысл как раз «прогуляться» по этим языковым ареалам и посмотреть на то, как сегодня выглядит для каждого из них текущая модель генетической классификации, как устроены в них «доказанные» семьи и «гипотетические» макросемьи, что сделано, что делается сейчас и что еще предстоит — начиная, наверное, с крупных макросемей Евразии (как континента, все-таки лучше всех прочих изученного в языковом плане), а потом постепенно сдвигаясь в сторону других ареалов — Африки, Америки, Тихого Океана.

Чисто «теоретическую» часть наших бесед, пожалуй, можно завершить предостережением. Как бы ни была для кого-то увлекательна идея «глубинного родства», реконструкции праязыков десяти-, двадцати-, пяти-

десятилетиями давности, а может быть, даже и с замахом на «язык человечества» (об этом аспекте мы еще поговорим отдельно в самом конце) — опыт показывает, что на практике такими вещами успешно может заниматься *только* тот, кто предварительно набил руку на историческом изучении семей мелкого уровня. Как правило, когда человек, даже получив формальное лингвистическое образование, бросается очертя голову в пучину «ностратики», «сино-кавказологии», «нило-сахаристики» и тому подобных макродисциплин, не получив предварительно опыт решения проблем на более мелких уровнях, — результаты оказываются самыми плачевными.

Потому что на самом деле никакая теория, сколь бы подробно и наглядно она ни излагалась, не может заменить бесценного опыта практической работы с материалом — а начинать такую работу можно только на относительно простых участках, точно так же, как нельзя, наверное, углубляться в тонкости квантовой механики, не освоив сначала азы механики классической. Дело еще в том, что для макрокомпаративистики очень важен *типологический* аспект — сверка предлагаемых гипотез с теми историческими явлениями, которые регулярно (или хотя бы редко) встречаются на уровне реконструкции мелких языковых групп. А это уже предполагает у человека, занимающегося глубинным родством, наличие серьезного опыта, причем желательно не только пассивного (штудирование литературы), но и активного.

Так что если у кого-нибудь из наших читателей зародится по итогам прочитанного такое же желание «докопаться до корней», как и у членов нашей команды — милости просим в Центр компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ (где, кстати, сегодня у нас функционирует специально для этих целей магистерская программа по индоевропейскому языкознанию); там мы с удовольствием готовы дать вам ответственное задание по реконструкции аспектов фонетики, грамматики и лексики какой-нибудь мелкой языковой семьи — можно Евразии, а можно и Африки, Америки или Папуасии. А уже тот «герой», который справится с такой работой, конечно, сможет ответственно подойти и к задаче языковой классификации и реконструкции на более глубоком уровне.

Беседа V. Ностратическая макросемья [Собеседники — А. В. Дыбо, Г. С. Старостин]

Г. С.: После того как в предыдущих наших беседах мы постарались «на пальцах» изложить основы компаративных (и макрокомпаративных) методов, естественным продолжением, конечно, видится более или менее подробный рассказ о полученных результатах, и результаты эти проще и нагляднее всего излагаются как своего рода небольшое «лингвопутешествие» по разным ареалам планеты. О том, как вообще устроено языковое разнообразие в этих ареалах, популярная литература на русском уже появилась (наверное, главной рекомендацией здесь может служить недавно вышедшая книга В. А. Плуныя¹), а вот о том, с какой степенью уверенности это разнообразие сводится к праязыкам разных уровней, вплоть до «макропраязыков», представление у неспециалиста (да и у многих специалистов, особенно замкнутых в узкой области) сегодня довольно смутное. Это положение дел мы и попытаемся исправить.

Представьте, пожалуйста, нашего нового собеседника.

Г. С.: Да, сегодня к нашей беседе, посвященной крупнейшей (если не по числу языков, то уж по крайней мере языковых носителей) и наиболее известной макросемье Евразии — ностратической, — присоединится Анна Владимировна Дыбо, один из крупнейших в нашей стране специалистов по тюркской языковой семье, равно как и по многочисленным другим языкам, на которых в основном говорят народы «бывшего СССР». Анна Владимировна, в отличие от меня, занимается ностратическим вопросом в тех или иных аспектах уже более тридцати лет, и поэто-

¹ Плуныя В. А. Почему языки такие разные. М.: АСТ-Пресс Книга, 2010.

му вполне естественным было пригласить ее на сегодняшний разговор — и, насколько получится, я сегодня постараюсь «бразды правления» передать ей в руки, а сам буду лишь добавлять отдельные комментарии, если они понадобятся.

А. Д.: Спасибо. По-видимому, истоки ностратической теории нужно искать в отдельных, еще «околонаучных», работах по сравнению языков, которые лишь позже оформились как доказанные семьи. И, конечно, не могу не начать с классического предположения об урало-алтайском родстве.

Это 1730-й год — выход книги Филиппа Юхана фон Страленберга «Историческое и географическое описание северной и восточной частей Европы и Азии», включавшей в том числе и сведения о языках, где у него, собственно, и предполагается родство семей, впоследствии получивших название «уральской» и «алтайской». Страленберг был шведским офицером немецкого происхождения, в Россию попал вместе с армией Карла XII, был пленен под Полтавой, сослан в Сибирь и там, освоившись, со временем стал принимать участие в исследованиях Сибири, которые тогда проводило российское правительство. В Сибири он познакомился с тюркскими, тунгусо-маньчжурскими и монгольскими языками, а из уральских знал финский. На основании сравнения форм личных местоимений в этих языках, а кроме того, под влиянием значительной общности культуры и, так сказать, «прозы жизни» северных народов, он и ввел термин «урало-алтайские языки», который с тех пор надолго закрепился в науке. К слову сказать, было это еще до начала серьезной индоевропеистики, хотя первоначальное разделение языков по небольшим группам происходило как раз в процессе сбора больших обзорных словарей — именно тогда, в середине XVIII века, удалось, например, хорошо отличить иранские языки от тюркских (из-за многочисленных заимствований сделать это без тщательно разработанной сравнительной базы было не так-то просто), хотя, конечно, о какой-либо «реконструкции праязыков» для этого времени не может быть и речи.

Г. С.: Хочу на всякий случай напомнить, что для старых работ вообще очень характерной чертой является смешение «языкового» и «культурного» факторов — по умолчанию считалось, что, чем разные народы

ближе друг к другу по расовым, антропологическим, культурным и т. д. характеристикам, тем ближе должны быть и их языки. Эту точку зрения сильно поколебала классическая индоевропеистика, но окончательно она развалилась уже в XX веке (кстати, все тот же Джозеф Гринберг сделал очень немало для того, чтобы ее развенчать). Современная компаративистика, и тем более макрокомпаративистика, четко предписывает устанавливать лингвистическое родство только на основании собственно лингвистических параметров, и никаких других. Но на фоне общего уровня XVIII века тем не менее работы Страленберга все равно выделялись в лучшую сторону, хотя сейчас, конечно, имеют исключительно исторический интерес.

А. Д.: Дальше, переходя от Страленберга к эпохе зарождения классической компаративистики — в начале XIX века становление индоевропеистики сопровождается активной полемикой между лингвистами (а «лингвист» тогда, конечно, было практически синонимом «индоевропеиста» и «компаративиста») по поводу того, возможны ли какие-то родственные связи между языками *флективными* (такими, как индоевропейские и семитские, со сложными, тесно срачивающимися с корнем классами грамматических морфем), и *агглютинативными* (такими, как уральские и алтайские, где связи между корнями и суффиксами менее тесные). На передний план даже выводился такой аргумент, что для языков агглютинативного типа якобы вообще невозможно восстановление истории — что это такие «языки без истории», потому что развитие языка сводится в основном к тому, как он обрастает сложной грамматикой и как корни по сложным правилам срастаются со служебными морфемами (образцово-показательным в этом плане считался санскрит).

С этими взглядами последовательно и убедительно в своей грамматике якутского языка расправился Отто фон Бётлингк (1815–1904) — крупнейший индоевропеист-санскритолог, составитель одного из лучших в истории словарей санскрита. Работая в Санкт-Петербурге, он был вынужден в том числе заниматься приведением в порядок экспедиционных материалов, собранных в Якутии, и по ходу этой работы написал грамматику якутского языка («О языке якутов», 1849–1851), в которой, по сути, было положено начало исторической реконструкции пратюркского. Одновременно

он высказал предположение о том, что «пропасть» между агглютинативными урало-алтайскими языками и флективными индоевропейскими на самом деле не так уж и глубока и что через постепенное «сращение» служебных морфем с корнем из одних за некоторое время вполне можно получить другие. Правда, конкретных сравнений у него было немного (в основном они ограничивались формами местоимений), и эксплицитных утверждений об общем происхождении этих семей он не выдвигал, так что в строгом смысле слова это еще нельзя назвать «ностратикой».

Г. С.: Да, но работы, подобные труду Бётлингга, на самом деле сыграли колоссальную роль — многие лингвисты в XIX и даже в XX веке считали, что «грамматически сложные» языки как-то фундаментально отличаются от «грамматически простых». Одни верили в то, что «простые» языки не могут происходить из «сложных», то есть уповали на типологические характеристики как на диагностические маркеры языкового родства. Другие с этим не соглашались, но считали, что в общем случае процесс носит однонаправленный характер — любой язык начинается как «простой», а потом, в рамках общего культурного «прогресса», постепенно усложняется. Например, санскрит, латынь и греческий — языки высокоразвитых цивилизаций, обладающие, соответственно, повышенной грамматической сложностью, своеобразной «элитарностью» своих языковых структур. А «дикие» языки малоразвитых культур охотников-собираателей или кочевников-скотоводов, наоборот, должны быть «проще»: со временем они могут выйти на новую стадию развития, а могут так никогда и не выйти.

Такой позиции, в частности, придерживался выдающийся (для своего времени) исследователь и философ языка Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) и многочисленные его последователи. Сегодня мы твердо знаем, что никакой строго однонаправленной «стадиальности» на самом деле нет — в лучшем случае может быть «цикличность», когда язык упрощается и усложняется последовательно, и, как правило, в сильной зависимости от того, с носителями каких других языков он пересекается «в быту». Но для того чтобы преодолеть это заблуждение, потребовалась огромная исследовательская работа, и, в частности, Бётлингг внес в это преодоление немалый вклад.

А.Д.: Параллельно с работами Бётлингга, заходя с другой стороны, возможностью родства между индоевропейскими и семитскими языками озаботился датский лингвист Герман Мёллер (1850–1923). По основной специальности он был индоевропеист, но при этом активно интересовался и вопросами истории семитских языков, которые он считал родственными индоевропейским. В частности, именно совмещение этих двух сфер интересов привело его к разработке знаменитой «ларингальной теории», которая сегодня в индоевропеистике занимает доминирующие позиции.

Суть этой теории в двух словах изложить трудно и, наверное, в текущем контексте излишне, но дело сводится примерно к следующему: в 1878 году великий (правда, по состоянию на 1878 год еще совершенно никому не известный) лингвист Фердинанд де Соссюр написал работу, в которой на основании структурных, можно даже сказать «алгоритмических» соображений, вывел для раннего этапа развития праиндоевропейского языка несколько загадочных звуков-фонем, не сохранившихся ни в одном из языков-потомков (сам Соссюр называл их «сонантными коэффициентами»)¹.

Мёллер, уцепившись за эту идею, на начало XX века явно недооцененную, предложил считать эти «коэффициенты» не сонантами, а ларингалами (то есть гортанными звуками, такими, как придыхание *h* и т. п.) — на эту мысль его навело сопоставление с материалом семитских языков, где ларингальные согласные были представлены во множестве и, более того, иногда вели себя очень похоже на «коэффициенты» Соссюра (например, изменяя тембр соседнего гласного). В «доказательство» этого он приводил такие индоевропейско-семитские этимологические сопоставления, где фантомные «ларингалы» в индоевропейском вроде бы соответствовали реальным ларингальным в семитском. Эти и другие сопоставления он опубликовал в большом «Сравнительном индоевропейско-семитском словаре», который вышел в 1911 году и в каком-то смысле может считаться провозвестником наступления эпохи макрокомпаративистики.

Правда, опыт Мёллера в целом оказался скорее неудачным. Интерпретация загадочных индоевропейских «коэффициентов» как ларинга-

¹ См.: *Соссюр Ф. де*. Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках. Опубликовано в: *Соссюр Ф. де*. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.

лов в конечном итоге прижилась (в основном благодаря открытию в начале XX века нового индоевропейского языка — клинописного хеттского, в котором оказалась «настоящая» ларингальная фонема), а вот «индоевропейско-семитское родство» — не очень. Не то чтобы компаративисты в то время были настроены как-то особо враждебно по отношению к дальнему родству (сегодня атмосфера в целом намного враждебнее, чем тогда), но было некоторое интуитивное понимание, что заниматься этим «по-серьезному» еще рано: слишком много оставалось нерешенных проблем с реконструкцией на более мелких уровнях.

Г. С.: При этом те исследователи, которые устремляли свой взор на языки, не входящие в состав индоевропейской семьи, как правило, ничего не имели против того, чтобы рассматривать их в максимально широком контексте — не считали для себя зазорным определить, скажем, рамки некой семьи «икс», а дальше спекулировать на тему сходства языков этой семьи с языками других семей, не прибегая при этом к категорическим утверждениям.

Возьмем, например, дравидийскую семью, на языках которой говорят народы Южной Индии (в первую очередь — тамилы). Ее существование было надежно обосновано в 1856 году епископом Робертом Колдуэллом, когда он опубликовал первую сравнительную грамматику дравидийских языков¹, в которой четко отделил их от языков индоарийских (не самое простое занятие — в большинстве дравидийских языков так много заимствований из санскрита, что без четких грамматических и лексических критериев можно было бы легко принять тот же тамильский язык, особенно в форме классических древних текстов, за «вариант» санскрита). Грамматика, конечно, на сегодняшний день устарела, но не случайно все-таки именно с момента ее выхода в свет обычно начинают отсчет существования сравнительной дравидологии как науки.

Но что самое интересное: дальше, во втором разделе книги, Колдуэлл предложил очень много, пусть и поверхностных, но иногда заставляющих задуматься лексических сравнений между дравидийскими языками и языками других известных на тот момент семей — с индоевропейскими, се-

¹ *Caldwell Robert. A Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages. London, 1856.*

митскими и так называемыми скифскими (один из условных терминов, за которыми скрывались все те же «урало-алтайские») языками. Конечно, ни о каких фонетических соответствиях в трудах Колдуэлла речи нет, но даже на уровне простого звукового и семантического сходства удалось «наловить», как это позже делал Гринберг, немало сопоставлений, которые позже были инкорпорированы в более серьезные лингвистические исследования. При этом Колдуэлл был вполне честен со своими читателями (как, впрочем, и Гринберг) — перечисленные сходства он не считал доказательными, хотя бы потому, что считал гораздо более серьезным аргументом в пользу родства языков систематические сходжения в грамматике, а не в лексических слоях.

А.Д.: Да, и такие примеры, конечно, можно значительно приумножить — положим, на строго научную основу сравнение индоевропейских языков с языками других семей в XIX веке поставить так и не удалось, но зато удалось накопить очень много «сырого материала», что так или иначе можно рассматривать как первый шаг в нужном направлении.

Конечно, этот материал выглядел впечатляюще лишь для своего времени, до тех пор пока не наступила младограмматическая революция, которая не только сформулировала положение о том, что звуковой закон не знает исключений, но и превратила его в прописную истину — по крайней мере в индоевропеистике, потому что в областях сравнительно-исторического языкознания, изучающих языки других семей, младограмматические идеи, надо сказать, дорогу себе пробивали с гораздо большим трудом.

(Не могу удержаться от лирического отступления: как-то раз мы с моим коллегой, Олегом Алексеевичем Мудраком, делали совместный доклад про аспекты тюркской сравнительной грамматики, и вот в какой-то ключевой момент встает известный академик и говорит что-то вроде «ну конечно, вас следовало бы обвинить в младограмматизме...», причем академик, между прочим — профессиональный индоевропеист. К сведению, это примерно все равно, как если бы физик встал и сказал, что «вас следует обвинить в ньютонианстве», или астроном сказал бы, что «это все коперниковская ересь».)

А о чем такое высказывание вообще свидетельствует? Кризис метода? Смена научной парадигмы? Разобщенность научной среды?

Г.С.: Я бы сказал, что никакого реального кризиса метода здесь нет, а есть, скорее, трудно формализуемое желание «методологического прогресса» вкуче с неверным пониманием того, что такое на самом деле «младограмматизм». Дело в том, что, поскольку именно младограмматики впервые сформулировали в четком виде понятие «звукового закона», есть тенденция путать «младограмматизм» с «механистическим детерминизмом» — сказано ведь, что «звуковые законы не знают исключений», вот эта фраза и понимается в совершенно буквальном смысле, хотя те же самые младограмматики еще в XIX веке все необходимые комментарии и уточнения на эту тему уже дали сами (об этом мы, собственно говоря, уже беседовали в прошлый раз).

При этом нередко встречаются и ситуации, когда критика недостатков младограмматизма оказывается лишь удобным предлогом для того, чтобы позволить себе довериться личной интуиции, по тем или иным причинам противоречащей младограмматическим постулатам. Примерно таким образом: «ну как же это латинское *habēre* и немецкое *haben* 'иметь' могут быть разными по происхождению словами, они же так похожи! нет, что-то здесь не так с вашими регулярными соответствиями, наверняка эти ваши младограмматики перегнули палку...» и т. д. (На самом деле немецкое *haben* 'иметь' регулярно соответствует латинскому *capere* 'брать', а латинское *habēre* 'иметь' — немецкому *geben* 'давать', что вполне естественно во всех отношениях, но, конечно, может идти наперекор интуиции неопытного компаративиста.)

А.Д.: Нужно сказать, что, сколько с этим ни борись, в наш Ученый совет Института языкознания РАН все равно регулярно продолжают поступать, например, диссертации по тюркологии, в которых никакого младограмматизма и близко нет — так что кто-то младограмматизм критикует как устаревшую методологию, а до кого-то эта методология вообще еще не успела дойти. К примеру, в индоевропеистике открыто много так называемых именных законов — правил звукового развития от праиндоевропейского к отдельным языковым ветвям, официально названных

по имени открывших их ученых («закон Гримма», «закон Грассмана», «закон Педерсена» и т. д. и т. п.). А в такой дисциплине, как алтаистика, такой «именной закон» — один-единственный («закон Рамстедта — Пелльо»), поскольку поиск и формализация звуковых законов согласно принципам младограмматиков за пределами индоевропеистики развиты крайне слабо: исключения, конечно, есть, но все же это скорее именно исключения, то есть по большинству языковых семей настоящие «компаративисты-младограмматисты» исчисляются скорее единицами.

Итак, возвращаясь к предыстории вопроса — в общем, какое-то время все так и оставалось на уровне отдельных «локальных» вспышек, когда тот или иной исследователь предлагал то урало-алтайское родство, то урало-индоевропейское, то дравидо-уральское, то индоевропейско-семитское, то картвельско-индоевропейское, но в конце концов в 1913 году датский лингвист Хольгер Педерсен предположил¹, что *все* эти гипотезы в той или иной степени верны, выдвинув идею некоей всеобъемлющей «макросемьи» в том же количественном составе, в котором ее позже поддержал и развил Иллич-Свитыч: индоевропейские, уральские, алтайские, дравидийские, картвельские и семито-хамитские. Назвал эту «макросемью» он довольно-таки неполиткорректно (впрочем, по состоянию на 1913 год вряд ли к нему могут быть претензии) — «ностратической», от латинского *noster* 'наш'; то есть подразумевалось, что это такая макросемья, в которую входит большинство основных языков «наших», находящихся в эпицентре изучения европейской традиции, цивилизаций — в первую очередь, конечно, индоевропейских и семитских, но также, например, грузинской (картвельской), финской и венгерской (уральских), тюркской (алтайской) и т. д.

Дальше чем элементарное выдвижение гипотезы и создание нового красивого термина для нее Педерсен, правда не продвинулся — в основном потому, что в 1913 году реконструкции по разным семьям еще очень сильно отличались друг от друга по качеству, и полноценно сравнивать их было преждевременно.

В частности, для индоевропейской семьи на тот момент уже была почти отшлифована нынешняя сложная система, включая реконструк-

¹ Предположение, как это нередко бывает с великими идеями, было опубликовано «по ходу» в рамках небольшой статьи по вопросам сравнительной фонетики тюркских языков (*Türkische Lautgesetze // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*. 1913. Bd 57. S. 535–561).

цию не только звуковой системы и лексический корпус, но даже парадигматической морфологии и сложных морфонологических чередований. Из-за этого современную индоевропейскую этимологию как-то радикально переделать очень трудно, практически невозможно — она вся основана на гипотезах, тесно и убедительно связанных друг с другом: посмеешь тронуть одну подпорку — незаслуженно рухнет вся система. Остается много неясных деталей, но, грубо говоря, вся *очевидная* работа в индоевропеистике уже выполнена, все вопросы, по которым можно легко достигнуть консенсуса, уже отработаны.

Что касается остальных семей, то, например, уральская реконструкция до 1950-х годов совершенно не имела такой степени «монополизации», как индоевропейская. Сегодня ситуация уже изменилась — многие положения «закостенели», и это затрудняет новые кардинальные прорывы; но не столько потому, что нечего прорывать, сколько потому, что сложилась коллективная традиция, с которой тяжело полемизировать. В отличие от индоевропеистики, уралистикой на постоянной основе всегда занималось намного меньшее количество ученых, а это неизменно влечет за собой опору на индивидуальные «авторитеты» — если бросить непредвзятый взгляд на уральский этимологический словарь в том виде, в каком он «канонизирован» маститыми уралистами, то видно, например, что система реконструкции консонантизма и вокализма во многих местах легко разваливается даже на том самом материале, который приводится уралистами, не говоря уже о том, что есть масса потенциальных новых этимологий, которые по «каноническим» соответствиям должны быть отвергнуты; при этом объем реконструированного словаря прауральского (и даже прафинно-угорского) языка чрезвычайно мал по сравнению с аналогичным корпусом, реконструированным для праиндоевропейского¹.

Последнее обстоятельство наводит на подозрения в излишнем «пуризме» уралистов, которые, вместо того чтобы усовершенствовать сформулированные фонетические законы, внимательнее проанализировать материал и внести необходимые корректировки, в которых реконструкция явно нуждается, просто отбрасывают соответствующие этимологии.

¹ С основными сведениями об уральских языках, а также с достижениями, проблемами, перспективами современной уралистики подробно ознакомиться можно в работе: *Хайду Петер*. Уральские языки и народы. М.: Прогресс, 1985.

А что значит «чрезвычайно мал»? Какова вообще должна быть ожидаемая величина праязыкового корпуса?

А.Д.: Это сильно зависит от качества материала, с которым ты работаешь, и от внутренней классификации семьи, но в целом обычно принято считать, что в среднестатистическом плане для каждого праязыка должно реконструироваться порядка двух тысяч лексических корней и грамматических морфем. Если постулируемая система позволяет реконструировать лишь одну тысячу — это хороший повод задуматься над тем, все ли верно в этой системе, нет ли недоработок, «пропущенных» звуковых соответствий и т. п.

Вообще такая ситуация очень типична для языковых семей по всему миру — в историческом плане большинство из них исследовано лишь поверхностно, сделаны примерные наброски, восстановлена часть системы, но на то, чтобы довести работу до идеального состояния, просто не хватает ресурсов. А те ресурсы, которые все-таки есть, как тратились, так и продолжают в массе своей тратиться на индоевропеистику.

Но вернемся все-таки к основной теме. Мы говорили о том, что на первую половину XX века приходится большое количество работ по так называемому дальнему сравнению, к которым в то время «мейн-стримовая» компаративистика относилась еще довольно лояльно — многие из этих работ публиковались в престижных научных журналах, даже в классических, «степенных» журналах по индоевропеистическим дисциплинам. И это несмотря на то, что на самом деле большинство этих работ лежит за пределами научной компаративистики, поскольку элементы сравнения в них, как правило, поверхностны: чаще всего просто берется набор праформ одной семьи (разумеется, в первую очередь индоевропейской) и сопоставляется с отдельными формами из языков других семей — обычно из живых языков, потому что реконструкций на тот момент просто не было.

На общем фоне слегка выделяются, пожалуй, лишь работы по урало-индоевропейскому и урало-дравидийскому родству. Урало-индоевропейскими связями занимался Бьёрн Коллиндер — профессиональный компаративист, автор сравнительной грамматики уральских языков, выполненной на очень высоком уровне. Урало-дравидийским родством,

также с попыткой установить регулярные фонетические соответствия, занимался Стивен Тайлер, но, кажется, там дальше одной-единственной статьи (опубликованной в 1968 году, между прочим, в журнале *Language* — одном из наиболее престижных лингвистических изданий в мире) дело не пошло.

В общем, к концу 1950-х — началу 1960-х годов, когда дальним родством занялся Владислав Маркович Иллич-Свитыч, работавший в то время сотрудником в Институте славяноведения АН СССР, условия для развития макрокомпаративистики сложились намного более выгодные, чем еще в начале XX века: было накоплено и, главное, проанализировано в историческом плане столько материала, что он для себя решил — пришло время заняться серьезной проверкой «ностратической» гипотезы Педерсена и попробовать перевести ее с чисто умозрительного, прикидочного уровня на рельсы строгой компаративистики.

Практически одновременно с ним проблематикой дальнего родства заинтересовался другой лингвист-компаративист, Арон Борисович Долгопольский, работавший в то время в Институте русского языка; кстати, В. А. Дыбо любит художественно рассказывать про то, как они все втроем познакомились в курилке Ленинской библиотеки, потому что один из них отправился туда искать какую-то редкую книгу, которая оказалась на руках — кому же в Ленинке может пригодиться такая книга? — так они все и нашли друг друга.

В отличие от Иллич-Свитыча, Долгопольский первоначально считал, что дальнейшее сравнение не может быть строго обосновано с помощью обычного сравнительно-исторического метода, и поэтому в ту далекую эпоху он занимался прежде всего статистикой — в частности, подсчитывал, сколько должно быть фонетически близких словарных сходжений между языками, чтобы можно было исключить вариант случайного совпадения.

Г. С.: Собственно говоря, его первая статья на ностратическую тематику (сам он тогда еще не использовал термин «ностратические языки»), вышедшая в 1964 году, так и называется — «Гипотеза древнейшего родства языковых семей Северной Евразии с вероятностной точки зрения». Разумеется, с точки зрения самого Долгопольского, эта гипотеза

с вероятностной точки зрения подтверждалась — другое дело, что к методике самого Долгопольского можно было предъявить различные претензии, но, кстати говоря, некоторые элементы этой методики (например, вычленение своеобразного «консонантного скелета» из форм, привлекаемых к сравнению, и приведение их таким образом к общему условному инварианту) до сих пор вполне актуальны и успешно используются в различных, значительно усовершенствованных с тех пор, алгоритмах сравнения языкового материала.

А.Д.: Именно так — а в то же самое время Иллич-Свитыч, напротив, как раз старался ввести ностратик в строгие рамки «младограмматизма». Вообще надо сказать, что в ностратик его привела совершенно традиционная, «неромантическая» компаративистика. По основной профессии он был балто-славист (ему принадлежит, например, ряд важнейших работ по исторической акцентуации балто-славянских языков), но занимался также и общими вопросами индоевропеистики — в частности, изучал устройство реконструированного индоевропейского лексикона, надеясь вычленить в нем древние слои заимствований. Это потребовало внимательной работы и с языками других семей — семитской, картвельской, монгольской и т. д., и в итоге он пришел к выводу о том, что сходств слишком много и носят они слишком уж системный характер, чтобы в каждом конкретном случае объяснять их как заимствования.

Однако в процессе работы вполне предсказуемо выяснилось, что, прежде чем обосновывать дальнейшее родство, необходимо сначала «зачистить» пространство на «ближних» уровнях — внести существенные модификации в постулируемые на тот момент алтайскую, уральскую и т. д. реконструкции. Здесь, наверное, имеет смысл чуть подробнее остановиться на вопросе о реконструкции алтайского праязыка, потому что эта тема в мировой компаративистике — едва ли не еще более противоречивая и волнительная, чем сама по себе ностратика (и уж, по крайней мере, ожесточенных дискуссий в алтаистике за последние полвека было на порядок больше, чем в ностратике).

Напомню, что традиционно под «алтайской» языковой семьей (или макросемьей, в зависимости от того, где проходит конкретная грань между этими двумя терминами) имелось в виду возможное генетическое

единство тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской языковых семей; к этой триаде Густав Рамstedт и Е. Д. Поливанов в 1920-е годы добавили еще корейский, а еще позже благодаря работам Роя Эндрю Миллера и других специалистов появились очень серьезные аргументы в пользу вхождения в эту же семью японского языка (но это было уже после смерти Иллич-Свитыча, так что в его версию «праалтайского» японский язык не попал).

Так вот, на тот момент, когда Иллич-Свитыч занялся анализом алтайского сравнения, главным авторитетом в этой области был Николай Николаевич Поппе (1897–1991), человек чрезвычайно незаурядный и с весьма необычной судьбой¹. К сравнительному исследованию алтайских языков он, по сравнению со своим предшественником Рамstedтом, подходил, с одной стороны, как бы «строже», «формалистичнее», а с другой стороны — так, что реконструированная система получалась менее реалистичной. Рамstedт, реконструируя праалтайский язык, часто предполагал сложные, нетривиальные типы соответствий между языками, иногда не очень хорошо обоснованные конкретным материалом, но всегда стремившиеся к максимальному его охвату и отличавшиеся высокой степенью реалистичности. Поппе все эти построения Рамstedта просто выкинул, как недостаточно обоснованные, и сконструировал на их месте относительно простую, стройную систему, в рамках которой не разрешалось делать ни шага в сторону — и этой системой ему отчасти удалось «загипнотизировать» своих последователей².

А что, собственно говоря, плохого в «простоте» и «стройности»? И разве формализация не делает гипотезу более доказательной?

А.Д.: Простота простоте рознь. По большому счету Поппе, хотя и был человеком выдающихся способностей, своей «простотой» в конечном итоге серьезно испортил репутацию алтайской теории. Дело в том, что, стремясь к тому, чтобы в первую очередь описывать тривиальные

¹ Подробно с основными этапами жизни и карьеры Н. Н. Поппе можно ознакомиться в биографическом труде: Алтаев В. М. Николай-Николаас Поппе. М.: Восточная литература, 1996.

² Различия в подходах Рамstedта и Поппе можно оценить, в частности, по таким обзорным трудам, как: Рамstedт Г. Введение в алтайское языкознание. М.: Изд-во иностранной литературы, 1957; Poppe N. Introduction to Altaic Linguistics. Wiesbaden, 1965.

и однозначные соответствия между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками, он в конечном итоге понапихал в свой сравнительный материал очень много поздних заимствований между этими языками. Это примерно как если бы мы отвергли, например, абсолютно правильную, хотя и «сложную», этимологию «французское *bauf* ‘бык’ = английское *cow* ‘корова’», а сравнили бы вместо этого французское слово с английским *beef* ‘говядина’, которое на самом деле эксплицитно заимствовано из французского, наряду со многими другими, после норманнского завоевания в XI веке.

Г. С.: Причем про французский и английский информация у нас вполне достоверная (хотя бы учитывая тот факт, что слово *beef* в английских текстах появляется только после норманнского завоевания; в древнеанглийском его, разумеется, нет), а историю таких языков, как тюркские и монгольские, по письменным источникам мы прослеживаем намного хуже. В целом, начиная с еще более поздних периодов, процесс отделения поздних заимствований от слов, связанных исконным родством, оказывается гораздо более сложным. Тем важнее, кстати, экстраполировать опыт, полученный при изучении «понятных» семей типа индоевропейской, на другие, хуже изученные, семьи — в частности, понимать, что довольно часто, если слово в языке А «слишком уж» похоже на слово с тем же значением в языке Б, это скорее намекает на то, что одно заимствовано из другого, чем связано с ним генетическим родством. (Конечно, это не универсальное правило, ситуации бывают очень разные.)

А. Д.: Наверное, слишком строго судить Поппе все-таки не стоит — хотя бы отчасти его стиль работы был обусловлен тем, что обстоятельства (эмиграция) вынуждали его во многом работать по памяти. Память у него была хорошая, но в основном в ней хранились как раз те алтайские языки, которые заимствованиями были напичканы, и в сложившейся ситуации, которая заслуживала гораздо более тонкого и сложного подхода, он до победного конца разобратся так и не сумел.

В плане, так сказать, «имиджевых» последствий самым плачевным здесь в итоге оказалось недоверие со стороны ряда учеников и коллег,

из которых в первую очередь следует назвать видного немецкого тюрколога Герхарда Дёрфера (1920–2003) — из всех «анти-алтаистов» второй половины XX века он, пожалуй, лучше всех разбирался в тонкостях компаративистики и вполне резонно, критикуя сравнительный материал Поппе, указывал на то, что сравниваются в нем преимущественно заимствования, а, значит, оснований говорить о генетическом родстве алтайских языков на самом деле нет.

Г. С.: При этом, кстати говоря, аргументы Дёрфера могли быть довольно разносторонними. Например, он обращал внимание на то, что, если посмотреть на сравнения, которые ограничиваются лишь двумя из трех основных ветвей алтайской семьи, то среди них очень много слов, общих для тюркских и монгольских языков; столь же много слов, общих для монгольских и тунгусо-маньчжурских; и заметно меньше таких, которые были бы общими для тюркских и тунгусо-маньчжурских. Если при этом просто взглянуть на то, как эти языки раскиданы по карте (тюркские на западе, монгольские в центре, тунгусо-маньчжурские на востоке), да еще и добавить сюда известные нам исторические сведения, получается, что эту ситуацию естественнее всего объяснять контактами: монголы заимствуют лексику у тюрков (а после XII века — наоборот), тунгусы и маньчжуры — у монголов, а тюрки и тунгусо-маньчжуры просто никогда не контактировали друг с другом.

Очень убедительно, кстати — штука только в том, что это наблюдение (если оно действительно верно) доказывает лишь факт тюрко-монгольских и монголо-тунгусо-маньчжурских контактов, но никоим образом не доказывает факт генетического «неродства» этих языков. Если обратиться все к той же европейской аналогии, то несомненный факт контактов между французским и английским языком сам по себе никак не означает, что они при этом не связаны общим происхождением — просто контакты эти начались с XI века н. э., а ближайший общий предок английского и французского (праиндоевропейский) распался на (в частности) прагерманский и праиталийский примерно в V тысячелетии до н. э. — как говорится, почувствуйте разницу, и оцените, насколько труднее установить факт родства, чем контактов.

А. Д.: Да, так вот, копнув «глубже», чем это сделано у Поппе, Иллич-Свитыч решил вернуться к некоторым старым гипотезам, высказанным еще задолго до Поппе. Одна из таких гипотез, например — о том, что звонкие согласные в огузских языках (тюркская подгруппа, в которую входят турецкий, туркменский, азербайджанский и некоторые другие языки) не только носят архаичный характер (а не вторичного происхождения, как считают многие тюркологи), но и, более того, регулярно соответствуют звонким согласным в монгольских языках — не в заимствованиях, а в исконно родственной лексике! Причем в подтверждение этой гипотезы он привел не только старый материал, но и новые, обнаруженные лично им самим, этимологии¹.

Были и другие гипотезы, усложнившие систему соответствий, но сделавшие ее в конечном итоге более реалистичной — и, самое главное, позволившие более или менее четко провести грань между «новыми» заимствованиями и «старыми» следами генетического родства. В результате алтаистику удалось вывести на новый виток развития, совершить мощный прорыв вперед по сравнению с системой Поппе.

А почему столь важное открытие сделал именно Иллич-Свитыч? Ведь серьезное изучение тюркских языков началось, наверное, все-таки не в 1960-е годы, а сильно раньше. Как ему удалось увидеть то, что не видели его маститые предшественники-тюркологи? Нет ли здесь какого-то подвоха — может быть, открытие все-таки спорное?

Г. С.: Вопрос очень правильный. Действительно, дело не в том, что Иллич-Свитыч ввел какие-то принципиально новые данные в тюркологию — все языковые формы, которые он приводит в поддержку своей точки зрения, специалистам давно известны. Дело в том, что он, в определенном смысле, «посягнул на святое» — предположил, что более *новые*, в большинстве своем современные тюркские языки могут отражать более архаичное состояние дел, чем данные «классических» памятников древнетюркской письменности. То есть если мы принимаем гипотезу

¹ Гипотеза В. М. Иллич-Свитыча излагается в двух статьях: Алтайские дентальные // Вопросы языкознания. 1963. № 6; Алтайские гуттуральные // Этимология-1964. М., 1965.

Иллич-Свитыча, наша реконструкция лучше и полнее объясняет факты, но противоречит общей концепции (примат «древних» текстов над «современными»), которая с интуитивной точки зрения выглядит естественнее.

Надо сказать, что вообще подобного рода «давление» древних текстов и классических языков — одна из основных причин, по которым до сих пор во многих исследовательских традициях сохраняется потребность в переработке, иногда очень кардинальной, предложенных реконструкций. Младограмматизм, как выясняется, может сам себе противоречить. С одной стороны, он вроде бы требует строить строгие, внутренне непротиворечивые системы, которые идеально учитывают языковые данные, встраивая их в непогрешимую систему звуковых соответствий. С другой стороны, он же предписывает по возможности ориентироваться на максимально *древние* языковые свидетельства — в первую очередь на классические памятники древних языков, а там, где их нет, на архаизмы и реликтовые явления в языках современных. Но нередко оказывается, что одно не стыкуется с другим — если только *древний* язык сам по себе не является *празыком* по отношению к языкам современным (латынь, например), а представляет собой отдельную, «тупиковую» ветвь развития, то и древний язык в чем-то может быть архаичным, а в чем-то — инновативным.

Например, для праиндоевропейского вместо трех гласных **a*, **e*, **o* долгое время восстанавливали только **a* — почему? Да потому, что так обстоит дело в санскрите, который считался «образцовым», «совершенным» представителем древних индоевропейских наречий, и потребовалось окончательное оформление младограмматической концепции звукового закона для того, чтобы только в 1870-е годы все, наконец, убедились в том, что в санскрите (а, точнее, в праиндоиранском предке санскрита) три индоевропейских гласных **a*, **e* и **o* совпали в один, в то время как в других индоевропейских ветвях, наоборот, сохранилась более древняя ситуация (поэтому русское *ов-ца* = санскр. *avi-*, русское *есть* = санскр. *asti* и т. д.).

Так что установка «этот язык древний и поэтому всем его данным я *a priori* доверяю больше, чем данным современных языков», в корне неверная. В чисто статистическом плане она, наверное, как-то оправдан-

на, но реконструкцию каждой конкретной языковой семьи нельзя механистически подчинять статистическим тенденциям — на то они и статистические.

А.Д.: Да, в тюркологии такой подход выглядит просто пародийно, потому что, например, памятники древнетюркского языка — это, самое раннее, VIII век, а подробные материалы начинают появляться не раньше века XII (в первую очередь — огромный словарь выдающегося тюркского филолога Махмуда Кашгарского). Расстояние от XII века до современности по обычным лингвистическим меркам — совсем небольшое, так что никакой особой «хронологической святости» у старых материалов по сравнению с теми материалами, которые сегодня собирают «в поле» тюркологи-диалектологи, нет. Отметим заодно, что подавляющее большинство современных тюркских языков сосредоточено в России — и все они требуют описания, а факты их фонетики, грамматики, лексики требуют объяснения, и поэтому естественно, что российские тюркологи, работая над тюркской реконструкцией, в первую очередь пользуются материалами живых языков.

Приходится нередко выслушивать упреки, скажем, от немецких коллег-филологов: «Почему вы так увлекаетесь новыми языками? Надо в первую очередь смотреть формы древних тюркских языков, словарь Махмуда Кашгарского и т. п.!» Но позвольте, словарь Махмуда — это XII век. Если сказать индоевропеисту «давайте реконструировать праиндоевропейский, опираясь на языковую картину XII века н. э.!»), он, наверное, разрыдается, потому что XII век для индоевропеиста — это вообще даже близко не «древность». К XII веку пратюркский язык уже давно разделился на все те основные группы, которые успешно продолжают существовать сегодня (чувашскую, якутскую, сибирскую, огузскую и т. д.), предки этих групп уже успели серьезно разойтись в плане фонологии и морфологии, и вообще нельзя серьезно утверждать, что именно те данные, которые до нас дошли от письменных памятников XII века, обязаны нас в наибольшей степени приблизить к пратюркскому состоянию.

Если же речь конкретно о Махмуде, то его материалы связаны прежде всего с карлукскими языками — то есть узбекским и новобуй-

гурским, причем даже не с узбекским литературным (литературный узбекский — это такой гибридный язык, сотканный из диалектов туркменского типа и диалектов казахского типа), а с живыми узбекскими диалектами.

Так что мы здесь с немецкими коллегами смотрим на предмет исследования с принципиально различных позиций. У нас в стране велась и продолжает вестись активная работа по описанию живых тюркских наречий. В Сибири, например, детально описаны якутский, тувинский, хакасский, тофаларский языки — к тофаларам, например, многократно выезжал в полугодовые экспедиции Валентин Иванович Рассадин. Чуть подальше от них — горноалтайский со своими диалектами. Из другой тюркской группы — новоуйгурские диалекты, которые сидят в основном на территории Китая, но и ими сначала занимались российские лингвисты (только совсем недавно инициативу перехватили китайцы, которые уже успели выпустить несколько собственных описаний). В 1950-е годы работали с кыпчакскими языками, выпустили по ним кучу монографий. Вообще вся эта описательная деятельность зародилась и бурно развивалась в 1920–1930-е годы, когда планировалось для всех этих языков дать письменность и как-то определить литературные нормы. И вся эта творческая деятельность очень сильно повлияла на лингвистическую теорию и методологию.

Кстати, кое-где сегодня еще можно встретить совершенно абсурдную точку зрения, согласно которой коварные большевики якобы специально придумывали всякие «особые» названия и письменности для разных тюркских племен и даже создавали специальные отдельные «литературные языки», чтобы братьев-тюрков разобщить и максимально оторвать от турецкой метрополии. Как будто на самом деле «тюркский язык» — это нечто такое единое и неделимое, прямым восходящее и к Махмуду Кашгарскому, и к древним руническим памятникам, а все современное разнообразие в историческом плане либо несущественно, либо вообще «фальшиво».

Понятно, что такая позиция — это скорее эксцессы любительско-националистического характера, но факт остается фактом: с одной стороны, многообразие современных тюркских языков дает массу материала для систематической реконструкции, с другой стороны — реконструкци-

ей этой почти никто как следует не занимается, вместо этого полагаясь на данные древнетюркского языка XII века. Такой «срез», увы, не всегда приводит к положительным результатам.

Г. С.: Кстати, поскольку уж мы это обсуждаем на фоне ностратической гипотезы, то имеет смысл добавить, что, например, почти такая же картина наблюдается и в изучении дравидийских языков Индии, которые Иллич-Свитыч также включил в состав ностратической макросемьи. По большому счету, сравнительная дравидология все сто с небольшим лет своего существования занимается одним: берет классический тамильский язык начала I тысячелетия н. э. и выводит из него факты всех остальных дравидийских языков — только потому, что самые древние дравидийские письменные памятники написаны на тамильском языке. И это притом что дравидийских языков сегодня насчитывается порядка двадцати-тридцати, и большая часть их уже существовала как отдельные языки к тому времени, когда тамилы начали писать.

Конечно, очень многое действительно выводится из классического тамильского — например, в нем лучше сохраняется первоначальная «длинная» структура прадравидийской словоформы, в живых современных диалектах она обычно сокращается. Но есть и масса явлений, которые невозможно объяснить, если, следуя догме о «приоритете» древних письменных текстов, приравнять «древнетамильский» к «прадравидийскому». Тут уже начинаются систематические нарушения компаративистской методологии — например, постулируются ничем не мотивированные расщепления звуковых соответствий (вместо того чтобы, наоборот, признать слияния нескольких звуков в один в тамильском).

А это ведет к тому, что замыкается порочный круг — люди интересующиеся, но несведущие читают эти работы и начинают задаваться вопросами: может быть, на самом деле младограмматики не во всем были правы? Может быть, действительно есть такие явления, которые в рамках их теории необъяснимы, и надо искать новые пути, новые объяснения? Затем оказывается, что эти сомнения хорошо ложатся на классическую куновскую концепцию «смены научных парадигм», соответственно, начинаются высказывания типа «младограмматизм — это позавчерашний день, мы его уже преодолели» и т. д. А дело-то, может быть, всего лишь

в том, что «младограмматическая реконструкция» не получилась из-за изначально ложного посыла.

А. Д.: Да-да, в тюркологии тоже очень любят говорить, что младограмматический метод неприменим к тюркской ситуации, потому что, дескать, тюрки были кочевниками, все время смешивались друг с другом в разных местах и в разных пропорциях, так что здесь следует ожидать гигантское количество ничем не обусловленных междиалектных колебаний (по крайней мере, с точки зрения классического младограмматического анализа). Но на самом деле, как только в какой-нибудь области тюркской диалектологии начинаешь применять младограмматический метод строгим образом — с четким, последовательным «микроанализом» соответствий между диалектами — оказывается, что не так страшен черт, как его малюют. И уж во всяком случае нет никаких принципиальных различий между языками «оседлых земледельцев» и «кочевников-скотоводов» с точки зрения общей теории языковых изменений.

Но вообще все это в некотором смысле отступление от главной темы, потому что основная заслуга Иллич-Свитыча все-таки не в том, что он доказал какую-то особую значимость «нелитературных» языков для реконструкции, а в том, что он на конкретных примерах показал, как можно устанавливать нетривиальные фонетические соответствия на сверхглубоких хронологических уровнях — вот этим до него, действительно, мало кто занимался.

В алтайской реконструкции он, обратив внимание на архаичный статус тюркских звонких согласных, вместо старой двоичной оппозиции Поппе «глухие непридыхательные»: «глухие придыхательные» постулировал тройную: *глухие — глухие придыхательные — звонкие*, то есть, например, губные *p, ph, b*; переднеязычные *t, th, d*; заднеязычные *k, kh, g* и т. п. Это было смелое и спорное решение, но сегодня с ним согласны почти все «алтаисты» (несогласны только те специалисты по конкретным семьям, которые вообще не признают алтайскую гипотезу). Самое интересное на самом деле — это то, что в практическом отношении это решение серьезно усложняет жизнь ностралистам, то есть очевидно, что мотивировалось оно научной честностью, а вовсе не недобросовестным желанием как-то подогнать языковые факты под фальшивую теорию.

В каком смысле усложняет?

Г. С.: В том смысле, что снижает возможности выдать случайные созвучия за реальные этимологии. Попробую разъяснить на пальцах. Допустим, для праиндоевропейского надежно восстанавливаются три большие группы корней, начинающихся на переднеязычные взрывные — глухой **t-*, звонкий **d-* и звонкий придыхательный **dh-*. Для праалтайского по версии Поппе — две группы корней на переднеязычные взрывные — глухой **t-* и глухой придыхательный **th-*. Поскольку мы следуем младограмматической концепции регулярности соответствий, это должно означать, что в праалтайском два старых согласных совпали в один. Такое, конечно, бывает (например, в праславянском индоевропейские **d* и **dh* совпали просто в **d*). Можно покопаться в материале и решить, что индоевропейскому **t-*, например, соответствует алтайское **th-*, а индоевропейским **d* и **dh* — алтайское **t-*.

Упростим ситуацию и предположим, что и в праиндоевропейском, и в праалтайском, скажем, примерно по 300 корней на переднеязычные взрывные, и в праиндоевропейском они примерно равномерно распределены по трем опциям (100 на **t-*, 100 на **d-*, 100 на **dh-*), а в праалтайском, скажем, на 100 корней на **th-* приходится 200 на **t-*. Значит, мы к любому из этих двух сотен алтайских корней на **t-* можем потенциально подобрать этимологически родственный индоевропейский корень на **d-* **или** на **dh-*. Из 40 000 возможных комбинаций наверняка найдутся фонетически и семантически похожие случайности хоть в каком-то количестве.

Но вот мы как следуем покопались в алтайском материале и решили, что на месте одного алтайского **t-* все-таки надо восстанавливать два звука — глухой **t-* и звонкий **d-*. Это кардинально изменяет ситуацию: значит, в праалтайском, как и в праиндоевропейском, *три* разных, несводимых друг к другу звука (фонемы), и, следовательно, формулировка «алтайскому **t-* соответствует индоевропейское **d-* или **dh-*» должна быть переписана — но как? Сказать «алтайским **t-* **или** **d-* соответствует индоевропейское **d-* **или** **dh-*» нельзя — это незаконно с точки зрения звуковых законов. Значит, надо уточнять соответствия — что и сделал Иллич-Свитыч: еще раз прочесал сравнительный материал и пришел

к выводу, что индоевропейскому **d-* соответствует алтайское **t-*, а индоевропейскому **dh-* — алтайское **d-*. А это, понятное дело, снижает число возможных комбинаций в два раза (по 10 000 на каждое соответствие) и, следовательно, в столько же раз — вероятность принять случайность за настоящую ностратическую этимологию.

А примеры можно?

Г. С.: Можно, но сразу же оговорюсь — те ностратические примеры, которые мы будем цитировать (равно как и сино-кавказские, и по любой другой макросемье), ни в коем случае нельзя воспринимать как «истину в последней инстанции». Все эти «макро-дисциплины» пока еще в настолько зачаточном состоянии, что, прежде чем выйдет в свет, наконец-то, «суперсовременный» словарь ностратических языков, многие из текущих этимологических решений успеют еще сто раз поменяться — так что тут, как говорится, «следите за развитием событий», а мы уж по возможности будем держать вас в курсе.

Но вот, скажем, такие примеры на разбираемую ситуацию:

- на «индоевропейское **t-* = алтайское **th-*»: индоевропейский корень **tek^{w-}* ‘бежать, течь’ (откуда, в частности, славянское *течь*, а также санскритское *tak-* ‘стремиться’) соответствует алтайскому **thogsu* ‘бежать’ (лучше всего сохраняется в тунгусо-маньчжурской ветви, в виде **tuksa*); точно так же индоевропейскому **ten-* ‘тянуть’ соответствует алтайское **tha:no* с тем же значением, а индоевропейскому указательному местоимению **to-* ‘тот’ — алтайская основа **tha-* ‘тот’;
- на «индоевропейское **d-* = алтайское **t-*»: индоевропейскому числительному **dwe-* ‘два’ соответствует алтайская основа **tiubi* ‘два’, а архаичному индоевропейскому корню **de:-* ‘сказать’ (он сегодня сохраняется очень мало где, но, в частности, к нему восходит русская частица *де* в *он-де знает* и т. п.) — алтайский корень **te:-* ‘сказать’;
- на «индоевропейское **dh-* = алтайское **d-*»: индоевропейский глагол **dheg^wh-* ‘жечь’ (откуда, собственно, и славянское *жег-ти*) со-

ответствует алтайскому **deka* ‘жечь’, индоевропейское **dhe:-* ‘класть, ставить’ соответствует алтайскому **de:-* ‘лежать’, а жутковато выглядящий индоевропейский корень **dhghu-* ‘рыба’ (откуда, в частности, греческое *ichthus* и все слова греческого происхождения на *ихтио-*) сопоставим с алтайским **diagi* ‘рыба’.

Насколько реально «надежны» все эти примеры? Ведь они же претендуют на отражение каких-то сверхглубоких языковых форм, десяти-двенадцатитысячелетней давности?

Г. С.: Настолько надежны, насколько прочна и реалистична *система*, которая их связывает. Тут можно вспомнить известную байку про прутики, каждый из которых легко сломать по отдельности, но невозможно сломать в связке — этимологические корпусы, в общем-то, во многом устроены так же. Когда примеров набирается много, регулярные соответствия устанавливаются, а звуковые переходы типологически естественны — это очень мощный аргумент в пользу того, что мы здесь на верном пути.

А. Д.: Наверное, стоит упомянуть еще одно интересное достижение Иллич-Свитыча — соответствия между рядами индоевропейских заднеязычных согласных и гласными в уральских языках¹. Дело в том, что традиционно, еще с XIX века, для праиндоевропейского языка на основании регулярных соответствий восстанавливают не один ряд заднеязычных согласных, а целых три: простые (*k, g, gh*), палатальные, то есть мягкие (*k», g», g'h*, примерно как русское *кь*), и так называемые лабиовелярные (огубленные согласные *k^w, g^w, g^wh*).

Это система, мягко говоря, странная, с точки зрения того, что обычно встречается в языках мира. Даже в самих индоевропейских ветвях-потомках нигде она не сохраняется — в одних (например, в славянской) совпадают простой и лабиовелярный ряд, в других (например, в латыни) совпадают простые и палатальные. Однако в совокупности регулярные соответствия между языками вполне однозначны. Индоевропейцы эту

¹ *Иллич-Свитыч В. М.* Генезис индоевропейских рядов гуттуральных в свете данных внешнего сравнения // Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков. М., 1964.

«типологическую аномалию» хорошо знают, беспокоятся, иногда пытаются найти какой-нибудь выход, но элегантного, убедительного решения проблемы так и нет.

Иллич-Свитыч такое решение — достаточно простое, красивое и убедительно обоснованное — предложил на основе внешнего сравнения. Согласно его исследованию, появление одного из трех типов этих согласных зависело от того, какой в ностратическом праязыке за ним шел гласный, а демонстрировалось это на примере в первую очередь уральских языков, где старый вокализм сохранялся гораздо лучше, чем в праиндоевропейском. Конкретнее — в случае губных гласных (*o*, *u*) старые последовательности **ko-*, **ku-* давали в индоевропейском **k^we-* (признак огубленности при этом как бы переходил с гласного на согласный); в случае передних гласных (*e*, *i*) старые **ke-*, **ki-* превращались в **k'e-* («передность», то есть мягкость артикуляции, также переходила на согласный); наконец, там, где гласный был среднего ряда (*a*), старое **ka-* давало **ke-* (твердый согласный оставался твердым).

Примеры, скажем, можно привести такие: прауральское **kuye* 'лежать' соответствует праиндоевропейскому **k^wei-* 'отдыхать', прауральское **kinä* 'локоть' — индоевропейскому **g'enu-* 'колени', а прауральское **kanta* 'нести' — индоевропейскому **ghend-* 'хватать'.

Получается, таким образом, что смыслоразличительные признаки гласных переходили на согласные — то есть разнообразный ностратический вокализм «нейтрализуется» при переходе к праиндоевропейскому состоянию, и устанавливается хорошо известная индоевропейцам система «аблаута» — чередований гласных, когда они перестают быть смысловой частью корня и становятся, скорее, носителем грамматических отношений (русское *вез-у: воз-ул*, англ. *sit: sat* и т. п. случаи — все это старые следы индоевропейского аблаута). Правда, получается, что как следует проследить это можно, во-первых, только там, где корень содержит заднеязычный согласный, во-вторых, только при наличии хороших параллелей в уральских языках.

Г. С.: Можно даже сказать, что у этой идеи Иллич-Свитыча есть определенная «всемирно-историческая» значимость. Я уже говорил, что один из регулярных упреков, который можно услышать от узких специалистов

в адрес «макро»-компаративистов — мол, макрокомпаративистика ничего не дает для прояснения истории отдельных семей, которые входят в макросемью. Чем, например, конкретно для меня, такого-то индоевропейца со стажем, может быть полезна ностратика? Все это далеко, туманно, бездоказательно, спекулятивно и к реальным проблемам индоевропейского языкознания относится примерно так же, как квантовая механика к вопросам замерзания воды в трубах зимой.

Причем любопытно то, на каком фоне имеет место это отношение. Допустим, что та или иная конкретная семья — индоевропейская, уральская, дравидийская — в целом обработана, праязык более или менее реконструирован, основной этимологический корпус составлен. Что делать дальше? Дальше начинается так называемая *внутренняя реконструкция*. Грубо говоря, специалистам по этим семьям, вроде бы уже реконструировавшим праязык, становится интересно — а почему же этот праязык выглядел именно так, а не иначе? Скажем, тот же самый индоевропейский «аблаут»: вот мы установили, что в праиндоевропейском в глагольных корнях регулярно чередовались гласные *e* и *o* (например, **weg'h-ō* 'я везу': **wog'h-os* 'воз'), а откуда взялось это чередование, что-то ведь в истории языка должно было вызвать его появление?

На этом этапе начинается дальнейший анализ такого рода интересных явлений, вынесенных на уровень реконструкции, — компаративисты начинают привлекать типологические соображения, строить разной сложности логические, умозрительные построения, предлагать альтернативы, и все это они делают оставаясь строго в рамках индоевропейского материала. Никакого «внешнего» сравнения, только «внутренний» анализ. Здесь уже не до младограмматиков — младограмматики ведь требовали устанавливать регулярные соответствия между языками, а здесь есть только реконструированный праязык, нельзя же установить регулярные соответствия самому с собой!

Есть такой выдающийся американский лингвист-алтаист, Рой Эндрю Миллер, который умеет очень тонко и иронично обнажать недостатки «макроскептиков» — так вот, у него в одной из монографий есть, на мой взгляд, совершенно чудесное определение «внутренней реконструкции» как «*an incestuous attempt to derive one language from itself*», «кровосмесительная попытка произвести язык из самого себя». Разумеется, это от-

носится не к любой произвольно взятой ситуации «внутренней реконструкции» — при определенных условиях она может быть вполне достоверной и убедительной — а скорее к явному злоупотреблению этой процедурой.

А.Д.: Собственно говоря, «внутренняя реконструкция» — это примерно то же самое, что и просто морфонология (наука о грамматических чередованиях звуков в пределах слова), но только уже не на уровне живых языков, а на уровне реконструированного праязыка. Вообще морфонология — вещь очень важная, она может представлять собой остатки старой, может быть, даже очень древней, хотя и разрушенной и перестроенной системы. Но все очень сильно зависит от объема материала, на котором исследуется морфонология.

Например, когда мы разрабатываем морфонологическое описание русского языка, те правила, которые мы выводим на синхронном уровне, в историческом плане могут оказаться неверными — просто потому, что некоторые куски языковой системы устранены полностью, и внутренняя структура языка не может дать нам информации о том, куда же они делись. Можно, например, построить для русского языка такую «историческую» морфонологию, в которой будет окончание *-a* как показатель множественного числа (как в слове ‘городá’). Можно, и формально допустимо, но с точки зрения того, «как было на самом деле», неверно — во-первых, у нас есть памятники, по которым можно проследить, как окончание слова ‘городá’ дошло до жизни такой благодаря взаимодействию нескольких разных морфологических подсистем; во-вторых, у нас есть данные других славянских языков — допустим, словенского — в которых это решение про *-a* совершенно не работает. Данные внешнего сравнения, то есть в данном случае — формы в исторических памятниках и в других славянских языках для нас это морфонологическое решение закрывают, показывая, что на самом деле язык был устроен иначе.

Когда же мы выходим на более глубокий уровень (праиндоевропейский), здесь у нас некоторый парадокс: с одной стороны, индоевропеист априорно считает, что никаких «двоюродных» родственников у праиндоевропейского нет (то есть, может быть, где-нибудь какие-нибудь и есть, но дело это смутное, непонятное, языки нам неизвестны, как отличить

контакты от генетического родства, не знаем и т. п. и т. д.), с другой стороны — пойти «вглубь» при этом все равно хочется.

Допустим, у нас получилось восстановить примерно две тысячи корней для индоевропейского. Возникает вопрос: а не слишком ли много? Может быть, эти две тысячи можно свести к двум сотням, выводя их друг из друга? Так возникает бесчисленное множество «внутренних этимологий», которые, по сути, являются этимологиями *народными*, поскольку никаких рациональных, проверяемых обоснований у них нет. Аргументы тут бывают какие угодно — вплоть до сведений, почерпнутых из области поэтики или мифологии древних индоевропейских народов.

Вот, скажем, индоевропейский корень **mer-* ‘смерть, умирать’ сопоставляется с **mar-* ‘море’ (в русском языке оба, как легко заметить, сохраняются до сих пор, или ср. французское *mort* ‘смерть’, *mer* ‘море’). Почему? Понятно, что по звучанию они практически совпадают, но что общего в значении? А то, что во многих мифологических системах, в том числе индоевропейских, *покойники удаляются за море*. Вот и объединяем два корня в один: *мор-е* — это то, куда удаляются *мер-тв*ецы. И это, подчеркнем, не какой-то абстрактный «Задорнов», а этимологии, которые профессиональные лингвисты могут с абсолютно серьезным лицом нести печатать в уважаемые журналы.

В чем разница? Да только в том, что во втором случае мы, в отличие от условного «Задорнова», плюем не на историю (мы признаем, что в потомках праиндоевропейского ‘смерть’ и ‘море’ — два разных корня, и по всем канонам компаративистики реконструируем их на праиндоевропейском уровне как два разных корня), а только на предысторию — считаем почему-то, что дальше, в глубине веков, уже «все позволено». То есть, если кто-нибудь вылезет на телеэкран и скажет «А вы знаете, что русское *море* и *мертвый* — это одно и то же?», мы посмеемся, но при этом позволительно напечатать статью, в которой будет написано что-то вроде «вполне вероятно, что праиндоевропейские корни **mer-* и **mar-* имеют общее происхождение», и это будет считаться «научной гипотезой». Здесь есть, конечно, элемент абсурда.

Г. С.: Есть целые лексические области, где очень популярны такие «внутренние этимологии» — например, числительные. Сложные системы числительных (а «сложные» — это когда счет от трех и выше) имеют

относительно недавнее происхождение, в каждой крупной семье, как правило, своя собственная система, и устанавливать происхождение числительных обычно очень тяжело. Поэтому очень часто складывается так, что этимологи пытаются внешний вид числительного вывести буквально из первого попавшегося корня, который фонетически похож на это числительное. Неважно, какая между ними семантическая связь — пусть хоть самая отдаленная. Вот, например, арабист и семитолог Б. С. Гранде прасемитский корень 'четыре' на полном серьезе возводил к корню со значением 'лежать, покоиться' (потому что корова на лугу лежит, подбрав под себя четыре ноги!). А дравидийское числительное 'два', например, некоторые дравидологи пытались возвести к глаголу со значением 'пилить', потому что объект распиливают пополам. Понятно, что никакой реальной научной ценности у этих утверждений нет.

Разве что поэтическая.

Г. С.: Да, разве что поэтическая, потому что эти гипотезы основываются уже не на сравнительно-историческом методе и даже не на эмпирических наблюдениях, а исключительно на субъективных ассоциациях.

Самое главное — на такого рода почве очень легко накидать целый ворох конкурирующих друг с другом и при этом совершенно одинаково бестолковых, бездоказательных гипотез. Лирическое отступление для любимого примера: в древнем китайском толковом словаре I века н. э. «Ши мин» («Разъяснение имен») широко распространен прием «взять слово и 'объяснить' его значение через любое другое слово, которое звучит на него похоже и имеет хоть какую-то, самую отдаленную и опосредованную смысловую связь». А такую связь китайский «народный этимолог» эпохи правления династии Хань, поднаторевший в филологических изысках, мог отыскать практически между любыми двумя словами. Соответственно, в «Ши мин» само слово *мин* 'имя' объясняется по созвучности через омоним *мин* 'светлый', потому что 'имя' — это то, что «просветляет» объект, то есть «раскрывает», «разъясняет» его суть. А в другом словаре того же периода точно так же, по созвучности, *мин* 'имя' толкуется через другой омоним... *мин* 'темный'! Потому что «когда в темноте люди друг друга не видят, они друг друга кличут по имени».

Казалось бы, одного этого примера уже достаточно для того, чтобы твердо уяснить: без настоящего, качественного *сравнительного* компонента всякая попытка продвижения вглубь будет бесплодна — все будет сводиться к набору равновероятных и поэтому одинаково бесполезных альтернатив. Но нет, увы, традиция оказалась чрезвычайно живучей.

Насколько я понимаю, здесь можно провести явные параллели и с талмудическими «этимологиями»?

Г. С.: И с талмудическими, и с античными, и со средневековыми европейскими — злоупотребление «внутренней реконструкцией» в конечном итоге приводит к тому, что на глубоких хронологических уровнях (хотя бы от собственно «праиндоевропейского» к уровню «ранне-праиндоевропейского», «до-праиндоевропейского») незаметно происходит разворот от младограмматической строгости ровно в обратную сторону: к «гадательному» принципу донаучного языковедения.

А. Д.: Действительно, это такая парадоксальная ситуация — не успела компаративистика вроде бы разработать собственный научный метод, как опять начинаются попытки выйти за его пределы. И такого рода работ в «мейнстримовой» индоевропеистике на самом деле очень много, что не может не тревожить (слава богу, продолжают, впрочем, выходить время от времени и по-настоящему ценные публикации).

Но давайте вернемся обратно к основному предмету беседы — ностратической гипотезе Иллич-Свитыча. Примеры конкретных закономерностей, которые он открыл в ностратике (и в алтаистике) мы уже привели, но в общем он занимался, конечно, в первую очередь задачей глобальной: составлением этимологического корпуса, достаточно обширного, чтобы на его материале обосновать по крайней мере реконструкцию консонантизма. Конечно же, модель Иллич-Свитыча носила пионерский характер, и точно так же, как и, например, в алтайской модели Поппе, многие конкретные детали в ней до сих пор перестраиваются. В частности, А. Б. Долгопольский очень много внес собственных модификаций, опираясь на свои разыскания в области семито-хамитского (афразийского) языкознания.

При этом многие недостатки реконструкции Иллич-Свитыча связаны с тем, что он элементарно не успел их доработать — к сожалению, в августе 1966 года он трагически погиб, попав под машину. Весь гигантский словарь остался в картотеке, и публикацией занялись его коллеги — Долгопольский и Владимир Антонович Дыбо. В 1971 году им удалось издать первый том¹ — это этимологии, тщательно проработанные лично Иллич-Свитычем, и на их основании также удалось доработать таблицы фонетических соответствий между дочерними ветвями праностратического, которые у автора лежали в незаконченном виде.

Г. С.: В качестве эпиграфа к словарю, кстати, было использовано знаменитое «праностратическое стихотворение», которое Иллич-Свитыч написал с использованием своих реконструкций — явно с намеком на праиндоевропейскую «басню Шлейхера» 1868 года. Можно даже для интереса его привести целиком:

<p> KälHä weṭei ʒaḶun kähla ʔalaɪ palhḶ-ḶḶ na weṭä ša da ʔa-ḶḶ ʔeja ʔälä ja-Ḷo pele ṭuba wete </p>	<p> <i>Язык — это брод через реку времени, он ведет нас к жилищу ушедших; но туда не сможет прийти тот, кто боится глубокой воды.</i> </p>
---	---

И насколько высока вероятность, что именно так и говорили наши предки-«ностраты»?

Г. С.: Шансы того, что именно так и должно было выглядеть на языке десяти-двенадцатитысячелетней давности такое стихотворение, близки к нулю, и не из-за смыслового содержания, конечно (хотя маловероятно, что наши предки-«ностраты» с таким пиететом могли бы относиться к собственному языку), а из-за того, что *детали* звукового облика этих слов еще предстоит долго и тщательно уточнять, и то трудно сказать, сколько из них уточнится «наверняка». И, разумеется, от самого текста отдает некоторой исследовательской романтикой, вполне естественной для начала 1960-х годов, но в долгосрочном плане — несколько подозрительной.

¹ *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (b – ʔ). М.: Наука, 1971. Переиздан в издательстве УРСС, 2003 г.

Но при этом в целом сами этимологии, задействованные в этом стихотворении, лежат совершенно не в плоскости «лирики», а вполне себе лингвистической «физики». Посмотрим на реконструкции слов, вместе составляющих первую строку стиха Иллич-Свитыча:

ḲälHä 'язык' — восстановлен на основании прауральского **kele* 'язык' (отсюда финское *kieli*, эстонское *keel* и др.) и праалтайского **k`älä* 'язык' (отсюда монгольское *kele*, маньчжурское *ile-ŋ* и др.);

wete 'вода' — классическая параллель между индоевропейским **wed-or* 'вода' (откуда и русское *вода*, и английское *water*) и уральским **wete* 'вода' (откуда финское *vesi*, мордовское *ведь* и др.), есть и параллели в алтайских и дравидийских языках (со смежными значениями 'мокрый' и 'дождь');

ḲaḲu 'река' — это индоевропейское **ak^w-* (или, по другому варианту реконструкции, **hek^w-*) 'река', 'вода /проточная/', откуда, в частности, латинское *aqua* 'вода', с параллелями в кушитской ветви семито-хамитской семьи, а также (это было обнаружено уже позже) в алтайских (тюркское **iak-* 'течь') и в уральских (уральское **yoke* 'река') языках;

kähla 'брод' — значение 'переходить вброд' здесь только в уральских языках (прауральское **kälä*), в других языках просто 'идти' (дравидийское **ka:l-* 'идти', тюркское **kel-* 'приходить').

Когда мы сегодня пересматриваем эти этимологии в свете новых данных и новых открытий в уралистике, алтаистике, дравидологии и т. д., конечно, бывает, что вскрываются отдельные нестыковки, и какие-то сопоставления приходится отбросить. Но в целом они выглядят для компаративиста совершенно *естественно* — фонетические соответствия работают, а значения реконструкций либо совпадают полностью, либо связаны простыми и частотными семантическими переходами. Для Иллич-Свитыча это — *норма*. Мне доводилось читать критические статьи, где его огульно обвиняли в том, что правила звуковых переходов у него не работают, а общая семантика сравниваемых слов натянута до предела, но ответственно заявляю, что, за отдельными многочисленными исключениями, обвинения эти ложные. Фундаментальные проблемы у ностратического языкознания, безусловно, есть, но к степени научной аккуратности в работах Иллич-Свитыча они отношения не имеют.

А. Д.: Да, в каком-то смысле издание первого тома словаря произвело фурор в компаративистике (по крайней мере в отечественной), потому что нельзя было не заметить, что работа выполнена вполне в рамках компаративистской традиции; на нее даже очень доброжелательно откликнулось несколько маститых лингвистов-неиндоевропейцев. И тем не менее в целом теория скорее была принята в штыки. Кто-то вообще не осознал принципиального отличия работы Иллич-Свитыча от трудов его предшественников; кто-то осознал, но усомнился в качестве материала и степени его проработанности, и т. д. и т. п. Наконец, для многих лингвистов главным камнем преткновения стало просто то, что на выходе получалось что-то чрезвычайно непривычное — картинка вроде бы «похожая на правду», но при этом по степени четкости не очень тянущая на то, что они привыкли видеть, например, для индоевропейских языков.

Корни такого отношения к ностратике нужно, наверное, искать в начавшейся за несколько лет до выхода в свет словаря Иллич-Свитыча волне «анти-алтаистики», то есть пересмотра в гиперскептическом свете теории Рамстедта, Поппе и других ученых о родстве тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков (а также в «макро-алтайском» варианте, корейского и японского). Вообще алтайская и ностратическая гипотезы могут существовать в отрыве друг от друга: например, А. Б. Долгопольский, с одной стороны — один из отцов-основателей ностратики, с другой — долгое время был анти-алтаистом и считал, что тюркские, монгольские и т. д. языки просто входят в ностратическую макросемью «на равных» с индоевропейскими, уральскими и т. д., то есть не имеют особой близости друг с другом. Но, как правило, «алтаистика» скептиками рассматривается как своего рода «мини-ностратика» (или, наоборот, «ностратика» считается таким расширенным вариантом алтаистики, то есть преступлением в квадрате), и все те претензии, которые анти-алтаисты начиная с 1960-х годов предъявляли Поппе и его сторонникам, автоматически распространяются и на ностратическую гипотезу.

Г. С.: Да, и, кстати, основы «анти-алтаистических» убеждений очень хорошо (особенно в психологическом плане) разобраны в книгах Роя Эндрю Миллера, о котором я уже говорил как об одном из крупнейших

алтаистов нашего времени — он очень хорошо умеет находить в трудах своих оппонентов ключевые цитаты и отправлять их в нокаут их же словами. Например, в книге «Языки и история»¹ он, разбирая аргументацию первого из крупных анти-алтаистов — сэра Джерарда Клосона, виднейшего специалиста по тюркским языкам и Средней Азии в целом, — фокусируется на следующей цитате (цитирую по памяти, примерно, но смысл именно такой): «меня с детства учили, что алтайская теория верна, но вот как-то раз сел я, со своим тюркологическим бэкграундом, за монгольский текст — и не нашел в нем ничего тюркского, а в своих тюркских текстах, наоборот, не нашел ничего монгольского. С этого момента и началось мое разочарование в алтайской теории».

А.Д.: Да, и совершенно параллельное место есть у Бориса Александровича Серебренникова, нашего видного анти-алтаиста, где он приводит два текста, взятых из газетных передовиц на узбекском языке и на монгольском: вот, мол, смотрите, как непохоже.

Г.С.: Понятно, конечно, в чем суть этих заявлений — они являются своеобразной «антитезой» к чудесному признанию Уильяма Джонса о том, как он, начав заниматься санскритом, обнаружил столь поразительное системное сходство с древнегреческим и латынью, что не мог не прийти к выводу о том, что они родственны. То есть имеется в виду, что индоевропеистика — наука, покоящаяся на фундаментальных основаниях, бросающихся в глаза даже дилетанту, а алтаистика на самом деле «высосана из пальца».

Но на самом деле достаточно чуть-чуть по другому расставить акценты — и станет ясно, что текст такого содержания легко (ну, может быть, пришлось бы немного поднапрячься) мог бы написать и какой-нибудь «анти-индоевропеист», так что если к нему относиться серьезно, это ставит под угрозу не только алтаистику и ностратику, но и вообще сравнительно-историческое языкознание, особенно там, где оно сопряжено не с филологическим штудированием древних источников, а с работой над современными языками.

¹ *Miller Roy Andrew. Languages and History: Japanese, Korean, and Altaic. Orchid Press, 2006.*

Поясню на примере. Откроем произвольно взятый современный русский текст с параллельным переводом на английский — в них, конечно, будет много бросающихся в глаза похожих слов. По-английски — *revolution*, по-русски ‘революция’; по-английски *marketing*, по-русски — ‘маркетинг’; по-английски *computer*, по-русски — ‘компьютер’ и т. д. Человек, ничего не знающий об истории языков Европы, может легко сделать ошибку и решить, что как раз эти слова и свидетельствуют о том, что английский и русский — родственные языки. К нашему счастью, мы достаточно продвинуты в научном отношении, чтобы понимать — на самом деле эти слова и в тот, и в другой язык попали из общего греческого или латинского источника (‘революция’), или же, в менее отдаленное время, были заимствованы из английского в русский (‘маркетинг’).

Предположим, что нам удалось «вычистить» все заимствования и развеять соответствующее заблуждение. Но что тогда остается в сухом остатке? Берем базисную лексику и смотрим: по-английски *fish*, по-русски — ‘рыба’. По-английски *take*, по-русски ‘брать’. По-английски *hand* или *arm*, по-русски — ‘рука’. По-английски *foot* или *leg*, по-русски ‘нога’. Сколько тут сходства? Берем самые базисные, «обиходные», расхожие слова, и как раз в них-то никакого сходства и нет. Так что и я с таким же успехом, как Клосон, могу сказать, что не вижу ни достаточно английского в русском, ни достаточно русского в английском (тем более что строгого определения «достаточности» ни он, ни я не даем и, в общем, дать не можем). Разница только в том, что у нас есть древние памятники славянских и германских языков, где это сходство значительно возрастает (а еще ярче оно становится на фоне санскритских, греческих и латинских форм), — а для тюркских и монгольских языков, общий предок которых распался значительно раньше, чем праиндоевропейский, таких памятников нет (точнее, для тюркских есть, но на фоне общей глубины алтайской семьи «древность» их не очень существенна).

Иными словами, «анти-алтаисты» и «анти-ностратисты», хотя сами они в этом признаваться не любят, придерживаются примерно следующей методики: чтобы иметь возможность говорить о языковом родстве, его нужно обязательно уметь осознать на *интуитивном* уровне. Если родство не «чувствуется», никакие попытки обосновать его на формально-научной основе надлежащего действия не возымеют — все это будет

«сомнительно», «неубедительно». Хуже всего, если критика еще и подается под «квази-научным» соусом: мол, это вовсе не я опираюсь на свою интуицию, а как раз мой уважаемый оппонент, исходя из каких-то романтических, может быть, даже «религиозных» соображений, вообразил здесь какое-то «глубокое» родство, которое на самом деле под пристальным истинно научным взглядом неумолимо разваливается. Такой вариант, увы, тоже бывает, и тут дискуссия уже может перекинуться на личности.

А.Д.: Не говоря уже о том, что тут очень легко могут наложиться всякие социо-политические мотивы. Вот, например, в Южной Корее сейчас вроде бы скорее позитивно относятся к алтаистике, а Северная Корея ее долгое время не признавала (наверное, и до сих пор не признает) — помню, была когда-то в советское время регулярная серия докладов на конференциях, проводимых Институтом востоковедения АН СССР, про «буржуазную алтайскую теорию», которая противоречит идеям чуче и т. п. Понятно, что во многом это мотивируется тем, что в одну макросемью включается язык корейцев и их поработителей — японцев. Учитывая очень сложные отношения между Японией и Кореей, ясно, что и многим японцам тоже «не очень удобно» чувствовать себя близкими родственниками корейцев (притом что языковое родство и этническое родство, на самом деле, вещи очень разные, но это уже остается за скобками).

Впрочем, это еще ладно, это люди «со стороны», а иногда складывается впечатление, что и с настоящими специалистами случаются такие же казусы. Столь знатный тюрколог, как вышеупомянутый сэръ Клонсон, сам по себе был вполне неплохой компаративист — и в своем тюркском словаре, между прочим, различал отдельно слова с начальными *t* и *d* для тюркского, то есть, по сути, имплицитно признавал значимость этого противопоставления для общетюркского: это к тому, что человек *мог* нетривиально мыслить и идти супротив традиции там, где она плохо стыковалась с научным методом. Но и сэру Клонсону при этом «чисто по-человечески» могла быть глубоко отвратительна мысль о родстве «утонченных» чагатайцев, с их литературными способностями и культурностью, пишущих стихи по-персидски и т. п., с дикими носителями

тунгусских языков. Как минимум это «родство» должно было обязательно (пере)интерпретироваться так: любое сходство, которое мы видим между тунгусом и чагатайцем, тунгус наверняка должен был перенять у чагатайца, а не унаследовать от их общего предка. Точнее, тунгус перенял у монгола, а монгол уже у тюрка и т. д.

Похожий забавный пример есть для середины XIX века, когда еще только начиналось становление уральской реконструкции. Когда появились первые описания языков ханты и манси, стало ясно, что существует угорская языковая общность — венгров с хантыйцами и мансийцами. Соответственно в 1860-е годы начались этнографические экспедиции немецких и венгерских ученых к ханты-манси. Этнографические описания, однако, были весьма нелицеприятны — в частности, среди прочего описывались сцены, как манси ищут друг у друга вшей, выковыривают кончиком ножа и поедают. Когда это описание попало в руки молодому венгерскому этнографу Арминию Вамбери, он «понял», что венгерский язык, конечно же, совсем не угорский и вообще не уральский, а тюркский, и родственников венграм надо искать среди чагатайцев. И это мнение (что венгерский язык на самом деле тюркский) многие разделяют до сих пор, особенно в Турции (частично и в Венгрии). Вамбери, конечно, был человеком образованным: ездил в Турцию, прожил там семь лет при дворе, почти натурализовался, выдавал себя за турецкого купца, поехал в паломничество к могилам шейхов в Центральной Азии и т. д., но своей точки зрения так и не поменял, и в его этимологическом словаре тюркских языков много венгерских сопоставлений.

Конечно, сами по себе сопоставления имеют право на существование, потому что в венгерском действительно очень много тюркских заимствований. Но и по грамматике, и по своей базисной лексике он все же, вне всякого сомнения, угорский. Большая часть заимствований — это так называемые вульгаризмы (их примерно 500 штук), вполне естественные, учитывая, что мигрировали на запад венгры по территориям, занятым тюрками. Так что насильно отрывать венгров от уральцев и «роднить» их с тюрками недопустимо — с таким же успехом можно, например, русский язык выкинуть из славянской группы из-за того, что в нем тоже повышенный процент тюркских заимствований.

А можно ли сказать, что в ностратической гипотезе, по сравнению с работами Вамбери и ему подобных, нет никаких собственных «предрассудков»? Не было ли попыток покритиковать и самого Иллич-Свитыча за предвзятость?

Г. С.: Были, но очень незначительные. Где-то на безграничных просторах Интернета, сейчас уже трудно вспомнить где, даже удалось как-то вычитать что-то совсем безумно-конспирологическое — что, мол, Иллич-Свитыч свою теорию разрабатывал чуть ли не по заданию советского правительства, которое с помощью «ностратического» родства хотело внушить всем проживающим на территории СССР народам идею их исторического единства, чтобы индоевропейцы, уральцы, алтайцы и картвелы все зажили счастливо, дружной семьей.

Понятно, что опровергнуть этот или любой аналогичный миф для человека, попавшего под мрачное обаяние теории заговора, по определению невозможно, но ни один здравомыслящий член научного сообщества, находящийся хотя бы чуть-чуть «в теме», такого рода утверждения серьезно воспринимать не станет. Не говоря даже о том, что в ностратическую макросемью Иллич-Свитыч включал и семьи, находящиеся далеко за пределами СССР (дравидийскую, например — а уж о том, чтобы «по согласованию с советским правительством» роднить индоевропейцев с семито-хамитами, и речи быть не могло), и, наоборот, кое-какие языковые группы Сибири и Дальнего Востока, например, енисейцы или нивхи, к «ностратам» причислены не были — в самих работах Иллич-Свитыча нет ни малейшего намека на какие-то «практически-ориентированные» выводы из теории. Все они написаны сухим, строгим, ясным научным языком, без эмоций и совершенно без попыток выйти за пределы лингвистики.

Да и вообще, если задуматься, какие практические или даже «пропагандистские» выводы можно извлечь из гипотезы об общем языковом предке языковых семей Евразии, существовавшем десять-двенадцать тысяч лет назад, когда не было еще даже устойчивого земледельческого хозяйства, не говоря уже о государственных образованиях? С таким же успехом можно утверждать, что локализация прародины человека в Восточной Африке — это такой коварный план по утверждению гегемонии

Кении, Уганды и Эфиопии на мировом пространстве, но что-то не слышно, чтобы обнаружение на их территории древнейших человеческих останков помогло им «удвоить ВВП».

Так что здесь можно заявить вполне ответственно — никакой политической подоплеки в ностратической гипотезе никогда не было и, в общем, не может быть по определению. Разве что само слово «ностратический», датированное 1913 годом, может быть, оказалось не очень удачным, но тут уже вступает в действие сила традиции — просто так не переименуешь.

А.Д.: Давайте все-таки вернемся теперь к более предметному обсуждению наследия Иллич-Свитыча. Второй том словаря вышел через пять лет после первого, в 1976 году, но был уже значительно меньше по объему (всего около сотни этимологий), а дальше работа несколько затормозилась, отчасти потому, что выход словаря вскрыл очень много, так сказать, «латентных» проблем. Когда пришло время выпускать третий том, его делали уже не с беловых и даже не с черновых рукописей автора, а с наметок в его огромной картотеке — и тут стало окончательно ясно, что внутренние этимологии (алтайские, уральские и т. п.) недостаточно хорошо проработаны для того, чтобы можно было уверенно перейти к уровню более глубокого, общеностратического сравнения. Так что третий том ностратического словаря (1984) — это не только и не столько собственно ностратические этимологии, сколько детальное рассмотрение внутренних этимологий, подробное обсуждение многих спорных моментов индоевропейской, уральской, алтайской реконструкции.

Г.С.: Кстати, если посмотреть на полный список ученых, вошедших в «рабочую группу» по подготовке третьего тома, то там практически чуть ли не в полном составе все представители Московской школы компаративистики по состоянию на 1984 год — включая и непосредственно Анну Владимировну, которой принадлежит авторство большей части «внутренних» этимологий. А.Б. Долгопольский к тому времени уже, к сожалению, эмигрировал из СССР, но почти все ученики первого поколения советских «ностратистов» — Иллич-Свитыча, Долгопольского, В.А. Дыбо — внесли свою лепту.

А.Д.: И в конечном итоге, пока мы все сидели над третьим томом, стало понятно, что больше времени уходит на модификацию старых реконструкций, чем на разработку новой — ностратической. В каком-то смысле оказалось, что усовершенствовать ностратическую реконструкцию Иллич-Свитыча просто невозможно — совсем не потому, что она уже «идеальна», а потому, что она выполнена настолько хорошо, насколько для автора это оказалось возможным по состоянию на начало 1960-х годов. Но нельзя уточнять, «оттачивать» регулярные соответствия между отдельными ветвями ностратической макросемьи, если ты не имеешь твердого, солидно сформированного представления о регулярных соответствиях внутри этих ветвей.

Г.С.: Для примера — скажем, праностратическую систему гласных звуков Иллич-Свитыч восстанавливал преимущественно по данным уральских языков, а прауральская система вокализма уралистами, по большому счету, копировалась с современного финского языка: соответствия между уральскими языками в этой области отличаются совершенно феноменальной сложностью, так что выбран был простой вариант — исходя из того, что прибалтийско-финские языки в целом архаичны по очень многим пунктам (по сравнению, например, с теми же угорскими или самодийскими), просто отталкиваться от финской системы, а все необъяснимые отклонения игнорировать. В итоге получилось, что праностратический вокализм по Иллич-Свитычу — это, с небольшими исключениями, практически то же самое, что финский вокализм, то есть финский — это такой уникальный язык, в котором за последние двенадцать тысяч лет не было ни одной крупной перестройки системы гласных звуков.

Конечно, бывают и уникальные ситуации, но чем уникальнее ситуация, тем более строгих она требует аргументов, а тут их как раз нет — прауральская система вокализма восстановлена из рук вон плохо, требуется еще колоссальный объем работы, чтобы охватить весь материал и грамотно разобраться в ситуации. Сейчас у нас есть небольшая, не очень тесно слаженная, но очень активная команда молодых уралистов — может быть, в ближайшие лет десять-двадцать им, наконец, удастся совершить финальный прорыв в этой области. Но при жизни Ил-

лич-Свитыча такой команды не было, а сам он слишком подробно в это болото залезть не решился (хотя кое-какие моменты в уральской реконструкции все же по ходу дела прояснил): собственно говоря, в такой ситуации уже просто пришлось бы делать выбор между «узкой» уралистикой или «широкой» ностратикой, на обе дисциплины сил бы не хватило.

А. Д.: Аналогично для алтайских языков — именно тогда, в середине 1980-х годов, по инициативе Серези Старостина было принято судьбоносное решение приступить к систематической работе над этимологическим словарем алтайских языков. Потому что чем больше материала учитывалось в ходе работы над ностратическими этимологиями (а особенно после того, как Старостин, развивая идеи Роя Миллера и других алтаистов об алтайской принадлежности японского языка, стал подключать японский материал), тем меньше итоговые алтайские реконструкции оказывались похожими на то, как их себе представляли и Рамстедт, и Поппе, и даже Иллич-Свитыч, который в своих статьях начал «реформу» алтайской реконструкции, но так и не успел ее завершить.

Начальным этапом этой работы был выход в свет в 1991 году монографии Старостина, которая так и называлась, вполне недвусмысленно, «Алтайская проблема и происхождение японского языка» (по ней он защитил докторскую диссертацию), а финальным — публикация в 2003 году «Этимологического словаря алтайских языков» (авторы — А. В. Дыбо, О. А. Мудрак, С. А. Старостин; словарь вышел на английском языке в издательстве Brill). Соответственно, понятно, что из-за этого примерно лет на пятнадцать-двадцать акцент с «ностратики» в рамках Московской школы переключился преимущественно на «алтаистику», отчасти также на уралистику (тут непревзойденным авторитетом до самой смерти, в 2007 году, был наш коллега Е. А. Хелимский, сейчас его «знамя» перешло к молодым коллегам — М. Живлову, Ю. Норманской, К. Решетникову и другим сотрудникам Института языкознания).

Г. С.: Иногда приходится сталкиваться с недоуменными замечаниями «симпатизирующих» коллег, открыто спрашивающих, куда подевались ностратические исследования — или же, напротив, с ехидной критикой

«скептиков», отмечающих, что ностратика находится в предсказуемом кризисе, зашла в тупик, сама себя исчерпала и т. п.

Ностратика, действительно, в некотором кризисе, тут себя обманывать не нужно — но кризис этот наполовину связан с общим кризисом сравнительно-исторического языкознания и вообще любых фундаментальных направлений в языкознании и других гуманитарных науках (об этом мы, может быть, поговорим чуть подробнее в самом конце), а наполовину — с тем, что мы сейчас как бы находимся на новом витке спирали. Как индоевропейцы, ураллисты, алтаисты, дравидологи, семитологи и т. п. первой половины XX века должны были подготовить почву для возникновения ностратики как научной дисциплины, так сейчас следующие поколения уралистов, алтаистов, дравидологов и т. п. должны еще раз перепахать то же самое поле, только намного глубже и тщательнее, чтобы можно было на принципиально новом уровне дальше развить идеи Иллич-Свитыча и, быть может, довести их до такой кондиции, чтобы, наконец, преодолеть «гиперскептицизм» со стороны компаративистского мейнстрима. Над чем они, эти поколения, честно и трудятся.

То есть получается, что собственно ностратикой сегодня вообще никто не занимается? Подвисла в воздухе?

Г. С.: Собственно ностратической реконструкцией во всем мире в той или иной степени занимается сегодня, наверное, от силы человек десять, каждый из которых может, скажем, раз в пять-шесть лет выпустить в свет какое-нибудь небольшое исследование. У С. А. Старостина по «чистой» ностратике, связанной с уточнением реконструкции Иллич-Свитыча, вышла, кажется, всего одна небольшая статейка за всю жизнь (правда, очень важная, там предлагается целый новый ряд фонетических соответствий). У Анны Владимировны вот — наверное, две или три. У вашего покорного слуги — тоже две или три, в основном завязанных на переоценке прадравидийской реконструкции и последствий, которые эта переоценка может иметь для ностратики. Наши немногочисленные зарубежные коллеги (в основном раскиданные по университетам Восточной Европы или Америки) публикуются на «ностратическую» тематику примерно с той же частотностью — просто они, по разным причинам, не могут

себе позволить тратить на это все свое рабочее время (а получить официальный грант на «ностратические исследования» — что на Западе, что в России затея скорее из области фантастики).

На полноценной основе, то есть как «делом всей жизни», до недавнего времени ностратикой занимались всего два человека — это Арон Борисович Долгопольский и американский лингвист Аллан Бомхард (их, в шутку, коллеги иногда называют основными — и единственными — представителями соответственно «хайфской» и «чарльстонской» школ ностратики).

Арон Борисович, к сожалению, в 2012 году скончался, сидя за рабочим столом, где работал над третьим изданием своего огромного «Ностратического словаря», над которым в совокупности проработал почти полвека. В «бумажном» виде словарь, правда, так ни разу и не вышел, но финальный макет первых двух изданий можно легко скачать в электронном виде с сайта Кембриджского университета, который взял на себя ответственность за дистрибуцию¹. Труд абсолютно гигантский — почти три тысячи этимологий (это по сравнению с примерно тремя-четырьмя сотнями, в совокупности составляющими три тома словаря Иллич-Свитыча) — но не очень удобочитаемый, особенно для «новичка»: у Долгопольского была собственная, очень специфическая, система нотации материала, аббревиатур, транскрипции и т. п., специально приспособленная к его рабочим нуждам, но читателя «попроще» повергающая в абсолютный ступор, так что, в общем, это издание скорее для профессиональных макрокомпаративистов, а не для широкой публики, и понятно, почему Кембридж пожалел бумагу (второе издание растянулось почти на три тысячи страниц).

А по сути-то — словарь хороший или плохой?

Г. С.: Сложно дать однозначную оценку труду в три тысячи страниц, написанному великим, но немножко, так сказать, «догматизированным» ученым, который к тому же последние двадцать лет жизни провел в зна-

¹ *Dolgopolsky Aharon. Nostratic Dictionary. 2008.* Полный текст англоязычного словаря выложен в открытый доступ на сайте Кембриджского университета (<http://www.dspace.cam.ac.uk/handle/1810/196512>).

чительной степени в изоляции от мирового научного общества (да и до этого не очень сильно позволял на себя влиять, хотя за новой литературой по теме следил исключительно внимательно). Конечно, там масса новых интересных сопоставлений, которые еще только предстоит внимательно изучить и оценить. Но в целом общее впечатление от словаря Долгопольского скорее таково, что при всей его масштабности значительно продвинуть ностратику вперед по сравнению со словарем Иллич-Свитыча ему все же не удалось.

Дело в том, что в чисто *методологическом* аспекте Иллич-Свитыч и Долгопольский работали в одном ключе — разрабатывали ностратическую этимологию по классическим рецептам младограмматической, индоевропеистической школы XIX века. И почти все этимологии, так сказать, «высшего сорта» (то есть такие, в которых не только соблюдаются регулярные соответствия, но к которым нет также существенных претензий ни с точки зрения семантики, ни в плане их убедительной реконструируемости на «низких» прауровнях), уже были представлены в работах Иллич-Свитыча — Долгопольскому скорее осталось «зачищать» территорию, подбирая этимологии заведомо менее убедительные.

Для словаря Долгопольского нормальна ситуация, когда сравнивается, скажем, слово, представленное в (а) маньчжурском языке, (б) трех-четырёх мелких языках из западночадской семьи, (в) в самодийской ветви уральских языков. Иллич-Свитыч бы, скорее всего, из осторожности отказался от такого сравнения — потому что, например, маньчжурский язык от праностратического уровня отделен десятью-двенадцатью тысячелетиями: между ними стоит «пратунгусо-маньчжурский» (а где к этому маньчжурскому слову параллели в тунгусских языках?) и «праалтайский» (где параллели в тюркских и монгольских языках?). На критику такого рода Арон Борисович невозмутимо отвечал: «А что, собственно, не так? Корни и слова в языках теряются, это нормально — вот, например, общеиндоевропейский корень **me:ms-* ‘мясо’ из всех германских языков сохранился только в готском *timza-*, и если бы у нас не было доступа к старым текстам на готском языке, мы бы вообще считали, что это слово исчезло уже на прагерманском уровне».

И тут формально не возразишь: действительно, вероятность того, что какой-нибудь древний ностратический корень сохранится только в не-

большом пучке современных языков-потомков, разбросанных по всему ностратическому ареалу, как минимум выше нулевой, а если его рефлекс еще и связаны фонетическими соответствиями по системе Иллич-Свитыча / Долгопольского — тут вообще, казалось бы, любая критика должна отменяться. Но когда эти «дефективные» этимологии начинают плодиться чуть ли не в геометрической прогрессии — тут уже волей-неволей начинаешь подозревать, что автор словаря, может быть, без всякого злого умысла, просто эксплуатирует некий изъян в сравнительно-исторической методологии.

Это такой изъян, который обнаруживается только на уровне макрокомпаративистики, или какой-то изначальный дефект методики?

Г. С.: На мой взгляд, это изъян, связанный с переоценкой роли регулярных фонетических соответствий в установлении языкового родства и праязыковой реконструкции. Конечно, РФС — это основа основ компаративистики, и без них нельзя никак, но я уже показывал в прошлых беседах, как, если очень сильно напрячься, можно установить «фальшивые» РФС между языками. Делается это за счет нарушения баланса, которое достигается одним из двух способов: либо можно полностью пренебрегать правилами и тенденциями семантических переходов (то есть допускать к сравнению слова с минимально похожими значениями), либо можно обложиться со всех сторон словарями и привлекать к сравнению все больше и больше языковых групп — чем больше словарей разных языков, тем больше вероятность найти в них что-нибудь подходящее для того, чтобы «подпитать» разрабатываемую в данный момент этимологию.

С семантикой в словаре Долгопольского в целом более или менее складная ситуация (во всяком случае, бывает гораздо хуже), а вот второй вид «дисбаланса» у него представлен во всей красе. Арон Борисович действительно утопал в словарях (да и сам был ходячей лингвистической энциклопедией), и это изобилие в конечном итоге сослужило ему дурную службу — из тех почти трех тысяч корней, которые он нареконструировал для праностратического, хорошо если в будущем подтвердится хотя бы треть.

В любом случае, хотел бы в обязательном порядке предупредить тех наших читателей, которые не поленятся раскопать словарь Долгопольского, — некритическое использование перечисленных в нем этимологий, в стиле «а вот лингвисты реконструировали, что на праностратическом 'палка-копалка' будет так-то и так-то», чрезвычайно не рекомендуется. Как минимум нужно уметь посмотреть дальше формы под звездочкой, с которой начинается словарная статья, и оценить степень «силы» или «слабости» этимологии по тому, как широко она представлена в языках-потомках и каков реальный спектр значений в этих языках. Что, опять-таки, учитывая уникальный «формат Долгопольского», сделать непросто — для этого надо стать настоящим энтузиастом ностратического сравнения.

Но при этом мы, конечно, со словарем Долгопольского работаем — в этимологии всегда проще, когда есть уже готовый корпус. Пусть он в ужасном состоянии и требует радикальной переработки, но это все равно лучше, чем ничего: как бы то ни было, Арон Борисович проделал колоссальный объем «грязной» работы и тем самым во многом облегчил задачу для будущих поколений, да, собственно говоря, и для текущего — мы как раз сейчас на семинаре в РГГУ занимаемся компиляцией очередной версии базы данных по ностратическим языкам, и словарь Долгопольского всегда при нас.

Хорошо, с Долгопольским понятно. А кто такой Аллан Бомхард, и что он полезного сделал для ностратики?

Г. С.: О, это очень интересная, но и очень неоднозначная история. Как уже и так следует из всего вышесказанного, в Америке ностратическая гипотеза «не прижилась». Там и вообще сравнительно-историческое языкознание не очень в ходу (поскольку лингвистические школы в США стали возникать уже в «постсосюрскую» эпоху, когда диахрония оказалась строго отделенной от синхронии), а уж о «дальнем родстве» и говорить нечего. Виднейшим популяризатором ностратики там оказался наш соотечественник, индоевропеист, крупный специалист по древним языкам Анатолии Виталий Викторович Шеврошкин — он эмигрировал в Штаты в 1970-е годы, стал профессором

в Мичиганском университете, там вырастил несколько учеников, постарался по мере сил ознакомить общественность с наследием Иллич-Свитыча, даже издавал краткие отрывки из словаря, переведенные на английский, но широкого успеха среди коллег-лингвистов так и не сыскал. Первая реакция была достаточно прохладной, народ с опаской присматривался к новому направлению, а поскольку Виталий Викторович — человек с достаточно сложным характером, в конечном итоге он просто перессорился с критиками и испортил себе академическую репутацию. Так что качественного «пиара» гипотезы так и не получилось.

Но помимо отечественных эмигрантов, ностратическая гипотеза за рубежом иногда оказывается представлена и «локальными» специалистами, которые лучше адаптированы к тому, чтобы работать на местную публику. Тот же Шеворошкин, скажем, печатался в основном очень мелкими, локальными тиражами — большую часть его так называемой красной серии, выходявшей в Энн Арборе, наверное, только его ученики и ближайшие коллеги и видели. А вот с Алланом Бомхардом совсем другая история.

Бомхард — лингвист-самоучка, начинал как компаративист-любитель, занимался сначала бинарным сравнением индоевропейских и семитских языков (то есть как бы продолжал старую затею Мёллера), потом узнал о ностратике, очень загорелся этой идеей, познакомился с трудами Иллич-Свитыча и начиная с середины 1980-х годов стал активнейшим образом развивать собственное видение ностратики. На сегодняшний день у него в активе уже три монографии по ностратическому сравнению и два издания (1994 и 2008 год) собственного словаря ностратических языков — причем первое, написанное в соавторстве с Джоном Кернсом, вышло хорошим тиражом в очень приличном европейском издательстве¹. Это значит, что любой западный человек, который вдруг по какой-то причине заинтересуется ностратикой и захочет поближе ознакомиться с материалом, в первую очередь, скорее всего наткнется именно на словарь Бомхарда, а не Долгопольского и уж тем более не Иллич-Свитыча.

¹ *Bomhard Allan, Kerns John C. Reconstructing Proto-Nostratic: Comparative Phonology, Morphology, and Vocabulary. Leiden/Boston: Brill, 1994.*

Это плохо?

Г. С.: При всем уважении к Аллану, с которым мы все знакомы, поддерживаем связи и который, несомненно, работает усердно и от чистого сердца — да, это скорее плохо. В отличие от Долгопольского, который в своей этимологической практике ни на йоту не отступал от «освященного традицией» сравнительно-исторического метода (что в конечном итоге его словарю скорее повредило, чем пошло на пользу), Бомхард как раз попытался методику слегка подкорректировать. Его идея заключалась в следующем: главный, по мнению Бомхарда, промах Иллич-Свитыча в том, что тот в своей реконструкции не сумел должным образом учесть *типологические* соображения — иначе говоря, восстановил для праностратического такую систему звуков и, главное, такую систему звуковых переходов от языка-предка к языкам-потомкам, которой на самом деле быть просто не могло.

Например, говорит Бомхард, в словаре Иллич-Свитыча мы находим такое соответствие: «индоевропейское $*t$ = картвельское $*t$ = семито-хамитское $*t$, отражает праностратическое $*t$ ». Знак t (t с подписной точкой) передает специфический, так называемый абруптивный или глоттализированный звук, сопровождаемый дополнительным «взрывом» в области гортани, — это, действительно, звуки, вполне характерные для картвельских (а также других кавказских, не входящих в ностратическую семью) языков и для семито-хамитской семьи. Но Бомхард указывает на следующую особенность: «глоттализированные» звуки — это «маркированные», то есть редкие звуки, и крайне странен тот факт, что «редкому» типу звуков в картвельских и семито-хамитских языках регулярно соответствует «частый» тип звуков, то есть обычный глухой t , в индоевропейских языках.

В итоге, например, указательное местоимение 'тот' у Иллич-Свитыча восстанавливается как $tä$, потому что в праиндоевропейском оно отражается как $to-$ / $te-$, и то же самое касается еще целой кучи служебных слов и грамматических элементов, которые в праиндоевропейском включают звук t . Этот факт Бомхарда глубоко возмущает: как так получается, что, вопреки типологическим данным и здравому смыслу, в самых «расхожих» морфемах праностратического языка редкий, в каком-то смысле

«экзотический» звук *t̥* должен был встречаться чаще, чем простой глухой *t*? И то же самое касается и других рядов согласных, например, заднеязычного (*k*), губного (*p*) и т. д.

Проблема была подмечена верно, но решение для нее было предложено, на мой взгляд, наихудшее из возможных. Если соответствия Иллич-Свитыча приводят к типологически неестественному решению, рассуждает Бомхард, значит, соответствия были установлены неверно и должны быть пересмотрены. Что он и делает — и предлагает новое соответствие: в его системе индоевропейское **t* будет соответствовать картвельскому **t* и семито-хамитскому **t*, а более редкие «абруптивные» звуки будут соответствовать более редкому индоевропейскому звонкому **d* (этот звук Бомхард уже для праиндоевропейского, следуя так называемой глоттальной теории в индоевропеистике, переинтерпретирует как **t̥*). В типологическом отношении здесь все получается складно и элегантно. Но принять эту гипотезу — это, по сути, все равно что подписать смертный приговор ностратике как научной дисциплине, претендующей на серьезность.

А почему такая категоричность в суждении именно на такой вроде бы частной детали?

Г. С.: В том-то и дело, что она только на первый взгляд кажется частной. В компаративистике принято строго разделять так называемые вопросы *фонологической реконструкции* и *фонетической интерпретации*. За каждым установленным регулярным соответствием стоит элемент праязыка — не просто «звук», а «звук», выполняющий смыслоразличительные и «строительные» функции, то есть *фонема*, — и любая реконструкция в первую очередь является фонологической, то есть она устанавливает, из каких минимальных «кирпичиков» состоял праязык, сколько их было и в каком слове праязыка какие конкретно «кирпичики» присутствовали. *Фонетическая интерпретация* реконструкции пытается определить или уточнить, как конкретно произносились эти кирпичики. Например, я могу какую-нибудь праформу какого-нибудь праязыка, основываясь на регулярных соответствиях, записать как **PER*. Понятно, как ее произносить? Нет, потому что я специально вы-

брал такую запись, чтобы сказать, что фонема **P*, может быть, произносилась, как глухой *p*, или как звонкий *b*, или как придыхательный *ph*; что фонема **E*, может быть, произносилась как [e] закрытое или как [ɛ] открытое; что фонема **R* произносилась как русское [r], или как французское «картавое» [ʀ], или как английское и т. п.

На практике очень многие дискуссии между компаративистами часто сводятся к вопросам фонетической интерпретации, что люди неопытные могут принять за расписывание в собственной беспомощности — «как это вы реконструируете праязык и не можете при этом уверенно сказать, как эти слова произносились?». Но представьте себе, например, что у вас есть текст на неизвестном языке, записанный латинской графикой, а также грамматика и словарь этого языка — нет только правил чтения. Можно ли в такой ситуации перевести текст или нет? Конечно, можно — даже если вы совершенно не уверены в том, правильно ли вы произносите, например, какое-нибудь сочетание «sz» или «th». Точно так же и автор реконструкции — для него не так важно, произносился ли тот или иной звук в праностратическом как глухой или абруптивный, важнее то, что вот в этих словах восстанавливается сегмент *X*, а вот в тех — сегмент *Y*.

Иллич-Свитыча вопросы фонетической интерпретации не то чтобы совсем не интересовали, но они отступали на задний план — главной задачей для него было установить соответствия. В большинстве дочерних ветвей ностратической семьи смычные согласные были представлены тремя рядами: для праиндоевропейского восстанавливаются глухие (**p*, **t*, **k*), звонкие (**b*, **d*, **g*) и звонкие придыхательные (**bh*, **dh*, **gh*), для пракартвельского и прасемито-хамитского — глухие, звонкие и абруптивные, для алтайского — глухие, звонкие и глухие придыхательные (третий звонкий ряд для праалтайского, как уже было сказано, сумел восстановить лично Иллич-Свитыч). Только в прауральском и прадравидийском произошло радикальное упрощение: для прауральского восстанавливаются только глухие согласные, для прадравидийского — глухие и, возможно, звонкие, хотя этот вопрос остается спорным.

Заслуга Иллич-Свитыча была в том, что он между этими рядами установил четкие корреляции. Исходную систему он реконструировал

такую же, как в картвельском и в семито-хамитском (что и возмутило Бомхарда), но дело не в том, какие символы мы пишем под звездочкой, а в том, в каких корнях мы восстанавливаем эти символы. Я могу записать правило, согласно которому

(а) праностратический $*t \rightarrow$ праиндоевропейский $*t$, пракартвельский $*t$, праалтайский $*th$; (б) праностратический $*t \rightarrow$ праиндоевропейский $*d$, пракартвельский $*t$, праалтайский $*t$; (в) праностратический $*d \rightarrow$ праиндоевропейский $*dh$, пракартвельский $*d$, праалтайский $*d$;

но я с таким же успехом могу записать «праностратический $*t_1$, праностратический $*t_2$, праностратический $*t_3$ », а как они *точно* произносились, меня не волнует (точнее, волнует, но я могу допустить, что при текущем раскладе данных этот вопрос принципиально не решаем).

Бомхарда же этот вопрос волновал настолько, что ради его «элегантного» решения он поменял соответствия Иллич-Свитыча. У него получилось так:

(а) праностратический $*t \rightarrow$ праиндоевропейский $*d$, пракартвельский $*t$, праалтайский $*t$; (б) праностратический $*t \rightarrow$ праиндоевропейский $*t$, пракартвельский $*t$, праалтайский $*th$; (в) праностратический $*d \rightarrow$ праиндоевропейский $*dh$, пракартвельский $*d$, праалтайский $*d$.

Как видно, соответствие (в) не изменилось, а соответствия (а) и (б) поменялись очень существенно. На практике это означает, что от большой группы этимологий Иллич-Свитыча приходится отказаться. Например, индоевропейский корень $*terp-$ ‘процветать, наслаждаться’, который в системе Иллич-Свитыча отлично соответствует картвельскому $*tɾp-$ ‘наслаждаться, любить’, в системе Бомхарда с картвельским корнем быть связан уже не может. Индоевропейскому $*kwes-$ ‘грустить, всхлипывать’ не может соответствовать картвельское $*kʰus-$ ‘стонать, вздыхать’ и т. п.

Бомхарда это не очень смущает: он утверждает, что вместо «выбывших из строя» этимологий можно по его, Бомхарда, новым соответстви-

ям найти другие, не менее удовлетворительные. Но именно здесь и кроется потенциальная трагедия. Представьте себе индоевропеиста, опубликовавшего работу, в которой написано примерно следующее: «Старое мнение о том, что германским глухим согласным **p*, **t*, **k* соответствуют древнеиндийские *b*, *d*, *g* — неверно; на самом деле германским **p*, **t*, **k* соответствуют древнеиндийские *p*, *t*, *k*, так что старые этимологии надо отвергнуть и заменить новыми». Очевидно, что его сочтут сумасшедшим, и не потому, что над «закоснелыми индоевропеистами» довлеет сила традиции, а потому, что истинность старых соответствий абсолютно прозрачна — на них набирается масса хороших этимологий, с удовлетворительной семантикой и дистрибуцией по языкам-потомкам, в то время как на «новые» соответствия не наберется ничего. И, собственно говоря, один этот факт уже подтверждает родство германских языков с древнеиндийским.

Вся значимость работы Иллич-Свитыча как раз и сводилась к тому, что ностратика основана на ровно тех же фундаментальных основаниях, что и «старые» компаративистские дисциплины. Если же получается, что в ностратике мы можем свободно «жонглировать» базовыми фонетическими соответствиями — а соответствия по основным рядам смычных согласных носят абсолютно фундаментальный характер — и получать сопоставимые по убедительности результаты, значит, грош цена такой ностратике. Если можно «и так», то есть по Иллич-Свитычу, «и этак», по Бомхарду, и непонятно, что лучше, а что хуже — значит, на самом деле нельзя вообще никак, и ностратика — это лженаука, так как она не удовлетворяет критерию фальсифицируемости.

Так как же лучше — по Иллич-Свитычу или по Бомхарду?

Г. С.: Не идеализируя ни в коей степени результаты Иллич-Свитыча («правки по мелочи» в его реконструкции уже накопилось очень много, и будет еще больше), конечно, в общем и в целом лучше по Иллич-Свитычу, и внимательный анализ словаря Бомхарда это подтверждает очень наглядно.

На ранние работы Бомхарда, посвященные двустороннему индоевропейско-афразийскому сравнению, в свое время написал пару отличных

рецензий наш покойный коллега, Е. А. Хелимский¹; поскольку стиль Бомхарда нисколько не изменился при переходе к более широкому, многостороннему ностратическому сравнению, сделанные в них выводы вполне применимы и к более поздним его работам. В рецензиях Хелимского было отчетливо показано, что сопоставления Бомхарда в основном оперируют корнями с чудовищно «размытой» семантикой — например, такими глаголами, как ‘бить’, ‘гнуть’, ‘течь’, ‘братъ’ и т. п. Каждый из таких корней в языке обладает целой тучей переносных значений (сколько, например, разных значений может выражать корень русского глагола ‘бить’ в сочетании с различными приставками — ‘убить’, ‘набить (руку)’, ‘набить (подушку)’, ‘отбить’, ‘разбить’ и т. д.?), а это значит, что при желании из таких корней можно составить надлежащее обоснование для вообще *любой* системы фонетических соответствий, какая только придет в голову.

Например, Хелимский предложил протестировать «по методу Бомхарда» такое заведомо фантастическое соответствие, как «прасемитское **b-*: индоевропейский *н*уль», то есть бесследное выпадение согласного *b-* в начале слова, что по типологическим соображениям заведомо крайне маловероятно. Для пущей верности вслед за этим он также протестировал еще менее вероятное соответствие между прасемитским **b-* и индоевропейским **t-*. Оказалось, что и в первом, и во втором случае очень легко «подать материал» так, что внешне все окажется достаточно убедительным. Например, индоевропейское **ta:-* или **tau-* ‘таять, гнить’ = семитское **bhw* ‘быть худым; гнить’; индоевропейское **ta:d-* ‘действовать с умыслом’ = семитское **bhd* ‘ждать; терпение’; индоевропейское **te:g-* ‘гореть, пылать’ = семитское **bhq* ‘сверкать, сиять’ и т. д. и т. п. (всего таких примеров Хелимский приводит штук по 20 на каждое «соответствие», то есть не меньше, чем в оригинальных работах Бомхарда).

По сравнению с таким уровнем отбора материала критерии Иллич-Свитыча, безусловно, намного строже, и поэтому выбор в пользу одной из двух моделей ностратической фонологии может быть вполне объек-

¹ Обе рецензии (одна — на русском, другая — на английском), а также некоторые другие работы Е. А. Хелимского, имеющие значимость для ностратической гипотезы, можно найти в сборнике: Хелимский Е. А. Компаративистика, уралистика: Лекции и статьи. М.: Языки русской культуры, 2000.

тивным — с точки зрения Московской школы ностратика Бомхарда, которая в угоду «типологической» аргументации приносит в жертву качество этимологических сопоставлений, дискредитирует научность гипотезы (пусть даже и из самых лучших побуждений — вообще, наше несогласие с Бомхардом по ряду методологических пунктов не превращает его автоматически в «лжеученого», и к отдельным его гипотезам и этимологиям, не связанным с радикальным пересмотром системы, вполне можно и нужно прислушиваться).

Можно ли как-то вкратце — в заключение — охарактеризовать общее положение, в котором сегодня находится ностратика, очертить перспективы ее развития в будущем?

Г. С.: На мой взгляд, перед ностратикой сейчас стоят две первоочередные задачи — одна задача-минимум и одна задача-максимум. Задача-минимум — найти способ наглядно и убедительно показать факт ностратического родства на относительно небольшом, компактном объеме данных. Вообще в сравнительно-историческом языкознании лучшим обоснованием языкового родства является полная праязыковая реконструкция, включающая исчерпывающие таблицы фонетических соответствий и массивный этимологический корпус (словарь), но опыт показывает, что научное сообщество такого рода «доказательства» воспринимает с большим скрипом — особенно когда дело касается макрокомпаративистики — хотя бы потому, что чрезвычайно мало специалистов разбирается одновременно хотя бы в двух-трех семьях из числа включаемых в ностратическую макросемью.

Значит, грубо говоря, нужно «уметь» показать ностратическое родство на десяти-двадцати страницах текста. Нечто подобное, на самом деле, было уже сделано в первом томе словаря Иллич-Свитыча — там была отдельная таблица по базисной лексике и грамматике ностратических языков, в которую были сведены наиболее яркие параллели из языков-потомков, — но сегодня этого уже недостаточно, не только потому, что во многих случаях значительно изменились промежуточные реконструкции, с которыми в 1960-е годы оперировал Иллич-Свитыч, но и потому, что таблицы его были «нетестируемы»: нельзя было просто

так взять и проверить, насколько приводимые в них сходства превышают ожидаемый процент случайных совпадений.

Сегодня один из ключевых инструментов для решения этой задачи, который есть в нашем распоряжении, — это лексикостатистический метод. Совсем недавно, например, мы закончили в рамках Ностратического семинара сверку 50-словных списков (то есть наиболее исторически устойчивой половины списка Сводеша), реконструированных для ветвей ностратической семьи, и оценили проценты совпадений между потомками. Получилось, что «ядро» ностратической семьи — индоевропейские, уральские и алтайские языки — выявляется очень наглядно, примерно по 10–12 совпадений из 50 есть для каждой пары праязыков (что примерно в два-три раза превышает число ожидаемых случайных совпадений). А вот с «периферией» ностратической семьи — картвельскими и дравидийскими языками — все гораздо хуже: совпадений меньше как минимум в два раза. Это еще не значит, что эти языки не ностратические — может быть, они просто гораздо раньше отделились от общего «ствола» — но это значит, что стандартное лексикостатистическое тестирование не может достоверно определить их как ностратические. Сейчас мы занимаемся разработкой более «гибкого» метода тестирования (который, например, позволяет сравнивать между собой слова не только с одинаковым значением, но и с близкими значениями, связанными «одношаговым» семантическим переходом), который, возможно, прояснит ситуацию. Если не прояснит — значит, ностратическая аффилиация картвельских и дравидийских языков так и останется под вопросом.

А куда подевались семито-хамитские языки в этой картине?

Г.С.: Это отдельная тема, я предпочел бы ее кратко затронуть уже в следующей беседе. Пока скажу просто, что сегодня Московская школа предпочитает отделять семито-хамитские языки от прочих ностратических (в этом мы расходимся и со старой моделью Иллич-Свитыча, и с Долгопольским, и с Бомхардом, хотя Бомхард также считает, что семито-хамитские языки отделились от «общеностратического ствола» в первую очередь).

Понятно. А какова «задача-максимум» ностратического языкознания?

Г. С.: Задача-максимум — это, конечно же, компиляция нового этимологического словаря ностратических языков, причем такого, который был бы заведомо «прогрессивным» по сравнению со словарем Иллич-Свитыча, и не за счет простого разрастания числа этимологий, как это произошло в словаре Долгопольского, а за счет улучшения их качества. В частности, нужно тщательно разрабатывать семантическую реконструкцию; учиться корректнее разграничивать реальные этимологии и заимствования; анализировать не только то «общее», что связывает ностратические языки друг с другом, но и то «разное», что их отделяет друг от друга — нередко бывает полезно не просто констатировать, что «такой-то ностратический корень в такой-то ветви исчез бесследно», но и подумать о том, на какой другой корень и в связи с чем он заменился, и т. д.

Эту задачу, надо сказать, мы еще только учимся решать. Но никаких сомнений в том, что решить ее — или, по крайней мере, вплотную подойти к идеальному решению, попутно решив массу мелких смежных задач — нам удастся, лично у меня нет. Это на самом деле лишь вопрос времени, ну и, наверное, вопрос наличия небольшой группы трезво мыслящих энтузиастов.

Так все-таки — был ностратический праязык или не было ностратического праязыка? Или нам нужно занимать какую-то агностическую позицию, пока не будут решены задача-минимум и задача-максимум?

Г. С.: Если ответ может быть только «да» или «нет», то — «да, был». Кому-то из западных «агностиков», не помню точно кому, приписывается такая оценка ностратической гипотезы: *«there is too much there to be nothing, but not enough there to be something»* (на русский, наверное, можно не переводить). Вот именно из-за первой половины этой цитаты мой ответ — «да». Данные, которые сумел скомпилировать, систематизировать и интерпретировать Иллич-Свитыч, *лучше всего* интерпретируются

как отражение сверхдревнего языкового родства. Не заимствований, не случайных совпадений, а именно языкового родства — при условии, конечно, что мы не относимся предвзято к одной из этих трех возможностей (то есть не считаем, например, как это делают некоторые «гиперскептики», что только после того, как будут намертво опровергнуты *все* аргументы в пользу решения о заимствованиях, можно принимать идею родства — спрашивается, почему не наоборот?). В самом факте такого сверхдревнего языкового родства нет ничего невозможного и даже ничего особенно удивительного или невообразимого. В тех данных, на основании которых мы говорим об этом родстве, нет ничего, что не согласовывалось бы с основными постулатами компаративистики или с основными универсальными тенденциями языковых изменений. Поэтому я считаю вполне допустимым говорить о «ностратической макросемье» как об исторической («протоисторической», «палеолингвистической», разной терминологией можно пользоваться) реальности, не опуская при этом глаза.

Но и вторая половина цитаты (*not enough there to be something*), конечно, при этом тоже не должна игнорироваться. Мы уверены в том, что ностратический праязык был, но не до конца уверены при этом, какие из современных семей могут считаться его потомками (про сомнительный статус картвельских и дравидийских языков я уже сказал, они — потенциальные «кандидаты на выбывание»; с другой стороны, мы сейчас тестируем гипотезы о вхождении в состав ностратической макросемьи таких маленьких языковых групп, как чукотско-камчатская и эскимосско-алеутская). Мы имеем небольшую группу «железобетонных» ностратических этимологий, большая часть которых восходит еще к работам Иллич-Свитыча (а во многих случаях — и к работам его «донаучных» предшественников), но попытки уверенно расширить корпус за счет дополнительных, менее надежных, сопоставлений далеко не всегда убеждают даже тех, кто с симпатией относится к ностратике. У нас есть целые сектора ностратической фонологии — например, система аффрикат или система гласных — которые нуждаются в прояснении. Мы не можем твердо ответить на вопрос, какой была грамматика праностратического языка — синтетической, то есть активно использовавшей суффиксы и окончания, или аналитической, то есть опиравшейся в первую

очередь на служебные слова. В общем, *не* знаем мы про праностратический язык гораздо больше, чем знаем. И в этом смысле, конечно, праностратический для нас пока «не существует».

А. Б. Долгопольский в свое время (было это в 1998 году) выпустил отдельным изданием небольшой кусок своего словаря, назвав его «Ностратическая макросемья и лингвистическая палеонтология»¹. Там было представлено 124 этимологии, которые претендовали на раскрытие «реалий» типичного носителя праностратического языка. В частности, Долгопольский утверждал, что ностратическая прародина находилась на Ближнем Востоке, потому что для праностратического можно восстановить слова с такими значениями, как ‘фиговое дерево’, ‘леопард’, ‘гиена’, ‘антилопа’, ‘обезьяна’, но также и ‘снег’, ‘лед’, ‘иней’ (что исключает, например, прародину в тропиках). Что «ностраты» были собирателями, но не земледельцами, потому что для праностратического восстанавливается глагол ‘собирать’, но не ‘сеять’, восстанавливаются названия для злаков (вероятно, диких), но не для процессов обработки этих злаков (‘пахать’, ‘молотить’ и т. п.). Что они охотились на дикого зверя и ловили рыбу, но не имели при этом ни луков со стрелами, ни рыболовных сетей. Что они умели грубо обрабатывать туши убитых животных, но пользовались при этом самыми простыми инструментами (каменные топоры и т. п.) — то есть жили, скорее всего, где-то «на стыке» палеолитической и мезолитической эпох.

Честно признаюсь — из всех этих утверждений ни одно мне не представляется по-настоящему надежно обоснованным. Разбирать этимологии Долгопольского — занятие очень стимулирующее и в целом полезное, но «железобетонных» этимологий среди этих культурных терминов почти нет: все они содержат обычные для словаря Долгопольского недостатки (например, если слово ‘обезьяна’, которое он для праностратического восстанавливает как **mangV*, из нескольких сотен афразийских языков сохраняется в одном-единственном восточноадабском языке муби, такую этимологию невозможно принимать всерьез). Мы просто еще пока не дошли до того уровня, когда можно предложить для праностратического настоящую реконструкцию куль-

¹ *Dolgopolsky Aharon. The Nostratic Family and Linguistic Palaeontology. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 1998.*

турного слоя лексики — хорошо бы для начала как следует разобраться хотя бы с базисной.

Вот что мы знаем более или менее твердо, так это то, что 'я' на пра-ностратическом языке было **mi*, а 'ты' было **ti* (впрочем, гласные могли быть и другими; главное — это оппозиция согласных *m* в 1-м лице и **t* во 2-м). Эти морфемы в большинстве ностратических языков в обиходе и по сей день (включая русский), и неудивительно: личные местоимения относятся к наиболее устойчивому сектору языковой морфемике. А были ли протоностратам ведомы 'фиговые деревья' или 'плетеные корзинки' — тут наука пока не в курсе. Но, будем надеяться, со временем сможет сказать что-то более определенное.

Беседа VI. Сино-кавказская макросемья [Собеседник — Г. С. Старостин]

Г. С.: Закончив разговор о «ностратике», можно перейти теперь к обсуждению других гипотез дальнего родства. Кстати, не случайно, что само слово «ностратика» иногда — так сказать, в «бытовом» узусе — оказывается синонимом «макрокомпаративистики» как таковой: когда говорят, скажем, о том, что «был такой Сергей Старостин, занимался ностратикой», или что «в эту вашу ностраттику не очень-то верится», подразумевается, как правило, не конкретно ностратическая гипотеза, а вообще поиск праязыков в возрасте «от восьми-десяти тысяч лет и выше».

Не случайно поэтому, что ностратика для науки о дальнем родстве языков — то же самое, что индоевропеистика для науки о родстве языков как таковом, то есть компаративистики в целом: первая и наиболее подробно разработанная, «эталонная» гипотеза о глубокой языковой макросемье, которая заслуживает серьезного рассмотрения со стороны профессиональных лингвистов. И даже те «гиперскептики», которые подробно рассматривать ее не стали, все равно выражали неприкрытое восхищение профессионализмом, эрудицией, работоспособностью Иллич-Свитыча (например, тот самый сэръ Дж. Клосон, который посвятил столько времени «развалу» алтайской гипотезы, в краткой рецензии на работы Иллич-Свитыча писал совершенно эксплицитно в стиле «автор все сделал неверно, но заслуживает всяческого уважения») — так что как бы кто ни относился к ностратике, выход в свет словаря Иллич-Свитыча стал определенной точкой отсчета для принципиально нового направления.

Когда появились первые критические отклики на словарь (столь же немногочисленные, как и хвалебные), одним из важнейших вопросов, которые в них поднимались, стал вопрос о *границах* ностратической семьи. Иллич-Свитыч синтезировал целую серию гипотез, которые до него

выдвигались в основном в жанре «бинарного сравнения», и сделал это так успешно, что в состав ностратической семьи попало больше половины из тех языковых семей Старого Света, которые были относительно хорошо изучены. По сути, для того чтобы та или иная семья оказалась частью ностратического континуума, нужно было, чтобы она (а) находилась, хотя бы частично, в Евразии и (б) была представлена более или менее цельным этимологическим корпусом или словарем. Для индоевропейских, уральских, дравидийских, картвельских языков такие словари уже существовали; для алтайских были сравнительные списки Рамстедта и Поппе; для колоссальной семито-хамитской семьи была хотя бы основополагающая монография Марселя Коэна от 1947 года — очень сырая и давно устаревшая, но по состоянию на 1960-е годы достаточно прогрессивная.

Вставал вопрос: может быть, другие семьи, которые просто еще не успели как следует попасть в поле зрения лингвистов, — тоже «ностратические»? А может быть, на самом деле *все* семьи Старого Света (а вместе с ними и Нового) — «ностратические», и «праностратический язык» — это на самом деле то же, что «прачеловеческий»? (Это с точки зрения неисправимых оптимистов; пессимисты, наоборот, рассматривали возможность свободного включения все новых и новых семей в состав ностратического пространства как очевидное доказательство того, что никакого «праностратического» никогда не было, а все так называемые регулярные соответствия по Иллич-Свитычу — на самом деле случайные сходства.)

А что сам Иллич-Свитыч думал по этому поводу? Он где-нибудь эксплицитно писал о том, чем «ностратический» отличается от «неностратического»?

Г.С.: Специальных публикаций на эту тему у него не было (при жизни он вообще мало публиковал на ностратическую тематику, а после смерти издавался в основном этимологический корпус); есть достоверная информация, что языковой материал некоторых (разумеется, далеко не всех) других семей он тестировал на «ностратичность», но без подробностей.

В любом случае, при всех выдающихся способностях Иллич-Свитыча, он все-таки не мог быть одинаково хорошо ознакомлен со всеми язы-

ковыми семьями. Например, вряд ли он тщательно изучал материалы чукотско-камчатских языков — а вот А.Б. Долгопольский, наоборот, с ними был знаком хорошо, и в ранних своих работах по ностратике совершенно недвусмысленно намекал на то, что они ностратические. Кстати, заподозрить это нетрудно хотя бы уже потому, что в них вполне себе «ностратическая» система местоимений — в чукотском языке, например, 'я' будет *гы-м*, а 'ты' — *гы-т*, то есть, отделив корни от специального местоименного префикса *гы-*, получим все те же самые **t* в 1-м лице и **t* во 2-м л., которые мы хорошо знаем по рефлексации в индоевропейских, уральских, алтайских и картвельских языках.

Еще через какое-то время наш коллега, Олег Алексеевич Мудрак, вплотную занялся эскимосскими языками — оказалось, что и реконструируемые праэскимосские корни неплохо вписываются в общеностратическую картину. Сегодня эта гипотеза выглядит достаточно перспективной, хотя и с чукчами, и с эскимосами главная проблема заключается в том, что их ностратическая аффилиация очень затемнена субстратным влиянием, то есть если эти языки и ностратические, они очень сильно смешались с какими-то более древними «арктическими» языками, растеряв значительную часть своего ностратического наследия.

Но чукчи и эскимосы — это еще ладно, а вот когда Виталий Шеворошкин стал развивать идеи о родстве ностратических языков с колоссальной «америндской» макросемьей Гринберга, в которую входит подавляющее большинство языков коренного населения Америки (об этом подробный разговор у нас будет позже), тут ситуация стала совсем сложной — с одной стороны, сходства есть, и от них никуда не деться, с другой, ясно, что здесь уже, в общем-то, начинается отход от линии Иллич-Свитыча: разговор здесь уже переходит в плоскость скорее «сходств», а не «соответствий», и чем шире мы раздвигаем границы ностратической макросемьи, тем больше обесмысливается само понятие «ностратический».

Тут неплохо бы вспомнить прописную компаративистскую истину о том, что языковое родство — понятие *относительное*: в любой семье или макросемье есть ветви, расположенные ближе друг к другу, и ветви, находящиеся друг от друга на значительном расстоянии. Где-то должен быть предел: скажем, у ностратического праязыка теоретически могут быть и более дальние родственники, но для этого нужно поставить чет-

кий пограничный столб: вот здесь у нас «ностратические языки», а вот здесь уже — «пара-ностратические», «дальнородственные по отношению к ностратическим» или «вообще не имеющие никакого отношения к ностратическим».

Как его установить, этот столб? Опять через базисную лексику?

Г. С.: Можно через базисную лексику, можно через какие-то другие признаки, но главное — так, чтобы были хоть какие-то четкие, понятные критерии, единые для всех. Например: «Ностратические языки — это такие, где местоимение 1-го л. выражается с помощью *m-*, а местоимение 2-го л. — с помощью *t-*». Этот критерий подойдет для индоевропейских, уральских, алтайских, картвельских, чукотско-камчатских языков, с натяжкой — для эскимосских (там для этого надо сделать ряд вероятных, но недоказуемых допущений), но при этом не сгодится ни для дравидийских, ни для афразийских языков, где местоименная система выглядит совсем по-другому.

Означает ли это, что дравидийские и афразийские языки — не ностратические? Не означает, потому что этот «местоименный» критерий, при всей его четкости и понятности, слишком простой. Слова 'я' и 'ты' обычно очень устойчивы, но все равно не гарантированы от изменений (в праиндоевропейском языке, например, **me-* 'я' осталось только в косвенных падежах, а в именительном падеже вместо него появилась новая форма **eg'hom*). На основании двух местоименных морфем классификационные гипотезы выдвигать рискованно. Должен быть, скажем, список из хотя бы 10–20 «типично ностратических» корней с четко очерченными значениями, и если в рассматриваемой языковой семье из них в тех же самых или в смежных значениях присутствуют хотя бы 5–6, значит, семья с большой вероятностью входит в ностратическую макросемью.

И что это за корни?

Г. С.: Помимо уже названных местоимений это, например, **kul-* 'слышать' (сохраняется в индоевропейском **klew-*, откуда в конечном итоге и русское *слышать, слушать*), **nime-* или **lime-* 'имя', **tuw-* 'два',

**wete* ‘вода’, **pehw-* ‘жар, огонь’ и некоторые другие. Чаще всего эти «сверхглубокие» корни, кстати говоря, оказываются в индоевропейских и уральских языках, то есть, по-видимому, эта пара семей внутри ностратического единства связана особенно тесно (есть даже некоторые специалисты, которые, отвергая ностратическую гипотезу, при этом с симпатией относятся к «индоуральскому» родству¹).

Очень важно, правда, еще и обращать пристальное внимание на сравнительные *размеры* ветвей, которые составляют нашу макросемью. Например, в крохотную картвельскую семью входят всего четыре языка — грузинский, мегрельский и лазский, тесно связанные друг с другом, и отстоящий от них чуть далее сванский. Там просто по определению каждый наблюдаемый корень может претендовать на архаичность — если морфема зафиксирована в грузинском, шансы того, что она была представлена и в пракартвельском, очень высоки.

Напротив, афразийская семья по сравнению со всеми прочими ностратическими ветвями не просто громадная с точки зрения того, сколько языков в нее входит (несколько сотен), но и явно сама по себе отличается глубочайшей древностью. Реконструировать праафразийский лексический фонд — задача невероятно сложная, так как, например, в стословном списке между современными живыми афразийскими языками нередко наблюдается по 3–4% совпадений, то есть цифра, фактически неотличимая от случайности. На уровне промежуточных реконструкций (например, таких как прасемитская и пракушитская) это число несколько возрастает, что закономерно обнадеживает, но даже если афразийская семья — историческая реальность, то с картвельской она соотносится примерно как слон с мышью.

Значит, если афразийская семья — такая древняя, то ностратическая — еще древнее? О каком возрасте вообще идет речь?

Г. С.: Вот это как раз самый интересный момент. У Иллич-Свитыча никакой ностратической глоттохронологии не было; про метод Сводеша он либо ничего не знал, либо не очень интересовался. Когда С. А. Старо-

¹ Вопросу о том, как обосновывать «индоуральское» родство с помощью лексикостатистики, в частности, посвящена статья: Касьян А. С., Живлов М. А., Старостин Г. С. Вероятностная оценка индоевропейско-уральского родства: формализованное сравнение реконструированной базисной лексики // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2014. XVIII. С. 382–408.

стин начал проводить первые глоттохронологические подсчеты по ностратике, оказалось, что между праязыками ностратических ветвей наблюдается в среднем по 20–25% совпадений в стословном списке (на мой взгляд, из-за некоторого перебора с синонимичными формами цифры эти завышены, на самом деле результат скорее ближе к 15–16%). По «новой» глоттохронологической формуле это дает дату распада примерно в XII–X тысячелетии до н. э.

Параллельно с этим отдельную глоттохронологию по афразийской семье делал А. Ю. Милитарёв (который с собственным рассказом об афразийцах присоединится к нам позже), и у него получилось, что праафразийский язык тоже должен датироваться примерно тем же самым временем — XII–X тысячелетием до н. э.! И это действительно было похоже на правду, потому что и в плане широкой этимологизации материала находить «хорошие» праафразийские корни, широко представленные в разных ветвях, — дело примерно такого же уровня сложности, как и «хорошие» ностратические корни.

Поэтому С. А. Старостин в 1989 году внес «формальную поправку» в ностратическую таксономию: предположил, что афразийские языки — на самом деле не ностратические, а скорее «пара-ностратические», то есть праафразийский и праностратический — языки-братья, восходящие к еще более глубокому предку и распавшиеся на отдельные ветви примерно в одно и то же время (которое к тому же примерно соответствует началу неолитической революции, то есть такая одновременность вполне может быть и не случайной, а отражать параллельные миграционные процессы, связанные с переходом к новому образу жизни).

Эту точку зрения приняли не все; в частности, А. Б. Долгопольский, который к глоттохронологии всю жизнь относился чрезвычайно скептически, до самой смерти твердо оставался при старом мнении. А, скажем, Аллан Бомхард согласен с тем, что афразийские языки отделились от праностратического предка раньше всех, но при этом все равно не готов рассматривать ностратическую проблему в отрыве от афразийского материала (хотя бы потому, что его вариант ностратической реконструкции, который Московская школа не поддерживает, во многом опирается именно на афразийские данные).

А это не вопрос схоластики — «отделять» афразийские языки от прочих и одновременно «оставлять» их как просто-напросто чуть более далеких родственников?

Г. С.: Нет, это на самом деле очень важный вопрос. Кстати, очень похожая ситуация на менее глубоком уровне наблюдается и в индоевропеистике. Дело в том, что в состав индоевропейской семьи входит одна «особая» ветвь — анатолийская, на которой говорили народы, населявшие древние царства Малой Азии (Анатолии). «Особость» ее не только в том, что все без исключения языки, составлявшие ее, вымерли уже в древности (хеттский, лувийский, ликийский, лидийский и т. п.), но и в том, что анатолийские языки, хоть и безоговорочно родственны индоевропейским, демонстрируют ряд очень специфических особенностей и в фонетике, и в грамматике, и в лексике — настолько отличаются от всех прочих, что в 1926 году американский лингвист Эдгар Стёртевант даже выдвинул такую гипотезу: надо отдельно говорить об «индо-хеттской» семье, праязык которой разделился на «праанатолийский» и собственно «праиндоевропейский», и реконструировать историю этих языков в соответствии именно с таким бинарным членением.

Вроде бы очень разумная гипотеза, хорошо согласующаяся с массой фактов как лингвистических, так и экстралингвистических. Например, это позволило бы примирить две конфликтующие друг с другом гипотезы об индоевропейской прародине: «анатолийская», локализирующая индоевропейцев в Малой Азии, относилась бы к «индо-хеттской семье», а «курганная», помещающая их в причерноморские лесостепи, — к «узко-индоевропейской». Но широкого распространения термин «индо-хеттский» так и не получил: парадоксальным образом, *даже* несмотря на тот факт, что большинство индоевропеистов действительно склоняются к признанию того, что анатолийские языки отделились от общего предка раньше, чем все остальные группы. Тут может быть задействован чисто психологический фактор: одно дело — говорить «кажется вполне вероятным, что...» и т. п., и другое дело — вводить в обиход отдельный термин: дал свое особое имя — значит, категоризировал, а дело это рискованное, и риск на себя брать никто не хочет.

На самом деле отделение афразийской «филы» от ностратической — событие довольно знаменательное. Оно говорит о том, что ностратика и макрокомпаративистика вообще — это не результат какого-то безудержного стремления «сгрести все в общую кучу» («омникомпаративизм»), как о нем презрительно отзывался крупнейший из анти-алтаистов, Герхард Дёрфер); наоборот, в лучших своих проявлениях макрокомпаративистика обязана эксплицитно говорить и о том, какие языковые семьи *не* родственны друг другу (точнее, не родственны друг другу на определенных хронологических глубинах — понятно, что в совсем отдаленной перспективе все языки могут восходить к одному первопредку; о том, насколько это вероятно, мы поговорим позже).

То есть ни один здравомыслящий сторонник ностратической теории не станет бессонными ночами думать только о том, как бы «укрепить» границы ностратической макросемьи, включив в нее еще вот эту, вот эту и вот эту семьи. «Как можно доказать, что чукотско-камчатские (или алгонкинские, или банту, или транс-новогвинейские) языки — ностратические?» — не тот вопрос, который должен перед собой ставить ответственный лингвист: кто очень сильно хочет, тот всегда «докажет» (пусть даже для этого придется грубо изнасиловать методологию). Правильный вопрос скорее должен формулироваться так: «Есть ли между чукотско-камчатскими (алгонкинскими, банту и т. п.) и любой из ветвей ностратической семьи такое же количество системных сходжений, какое обнаруживается между самими этими ветвями?» Если нет — значит, чукотско-камчатские языки в лучшем случае связаны с ностратическими родством на еще более глубоком уровне, но в саму ностратическую семью не входят, и, значит, ностратическую реконструкцию можно делать, не оглядываясь на данные чукотско-камчатских языков.

И все-таки, если посмотреть на карту Евразии, похоже, что почти всю ее территорию занимают ностратические языки. Каким образом могла сложиться такая ситуация?

Г. С.: Историческая случайность — во многом это связано с очень поздней по времени индоевропейской экспансией (начиная с IV тысячелетия до н. э.) и, затем, с еще более поздней алтайской, точнее, тюркской

(которая началась чуть менее двух тысяч лет тому назад). Уральцы, дравиды, картвелы по сравнению с этими семьями занимают сегодня очень небольшие уголки ностратической ойкумены: картвелы осели в Грузии, дравиды — в Южной Индии, уральский ареал сжался до отдельных «островков», разбросанных в основном по территории России, и продолжает сжиматься (многие уральские языки сегодня на грани вымирания). Однако при этом ностратам так и не удалось закрепиться в одном из крупнейших языковых ареалов планеты — в Юго-Восточной Азии; о том, дошли ли они до Дальнего Востока, пока что твердого мнения у нас нет (это будет зависеть от того, как все-таки решится судьба эскимосско-алеутских и чукотско-камчатских языков).

Но вот что еще любопытно: несмотря на то что практически вся Европа, Средняя Азия, Сибирь заняты носителями ностратических языков, во всех этих ареалах мы наблюдаем такие отдельные маленькие «пятачки», своеобразные «языковые убежища», где до сих пор говорят на языках, явно не имеющих никакого отношения к ностратическим. Как правило, это очень специфические в географическом отношении «пятачки» — горы, или густая тайга, или глубокие джунгли, или острова, то есть там сами по себе природные условия препятствуют вытеснению старых языков новыми.

На территории Западной Европы такое пятнышко сегодня одно — это Страна басков в Пиренейских горах, на границе Испании и Франции. То, что большая часть Европы была заселена задолго до прихода индоевропейцев, мы хорошо знаем не только по археологическим свидетельствам, но и по историческим — например, этруски в Италии, реты в Альпах, пикты в Шотландии и т. д. Про все эти народы сохранились сведения, а от некоторых даже сохранились надписи, но только баскам удалось выстоять перед «романо-германской» унификацией Западной Европы и сохранить свой язык, несмотря на сильнейшее латинское влияние — лексических заимствований в баскском очень много, но грамматика и базисная лексика остались нетронутыми.

Продвигаясь с запада на восток, застаем еще одну, гораздо более сложную и разнообразную «зону-убежище» — Кавказ. Здесь тоже отчасти закрепились потомки ностратов, а именно картвелы (грузины, мегрелы, сваны), но тем не менее остается и огромный пласт совершенно

не ностратического населения: абхазо-адыгские и нахско-дагестанские языки, которых за последние две тысячи лет слегка потеснили, но совершенно не поставили под угрозу вымирания носители тюркских и индоевропейских языков.

Это тоже связано преимущественно с проживанием в горном районе, или есть и какие-то другие причины?

Г. С.: Нет, конечно, нельзя все объяснять настолько прямолинейно: география — это мощнейший, но все же не единственный фактор, влияющий на языковую картину. Здесь роль может играть и сила традиции, и степень близости к эпицентрам «языковой диффузии», и масса каких-то мелких деталей, которые учесть практически невозможно. В случае с Кавказом, например, оседлость и глубокая укорененность абхазо-адыгов, нахов и дагестанцев с их очень древним земледельческим хозяйством, вполне вероятно, породили и глубокую привязанность к языковым традициям. А вот стоило, например, абхазо-адыгскому племени убыхов в 1864 году, под давлением русского ультиматума, сняться с места и переселиться в Турцию, как они за последующие сто лет полностью перешли на турецкий язык: традиция не помогла.

Про народы Кавказа что-то в самых общих чертах все более или менее знают, баски — тоже не самый безызвестный народ Европы, а вот про народность *бурушаски* (*буришы*), пожалуй, знают в основном только специалисты. Это небольшой этнолингвистический анклав в Кашмире, на индо-пакистанской границе, разговаривающий на трех близкородственных диалектах сложного и очень для этого ареала необычного языка, который по своим типологическим признакам (например, устройство глагольной словоформы или система именных классов) гораздо больше похож на языки Кавказа, чем на окружающие его индоиранские, тюркские или сино-тибетские языки.

Дальше, если от Средней Азии перевести внимание на северо-восток, то перед нами громадные территории Урала и Сибири — вроде бы они почти все заняты носителями уральских и алтайских языков, но есть бросающееся в глаза исключение: в среднем течении Енисея еще сохраняются не утратившие родной язык *кеты*, единственный оставшийся

в живых (правда, даже по самым оптимистическим оценкам жить ему осталось совсем недолго, если не случится чуда) потомок некогда гораздо более крупной «енисейской семьи» — такие языки, как аринский, коттский, ассанский, пумпокольский еще в XVIII–XIX веках занимали территории вдоль почти всего течения этой реки, кроме самых северных областей. Опять-таки вымерли они в основном под давлением сначала тюркских «колонизаторов», а позже — русских: дети сегодняшних кетов предпочитают говорить по-русски, в местных школах преподавание языка постепенно сходит на нет, в общем, все развивается по стандартному сценарию.

По традиции кетов и вообще «енисейцев» включают в некий конгломерат — не языковую семью, не языковой союз, а нечто совершенно расплывчатое — для которого придумано название «палеоазиатские» языки, то есть «древние» языки Азии. Кроме кетов, к «палеоазиатам» относят:

- *чукотско-камчатскую* семью — чукчей, коряков, камчадалов-ительменов, то есть коренное население Чукотского округа и Камчатского края (некоторые специалисты до сих пор сомневаются в генетическом родстве чукчей и камчадалов, но после независимых исследований О. А. Мудрака и М. Фортецкого, устанавливающих регулярные системы соответствий между этими языками, сомнения эти уже совсем безосновательны);
- *нивхов*, или *гиляков* — коренное население Сахалина и части Приморского края, разговаривающее на совершенно особом, ни на что вокруг не похожем языке, который, к сожалению, сейчас также быстро вымирает;
- *эскимосско-алеутскую* семью — языки эскимосов Канады, Гренландии и Аляски (небольшой анклав сохраняется до сих пор и у нас на Чукотке), а также жителей Алеутских островов;
- *юкагирский* язык — точнее, два родственных языка, которые по традиции называются «диалектами», хотя на самом деле очень далеки друг от друга: «тундренный» и «колымский» юкагирский, на них в совокупности сегодня говорит, наверное, не более 100 человек.

Перечисленные «палеоазиаты» — кеты, чукчи, ительмены, нивхи, эскимосы, юкагиры — сегодня оказались крошечными пятнышками на огромной карте Сибири и Дальнего Востока, практически растворившись в море пришлых «ностратов», то есть тюркоязычного и русскоязычного населения. В большей степени повезло их соседям в Юго-Восточной Азии, где ностратическое присутствие как раз минимально, а регион занят представителями других крупных семей: сино-тибетской (китайцы, тибетцы, бирманцы и более сотни мелких национальностей), австроазиатской, тай-кадайской, австронезийской. Все эти языковые семьи никто никогда в «ностратичности» не подозревал — разве что на самой заре компаративистики, еще в начале XIX века, Франц Бопп увлекался идеей родства малайско-полинезийских (то есть австронезийских) языков с индоевропейскими, которую, к счастью, никто не поддержал.

Про многие из этих языковых семей мы еще будем говорить подробно; здесь я их перечисляю просто для того, чтобы бегло показать — отождествлять ностратическую макросемью с «Евразией» в целом некорректно. Именно поэтому, кстати, мне не очень нравится альтернативный термин Гринберга — ту же самую макросемью, которую Иллич-Свитыч называл «ностратической» и пытался восстановить с помощью сравнительно-исторического метода, Гринберг обосновывал с помощью метода «массового сравнения» и называл «евразийской» (Eurasianic)¹. Правда, по его версии она имела несколько иной состав, но это не принципиально: главное, что и в нее включались далеко не все семьи Евразии. Поэтому пусть лучше уж остается «неполиткорректный» термин «ностратические», чем просто некорректный термин «евразийские».

Получается, что «ностратическая экспансия» — это продукт довольно позднего времени. Но если индоевропейцы начали, так сказать, переводить Евразию на свои рельсы где-то начиная с IV тысячелетия до н. э., а человек современного типа в ней появился на много десятков тысячелетий ранее, значит, должны были быть какие-то более древние «волны»?

¹ «Евразийская» теория Гринберга подробно изложена в двухтомном исследовании: *Greenberg Joseph. Indo-European and its Closest Relatives: The Eurasianic Language Family. Vol. 1: Grammar. Vol. 2: Lexicon. Stanford University Press, 2000–2002* (второй том вышел в свет уже посмертно).

Г. С.: Безусловно, и уже параллельно с ранними опытами Педерсена и других лингвистов нащупать «ностратическую» точку опоры появлялись также исследования в области сверхдревнего родства и других языковых семей — разумеется, очень шаткие и прикидочные, хотя бы потому, что эти семьи на тот момент были изучены намного хуже, чем «ностратические». Особое внимание было приковано к баскскому — этот язык все-таки находится практически в самом сердце Европы, исследован был к началу XX века вполне досконально, и неудивительно, что, наверное, не осталось ни одной семьи в Европе, Азии и даже Северной Африке, с которой баскский так или иначе не пытались бы породнить, в основном через поверхностное фонетическое сравнение.

По мере того как накапливались все новые и новые сведения о бесписьменных языках Евразии, в лингвистическом сообществе начало формироваться одновременно довольно абстрактное, но и достаточно устойчивое представление о чем-то вроде «палеоевразийского языкового типа», к которому разные специалисты (например, финский ученый Кай Доннер, немецкий лингвист Карл Боуда, патриарх американской лингвистики Эдвард Сепир и др.) относили языки, не похожие на условно «ностратические» и при этом обнаруживающие друг с другом многочисленные сходства, не только в области морфемики, но и типологии, — например, этим языкам в большей степени оказывались свойственны сложные системы именных классов (а не проще устроенный «род» наподобие индоевропейского) и очень запутанные системы глагольного спряжения, в которых важную роль играли цепочки словоизменятельных префиксов (в отличие от ностратических языков, для которых в целом типичнее суффиксы).

Гипотезы о том, что языки эти не просто «похожи», но и восходят к общему предку, высказывались в достаточно проходном порядке, и особого внимания к себе не привлекали — хотя бы потому, что среди представителей этих семей почти не было «респектабельных» языков с богатой и долгой историей, за исключением разве что китайского с тибетским; ну и еще, пожалуй, баскский язык тоже приковывал внимание исследователей — все-таки очень уж заметная «аномалия» на территории сплошь романизированной Западной Европы. К тому же описательная работа шла медленно, языки были очень сложные, места их дислока-

ции — труднодоступные, так что всю первую половину XX века о том, чтобы «палеоевразийские» спекуляции превратить во что-то более конкретное, можно было только мечтать.

И когда же наступает прорыв..?

Г. С.: Только в конце 1970-х годов, и связан этот прорыв, вне всякого сомнения, в первую очередь с работой Сергея Анатольевича Старостина. Если В. М. Иллич-Свитыч — де-факто основатель ностратического языкознания, то Старостину аналогичным образом принадлежит заслуга обоснования (или как минимум «тщательно аргументированного выдвижения») так называемой *сино-кавказской* гипотезы.

Сама по себе формулировка гипотезы очень простая. Некогда (скорее всего, примерно в то же время, что и праностратический) существовал единый праязык, от которого произошли по меньшей мере три современных языковых семьи: «большая» — сино-тибетская, «средняя» — северокавказская и «мелкая» — енисейская. Семья была названа «сино-кавказской» согласно двум своим полюсам, западному и восточному, а обоснование ее, как и полагается, заключалось в публикации небольшого этимологического корпуса, связанного системой регулярных фонетических соответствий¹.

Но такой формулировке должна была предшествовать массивная и исключительно кропотливая работа по приведению материала в порядок. Для того чтобы иметь четкое представление о «прасино-кавказском», сначала нужно такое представление получить о прасеверокавказском, о праенисейском и о прасино-тибетском — не будем забывать, что регулярные соответствия между, например, современными лезгинским, кетским и китайским языками установить не удастся: слишком много шума накопилось за те тысячелетия, которые их предки провели в изоляции друг от друга. А на тот момент, когда к своим лингвистическим штудиям приступил Старостин, реконструкций всех этих праязыков просто не существовало в помине.

¹ *Старостин С. А.* Гипотеза о генетических связях сино-тибетских языков с енисейскими и северокавказскими языками // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Ч. 4. М.: Наука, 1984. С. 19–38. Перепечатана в: *Старостин С. А.* Труды по языкознанию. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 265–282.

А что вообще сподвигло С. А. Старостина заняться этой, мягко говоря, экзотической гипотезой? Как он пришел к сино-кавказской идее?

Г. С.: У Старостина было два основных «конька» — исследования в области алтайских языков и в области сино-кавказских, и оба имели вполне прозрачную мотивацию. К алтаистике он пришел через изучение японского языка, который у него был основным на Отделении структурной и прикладной лингвистики филфака МГУ. А к сино-кавказологии — через работу в лингвистических экспедициях, которые регулярно устраивал Александр Евгеньевич Кибрик: все 1970-е годы студенты ОСиПЛА каждое лето отправлялись в Дагестан изучать языки малых дагестанских народностей, и, конечно, Сергей Анатольевич не мог не воспользоваться таким шансом. Языковые данные он собирал там наравне со всеми остальными, а дальше функции разделялись: большинство студентов, под тьюторством Кибрика, занимались вопросами синхронного и типологического изучения этих языков, в то время как Старостин и еще один его коллега, Сергей Николаев, зарезервировали за собой вопросы сравнительно-исторического анализа полученных данных — и так плотно зарезервировали, что примерно за десять-пятнадцать лет им удалось составить огромный этимологический корпус для всех языков Северного Кавказа и подробно описать звуковые законы, которыми этот корпус регулируется. Прodelав, надо сказать, абсолютно колоссальную работу над тремя десятками сложнейших по устройству языков: без преувеличения могу сказать, что в отечественной лингвистической традиции *вообще* не было прецедентов, когда бы за столь короткий срок команде из двух специалистов удалось бы переворочить и систематизировать столько материала.

То есть они просто взяли и «с нуля» свели к единому праязыку тридцать сложнейших языков? Или все-таки что-то в этой области уже существовало на начало 1970-х годов?

Г. С.: Разумеется, «с нуля» в кавказологии 1970-х годов ничего быть не могло — все-таки традиции отечественного кавказоведения корнями уходят еще в XIX век, а сравнительно-историческое изучение этих язы-

ков началось уже с работ Николая Сергеевича Трубецкого в начале XX века. По нахским, лезгинским, абхазо-адыгским языкам уже выходили в свет небольшие сравнительные корпуса, монографии по исторической фонетике и грамматике и т. п. Но за задачу построения из этих разрозненных кусочков единого слаженного «общесеверокавказского» здания, построенного по младограмматическим параметрам, до Старостина с Николаевым не брался никто.

Опубликовать «Этимологический словарь северокавказских языков» им удалось уже только в постсоветское время — он вышел на английском языке в 1994 году и при этом довольно кустарным способом, хотя, на мой взгляд, вполне заслуживал публикации в любом из престижных научных издательств¹. Сегодня этот труд — настольная книга для любого кавказоведа, мало-мальски серьезно занимающегося вопросами истории языков Кавказа (впрочем, увы, такого рода кавказоведов в мире сегодня можно, наверное, исчислить на пальцах одной руки). Конечно, это не значит, что этимологический корпус Николаева — Старостина идеален и непогрешим (многие конкретные гипотезы остаются спорными), но то же самое можно сказать про любой первый опыт этимологического словаря какой угодно языковой семьи, что уж говорить про северокавказскую — одну из самых сложно устроенных языковых семей планеты.

А какие, если не секрет, конкретные гипотезы остаются особенно спорными? И как неспециалисту разобраться в том, что спорно, а что — нет? Особенно если и специалистов-то при этом почти нет?

Г. С.: Разобраться — да, очень трудно. На неспециалиста кавказские реконструкции Николаева и Старостина производят обычно одно из двух впечатлений: либо наивно-восторженное («как вообще люди до такого докопались, вот это да!»), либо скептически-ироничное, из разряда «такого быть не может по определению, это все какие-то плоды воспаленной фантазии». Действительно, если вы открываете словарь, чтобы посмотреть, как на прасеверокавказском языке будет ‘змея’, а на вас смотрит

¹ *Starostin Sergei, Nikolayev Sergei. A North Caucasian Etymological Dictionary. Moscow: Asterisk Publishers, 1994. В 2008 году словарь был также переиздан в США (издательство Caravan Books).*

праязыковая реконструкция **wHōrλwVIV*, где вы половину букв даже и прочесть-то не в состоянии, как еще реагировать?

Но с другой стороны, а как быть, если кавказские языки действительно обладают очень сложными фонетическими системами (например, звук λ — это так называемая латеральная аффриката, близкая по звучанию к русскому сочетанию *мл*, но произносящаяся как единый звук, и для северокавказских языков ее присутствие скорее норма, чем исключение), и, более того, эти системы довольно неустойчивы и на протяжении последних четырех-пяти тысяч лет неоднократно перестраивались, причем в разных языках по-разному? Эти факты неоспоримы, и, следовательно, интуитивные оценки неспециалистов здесь делу никак не помогут. Поможет только строгая, последовательная верификация гипотез.

Самый сложный момент в северокавказской реконструкции Николаева и Старостина — вопрос о существовании северокавказской семьи как таковой. Дело в том, что две ее основные ветви, нахско-дагестанская (куда входят чеченский, ингушский, аварский, даргинский, лакский, лезгинские и другие языки) и абхазо-адыгская, очень сильно отличаются друг от друга. Нахско-дагестанские языки обычно имеют «длинные» корни, сложные системы именной морфологии с грамматическими чередованиями и т. д.; в абхазо-адыгских, наоборот, корни обычно очень короткие (чаще всего — односложные, вида CV), именная морфология простая, а еще они характеризуются очень бедными системами гласных и, наоборот, очень сложными системами согласных. В итоге это означает, что нахско-дагестанские этимологии в принципе очень трудно сравнивать с абхазо-адыгскими. Вот, например, несколько слов из северокавказского словаря, представленных рефлексам в обеих ветвях (кстати, все слова — из области базисной лексики, что дополнительно свидетельствует в пользу генетического родства, а не ареальных контактов):

- ‘вошь’ — чеченское *meza*, аварское *nats'*, лезгинское *net*, но абхазское *ts'a* (из прасев.-кавк. **nemdz:i*);
- ‘сердце’ — аварское *rak'*, даргинское *urk'i*, лезгинское *rik'*, но абхазское *g^wə* (из прасев.-кавк. **yerk'wi*);
- ‘имя’ — аварское *ts':ar*, лезгинское *t'war*, но адыгское *ts'a* (из прасев.-кавк. **dz:werhi*);

- ‘зуб’ — чеченское *tserg*, даргинское *tsula*, но адыгское *tsa* (из прасев.-кавк. **tsilHa*).

Во всех этих примерах видно, как абхазо-адыгские языки «откусывают» от старого слова целый слог (в первом и втором примере — первый, в третьем и четвертом — второй, причем у Николаева и Старостина четко сформулированы условия, когда следует ожидать какого из возможных сценариев). В общемировой перспективе они не одиноки, такого рода «крах» фонетической структуры корня наблюдается много где — в Юго-Восточной Азии, в Америке, в ряде языков Африки, да, в конце концов, можно вспомнить и исторические процессы в каком-нибудь французском языке (когда от латинского *aqua* ‘вода’ остается *eau /o/*, а от *augustus* — *aout /y/*), но одно дело просто предположить что-то такое чисто умозрительно, и совсем другое — собрать этимологический корпус и сформулировать четкие правила фонетических переходов.

Так вот, притом что, конечно, отдельных вопросов еще остается очень много, у Старостина с Николаевым блестяще получилось «породнить» абхазо-адыгские языки с нахско-дагестанскими, показав, каким образом первые проходят через радикальную типологическую перестройку системы и становятся практически неузнаваемыми по сравнению со своими более архаичными восточными родственниками. Согласны с этим и наши ведущие кавказоведы, хорошо разбирающиеся в материале (М. Е. Алексеев, Я. Г. Тестелец), а вот западная кавказология до сих пор скорее сохраняет скептическую позицию в данном вопросе — но это уже скорее конъюнктура, помноженная, как я уже сказал, на нехватку специалистов (по крайней мере, таких, которые неплохо разбирались бы и в нахско-дагестанских, и в абхазо-адыгских языках). Надеюсь, что со временем консенсус все-таки выработается.

Реконструкция прасеверокавказского языка, за которую с таким жаром взялись Старостин и Николаев, конечно, сподвигла Сергея Анатольевича и на то, чтобы «перетряхнуть» старые, далеко идущие и почти целиком спекулятивные или основанные на очень «сырых» данных гипотезы о дальнем родстве кавказских языков: он обратил внимание на работы Боуды, Доннера и других исследователей о возможных связях с енисейскими и сино-тибетскими языками. На исследование енисей-

ских языков времени ушло относительно немного, потому что вся семья, в общем-то, состоит из двух хорошо описанных языков (живого кетского и вымершего в XIX веке коттского) и еще двух-трех совсем рано вымерших языков (аринского, пумпокольского и др.), которые известны только по коротким словарным спискам XVIII века. Для Старостина с его опытом, полученным при работе с кавказским материалом, реконструировать на этой основе праенисейскую фонологию и лексику оказалось делом легким — соответствующая работа вышла в 1982 году, и, надо сказать, что ничего кардинального к енисейской реконструкции с тех пор не прибавилось¹.

А кетский язык Сергей Анатольевич тоже описывал в полевых условиях?

Г. С.: К кетам он попал сильно позже — собственно говоря, мы вместе с ним были в экспедиции на Енисее уже в постсоветское время, в 1993 году, и никаких новых данных, которые могли бы существенно повлиять на его реконструкцию 1982 года, не собрали (хотя в других отношениях экспедиция была очень успешной). Вообще судьба енисейской семьи очень грустная, и вдвойне грустная, с точки зрения исследователя-компаративиста, — была бы нам доступна языковая ситуация в районе Енисея хотя бы по состоянию, скажем, на XVI–XVII века, массу лакун в реконструкции можно было бы закрыть достоверными данными, без домысливания наиболее вероятных сценариев. В этом смысле языковому наследию Северного Кавказа повезло гораздо больше.

Остается третье звено, в определенном смысле самое сложное — это сино-тибетские языки. В отличие от северокавказских, которых всего порядка тридцати, и все они у Старостина и Николаева были «под боком», сино-тибетских языков насчитывается до двух сотен, многие из них даже до сих пор остаются плохо описанными, а уж в 1970-е годы и подавно, не говоря уже о том, что далеко не вся релевантная литература по этим языкам попадала в советские библиотеки, а о том, чтобы поехать их описывать в Китай, Индию, или Бирму, советский лингвист не мог и меч-

¹ *Старостин С. А.* Праенисейская реконструкция и внешние связи енисейских языков // Кетский сборник. Антропология, этнография, мифология, лингвистика. Л.: Наука, 1982. С. 144–237.

тать. Поэтому тут уже приходилось выбирать: либо вообще отказаться от серьезного тестирования «сино-кавказских» связей, либо выбрать некоторый компромиссный вариант.

А что в такой ситуации, когда «хочется, но нет данных», вообще можно считать компромиссным вариантом?

Г. С.: В ситуации, когда имеешь дело с очень крупной и сложно устроенной языковой семьей, для общей реконструкции праязыка иногда хватает нескольких «реперных точек» — репрезентативной выборки языков, которые на общем фоне можно оценить как архаичные. То есть если у вас, например, семья, состоящая из 10 ветвей и 100 языков, теоретически *можно* попытаться восстановить праязык, взяв, скажем, по одному языку из трех-четырёх ветвей, отстоящих максимально далеко друг от друга (пусть хотя бы просто географически), если нет серьезных оснований подозревать, что они перестроили до неузнаваемости всю свою фонетическую систему или заимствовали половину всей лексики из соседних языков. Именно таким образом был, например, реконструирован праавстронезийский: из более чем тысячи языков была отобрана тройка-пятерка самых «диагностичных», и результат получился вполне достоверным (об этом мы подробнее еще поговорим позже).

Именно этот способ и был выбран Старостиным. Для реконструкции прасино-тибетского языка он объединил усилия с еще одним коллегой, специализировавшимся тогда на языках Юго-Восточной Азии, И. И. Пейросом, и они «отобрали» для реконструкции пять репрезентативных языков из пяти разных ветвей семьи: древнекитайский, классический тибетский, бирманский, качинский (это еще один крупный язык на территории Бирмы) и лушей (из куки-чинской ветви, разбросанной по разным областям Индии и Бирмы). Оказалось, что в совокупности их сравнение позволяет построить довольно четкую модель сино-тибетской исторической фонологии и реконструировать порядка полутора тысяч прасино-тибетских корней. Разумеется, в тех случаях, когда все-таки были доступны сравнительные материалы и по другим языкам (например, первичный корпус, собранный выдающимся сино-тибетологом Полом Бенедиктом), они также включались в состав словаря, но в целом для

того, чтобы создать «костяк» сино-тибетской реконструкции, удалось обойтись такой выборкой. Правда, некоторые зарубежные коллеги сино-тибетологи за такой подход подвергли словарь нещадному бичеванию — во многих случаях справедливому — но зато в итоге, как ни крути, у них подробного сино-тибетского словаря так до сих пор и нет, а у нас — есть¹.

Но если словарь есть за что критиковать, то, может быть, лучше никакого словаря, чем плохой словарь?

Г. С.: Раз уж об этом зашла речь, то сделаю маленькое методологическое отступление. Сам С. А. Старостин всегда придерживался противоположного принципа: лучше, безусловно, иметь хотя бы плохой словарь, чем вообще не иметь никакого. Разумеется, под «плохим» словарем имеется в виду не что-то совсем антинаучное, например, список прикидочных сходств, которые автор вообще не удосужился связать регулярными соответствиями, а такой этимологический корпус, который содержит разного рода лакуны, недоработки, недостаточно подробно аргументированные гипотезы и т. п., но при этом в общем и в целом старается следовать методологии сравнительно-исторического языкознания. Обосновывал он это тем, что «идеальный» этимологический словарь любого языка или любой языковой семьи невозможен в принципе — даже, например, в этимологическом словаре русского языка Фасмера содержатся сотни спорных и альтернативных этимологических решений — а возможно лишь постепенное приближение к идеалу. Скажем, праиндоевропейский словарь Юлиуса Покорного ближе к «идеалу» этимологического словаря, чем уральский этимологический словарь Кароля Редери; словарь Редери, в свою очередь, ближе к идеалу, чем сино-тибетский словарь Пейроса и Старостина (впрочем, это, судя по докладам уралистов из нашей команды, спорное утверждение), и так далее.

В этом смысле ни один из этимологических словарей, в создании которых не просто активное, но, как правило, руководящее участие при-

¹ Словарь в конечном итоге был опубликован по-английски в Австралии: *Peiros Ilia, Starostin Sergei. A Comparative Vocabulary of Five Sino-Tibetan Languages*. Parkville: University of Melbourne, 1996. Для более общего ознакомления с исторической спецификой сино-тибетской семьи в целом актуальным остается старый труд П. Бенедикта: *Benedict Paul King. Sino-Tibetan: a Conspectus*. Cambridge University Press, 1972.

нимал Старостин (северокавказский, сино-тибетский, алтайский), не может считаться «конечным» продуктом: для всех трех перечисленных семей эти издания носят первопроходческий характер, и со временем (хотелось бы надеяться) будут не раз переработаны, дополнены, исправлены. И тем не менее, всё это — реальные и очень важные достижения, своего рода «шаткие» лесенки, по которым можно, с некоторой опаской, пытаться уже сейчас карабкаться дальше вверх.

Кстати, совершенно особая тема здесь — это данные древнекитайского языка, которые играют важнейшую роль в сино-тибетской, а вслед за ней и в сино-кавказской реконструкции. Как известно, звуковой состав древнекитайского языка нам не дан в непосредственное наблюдение: китайцы, как современные, так и древние (во II—I тысячелетии до н. э.) пользовались не алфавитным письмом, а иероглифами, которые записывают целые слова, а не отдельные звуки. Некоторое косвенное отражение звуковая структура иероглифа в его форме находит, но для того, чтобы сделать более четкие выводы, нужна колоссальная работа — с современными диалектами китайского языка, с классическими словарями, с рифмами древнекитайской поэзии, с древнекитайскими транскрипциями иноязычных слов и еще с целым рядом вспомогательных источников.

То есть существует какая-то строгая методология, которая позволяет удостовериться в том, что древнекитайское произношение иероглифов существенно отличалось от современного?

Г. С.: Существует, и разрабатывалась она на протяжении почти всего XX века — начиная с работ выдающегося шведского сиолога Бернгарда Карлгрена и заканчивая... впрочем, конца тут на самом деле пока не видно, хотя в целом, наверное, наиболее цельная и близкая к идеалу модель древнекитайской звуковой системы была разработана в 1970-е годы независимо друг от друга Уильямом Бэкстером в США и С. А. Старостиным, причем по большинству ключевых пунктов эти модели совпадают, что говорит о надежности методики¹.

¹ По обеим моделям опубликованы подробные описательные монографии: *Старостин С. А.* Реконструкция древнекитайской фонологической системы. М.: Наука, 1989; *Baxter William H.* A Handbook of Old Chinese Phonology. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992.

Подробный разговор о том, как мы за завесой иероглифической письменности «расшифровываем» древнекитайское звучание трехтысячелетней давности, наверное, занял бы слишком много времени. Упомяну лишь об одной интересной детали — все, наверное, хотя бы слышали о том, что современный китайский язык *тональный*, то есть повышение и понижение интонации в пределах одного слова носит в нем смыслоразличительные функции, когда, например, *ма¹* с высоким тоном значит ‘мама’, а *ма³* с низким тоном значит ‘лошадь’, и т. п. Так вот, по ходу реконструкции выясняется, что эта ситуация в истории китайского языка *вторична*, то есть еще, скажем, в древнекитайском эпохи Конфуция смыслоразличительных тонов не было, а развились они позже, на месте некоторых отпавших звуков и, скорее всего, под сильным влиянием южных соседей китайцев — автохтонного населения Юго-Восточной Азии.

Похожие явления наблюдаются, кстати, и в других сино-тибетских языках: например, классический тибетский, в том виде, в котором он отражен в древнейших письменных памятниках (вторая половина I тысячелетия н. э.), очень сильно отличается от своих современных разновидностей — они так же, как и современные китайские диалекты, успели за короткий срок перестроиться почти до неузнаваемости. Где-то развиваются тоны, где-то обедняется базовая структура корня, где-то утрачивает продуктивность старая система словообразовательной морфологии (когда корни, приставки и суффиксы сливаются друг с другом в единое неразрывное целое), и языки стремятся к общему структурному инварианту с соседними, зачастую генетически совсем не связанными с ними другими языками.

Приведу такой пример. Вплоть до 1930-х — 1940-х годов считалось, что китайский язык, скорее всего, связан родственными узами с тайской семьей (о ней чуть подробнее будем говорить позже; пока что достаточно сказать, что это небольшая, но важная языковая семья, в которую, в частности, входят собственно тайский и лаосский, официальные языки Таиланда и Лаоса соответственно). Действительно — языки ужасно похожи, в них в общем совпадает структура слога, похожие тональные системы, и к тому же масса фонетически сходной лексики. Но затем, когда началась серьезная работа по реконструкции древнекитайской фонетики, выяснилась любопытная деталь: оказалось, что тайские слова, сопоставляемые

с китайскими, больше всего похожи на их *среднекитайские* (то есть примерно VI–IX века) или хотя бы *позднедревнекитайские* (I–V века н. э.) варианты, но никак не на те варианты, которые восстанавливаются для древнейших этапов китайского языка. Как это расценивать? Только так: китайский и тайские языки на самом деле *не* связаны генетическим родством, а все их лексические схождения — результат активного лексического донорства со стороны китайского. Причем не случайно, что донорство это приходится на позднедревнекитайский период: именно в эпоху империи Хань (III век до н. э. — III век н. э.), как хорошо известно по историческим памятникам, началось активное освоение китайским населением бывших «варварских» районов на юге Китая. Тайские племена оттуда в конечном итоге просто ушли (остались только чжуаны), но, уходя, захватили с собой массу лексических заимствований от своего культурно доминирующего большого соседа.

К чему я, собственно говоря, все это говорю? К тому, что еще задолго до формализации С. А. Старостиным сино-кавказской гипотезы у многих исследователей сино-тибетских языков складывалось впечатление, что языки эти в Юго-Восточной Азии скорее «пришлые». То есть понятно, что в определенном смысле все языки вне Африки в той или иной степени «пришлые», но конкретно про сино-тибетцев можно было заподозрить, что они пришли на территории, уже задолго до них занятые языками совсем другого структурного типа (например, такими, для которых характерны тональные системы), и в структурном отношении постепенно ассимилировались. Чем глубже компаративист копается в сино-тибетском материале, тем яснее становится вся масштабность этой ассимиляции. И поэтому, конечно, если сегодня посмотреть, скажем, на китайский и на какой-нибудь лезгинский язык невооруженным глазом, не может возникнуть даже тени мысли о том, что эти языки когда-нибудь, пусть семь, десять, двенадцать тысяч лет тому назад могли иметь общего предка. Но если кругозор расширить и оценить достаточно достоверно реконструируемую эволюцию как того, так и другого на протяжении последних пяти-шести тысяч лет — ситуация меняется кардинально.

Но тут может возникнуть еще вот такая проблема. Чтобы обосновать сино-кавказскую гипотезу, нужно сначала реконструиро-

вать прасеверокавказский, потом праенисейский, потом прасино-тибетский, и потом уже на финальном этапе сопоставить все эти реконструкции. При этом получается, что так или иначе за все это по большей части отвечал один человек — Сергей Анатольевич Старостин. Не может ли тут возникнуть вопрос — насколько беспристрастно выполнялись эти реконструкции, не могли ли они, пусть хотя бы подсознательно, «подгоняться» под сформулированную априори гипотезу?

Г. С.: Да, это сомнение неоднократно высказывалось критиками сино-кавказской гипотезы. Действительно, за енисейскую реконструкцию Сергей Анатольевич отвечал единолично, а за две другие разделял первичную ответственность с двумя коллегами (Николаев и Пейрос), которые также являются сторонниками гипотезы. Но теоретическое сомнение — это одно, а вот конкретных *фактов* «подтасовок» реконструкций никто никогда не обнаружил. Если мы откроем северокавказский словарь, или сино-тибетский словарь, то там вообще нет упоминаний о сино-кавказской гипотезе; в подробной статье о праенисейской реконструкции они есть, но только во второй части, посвященной внешним связям енисейских языков, — сама реконструкция основана исключительно на сопоставлении данных кетского, коттского и других енисейских языков, и вообще никак не апеллирует к внешним данным.

Первая статья, целиком и полностью посвященная сино-кавказской теории, была Старостиным опубликована в 1984 году; к этому моменту основная работа над кавказской, енисейской и сино-тибетской реконструкциями уже была закончена — *только* после того, как по каждой из этих семей удалось собрать этимологический корпус и установить системы соответствий, Старостин, наконец, попробовал сделать то же самое на следующей «ступени». Помимо этого, не будем забывать, что все его этимологии, регулярные соответствия, исторические комментарии — всё это находится в открытом доступе. Отдельные ошибки и недочеты в них, действительно, обнаруживаются нередко, но каких-то грубых сознательных «фальсификаций» пока что никто не обнаружил и, думаю, никогда и не обнаружит.

А «открытый доступ» — это где, если конкретно?

Г. С.: В официальных изданиях при жизни С. А. Старостина по сино-кавказской тематике опубликовать удалось чуть менее десятка статей, посвященных отдельным вопросам сравнительной фонетики, реконструкции и лексикостатистики. Но в последние годы жизни он удвоил усилия и создал пробную компьютерную версию сино-кавказского словаря, примерно на 1300 этимологий, а также полное, подробное описание реконструированной фонологической системы с детальными таблицами соответствий. Планировался выпуск монографии, но, увы, судьба распорядилась иначе. Тем не менее и база данных, и все сопровождающие тексты выложены в Сеть и доступны всем желающим подробнее ознакомиться с проблематикой¹. Правда, тексты эти, в отличие от нашего сегодняшнего разговора, носят уже сугубо профессиональный характер, и нормально воспринимаются только читателями с хорошей лингвистической подготовкой.

Основную поддержку со стороны коллег сино-кавказская гипотеза получила после того, как Старостин подробно обосновал ее в рамках Ностратического семинара — где не было ни тематических, ни (что самое важное) временных ограничений. Доклады произвели надлежащее впечатление, так что начиная где-то с середины 1980-х годов сино-кавказская теория в кругу московских компаративистов стала считаться не менее убедительно доказанной, чем ностратическая теория Иллич-Свитыча. Единственная проблема заключалась в том, что, кроме Старостина, ни в Москве, ни, пожалуй, во всем мире не было ни одного человека, квалифицированного для всесторонних занятий сино-кавказской теорией. Были специалисты по кавказским языкам, были по енисейским, были по сино-тибетским, но глубоко проникнуть в проблематику всех трех семей одновременно не получалось ни у кого: даже, скажем, соавтор Старостина по кавказскому словарю Сергей Николаев никогда не занимался сино-тибетскими языками, а, наоборот, Илья Пейрос, написавший со Старостиным вместе сино-тибетский словарь, никогда по существу не «вгрызался» в северокавказскую тематику.

¹ *Starostin Sergei. Sino-Caucasian: Comparative Phonology, Glossary. 2004–2005. Рукописи находятся в открытом доступе на сайте «Вавилонская башня» (<http://starling.rinet.ru>).*

А это не означает ли, что проверить сино-кавказскую гипотезу вообще невозможно? Если нет всесторонне подкованных экспертов?

Г. С.: Нет, не означает. «Проверить» сино-кавказскую гипотезу может любой профессиональный лингвист, владеющий сравнительно-историческим методом и базовыми знаниями по языковой типологии, — такая проверка совершенно не предполагает, что человек должен предварительно выучить пятьдесят или сто языков. Другое дело, что «проверить» гипотезу, то есть убедиться в том, что она не нарушает базовые постулаты компаративистики, это совершенно не то же самое, что «заниматься» гипотезой, то есть развивать ее дальше, искать новые этимологии, исправлять старые ошибки и так далее. На это при жизни Сергея Анатольевича, увы, оказался способен лишь сам Сергей Анатольевич, а после его смерти — пока что, в общем, никто. Специалистов, адекватно разбирающихся, скажем, в проблематике индоевропейской, уральской и алтайской семей (и поэтому умеющих что-то адекватное предложить в развитие ностратической тематики), в мире насчитывается хотя бы около десятка, а вот специалистов, знающих толк одновременно в северокавказских и в сино-тибетских языках, я вряд ли смогу назвать.

На Западе сино-кавказологические исследования Старостина известны еще в меньшей степени, чем ностратическая гипотеза. Его основополагающая статья 1984 года была переведена на английский язык, но, во-первых, издать ее удалось только в малотиражном университетском сборнике (благодаря в первую очередь посредничеству Виталия Шеворошкина, о котором я уже упоминал в разговоре о ностратике), во-вторых, конечно, одной или даже нескольких небольших статей для убеждения западной лингвистической общественности было катастрофически недостаточно — потребовалась бы целая серия конференций, лекций, семинаров, личных контактов, на что у самого Старостина не хватало ни сил, ни ресурсов: все это он тратил на дальнейшую содержательную разработку гипотезы, а не на продвижение ее в тех научных кругах, отношение которых к любым макрокомпаративистическим изысканиям с самого начала было «гиперскептическим».

Единственный западный лингвист, который сегодня продолжает заниматься этой проблематикой, — наш американский коллега Джон Бенг-

тсон. С формальной точки зрения Бенгтсон — лингвист-«любитель», не имеющий университетской аффилиации и поэтому не котирующийся в официальных лингвистических кругах. Ранние его работы действительно носили дилетантский характер и выполнены были скорее в парадигме Гринберга, чем Иллич-Свитыча или Старостина (что для американского лингвиста вполне естественно), но со временем ему удалось освоить основы серьезной макрокомпаративистики, и статьи, которые он пишет с конца 1990-х годов и по сей день, вносят реально ощутимый вклад в развитие дисциплины. В частности, Бенгтсон много занимается вопросами сравнительной грамматики сино-кавказских языков, которые Старостина как раз интересовали в меньшей степени (он фокусировался в первую очередь на сравнительной фонетике и лексике)¹.

То есть это все-таки не совсем безнадежная задача — «заразить» кого-то из западных лингвистов, пусть хотя бы и любителей, интересом к таким смелым гипотезам?

Г.С.: «Заразить» никого извне невозможно — тот же Джон Бенгтсон интересовался вопросами дальнего родства языков задолго до того, как познакомился со Старостиным и с его работами. Что можно реально (правда, не со всеми удастся) — так это скорректировать методiku работы, приблизить ее к строгим научным стандартам. В Америке единственным известным «макрокомпаративистом» долгое время оставался, а для многих ученых и до сих пор остается Гринберг с его «массовым сравнением»; я уже не раз говорил, что к Гринбергу мы относимся с уважением, но «массовое сравнение» считаем в лучшем случае процедурой предварительной прикидки на глазок, ни в коей мере не обладающей доказательной силой. Однако из-за того, что тот же Бенгтсон некоторое время пребывал под сильным влиянием Гринберга, сино-кавказская гипотеза в Америке среди тех немногочисленных специалистов, кто хоть что-то о ней знал (ну, скажем, хотя бы название), тоже автоматически стала считаться продуктом «гринбергианства» — а раз так, то серьезного внимания она, естественно, не заслуживает.

¹ Основные труды Бенгтсона по (дене)-сино-кавказской гипотезе и другим аспектам макрокомпаративистики собраны в издании: *Bengtson John D. Linguistic Fossils: Studies in Historical Linguistics and Paleolinguistics*. Calgary: Octavia & Co. Press, 2010.

Для того чтобы этот миф развеять, приходится прикладывать такие невероятные усилия, что непонятно даже, стоит ли игра свеч: сино-кавказской гипотезой занимается так мало людей, что невозможно тратить силы одновременно на исследовательский и просветительский аспект. В частности, Сергей Анатольевич совершенно однозначно выбрал исследовательскую деятельность — он мог время от времени прочесть в каком-нибудь западном университете лекцию по сино-кавказоведению, но тематика эта столь сложна, что одной лекцией, конечно, никого по-настоящему «просветить» не возможно.

К тому же это не самое благодарное занятие — пропагандировать достоинства теории, которая находится в таком «сыром» состоянии, как сино-кавказская. Если взять, скажем, 1300 этимологий, собранных Старостиным, то почти к каждой из них можно предъявить претензии разной степени серьезности. Где-то в одной из ветвей не до конца соблюдены фонетические соответствия, где-то слишком широким и необоснованным представляется разброс значений, где-то слишком слабая представленность по языкам-потомкам и т. д. и т. п. В совокупности, на мой взгляд, материала достаточно, чтобы считать гипотезу успешной, но критика-то идет, как правило, на уровне *индивидуальных* этимологий, и здесь гипотеза весьма уязвима.

Один из оппонентов Сергея Анатольевича, ныне покойный китаист и востоковед Эдвин Пуллиблэнк (кстати, без преувеличения — великий ученый, в свое время существенно отличившийся в области реконструкции звуковой системы древнекитайского языка), критикуя отдельные сино-кавказские построения Старостина, подчеркивал, что столь внушительный объем этимологического корпуса его совершенно не впечатляет, потому что «*a thousand times zero is still zero*»¹. Мне так хорошо запомнилась эта формулировка именно потому, что она так красочно символизирует основную методологическую ошибку противников и сино-кавказской, и ностратической, и других макрогипотез. На самом деле, конечно, *проблемность* той или иной этимологии далеко не всегда обращает ее в настоящий нуль — про-

¹ Эта и другие критические оценки сино-кавказской гипотезы с китаистических позиций, а также статья С. А. Старостина, посвященная лексикостатистическому доказательству сино-кавказского происхождения китайского языка, опубликованы в чрезвычайно информативном сборнике: Wang William S-Y. (ed.). *The Ancestry of the Chinese Language // Journal of Chinese Linguistics Monograph Series*. 1995. No. 8.

блемные этимологии существуют во всех областях компаративистики. Любое сравнение имеет определенную вероятность, которая лишь в редких случаях дотягивает до единицы, но при этом все же всегда выше нуля. И даже если можно, постаравшись, найти повод так или иначе придраться к *каждой* из 1300 сино-кавказских этимологий, предложенных Старостиным, далеко не каждая придирка обнуляет эту этимологию.

А можно пояснить на конкретном примере?

Г. С.: Конечно. Скажем, в системе С. А. Старостина для прасино-кавказского языка восстанавливается почти половина числового ряда от 1 до 10 — явление чрезвычайно неординарное, потому что на таких серьезных временных глубинах, как ностратическая или сино-кавказская, об успешной реконструкции числительных обычно говорить не приходится: в праязыках такого уровня (отстоящих от нашего времени не менее чем на десять тысяч лет) числительных выше 1–2–3 либо вообще не существовало (особенно если на этих языках говорили охотники-собиратели, для которых зачатки арифметики не столь важны, как для людей, живущих в условиях производящего хозяйства), либо же соответствующие системы неоднократно успели перестроиться в ходе различных культурных контактов.

Тем не менее у прасино-кавказцев, судя по старостинским этимологиям, числовой ряд все же существовал. Например, числительное 'три' восстанавливается примерно как **šwimh-*, на основании следующей этимологии:

- прасино-тибетское **si:m* 'три', откуда по регулярным правилам выводятся современное китайское *sān*, тибетское *sum*, *g-sum*, бирманское *sumh* и многочисленные другие рефлексy в языках-потомках;
- праенисейское **do'ŋ* 'три' (представленное в кетском и в вымершем коттском языках);
- прасеверокавказское **šwimh-* 'три', откуда современное лакское *šama*, хиналугское *pšwa*, табасаранское *simi-c'ur* 'тридцать'.

Идеальна ли эта этимология? Отнюдь. Достаточно чуть детальнее разобраться в ситуации, и сразу же возникнут как минимум две претензии. Во-первых, сино-тибетский и кавказский корни друг на друга похожи по звучанию, а енисейский стоит совершенно особняком. Во-вторых,

кавказский корень представлен очень узко: его нет ни в нахской ветви, ни в аваро-андо-цезской, ни в абхазо-адыгской, и даже в тех лезгинских языках, где он якобы сохранился (таких как табасаранский), это не 'три' как таковое, а, например, составная часть в числительном 'тридцать' — короче, есть обоснованные сомнения относительно того, имеем ли мы право реконструировать на прасеверокавказском уровне конкретно такой корень с конкретно таким значением.

Тем не менее ни тот ни другой аргумент не носят «смертельный» характер для этимологии. Относительно енисейского слова следует помнить, что серьезное сравнение держится не на сходствах, а на соответствиях, и здесь как раз все четко: в корпусе Старостина есть и другие примеры случаев, когда сино-кавказский звук *s- в праенисейском развивается в *d- (например, сино-тибетскому *sək 'дышать' соответствует енисейское *daq 'жить'). Значит, по меньшей мере *допустимо*, что соответствие регулярно и отражает реальный исторический переход (в определенных фонетических контекстах).

Что касается кавказских форм, то и здесь лакское, хиналугское и табасаранское слова соответствуют друг другу и могут быть возведены к общей праформе. Возможно, ее употребление в прасеверокавказском было маргинальным: в частности, тот факт, что она сохранилась в табасаранском '30', может свидетельствовать в пользу ее архаичности (иногда более старые корни сохраняются в составных числительных). В любом случае, вероятность того, что в прасеверокавказском языке была форма *świmh- '3', заведомо выше того самого «нуля» Пуллиблэнка. Если же для повышения достоверности этимологии требуется предположить, что форма эта была архаичной и малоупотребительной уже в собственно прасеверокавказском языке, тем лучше для нас — вполне естественно и ожидаемо, что многие прасинокавказские формы со временем становились менее употребительными, и такого рода «ископаемые» в языках-потомках как раз и имеют особенную ценность для реконструкций на макроуровнях. Нужно только уметь показать, почему мы имеем право эти конкретные формы рассматривать как «ископаемые».

При этом даже если, например, окажется, что соответствие кавказского и сино-тибетского *s- енисейскому *d- все-таки фиктивно (у меня на этот счет твердого мнения нет), то выбрасывание из данной этимоло-

гии ее енисейской части вовсе не означает, что это автоматически дискредитирует *всю* этимологию: для того чтобы сравнение можно было спроецировать на прасино-кавказский уровень, вполне достаточно, чтобы оно было надежно представлено хотя бы в двух из трех ветвей.

Ну и, наконец, вспомним еще раз все то, что уже неоднократно говорилось про *системность* сравнений. Странной выглядела бы ситуация, при которой для праязыка можно восстановить число '3', но нельзя восстановить ни '1', ни '2'. Так вот, для прасино-кавказского Старостин предлагает восстанавливать полный цифровой ряд от '1' до '6'. Да, старые основы не всегда сохраняются во всех трех ветвях семьи, но для *каждого* из этих шести элементов можно предложить такие схождения хотя бы между двумя из трех ветвей, чтобы они были семантически точными и в целом укладывались в предложенную систему регулярных соответствий.

Скажем, 'шестерка': прасино-тибетскому **ruk* '6' (сохраняется в древнекитайском *ruk*, тибетском *d-rug* и бирманском *kh-rauk* с разными классифицирующими префиксами) регулярно соответствует хитрая форма, которая на прасеверокавказском уровне восстанавливается примерно как **'rā:ntle*, но при этом в ряде современных языков дает отражения, удивительно похожие на сино-тибетские: например, в лезгинском языке — *ruḡu-*, в даргинском — *ureg-*.

Конечно, можно и здесь, и в каждом отдельном другом случае «придраться» (например, попытаться оспорить часть кавказских параллелей). Но в tomto и дело, что каждая новая этимология, по мере того как мы продвигаемся от '1' к '6', добавляет веса предыдущей. Для сравнения могу нарисовать полную таблицу числительных, реконструированных для прасеверокавказского, праенисейского и прасино-тибетского, а в качестве контрольного аргумента туда же приписать, скажем, индоевропейские числительные:

Число	Прасев.-кавк.	Праенисейский	Прасино-тиб.	Праиндоевр.
1	*tshə	*xu-sa	*'it	*oi-no-, *oi-ko-
2	*q'hwā:	*xi-na	['niys]	*dwo:
3	*šwimh-	*do'ŋa	*si:m	*treys
4	*p'tl'ə [ЗК]	['si]	*(p)liy	*k'wet'ores
5	*fhä	['qä]	*ŋa:H	*penk'we
6	*'rā:ntle	*'ax-	*ruk	*s'weks

(Жирным выделены те основы или составные части основ, сопровождаемые суффиксами, которые, согласно системе соответствий Старостина, родственны друг другу — то есть, например, сино-тибетское **niys* ‘два’ к кавказскому **q'hwä*: никакого отношения не имеет, а вот енисейский корень **xi-*, наоборот, кавказскому **q'hwä*: соответствует регулярно.)

Даже если оставаться на уровне «звукового сходства», видно, что сходств все же больше между первыми тремя столбцами (сино-кавказскими), чем между любым из этих столбцов и индоевропейской колонкой. Но главное, конечно, не это (между енисейскими и кавказскими языками сходство просматривается отдаленно только в числительных ‘1’ и ‘2’, и то для этого нужно провести внутренний анализ енисейских словоформ) — главное то, что в ходе верификации гипотезы эти сходства, равно как и отдельные «несходства», при подключении других сравнений успешно перерабатываются в «соответствия». А вот между индоевропейскими и кавказскими формами никаких соответствий установить не удастся — нет даже ни одной зацепки.

А «местоименный» критерий, о котором мы говорили в начале беседы, на сино-кавказской почве работает?

Г. С. Частично работает. Северокавказская и енисейская системы местоимений вполне сопоставимы — если, скажем, «типично ностратическая» местоименная парадигма имеет вид **M-* ‘я’: **T-* ‘ты’, то «типично сино-кавказская» система имеет вид **Z-* ‘я’: **W-* ‘ты’. Например:

- с одной стороны, чеченское *so*, аварское *du-n*, лезгинское *zu-n*, абхазское *sa* и др. отражают прасев.-кавк. **zo* ‘я’; с другой — кетское *ad* и коттское *au* регулярно восходят к праенисейскому **adz*;
- с одной стороны, аварское *tu-n*, лезгинское *wu-n*, абхазское *wa* и др. отражают прасев.-кавк. **wo* ‘ты’; с другой — кетское *u*, коттское *aw* регулярно восходят к праенисейскому **aw*.

Это — очень простая и наглядная изоглосса, которой уже само по себе, на мой взгляд, достаточно, чтобы начать к сино-кавказской гипотезе (точнее, хотя бы к ее «кавказско-енисейской» части) относиться серьезно.

С сино-тибетскими языками сложнее: там базовая местоименная парадигма имеет вид *ng- 'я': *n- 'ты', то есть откровенно несопоставима с «кавказско-енисейской». Однако, как я уже говорил выше, местоименный аргумент нельзя считать абсолютным — в этом случае, с учетом всех прочих данных, ситуация скорее говорит в пользу того, что сино-тибетские языки по этому параметру отстоят дальше от северокавказских и енисейских, чем последние отстоят друг от друга. Лексикостатистика это, кстати, подтверждает, но об этом я скажу чуть подробнее в конце беседы.

Существенная претензия, которую любят предъявлять критики сино-кавказской гипотезы, — отсутствие *грамматических* аргументов в пользу сино-кавказского родства. Как я уже, кажется, говорил, и северокавказские, и енисейские языки — своего рода евразийские «чемпионы» по сложности своих грамматических систем. Особый трепет вызывает их глагольная морфология, когда к корню присоединяются длинейшие цепочки служебных морфем, где маркируется все: субъект действия, объект действия, косвенный объект действия, вид, время, наклонение, характер, направленность действия в пространстве, есть и такие служебные морфемы, значение и функция которых вообще остаются непонятными — так называемые «застывшие» или «окаменевшие» морфемы, которые когда-то что-то значили, но со временем утратили это значение даже для самих носителей языка. Например, согласно подсчетам А. Е. Кибрика, автора подробнейшего и аккуратнейшего описания арчинского языка (относится к лезгинской ветви северокавказской семьи), парадигма одного отдельно взятого арчинского глагола может содержать около *полтора миллионов* разных форм — разумеется, не все они реально употребляются в ходе живого языкового общения, но все они могут быть образованы по регулярным правилам этого языка, то есть будут формально грамматически правильными. (В русском, для сравнения, среднестатистическая парадигма одного глагола, даже с учетом всех падежных форм причастий и т. п., будет содержать где-то 120–130 форм.)

С другой стороны, например, сино-тибетские языки в целом отличаются намного более простой структурой. Например, в таком языке, как китайский, морфология почти совсем отсутствует, а те немногие грамматические суффиксы, которые все же удается выделить, как правило, об-

разовались совсем недавно из ранее самостоятельных слов. В других языках (тибетский, бирманский) серьезнее развита система словообразовательной морфологии, а в ряде сино-тибетских языков гималайского ареала вообще удается застать сложные системы глагольного спряжения, но это скорее исключение. В целом можно сказать, что между «типичной» грамматической структурой «типичного» сино-тибетского языка и структурами «типичных» кавказских или енисейских языков лежит пропасть, и это смущает даже тех специалистов, которые в принципе готовы были бы благосклонно отнестись к сино-кавказской гипотезе.

В работах Старостина вопросам сино-кавказской грамматики места действительно уделяется очень мало: основной упор всегда делался на сравнение «очищенных» от суффиксов и префиксов корневых морфем, сопровождаемое поиском регулярных соответствий и лексикостатистикой. Однако такой подход был вполне оправдан и связан вовсе не с тем, что Старостин не владел грамматическим материалом (как утверждали отдельные критики), и уж тем более не с тем, что грамматика сравниваемых языков свидетельствовала *против* родства, и поэтому о ней требовалось умалчивать, — связан он был с тем, что во многих, если не в большинстве, отношений грамматические системы сино-кавказских языков оказываются *бесполезными* для привлечения их к историческому сравнению, то есть не дают оснований ни подтвердить, ни опровергнуть гипотезу.

Это в свете предыдущих рассуждений о том, что грамматика вообще не очень верный помощник в вопросах установления дальнего родства?

Г. С.: Да, и, как ни странно, это особенно верно в тех случаях, когда мы сталкиваемся со сверхсложными грамматическими системами. Здесь можно привести красивую геологическую аналогию: как самые высокие горные цепи мира обычно оказываются самыми молодыми по времени формирования, так и самые сложные, запутанные структуры именных и глагольных словоформ, как правило, не живут долго — как и горные пики, они подвержены «выветриванию», только, разумеется, занимает это гораздо меньше времени. Для большинства сино-кавказских языков

характерна сильная *тенденция* к усложнению словоформы, но тенденция эта уравнивается противоположной — к *разрушению* старой структуры, когда одни цепочки грамматических морфем отмирают, а на их место со временем встают другие.

Абсолютизировать эту борьбу, конечно, нельзя, она протекает очень по-разному в зависимости от обстоятельств. Одни грамматические морфемы оказываются более устойчивыми, более тесно «врастают» в состав словоформы, чем другие. Например, для прасеверокавказского восстанавливается сложная система показателей различных именных классов, в которую, в частности, входит морфема **b*, маркирующая некоторые типы неодушевленных объектов. Точно такой же показатель **b*, указывающий на неодушевленный объект действия, восстанавливается в составе глагольной словоформы на праенисейском уровне — что это, случайное совпадение? Рассматривая эту ситуацию в совокупности со всеми остальными аргументами в пользу сино-кавказского родства, мы приходим к выводу, что, скорее всего, нет: это и есть одна из тех самых «реликтовых» грамматических изоглосс, которые показывают, что в конечном итоге грамматические системы рассматриваемых языков все-таки сопоставимы, и кое-какую информацию о самых древних их компонентах из имеющихся данных все же извлечь удастся.

Так что, с одной стороны, о сколь-либо подробной и полной реконструкции прасино-кавказской грамматики речи быть не может: слишком изменчивы такого рода системы, чтобы можно было их надежно отследить на десять-двенадцать тысяч лет вглубь. С другой стороны, о реконструкции отдельных элементов этой грамматики и, так сказать, общего сценария путей ее развития в языках-потомках задумываться можно и нужно. Довольно много в этой области сделал уже упоминавшийся наш коллега Джон Бенгтсон — у него есть около десятка статей, посвященных вопросам сравнительно-исторической грамматики сино-кавказских языков, и при этом явно недооцененных критиками: всего ему удалось набрать, наверное, примерно десятка полтора удачных сопоставлений грамматических морфем между разными ветвями сино-кавказской семьи, и это примерно столько, сколько мы бы и могли ожидать при наиболее благополучном раскладе, когда речь идет о сверхдревней макросемье.

Не следует забывать еще и вот о чем — на грамматический облик языка очень сильно влияет его лингвистическое окружение. Северокавказской ветви в этом плане повезло: она закрепилась в горах Кавказа, где долгое время была (да во многом и остается) «доминирующим» лингвистическим компонентом. Сино-тибетская же ветвь, наоборот, ушла далеко на восток, где оказалась окружена со всех сторон языками «австричского типа» — то есть такими, где морфология изначально либо отсутствует вообще, либо очень слабо развита. Соответственно, сино-тибетские языки довольно быстро (это могло произойти буквально за три-четыре поколения) перестроились под «локальную» модель: старые *слова* (точнее, корни) сохранились, а грамматические морфемы исчезли под влиянием соседних языков — опять-таки совершенно естественный в историческом плане процесс, абсолютно ничего удивительного. Аналогичным, хотя и менее радикальным, образом енисейские языки, попавшие в глубь Сибири, вступили там в контакт с местными языками — уральскими и алтайскими — и под возможным их влиянием также слегка упростили и трансформировали старую систему; но, поскольку сама по себе именная и глагольная морфология уральским и алтайским языкам вполне свойственна, енисейские языки все же из своего грамматического наследия сохранили больше отдельных элементов, чем сино-тибетские.

Остался еще один важный вопрос, на котором стоит остановиться подробнее, — проблема *границ* сино-кавказской семьи. Как я уже сказал, первоначальная гипотеза Старостина касалась трех семей, каждая из которых в той или иной степени была обработана сравнительно-историческим методом. При этом идеологические предшественники Старостина (Карл Боуда, Кай Доннер, Эдвард Сепир и т. д.), хотя они и не пытались установить регулярные фонетические соответствия между северокавказскими, сино-тибетскими и енисейскими языками (и поэтому их исследования на эту тему носят скорее «протонаучный» характер), сравнивали эти семьи еще и с другими «реликтовыми» обломками языкового наследия Евразии — в частности, Боуда привлекал к сопоставлению данные таких изолятов, как баскский и бурушаски, а Эдвард Сепир пошел еще дальше и выдвинул смелую идею генетического родства сино-тибетских языков и языков индейцев на-дене в Северной Америке; это, по-ви-

димому, было первой в истории сравнительного языкознания серьезной попыткой навести «лингвогенетические мосты» между Евразией и Америкой.

Позже начались попытки найти дополнительных «родственников» для сино-кавказцев и среди древних письменных языков Евразии — Джон Бенгтсон, например, одно время активно включал в сино-кавказский сравнительный материал данные шумерского языка, а сам Старостин, в соавторстве с еще одним коллегой, ныне, к сожалению, также покойным индоевропеистом Владимиром Орлом, даже написал «пробную» статью о связях между сино-кавказскими языками и языком этрусков в Италии — притом что интерпретация этрусских слов и текстов до сих пор остается во многом спорной и открытой, а на момент написания статьи (в конце 1980-х годов) основывалась на еще более спорных и скудных данных, чем сегодня.

Однако здесь важно в порыве классификационного энтузиазма не впасть в эйфорию — как и в случае с ностратическими языками, нужно опираться на четкие критерии, по которым язык или языковая семья формально опознается как «уверенно» или хотя бы «высоковероятно» сино-кавказский, а не превращать сино-кавказскую макросемью в условный «евразийский мусоросборник», куда автоматически включается все, что по тем или иным причинам не попало в ностратическую или в афразийскую макросемьи. Для этого, как мы помним, важно обращать внимание в первую очередь на два момента: наличие регулярных соответствий и позитивные сигналы внутри лексикостатистической матрицы. Если хотя бы одно из этих условий не выполнено — гипотеза не может приниматься всерьез даже в качестве «перспективной».

Лично Сергей Анатольевич при жизни успел более или менее тщательно верифицировать только гипотезу о сино-кавказской аффилиации памирского языка бурушаски. В ранних его работах эта идея только упоминалась вскользь, в основном в контексте историографии вопроса, но уже в пробном варианте сино-кавказского этимологического словаря и в описании сравнительной фонетики сино-кавказских языков, законченных им незадолго до смерти, бурушаски фигурирует как вполне полноценный участник сравнения. Удалось установить фонетические соответствия, набрать сопоставительный корпус морфем и даже показать,

что гипотеза, по-видимому, вполне успешно проходит лексикостатистический фильтр. Так что за дальнейшую судьбу буришей в историко-лингвистическом аспекте, наверное, можно уже не опасаться.

То есть то, что бурушаски — сино-кавказцы, можно считать «официально оформленной» заявкой?

Г. С.: В определенном смысле. Конечно, это не касается «сплиттеров», не доверяющих сино-кавказской гипотезе из принципа — но среди тех, кто в принципе согласен с ней или хотя бы считает ее «перспективной», я сегодня не знаю активных оппонентов сино-кавказской аффилиации бурушасков.

Сложнее обстоит дело с баскским языком. Баско-кавказскими и, шире, баско-сино-кавказскими связями, как я уже говорил, давно и активно занимается Джон Бенгтсон. Однако противостояние этой гипотезе носит гораздо более «яростный» характер, чем гипотезе о какой бы то ни было аффилиации бурушасков, и обусловлено это целым рядом исторических причин.

Во-первых, баскский язык для Европы уникален, а все уникальное в Европе, как правило, имеет долгую и сложную традицию изучения, и эта традиция во всех своих проявлениях неизбежно будет давить на любые попытки что-то изменить по существу. Баски — совершенно особый народ, единственный лингвистически сохранный реликт доиндоевропейского наследия Западной Европы, и в этом есть своя романтика, сознательно или подсознательно разделяемая большинством баскологов, которые с каким-то особым рвением неизменно подчеркивают идею, что «баскский язык никому и ничему не родствен, а если и родствен, то это родство принципиально недоказуемо».

Во-вторых, ранние попытки как-то все-таки породнить басков хоть с кем-нибудь неизменно ассоциируются с так называемой иберийско-кавказской теорией, которая, в свою очередь, часто ассоциируется, например, с именем Н. Я. Марра, поскольку тот активно занимался поиском «родственников» для языков Кавказа; какими методами он при этом пользовался — я уже говорил раньше. Вместе с совершенно справедливым разгромом марризма, таким образом, дискредитировались намертво

и потенциально верные идеи, лишь за то, что их кто-то пытался «обосновать» на откровенно псевдонаучной основе.

В-третьих, когда наконец сино-кавказская теория получила более или менее прочную основу и вопрос о баскском языке встал с новой остротой, ситуацию отчасти подпортили ранние работы Бенгтсона, в которых он очень неаккуратно обошелся с баскским языковым материалом — задев при этом остро чувствительные нервы ведущих баскологов, в частности профессора Ларри Траска, на тот момент (начало 1990-х годов) главного специалиста по истории баскского языка¹.

А что значит «неаккуратно обошелся», если конкретнее?

Г. С.: Баскский язык устроен довольно сложно — то есть, наверное, большая часть языков мира устроена сложно, но не ко всем языкам мира приставлены ученые-«персональные хранители», которые кладут жизнь на изучение этой сложности. К баскскому такие хранители приставлены: при этом их относительно немного, а это значит, что в баскологии имеет все шансы сложиться — и на самом деле сложился — определенный консенсус по многим спорным вопросам, причем во многих случаях в ранг «установленных фактов» возводятся не только действительно установленные факты, но и недоказуемые гипотезы, а изредка и откровенные методологические ошибки: ситуация в целом типичная для областей, «храняемых» малой горсткой экспертов.

Например, несмотря на то что, в отличие от всех остальных доиндоевропейских племен Западной Европы, баски, в силу своей относительной изоляции, свой язык сохранили, а не утратили, перейдя на латинский — несмотря на это, баскский язык все же впитал в себя очень большой пласт заимствований из латыни. Однако из-за того, что пласт этот проник в баскский примерно за тысячу лет до появления первых письменных памятников на баскском, многие из этих заимствований

¹ Траску, в частности, принадлежит классическое «консервативное» описание истории баскского языка: *Trask Larry: The History of Basque*. Routledge, 1996, а также опыт этимологического словаря баскского языка (*Etymological Dictionary of Basque*; в бумажном виде не опубликован в связи с кончиной автора, но лежит в открытом доступе в Сети), где этимология сводится, в основном, к элементам внутренней реконструкции и попыткам вывести как можно больше баскских слов из латыни (как успешным, так и полуфантастическим).

успели довольно сильно видоизмениться, и поэтому не всегда очевидно, действительно ли то или иное баскское слово происходит из латинского, или же оно просто случайно похоже на какое-то латинское слово, а на самом деле этимологические корни его гораздо глубже.

Вот, например, баскское слово *ondo*, означающее ‘ствол’ или ‘пень’: Траск и другие баскологи уверены в том, что оно заимствовано из народно-латинского *fundo* ‘дно’ (откуда в европейских языках *фундамент*), и поэтому пытаться выводить его куда-то дальше на сино-кавказский уровень — бессмысленно. Действительно, такое происхождение *возможно*, но совершенно не *обязательно*: к нему остаются вопросы — например, откуда берется значение ‘ствол’, потому что естественным было бы в результате такого заимствования видеть то же самое значение (‘дно’), ну или хотя бы, скажем, ‘корень’. Самостоятельный семантический переход от ‘дна, основания’ к ‘пню’ и далее к ‘стволу’ уже на собственно баскской почве — процесс типологически сомнительный, и поэтому вопрос о происхождении баскского *ondo* никак нельзя считать в такой ситуации окончательно закрытым. А ситуаций таких на проверку оказывается очень и очень много.

Или, например, такой случай, тоже на самом деле вполне типичный: Бенгтсон сравнивает баскское слово *beko*, которое означает ‘лоб’, с северокавказским **bek'wə* ‘лицо, морда’. Фонетические соответствия удовлетворительны, семантическое сходство — не то чтобы обнадеживающее, но в принципе связь допустима (если предположить, например, сужение значения в баскском). На это баскологи возражают: нет, это невозможно, поскольку баскское слово заимствовано из народно-латинского **bessu* ‘клюв’, причем преподносится это утверждение как едва ли не очевидный факт. Но что здесь очевидного? Во-первых, смысловое сходство — не сильно лучше, чем между ‘лбом’ и ‘мордой’ (‘клюв’ в языках мира регулярно и стабильно соотносится с ‘носом’, по понятным причинам, примеров же развития в ‘лоб’ или, наоборот, из ‘лба’ я не знаю).

Во-вторых же и в-главных, само народно-латинское слово **bessu* не имеет индоевропейской этимологии — к нему напрочь отсутствуют параллели в других ветвях индоевропейской семьи. Что это значит? Что, скорее всего, само это слово в латинском языке не унаследовано от индо-

европейского предка, а было заимствовано из каких-то соседних неиндоевропейских языков — последнее вполне естественно, учитывая, что древние италийцы заселяли, а позже завоевывали территории, на которых до них жили люди, говорившие на совершенно иных языках, в том числе и на вымерших родственниках баскского. Таких слов без индоевропейских источников в латыни в принципе немало, и в каждом таком случае гипотеза о заимствовании в латынь из некоторого «пара-баскского» (то есть родственного, но не тождественного древнему языку басков источника) должна по меньшей мере рассматриваться на *равных* основаниях с обратной ей гипотезой. Как это ни странно, в баскологии этот принцип регулярно игнорируется — по-видимому, стратегия по максимуму искать для баскских слов латинское происхождение считается «экономной», и поэтому правильной.

На самом деле в широком плане никакой «экономии» здесь нет, потому что проблема происхождения этих слов в латинском языке все равно никуда не денется — но, с другой стороны, это ведь уже не проблема басколога: басколог сделал свое дело («объяснил» баскский 'лоб' как заимствование из латинского 'клюва'), басколог может уходить. Эта и подобного рода ситуации, на мой взгляд, как нельзя лучше иллюстрируют пагубность «узкоспециализированного» подхода, когда специалист принимает наиболее выгодное для него в текущей ситуации решение вне зависимости от того, удачно ли оно вписывается в более широкий контекст — или, наоборот, заводит в исторический тупик.

То есть конфликт «сино-кавказологов» с «баскологами» — это в первую очередь следствие ограниченности «баскологов»?

Г.С.: Не совсем — серьезные методологические проколы были и остаются с обеих сторон. Примеры, которые я привел, конечно, в определенной степени инкриминируют «узких» баскологов, но вместе с тем нужно отдать должное Траску, который в большой статье детально разобрал все ранние сопоставления Бенгтсона и *действительно* выявил в них массу фактических ошибок: Бенгтсон, вслед за Гринбергом, к историческому анализу сравниваемого материала относился легкомысленно, считая, что «массовость» сравнения нейтрализует все конкретные ошиб-

ки. К чести Бенгтсона, все эти ошибки он признал, исправил, от части сравнений отказался и к мнению Траска (даже несмотря на чрезвычайно язвительный стиль критики) с тех пор всегда прислушивался — однако это уже не помогло: после «разгрома» Траска на баскологические труды Бенгтсона мало кто обращает внимания. А зря: там на самом деле масса интересных наблюдений — и в плане установления регулярных соответствий, и в плане сравнения грамматических систем.

Сергей Анатольевич Старостин к идее баскско-северокавказского родства всегда относился благосклонно и за работами Бенгтсона следил очень внимательно, но сам при этом лишь однажды отметил в «баскологической» дискуссии, заочно поспорив все с тем же Траском. Его позиция в целом сводилась к тому, что всех рассудить должна лексикостатистика — и что, когда он лично рассматривает базисную лексику баскского языка в сопоставлении с северокавказской, его впечатление таково, что совпадающих элементов там заведомо больше, чем можно было бы ожидать от неродственных языков. На что Траск ему язвительно отвечал, «а что значит заведомо?» и приводил аналогичные списки «совпадений» между баскским и английским языками, где, действительно, иногда попадались довольно смешные случаи (например, баскское *beltz* ‘черный’ — английское *black*, баскское *idor* ‘сухой’ — английское *dry* и т. п.)¹.

На самом деле разница в том, что над «баскско-английскими» параллелями можно лишь посмеяться, потому что они неинтерпретируемы в терминах системы регулярных соответствий. «Баскско-кавказские» же параллели все-таки обнаруживают признаки системности. Относительно недавно нам удалось подсчитать, что из 50 наиболее устойчивых в среднестатистическом плане элементов списка Сводеша баскский имеет с северокавказским не менее 10 совпадений, в целом удовлетворяющих соответствиям Бенгтсона, причем невооруженному глазу эти совпадения частично заметны (например, баскское *igar* ‘сухой’ = сев.-кавк. **igwar* ‘сухой’), частично нет — требуют детального исторического разбора и реконструкции реалистичного исторического сценария.

¹ «Баскологической» дискуссии между Л. Траском, С. А. Старостиным, Дж. Бенгтсоном и другими представителями как «ламперов», так и «сплиттеров» посвящены значительные сегменты выпусков американского журнала *Mother Tongue* (основной «рупор» макрокомпаративистического направления в США) за 1995–1996 годы.

Скажем, баскское слово *belarri* 'ухо' и прасеверокавказское **lehi* 'ухо' (кавказскую реконструкцию даю в слегка упрощенном виде) «похожи» в том плане, что и в том, и в другом слове есть согласный *l*. Достаточно этого для того, чтобы считать сравнение перспективной этимологией? Разумеется, нет, потому что необъясненными остаются все прочие структурные элементы. Можно их как-то объяснить? Да, можно, если привлечь дополнительные данные как с баскской, так и с кавказской стороны. Выясняется, что:

- во-первых, в баскском обнаруживается удивительно высокий процент слов, обозначающих части тела и при этом начинающихся с согласного *b*:- кроме 'уха', есть еще 'глаз' *b-egi*, 'сердце' *bi-hotz*, 'спина' *bi-zkar*, 'легкие' *bi-rika*, 'колени' *be-laun*, 'лоб' *be-lar* и т. д. Бенгтсон в свое время предположил, что во всех этих словах *b*-с последующим гласным — след «окаменевшего» показателя отдельного именного класса, в который в прасино-кавказском, в частности, попадала большая часть анатомических терминов (хотя и не все). «Доказать» это предположение, не выходя за рамки собственно баскского языка, невозможно, поэтому баскологи-традиционалисты предпочитают его не рассматривать всерьез. Но если систематически посмотреть на возможные кавказские параллели, оказывается, что, отделив от баскского слова гипотетическую окаменевшую приставку, можно получить целую серию перспективных этимологий;
- во-вторых, кавказские существительные в конкретных языках часто бывают представлены в нескольких вариантах, обычно соответствующих так называемой прямой основе (грубо говоря, именительному падежу) и косвенной основе (от которой образуется большинство остальных падежных форм и некоторые типы производных существительных). Так вот, скажем, для пранахского (предка современных чеченского, ингушского и бацбийского) 'ухо' восстанавливается с прямой основой **la*, косвенной **la-ri-* — отсюда дальше образована производная форма с уменьшительным суффиксом **la-ri-k* 'ушко', которая в современных чеченском и ингушском регулярно развилась в *lerg*.

Получается, что в баскском *be-la- (r) ri* «чистый» исторический корень — **la*; за те несколько тысяч лет, которые прошли после отделения баскского от его кавказских «родственников», этот корень сросся в единое неразрывное целое со старым префиксом класса и со старым суффиксом косвенной основы. Если бы в нашем распоряжении не было данных северокавказских языков, нам никогда бы даже не пришло в голову предложить такой исторический сценарий — но он, во-первых, абсолютно реалистичен (такого рода «сращивания» морфем, утрачивающих самостоятельность, в языках мира происходят сплошь и рядом), во-вторых, проливает яркий свет на те области предистории баскского языка, в которых «традиционная» баскология оказывается бессильна.

И самое главное, конечно — этот сценарий с ‘ухом’, который я здесь изложил, не единичен. Просто так пофантазировать, разделив длинное слово на три слога и придумав какое-то спонтанное объяснение для каждого из них, можно в любое время на материале любого языка. Здесь же, как и в ситуации с регулярными фонетическими соответствиями, ситуация *рекуррентная*: даже на ограниченном материале базисной лексики есть еще как минимум несколько случаев такого же рода, когда баскское слово, например, хорошо согласуется с кавказским вариантом косвенной, а не прямой основы — скажем, баскское *hor* ‘собака’ и кавказское **χweye*, косвенная основа **χwe-r-*. Лично для меня это не оставляет никаких сомнений в том, что лингвистически баски — действительно ближайшие родственники северокавказцев.

Хорошо, с басками понятно. А что за идея о родстве всех этих языков с индейскими языками в Северной Америке?

Г. С.: Не со всеми индейскими языками, а лишь с одной большой семьей, которую американский лингвист Эдвард Сепир в начале XX века назвал *на-дене*. *Дене* — самоназвание людей, говорящих на большинстве языков атапаскской группы, распространенной в основном на Аляске, хотя значительная часть атапасков некоторое время назад откололась от аляскинских и ушла далеко на юг, на территорию современных штатов Аризона и Нью-Мексико (там, в числе прочих, представлены хорошо

известные всем любителям индейских культур атапаскские племена *аначей* и *навахо*).

Слово *дене* составное, первый компонент в нем — классифицирующая приставка *де-*, старый корень — *-не* ‘человек’, этимологически родственный слову *на* ‘человек’ в языке *тлингит*, который в состав атапаскских языков не входит, но находится с ними в отношении достаточно далекого родства — на нем сегодня, также на Аляске, говорит около 700 носителей. Еще один язык на-дене, *эяк*, который, в отличие от тлингита, был очень близок к атапаскским, на сегодняшний день считается вымершим: в 2008 году скончалась последняя носительница. Атапаскам повезло гораздо больше: по крайней мере 20–25 языков сохраняются до сих пор, активно изучаются, многие преподаются в школах, хотя, конечно, насколько удачны все эти попытки сохранения языков Аляски и Нью-Мексико, покажет только будущее.

Так вот, уже с самого начала периода активного изучения индейских языков Северной Америки (а это и было как раз начало XX века), Сепир и другие лингвисты обращали внимание на то, что языки на-дене во многих отношениях — и в плане грамматики, и в плане лексики — значительно отличаются от других индейских языков и, наоборот, в чем-то скорее сближаются с некоторыми языками Евразии. Сепир, в частности, отмечал бросающиеся ему в глаза сходства на-дене с сино-тибетскими языками. Спустя еще несколько десятилетий Моррис Сводеш, автор глоттохронологического метода, уже предлагал для языков на-дене баскско-кавказские параллели, а в 1990-е годы к идее подключились ученики Гринберга — Бенгтсон и Рулен, которые просто включили языки на-дене в сино-кавказскую семью, переименовав ее в «дене-кавказскую». Рулен при этом особенно настаивал на специфической близости на-дене и енисейских языков — предметом отдельной гордости для него было то, что он даже нашел между этими двумя семьями общее слово для обозначения ‘березовой коры’: по-кетски это слово будет *qi’u*, а, например, на атапаскском языке танаина — *q’əu*. Действительно, поразительное сходство — но, на момент публикации работы Рулена¹, не более чем сходство, которое, как мы хорошо знаем, вполне может быть и случайным.

¹ *Ruhlen Merritt. The Origin of the Na-Dene // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1998. Vol. 95 (23). 13994–6.*

Так случайное или нет? И как, кстати говоря, к такому расширению своей гипотезы относился сам С. А. Старостин?

Г. С.: Относился скорее положительно, особенно после того, как к анализу данных подключился его соавтор по северокавказскому словарю, Сергей Николаев. Главным недостатком всех сопоставлений между языками на-дене и языками Евразии, как вы понимаете, было то, что проводились они «на глазок»: Сепир высказывал лишь чисто интуитивные соображения, Сводеш прикидочно сопоставлял небольшие списки базисной лексики, а Рулен и Бенгтсон оперировали «массовым сравнением» по заветам Гринберга.

Николаев, который лучше всего владел кавказским материалом (и в меньшей степени — енисейским и сино-тибетским), решил проверить «индейско-евразийские» связи, установив регулярные фонетические соответствия между реконструированным прасеверокавказским языком и прана-дене — соответствующая попытка была опубликована в одном из так называемых шеворошкинских сборников в 1991 году, под громким названием «Сино-кавказские языки в Америке»¹. Удачной ее можно считать лишь отчасти, потому что у Николаева на тот момент был очень ограниченный доступ к материалам по на-дене — железный занавес только-только пал, а описания и словари по языкам Аляски в массе своей публиковались ничтожными тиражами, только на самой Аляске. Поэтому на-дене реконструкция, которую проделал сам Николаев, была довольно низкого качества, а отсюда неизбежно следует и низкое качество внешнего сравнения.

Тем не менее это все равно был чрезвычайно важный шаг вперед по сравнению со всем, что было до того, — Николаев ввел в дене-кавказское сравнение саму идею формального сравнительно-исторического анализа, что позволило развивать гипотезу дальше уже не на пустом месте, а исходя из понятной и четко, хотя и не всегда правильно, очерченной системы звуковых соответствий.

К сожалению, С. А. Старостин по-настоящему результаты работы как Николаева, так и Бенгтсона (который к началу 2000-х годов уже перешел

¹ *Nikolayev Sergei. Sino-Caucasian Languages in America // Dene-Sino-Caucasian Languages / V. Shevoroshkin (ed.). Bochum: Brockmeyer, 1991. P. 42–66.*

от этапа «массового сравнения» к более строгой работе компаративиста) оценить не успел — в его сравнительной фонетике сино-кавказских языков семья на-дене, как и баскский язык, оказалась незадействованной. Это приходится делать уже его ученикам — мне, например, или моему коллеге Алексею Касьяну.

И как же вы с коллегой оцениваете эти результаты?..

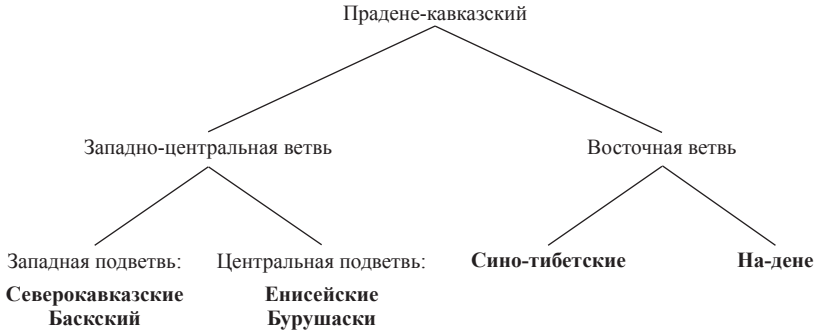
Г. С.: Ну, во-первых, работа не стоит на месте: с 1991 года в открытый доступ попали десятки новых словарей и монографий по атапаскским языкам, появилось несколько конкурирующих моделей реконструкции пранадене, да и сам Николаев в последнее время снова активно принялся за пересмотр своих старых соответствий. Так что прямо сейчас давать какую-то твердую оценку — неразумно, надо дождаться, пока Николаев доработает свой этимологический корпус и представит новую систему соответствий.

Во-вторых, только совсем недавно удалось завершить работу, в рамках которой проводилось сопоставление самых устойчивых слоев базисной лексики, реконструированных для праязыков «низких» уровней — отдельных подгрупп северокавказских, сино-тибетских, енисейских и на-дене языков, а также баскского и бурушаски. Собственно говоря, я уже дважды упоминал об этом методе — отбираются 50 наиболее среднестатистически устойчивых элементов из 100-словного списка Сводеша, затем для них по четко оговоренной процедуре реконструируются праформы по группам и семьям, затем задействуется статистический компонент. И для дене-кавказской гипотезы результаты получились очень интересными и обнадеживающими.

Каверзность ситуации, правда, в том, что опять-таки при определении того, какие слова в одних группах родственны каким словам в других, приходится все время маневрировать между «звуковыми соответствиями» и «звуковыми сходствами». Для сино-тибетских, енисейских и северокавказских языков есть старая система соответствий Сергея Анатольевича — хотя и в этой системе есть что покритиковать. Для баскского — соответствия, установленные Бенгтсоном, также не всегда надежные, но все-таки соответствия. Для на-дене — лишь старая система соответствий Николаева, во многом неприменимая к обновленным све-

дениям по на-дене. Здесь уже скорее приходится ориентироваться просто на фонетическое сходство, «шарить вслепую».

Тем не менее даже в таких условиях результаты сопоставления по 50-словным спискам превзошли все мои изначальные ожидания. Они не только еще раз подтверждают сино-кавказскую гипотезу (в расширенном, «дене-кавказском» варианте), но даже позволяют выстроить очень четкую внутреннюю классификацию, вот таким образом:



Имеется в виду, что базисно-лексические изоглоссы внутри разных ветвей сино-кавказской макросемьи распределяются так, что вся макросемья элегантно раскладывается на три бинарных узла: «баскско-кавказская» ветвь с левого фланга, «енисейско-бурушаскская» в центре и «сино-дене» справа, правда, первые две все равно оказываются ближе друг к другу, чем к третьей. Такой четкой классификации не получается даже для праэстратического (по крайней мере, в его широком, «свитычевском» варианте, потому что очень расплывчатой остается позиция картвельских и дравидийских языков).

А как этот результат должен интерпретироваться с исторической точки зрения? Можно ли, например, сказать, что дене-кавказская семья «моложе» ностратической?

Г. С.: Не знаю. Вопрос точности глоттохронологической датировки на таком уровне, когда мы уходим вглубь примерно на десять и более тысяч лет, пока что стоит очень остро. Когда считаешь глубинное родство по 50-словному списку, расхождение в один-два процента уже пе-

решивается в одну-две «лишних» тысячи лет — поэтому если мы прикидочно датируем, скажем, праностратический тринадцатым тысячелетием до нашей эры, а дене-кавказский — одиннадцатым, это различие на самом деле фиктивно. С высокой степенью вероятности можно сказать, что оба праязыка существовали где-то в эпоху раннего неолита — а дальше начинается фантазия, которую следует обуздывать или, по крайней мере, стараться пускать в максимально реалистичное русло.

Но если уж мы говорим о «реалистичном», то насколько вообще реалистично, что в столь глубокой древности, по-видимому, за относительно небольшой временной период одна языковая группа покрыла столь колоссальную территорию? От Пиренейских гор до Аляски?

Г. С.: Сам по себе процесс такого расселения не беспрецедентен — экспансии по колоссальным территориям впоследствии осуществлялись и другими народами, от австронезийцев до индоевропейцев. Временной период тоже мог быть на самом деле гораздо более долгим, чем нам кажется. Допустим, «дене-кавказцы» начали мигрировать где-нибудь с XII–X тысячелетия до н. э. из областей, географически близких к Кавказу, — это значит, что, например, у тех же басков, точнее у предков современных басков, было как минимум шесть-семь тысяч лет «в запасе», чтобы добраться до крайнего запада Европы: время более чем достаточное. У предков современных на-дене этого времени было как минимум столько же: разделение на-дене на тлингит и эяк-атапаскские языки произошло где-то четыре-пять тысяч лет тому назад, значит, прана-дене могли попасть на территорию Америки, переправившись через Берингов пролив, спустя семь-восемь тысячелетий после первого «раскола» своего далекого дене-кавказского предка. Так что с хронологией все в порядке.

А откуда уверенность, что прародина находилась где-то рядом с Кавказом? Это обосновано лингвистически или как-то еще?

Г. С.: «Уверенности», конечно, никакой нет — «уверенности» нет даже по поводу прародин гораздо более мелкого уровня, типа индоевропейской, а что уж говорить о прадене-кавказском языке, где пока что речь

идет о том, чтобы тщательно обосновать реконструкцию его *базисной* лексики, в то время как реконструкция прародины обычно осуществляется по данным реконструкции *культурной* лексики — например, конкретных элементов локальной флоры и фауны. Какие у прадене-кавказцев были специфические растения и животные, пока что очень трудно представить.

Но есть некоторые общие соображения, которые делают «кавказскую» или «околокавказскую» прародину несколько более вероятной (или, по крайней мере, «экономной»), чем альтернативные варианты. Во-первых, столь мощный миграционный импульс в эпоху раннего неолита вряд ли мог *не* иметь отношения к переходу ряда племен к производящему хозяйству — это не значит, что прадене-кавказцы сами обязаны были быть ранними земледельцами или скотоводами, но их вполне могли сдвинуть с насиженных мест соседние народы в ходе процессов, вызванных неолитической революцией. Следовательно, дене-кавказская прародина, по всей видимости, находилась где-то рядом с первыми очагами земледелия, на Ближнем Востоке.

Во-вторых, есть чисто «геометрический» аргумент — естественнее предполагать, что, если сверхдревняя макросемья покрывает территорию от Испании до Аляски, то даже при наличии шести-семи тысяч лет на покрытие этого расстояния миграции идут из центра «налево» и «направо», чем, скажем, из Испании в Аляску или наоборот. В этом смысле Ближний Восток и Кавказ — это, конечно, не геометрический «центр», так что аргумент слабый, но по крайней мере до какой-то степени отсекает «крайности».

Самый существенный аргумент, пожалуй, — это аргумент архаичности / инновативности реконструируемых языковых подсистем, в первую очередь фонетической. По степени сложности звуковой системы на первом месте среди дене-кавказских языков стоят, очевидно, северокавказские языки. На втором — наверное, языки на-дене, но в этом случае хотя бы какую-то долю этой сложности можно списать на общую ситуацию в Северной Америке: там для всего континента, как правило, характерны системы с большим числом фонем, сложным устройством корня и словоформы и т. д. Кавказским же языкам свою зубодробительную сложность взять было фактически неоткуда, большинство окружающих

их языков, что с севера, что с юга, в целом устроены намного проще. Поэтому сино-кавказские реконструкции Старостина, если посмотреть на них внимательно, в целом почти совпадают с северокавказскими — фонетические соответствия, которые он установил, показывают, что северокавказские языки сохраняют прасино-кавказскую систему почти в неизменном виде, в то время как в енисейских и в сино-тибетских языках она очень сильно упростилась; то же самое произошло и с басками, и с бурушаски.

Как происходило это «упрощение»? Скорее всего, таким же образом, как и в более поздние эпохи — вследствие активных контактов с местным населением на тех территориях, куда мигрировали носители сино-тибетских языков. «Протоенисейцы» ушли в Сибирь, смешались там с местным сибирским населением и, хотя и не утратили свой язык, сильно видоизменили его под влиянием местного субстрата. «Прото-сино-тибетцы» ушли далеко на восток, там смешались с местным «австрическим» населением, и язык их начал меняться по стандартным «австрическим» же шаблонам — начала упрощаться структура словоформы, стали развиваться тоны, сливаться друг с другом звуки, которые ранее различались (например, простые и глоттализированные согласные, до сих пор различающиеся в большинстве кавказских языков) и т. д.

И только «протосеверокавказцы» за всю историю эволюции сино-кавказской семьи не изменили, так сказать, «базисных параметров» своей звуковой структуры. Это значит, что предполагать для них какие-то длительные, многотысячелетние миграции, в ходе которых они неизбежно должны были сталкиваться с другими народами, — маловероятно. Контакты между носителями прасеверокавказского языка и носителями других языковых семей, конечно, были. Например, я в одной из предыдущих бесед уже упоминал статью С. А. Старостина, в которой он подробно и, на мой взгляд, очень убедительно обосновывал гипотезу большого культурного пласта заимствований из прасеверокавказского в праиндоевропейский. Но «культурные заимствования» — это самый простой тип языковых контактов, относительно неглубоких. А вот про то, что прасеверокавказский язык и его ближайшие потомки претерпели сильнейшее структурное влияние со стороны еще каких-то «локальных» языковых семей, мы сказать ничего не можем.

Вот эта совокупность аргументов — хотя ни один из них нельзя считать, так сказать, «клинчевым» — лично меня склоняет скорее к идее, если не непосредственно кавказской, то по крайней мере ближневосточной прародине сино-кавказцев. Скажем, какая-нибудь условная «Восточная Анатолия».

Речь, по-видимому, в любом случае идет о какой-то относительно небольшой области? Есть ли возможность установления археологических корреляций? Вообще, есть ли надежный способ более или менее четко представить эти точки первичного распространения сино-кавказских и ностратических языков, «берлог», в которых они складывались и откуда распространялись по миру?

Г. С.: Трудно сказать. Понятно, что вопрос о «прародинах» жутко интересен, но для нас он пока что не является приоритетным, когда речь идет о такого рода глубоких макросемьях. Нам сейчас гораздо важнее повысить степень надежности реконструкции — убедительнее обосновать сами эти макросемьи как таковые. Иногда спрашивают: «Так как же вы их можете обосновать, если даже не можете точно предположить, где на этих языках разговаривали конкретные их носители?» Но это вопрос бессмысленный, потому что и на праностратическом, и на прасино-кавказском, и на любом другом «сверхдревнем» языке теоретически разговаривать можно было где угодно, и ничего принципиально не изменится от того, что сино-кавказскую прародину мы сегодня условно поместим, скажем, в южные предгорья Кавказа, а завтра скажем: нет, наверное все-таки лучше в Сирии... или, может быть, где-нибудь в Загросских горах? Относительно индоевропейской прародины до сих пор ведутся ожесточенные споры, но они совершенно не побуждают нас сомневаться в реальности праиндоевропейского языка как такового.

Есть, однако, здесь один интересный парадокс, связанный не столько с локализацией этих «берлог», сколько с вопросом трассирования маршрутов, по которым жители этих «берлог» расселялись по территории Евразии, и на нем хочу остановиться чуть подробнее.

Как я уже сказал, мы провели детальное лексикостатистическое исследование базисной лексики по ностратическим и по сино-кавказским

языкам. Исследование показало, что возраст сино-кавказской семьи со всеми ее ветвями, по-видимому, меньше, чем возраст ностратической семьи со всеми ее ветвями. *Очень* прикидочные цифры — примерно 10–12 тысяч лет для прасино-кавказского, примерно 12–14 для праностратического. Если брать «узконостратический» уровень, без дравидийских и картвельских языков, получится тоже примерно 10–12 тысяч, то есть в лучшем случае перед нами праязыки-ровесники.

При этом если посмотреть на карту, то дистрибуция получается очевидная: по всей Евразии раскиданы «островки» сино-кавказских языков, а если точнее, то даже не островки, а скорее горные вершины (Гималаи, Памир, Кавказ, Пиренеи, только енисейцы живут не в горах, но там функцию гор выполняет тайга). Основная же территория занята носителями ностратических языков: в первую очередь индоевропейских, в чуть меньшей степени — алтайских, в еще меньшей — уральских.

Интерпретация здесь однозначна: первая волна «евразийской экспансии» (точнее, первая волна, которую удастся засечь лингвистическими средствами) была, скорее всего, связана с миграциями сино-кавказцев, а «ностратическая экспансия» началась позже, возможно, даже намного позже, и уже в ходе этой новой экспансии сино-кавказское население Евразии в массе своей стало переходить на отныне «доминантные» ностратические языки.

Как это примирить с идеей того, что праностратический и прасино-кавказский — языки, генетический возраст которых вполне сопоставим? На этот вопрос у нас нет даже спекулятивного ответа. Можно было бы думать, что, например, прасино-кавказцы сильно раньше, чем праностраты, овладели навыками земледелия и скотоводства, что и вызвало потребность в освоении новых территорий. Но для этого надо уметь убедительно доказать, что в прасино-кавказском языке была земледельческая и скотоводческая терминология, а у меня в этом твердой уверенности нет.

А в этимологических сопоставлениях С. А. Старостина такого рода термины присутствуют?

Г. С.: Присутствуют термины, которые в *языках-потомках* имеют значения, связанные с производящим хозяйством. Иногда эти значения даже совпадают в разных ветвях. Например, прасино-кавказская

‘свинья’ — сев.-кавк. **wha:rtlwə*, регулярно соответствующее тибето-бирманскому **wak*. И там и там это слово обозначает преимущественно ‘домашнюю свинью’, но можно ли поручиться за то, что в общем языке это слово не применялось для обозначения ‘дикой свиньи’? Есть попытка восстановить слово ‘плуг’ на основании сев.-кавк. **hra:ytsu* и сино-тибетского **ru:yh* — вроде бы соответствия регулярны, но сино-тибетское слово представлено на самом деле только в китайском, и есть все основания сомневаться в том, что оно архаично; боюсь, что здесь скорее речь должна идти о случайном элементе сходства.

В любом случае ни о какой *развитой* системе земледельческо-скотоводческих навыков речь не идет — в этом случае следы расселения сино-кавказцев по Евразии были бы гораздо более четкими, и маловероятно, что последующие волны новых экспансий так основательно стерли бы их языковое присутствие на большей части континента. Скорее о земледелии и скотоводстве как стимулах к экспансии можно говорить применительно к ностратам — не праностратам, а некоторым из праязыков-потомков. Индоевропейцы и алтайцы — классические образцы экспансивного «скотоводческого» типажа. А вот что побуждало расселяться сино-кавказцев, уже не так ясно. Впрочем, человечество, как известно, заселило почти все уголки планеты задолго до изобретения земледелия, и сино-кавказская «волна» была далеко не первой.

То есть получается, что «сино-кавказская экспансия» — это переселенческая волна каких-то, скажем, охотничьих племен, возможно, обладавших при этом самыми примитивными навыками земледелия, а уже сильно позже сино-кавказцам пришлось потесниться на их территориях под влиянием технологически продвинутых «ностратов»?

Г. С.: Как *очень* упрощенная, чрезвычайно грубая модель исторического процесса в Евразии с XIV–XII тысячелетия до н. э. и вплоть до начала письменного периода истории — этот сценарий, может быть, и приемлем, но реальная история, конечно, гораздо сложнее. Как в свое время примитивное понимание «индоевропейской экспансии» легко могло создать в воспаленном мозгу расистские иллюзии о могучих арийских богаты-

рях, несущих цивилизацию, просвещение и счастливое будущее всему человечеству, так и здесь, если ограничиваться упрощенной моделью «примитивных сино-кавказцев» и «продвинутых ностратов», можно быстро впасть в самый настоящий расизм.

На самом деле и «праностраты», и «прасино-кавказцы», скорее всего, в плане «цивилизованности» были вполне сопоставимы друг с другом — такие достаточно размытые конгломерации раннеэнеолитических племен. Технологический прогресс, связанный с переходом к устойчивым и высокоразвитым формам производящего хозяйства, происходил уже после разделения как той, так и другой макросемьи — на уровне отдельных ветвей.

Например, с реконструкцией «культурной лексики» на прасино-кавказском уровне, действительно, большие проблемы (не потому, что ее не было, а потому, что реконструировать в принципе неустойчивую лексику на глубине десяти-двенадцати тысяч лет — это такой высокий пилотаж, что этому нам еще учиться и учиться) — но вот культурную лексику прасеверокавказского уровня, а это примерно VI тысячелетие до н. э., Старостин и Николаев реконструировали с высокой степенью надежности, и оказывается, что у прасеверокавказцев уровень технологического развития был в то время одним из самых высоких по всему региону — земледелие, скотоводство, строительство, даже ранняя металлургия, все в той или иной степени присутствовало¹. Более того, северокавказские термины активно заимствовались в соседние праязыки (например, в праиндоевропейский), а заимствование терминов, как правило, означает и заимствование соответствующих реалий, так что есть серьезные основания подозревать, что именно от северокавказцев индоевропейцы переняли многие навыки во всех этих областях.

Потом, если обратиться к восточному ареалу распространения сино-кавказских языков, там мы обнаруживаем сино-тибетские народы — и среди них, в частности, древних китайцев, создавших на Дальнем Востоке крупнейшую и древнейшую цивилизацию. Так что миф об «отсталых сино-кавказцах» и «прогрессивных ностратах» тем самым рушится

¹ Подробный список терминов приводится в статье: *Старостин С. А.* Культурная лексика в общесеверокавказском словарном фонде // *Древняя Анатолия*. М.: Наука, 1985. С. 74–94. Перепечатана в: *Старостин С. А.* Труды по языкознанию. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 289–311.

на глазах, не успев даже толком оформиться. С таким же успехом можно было бы пытаться построить теорию расового или культурного превосходства, отталкиваясь от того, что сино-кавказские языки в массе своей префиксальные (то есть образуют производные грамматические формы чаще всего с помощью приставок), а ностратические — как правило, суффиксальные. Может быть, это отражает и особенности соответствующих праязыков, но к уровню развития их носителей не имеет никакого отношения. А если даже и имеет — то я не знаю какое, и никто не знает.

Еще такой вопрос. Можно ли считать состав сино-кавказской семьи окончательно финализированным? Или не исключено, что в будущем удастся обнаружить еще какие-нибудь дополнительные «сино-кавказские» островки, и они помогут уточнить и пути миграций, и, может быть, даже причины миграций? Ведь состав ностратической семьи, как уже говорилось, окончательно не установлен — есть ли здесь принципиальное отличие от сино-кавказской ситуации?

Г. С.: Сино-кавказская семья, даже в расширенном составе, то есть с включением языков на-дене, все же производит впечатление более «компактной», чем ностратическая. Есть определенный, довольно четкий, диагностический набор базисных морфем (местоимения, части тела, природные объекты и т. п.), который характеризует «западно-центральный» ареал сино-кавказской макросемьи, и частично пересекающийся с ним набор для «восточной» ветви. Если мы хотим обосновать сино-кавказский характер еще какой-нибудь семьи или отдельного языка-изолята, необходимо наглядно показать, что такие-то и такие-то корни, типичные для сино-кавказских языков в таких-то и таких-то значениях, в таких же значениях представлены и в языках этой семьи. Например, для начала хотя бы местоименная парадигма «Z- 'я' / W- 'ты'», типичная для западно-центральной ветви.

На моей памяти было еще как минимум две попытки расширить границы сино-кавказской семьи, обе скорее неудачные, за счет подключения к ней таких древних языков Евразии, как *этрускский* и *шумерский*. Для традиционной компаративистики и тот и другой — языки-загадки: оба известны только по древним письменным памятникам, оба лежат в основе

древних высокоразвитых цивилизаций, оба были впоследствии вытеснены из употребления языками, гораздо более ясными в генетическом плане (этруский в Италии — индоевропейской по происхождению латынью, шумерский в Междуречье — семитским по происхождению аккадским), и ни тот ни другой не удастся, исходя из расшифрованной письменности, породнить ни с одной крупной семьей. Разумеется, в голову закрадывается подозрение — а не могут ли они тоже быть своего рода «обломками», временно уцелевшими от некогда пышного сино-кавказского разнообразия?

Сино-кавказскими связями шумерского в свое время активно занимался Джон Бенгтсон — в основном еще на том этапе, когда он оперировал преимущественно гринбергианской методикой, и большинство его сравнений с точки зрения стандартной компаративной процедуры было неприемлемо. Улучшить ситуацию, в общем, до сих пор не удалось — все остается на уровне отдельных изолированных сходств. Например, шумерское *ud* 'день, солнце' сравнивается с баскским *uda* 'лето', а шумерское *uzi* 'мясо' — с праенисейским **ise* 'мясо', но в совокупности всех этих сравнений недостаточно, чтобы мы могли быть уверены в их неслучайности. Отмечу, что Аллан Бомхард, напротив, уже давно тянет шумеров в сторону ностратической аффилиации — и приводит примерно такой же степени убедительности сравнения с индоевропейскими, уральскими и алтайскими языками. Две равновероятные и при этом несовместимые друг с другом гипотезы означают, что ни одну из них нельзя принять как рабочую.

Ситуация с языком этрусков еще хуже — постольку, поскольку от шумеров до нас, по крайней мере, дошел очень внушительный объем клинописных текстов, которые шумерологи более или менее сносно научились «озвучивать» и переводить благодаря тому, что многие из этих текстов — билингвы, написанные параллельно и на шумерском, и на хорошо известном и изученном аккадском. Этруский же язык представлен очень небольшим корпусом надписей — и хотя фонетически озвучить их несложно, потому что этруски пользовались не клинописными логограммами, а алфавитом, этрусско-латинских билингв, которые позволили бы надежно разгадать смысл этрусских слов и предложений, сравнительно немного.

В 1990 году С. А. Старостин и Владимир Орёл опубликовали совместную статью, где предприняли очень смелую попытку показать, что

этрусский — не просто сино-кавказский язык, а *северокавказский* и связан ближайшим родством непосредственно с нахско-дагестанскими языками¹. Там на нескольких страничках были приведены 59 этимологий и вкратце набросана табличка регулярных соответствий. Впоследствии ни тот ни другой тему эту не развивали, а в частных беседах Сергей Анатольевич признавал, что, по-видимому, попытка оказалась скорее неудачной — в том числе и потому, что использованы были слова с не до конца установленными значениями. Например, в числовом ряду они сравнивали этрусское числительное *hiθ* с кавказским *xwä-* ‘5’, а этрусское *taχ* с кавказским **uetaqi-* ‘4’ — но на сегодняшний день значения этих числительных восстанавливаются как ‘6’ и ‘5’ соответственно, и этимологизация на кавказской почве обесмысливается.

Значит, этрусски — это результат еще одной древней волны миграции в Европу? Но если баски — сино-кавказцы, а этрусски — не сино-кавказцы, то кто они? И кто из них оказался там раньше?

Г. С.: Во-первых, я не сказал, что этрусски — не сино-кавказцы. Более или менее точно можно сказать, что между языком этрусков и конкретными ветвями сино-кавказской макросемьи нет ближнего родства. Это не значит, что этрусски, а также ряд других древних средиземноморских племен, которые, по-видимому, говорили на языках, близких этрусскому (лемносский, ретский, этеокипрский — их объединяют в гипотетическую *тирренскую* семью, хотя сведений о всех этих языках еще меньше, чем об этрусском), не могли восходить к какой-то отдельной, рано обособившейся ветви сино-кавказской макросемьи. Это означает лишь, что такого рода сценарий на данный момент никакого обоснования не получил — может быть, никогда и не получит, но для этого в любом случае нужно будет еще раз провести подробную диагностику накопившегося материала.

Во-вторых, конечно, не исключено и то, что никакого отношения к сино-кавказским языкам этрусский не имеет, а те немногочисленные «симпатичные» сравнения, которые остаются от критики работы Орла

¹ Orel V., Starostin S. Etruscan as a Sino-Caucasian Language // Proto-Languages and Proto-Cultures / V. Shevoroskin (ed.). Bochum: Brockmeyer, 1990. P. 60–68.

и Старостина — например, следы окказиональных контактов с какими-нибудь сино-кавказцами, либо в Европе, либо на территории Малой Азии, откуда, по всей видимости, предки этрусков мигрировали в Европу во II тысячелетии до н. э.

Но я хочу еще раз подчеркнуть: как бы мы ни были очарованы мистическим ореолом древних письменных цивилизаций — шумеров, этрусков, кого угодно — вероятность того, что с такими древними языками-изолятами когда-нибудь удастся «разобраться» ко всеобщему удовлетворению, довольно низкая. Будь шумерский язык хоть десять тысяч раз сино-кавказский, если он отделился от общесино-кавказского праязыка 12 тысяч лет тому назад, а в письменном виде мы его застаем в лучшем случае 5 тысяч лет тому назад — семь тысяч лет независимого развития легко могли изменить его настолько, что опознать в нем сино-кавказские «лингво-гены» можно было бы только чудом.

Обосновывать родство разветвленных семей — северокавказской, сино-тибетской, на-дене — нам помогает в первую очередь именно эта разветвленность: она дает возможность реконструировать большие сегменты праязыков, существовавших шесть, семь, восемь тысяч лет тому назад, и преодолевать расстояние от сегодняшнего дня до момента распада прасино-кавказского языка последовательно, а не одним «марш-броском». Обосновывать родство языков-изолятов типа баскского нам помогает то счастливое обстоятельство, что баскский отделился не непосредственно от «прасино-кавказского» 12 тысяч лет тому назад, а намного позже, скажем, тысяч восемь лет тому назад от «прабаскско-кавказского» — этим объясняется повышенное число лексических сходжений между баскскими диалектами и северокавказскими языками. А вот с шумерским и этрусским, увы, не помогает ни то ни другое.

Бывают, правда, с древними письменными языками и ситуации другого типа. Например, в конце 1980-х годов С. А. Старостин вместе с еще одним соавтором, выдающимся отечественным востоковедом И. М. Дьяковым, активно занимался вопросом генетической аффилиации двух знаменитых близкородственных языков Передней Азии — *хурритского* и *урартского*. Хурритское царство Митанни, в 1500–1300 годах игравшее ключевую роль на Ближнем Востоке, и этнически связанное с ним госу-

дарство Урарту хорошо известны всем историкам-древникам (а уж страну Урарту и подавно должны помнить все советские школьники, так как с него начиналась история государственных образований на территории СССР!) — но вот с происхождением населявших их этносов и языков, на которых они говорили, как обычно, никакой ясности нет.

Поскольку по своей грамматической структуре хуррито-урартские языки из всех языковых семей Ближнего Востока больше всего напоминали кавказские, Дьяконов и Старостин предположили, что это может быть сигналом генетического родства, и стали тестировать соответствующую гипотезу — искать между прасеверокавказским и хуррито-урартским материалом системные схождения, набирать этимологический корпус и устанавливать регулярные соответствия. По итогам тестирования была выпущена большая статья (на русском языке) и небольшая монография (по-английски), где утверждалось, что примерно для 30% известных хурритских и 40% известных урартских слов были найдены надежные этимологические параллели и что по итогам исследования можно считать, что прахуррито-урартский язык был близким родственником пранахско-дагестанского¹.

И что, эта идея действительно оказалась более доказательной, чем родство сино-кавказских языков с этрусским?

Г. С.: По-видимому, да. Во-первых, по хуррито-урартским языкам авторам было доступно намного больше данных, чем по этрусскому, и большая часть этих данных была вполне достоверна. Во-вторых, из всего массива сравнений было легко выделить небольшую, но *чрезвычайно* убедительную часть. Посмотрим хотя бы на хурритские личные местоимения: 'я' = *iš* (*šu-* в косвенных падежах), 'ты' = *fe*. Что это? Все та же самая диагностичная местоименная парадигма вида *Z-* / *W-*, которую я уже неоднократно поминал. Ни в каких других древних клинописных языках Ближнего Востока (включая шумерский) нет ничего даже отдаленно напоминающего такую парадигму.

¹ Дьяконов И. М., Старостин С. А. Хуррито-урартские и восточнокавказские языки // Древний Восток: этнокультурные связи. М.: Наука, 1988. С. 164–207. Англоязычная монография: Diakonoff I. M., Starostin S. A. Hurro-Urartian as an East Caucasian language. München, 1986.

Есть, правда, и некоторые проблемы. Дело в том, что, в отличие, скажем, от басков, носители хуррито-урартских языков сотни, если не тысячи, лет жили в непосредственной близости от ареала распространения древних северокавказских языков, а это значит, что на древние генетические связи легко могли наложиться последующие связи уже ареально-контактного характера.

Так, например, уже Дьяконову и Старостину бросалось в глаза наличие ряда очень специфических изоглосс между хуррито-урартскими и нахскими языками — то есть чеченским, ингушским и бацбийским. Например, числительное 'два' по-хурритски будет *šini*, пранахская же реконструкция — **šin* (отсюда чеченское *ši*, или *šina-* в косвенных падежах). Или, скажем, хурритское *zurgi* 'кровь' Дьяконов и Старостин сравнивают с прасеверокавказским корнем, который в значении 'кровь' сохранился только в нахских языках (чеченское и ингушское *ts'iy*, бацбийское *ts'eugi*). Это как будто бы подсказывает, что хуррито-урартские языки должны считаться ближайшими родственниками именно нахских языков. Но по общей совокупности данных это невозможно — если бы дело обстояло именно так, хуррито-урартские языки должны были бы иметь *намного* больше общих элементов с нахскими, чем то, что наблюдается. Ближайшие же родственники нахских языков — несомненно, языки Дагестана, а вовсе не древние хуррито-урартские языки.

Наш коллега Алексей Касьян (крупный специалист по клинописным языкам Малой Азии), детально исследовав этот вопрос, пришел к следующему выводу. Он согласен, что хуррито-урартские языки — сино-кавказские, но считает, что генетически сблизать их с северокавказской ветвью уверенных оснований нет, специфические же «нахско-хурритские» сближения предлагает объяснять заимствованиями из какого-то древнего нахского источника в хуррито-урартские языки¹. В общем и в целом я склонен с ним согласиться, потому что накопленный комплекс этимологических и лексикостатистических аргументов действительно подталкивает именно к такому решению.

¹ См.: *Kassian Alexei. Hurro-Urartian from the lexicostatistical viewpoint // Ugarit-Forschungen. 2010. P. 383–452.*

То есть хурриты и чеченцы — все-таки не близнецы-братья?

Г. С.: Скорее такие же «дальние родственники», как, скажем, кеты и баски, или тибетцы и апачи — но во втором тысячелетии до н. э., возможно, жили где-то рядом и обменивались заимствованиями.

Но, в любом случае, ситуация с хуррито-урартскими данными скорее радует, чем огорчает, потому что «сигнал родства» довольно сильный, вопрос лишь в том, как его правильно интерпретировать — в каком конкретно месте сино-кавказского дерева располагать хурритов. Так что не все древние языки-изоляты или мелкие изолированные языковые группы одинаково проблемны с точки зрения их аффилиации. С шумерским — одна ситуация, с эламским — другая, с хуррито-урартским — третья.

Каковы, по-Вашему, дальнейшие перспективы развития «сино-кавказологии»? Может ли гипотеза получить всеобщее признание? Что для этого нужно делать в первую очередь?

Г. С.: Честно говоря, как и в случае с ностратической гипотезой, меня не очень интересует, получит ли сино-кавказская гипотеза «всеобщее» признание. Экспертное сообщество, которое одновременно *способно* по достоинству оценить аргументы в пользу или против сино-кавказского родства и *заинтересовано* в этом, — очень небольшое. Если про сравнительную индоевропеистику и алтаистику, положим, что-то знает довольно большая группа лингвистов, так как этими языками вплотную занимается много специалистов, то, скажем, экспертов, которые *хотели бы* и *могли бы* тщательно разобраться в реконструкции прасеверокавказского языка, — во всем мире, наверное, человек десять. Из них, наверное, не больше половины хотели бы и могли бы одновременно разобраться и в других реконструкциях — например, прасино-тибетской или прана-дене. Допустим, все они разобрались и признали сино-кавказскую гипотезу заслуживающей доверия — можно ли это назвать «всеобщим признанием»?

Относительно недавно, как могло бы показаться, «всеобщее признание» получил небольшой кусочек сино-кавказской гипотезы. Американ-

ский лингвист Эдвард Вайда, крупный специалист по кетскому языку (он сам много ездил в Сибирь заниматься полевой работой, издал целую серию статей и книжек по кетскому и енисейским языкам в целом), обратил внимание на ряд специфических сходжений между енисейскими языками и семьей на-дене, тщательно исследовал старые данные (например, сравнения Мерритта Рулена), собрал новые, написал большую работу по сравнительной грамматике и лексике этих двух семей — и в ходе длительного и напряженного личного общения убедил несколько крупных специалистов по на-дене, а также нескольких лингвистов общего профиля, в том, что его гипотеза верна. Причем речь идет именно об узком, «бинарном» «дене-енисейском» родстве: по отношению к дене-кавказской гипотезе Вайда занимает подчеркнута агностическую позицию.

При всем уважении к Вайде (кетский язык он действительно знает потрясающе, и отношения у него с нашей школой вполне дружественные), на фоне сино-кавказологических работ не только С. А. Старостина, но и, скажем, Джона Бенгтсона (особенно последних) «дене-енисейские» статьи Вайды я считаю слабыми. Больше всего его поразили удивительные структурные сходства в устройстве очень сложных глагольных парадигм сравниваемых семей — но сходства эти именно что структурно-типологические, не на уровне конкретных грамматических морфем: когда от соображений общего характера Вайда переходит к попытке реконструкции отдельных граммем или цельных парадигм, дело, как правило, предсказуемо заканчивается неудачей. Предсказуемо, потому что это задача абсолютно нереальная — восстановить систему глагольного спряжения языка, на котором люди говорили десять-двенадцать тысяч лет назад, *особенно* если эта система устроена так, как она устроена в сино-кавказских языках.

Конкретные достоинства и недостатки грамматических и лексических сопоставлений Вайды у нас здесь, к сожалению, нет времени рассмотреть¹ (всех интересующихся могу отослать к собственной рецен-

¹ Основные результаты «дене-енисейского» сравнения Вайды, а также их критические оценки и различные статьи междисциплинарного характера, посвященные вопросам возможных доисторических связей между народами и языками Сибири и Нового Света, опубликованы в коллективной монографии: Kari J., Potter B. (eds.). *The Dene-Yeniseian Connection*. Fairbanks: University of Alaska, 2010. Опубликована также подробная критическая рецензия Г. Старостина на эту монографию: Starostin G. *Dene-Yeniseian: a critical assessment* // Вопросы языкового родства. 2012. № 8. С. 117–152 (вместе с ответом Э. Вайды).

зии — «*Dene-Yeniseian: A Critical Assessment*», напечатанной в Вопросах языкового родства), но в целом у меня сложилось впечатление, что автору серьезно мешает желание во что бы то ни стало добиться «официального признания». Именно поэтому работа была сконцентрирована на «грамматическом доказательстве» родства (любимый пункт у лингвистов-теоретиков), а также всячески подчеркивала разного рода «вкусные» этимологии, например, общедене-енисейская ‘лодка’, общедене-енисейские ‘сани’ и т. п. — что позволяло журналистам порождать замечательные «сенсационные» заголовки, типа «Как слово ‘лодка’ позволило породнить жителей Старого и Нового Света». Разумеется, из всего (довольно скудного) корпуса лексических сопоставлений именно ‘лодка’ и ‘сани’ были представлены либо наиболее сомнительными фонетическими соответствиями, либо наиболее сомнительными семантическими переходами, но об этом журналисты уже не писали — это же скучные технические детали, кому это может быть интересно?

В итоге для многих «любителей», например, завсегдаев разных новостных групп и форумов Интернета, С. А. Старостин — это «ученый с сомнительной репутацией», пытавшийся бездоказательно пробить фантастическую теорию «мегало-родства», а Вайда — серьезный ученый, успешно применивший сравнительно-исторический метод к материалу двух дальнородственных семей и впервые доказавший генетическое родство ряда языков Старого и Нового Света. Но не нужно на самом деле быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: вне зависимости от того, кто прав больше, а кто меньше, «успех» Эдварда пока что в основном обеспечен внеучными причинами. «Всеобщее признание», полученное в первую очередь за счет проведения грамотной пиар-кампании по продвижению своих теорий, а не за счет строгих научных аргументов, Московской школе компаративистики не нужно.

Для меня гораздо важнее, чтобы сино-кавказология упрочивалась и развивалась *вне* зависимости от общемирового консенсуса — пусть даже хотя бы просто в рамках нашей небольшой Московской школы компаративистики. Ведь очень много сложных, трудноразрешимых вопросов остается для нас даже в том случае, если мы в общих чертах принимаем модель, разработанную С. А. Старостиным. Сомнения в исторической достоверности сино-кавказской семьи будут существовать до тех

пор, пока на важнейшие из этих вопросов не будут получены гораздо более четкие ответы, чем те, которые предлагались до сих пор (или не предлагались вообще).

Что еще предстоит сделать? Во-первых, предстоит большая работа над корректировкой реконструкций «нижних» уровней. Сергей Николаев сейчас работает над новым вариантом этимологического словаря языков на-дене. Выходят в свет важные работы по исторической фонетике и грамматике сино-тибетских языков, но до полноценного словаря, в который, наконец, были бы систематически включены данные по всем ветвям этой громадной семьи, еще очень далеко. Да и по северокавказским языкам за последние двадцать лет накопилось столько новых данных, неучтенных в текущем варианте реконструкции, что определенная ревизия словаря Николаева и Старостина не помешала бы.

Во-вторых, параллельно с этой работой следует уточнять и совершенствовать собственно сино-кавказский этимологический корпус. Система соответствий, установленная С. А. Старостиным, — хорошая основа, но, на мой взгляд, чересчур сложна в типологическом отношении; надо постараться ее немного «разгрузить», возможно, установив какие-то дополнительные правила или выбросив из корпуса ряд наиболее сомнительных этимологий (на место которых в будущем наверняка встанут новые — в любом этимологическом словаре всегда есть стабильное «ядро» и неустойчивая «периферия»).

В-третьих, нужно постараться четче ответить на критические упреки в том, что сино-кавказская теория якобы пренебрегает грамматическим сравнением. Хотя я продолжаю утверждать, что для доказательства родства, особенно давнего, грамматическое сравнение не является обязательным, это не значит, что мы можем вообще обойти эту тему молчанием. В конце концов, если прасино-кавказский язык действительно существовал, должна же у него была быть хоть какая-то грамматика? Значит, надо брать сравнительный материал — хотя бы, например, те сопоставления грамматических элементов, которые есть в работах Бенгтсона — и систематизировать его. Что-то по крайней мере удастся восстановить на «празападно-центральном» уровне: во всяком случае, кавказские, енисейские и бурушаскские данные наверняка сведутся друг с другом лучше, чем с сино-тибетскими.

Есть еще, конечно, интердисциплинарный аспект: можно ли представить единый «сино-кавказский» сценарий на основании совокупных данных лингвистики, археологии и генетики? Пока что я в этом склонен усомниться — точнее, я думаю, что конкретный сценарий построить можно, но будет ли он оптимальным или доказательным, не знаю. Ведь даже, например, детальную картину индоевропейских миграций, которые произошли намного позже, по данным археологии однозначно установить не удастся, а уж что говорить о сино-кавказских миграциях, которые, скорее всего, растянулись на гораздо более долгий хронологический период.

А почему не удается? Ведь мигрируют же не языки сами по себе, а люди — вместе со своей материальной культурой.

Г. С.: На самом деле все эти миграции могут носить очень разный и смешанный характер. Бывает, и очень легко, что материальная культура мигрирует «сама по себе» — в ходе развития торговых отношений. Если топоры и горшки из местности А в какой-то момент начинают обнаруживаться в местности Б, это, безусловно, говорит о *контактах*, но совершенно не обязательно о *миграциях*. Бывает, что «мигранты» навязывают местному населению свою культуру, но не свой язык — а бывает, наоборот, что небольшая группа «пришлых» активно продвигает свой язык, но не свою культуру. Посмотрите хотя бы на то, как относительно просто лингвисты восстанавливают большие сегменты базисной лексики праиндоевропейского — и при этом оказываются, скажем, не в состоянии убедительно реконструировать пантеон индоевропейских богов, за исключением двух-трех важнейших имен. Почему? Потому что, переселяясь в Европу, индоевропейцы язык свой сохраняли, а богов, как правило, заимствовали от местного, доиндоевропейского населения, где бы оно ни жило — на Балканах, в Италии, в Галлии и т. п. Точно так же заимствовалась и местная материальная культура.

С генетикой такая же проблема. Как не могут до сих пор найти условный «индоевропейский ген», который был бы общим у всех основных групп носителей современных индоевропейских языков, так столь же мала вероятность (на самом деле, еще меньше из-за еще большей хроно-

логической глубины) нахождения «сино-кавказского» гена. По своим генетическим данным современные индейцы на-дене, хотя и сильно отличаются от своих остальных индейских соседей, скорее связаны с их ближайшими географическими соседями на крайнем Севере и в Сибири (причем не только и не столько с енисейцами, сколько с чукчами, тунгусами и даже монголами). Енисейцы-кетты по генетике ближе всего к своим соседям-селькупам, говорящим на языке уральской семьи. Современные китайцы в генетическом отношении связаны не с кавказцами и даже не с тибето-бирманцами, а скорее с коренным населением Южного Китая — хмонгами, австроазиатами, тайцами. Каких-то «особых» гаплогрупп для таких мелких народов-изолятов, как баски и бурушаски, насколько я понимаю, вообще не существует.

Возможно, все это связано с тем, что генетическому анализу еще очень далеко до исчерпания своих возможностей, и со временем генетики научатся строить гораздо более детализированные сценарии, в рамках которых «древние» гены, оказывающиеся при анализе «в меньшинстве» и не оказывающие серьезного влияния на статистику и кладистику, будут определяться более отчетливо; впрочем, моя компетенция на эту область совсем не распространяется. Но пока что все-таки оказывается, что на таком хронологическом уровне сравнения, как сино-кавказский или ностратический, языковую предысторию приходится восстанавливать отдельно как от материально-культурной, так и от генетической: яркие точки пересечения — скорее исключение, чем норма.

И последнее. Допускаете ли Вы возможность, например, при определенных условиях признания сино-кавказской гипотезы неверной? И что это могут быть за условия?

Г. С.: Разумеется, допускаю. Я не считаю и не могу считать сино-кавказскую гипотезу «доказанной», как говорится, «вне разумного сомнения», и моя позиция здесь аналогична ситуации с ностратическим сравнением: позитивный сигнал родства — очень сильный, но он же одновременно ставит и массу трудноразрешимых вопросов из серии «если вы утверждаете, что истинно *a*, то должно быть истинным и *b*, а для этого утверждения у вас нет аргументов». Пока все эти вопросы

(например, сложнейший вопрос объяснения не только многочисленных *сходств*, но и еще более многочисленных *различий* между сино-кавказскими языками) не будут должным образом исследованы, говорить о неопровержимой доказательности сино-кавказской теории преждевременно.

С другой стороны, никто не отменял принципа конкурентности. Лучший способ опровергнуть сино-кавказскую гипотезу — предложить альтернативную, которая лучше объясняет факты. Скажем, старая «иберийско-кавказская» гипотеза, в рамках которой считалось, что северокавказские языки родственны южнокавказским (то есть картвельским — грузинскому, мегрельскому и т. п.) альтернативна по отношению к сино-кавказской, но при этом сходства между северо- и южнокавказскими языками сегодня гораздо проще и надежнее объяснять контактами, а не родством. «Сино-австронезийская» гипотеза французского лингвиста Лорана Сагара, согласно которой сино-тибетские языки — ближайшие родственники не на-дене или кавказских языков, а австронезийских языков Океании, тоже альтернативна, и тоже скорее интерпретируема как результат языковых контактов (об этом у нас еще пойдет речь в разговоре о так называемых австрических языках). «Дене-енисейская» гипотеза Вайды — вообще не альтернативна, так как она, по существу, является «суб-гипотезой» по отношению к дене-кавказской.

Что касается всех остальных известных мне альтернативных гипотез, то они вообще не выдерживают элементарной критики, потому что противоречат и основам сравнительно-исторической методологии, и лексикостатистике, и здравому смыслу (оценка резкая, но совершенно справедливая по отношению к таким «теориям», как, например, недавняя попытка лингвиста Ильи Чашуле обосновать индоевропейскую аффилиацию языка бурушаски, или аналогичная попытка Джанкарло Форни «доказать», что баскский язык — на самом деле тоже индоевропейский). Так что, подытоживая вышесказанное, попробую выразиться так: сино-кавказская гипотеза в ее сегодняшнем состоянии не дает ответа на все возможные вопросы, но ничего *лучше*, чем сино-кавказская гипотеза, если мы интересуемся далеким прошлым таких языков, как чеченский, абхазский, кетский, или китайский, в нашем распоряжении нет.

Поэтому будем трудиться дальше. Сегодня наша главная «тактическая» задача — максимально аккуратно подготовить новое, детальное лек-

сикостатистическое обоснование сино-кавказского родства. С этой целью уже сейчас на сайт Глобальной лексикостатистической базы данных постепенно выкладываются стословные списки по северокавказским, енисейским, сино-тибетским и на-дене языкам, которые мы готовим вместе с Алексеем Касьяном. Надеюсь также, что в обозримом будущем выйдет в свет и наша совместная книга с Джоном Бенгтсоном, где мы также пытаемся «на пальцах» объяснить перспективность развития сино-кавказологических исследований, но уже с гораздо бóльшим объемом собственно языкового материала. И, разумеется, постоянно, хотя и медленнее, чем хотелось бы, идет работа над корректировкой этимологической базы, составленной С. А. Старостиным, — надеюсь, что со временем мы все-таки увидим полноценный этимологический словарь сино-кавказских языков, выхода которого в свет сам Сергей Анатольевич, увы, так и не дождался.

Беседа VII. Афразийская макросемья [Собеседники — А. Ю. Милитарёв, Г. С. Старостин]

Г. С.: В ходе предыдущих бесед нам удалось в общих чертах обсудить две крупнейшие языковые макросемьи Евразии — ностратическую и сино-кавказскую. Отсюда логично, наверное, перейти к третьей крупнейшей макросемье континента — афразийской, тем более что вопрос об афразийских языках у нас уже вставал. Напомню, что Иллич-Свитыч вообще включал афразийские языки в состав ностратической макросемьи, и лишь позже Московская школа стала постепенно склоняться к идее того, что афразийская семья сама по себе столь огромна и по числу входящих в нее языков, и по степени удаленности их друг от друга, что естественнее ее считать самостоятельной макросемьей — своего рода «сестрой» по отношению к ностратической, скорее нежели «дочерью».

Для того чтобы поговорить о том, что же такое афразийские языки, к нам сегодня присоединится очередной собеседник — еще один участник Московской школы «со стажем», крупнейший специалист по афразийской макросемье и ее наиболее известной дочерней ветви — семитской семье языков, профессор Александр Юрьевич Милитарёв. Его опыт работы с этими языками насчитывает уже несколько десятков лет, и поэтому я с радостью уступлю ему кресло «главного собеседника» в данной беседе, а сам ограничусь отдельными комментариями, там, где это будет уместно.

А. М.: Спасибо. Начать разговор, наверное, стоит с краткой истории изучения макросемьи. Строго говоря, история эта восходит еще к Библии — к таблице народов в книге Бытия. Авторы древнееврейских текстов очень интересовались, пожалуй, даже больше, чем древние греки, родословными связями разных народов: ведь, согласно библейским

представлениям, все в конечном итоге восходят к Адаму, все люди — родственники, и поэтому очень важно, в какой степени родства кто с кем состоит. Конечно, библейская таблица народов носит мифологический характер, в чем-то отличается от современных этнолингвистических и генетических представлений, но в чем-то им вполне соответствует — классификация языков, например, отчасти коррелирует с классификацией народов в Библии.

Этот список в определенном смысле можно считать истоком генетической классификации языков, хотя в древней и средневековой еврейской традиции особого развития это учение не получило: еврейские филологи в средние века учились у средневековых арабских филологов, которые, конечно, научились составлять гениальные словари арабского языка, но в общем и в целом ничем, кроме арабского языка, в лингвистическом плане больше не занимались.

Позже изучение Библии и древнееврейского языка, равно как и Корана и классического арабского, стало составной частью гуманитарного образования в университетах Европы, наряду с классическими языками — греческим и латынью, и, разумеется, когда в конце XVIII века зародилось сравнительно-историческое языкознание, семитские языки, в число которых входит и еврейский, и арабский, оказались одной из первых семей, попавших в поле зрения ученых, занимавшихся этой молодой дисциплиной.

Г. С.: Наверное, стоит уточнить, что семитская семья языков — во многих отношениях уникальна среди прочих семей Евразии. В нее, с одной стороны, входит один из крупнейших ныне живущих языков континента — арабский (строго говоря, это на самом деле «макроязык», состоящий из гигантского числа так называемых «диалектов», носители которых уже не могут друг друга понять без посредничества «классического» варианта, близкого к языку Корана); с другой — современный еврейский язык, представляющий собой едва ли не единственный в истории человечества опыт успешного возрождения древнего, давно вымершего языка как языка живого общения, родного для детей новых поколений. А с третьей стороны, большинство известных нам семитских языков так и остаются вымершими — это такие некогда процветавшие письменные языки Ближнего

Востока, как аккадский (ассиро-вавилонский), угаритский, эблаитский, финикийский (подаривший человечеству алфавитную письменность), арамейский и другие. Сравнительное изучение семитских языков и текстов, написанных в древности на этих языках, — одно из ключевых направлений классической европейской филологии.

А. М.: Да, но когда просто «сравнительное» изучение превратилось в «сравнительно-историческое», то очень быстро, уже где-то в 1840-е годы, стали появляться гипотезы о том, что семитские языки родственны не только друг другу, но и некоторым на тот момент известным языкам Северной Африки.

В первую очередь речь шла о *древнеегипетском* языке, иероглифическая письменность которого на тот момент, благодаря работам Шампольона и его последователей, была успешно расшифрована. Далее, в число «родственников» семитской семьи попали:

- *берберско-ливийские* языки, на которых до сих пор говорят кочевники-туареги в Сахаре и часть оседлого населения Северной Африки, а также, по-видимому, говорило коренное население Канарских островов;
- *кушитские* языки, в основном распространенные в Эфиопии и отчасти за ее пределами (Сомали, Судан, Кения, Танзания); два крупнейших живых кушитских языка — *оромо* и *сомалийский*;
- *омотские* языки, тоже в основном на территории Эфиопии (название происходит от реки Омо, вдоль которой в основном живут омоты); раньше включались в состав кушитской семьи как ее «западная» ветвь, но сегодня большинством специалистов выделяются в отдельную семью;
- *чадские* языки: очень большая семья, названная так достаточно условно, потому что на чадских языках говорят далеко не только в Чаде, но и в Судане, и в Нигерии, и в Камеруне, и в других странах. Первоначально из всех чадских языков занимались только языком *хауса* как одним из самых крупных по числу носителей языков Африки: для многих стран и областей он является не только родным, но еще и языком межплеменного общения, наряду

с арабским. Позже, в ходе долгосрочных полевых исследований оказалось, что в одну семью с хауса входит еще около пары сотен языков.

Г. С.: Стоит, пожалуй, прокомментировать само название макросемьи. «Семитские» и «хамитские» — условные термины, связанные все с тем же перечислением народов мира в Библии, о котором уже упомянул Александр Юрьевич: «семитские» народы, в число которых входили сами евреи, считались потомками Сима, одного из сыновей Ноя, а «хамитские» народы — потомками Хама, осевшими в основном в Африке. Поскольку народы Африки и Азии, говорившие на родственных языках, в массе своей оказались как раз «семитами» и «хамитами», отсюда и название семьи, которое, если я не ошибаюсь, предложил выдающийся египтолог Карл Лепсиус.

Позже, однако, оказалось, что термин не очень удачен: во-первых, границы «семито-хамитской» макросемьи и соответствующих этносов в Библии пересекаются лишь частично, а, во-вторых, слово «семито-хамитский» подразумевает, что есть «семитские» языки, а есть — «хамитские», но если с семитскими все вроде бы в порядке, то «хамитской» семьи как отдельной таксономической единицы не существует. Скорее можно говорить о «семито-берберо-египетско-чадской» ветви макросемьи, которая противостоит «кушитской». Поэтому в обиход постепенно внедрился альтернативный термин — «афро-азиатские», или «афразийские» языки. Он, с одной стороны, точен (указывает на то, что эта огромная семья захватывает как Азию, так и Африку), с другой, позволяет избежать двусмысленностей, связанных с употреблением библейских терминов.

А. М.: Да, но первый сравнительный словарь этих языков, опубликованный французским лингвистом Марселем Коэном в 1947 году, еще носил название «Опыт сравнительной фонетики и словаря семито-хамитских языков»¹. Это была выдающаяся пионерская работа, которая заложила основы сравнительной «афразистики», как мы сегодня называ-

¹ *Cohen Marcel. Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique du chamito-sémitique. Paris: Honoré Champion, 1947.*

ем эту область. Правда, на сегодняшний день из 515 афразийских этимологий Коэна не потеряли актуальность всего несколько десятков — конечно, все это страшно устарело, в первую очередь в связи с постоянным поступлением новых языковых данных. Но первый шаг — это всегда первый шаг.

А вторым крупным шагом, наверное, можно считать опыт работы под руководством Игоря Михайловича Дьяконова, которую он в конце 1970-х годов начинал вместе с одним из «отцов ностратики», Ароном Борисовичем Долгопольским, и еще двумя семитологами из тогдашнего Ленинградского отделения Института востоковедения Академии наук СССР. Первый этап длился недолго, потому что и Долгопольский, и оба эти семитолога эмигрировали в Израиль; но им на смену пришла целая группа уже преимущественно московских, сравнительно молодых семитологов и африканистов, в которую я тоже входил (я, правда, тогда уже был не молод, но, так сказать, «молод в науке»).

Изначально мы были приглашены Дьяконовым в этот коллектив по работе над сравнительно-историческим словарем афразийских языков в качестве «мальчиков-девочек-лаборантов», должны были сидеть и расписывать словари. Но потом, когда все «великие», кроме Дьяконова, уехали, оказалось, что либо лавочку следует закрывать, либо нам следует начать учиться как следует и постараться самим заместить этих людей. Заменить Долгопольского было очень трудно — он все-таки величина мирового класса — но в одиночку Дьяконов поднять такой объем работы, конечно, не мог. Пришлось вовлечь нас, и таким образом удалось сделать три небольших выпуска словаря, в которых были представлены корни, начинавшиеся на отдельные праафразийские согласные. Корней было немного, может, четыре-пять сотен, и сегодня на то, как многие из них были обработаны, смотреть неловко¹.

Впрочем, работа была все-таки выполнена гораздо более тщательно, чем у Марселя Коэна, для науки это нормально — какое-никакое продвижение вперед. Прежде всего, получилось установить основные регулярные соответствия между отдельными ветвями афразийской макросемьи.

¹ Три выпуска «Сравнительно-исторического словаря афразийских языков» под общей редакцией И. М. Дьяконова были изданы в серии «Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока» в 1981–1986 годы.

Во многом мы опирались на предшественников — например, на опыт сравнительной фонетики кушитских языков, которую в 1973 году опубликовал Долгопольский¹. (Собственно, этот опыт во многом и вдохновил Дьяконова на то, чтобы замахнуться на еще более глобальную задачу — решение афразийской проблемы в целом.) Но многое было тогда установлено впервые. Если считать семитскую семью, которая была изучена намного лучше прочих, отправной точкой, то связать ее регулярными соответствиями с берберской семьей получилось у меня, а с чадской семьей — у Ольги Валерьевны Столбовой, которая в процессе этой работы обстоятельно изучила чадский материал и стала одним из крупнейших в мире специалистов по этой очень нетривиальной семье. Все эти соответствия и сейчас остаются актуальными; скорее всего, глобальному пересмотру они уже не подлежат, и в дальнейших исследованиях их можно уверенно брать за основу. Так поступает, например, наш венгерский коллега, доктор Габор Такач, который выпустил уже три тома своего этимологического словаря египетского языка²: несмотря на то что у него много собственных идей (не со всеми из которых я, разумеется, согласен), в целом он опирается на системные соответствия, разработанные нами под руководством Дьяконова еще в 1980-е годы.

Однако через несколько лет наша бригада все-таки распалась — и я был в числе тех, по чьей инициативе работа пресеклась сначала, так сказать, де-факто, а потом уже и официально, несмотря на то что И. М. Дьяконов, с которым мы и после распада группы остались в очень теплых дружеских отношениях, был этим чрезвычайно огорчен. Но мотивы у меня были серьезными: стало ясно, что на данном этапе мы сделали все, что могли, и уперлись в стену. Оказалось, что дальнейший прогресс в области афразийской реконструкции невозможен без дальнейшего прогресса в области реконструкции дочерних семей — кушитской, где Долгопольский успел только заложить основы, чадской, берберской, без египетского этимологического словаря. Не обладая всей полнотой сведений по историческому развитию этих отдельных семей, мы обречены на движение по замкнутому кругу.

¹ Долгопольский А. Б. Сравнительно-историческая фонетика кушитских языков. М.: Наука, 1973.

² Takács Gábor. Etymological Dictionary of Egyptian. Leiden: Brill, 1999–2008. Vols. 1–3.

То есть произошло примерно то же самое, что и с ностратическим языкознанием, когда принципиально улучшить результаты Иллич-Свитыча не удавалось из-за недоработок «на нижних ступенях»?

А. М.: Да, была очень похожая ситуация, в которой наша афразийская рабочая группа фактически прекратила свое существование. Не все были готовы с этой судьбой смириться. О. В. Столбова и еще один компаративист, заинтересовавшийся афразийской макросемьей, Владимир Эммануилович Орёл, ныне, к сожалению, покойный, решили произвести на свет новый этимологический словарь, названный ими, несколько «в пику» Дьяконовскому, «хамито-семитским», и пригласили меня в нем участвовать. Какое-то время мы сотрудничали, даже опубликовали общую статью, но потом по разным причинам мне пришлось отойти от этой работы — а некоторое время спустя, в 1995 году, в престижном европейском издательстве Brill вышел том сравнительных материалов Орла и Столбовой к этимологическому словарю хамито-семитских языков¹.

Том был выпущен чрезвычайно поспешно и получил в основном отрицательные отзывы — в том числе написанную совместно самим Дьяконовым и моим бывшим аспирантом и соавтором, Л. Е. Коганом. Из-за этой поспешности словарь действительно имел массу недостатков. Из важных технических огрехов — в нем, по старой дурной традиции, почему-то укрепившейся в афразистике, не были качественно проставлены ссылки на источники. Но и содержательных проблем было немало.

Г. С.: На мой взгляд, главная содержательная проблема — все та же самая: чересчур поверхностное отношение к «промежуточным» реконструкциям. Авторы так обуреваемо желали как можно скорее прийти до афразийского уровня, что словарь практически ничего не дает понять насчет пракушитского, працадского, праберберского и т. п. Афразийских языков очень много, и прежде чем начинать искать глубокие афразийские параллели, например, для корня из восточночадской группы, нужно постараться найти для него родственников в западно- и центральночад-

¹ *Orel Vladimir E., Stolbova Olga V. Hamito-Semitic Etymological Dictionary. Materials for a reconstruction. Leiden; New York; Köln: Brill, 1995. См. также критическую рецензию: Diakonoff I. M., Kogan L. E. Addenda et Corrigenda to Hamito-Semitic Etymological Dictionary // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 1996. Bd 146. S. 25–38.*

ских языках, причем, желательно, не в одном-двух, а так, чтобы они выводились на прауровень. Этого, к сожалению, последовательно сделано не было — но это такая работа, которую два человека, даже работая по 16 часов в сутки, не смогли бы сделать в обозримые сроки.

А. М.: Конечно, тут были и спешка, и небрежность, и некоторая чрезмерная самонадеянность авторов. Я иногда в шутку говорю, что словарь Орла–Столбовой совершенно замечателен, но только для одного человека — меня. Ну, может быть, меня и еще нескольких специалистов-афразистов, которые достаточно квалифицированы, чтобы отделить в нем зерна от плевел. Для нас самое важное — это то, что в результате вместо четырех-пяти сотен афразийских этимологий, имевших хождение на тот момент, объем материала увеличился примерно в пять-шесть раз. И даже те многочисленные сопоставления, за которыми я никак не могу признать статус нормальных этимологий, — это все равно «пища к размышлению», материал для дальнейших гипотез, дальнейшего поиска, необходимый для того, чтобы можно было, наконец, перейти к следующему этапу исследований.

А следующий этап уже начался?

А. М.: По-видимому, следующим этапом в этой эпопее можно считать ту нынешнюю общеафразийскую базу данных, над которой уже десять лет работаем я и О. В. Столбова (изначальным «ядром» был текст словаря Орла–Столбовой, но на данный момент он во многом уже изменился до неузнаваемости). Как и все базы нашей школы, афразийская база создавалась в компьютерной среде StarLing, разработанной С. А. Старостиным, и представляет собой интегрированную систему из этимологических баз (собственно большая «праафразийская» база и подчиненные ей семитская, берберская и т. д.) и 100-словных списков Сводеша по афразийским языкам.

Интеграция стословников очень важна, потому что я, вслед за С. А. Старостиным, предпочитаю строить классификацию по данным не сравнительной грамматики, а лексикостатистики. Моя текущая классификация показывает, что праафразийский изначально, примерно в X тысячелетии до н. э., распался на две ветви — северную и южную. Произошло это, скорее всего, где-то в Передней Азии (об этом подробнее чуть позже). Южная ветвь, состоящая из кушитской семьи и родственной

ей омотской, еще пару тысяч лет оставалась на месте, затем примерно в VIII тысячелетии до н. э. пошла вниз, в Аравию, и оттуда, распавшись на праомотскую и пракушитскую ветви, по-видимому, мигрировала в Восточную Африку через Баб-эль-Мандебский пролив.

Северная ветвь разделилась, по моим подсчетам, около IX тысячелетия до н. э., и ветвиться начала очень быстро — в первую очередь на семитов и, скажем так, «прасеверноафриканских» афразийцев. Древние семиты далеко от своей прародины не ушли — бегали где-то вдоль Мертвого моря, по условным улицам будущего Иерусалима и в окрестностях. Остальные перебрались в Африку, причем изначально я предполагал, что шли они через Синайский полуостров, как наиболее естественный путь; однако недавняя археологическая сенсация — открытие на Кипре археологической культуры ближневосточного типа, относящейся как раз к интересующему нас периоду, наводит на предположение, что переправиться они могли и морским путем, с «остановкой» на Кипре; в хронологическом плане здесь глоттохронология красиво согласуется с археологией.

Начиная с VIII тысячелетия до н. э. «северноафриканские» афразийцы уже расползаются по различным субрегионам. Часть оседает в Египте, остальные продвигаются на запад. В Восточной Сахаре первые следы одомашненного скота сегодня датируются, согласно калиброванному радиоуглеродному анализу, примерно VII–VI тысячелетием до н. э., то есть удреваются по сравнению с более ранними представлениями, и это как раз соответствует месту и времени, где и когда, по моим расчетам (которые проводились совершенно независимо от археологической информации), могли распасться «чадо-берберы». Прачадцы заняли территории вокруг озера Чад, а некоторое время спустя продвинулись в Центральную и Западную Африку. Берберо-ливийские же племена заняли территории к северу и к западу от чадцев, расселились кочевыми группами по всей Сахаре и в конечном итоге дошли даже до Канарских островов.

С датировками понятно — их предоставляет глоттохронологический анализ. А каким образом для столь глубокой по времени макросемьи восстанавливается прародина и все эти пути миграции? Откуда известно, что афразийцы пришли в Африку из Передней Азии, а не, скажем, наоборот?

А. М.: Действительно, об этом надо сказать подробнее — тем более что почти все афразисты убеждены в обратном. Они считают, что первоначальный «исход» афразийцев был из северо-восточной Африки, скорее всего из района современной Эфиопии. Моя позиция по этому вопросу, как и по многим другим, идет против «мейнстрима», хотя, скажем, Габор Такач, которого я упоминал выше, и еще один афразист, чешский лингвист Вацлав Блажек, «азиатскую» гипотезу рассматривают как вполне серьезную, и покойный А. Б. Долгопольский тоже ей скорее симпатизировал, хотя открыто и не «благословил». Но существеннее всего для меня тут было мнение моего старшего друга и соавтора, Игоря Михайловича Дьяконова.

Про теоретико-методологическую основу реконструкции прародины тут уже много говорилось, в том числе и об опасностях, которые подстерегают тех, кто чересчур рьяно полагается на какой-то один критерий, забывая о всех остальных. Что происходит в ситуации с афразийской прародиной? Здесь обычно на передний план выходит аргумент, так сказать, «кухонного» здравого смысла, к которому я вообще-то отношусь хорошо — с него в науке всегда полезно начинать, только не стоит им же и заканчивать. В данном случае это — *аргумент максимальной экономии передвижения*.

Допустим, из пяти братьев четыре живут в Жмеринке, один — в Канаде. Логично предположить, что родители их жили в Жмеринке, а не в Канаде, не так ли? Менее «экономно» и, следовательно, менее вероятен сценарий, согласно которому четыре брата перебрались из Канады в Жмеринку (с той оговоркой, что мы их всех рассматриваем как самостоятельных личностей, а не единое четырехглавое чудовище); скорее все-таки один уехал в Канаду. То же самое и с языками: прародину стремятся поместить на то место, где и поныне сосредоточено большинство языковопотомков. Кушиты и омоты — в Африке, берберы, чадцы, египтяне — в Африке, в Азии одни семиты — значит, прародина в Африке. Вроде бы получается логично и разумно.

Но во многих случаях эта самая «разумность» вынужденно отступает на второй план под натиском фактов. Скажем, где у нас максимальная концентрация тюркских языков? В Средней Азии. Значит, прародина где-нибудь в районе Ташкента или Ферганы? Ничего подобного — тюркская

семья относительно молодая, из истории нам хорошо известно, что тюрки пришли туда из гораздо более восточных районов, примерно оттуда, где сегодня Синьцзян-Уйгурский район Китая. Если бы мы не знали историю, нам бы и в голову не пришло где-то там размещать прародину.

Г. С.: Кстати, еще один хрестоматийный и еще более наглядный пример такого рода — это китайский язык. Максимальное разнообразие китайских «диалектов» (на самом деле очень сильно разошедшихся друг от друга языков) наблюдается к югу от Янцзы, меж тем как все мы еще со школьной скамьи усваиваем, что колыбель китайской цивилизации — долина Хуанхэ, намного севернее. Почему так получилось? По историко-географическим причинам — север Китая равнинный, там разным группам населения проще контактировать друг с другом, к тому же там же располагалось большинство китайских столиц и, следовательно, особенно сильным было влияние столичного диалекта. Юг же отличался большей раздробленностью, там сплошные леса, горы, идеальные условия для изолированного существования. Вот и получилось, что в чисто количественном отношении различных «потомков» древнекитайского на Юге сегодня числится намного больше, чем на Севере, где представлена только одна крупная диалектная группа (мандаринская).

В принципе таких примеров еще довольно много, и все они показывают, что аргумент «максимального разнообразия» языков одной семьи на той или иной территории легко могут перешибить различные исторические особенности формирования этой семьи. Поэтому в любом разговоре о прародине необходимо привлекать и другие критерии — в случае с афразийской макросемьей, как я понимаю, очень существен критерий корреляции между глоттохронологической датировкой распада этой семьи, лексической реконструкцией и археологическими данными.

А. М.: Ключевой момент здесь в том, что для праафразийского языка вроде бы удастся довольно надежно восстановить терминологию, связанную с элементами производящего хозяйства — земледелием и скотоводством. Подчеркиваю, что речь идет не об уровне праиндоевропейского или прасемитского языка, которые начали распадаться где-то в V тысячелетии до н. э., когда и то и другое и для ближневосточного, и частично для афри-

канского регионов уже было нормой, а о времени примерно X тысячелетия до н. э., когда производящее хозяйство только начало зарождаться настоящему. Если твой праязык датируется этим периодом и в нем есть сельскохозяйственные и скотоводческие термины, разумно искать прародину примерно в тех районах, где, согласно данным археологии, и возникали первичные очаги раннеолитического комплекса.

Понятно, что ключевой момент здесь — механизм лексической реконструкции: что вообще означает «надежно восстановить» ту или иную терминологию, откуда возникает уверенность в том, что такие-то слова действительно существовали в требуемом праязыке именно в таком-то значении? Здесь, конечно, надо быть очень осторожным. Главный критерий, с которым, думаю, согласятся и большинство моих московских коллег, и вообще большинство здравомыслящих компаративистов, можно сформулировать так:

если удастся, на основании регулярных фонетических соответствий, определить, что некоторые формы в разных языках-потомках одной семьи отражают один и тот же термин праязыка, и если во всех этих языках-потомках слово обозначает объект одного и того же смыслового поля (скажем, «домашнее животное»), то по умолчанию экономно и разумно считать, что и в праязыке оно относилось к тому же самому смысловому полю (то есть в данном случае свидетельствует о том, что коллектив, знавший и употреблявший это слово, имел навыки одомашнивания соответствующих животных).

Если же, скажем, в части языков этот термин обозначает домашнее животное (например, 'овцу' или 'козу'), а в другой части — дикое (например, 'горного козла'), с уверенностью восстанавливать для него значение домашнего животного никак нельзя: опыт показывает, что все-таки чаще названия диких животных переносятся на обозначения домашних, а не наоборот, то есть в лучшем случае такой термин в праязыке мог быть полисемичен (применим и к диким, и к домашним животным), а в «худшем» — обозначал только дикое животное.

Бывают случаи, когда разброс значений очень сложный, например, один и тот же корень в одних языках обозначает 'крупный рогатый скот', в других — 'мелкий'. Это следует, по-видимому, интерпретировать как то, что в праязыке могло существовать, помимо узких терминов, широ-

кое понятие 'скота' как такового (собственно, как и русское слово 'скот' или англ. *cattle*).

Такая логика семантической реконструкции праязыковых форм применима и ко всем прочим семантическим полям — к земледелию (различаются по рефлексам в языках-потомках глаголы типа 'копать', ни на какое земледелие не указывающие, и, наоборот, 'мотыжить', 'пахать'; или, скажем, отдельно 'разбрасывать, рассеивать' и отдельно 'сеять'; или отдельно — существительные, обозначающие 'зерно', 'зерновую пищу', что указывает лишь на собирательство дикорастущих злаков, и отдельно — конкретные названия одомашненных злаковых растений), к общественным отношениям (отдельно 'общие' глаголы типа 'бить', 'драться' и особо — 'сражаться', 'воевать'; отдельно — 'брать', 'отнимать' и 'грабить', 'совершать набег'; отдельно — существительные 'мальчик', 'юноша' и 'слуга', 'раб'), к интеллектуальной и духовной культуре ('говорить', 'кричать' vs 'проклинать', 'лгать'; 'дышать', 'дыхание' vs 'душа'). Для всех перечисленных здесь «сложных» понятий в праафразийском, действительно, были эквиваленты, сохранившие эти значения если не во всех, то, по крайней мере, в большинстве языков-потомков.

А вероятность того, что эти «сложные» значения не могли у них развиваться независимо друг от друга, близка к ста процентам?

А. М.: Конечно, встречаются исключительные ситуации. На одну существенную проблему мне, например, когда-то указал В. А. Шнирельман, историк первобытности, с которым мы когда-то вместе исследовали проблему афразийской прародины (позже он ушел в другие темы, не связанные напрямую с археологией и лингвистикой): не всегда даже методологически корректно реконструированное значение в праязыке напрямую связывать с исторической реальностью. Мне запомнился такой пример — во многих австралийских языках есть термин «пашня», «поле», «специально засеиваемый участок земли», формально реконструируемый для праавстралийского. При этом хорошо известно, что никакого земледелия до появления европейцев в Австралии не было, так что любая такая реконструкция — в чистом виде фантом, псевдотермин.

В чем тут дело? По мнению специалистов, когда пришли европейцы, отдельные группы аборигенов переняли у них навыки сельскохозяйственной деятельности и применили к ним этот общий термин — в праязыке он на самом деле означал что-то вроде участка земли, где растут дикие съедобные злаки или плоды, и это слово и было повсеместно использовано для обозначения новой для них культурной реалии.

Такие «ловушки» при реконструкции время от времени возникают, и на них надо заранее закладываться. Но когда речь все же идет о реконструкции по меньшей мере *десятков* земледельческих терминов, вероятность того, что *каждый* из них представляет собой такую ловушку, ничтожно мала. В праафразийском есть и отдельная 'пшеница', и 'ячмень', и 'серп' (правда, здесь возможен контраргумент: деревянные или костяные серпы с ложбинкой, куда вставляются кремневые или костяные вкладыши, действительно обнаружены в Передней Азии в слоях, датированных X тысячелетием до н. э., но они могли использоваться в том числе и для сбора тростника или дикорастущих злаков, не подразумевая в обязательном порядке земледельческих навыков), и 'мотыга'... тут можно возразить: а не могли ли праафразийцы мотыгами подкапывать дикорастущие злаки, осознавая, что они будут лучше расти, если взрыхлить землю? На это мне отвечает Генри Райт, один из ведущих американских археологов, мой друг и «вечный соавтор», с которым мы все никак не соберемся на эту тематику опубликовать что-нибудь совместное — нет, наличие мотыги достоверно свидетельствует именно о земледелии.

Более того, даже если у нас нет полной уверенности в том, что те или иные термины обозначают именно «культурные» злаки, но при этом их можно интерпретировать хотя бы как указание на интенсивное собирательство дикорастущих злаков — это *тоже* аргумент в пользу наличия ранних форм земледелия, которое, как известно, возникает именно в результате интенсивного использования дикорастущих злаков. Ну и, конечно, если у тебя в праязыке есть глагол, который повсюду отражается именно в значении 'сеять' — последние сомнения отпадают.

Правильно ли я понимаю, таким образом, что из трех макросемей, которые мы тут успели обсудить (ностратической, сино-кавказской, афразийской), убедительно лексика «производящего хозяй-

ства» восстанавливается только для праафразийского? И что тем самым афразийскую прародину можно надежно «прикрутить» к первичным очагам распространения земледелия?

Г. С.: Я, пожалуй, соглашусь, хотя бы просто из опыта постоянного контакта со всеми накопленными корпусами данных, что ни в ностратическом, ни в сино-кавказском корпусе нет такого количества этимологий, относящихся к сфере земледелия и скотоводства, как в афразийском. Для праностратического такая лексика вообще никогда не реконструировалась: А. Б. Долгопольский совершенно эксплицитно представлял «праностратов» как охотников-собирателей. С сино-кавказским ситуация сложнее (я об этом говорил), но все равно остается неопределенной: по крайней мере, ни о каких «десятках» различных культурных злаков или одомашненных животных, как в афразийском, не может идти и речи. С другой стороны, в афразистике Александр Юрьевич занимается этой тематикой давно и упорно, а в сино-кавказологии С. А. Старостин никогда специально не исследовал лексические связи такого рода, так что не исключено, что мы здесь просто на разных уровнях исследованности проблемы.

На самом деле это вопрос очень важный, потому что если в пределах Евразии афразийская макросемья — действительно единственная, где для праязыка восстанавливается сельскохозяйственная лексика, то, значит, либо праафразийцы стояли у истоков земледелия, либо одними из первых подхватили соответствующие навыки у каких-то безвозвратно ушедших в небытие первопроходцев, и в обоих случаях это побуждает к реконструкции прародины на родине земледелия. Насколько я понимаю, Александр Юрьевич склоняется к тому, чтобы напрямую отождествлять праафразийцев с так называемой натуфийской археологической культурой XIII–X тысячелетия до н. э. — «натуфийцы» известны как раз тем, что сначала перешли к оседлому образу жизни, не переставая при этом добывать пропитание охотой и собирательством (что очень необычно для первобытных культур), а затем уже на следующем этапе перешли к собственно производящему хозяйству.

Раз уж мы заговорили о семантической реконструкции — реконструкции смыслов — то правомерно ли просто переносить те смыслы, значения, которые мы наблюдаем в современных языках, на зна-

чения слов, имевших хождение десять-двенадцать тысяч лет тому назад? Можно ли вообще говорить о возможности семантической реконструкции на таких глубинах, когда, возможно, само человеческое сознание было устроено принципиально иначе?

А. М.: Отличный вопрос, заслуживающий подробного ответа. Должен сказать, что в процессе работы над реконструкцией праязыковой лексики, как прасемитской (скажем, V тысячелетие до н. э.), так и праафразийской (где датировка менее точна, но высока вероятность примерно X–XI тысячелетия до н. э.), я нахожу все больше контраргументов против широко распространенных представлений о том, что развитые доисторические общества были устроены примерно так же, как и современные архаические культуры охотников-собирателей (бушмены, аборигены Австралии и т. п.).

Такие представления, в частности, разделял и неоднократно уже упоминавшийся Игорь Михайлович Дьяконов. Он писал, например, о том, что у древнего человека вплоть до рубежа нашей эры и даже в более позднее время отсутствовало или было очень слабо развито абстрактное мышление, потому что не было необходимого языкового аппарата для передачи абстрактных понятий. Дьяконов, конечно, был абсолютным первопроходцем (наряду с Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым) в деле сопоставления праязыковой лексики с археологическими, палеоботаническими и другими экстралингвистическими данными, но наука не стоит на месте, и сегодня лично мне очевидно, что эта точка зрения не соответствует реальности. Для праафразийского языка X тысячелетия до н. э. вполне убедительно реконструируются целые ряды синонимов для таких понятий, как, например, 'думать', 'понимать', 'имя', 'смерть', 'жить, жизнь' (обычно связано с 'дыханием'). Только достаточно адекватным представлением об окружающем мире и человеческой природе можно объяснить наличие в прасемитском лексиконе двух сотен (а в праафразийском не менее сотни) терминов, подробно описывающих анатомию человека и животных¹. И ничем иным, кроме способности к далеко

¹ Детальной реконструкции анатомической терминологии прасемитского языка посвящен один из томов этимологического словаря семитских языков, подготовленного А. Ю. Милитарёвым и Л. Е. Коганом, см.: *Militarev A., Kogan L. Semitic Etymological Dictionary. Vol. 1: Anatomy of Man and Animals. Münster, 2000.*

не примитивным обобщениям и классификации фактов, можно объяснить то, что праафразийские слова, обозначающие «кошачьих» (леопард, лев, дикий кот и т. п.), в языках-потомках могут менять значения, но при этом практически никогда не поменяют «кошачье» значение на «собачье» (‘собака’, ‘волк’, ‘шакал’, ‘лиса’ и т. п.), равно как и наоборот. Значит, слова эти относились носителями языка к двум разным категориям существ — категориям достаточно абстрактным, требующим специального осмысления. Из всех хищников такого рода только гиена попадает то в одну, то в другую группу.

То же самое можно сказать про ряд синонимов, обозначающих эквидов (осла, онагра, лошадь), четко отделяемый от ряда «полорогих» — быков, антилоп, коз/овец (эти три группы обычно также разграничиваются, только козы и овцы почти никогда не различаются: в языковом сознании они объединяются функционально как «мелкий рогатый скот»). Любопытно, кстати, что из дюжины общеафразийских терминов для эквидов примерно половина хотя бы в некоторых языках-потомках отражается как названия для... верблюда! Трудно представить, что могло объединять в сознании ранних афразийцев таких разных животных, как осла и верблюда, кроме общей функции вьючного или даже верхового животного — притом что даже для VI–IV тысячелетия до н. э. появление вьючных и, тем более, верховых животных палеозоологией сегодня, насколько мне известно, не подтверждается.

Даже когда один и тот же термин в праафразийском дает по языкам-потомкам такие разные значения, как ‘слон’ и ‘носорог’ или ‘слон’ и ‘бегемот’, это указывает не на то, что древние люди были неспособны различить этих животных, а на то, что они могли классифицироваться по какому-то общему признаку — скажем, по «толстокожести».

Ну и очевидно, что не может быть и речи об отсутствии языкового аппарата для передачи абстрактных понятий, когда для прасемитского языка шеститысячелетней давности (за два тысячелетия до возникновения первых письменных культур!) восстанавливаются такие термины, как ‘прошлое, древность’ (**kVdm-*, есть во всех семитских языках) и ‘будущее’ (**ʔahr-*, во всех семитских, кроме эфиопских и современных южноаравийских) или, скажем, глаголы ‘знать’ (**ydʕ*, во всех семитских и с дальнейшими параллелями в других афразийских, то есть глагол вы-

водится на праафразийский уровень) и 'думать, считать, полагать' (**ḥšb*, почти во всех семитских, а также в раннем египетском, что опять-таки указывает на его общеафразийский статус). О развитом обществе, в котором уже сложились определенные этические представления и нормы, свидетельствуют такие общесемитские термины, как 'наследовать, входить во владение чем-либо' (**wrl*), 'судить, быть судьей' (**dyn*), 'быть справедливым, правым, правдивым, праведным' (**sdk*), 'быть милосердным, добрым, жалеть, сочувствовать' (**rḥm*), 'ошибаться, поступать плохо, грешить' (**ḥtʔ*), 'стыдиться' (**b (h) ʔ*), 'стесняться' (**ḥpr*). Глагол 'прелюбодействовать, распутничать' (**zny*) имеет явно негативную коннотацию во всех языках, в то время как у глагола со значением 'совокупляться' (**nyk*, общеафразийского происхождения) семантика вполне нейтральная. Праафразийцы, кстати, хорошо понимали, отчего рождаются дети: в их языке реконструируются глаголы, которые в одних языках-потомках означают «совокупляться», «спать с женщиной», в других — «быть беременной», в третьих — «рожать» и «дети».

Невозможно согласиться и с тем, что древние люди якобы вкладывали в такие слова более простое или принципиально иное значение, нежели то, которое мы выводим из контекстов древнеписьменных памятников (Дьяконов, помнится, шутил, что шумерский глагол «думать» исходно значил 'бурчать животом') или даже то, которое вкладывает в них вполне современный человек. Другое дело, что иногда, хотя и далеко не всегда, удастся проследить, к каким более конкретным «призначениям» эти значения восходят — это бывает тогда, когда они фонетически совпадают или морфологически производны от слов, подходящих по смыслу и реконструируемых на том же или на более глубоком хронологическом уровне. Так, значение 'душа', передающее сложный комплекс представлений, разнящихся от культуры к культуре, чаще всего восходит к значению 'дыхание'. Во всех семитских языках сохраняется слово, реконструируемое для прасемитского как **napīš-* или **napš-*, со значением 'душа, дух, жизненная сила'. Конечно, передаваемое им понятие чем-то отличалось от значительно более поздних представлений о душе в иудаизме, христианстве, исламе, но вряд ли это отличие было принципиально иным, нежели отличия внутри самих этих религий — которые, в конечном счете, все вышли из еврейской Библии, а та, в свою

очередь, развивает еще более древнюю традицию, восходящую к прасемитскому представлению о душе.

Другое понятие — ‘быть милосердным, добрым, жалеть, сочувствовать’, выраженное прасемитским глаголом **rhm*, развилось из прасемитского же анатомического термина **rahm-/*rihm-* ‘утроба, матка’; в этом значении у него есть дальнейшие параллели в кушитских языках и, следовательно, на общеафразийский уровень он выводится именно как анатомический термин, с дальнейшей метафоризацией от конкретной ‘матки’ к абстрактному ‘милосердию’, а не наоборот. Но при этом нет никаких аргументированных оснований считать, что мы здесь переносим на древность современные, тем более ‘европоцентристские’ представления, и голословно спекулировать на тему того, что понятие ‘быть милосердным’ в сознании прасемитов ассоциировалось с чем-то *принципиально* иным по сравнению с тем смыслом, который вкладываем в это слово мы — ну не мог этот глагол означать ‘дать детенышу погрызть кость’ или, скажем, ‘сожрать соседа’.

Г. С.: На самом деле эта тема очень сложная, в двух словах ее исчерпать невозможно. Я бы лишь позволил себе добавить, что, по моим наблюдениям, представление о каком-то принципиально ином менталитете «древнего человека» как такового — не «древнего грека», «древнего шумера», «древнего китайца», у которых, конечно, как и у различных современных народов, были свои национальные особенности, — чаще всего бывает характерно, как это ни парадоксально, для *узкого* специалиста, будь то, например, филолог, изучающий тексты одной или нескольких близких по духу и времени культур, или этнограф, посвящающий полжизни детальнейшему изучению одного племени. При работе в такой парадигме очень быстро возникает соблазн увидеть в анализируемом материале «эксклюзив» — нечто уникальное, отсутствующее в твоей собственной культуре — и по индукции спроецировать его и на те области, в которых ты не разбираешься, скажем, по такой модели: «если в той древней письменной культуре (или в тех племенных традициях), которыми я занимаюсь, есть *такое*, то, наверное, оно должно было быть свойственно *всем* древним письменным культурам (или племенным традициям)».

На самом же деле это очень рискованно — делать далеко идущие обобщения на основании частных данных. Мы все-таки предпочитаем исхо-

дить из принципа униформизма, о котором я уже говорил: «при прочих равных», то есть если у нас нет по-настоящему веских аргументов в пользу обратного, для древних языков семантика (как, кстати говоря, и фонетика) восстанавливается такая же, которую мы видим в современных языках.

А. М.: Конечно, трудностей во многих случаях все равно не избежать. Например, в нашей с Ольгой Столбовой афразийской базе реконструируются праафразийские термины для обмена и купли-продажи; слова, свидетельствующие о социальном расслоении (есть, например, термин ‘богатый’) и указывающие на разные социальные категории (‘вождь’, ‘старейшина’); есть термины, которые однозначно интерпретируются как «раб». Сказать это историкам — они тебя просто засмеют: какое может быть рабство в X тысячелетии до н. э.? И тем не менее это такие слова, которые дают в большинстве языков-потомков значение «раб», хотя где-то и просто «слуга», то есть общий смысловой инвариант — человек низшей социально-экономической категории, работающий на других.

Подобного рода случаи заставляют думать, что, видимо, жизненные стандарты праафразийского общества во многом не соответствуют общепринятым представлениям о ближневосточном обществе периода раннего неолита: лингвистические данные показывают, что не так уж сильно они отличались от первых известных нам письменных цивилизаций — шумерской, аккадской, египетской. За исключением, разумеется, отсутствия собственно письменности.

Вот что интересно: мы здесь углубились, насколько я понимаю, уже в проблему реконструкции культурной лексики праафразийского языка, в то время как обсуждение ностратической и сино-кавказской семей было в основном завязано на лексике базисной. Означает ли это, что с реконструкцией базисной лексики в афразийских языках вообще никаких проблем нет, и что гипотеза, таким образом, находится в более выгодном положении по сравнению с другими двумя?

Г. С.: Как исследователь, вплотную занимающийся сино-кавказской проблематикой и при этом не понаслышке знакомый и со всем остальным, я бы ответил так. Афразийская гипотеза в принципе «старше», чем

две другие, если в качестве точки отсчета брать начало систематической работы над этимологическим корпусом — наверное, в методологическом плане работы Коэна уступают работам Иллич-Свитыча, но не настолько, чтобы с ними можно было не считаться. Однако главная причина, по которой к афразистике мировое лингвистическое сообщество в целом настроено более благосклонно, чем к ностратике — это то, что, при всей несомненной хронологической глубине этой макросемьи, афразийское родство в определенном смысле более *наглядно*, чем ностратическое и уж тем более совершенно не наглядное сино-кавказское.

Конечно, «наглядность» — это палка о двух концах. Именно из-за наглядности, то есть поверхностного сходства, как я уже говорил, ученая общественность долгое время заблуждалась, считая родственными китайский и тайские языки, и потребовалось очень доскональное, «под лингвистическим микроскопом» изучение их языковых данных, чтобы понять, что кит — не рыба, то есть сходство вызвано конвергенцией, а не общим происхождением. Но в случае с афразийскими языками ситуация оказалась более удовлетворительной. Широкой публике можно показать «конфетку» — бросающиеся в глаза типологические сходства между хотя бы семитскими, берберскими и египетским языками (чадские и кушитские языки эти сходства во многом утратили, попав под сильное влияние нило-сахарских языков Центральной и Восточной Африки). Узкие же специалисты тем временем могут спокойно вести настоящую этимологическую работу и получать надежные, намного более сложные доказательства генетического родства всех этих языков.

А о каких конкретно типологических сходствах идет речь?

Г. С.: Все, кто хоть немного соприкасался, скажем, с арабским языком или с ивритом (как наиболее известными из семитских языков), знают, что в них очень специфическая структура слова — корни большинства существительных и практически всех глаголов состоят из одних согласных звуков (как правило, из трех), в то время как гласные играют вспомогательную, грамматическую роль. (Хрестоматийный пример — арабский корень *КТВ* с общим значением ‘писать’ и производные от него формы: *КаТаВа* ‘он писал’, *уаКТуВ* ‘он пишет’, *КиТāВ* ‘книга’, *КуТуВ* ‘книги’, *таКТаВа*

‘библиотека’ и т. п.) Само по себе это явление, которое в лингвистике носит название «внутренней флексии», в том или ином виде встречается во многих языках (например, английская парадигма *foot* ‘нога’: *feet* ‘ноги’ тоже формально характеризуется внутренней флексией, потому что значение множественного числа выражается «внутри» корня, а не за его пределами), но только семитские языки возвели его в своеобразный абсолют.

С некоторыми отличиями, но очень похоже на семитские языки устроена и грамматическая структура у берберов; похоже, что и древнеегипетский был устроен таким же образом — косвенно на это указывает египетская графика, где, как и в семитском письме, не обозначались гласные, а это свидетельствует в пользу их «вспомогательной» функции. Уже самым первым исследователям этих языков было очевидно, что о случайном совпадении здесь говорить не приходится — и поскольку тогда (в XIX веке) представление о «языковых союзах», когда неродственные языки в структурном плане дрейфуют друг к другу в ходе контактов, в языкознании еще отсутствовало, это однозначно воспринималось как доказательство родства всех этих языков.

К счастью, сегодня мы очень твердо знаем, что все они родственны не только, так сказать, по своему «фенотипу», но и на уровне конкретных морфем. Помимо этимологической работы, мы занимались и лексико-статистикой — в частности, Александр Юрьевич уже в 1980-е годы составлял афразийские списки Сводеша и продолжает заниматься афразийской лексикостатистикой до сих пор, и это позволяет очень четко определить довольно устойчивый и широко распространенный, но при этом эксклюзивный именно для афразийского ареала набор «генетических маркеров» этой макросемьи. К числу этих маркеров, например, относятся: местоименная парадигма *N* ‘я’ / *T* ‘ты’ (вспомним, что для ностратических языков типична парадигма *M* / *T*, а для сино-кавказских — *Z* / *W*); корень **mwt* ‘умирать’, широко представленный в семитских, берберских, чадских, египетском, гораздо слабее — в кушитских языках; корень **sim* ~ **sum* ‘имя’ (откуда арабское *исм*, еврейское *шем* и др.) — во всех афразийских ветвях, кроме египетского; корень **lib-* ~ **lub-* ‘сердце’ — везде, кроме берберских; и ряд других.

Все это не значит, что афразистика — такая уж «безоблачная» область. Как только мы выходим за пределы горстки наиболее бросающих-

ся в глаза типологических сходств и «генетических маркеров», начинаются все те же мучительные проблемы этимологизации материала на сверхглубоких хронологических уровнях, которые нас преследуют и в ностратике, и в сино-кавказологии. В наибольшей степени, насколько я понимаю, это касается чадской ветви (как самой крупной и до сих пор хуже всего описанной и проанализированной в историческом плане) и кушитских и омотских языков (как наиболее далеко отстоящих от всех прочих — про омотские у некоторых исследователей, да и у меня, вообще есть определенные сомнения, афразийские они или нет, но Александр Юрьевич, насколько я знаю, здесь твердо придерживается традиционной точки зрения).

В сравнительной афразийской базе, вывешенной на сайте «Вавилонская башня», сейчас примерно три с половиной тысячи корней — это, на мой взгляд, серьезный перебор: для обычного языка среднестатистическая норма — где-то две, максимум две с половиной тысячи «первичных» морфем, и то, что афразийских этимологий так много, косвенно свидетельствует о том, что, помимо качественных, «годных» этимологий, туда до сих пор загнано и много случайных созвучий, благо материала, из которого можно выбирать, предостаточно, особенно за счет подключения лексически богатых языков типа арабского и не столь богатых лексически, зато просто многочисленных бесписьменных языков типа чадских (похожая проблема, кстати, изрядно портит и ностратический словарь Долгопольского). Но, с другой стороны, много — не мало; «плевелы» в будущем должны отфильтроваться.

А. М.: Конечно, много ненадежных корней по мере уточнения фонетических соответствий придется выбросить. Что касается проблемы литературных и бесписьменных языков, то раз уж о ней зашла речь, я бы хотел здесь воспроизвести кое-что из содержания недавно опубликованной статьи.

Дело в том, что существует некоторое взаимное недоверие, определенные разногласия, которые обычно не выносятся на открытое обсуждение (на конференциях или в публикациях), но в частных разговорах я их слышал не раз: это разногласия между «классическими» филологами, которые занимаются древними памятниками, и лингвистами, осо-

бенно «полевиками», которые занимаются живыми, чаще всего бесписьменными, языками.

От египтологов, ассириологов, гебраистов, арабистов нередко слышишь: ну как вы можете сопоставлять на одном уровне данные современных живых диалектов, где нет литературной нормы, материал записан со слов нескольких, а то и вообще одного, неграмотного информанта, какого-нибудь «полудикого» носителя южноаравийского языка сокотри или омотского языка моча? Там же все неопределенно, один лингвист ухватил случайного человека, тот ему чего-то наговорил, а уже другой человек, который так же называет свой язык, будет говорить по-другому. Произношение непонятное, у одного такое, у другого сякое, один на вопрос, как по-вашему будет слово «земля», выдаст одно слово, а другой — другое; потом из этой каши на коленке составляется примитивный «словарь», и вы эти словари напрямую сравниваете с языками, где есть литературная норма, богатейшая литературная традиция, все скрупулезно изучено до мельчайших деталей.

А потом приходят полевики и говорят: ну послушайте, это же живой язык, вот я его слышал сто раз, он у меня задокументирован с помощью наисовременнейших технических средств, настоящий язык, никакого вранья, а с чем вы это сравниваете? С какими-то текстами, записанными три-четыре тысячи лет назад? Тут же непонятно, насколько эти иероглифы, или слоговые клинописные знаки, или даже менее двусмысленные, но все равно спорные буквы древних алфавитов соответствуют реальному звучанию, как они его затуманивают, насколько правильно их интерпретировали. Те же ассириологи отлично знают, что одно и то же клинописное слово может в научной литературе несколько раз поменять свое прочтение и/или значение. Вчера мы считали, что это слово означало «собаку» и читалось бум-бу-ру-бум, а сегодня всплыли какие-то новые аргументы, и кто-то предложил читать его трам-та-ра-рам со значением «чесать подмышки», и вот теперь это новая общепринятая норма. Как можно столь недостоверные данные ставить на одну доску с адекватно зафиксированными фактами?

И у тех и у других есть и своя правда, и своя неправда — истина же лежит посередине и гласит, что наиболее достоверные выводы можно сделать из *сопоставления* обоих этих типов данных. Именно грамотное

сравнение, и только оно, компенсирует «недостатки» по отдельным источникам.

Особенно хорошо это видно в случае с классическим арабским языком. Средневековые арабские филологи оставили нам замечательные словари, но они совершенно чудовищные по размеру — в целом записано где-то шесть с половиной тысяч корней (для сравнения: в библейском иврите их около пятисот), это неправдоподобное количество. В результате арабские параллели можно найти почти к любому слову любого семитского языка, да и к словам несемитских афразийских языков, как правило, из всех семитских параллелей арабской лексики несравнимо больше, чем любой другой. Чтобы хоть как-то эту ситуацию ввести в «естественное» русло, приходится предполагать, что многие из этих слов — инновации в разных арабских диалектах (упомянутые арабские филологи, как правило, никаких помет на этот счет не делали), а многие просто отражают какие-то индивидуальные особенности произношения или, в каких-то случаях, вообще «взяты с потолка», то есть представляют собой филологические фантомы, особенно когда речь идет о многочисленных корневых вариантах. Большой процент таких слов (а из классических арабских словарей они дальше кочуют уже в европейские словари арабского языка) вообще не зафиксирован ни в классических памятниках арабской письменности, ни даже в современных живых диалектах арабского.

Единственным аргументом в пользу того, что за этими словами стоит какая-то реальная история, может быть сопоставление с данными других семитских языков. Есть параллель в иврите, аккадском, эфиопском и т. д. — значит, слово, скорее всего, исконное. Нет такой параллели — значит, выводить его на прасемитский уровень крайне рискованно. И в этом смысле данные «малых» языков, способные подтвердить или не подтвердить архаичность арабского слова, для нас очень важны, как бы скептически к ним ни относились некоторые филологи.

Г. С.: Да, в этом смысле афразистика, пожалуй, еще не вполне сумела преодолеть «детскую болезнь», от которой ностратика, например, свободна — скажем, В. М. Иллич-Свитычу никогда бы не пришло в голову сопоставлять с уральскими и алтайскими формами изолированное сан-

скритское слово вместо праиндоевропейского (хотя полный словарь санскрита по объему лексики вполне сопоставим с большими арабскими словарями). Да и А. Б. Долгопольскому тоже вряд ли пришло бы — а вот изолированные арабские формы он при этом с легкостью подключал к ностратическому сравнению (напомню, что Долгопольский всегда придерживался старой гипотезы о том, что афразийская семья является подветвью ностратической). Конечно, это в первую очередь объяснялось тем, что Долгопольский был профессиональным семитологом и арабским материалом владел очень хорошо, — но также и тем, что в индоевропеистике как-то «не принято» предполагать, что праиндоевропейский корень из десяти-двенадцати ветвей мог сохраниться только в одной (мог, конечно, но с очень малой вероятностью), а в семитологии и афразистике особый статус арабского языка эту вероятность искусственно завышает. Хочется надеяться, что от такого «арабоцентризма» в будущем удастся избавиться.

На этом, наверное, нашу беседу об афразийской семье можно и завершить — а тех, кто желает о ней узнать побольше, могу с удовольствием отослать к обзорным работам И. М. Дьяконова, которые до сих пор во многих отношениях не утратили свою актуальность¹.

¹ См., в частности: *Дьяконов И. М.* Семито-хамитские языки. Опыт классификации. М.: Наука, 1965, а также вводную статью И. М. Дьяконова («Афразийские языки») к очередному тому из серии «Языки Азии и Африки» (Т. IV. Ч. 1; М.: Восточная литература, 1991). С текущим состоянием изучения наиболее известной из всех ветвей афразийской макросемьи — семитской — можно ознакомиться по недавно вышедшей в рамках издательского проекта «Языки мира» обзорной монографии: *Семитские языки. Аккадский язык. Северозападносемитские языки* / Под ред. А. Г. Беловой, Л. Е. Когана и др. М.: Academia, 2009.

Беседа VIII. Языковое разнообразие в Африке [Собеседник — Г. С. Старостин]

Г. С.: Предыдущий наш разговор был посвящен афразийской макросемье — единственной, потомкам которой удалось твердо закрепиться на территории сразу двух континентов Евразии и Африки. Рассказывая о местах обитания и особенностях таких языков, как берберские, чадские, кушитские, омотские, египетский, А. Ю. Милитарёв тем самым уже обрисовал нам языковую ситуацию в северной части африканского континента — которая, действительно, в основном занята афразийцами. Тем не менее, когда мы от Северной Африки переходим к Центральной, афразийское присутствие там сводится к минимуму (отдельные кусочки чадской и кушитской семей доходят до Камеруна и Кении, но не более того), а про Южную Африку и говорить нечего — афразийское присутствие там вообще не ощущается.

Можно ли это интерпретировать как показатель «пришлости» афразийцев, согласно гипотезе Милитарёва? В том смысле, что они просто уже по времени не успели продвинуться в глубь африканского континента?

Г. С.: То, что афразийская макросемья «накрыла» собой часть языкового разнообразия Африки, существовавшего задолго до афразийской экспансии, — это несомненно (и последняя волна афразийской экспансии, кстати, имела место уже во вполне осязаемый исторический период: речь, конечно, идет об арабском завоевании и исламизации всей Северной Африки). Действительно ли исходной точкой этой экспансии была Палестина, или здесь должны работать какие-то другие модели, об этом я судить пока не берусь. Но неоспорим сам факт того, что афразийская экспансия — продукт последних десяти-двенадцати тысяч лет, а языко-

вое разнообразие Африки начало складываться намного раньше этого периода. К сожалению, во многом это разнообразие дошло до нас лишь в состоянии «ошмётков», так что оценить языковую картину Африки до начала больших экспансий (афразийской, нилотской, бантуской и других, поменьше) можно лишь приблизительно.

В целом африканское языкознание сегодня — очень неравномерно развитая дисциплина. Языками черного населения Африки европейские лингвисты стали серьезно заниматься едва ли не позже, чем языками всех остальных мировых регионов, за исключением разве что Австралии. Исторические причины этого понятны — систематическая колонизация европейцами африканского континента началась достаточно поздно, примерно с середины XIX века. Может быть, не случайно, что именно в 1854 году вышло в свет первое «глобальное» исследование по языкам Африки: это знаменитый труд немецкого миссионера Сигизмунда Кёлле (1820–1902) «Полиглотта Африкана», в котором содержится информация по более чем 120 африканским языкам. Кёлле в основном сидел во Фритауне (на территории сегодняшнего Сьерра-Леоне) и работал там с освобожденными рабами, то есть описывал, таким образом, в основном языки западноафриканского атлантического побережья, откуда большинство этих людей были родом, — относительно небольшой кусок от общей территории Африки, но очень показательный: работа Кёлле впервые дала европейским исследователям понять, с каким колоссальным объемом материала им придется в дальнейшем иметь дело.

Как и в других областях планеты, первопроходцами здесь были сначала этнографы, за ними шли миссионеры, затем постепенно начали появляться профессиональные лингвисты, но в первую очередь интересовались они либо крупными языками масштабных этносов, таких, как зулусы или баконго в Южной Африке, волоф, эве и йоруба на атлантическом побережье, сонгаи в Мали и т. д., либо языками межплеменного общения, такими, как, например, суахили, «родных» носителей которого существенно меньше, чем людей, использующих этот язык в торговых или официальных целях. Полноценные описания малых языков на постоянной основе начали появляться только в XX веке и до сих пор отсутствуют, по моим прикидкам, примерно для половины всех ныне живущих языков Африки.

Неудивительно, таким образом, что одна из первых семей языков «черной Африки», которую удалось опознать, хорошо описать и проанализировать в историческом аспекте, — это языки так называемых народов банту (слово *ба-нту*, в единственном числе *м-ту*, на разных языках банту означает просто ‘люди’). Во-первых, эти народы занимают огромную территорию: из некогда крохотной горстки племен, проживавших где-то в пограничных областях современных Нигерии и Камеруна, они несколько тысяч лет тому назад превратились в эффективных колонизаторов, заселив практически все пригодные для жизни области Центральной и Южной Африки. Причины такого «взрыва» до конца не известны, но очевидно, что это было во многом связано с технологическим прогрессом: банту — не только опытные земледельцы и скотоводы, но и одними из первых в Африке освоили обработку металлов и получили тем самым мощное преимущество над конкурентами.

То есть бантуская экспансия для африканского континента — это такая аналогия индоевропейской в Евразии?

Г. С.: В очень многих отношениях, да, и любопытно даже, что протекали они примерно в одно и то же время (банту, наверное, припоздали примерно на тысячелетие). Но есть и отличия: в частности, индоевропейцы очень активно контактировали с доиндоевропейским населением, перенимали от него локальные особенности языка и культуры, и поэтому современные индоевропейские цивилизации чрезвычайно гетерогенны. В случае банту речь скорее шла о полной ассимиляции местного населения (которое, по-видимому, и не было особенно многочисленным — мелкие группы охотников-собирателей), и поэтому, хотя язык прабанту, судя по данным глоттохронологии, не намного младше праиндоевропейского, современные банту отличаются гораздо большей гомогенностью. По разным подсчетам, языков банту сегодня насчитывается от 250 до 500, но родство между любыми двумя из них видно невооруженным глазом — не то что между какими-нибудь хинди и ирландским.

Из-за этого, в частности, семья банту — такой идеальный полигон для компаративиста, стремящегося избегать чрезмерных технических сложностей: языковая семья большая, хронологически довольно глубо-

кая (прабанту распался как минимум четыре-пять тысяч лет тому назад), но относительно просто устроенная в плане фонетики, и реконструировать её — одно удовольствие. Конечно, ситуацию осложняет полное отсутствие древних письменных памятников, но анализ показывает, что среди языков банту немало очень архаичных наречий, чрезвычайно мало изменившихся по сравнению с праязыком, и они успешно заменяют для лингвиста древние памятники.

Основные этапы прабанту реконструкции уже пройдены, в результате работы сначала знаменитого немецкого лингвиста Карла Майнгофа (1857–1944), о котором мы еще поговорим чуть позже, а затем — не менее выдающегося британца Малкома Гасри (1903–1972). Ему же принадлежит и наиболее известная из всех классификация языков банту — не по «группам», а по «зонам»: зона А, зона В, зона С и т. д., то есть он классифицировал весь этот громадный языковой материал скорее по географическому принципу, чем по реальной степени генетического родства между языками (слишком уж их было много). Главный труд Гасри, гигантская четырехтомная монография «Сравнительное изучение языков банту», по-видимому, до сих пор остается образцово-показательной компаративистской работой, непревзойденной в плане аккуратности и детальности ни одним специалистом по «черной Африке»¹. Собственно говоря, именно ее выход в свет окончательно ознаменовал становление сравнительной бантуистики как африканского эквивалента индоевропеистики — такая «эталонная» дисциплина для всех подражателей. И профессиональных бантуистов, как и профессиональных индоевропеистов, сегодня в африканистике, наверное, больше, чем специалистов по всем остальным африканским семьям, вместе взятым.

Но при этом с самого начала было ясно, что, сколько бы ни было в семье банту языков и сколь бы огромную территорию они ни занимали, реконструкция прабанту — это лишь первый, и, при всей его трудоемкости, далеко не самый сложный шаг к, так сказать, «наведению классификационного порядка» на территории африканского континента. Уже и Кёлле, и другие последовавшие за ним африканисты видели, что крупные семьи наподобие бантуской, когда невооруженным глазом можно

¹ *Guthrie Malcolm. Comparative Bantu: an introduction to the comparative linguistics and prehistory of the Bantu languages. 4 vols. Farnborough: Gregg press, 1967–1971.*

увидеть тесное родство между сотнями языков одновременно, для Африки скорее исключение — нормой же является ситуация, когда семья состоит из небольшого языкового пучка, от двух-трех до пары десятков единиц, и связи между ними какие-то «мутные»: то ли генетические, то ли ареальные, с ходу разобрать невозможно.

Примерно к середине XX века первичная обзорная работа была проведена — удалось более или менее понять, сколько примерно в Африке языков и сколько примерно малых языковых групп, так что на повестке дня оказался вопрос построения крупных классификаций. Про Евразию на тот момент уже было ясно, что все ее языковое разнообразие, в общем, сводится примерно к десятку крупных семей и еще небольшой кучке мелких групп и изолятов (и это еще без учета крупных «макросемейных» гипотез типа ностратической), значит, естественно было бы ожидать того же самого и для Африки...

*Почему «естественно»? Ведь если человек вышел из Африки, не было ли бы естественнее как раз ожидать от африканских языков гораздо большего разнообразия? Ведь в хронологическом плане получается, что история пребывания *Homo sapiens* в Африке намного длиннее, чем в Евразии.*

Г. С.: Безусловно длиннее, но не следует при этом забывать и о языковых унификациях. Вот молодой семье банту, например, удалось покрыть своим присутствием всю Центральную и Южную Африку, почти полностью ликвидировав то языковое разнообразие, которое там царило до ее прихода — высока ли вероятность того, что аналогичных унификаций, пусть и чуть более скромных в географическом плане, не было за последние несколько десятков тысяч лет и на территории Северной Африки? В любом случае сценарий, согласно которому в Африке сегодня проживало бы, скажем, сто разных семей, не связанных друг с другом таким генетическим родством, которое мы могли бы показать, — он а priori выглядит очень странно.

Вопросами объединения мелких африканских «ветвей» в крупные классификационные единицы занимался уже тот же Кёлле, за ним последовали другие выдающиеся ученые (Дидрих Вестерманн, Карл Майн-

гоф, Арчибальд Такер, всех не перечислишь), но в конечном итоге по известности и по общему обхвату данных всех их переплюнул неоднократно уже всплывавший в наших разговорах Джозеф Гринберг. Свою лингвистическую карьеру он вообще-то начинал как африканист, занимался чадскими языками, потом перешел к их лингвистическим соседям, наконец, с 1948 года запустил серию журнальных публикаций по разработке единой классификации всех известных на тот момент языков Африки. Финальная монография вышла в 1963 году, очень небольшая книжка, страниц на 150, называлась она просто «Языки Африки»¹ — и в целом задала всю африканистическую повестку более чем на полвека вперед. Больше с тех пор он по Африке почти ничего не писал, переключившись на Америку и Евразию — в рамках «метода массового сравнения» он, по-видимому, считал, что по Африке сделал все, что мог, а сравнительно-историческим языкознанием классического типа Гринберг, как я уже говорил, не занимался.

Но вот что удивительно: если дальнейшие работы Гринберга по Америке и Евразии за пределами очень узкого круга его сторонников серьезной поддержки не получили, то африканская классификация его, напротив, стала, в своем роде, настольной книгой каждого африканиста. Конечно, она тоже подвергалась и продолжает подвергаться критике — даже в самых первых рецензиях 1960-х годов скепсис звучал регулярно — но критика критикой, а система макросемей, которую Гринберг предложил для африканского континента, тем не менее со временем закрепилась в качестве такой «стандартной модели», от которой волей-неволей отталкиваются и ее убежденные сторонники, и ее противники.

А это не может быть связано, например, с тем, что про языки Африки в принципе среднестатистический лингвист знает меньше, чем про языки Евразии, и поэтому не склонен с порога впадать в сомнения?

Г. С.: Вполне может, но это лишь одна из причин — ведь есть и немало собственно африканистов, хорошо осведомленных о языковой ситуации в Африке, которые при этом к гринберговской модели относятся благо-

¹ *Greenberg Joseph. The Languages of Africa. Bloomington: Indiana University, 1966.*

склонно, в то время как, например, профессиональные американисты американскую классификацию Гринберга обычно ни в грош не ставят. Еще одна важная причина — хронологическая: классификация языков Африки пришлось на период, когда «макро»-исследования были, как ныне принято говорить, «в тренде», свежей и актуальной темой, работа же над языками Америки пришлось на то время, когда, наоборот, усилились «сплиттерские» тенденции, лингвистическое сообщество стало больше внимания обращать на «горизонтальные», ареальные связи языков и т. д.

Поэтому в каком-то смысле африканская модель Гринберга продолжает цениться в силу традиции — в свое время ее покритиковали, но за неимением лучшей приняли, а чтобы с ней твердо порвать, нужен как минимум африканист калибра Гринберга, но где такого взять? Да, сегодня критика конкретных пунктов классификации звучит все чаще и чаще, и связано это в том числе еще и с тем, что сильно устарели языковые данные, которыми в середине XX века пользовался Гринберг — вышла прорва новых словарей и грамматик гораздо более высокого качества, по большому счету, всю работу надо бы проделать заново. Пока это не сделано, африканские макросемьи Гринберга будут жить — хотя забавно, конечно, иногда наблюдать, как отдельные сторонники метода «массового сравнения» в ответ на критику любят возразить: «критика, может быть, отчасти и справедливая, но удалось же Гринбергу с помощью массового сравнения *правильно* установить классификацию языков Африки!» На самом деле когда окажется, что тщательная обработка африканских данных с помощью сравнительно-исторического метода даст те же результаты, что и массовое сравнение Гринберга, тогда и можно будет говорить, что классификация «правильная» — пока же это все чистая спекуляция.

Почему же все-таки сложилось так, что американисты Гринберга не ценят, а африканисты — скорее уважают? Неужели дело только в «духе времени», который так сильно изменился за какие-то двадцать лет?

Г. С.: Нет, дело еще и в конкретных исследовательских традициях. Африканистическая традиция зародилась и окрепла в европейских университетах, где сравнительно-историческое языкознание с конца

XVIII века занимало традиционно сильные позиции; американистическая — в американских, где лингвистическое образование началось с эпохи соссоровского структурализма и было изначально очень сильно смешано с социологией и антропологией. В каком-то смысле, сильно огрубляя ситуацию (потому что исключения есть с обеих сторон), можно сказать, что американисты, особенно та американистическая школа, которая оформилась в послевоенные десятилетия, «заточены» скорее на исследования ареально-контактных отношений между языками, африканисты же — скорее на исследования в области генетического родства, то есть до недавнего времени среднестатистический американист, увидев неоспоримое «сходство» между двумя языковыми семьями, по умолчанию считал бы его ареальным, а среднестатистический африканист, наоборот, по умолчанию принял бы его за генетическое, просто в силу различий в образовательном бэкграунде.

Но это такое лирическое отступление скорее интуитивного характера, а нам все-таки интереснее факты. Итак, факт: в монографии 1963 года «Языки Африки» Гринберг подвел итог своей африканистической деятельности, расклассифицировав все колоссальное разнообразие языков этого континента всего на четыре макросемьи, очень неравномерных как по занимаемым ими ареалам, так и по числу входящих в них языков. Четыре макросемьи — значит, четыре языка-предка, из которых со временем образовалась пара тысяч языков Африки. Реконструировать этих предков Гринберг не стал, поскольку, как я уже говорил, к компаративистской реконструкции он относился скептически (как минимум, не считал ее обязательной для доказательства родства).

Про одну из этих макросемей нам уже рассказал А. Ю. Милитарёв — это, конечно, афразийские языки, единственная макросемья, которой удалось частично выбраться за пределы Африки (а если гипотеза Милитарёва верна, то не только выбраться, но и снова частично вернуться). Кстати говоря, в определении точного состава афразийской семьи сам Гринберг также принял немалое участие, потому что граница афразийских языков в Африке по состоянию на середину XX века твердо установлена не была. К так называемым хамитским языкам, например, отдельные исследователи могли причислять и нилотские языки Восточной Африки, и даже готтентотские языки в Южной Африке, исходя из неко-

торых структурных сходств (например, наличия категории грамматического рода во всех этих семьях, что существенно отличало их от типичных африканских языков с их системами именных классов). Гринберг в жесткой форме напомнил, что языковое родство должно устанавливаться не на основе структурных сходств, а на основе сопоставления конкретных языковых морфем, и по этому принципу четко — и совершенно справедливо — отграничил афразийские языки Африки от неафразийских.

Но про афразийские языки основной рассказ уже позади, а нас сейчас будут в первую очередь интересовать три остальные макросемьи.

Начнем с самой маленькой, но во многом самой уникальной и до сих пор самой загадочной — это так называемая *койсанская* семья, иногда называемая также *бушменско-готтентотской*, хотя последнее название сегодня из-за своей «неполиткорректности» вышло из широкого обихода («бушмены», то есть «люди кустов», и «готтентоты» — термины, которые для коренного населения Южной Африки изначально придумали европейцы).

Все без исключения койсанские языки сконцентрированы на юге Африки, где на них говорят племена бушменов-*сан*, которые и по сей день остаются преимущественно охотниками и собирателями (там, где жизнь им это позволяет; там, где не позволяет, они обычно устраиваются работать на фермы или пополняют локальные вооруженные группировки, иногда поневоле), и племена готтентотов-*кой*, которые в технологическом отношении по сравнению с бушменами сильно продвинуты — земледельцы и скотоводы, знакомы с ремеслами, металлургией и т. д.

Готтентоты в основном живут сегодня в Намибии (собственно говоря, Намибия — это и есть «страна нама»: нама — крупнейшее из готтентотских племенных объединений). Остатки бушменов ютятся в основном в трудных для проживания районах пустыни Калахари, изредка забредая в саванну. Когда-то «койсаны» густо населяли все южное побережье Африки, где условия и для собирателей, и для скотоводов были намного более выгодными, но сегодня в ЮАР ни бушменского, ни готтентотского населения не осталось: их начали теснить сначала появившиеся там пару с небольшим тысяч лет тому назад племена банту, а на-

чиная с XVII века работу по успешной декойсанзации юга Африки продолжили голландцы, затем англичане, немцы и т. п. Сегодня «в естественной среде обитания» бушменов можно встретить, пожалуй, лишь все в той же Намибии, а также в Ботсване и в отдельных пограничных районах Замбии, Зимбабве и Анголы. Причем чем менее привлекательны климатические и экологические условия той или иной территории, тем больше вероятность, что бушмены окажутся именно там — ситуация, увы, более чем типичная и для других районов мира, населенных первобытными племенами (Австралия, Южная Америка, Юго-Восточная Азия).

Сам термин «койсаны» составной: *кой* (*кхой*, *Khoe*) — это самоназвание готтентотов на языке нама (собственно говоря, слово *кхой* значит просто ‘человек’), а *сан* (нама *са*) — общий термин, обозначающий бушменов все на тех же готтентотских языках (у самих бушменов единого слова, которым можно было бы обозначить все бушменские племена, просто нет). Термин впервые предложил в 1930-е годы известнейший антрополог И. Шапера¹, а Гринберг впоследствии позаимствовал его и для обозначения соответствующей языковой макросемьи.

Сегодня живых койсанских языков осталось, по-видимому, не более 15–20, как всегда, в зависимости от того, где проводить грань между языком и диалектом, а живых носителей — порядка 160 000 готтентотов (нама и остальные племена) и, наверное, не более 50 000 бушменов. Еще в первой половине XX века бушменских языков было намного больше, чем сегодня: лингвисты, этнографы, миссионеры, работавшие в Африке в колониальный период, успели описать около десятка наречий, которые сегодня твердо расцениваются как вымершие. К превеликому сожалению, из-за чрезвычайной сложности и «экзотичности» койсанских языков описания эти, как правило, были очень приблизительными и содержали массу ошибок — по-настоящему качественно бушменский материал лингвисты научились записывать лишь начиная с 1980-х годов, а к этому времени многие бесценные для истории языки уже исчезли безвозвратно.

¹ Ему, в частности, принадлежит авторство классического, до сих пор не утратившего актуальность труда по койсанской этнографии: *Schapera Isaac. The Khoisan Peoples of South Africa*. London: Routledge, 1930.

А в чем конкретно заключается эта сложность и экзотичность? Койсанские языки обладают какими-то уникальными свойствами?

Г. С.: Да, и еще какими! Когда европейцы в XVI веке впервые услышали речь готтентотов и бушменов, они презрительно отзывались о ней как о чем-то среднем между человеческим языком и обезьяньими переключками — дикари и есть дикари, что с них возьмешь. Потом, когда начались серьезные исследования, оказалось, что все эти языки на самом деле обладают богатейшей и сложнейшей звуковой структурой, эксплуатирующей возможности человеческого речевого аппарата в таких масштабах, в каких среднестатистическому европейскому языку и не снилось. Если грамматика (точнее, морфология) произвольно взятого койсанского языка будет, скорее всего, относительно простой, то по степени зубодробительности своего фонетического устройства эти языки, наверное, абсолютные рекордсмены в масштабах планеты. По общему количеству фонем (то есть звуков как минимальных смыслоразличительных единиц) к ним, наверное, могут приблизиться некоторые языки Северной Америки или Северного Кавказа, но только в койсанских языках есть целая абсолютно уникальная категория звуков — так называемых щелчковых согласных, или кликсов (англ. *clicks*).

«Щелчки» — это особый тип артикуляции, когда согласный произносится не на выдохе, как это обычно бывает, а, наоборот, на вдохе: язык образует в ротовой полости две преграды, одну в задней части неба, другую — в передней, и при последовательном размыкании сначала передней, а потом задней смычки образуется такой специальный «всасывающе-щелкающий» слуховой эффект. Эти звуки не то чтобы нам совсем не были известны: мы их регулярно слышим и даже произносим, но в основном в экспрессивных целях. Например, «звук поцелуя» — это губной кликс (обозначается специальным значком ʘ), он в койсанских языках встречается редко, но там, где встречается, никакой экспрессивной функции не имеет, а просто является составной частью обычных слов. Как в языке кхонг¹: *Oaye* ‘мясо’, *Oan* ‘спать’, *mOaye* ‘дерево’ и т. д.

¹ В названиях койсанских языков мы используем специальную кириллическую транслитерацию кликсов — так, графическое сочетание кь (в западной койсанистике соответствует условному обозначению!) передает так называемый альвеолярный кликс.

Другой тип «кликса» — так называемое цоканье, как английское *tsk-tsk* или русское «всасывающее» *тс-тс-тс*, выражающее смесь неодобрения с сожалением. С точки зрения койсанской фонетики — это не экспрессивное междометие, а обычный звук, который лингвисты называют «дентальным» (то есть «зубным») кликсом и обозначают как |. В том же языке кьхонг, например, 'имя' будет |aun, 'голова' — n|an, 'лук / оружие/' — |habe и т. д.

Всего основных типов таких кликсов, в зависимости от того, где располагается передняя смычка, в каждом конкретном языке бывает не больше четырех-пяти. Но из-за того, что есть еще и задняя смычка, и она может размыкаться по-разному (с голосом, без голоса, с придыханием, с носовой артикуляцией, с глоттализацией и т. п.), каждый кликс оказывается «двух-фокусным», и комбинации переднего и заднего фокуса могут образовывать очень громоздкие системы: все в том же языке кьхонг выделяют как минимум 80 щелчковых фонем, и это не считая обычных, нещелчковых согласных (для сравнения, в русском языке согласных фонем *всего* от 32 до 36, в зависимости от модели описания).

То есть эти замечательные звуки действительно встречаются только у бушменов и готтентотов, и больше ни у кого? Если, кроме них, никто не в состоянии их осилить, не может ли этот факт иметь какие-то очень далеко идущие исторические выводы?

Г. С.: О, этот вопрос до сих пор очень бурно обсуждается, и никакого консенсуса по нему не существует. Основных точек зрения две. Первой придерживаются некоторые макрокомпаративисты-гринбергианцы, такие как, например, Меррит Рулен; к ним, в свою очередь, прислушиваются многие антропологи, этнографы, генетики и представители других смежных дисциплин. Точка зрения такова: поскольку «кликсы» за пределами Южной Африки как фонемы не встречаются нигде, это значит, что вероятность их происхождения из «обычных» звуков человеческой речи столь мала, что они, скорее всего, представляют собой очень глубокий архаизм, восходящий к самым ранним стадиям человеческого языка. То есть тот самый «язык Адама», на котором в Африке говорили первые люди, в ходе дивергенции распался на «пракойсанский» и «пра-не-

койсанский». В пракойсанском кликсы сохранились и даже, может быть, приумножились, а в «пра-не-койсанском» перешли в обычные эксплозивные согласные: очень экономное, кстати, решение, предполагающее, что радикальная утрата щелчковых звуков имела место лишь один раз в одном языке.

Противоположная точка зрения представлена, как правило, узкими специалистами-койсанологами, для которых, поскольку они с этими языками работают на постоянной основе, «кликсы» перестают быть мистической экзотикой и становятся обычной рутинной. Они возражают, что разного рода редких звуков и типов звуков в разных углах мира довольно много, что как-то особо выделять именно «кликсы» и приписывать им чуть ли не сакральные свойства никаких резонансов нет, и что вполне правдоподобен и такой сценарий, когда, скажем, «кликсы» вторично возникают в одном языке в ходе неизвестной нам языковой мутации, а затем уже, так сказать, «инфицируют» собой соседние языки, распространяясь по цепочке.

Что касается внутренней истории самих койсанских языков, то здесь эти две конфликтующие точки зрения переходят в традиционное «ламперство» и «сплиттерство». Гринберг, и вслед за ним Рулен и другие макрокомпаративисты, считают, что «койсанские» — это генетический термин, то есть существовал единый пракойсанский язык, потомками которого являются все ныне живущие и все вымершие «щелчковые» языки бушменов и готтентотов. Скептики с этим не согласны: они считают, что родство всех этих языков не доказано, и что на самом деле все эти языки образуют по меньшей мере три семьи (северно-, южно- и центрально-койсанские), плюс есть еще некоторое количество языков-изолятов, с ними не связанных. Для них «койсанские» — это такой условный ареальный термин, объединяющий «щелчковые» языки по их типологическому, а вовсе не генетическому сходству.

И кто же из них в итоге прав?

Г. С.: В итоге истина, как всегда, лежит посередине (скорее всего). С одной стороны, сплиттеры совершенно правы, утверждая, что «щелчками» могут, так сказать, «заразиться» языки, в которых кликсов изна-

чально не было. Именно это и произошло с некоторыми языками банту, проникшими на юг Африки, — их носители волей-неволей должны были вступать в контакт с местным койсанским населением, заимствовали лексику, в которой были щелчковые звуки, и в конечном итоге даже интегрировали (по довольно сложным правилам) эти звуки в исконно бантуский лексический фонд. Самый известный из таких «щелкающих» бантуских языков — зулусский, но есть и другие (коса, свази, йейи). У знаменитой певицы Мириам Макеба (по матери она — свази, по отцу — коса) есть песня, обработка старой народной песни коса, которая так и называется «The Click Song» — обычно это такая «визитная карточка» щелчкового типа речи для западного человека, интересующегося всякой этнической экзотикой, но ирония в том, что ровно в этой песне, и во всем языке коса, щелчки не «аутентичны», если смотреть в по-настоящему глубокое прошлое. «Настоящую», так сказать, речь щелчкового типа можно услышать только от коренных бушменов, еще владеющих своими языками, а их с каждым днем остается все меньше и меньше.

А откуда мы знаем, что у бушменов кликсы «аутентичны», а в языках банту они заимствованы?

Г. С.: Это как раз очень просто. Даже в чисто типологическом плане, не привлекая исторические аргументы, видно, что в языках банту «щелчки» — на периферии: щелчковых фонем там обычно мало, и в базисной лексике они встречаются редко. Если же подключать историю, то оказывается, что «кликсованная» лексика либо не выводится на уровень прабанту вообще, либо при этом щелчки в ней пропадают (то есть можно показать, что они развились из каких-то хитрых сочетаний согласных и т. п.). Для койсанских языков же это не работает, там кликсы настолько тесно интегрированы в систему, что показать их вторичность (за исключением отдельных конкретных случаев) невозможно.

Однако с банту особенных вопросов не возникает, здесь ситуация довольно ясная, потому что археология однозначно показывает, что на юг Африки банту пришли совсем недавно, максимум полторы-две тысячи лет тому назад, и лингвистические исследования с этим вполне сходятся. Есть случаи гораздо более хитрые. Например, на побережье Кении се-

годня проживает небольшое племя *дахало*, храбрых охотников на слонов — они говорят на языке, который в генетическом плане совершенно точно относится к южнокушитской группе, то есть к афразийской макросемье. При этом в их фонетическом инвентаре, как это ни удивительно, есть парочка кликсов — негусто, да и слова, в которых они присутствуют, немногочисленны и кушитских этимологий не имеют. Очевидно, что и слова, и звуки какое-то время назад попали в дахало из какого-то койсанского источника. Но какого?

Если обратиться к лингвогеографии, то окажется, что дахало со всех сторон окружены либо кушитами же, либо банту. Ближайшие койсанские языки — в Танзании, два крохотных островка, населенных собирателями *хадза* и скотоводами *сандаве*. Это два небольших племени, сами по себе утопающие в море соседей-банту, кушитов и нилотов. Их генетические связи с бушменами и готтентотами Южной Африки толком не выяснены, как глубоко они уходят, пока никто не понимает (я чуть позже еще вернусь к этой проблеме). Прямые заимствования из этих языков в дахало сегодня невозможны в принципе, да и в отдаленном прошлом тоже были бы маловероятны. Остается одна гипотеза — предполагать в этом регионе в отдаленном прошлом существование других, впоследствии вымерших, но когда-то широко распространенных койсанских языков, настолько влиятельных, что конвергировать с ними позволили себе и кушиты, попавшие на территорию Кении.

Такие «реликтовые» следы показывают, что по крайней мере в одном гринбергианцы точно правы — до экспансии банту, кушитов и других племен Центральной и Северной Африки койсанские языки совершенно точно имели гораздо бóльший ареал распространения, чем тот, на котором их в Новое время застали европейцы. А это, в свою очередь, еще глубже продвигает в прошлое эпоху «койсанского единства». Но насколько глубоко — понять сложно; для этого нужно, чтобы все данные, которыми мы сегодня владеем (а это и данные живых языков, и данные вымерших, и субстратные данные в языках банту и в дахало), получилось свести в единый исторический сценарий. Пока что это не удалось, и у меня есть серьезные основания подозревать, что восстановить общий «пракойсанский» язык невозможно. Хотя, кстати говоря, гринбергианцы это восприняли бы как воду на свою мельницу — ведь если праязык легко восстанавли-

ливается, значит, он относительно молодой, а это как раз не укладывается в идею того, что «пракойсаны» первыми отделились от общечеловеческого языкового ствола. А если «пракойсанский» не восстанавливается... в общем, «ламперы»-гринбергианцы бы, скорее всего, сказали, что это из-за того, что он слишком древний, и прийти к нему можно только через «массовое сравнение»; а «сплиттеры», конечно, сказали бы, что это из-за того, что «пракойсанского» никогда и не существовало.

А кто-нибудь сейчас занимается «сведением в единый исторический сценарий»? Как вообще поживает мировая койсанология?

Г. С.: Общая кривая развития здесь такая же, как и во многих других случаях — науку бросает из одного «заноса» в другой: если в конце XIX — начале XX века «бушменское единство» считалось чем-то само собой разумеющимся, то к концу XX века начинает возобладать противоположная тенденция, преувеличивающая и всячески подчеркивающая «бушменское многообразие».

Если вкратце обрисовать историю исследования, то пионером койсанологии был, конечно, выдающийся немецкий исследователь Вильгельм Блек (1827–1875), долгие годы проживший и проработавший в Южной Африке. Ему принадлежат важные работы по языкам и фольклору бушменов, который он лично собирал у информантов — как правило, тюремных заключенных: дело в том, что регулярным занятием бушменов было красть у европейцев-колонистов скот, который для них, не имевших представления о частной собственности, по сути ничем не отличался от тех же диких антилоп. Иногда заключенных отпускали «на поруки», и отдельные бушмены подолгу жили у Вильгельма дома, где он со своей свояченицей Люси Ллойд записывал от них информацию.

После смерти Вильгельма работу продолжила его дочь, Доротея Блек, которая успела описать еще большее количество бушменских языков, — собственно, именно она составила первый большой сопоставительный словарь бушменских языков (опубликованный уже посмертно)¹,

¹ *Bleek Dorothea F. A Bushman Dictionary*. New Haven, 1956. В этот гигантский компендиум вошли языковые данные, как собранные лично Д. Блек, так и скопированные из всех известных на тот момент опубликованных источников. Несмотря на прискорбно низкое качество транскрипции, для многих койсанских языков этот словарь навсегда останется единственным источником данных.

и она же перешла от «домашнего интервьюирования» бушменских гостей к полноценным полевым исследованиям, так что в плане чисто лингвистических заслуг она, пожалуй, превзошла своего отца, хотя разработать адекватную методiku описания сложнейших звуковых систем бушменских языков и их грамматики ей так и не удалось. Вопросом того, восходят ли все эти языки к единому предку или нет, ни Блеек-отец, ни Блеек-дочь особенно не занимались — думаю, что для них сам факт того, что все эти языки так похожи друг на друга, уже был достаточным свидетельством такого единства, хотя Доротея Блеек внесла значительный вклад во внутреннюю классификацию койсанских языков, поделив их все на три основные группы (северные, южные и центральные).

Гринберг, опираясь в основном на данные Блееков по бушменским языкам и данные других исследователей по готтентотским языкам, впервые эксплицитно озвучил идею единой койсанской макросемьи и привел в ее поддержку лексический и грамматический материал, накопленный им в рамках «массового сравнения». Но по мере того как совершенствовалась методика описания и появлялись все более современные и подробные описания койсанских языков (а сами языки, увы, тем временем активно вымирали), обнаружилась странная вещь — с точки зрения устройства своей фонетической системы койсанские языки, действительно, все очень похожи друг на друга и очень сильно отличаются от всех остальных языков, но конкретные *морфемы* этих языков свести к единому первоисточнику не получается. То есть кирпичики одни и те же, а вот конструкции, которые из них складываются, в северных языках одни, в южных — другие, в центральных — третьи. Получается, что мы видим *типологическое*, а не *историческое* сходство, и, значит, можно говорить о «койсанском» языковом типе или языковом союзе, а о «койсанской» языковой *семье* говорить трудно.

А как же материалы Гринберга? Он ведь сравнивал между собой конкретные слова, а не общие звуковые системы?

Г. С.: Сравнивал, но не устанавливал соответствия. Как и во многих других случаях, сопоставления Гринберга — это гремучая смесь из языковых ошибок (многие формы, которые он цитирует, взяты из недо-

верных источников и на поверку оказались «фантомами»), случайных сходств, межязыковых заимствований, которые он еще не был в состоянии отличить от следов родства, и, возможно, *некоторых* реальных этимологических схождений, надежно обосновать которые очень трудно.

Конкретные примеры я приводить не стану, потому что запутаться в хитросплетениях «щелкающей» лексики без предварительной подготовки очень легко — примеров как на ошибочные, так и на потенциально верные этимологии хватает в моей монографии по языкам Африки, первый том которой как раз посвящен койсанской проблеме¹. Скажу лишь в двух словах, что сегодня мы в проблеме разбираемся намного лучше, чем сто лет назад, и имеющихся описаний и накопленного методологического опыта уже достаточно хотя бы для того, чтобы понимать, какие койсанские языки за последние две-три тысячи лет влияли на какие другие, и, таким образом, отличать явные конвергентные сходства от тех, что можно положить в копилку «потенциально генетических».

Начинают четче, чем раньше, выступать контуры нескольких больших «койсанских» семей — в частности, можно говорить о «периферийно-койсанском» (южно-северном) единстве, представленном исключительно бушменскими языками (племена жу, кьхонг и другие) и противопоставленном «центрально-койсанскому», сконцентрированному вокруг языков готтентотов, но включающем в себя и ряд бушменских языков Ботсваны (наро, кхой и др.). Периферийные койсаны представляют более старый лингвистический слой Южной Африки, центральные — более новый, возможно, связанный с первыми миграциями на территорию Южной Африки скотоводческих племен, говоривших на смеси нигер-конголезских и африкаанских языков, но смешавшихся с местным бушменским населением и частично ассимилировавшимися.

И когда же протекали все эти процессы?

Г. С.: Опять-таки здесь очень важно понимать, о чем мы говорим, когда речь заходит о датах. Бушменское присутствие в Южной Африке может быть сколь угодно древним (археологические следы *Homo sapiens*

¹ *Старостин Г. С.* Языки Африки: Опыт построения лексикостатистической классификации. Т. I: Методология. Койсанские языки. М.: Языки славянских культур, 2013.

легко датируются сотней тысяч лет и даже больше), но глоттохронологический возраст «периферийно-койсанской» семьи, то есть «старого» слоя койсанских языков, я оцениваю по своим данным не более чем в семь-восемь тысяч лет максимум (если бы он был больше, ни о каком научно распознаваемом периферийно-койсанском единстве вообще нельзя было бы говорить). Если эта оценка верна, из нее следуют очень важные импликации. Ведь охотники-собиратели живут в Южной Африке много десятков тысяч лет — и тем не менее вдруг оказывается, что большинство коренных бушменов имеют общего языкового предка, которому меньше *одного* десятка! Это может означать лишь одно: что и среди палеолитического населения может складываться ситуация, когда племя, а то и несколько племен сразу, в силу каких-то обстоятельств переходят на язык соседа.

«И среди палеолитического населения» — то есть обычно естественной считается только ситуация, когда собиратели переходят на язык своих продвинутых соседей-земледельцев?

Г.С.: С точки зрения, так сказать, языкового здравого смысла обычно считается, что сменить свой родной язык на язык твоего соседа можно только тогда, когда язык соседа — «престижнее», то есть не просто владение им, а владение им в качестве *основного* кода общения предоставляет тебе какие-то очевидные преимущества. Почему галлы перешли на латинский язык, или жители «варварских» царств Древнего Китая на китайский, более или менее понятно, а вот зачем было одним бушменам переходить на язык других бушменов, остается загадкой, получить эксплицитный ответ на которую трудно. Есть основания предполагать, что ситуация эта не уникальна: что-то похожее наверняка имело место и в Австралии, где языкового разнообразия сильно меньше, чем ожидалось бы за 50 000 лет дивергенции. Но понять ее механизм пока не удастся, тем более что экспериментально здесь ничего не подтвердить: слишком мало мы знаем о том, как устроена межплеменная коммуникация между охотниками-собирателями.

Теперь о перспективах доказательства «общекойсанского» генетического единства и, в связке с этим, о перспективах реконструкции «пракойсанского». Здесь ситуация такая. Есть «периферийные» бушмены,

есть очень похожие на них типологически «центральные» бушмены и готтентоты, и есть, наконец, койсанские языки Танзании — вышеупомянутые сандаве и хадза. Со всеми этими таксонами долго и упорно возилась сначала замечательная специалистка по койсанологии Бонни Сэндс¹, потом столь же долго и упорно возился (и продолжает возиться до сих пор) ваш покорный слуга. Выводы обоих, хотя работа и шла совершенно независимо и опиралась на очень разную методологию, скорее неутешительны. Мои, может быть, чуть оптимистичнее — комплексный этимолого-лексикостатистический анализ показывает, что:

- (а) «периферия» и «центр» могут быть связаны глубоким родством (есть параллели в местоименных системах, отдельные перспективные схождения в базисной лексике), на которое впоследствии наложились контакты «центра» с совершенно иного происхождения языками, проникшими с севера вместе со скотоводством и земледелием (банту и афразийскими);
- (б) язык сандаве обнаруживает тесные связи с «центром», но не с «периферией» — это сильно усложняет реконструкцию путей бушмено-готтентотских миграций, но в целом подтверждает общую идею о том, что «центр» примерно десять тысяч лет назад вклинился с севера в «периферию»;
- (в) а вот язык хадза, наоборот, несмотря на обильную представленность в нем «щелчковой» лексики, почти никаких морфемных сходств ни с сандаве, ни с «центром», ни с «периферией» не имеет. Похоже, что носители этого языка прошли через тот же сценарий, что и дахало — когда-то говорили на койсанском наречии, потом перешли на чужой язык, но сохранили большой пласт старой лексики. *Чей язык, правда, остается загадкой.*

Но если «центр», «периферия» и сандаве связаны, а хадза прямого отношения к койсанским языкам вообще не имеет, значит, общий предок всех (или почти всех) «щелчковых» языков все-таки существо-

¹ Ей, в частности, принадлежит общее введение в «койсанскую проблематику» и различные подходы к статистическому анализу сравнительных данных по разным койсанским группам: *Sands Bonny. Eastern and Southern African Khoisan. Evaluating Claims of Distant Linguistic Relationships.* Köln: Rüdiger Köppe, 1998.

вал? И если существовал, то как он соотносится с остальными языками Африки и мира? На этот вопрос как-то можно ответить?

Г. С.: Боюсь, что нельзя. Как я уже сказал, связать «центр» с «периферией» очень трудно. Есть много поверхностных сходств, которые только мешают работать, потому что на поверку они оказываются недавними заимствованиями, а «глубинные» лексические сходства пока что не удается описать в терминах регулярных фонетических соответствий. Но даже если что-то получится сделать, опять-таки мы продвигаемся самое большее на восемь-десять тысяч лет в южноафриканское прошлое. Что там было до того — никто не знает и вряд ли когда-нибудь узнает. Каким бы богатым ни было разнообразие бушменских языков, скажем, в XX тысячелетии до н. э., от него ничего не осталось. Одни перешли на языки соседей, другие — на языки «завоевателей», третьи, может быть, просто вымерли физически. Поскольку численность отдельных бушменских племен никогда не могла быть высокой, все это совершенно не удивительно. По самым оптимистичным прогнозам, в ближайшие 50–100 лет окончательно ассимилируются даже те жалкие остатки, которые мы наблюдаем сегодня.

Что касается попытки как-то соотнести койсанские языки с «некойсанскими» — тут тоже все сложно. Главное препятствие в любых сопоставлениях такого рода — это вопрос о «щелчковой» фонетике и о том, как она соотносится с «обычной» фонетикой. Допустим, мы обнаруживаем какой-то доселе неизвестный язык и пытаемся понять, каково его место на локальном генеалогическом древе. Если слова этого языка состоят из естественных для нас звуков, с которыми мы много работали при изучении других языковых семей, это само по себе дает какую-то почву под ногами. Вот в этом языке слово *ti*, и оно значит 'дерево'; мы смотрим на соседние языковые семьи, нет ли там такого же 'дерева' вида *ti*, *te*, *de*, *di* (потому что озвончение / оглушение — очень частотные виды фонетических изменений), в крайнем случае, *tsi* или *tse* (смягчение — тоже очень естественный процесс). Если где-то есть, мы получаем первую «зацепку», отталкиваясь от которой, можно уже от уровня звукового сходства пытаться перейти к уровню регулярных звуковых соответствий.

А как быть, если 'дереву' на исследуемом тобой языке будет не *ti*, а, например, *!aing*, где «восклицательный знак» — это совсем даже не восклицательный знак, а особый вид «кликса», так называемый альвеолярный, похожий на цоканье, которым мы имитируем стук лошадиных копыт? С чем сравнивать «цоканье» — с заднеязычными согласными типа *k*, *g*, с аффрикатами *ts*, *dz*, или, может быть, с какими-нибудь сочетаниями согласных? Для того чтобы определиться, нужно тщательно изучить типологию диахронических изменений «кликсов», понять, как они ведут себя в самих койсанских языках. Не возникают ли они в каких-то случаях из «обычных» согласных? Или, наоборот, не переходят ли в обычные согласные? Как они воспринимаются некойсаноязычными носителями в заимствованных словах? Эти и другие вопросы требуют обязательного решения, прежде чем мы станем сравнивать койсанские языки с некойсанскими, а занимаются ими во всем мире от силы два-три человека.

Но какой-то прогресс есть?

Г. С.: Да, по крайней мере мы понимаем, что сейчас во многих бушменских языках разворачивается очевидная тенденция к *упрощению* щелчковых систем. Например, во многих языках бушменов Восточной Калахари (это «центральная» семья) из четырех основных типов кликсов осталось лишь два. При этом так называемый *палатальный* тип артикуляции, обозначаемый в транслитерации значком †, заменился обычными аффрикатами (*ч*, *дж* и т. п.). Скажем, старое *n†u* 'черный' стало *ndžu* или просто *džu*, старое †*xai* 'глаз' стало *čxai* и т. п. Судя по общей хронологии истории центральной семьи, этот переход произошел совсем недавно, но для историка, интересующегося глубоким прошлым, это наблюдение чрезвычайно важно — оно показывает, что палатальные кликсы в перцепции носителя располагаются близко именно к аффрикатам, а не к заднеязычным или денальным согласным.

Или, наоборот, в готтентотском языке нама относительно недавно имел место случай новообразования кликса — вместо старой глоттализованной аффрикаты *ts'* там стал произноситься переднеязычный кликс *!kx* (**ts'ani* 'дым' стало *!kxani* и т. п.). Тоже вроде бы мелочь, но очень важная. Во-первых, она доказывает сам факт того, что «щелчки» могут

в определенных условиях развиться из «обычных», нещелчковых согласных. Во-вторых, конкретно про переднеязычный кликс становится ясно, что он перцептивно и артикуляторно соотносится с передними аффрикатами вида *тс*, *дз*. Значит, опять же появляется «зацепка», с чем в принципе слова с такими кликсами можно сопоставлять за пределами койсанских языков.

И получается сопоставлять?

Г. С.: Нет, не получается. Было несколько попыток «лобового» сравнения койсанской лексики с соседними нигер-конголезскими языками, все окончилось плачевно — за исключением очевидных недавних заимствований, большинство сравнений не выходит за ожидаемые пределы случайных совпадений. Это, с одной стороны, льет воду на мельницу тех, кто считает, что койсаны — первая ветвь, отделившаяся от праязыка человечества, сто или еще более тысяч лет тому назад. С другой стороны, даже если бы они от чего-нибудь отделились, скажем, тысяч двадцать-тридцать лет тому назад, результаты были бы столь же плачевными: этого срока тоже вполне достаточно для того, чтобы фонетически и лексически измениться до неузнаваемости.

Конечно, у исторической койсанологии пока остаются большие перспективы. Можно работать над «периферийной» и «центральной» реконструкциями, данных для этого достаточно (хотя отдельная проблема — это анализ, верификация и фильтрация данных по вымершим языкам, записанных подручными средствами в конце XIX и первой половине XX века; вот это, пожалуй, задача, сопоставимая по сложности и тонкости с ручной реставрацией каких-нибудь старых фресок!). Можно и нужно проводить детальное и дотошное историческое обследование «центра» (готтентотов и ботсванских бушменов), где явно намешано несколько субстратных пластов — как минимум нигер-конголезский и афразийский — и, если удастся отделить эти «шумы» от старой койсанской лексики, далее сопоставлять ее с «периферией». Предсказать результаты всей этой работы невозможно; очень вероятно, что она еще многое перевернет в наших текущих представлениях о предыстории Африки, об этногенезе бушменов и готтентотов, об особенностях языковой трансмиссии в палеолитическом

обществе и так далее. Но удастся ли от бушменов и готтентотов получить заветный ключик к разгадке чего-то большего — пока что я в этом сильно сомневаюсь. Для этого как минимум надо было бы, чтобы в Южной и Центральной Африке разных «койсанских» семей для лингвистического анализа осталось не две-три, а хотя бы штук десять.

А, скажем, языки пигмеев Центральной Африки? Они, наверное, тоже должны быть как-то связаны с койсанами?

Г. С.: В языковом плане — не имеют к ним ни малейшего отношения. По своей генетике пигмеи Центральной Африки (ака, бака, мбути и ряд других племен), действительно, обнаруживают некоторую близость к койсанам хотя бы в том, что согласно текущей классификации после бушменов они следующими отделились от «общечеловеческого» ствола, примерно 60 000 лет тому назад. Но что касается языка, то все исследованные на сегодняшний день пигмейские племена говорят на языках, связанных близким родством с нигер-конголезскими или нило-сахарскими языками их соседей, а это значит, что относительно недавно они просто перешли на местные «престижные» наречия. Правда, в лексиконе пигмеев остается значительный процент культурной лексики (в основном — названий растений и животных), явно не унаследованной от языков соседей. Но никаких щелчковых согласных в этой лексике нет, и связать ее с койсанской терминологией ни у кого пока не получилось. Так что с пигмеями дело обстоит еще намного досаднее, чем с койсанами.

Но, конечно, секретами бушменов и пигмеев языковые тайны Африки не ограничиваются — собственно говоря, мы еще даже не начали говорить об основных языковых массивах этого континента, за исключением афразийского. Два других массива — это языковые конгломераты, возможно, «макросемьи», которые Гринберг в своей классификации условно обозначил как «нигер-кордофанские» и «нило-сахарские». «Нигер-кордофанская» макросемья, правда, в литературе чаще называется «нигер-конголезской» (Niger-Congo)¹, по названиям двух крупнейших рек Западной

¹ Например, в крупнейшей на сегодня коллективной обзорной монографии, посвященной описанию внутренней структуры этой макросемьи и особенностям ее отдельных языковых составляющих: *Bendor-Samuel John* (ed.). *The Niger-Congo Languages. A classification and description of Africa's largest language family.* Lanham/New York/London, 1989.

и Центральной Африки, вокруг которых кучкуется максимальное языковое разнообразие этой семьи. Гринберг изначально использовал именно этот термин, но затем решил, что чуть более дальним родственником нигер-конголезских языков является также небольшая *кордофанская* семья в Южном Судане, и поменял название на «нигер-кордофанский», чтобы точнее отражать географическую дистрибуцию. Но поскольку большинство африканистов либо ставит нигер-кордофанское родство под сомнение, либо не считает, что маленькой кордофанской веточке следует отдавать такое терминологическое преимущество, в обиходе обычно остается просто «нигер-конго».

Так вот, нигер-конголезская макросемья — это не только самая большая языковая семья Африки; это, пожалуй, самая большая языковая семья в мире, в которую, по самым скромным подсчетам, входит более тысячи языков, а может быть, и более полутора тысяч. (Серьезную конкуренцию ей может составить разве что австронезийская семья в Тихоокеанском регионе.) «Нигер-конго» — это практически все языки тропической Африки, почти все языки западного побережья Африки и весь юг континента. Внутри этого колоссального ареала попадаются редкие вкрапления нило-сахарских, афразийских и, на юге, койсанских языков, но по сути это один непрерывный континуум.

«Костяк» макросемьи нигер-конго образует гигантская семья бенуэ-конго (Бенуэ — один из основных притоков реки Нигер, вдоль которой располагаются, одна за другой, многие из ветвей этой семьи), а внутри бенуэ-конго крупнейшим таксономическим подразделением является ветвь банту, с рассказа о которой мы и начали нашу текущую беседу. По версии каталога «Этнолог», даже без учета примерно пяти-сот языков банту в составе бенуэ-конго остается еще примерно столько же языков, причем самая большая концентрация разных подгрупп и языков/диалектов на квадратный километр приходится на Южную Нигерию, где чуть ли не каждый населенный пункт имеет собственный язык. Предполагается, что именно оттуда, из бассейнов Нигера и Бенуэ, и началось победоносное шествие банту как «флагмана» бенуэ-конголезцев по Центральной и Южной Африке, тысяч пять-шесть лет тому назад.

А в чем может заключаться специфика именно этого района? Почему такое разнообразие именно в Нигерии, а не где-нибудь в Чаде или Эфиопии?

Г. С.: И в Чаде, и в Эфиопии, на самом деле, тоже очень большое разнообразие, но суть в том, что больше всего языков обычно наблюдается там, где (а) особо благоприятные условия для жизни и (б) долгое время не было языковой унификации. В Северной Африке языковое разнообразие было относительно недавно «вычищено» арабизацией, в Центральной и Южной — бантуизацией. А западному побережью континента, вплоть до Нигерии и Камеруна, посчастливилось остаться в большой степени незатронутым миграционными и культурными процессами последних двух-трех тысяч лет.

Но при этом, несмотря на столь колоссальное число языков, взаимное родство их между собой довольно очевидно. Базисная лексика, грамматические системы, звуковые инвентари языков бенуэ-конго — общее происхождение всех этих уровней языков бенуэ-конго бросалось в глаза уже лингвистам конца XIX — начала XX века. Единственная причина, почему до сих пор остается неизданным качественный общий этимологический словарь бенуэ-конго, — чисто техническая: языков так много, что один человек не в силах поднять весь материал, а большую, четко слаженную команду африканистам пока собрать не удалось (и в ближайшее время, увы, вряд ли удастся). Зато есть довольно подробная реконструкция прабанту (выполненная М. Гасри еще в первой половине XX века), и в целом, поскольку языки банту характеризуются высокой степенью архаичности, она до какой-то степени может подменять собой реконструкцию более высокого уровня, то есть прабенуэ-конголезскую.

Гораздо сложнее ситуация с многочисленными другими, как правило, более мелкими группами, которые Гринберг также включил в состав нигер-конголезской макросемьи. Это в первую очередь языки западно-африканского побережья — *атлантическая* семья (куда входят такие крупные языки, как волоф и фула), семья *манде* (крупнейший представитель — бамана), семьи *гур*, *ква*, *кру*, *догон* и ряд еще более мелких таксонов. Ближе к сердцу Африки расположен массивный анклав языков *адамава* и *убанги* (Гринберг считал их одной семьей, сегодня в этом никакой

уверенности нет), а еще дальше, в горах Южного Судана, сидят упоминавшиеся выше *кордофанские* языки.

С большинством этих семей складывается очень странная ситуация: большинство африканистов, испытывающих симпатии к нигер-конголезской гипотезе, склоняются к тому, что все или почти все представители этих семей все-таки входят в нигер-конго, но при этом не уверены в существовании... самих этих семей! Например, совсем недавно были опубликованы лексикостатистические подсчеты по «атлантической» семье, которые провели наши коллеги-африканисты Г. Сежерер и К. Поздняков — оказалось, что между северной и южной ветвями этой «семьи» в среднем что-то вроде пяти-шести процентов совпадений. Примерно столько же, наверное, обнаруживается между современными русским и финским, то есть это фактически «ностратический» уровень родства, который может доходить и до десятого, и до двенадцатого тысячелетия до нашей эры. Получается, что хронологически «праатлантический» отличить от «пранигер-конголезского» фактически не удается.

А как такое возможно? Не могут же в макросемью входить в качестве составных компонентов семьи, которые сами по себе оказываются макросемьями?

Г. С.: Не могут, конечно. Здесь две возможности, каждую из которых африканистике (и в том числе лично мне, в ходе моего обзорного исследования по африканской классификации) еще только предстоит как следует протестировать. Первая — Гринберг просто «поторопился», слишком поспешно и прикидочно раскидал языки по клеточкам, населив различные африканские семьи в том числе и такими языками, которые в них никак не входят, а просто живут где-то по соседству и, может быть, изредка перебрасываются контактной лексикой. Если так, то все эти языки следует опознать и переклассифицировать. Может быть, какие-то из них на самом деле относятся к гораздо более древнему пласту, чем нигер-конголезский — то есть являются «реликтовыми» наречиями, оставшимися еще от эпохи, предшествовавшей нигер-конголезской экспансии.

Вторая возможность чуть менее романтична — допустимо, что нигер-конголезская семья просто состоит из несколько большего числа

первичных ветвей, то есть эпоха ее первичного распада носила существенно более бурный характер, чем это предполагает модель Гринберга. Но чтобы это доказать, тоже нужно еще очень много работать над этимологизацией материала и лексикостатистической обработкой данных.

Конечно, встает вопрос — а что, собственно, придавало Гринбергу такую уверенность? Каким бы гениальным лингвистом он ни был, трудно поверить в то, что каждый из полутора тысяч языков, составляющих нигер-конго семью, он лично мог подвергнуть детальной, дотошной проверке, даже если работал по 24 часа в сутки. На самом деле серьезным подспорьем для него было наличие в большинстве языков нигер-конго очень специфических диагностических маркеров — *систем именных классов*.

Подробно останавливаться на природе и типах именных классов в языках мира я не могу, это вопрос скорее общей теории грамматики, но в самом общем виде грамматическая категория «класса» — это примерно то же самое, что в русском и других индоевропейских языках категория «рода», но только в существенно более сложном виде. «Род» замешан в первую очередь на половой характеристике и поэтому может быть либо мужским, либо женским, либо нейтральным (средним). На самом деле эта характеристика очень условна — и в русском, и в любом другом языке реальное распределение существительных по родам чрезвычайно условно и зависит от сложных исторических перипетий (классические вопросы — «почему *стул* мужского рода, а *скамейка* женского?» и т. п. — не имеют ответа, если не обращаться к истории языка, иногда очень глубокой). Во многом этот «родовой хаос» связан с тем, что «род» в тех языках, где он есть, — это, скорее всего, пережиток более сложной, более древней, но при этом более логичной системы, когда таких «родов» было намного больше, и маркировали они не «пол» объекта, а ту или иную его конкретную характеристику. Одушевленность/неодушевленность, абстрактность/конкретность, длину, размер, плотность, сходство с каким-то другим объектом и т. д.

Такого рода системы именных классов, когда каждое существительное относится к какому-то конкретному классу и это, в свою очередь, влияет на его грамматические свойства, возможно, когда-то были нормой для всех или большинства человеческих языков. Но сегодня их локализация скорее «точечная». Кое-где они попадаются в языках Ав-

стралии, Папуасии, очень редко — в Америке, хорошим репозиторием классовых систем оказался также Северный Кавказ, но единственный ареал, где они представлены по-настоящему массово, — это Африка, и главным «носителем» именных классов оказываются именно языки нигер-конголезской макросемьи.

Чтобы посмотреть, как они в ней устроены, достаточно открыть на первых страницах любой учебник по суахили. ‘Человек’ на этом языке будет *mtu*, во мн. ч. — *watu*; ‘ребенок’ — *mtoto*, во мн. ч. *watoto*. В обеих парадигмах представлен в ед. ч. префикс *m-*, во мн. ч. — префикс *wa-*, обозначающие объекты 1-го класса, то есть «людей». Другие классы («деревьев», «животных», «артефактов» и т. д.) будут, соответственно, требовать присоединения других префиксов и т. д.

Именные классы суахили хорошо соответствуют другим именным классам в языках банту, так что уже Гасри надежно реконструировал систему классовых префиксов для прабанту. Дальше оказывается, что аналогичные и вполне совместимые, то есть выводимые на еще более глубокий уровень, системы есть и в других языках бенуэ-конго, а еще дальше оказывается, что именные классы раскиданы по всей Западной Африке и доходят аж до Кордофана.

Неудивительно, что хитро устроенная префиксальная система именных классов стала своего рода визитной карточкой языков нигер-конго. Важно даже не то, что в большинстве этих языков именные классы маркируются именно префиксами (кое-где, например, в языках гур и др., показатели класса попадают, наоборот, в конец словоформы), а то, что они обнаруживают многочисленные сегментные сходства или соответствия. Например, в нигер-конго основным префиксом «класса жидкостей» (‘вода’ и другие жидкие субстанции) является морфема **ma-*, а в кордофанских языках — морфема **ng-*; можно показать, что они друг другу регулярно соответствуют и, таким образом, отражают единую пранигер-кордофанскую грамматическую морфему. Для растений восстанавливается пранигер-конго классовый показатель **ki*, для парных объектов — **li*, другие морфемы восстанавливаются с разной степенью вероятности, но все это имеет под собой вполне реалистичную подоплеку.

Разумеется, ни Гринберг, ни последующие поколения африканистов не останавливались на одних только показателях именных классов, а изо

всех сил пополняли доказательную базу нигер-конго многочисленными лексическими сопоставлениями. К слову сказать, несколько ветвей нигер-конголезской семьи именных классов не имеют вообще — например, языки манде и догон; но количество лексических изоглосс между ними и прочими ветвями макросемьи столь велико, что «членство» их в составе нигер-конго обычно принимается по умолчанию, хотя иногда и оспаривается. «Диагностических корней», по наличию или отсутствию которых можно понять, претендует ли анализируемый язык на вхождение в нигер-конго или нет, накоплено немало — для этой макросемьи даже удастся надежно восстановить несколько числительных, что вообще большая редкость на таких хронологических уровнях (**di* 'два', **tat* 'три', **na* 'четыре', хотя соответствия между языками-потомками скорее приблизительны, так что звуковой облик этих реконструкций еще будет уточняться).

Очень важны парадигматические сходства в области систем личных местоимений — этим вопросом подробно занимался наш коллега Кирилл Бабаев, опубликовавший большое исследование, где ему удалось предложить пути реконструкции пранигер-конголезских личных местоимений¹. Основная парадигма вида 'я' / 'ты' — а она, если вспомнить, выступает у нас как один из главных «генетических маркеров» на уровне макросемьи — им для пранигер-конго восстанавливается как **mi* 'я' / **wi* 'ты'. Забавно, что это как если бы мы взяли 1-е л. от ностратических языков (**M*) и добавили к нему 2-е л. от сино-кавказских (**W*)! Что еще раз доказывает простую комбинаторную истину — *единичные* морфемы сами по себе ничего не значат, но уже даже простейшие бинарные комбинации с гораздо большей вероятностью однозначно маркируют семью и даже макросемью (конечно, бывают и исключения).

А возраст нигер-конголезской семьи оценить можно?

Г. С.: Пока что я бы скорее воздержался от четких датировок — детальной лексикостатистики, даже основанной на приблизительных этимологических сопоставлениях, еще никто не проводил. Мы обычно

¹ *Бабаев К. В.* Нигеро-конголезский праязык. Личные местоимения. М.: Языки славянской культуры, 2013.

говорим о нигер-конго как о «макросемье», то есть подразумеваем, что она как минимум древнее индоевропейской (шесть тысяч лет). С другой стороны, если для нее действительно удастся восстановить какие-то куски морфологической парадигмы (те же именные классы), это значит, что десять-двенадцать тысяч лет для нее — датировка скорее чрезмерная. Судя по тем данным, с которыми я знаком, скорее речь должна идти о чем-то среднем. Неслучаен и тот факт, что, хотя этимологического словаря пранигер-конго языка пока в природе нет, среди африканистов настрой на будущее скорее позитивный, и в саму по себе «идею нигер-конго» западные специалисты верят гораздо бодрее, чем, скажем, в «ностратическую» идею. Последние несколько лет, в частности, функционирует крупный международный проект, к запуску которого приложил руку все тот же Кирилл Бабаев, по нигер-конголезской реконструкции — в 2012 году был проведен большой конгресс, участники которого договорились в рамках единого стандарта работать над достижением общего результата. Пока что речь идет о доработке конкретных реконструкций по отдельным ветвям нигер-конго, но думаю, что через несколько лет можно будет уже думать о том, каким образом все эти реконструкции сводить к единому общему знаменателю.

И тем не менее все трудности, связанные с определением границ и праязыковой реконструкцией макросемьи нигер-конго, меркнут по сравнению со сложностью последнего из вопросов, которые Гринберг нам оставил по Африке, — *нило-сахарского*.

По количеству включенных в нило-сахарскую макросемью языков и их (сегодняшних) носителей она серьезно уступает нигер-конголезской: примерно 200–250 языков, довольно компактно сконцентрированных на полосе, растянувшейся от Южного Судана через Западную Эфиопию и вплоть до Кении и Уганды, хотя собственно «сахарская» ветвь уходит на запад (от Чада до Северной Нигерии), а сонгайская ветвь вообще оказалась на территории современного Мали. Такая географическая дистрибуция, а также очень большое число отдельных ветвей, из которых состоит нило-сахарский конгломерат, наводит на очевидные рассуждения — перед нами сверхдревняя макросемья; когда-то она занимала весь север и северо-восток Африки, но затем начала «отступле-

ние» под натиском высокоразвитых цивилизаций — египетской, эллинистической, римской и, в конце концов, исламской.

Отчасти такой взгляд на этническую и языковую историю, конечно, справедлив, с поправкой на то, что «старых нило-сахарцев» теснили далеко не только перечисленные цивилизации. В западном ареале старое языковое разнообразие было значительно сокращено за счет вторжения чадских племен, в восточном — за счет кушитских; и то и другое, судя по археологическим и глоттохронологическим данным, началось задолго до наступления «письменной» эпохи в Северной Африке.

Но гораздо более сложный вопрос — что, собственно говоря, представляет из себя «нило-сахарская макросемья». Хотя с формальной точки зрения Гринберг строил свою классификацию на лексических и грамматических изоглоссах, «огрубленный» взгляд на вещи показывает, что «койсанские» языки — это языки с щелчковыми согласными, а «нигер-кордофанские» языки — это языки с системой именных классов. «Нило-сахарские» языки, в отличие от этих двух гипотетических макросемей, таких ярких диагностических маркеров не имеют, и отсюда интуитивное ощущение, разделяемое многими африканистами, что «нило-сахарская макросемья» — это такая большая мусорная корзина, в которую Гринберг просто скинул все остатки, то есть все, что не получалось притянуть ни к койсанам, ни к нигер-конго, автоматически становилось «нило-сахарским». Поэтому неудивительно, что в последние десятилетия нило-сахарская гипотеза в научной литературе подпадала под гораздо более мощный шквал критики, чем нигер-кордофанская и даже чем койсанская.

Подозреваю, что единственная причина, по которой научный мейнстрим до сих пор не «зарубил» нило-сахарскую гипотезу в ее гринберговской форме, чисто «персональная» — до своей кончины в 2008 году крупнейшим специалистом по всему нило-сахарскому ареалу оставался Марвин Лайонел Бендер, несомненно, выдающийся, хотя и не безгрешный, лингвист, лично объездивший огромные территории, записавший кипу языковых данных и опубликовавший массу работ по теме, как чисто описательных, так и сравнительных: ему принадлежат, наверное, лучшие работы по нило-сахарской этимологии из всех, с которыми я знаком, хотя и они во многих своих аспектах с трудом выдерживают кри-

тику¹. В плане общественной работы Бендер был одним из инициаторов создания работающего на постоянной основе «Нило-сахарского симпозиума», который раз в несколько лет собирает ведущих специалистов по этим языкам — что, конечно, немало способствовало закреплению в коллективном научном сознании идеи исторической реальности термина «нило-сахарский», даже если никто до сих пор толком не понимает его точного значения.

Правильно ли я понимаю, что, таким образом, гипотеза держится исключительно на авторитете одного-единственного специалиста?

Г. С.: Конечно, не одного-единственного — вопросами нило-сахарского родства в том или ином виде занимались и продолжают заниматься и другие африканисты, например, Кристофер Эрет, о сомнительных стандартах лингвистической работы которого мы уже говорили; Гарольд Флеминг; Клод Рильи, недавно выпустивший очень интересную работу о возможном нило-сахарском происхождении вымершего мероитского языка, известного по ряду древних надписей; можно еще много кого перечислить, но ключевой фигурой все равно остается Бендер. Именно он по-настоящему старался сдвинуть «нило-сахаристику» с мертвой точки, разработать более высокие стандарты сравнения, чем те, которыми руководствовался Гринберг. Получилось не очень — приличных фонетических соответствий между отдельными ветвями он так и не установил, семантические сближения его весьма размыты, сравнение часто остается прикидочным и поверхностным. Но при этом, как мне представляется, любой профессиональный компаративист, ознакомившись с главной монографией Бендера по нило-сахарской гипотезе, должен прийти к выводу, что в каком-то виде нило-сахарская макросемья — это действительно историческая реальность, потому что Бендеру удалось правильно скомпоновать и подать материал.

¹ См., например: *Bender Lionel M. The Nilo-Saharan Languages: A Comparative Essay. München/Newcastle: LINCOM Europa, 1997.* Эта работа в большей степени посвящена попытке этимологического обоснования нило-сахарской гипотезы, чем обзору отдельных ветвей нило-сахарской макросемьи, но при этом позволяет составить некоторое представление о степени масштабности «нило-сахарской проблемы».

Чего не скажешь, пожалуй, об «Этимологическом словаре нило-сахарских языков», который лет десять назад выпустил Эрет¹, — это, к сожалению, работа очень низкого уровня. На поверхности выглядит импозантно (подробное описание фонетических соответствий, внутренней классификации, полторы тысячи «реконструированных» морфем), на самом же деле это псевдословарь, нарушающий все мыслимые и немыслимые стандарты корректной работы этимолога. Основной недостаток — совершенно не проработаны «промежуточные узлы», как если бы мы, например, стремились получить праностратическую реконструкцию, совершенно не разобравшись ни с праиндоевропейской, ни с прауральской, ни с праалтайской.

Получается, что нило-сахарская макросемья существует, но ничего толкового сказать о том, как выглядел праязык, мы не можем?

Г. С.: Существует в каком-то виде, то есть, как и во многих других аналогичных случаях, мы не можем однозначно обрисовать ее границы.

Отталкиваясь от работ Бендера, Рильи и ряда других, а также исходя из собственного опыта лексикостатистического исследования, можно уверенно утверждать, что внутри «нило-сахарского массива» есть как минимум несколько довольно крупных языковых *блоков*, которые совершенно точно связаны генетическим родством.

Крупнейший из таких блоков выделен еще Гринбергом, он в свое время закрепил за ним название *восточносуданского* (East Sudanic). Название условное — на самом деле это очень большая языковая семья, растянувшаяся от юга Египта через Судан, Эфиопию и вплоть до Уганды и Кении. Из языков, которые могут быть хотя бы отдаленно знакомы неспециалисту, к ней принадлежат:

(а) *нубийская* группа, на языках которой говорят жители «Нубии», бывшей когда-то крупнейшим и наиболее исторически значимым южным соседом египетской цивилизации. К ней, в частности, относится *древненубийский* язык, известный по переводам христианских текстов начала II тысячелетия н. э. — эти тексты являются самыми древними

¹ *Ehret Christopher: A Historical-Comparative Reconstruction of Nilo-Saharan. Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 2001.*

письменными памятниками нило-сахарского языка, да и вообще, одним из самых древних письменных памятников на территории Африки, если не считать семитское и египетское наследие;

(б) большая *нилотская* семья, очень разнообразная по составу; нилоты — опытные скотоводы и воины, которые примерно пять-шесть тысяч лет тому назад начали очень бурно расселяться по тем территориям Восточной Африки, которые были особенно пригодны для выпаса скота. В массовом европейском сознании нилоты сумели прославиться и в качестве туристической приманки (племена масаи в Кении, на обряды и наряды которых туристы стекаются со всего света), и, более сомнительным образом, в качестве образцово-показательных «вояк» ареала (например, активное обострение ситуации в Южном Судане в первую очередь связывают с межплеменными конфликтами западнотилотских племен динка и нуэр, сильно недолюбливающих друг друга, несмотря на то, что говорят они на близкородственных языках — картина, увы, хорошо знакомая и во многих других уголках планеты). Еще один крупнейший нилотский язык — это *луо*, или *до-луо*, с многомиллионным представительством в Кении, кстати говоря, родной народ Барака Обамы¹.

Другой крупный блок — *центральносуданский*, тоже несколько условное название, потому что языки этой семьи есть и в Судане, и в Чаде, и в ЦАР, и в Конго; с таким же успехом его можно было бы назвать «центральноафриканским», но на этот статус могли бы претендовать и адамава-убангийские языки нигер-конголезской макросемьи, так что пусть остается как есть. В эту семью входит более полсотни языков, но все они довольно мелкие и известны в основном специалистам-лингвистам и этнографам. (На центральносуданском языке эфе, кстати, говорит одно из конголезских племен пигмеев, хотя это просто результат недавнего перехода на язык соседей.)

Третий блок, не такой крупный по числу входящих в него языков, но представленный, возможно, самым большим числом носителей, — это *сахарская* семья, в основном за счет языка *канури* с его многочисленными диалектами. С VIII по XIX век это был главный язык крупных

¹ Подробный обзор всех составных компонентов восточносуданского «блока», а также этимологический разбор их базисной лексики можно найти в: *Старостин Г.С. Языки Африки. Опыт построения лексикостатистической классификации*. Т. II: Восточносуданские языки. М.: Языки славянской культуры, 2014.

центральноафриканских империй Канем и Борну, сегодня его сфера распространения сократилась за счет конкуренции со стороны чадского языка хауса, но все равно на нем до сих пор говорит около четырех миллионов человек в Чаде, Нигере и Нигерии.

Правосточносуданский, працентральносуданский и прасахарский языки до сих пор качественно не реконструированы, но это скорее вопрос времени. По предварительной лексикостатистике рассчитывается, что возраст их более или менее сопоставим: каждому можно дать от шести до восьми тысяч лет. Все прочие ветви гипотетической «нило-сахарской» макросемьи — это, как правило, языки-изоляты (фур, сонгаи, берта) или маленькие, компактные, не очень глубокие по хронологии группы (маба, команские и др.). Реально получается, что вопрос о правоте Гринберга в первую очередь зависит от того, удастся ли нам надежно показать генетические связи между восточносуданскими, центральносуданскими и сахарскими языками. Ровно над этим вопросом я как раз работаю сейчас.

И как можно оценить перспективы?..

Г. С.: Умеренно. Наиболее архаичный вид из этих трех семей имеет восточносуданская. В ней чаще всего представлены редкие, типологически необычные фонологические противопоставления — например, в нилотских языках на прауровень выводится оппозиция между «дентальными» согласными t_1 , d_1 (как русское *m*) и «альвеолярными» согласными *t*, *d* (как английское *t*). Скажем, в языке нуэр *tang* ‘трубка’ и *ɬang* ‘щека’ — разные слова, отличающиеся лишь «русскообразным» и «англообразным» произнесением начального согласного. Такая ситуация для Африки совсем не типична, но при этом похожие системы обнаружены в Индии (дравидийская семья) и в Тихоокеанском регионе, особенно в Австралии, а это означает, что речь может идти здесь о какой-то очень древней, фундаментальной особенности, может быть, даже более древней, чем «кликсы», и то, что некоторые восточносуданские языки ее сохраняют, показательно.

Центральносуданские языки отличаются от восточных в необычную сторону — там одной из основных структур корня оказывается односложно-моноконсонантная (CV — «согласный + гласный»), в то время

как для восточносуданских языков типична статистически более естественная односложно-биконсонантная модель (CVC). Например, для праязыка центральносуданской ветви мору-мади базисные анатомические термины восстанавливаются следующим образом: **bi* 'ухо', **mi* 'глаз', **ti* 'рот', **si* 'зуб', **di* 'рука', **pa* 'нога', **ya* 'живот' и т. д.! Это очень напоминает ситуацию, которая сложилась на Северном Кавказе — там точно так же «CVC-образные» нахско-дагестанские языки противопоставлены «CV-образным» абхазо-адыгским, из-за чего лингвисты-типологи с большой опаской относятся к любым идеям о генетическом родстве этих семей, сколько бы аргументов ни приводилось в пользу такого родства.

Есть серьезные основания подозревать, что с исторической точки зрения обе эти ситуации однотипны — то есть и в том и в другом случае группа носителей в результате миграции с прародины «села на субстрат», смешалась с местным населением и типологически перестроила свой язык в ходе смешения. Для африканской ситуации этот сценарий подразумевает исходную нило-сахарскую прародину где-то в Восточной Африке (скажем, та же Западная Эфиопия или Южный Судан), откуда будущие «центральносуданцы» переместились на запад. Там они ассимилировали местное «донило-сахарское» население, но произошло это за счет значительных типологических перестроек системы (например, во всех старых корнях вида CVC выпал конечный согласный).

«Донило-сахарское» население — это пигмеи?

Г. С.: Нет, пигмеи, освоившие центральносуданские языки, — это лишь очень маленький процент от общего числа носителей, и произошло это совсем недавно (пигмеи-эфе говорят не на отдельной ветви працентральносуданского, а на одном из языков совсем молодой подветви мангбуту-эфе). Речь идет о каких-то племенах, населявших центральные области Африки тысяч восемь-десять лет тому назад. Кем они были в антропологическом и лингвистическом плане, еще только предстоит определить.

В любом случае, все это остается в режиме «предварительной» гипотезы до тех пор, пока не удастся установить нормальные регулярные со-

ответствия между праязыками. Сейчас есть определенные наметки, основанные на *очень* прикидочном списке параллелей (например, восточносуданское слово для 'глаза', **miñ*, сопоставимо с центр.-суданским **mi*, а вост.-суданское 'ухо', 'слышать' **wiñ* — с центр.-суданским **bi*), что будет дальше, пока неясно.

С другой стороны, например, все та же «диагностическая» местоименная парадигма для этих семей совпадает: и там и там четко видны следы исходной системы **A* 'я': **I* 'ты' (в восточносуданских она обычно так и выглядит, а в центральносуданских на форму 1-го л. обычно насаивается префикс **m-*, так что получается скорее **ma*: **i*, но в некоторых архаичных контекстах еще сохраняется старая оппозиция **a*: **i*). Это парадигма, нетипичная для языков нигер-конго (хотя по крайней мере в одной ветви нигер-конго, иджоидной, она тоже обнаруживается) и тем более нетипичная для «койсанских» семей, так что ее можно использовать как важный, хотя и не решающий, аргумент в пользу «нило-сахарского» родства.

Что касается «сахарского» компонента, то здесь все совсем плохо — пока что никаких серьезных аргументов в пользу генетического родства канури и его ближайших родственников (тубу, загава) с двумя другими крупными блоками ни у Гринберга, ни у его последователей обнаружить не удалось. Но тут с выводами я бы не спешил, потому что прасахарской реконструкции пока нет, провести ее очень трудно из-за нехватки материала, и вообще, очень трудно сравнивать семьи, состоящие из десятков языков, с семьями, состоящими из трех-четырёх языков, особенно если многие из них еще и выказывают признаки вмешательства «субстратов».

Тем не менее не будем забывать, что, например, по данным каталога «Этнолог» вся нило-сахарская макросемья включает 205 языков, из которых 65 относятся к центральносуданскому и еще около сотни — к восточносуданскому блокам. Если перспективна гипотеза об их родстве (а я считаю, что перспективна), это уже позволяет говорить об исторической реальности, а не фантомности «нило-сахарского». Правда, стоило бы из термина исключить компонент «сахарский». Можно было бы ограничиться вместо этого термином «шари-нильский», который тоже придумал Гринберг (Шари — крупная река, протекающая через Центральную Африку и Чад, где как раз локализован основной блок центральносуданских языков). Тогда «шари-нильское» единство, не доказан-

ное, но, так сказать, перспективно мерцающее на горизонте, можно было бы отнести к тому же хронологическому периоду, что и основные макросемьи Евразии, от ностратической до сино-кавказской, то есть восемь-десять тысяч лет назад.

А куда в этом случае «девать» все прочие куски нило-сахарской макросемьи, которые были учтены в классификации Гринберга?

Г. С.: Не знаю. Каким-то из них, может быть, рано или поздно найдется место внутри того же «шари-нильского», если мы сумеем их досконально проанализировать в историческом плане (сделать внутреннюю реконструкцию, отделить наследуемый слой морфемики от заимствований и субстратов и т. п.). Другие же, по-видимому, просто откололись от общеафриканского или даже «общечеловеческого» ствола задолго до существования шари-нильского единства, и в зависимости от того, сколь долгим было это «задолго», перспективы по определению их места на этом «стволе» могут быть очень разными.

В связи с этим очень неслучайно, что уже в 1972 году, всего десять лет спустя выхода в свет итоговой монографии Гринберга по африканской классификации, малоизвестным ученым Эдгаром Грегерсеном была опубликована статья с явно провокационным названием «Kongo-Saharan» — суть названия, наверное, понятна и без комментариев. Уровень качества сравнений, которые Грегерсен предлагал между нигер-конголезским и нило-сахарским материалом, оставлял желать лучшего, но основная теоретическая идея выглядела тогда и продолжает до сих пор выглядеть вполне логично:

если родственные связи между языковыми ветвями и отдельными языками нигер-конго в целом выглядят более убедительными и многочисленными, чем аналогичные связи между языковыми ветвями нило-сахарского, то... не означает ли это, что «нигер-конго» — это на самом деле всего одна из многочисленных ветвей все той же «нило-сахарской» макросемьи? Которую, чтобы таким образом ознаменовать открытие, Грегерсен предлагает переименовать в «конго-сахарскую».

Позже Грегерсена в этом поддержал африканист и любитель всякого рода макрокомпаративистики Роджер Бленч; в 1995 году он опубликовал

еще один список морфемных параллелей между нигер-конго и нило-сахарскими языками, а вместо термина «конго-сахарский» предложил термин «нигер-сахарские» языки (Niger-Saharan), который в современном узусе почему-то закрепился прочнее, чем Kongo-Saharan. Впрочем, закрепился только термин — сама гипотеза, как и следовало бы ожидать, поддержки среди специалистов не нашла.

А как считаете Вы, или Московская школа в целом?

Г. С.: В вопросах такого ранга сейчас самая здравая позиция — агностическая. Для того чтобы продемонстрировать валидность «нигер-сахарского» таксона, надо не только серьезно улучшить свои представления о пранигер-конго, прашари-нильском, других мелких языковых семьях Африки — нужно еще и уметь показать, что, например, сходства, обнаруженные между крупнейшими макросемьями Африки (а) численно превалируют над аналогичными сходствами между ними же и, скажем, языками афразийской макросемьи, или макросемей Евразии и (б) плохо объясняются или вообще не объясняются контактами. При этом роль контактов в образовании современной языковой картины Африки не следует преуменьшать: «конвергенция» в Африке — это совсем не то же самое, что «конвергенция» в Евразии.

В каком смысле?

Г. С.: Дело в том, что для Африки «миграционная» модель развития работает гораздо хуже, чем для Евразии. Население африканского континента скорее тяготеет к относительной оседлости, лишь изредка нарушаемой какими-то климатическими эксцессами (например, обезвоживанием Сахары) или отдельными демографическими взрывами (экспансия банту, которая, однако, в общих масштабах истории Африки имела место очень поздно). Для Африки *нормой* является ситуация, когда многочисленные разнородные племена очень долгое время живут бок о бок, тесно общаясь друг с другом, но при этом сохраняя собственную культурно-этническую идентичность — ярким примером может служить хотя бы та же Нигерия, которая вся, как из мельчайших лепестков, сложена

из различных ветвей нигер-конголезских, нило-сахарских и афразийских языков, регулярно обменивающихся и заимствованной лексикой, и типологическими признаками. Поэтому если мы видим, скажем, в нилотских языках что-то «похожее» на то, что наблюдается в соседних языках адамава-убанги, контактное объяснение здесь *a priori* как минимум *столь же* вероятно, как и генетическое. В некоторых конкретных ситуациях — более вероятно.

У вышеупомянутого Р. Бленча есть несколько работ по так называемым панафриканским корням — фонетически и семантически похожим словам (причем действительно очень похожим, иногда просто совпадающим посегментно), которые как бы «пронизывают» большую часть африканского континента. При этом среди них попадает и вполне себе базисная лексика: например, *kulu* ~ *kuru* ‘колено’, *kulu* ‘кожа’, *kwa* ~ *kpa* ‘кость’, *buru* ‘пыль, пепел’ и др. Обнаружить их можно и в отдельных семьях «нило-сахарского» ареала, и в нигер-конго, и даже в афразийских языках, и даже, если очень постараться, что-то похожее иногда находится и у койсанов. Можно ли такие корни рассматривать как следы генетического единства «праафриканского» языка? Нет, нельзя. Потому что тогда встает, например, такой вопрос: а почему же, если у них есть такой «очевидно общий» слой базисной лексики, у них не совпадает в первую очередь то, что обычно совпадает у родственных языков — местоименные парадигмы, грамматические системы, статистически наиболее устойчивые анатомические термины типа ‘глаза’, ‘уха’, ‘зуба’ и т. д.?

Некоторые макрокомпаративисты-африканисты на этот вопрос отвечают уклончиво, пытаясь отделаться «африканской спецификой». Я в эту специфику не верю, по одной простой причине: на тех уровнях, которые мы детально исследуем сегодня, — а именно на уровнях относительно небольших семей, уходящих вглубь на пять-шесть тысяч лет, — эта загадочная «африканская специфика» никак не проявляется. Такие семьи, как манде, банту, нилотская, центрально-койсанская, даже более глубокие объединения типа центрально-суданского, в историческом плане ведут себя как обычные языковые семьи. То есть у каждой из них, конечно, есть свои индивидуальные особенности, но они не нарушают общие тенденции, характерные для всех языковых семей мира. Почти не бывает так, чтобы слова типа ‘глаза’ или ‘уха’ в этих семьях, например, оказа-

лись бы менее устойчивыми, чем слова 'колено' или 'кожа'. Есть исключения, но они статистически пренебрежимы.

Поэтому я предпочитаю на данный момент особенно не задумываться над природой «панафриканских» корней. Скорее всего, то, что они кому-то бросаются в глаза, отражает лишь тесные контакты между африканскими языковыми семьями на глубоких уровнях. Плюс — отдельные случайные совпадения (ведь языков и семей очень много, всегда что-нибудь найдется), плюс — может быть, какие-то несколько слов действительно отражают какое-то сверхглубокое родство (некоторые «панафриканские» корни имеют свои эквиваленты и в языках Евразии), но это вообще уже выводит нас на другой уровень дискуссии.

Тогда последний, итоговый вопрос, как всегда — каковы перспективы, на чем мы стоим и что делать дальше?

Г. С.: Стоим, как и в других аналогичных случаях, на компромиссе. От первоначальной гринберговской «эйфории» (африканская классификация определена и устаканена, осталось только уточнить мелкие детали!) африканисты перешли к более тщательному анализу, более аккуратному подходу к материалу, более внимательному отношению к языковым контактам, и, соответственно, к скептическому отношению, иногда переходящему в гиперскептическое. Подход Московской школы в ее сегодняшнем виде предлагает скорее рассматривать Африку как такую длинную «линию фронта», вдоль которой мы ведем последовательное наступление. В одних местах продвинулись на три-четыре тысячи лет в глубь веков, в других — на шесть-восемь, в третьих делаем пока робкие попытки замахнуться на десять с лишним. Ближайшая перспектива — свести все накопленные данные в единую систему и предельно четко понять, к каким областям какие следует применять методы.

Один уровень работы — праязыковая реконструкция, с регулярными соответствиями и этимологиями. Такие реконструкции выполнены лишь для отдельных семей (классическая реконструкция Майнгофа и Гасри для прабанту; реконструкции Райнера Фоссена для центрально-койсанской семьи, а также для западнилотской общности; классические работы Джона Стюарта по языковой семье ква, к сожалению, оставшиеся

незавершенными), еще для некоторых существует серьезный задел — например, наш коллега Валентин Выдрин уже долгие годы работает над реконструкцией пра-манде, Гийом Сежерер и Константин Поздняков в Париже работают над праатлантическим, Паскаль Бойелдье там же пытается что-то сделать с працентральносуданским, а Ваш покорный слуга корпит по мере сил над «периферийно-койсанским» материалом (к сожалению, в узких рамках Московской школы лексической реконструкцией в исторической африканистике сегодня, кроме меня, не занимается никто — если, конечно, не считать афразистику, о которой у нас был отдельный разговор, подразделом африканистики). Про крупный коллективный проект по реконструкции пранигер-конго, возглавляемый Кириллом Бабаевым, я уже упоминал.

С другой стороны, если заниматься только аккуратной реконструкцией в рамках сравнительно-исторического метода, то при том количестве языковых семей, которое мы наблюдаем в Африке, и том количестве людей, которые этим занимаются, даже на хронологическом уровне, уходящем на четыре-шесть тысяч лет вглубь, мы все реконструируем, наверное, лет через 200–300, при условии, что энтузиазм не угаснет окончательно. Поэтому нужно думать и о каких-то кратчайших путях, но только так, чтобы не впасть в гринбергианство, которое для Африки уже сделало все, что могло.

Один из таких путей — это «предварительная лексикостатистика», о которой мы уже неоднократно говорили в других контекстах. Здесь, наверное, стоит упомянуть об одном из моих главных текущих проектов — детальном предварительном лексикостатистическом обследовании языков Африканского континента, которое я начал несколько лет назад с койсанских языков (том с койсанским материалом вышел в 2013 году) и сейчас продолжаю, постепенно обрабатывая данные, накопленные по нило-сахарским языкам, и нацеливаясь уже потихоньку на нигер-конголезский массив. В рамках этого исследования на выходе генерируются: (1) 50-словные списки, реконструированные (с разной степенью точности, но, как правило, основанные на регулярных соответствиях) для праязыков небольших групп и семей по всему континенту; (2) процентные матрицы лексикостатистических совпадений по праязыковым спискам, обработанные параллельно методами автоматического и «руч-

ного» сопоставления; (3) итоговые генетические классификации с приблизительным указанием степени достоверности отдельных узлов разных хронологических уровней.

Для «койсанских» языков, например, этот метод позволил оценить как «перспективные» для дальнейшего сравнения такие таксономические единицы, как «периферийно-койсанскую» и «кхой-сандаве», но не оценил как «перспективное» дальнейшее родство этих единиц между собой. Это значит, что на данном этапе можно считать, например, «периферийно-койсанское» родство высоковероятным и на этом основании работать уже над более детальной этимологизацией материала по этой семье. А вот по вопросу об «общекойсанском» родстве лучше сейчас занимать нейтральную позицию — без тщательнейшей проработанности этимологического материала никаких кратчайших путей для его дальнейшего разрешения, по-видимому, нет.

Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы иметь возможность хоть что-то уверенно сказать по глубокой языковой предистории африканского континента, нужно охватить весь языковой материал по всем двум тысячам африканских языков? Или чем-то все-таки можно пожертвовать?

Г. С.: Нет, разумеется, перифразируя Оруэлла, «все языки равны, но одни равнее других». Для того чтобы иметь приличное представление о прабанту, не нужно детально исследовать *все* пятьсот современных языков — при правильном составлении диагностической подборки уже три-четыре десятка языков, привлеченных к сравнению, дадут вам узнать о прабанту почти все, что об этом праязыке в принципе возможно узнать, а дальше уже, так сказать, затраты будут выше, чем прибыль (хотя если все-таки рассуждать со строго научной точки зрения, то даже самый малый позитивный результат оправдывает любые затраты; здесь нас, лингвистов, наверное, лучше всего поймут археологи).

Точно так же и на уровне групп/семей — в принципе, чтобы сложилась какая-то мало-мальски достоверная картинка о крупных африканских макросемьях, совершенно не обязательно, чтобы эта картинка учитывала *все* без исключения мелкие группы и языки-изоляты во всех

уголках Африки. Не может быть так, чтобы не осталось каких-то неразрешимых загадок — вот и в Евразии есть свои шумерские, эламские, этрусские, нивхские, чукотско-камчатские и другие языки, с большим скрипом укладываемые в предлагаемые схемы или вообще никак с ними не соотносимые. Точно так же и в Африке всегда будут свои бушмены-хадза, или, скажем, совершенно загадочный (на данный момент) для меня макроязык сонгаи в Западной Африке, морфемика которого совершенно не похожа на морфемiku как ближних, так и дальних его соседей. Это не значит, что, не определив место сонгаи на языковом древе Африки, мы тем самым расписываемся в полном своем бессилии для этого древа предположить хотя бы самую основную сеть ветвей.

Главными же «зацепками» для этой основной сети могут быть и, скорее всего, будут те языковые семьи, которые имеют наиболее архаичный вид. Скажем, в пределах семьи нигер-конго краеугольным камнем были и остаются языки банту (и шире — бенуэ-конголезские в целом), а в пределах нило-сахарской «общности» — нилотские языки.

В качестве забавного, но небезынтересного, курьёза отмечу, что Сергей Анатольевич Старостин еще в школьном возрасте «развлекался» сравнением реконструкции прабанту с ностратической реконструкцией Иллич-Свитыча — и обнаружил между ними немало лексических сходств. Мне тоже каждый раз, когда я работаю с бантуской этимологией, эти сходства нередко бросаются в глаза (но примеров специально приводить не буду во избежание провокаций!).

Конечно, это не значит, что существует какое-то специфическое «ностратическо-банту» родство — просто прабанту, как один из наиболее консервативных (в фонетическом плане) праязыков Африки и одновременно один из наиболее подробно и тщательно реконструированных, позволяет чуть-чуть глубже заглянуть в колодец, чем любая другая африканская семья, и даже, может быть, наугад нащупать какие-то сверхглубокие связи с языками, предки которых мигрировали из Африки многие десятки тысяч лет тому назад. Но я этот пример привожу не для того, чтобы мы от проблемы генетических связей между языковыми семьями Африки перешли к совсем головокружительной проблеме связей между языками Африки и языками Евразии (а там уж, в общем, и всего человечества), а только для того, чтобы еще раз показать, как неравномерно по языкам и языковым

семьям мира раскидана по-настоящему бесценная для компаративиста информация — и предсказать заранее, где, в каком уголке планеты она будет обнаружена, абсолютно невозможно.

На этом, пожалуй, общий разговор по Африке можно и закончить — а о том, насколько все-таки был в своей классификации прав Гринберг и действительно ли существовала когда-то «нигер-сахарская сверхмакросемья», я очень надеюсь, можно будет подробнее узнать лет через пять-семь, если к тому времени удастся обобщить основной базисно-лексический материал и выпустить все оставшиеся тома лексикостатистического исследования.

Беседа IX. Языковые семьи Америки
и Тихоокеанского региона
[Собеседники — И. И. Пейрос, Г. С. Старостин]

Г. С. Старостин: Итак, мы выходим на финишную прямую — в предыдущих разговорах получилось, хоть и бегло, но все же обрисовать состояние наших текущих знаний, рабочих гипотез и «дорабочих» спекуляций по крупным языковым семьям и макросемьям почти всей Евразии и Африки. За рамками этих разговоров остались в основном места существенно более отдаленные — Тихоокеанский регион, включающий колоссальные пространства Океании с ее многочисленными архипелагами, Новую Гвинею и Австралию; в определенном смысле к этому же региону примыкает и Юго-Восточная Азия, которая у нас оказалась охваченной только в масштабах сино-тибетской семьи — хотя общая языковая картина на территории Южного Китая, Индокитая, Восточной Индии и т. д. на самом деле гораздо сложнее.

И, конечно же, почти ничего не было сказано еще об Америке — за исключением очевидно более поздних волн ее заселения, таких как на-дене (которые, скорее всего, входят в дене-кавказскую макросемью) и эскимосско-алеутская (с вероятными ностратическими параллелями).

То, что мы оставили эти ареалы «на десерт», в общем-то, не случайно, потому что на данный момент с ними связано гораздо больше вопросов, чем ответов. Если языковые семьи Евразии и даже Африки худо-бедно, но все-таки были охвачены методологией сравнительно-исторического языкознания уже к началу XX века, то по Тихоокеании и Америке соотношение «сырого» и «обработанного» материала до сих пор описывается гораздо более унылой пропорцией. Объективные предпосылки такой ситуации — это, конечно, в первую очередь тривиальная географическая отдаленность этих регионов, отсутствие традиционных связей с европей-

скими цивилизациями, но есть и гораздо более тонкие причины, которые неспециалист уже не разгадает.

Чтобы разобраться в этих непростых вопросах, к разговору сегодня присоединится наш коллега Илья Иосифович Пейрос — один из главных участников нашего международного проекта «Evolution of Human Languages», еще один представитель, с большим стажем, Московской школы компаративистики, специалист и по общей теории и методологии сравнительно-исторического языкознания, и по конкретным языковым семьям — в первую очередь как раз Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Гвинеи, но, поскольку в рамках проекта ему очень много пришлось заниматься и языками Америки, то для этой беседы он сегодня идеальный собеседник, а я буду, как обычно, время от времени вставлять какие-то отдельные комментарии.

И. П.: Спасибо. Чтобы мой рассказ удобнее встраивался в общий контекст, я хотел бы напомнить, что еще лет десять-пятнадцать тому назад основной языковой «ландшафт» Евразии нам представлялся следующим образом: большинство языков этого континента и части прилегающих территорий объединяются в четыре макросемьи — ностратическую (или евроазиатскую), афразиатскую, сино-кавказскую и австрическую. О первых трех речь, насколько я понимаю, уже шла, так что остается заполнить пробел с «австрическими» языками, прежде чем переходить к еще более далеким проблемам.

Австрическая макросемья состоит из четырех основных ветвей: *австронезийской* (она же *малайско-полинезийская*); *австроазиатской* (куда в первую очередь входят *мон-кхмерские* языки); *тай-кадайской*, значительно меньшего объема; и *мяо-яо*, или *хмонг-миен* — самой крошечной из всех.

Начнем разговор с наиболее известной и лучше всего изученной австронезийской семьи¹. О ее существовании европейским исследователям было известно уже с XVII века, то есть вскоре после начала эпохи Великих географических открытий. Что неудивительно, так как в нее входит

¹Желающим подробнее ознакомиться с составом, историей изучения, типологическими и историческими особенностями австронезийской семьи можно охотно порекомендовать обзорную монографию крупнейшего советского (эстонского) специалиста по этим языкам — профессора Юло Сирка (1935–2011): *Сирк Ю.Х. Австронезийские языки: введение в сравнительно-историческое изучение*. М.: Восточная литература, 2008.

порядка тысячи языков — это одна из двух крупнейших, наряду с нигерконго, языковых семей мира. Территория ее распространения такова: северная граница — остров Тайвань, далее идут Филиппины, где нет других языков, кроме австронезийских, и Индонезия. Только на юге Индонезии, в районе Молуккских и некоторых других южных островов, близких к Тимору, а также на острове Хальмахера встречается некоторое количество языков, причисляемых к папуасским языкам.

Очень много австронезийских языков на побережье Новой Гвинеи; в Океании почти все языки, за очень небольшим исключением, также принадлежат австронезийской семье. (Удивительным образом, Австралию австронезийцы так и не заселили, хотя археологам известно, что они до нее доплывали.) В материковой Азии австронезийцам удалось частично закрепиться только во Вьетнаме и в Камбодже (чамские языки) и в Малайзии (малайские языки). Зато поразительно, что добраться им удалось аж до острова Мадагаскар у побережья Африки, где в I тысячелетии н. э. закрепилась группа переселенцев с индонезийского острова Борнео. Так широко раскинуться до эпохи Великих открытий не удалось ни одной другой языковой семье: от Гавайских островов до Мадагаскара, от Вьетнама до Новой Зеландии — огромные территории, колоссальное разнообразие языков и столь же великое культурно-этническое разнообразие их носителей.

Что нам сегодня известно об австронезийцах в плане истории — этнической и языковой? К сожалению, на такое гигантское число языков, как обычно, приходится очень низкий процент хорошо описанных языков, то есть таких, для которых составлены приличные словарь и грамматика. Многие из них находятся в таких местах, куда исследователям попасть нелегко, а зачастую даже и опасно: в худшем случае могли (кое-где и до сих пор могут) убить, кое-где и съесть, в лучшем — подцепить трудноизлечимую местную заразу и т. п. Лучшее всего изучены языки Северной Индонезии и Филиппин, но даже здесь до сих пор нет, например, ни общефилиппинского этимологического словаря, ни крупных этимологических словарей важнейших языков Индонезии.

Г. С.: Это притом что, скажем, на яванском языке сегодня говорит около ста миллионов человек (навскидку, это ненамного меньше, чем на русском), а богатейшая литературная традиция начинается с IX века.

Малайско-индонезийский язык и по первому, и по второму параметрам яванскому почти не уступает — это реально одни из крупнейших языков мира, безусловно заслуживающие столь же пристального внимания этимологов, как и индоевропейские языки.

И. П.: На территориях, прилегающих к Новой Гвинее, ситуация еще хуже. Соломоновы острова, Западная Океания — языков там описано очень мало, сравнительных исследований еще меньше. Единственным, совершенно уникальным, исключением оказывается Полинезия, которую издавна рассматривали как своеобразный «рай на земле» (вспомним хотя бы Гогена): она притягивает к себе людей со всего мира, и поэтому неудивительно, что исследования полинезийских языков (таитянского, самоанского, гавайского и др.) находятся на очень высоком уровне. Помимо конкретных описаний, существует подробный этимологический словарь полинезийских языков, включающий также данные близкородственного полинезийским языка Фиджи; составил его выдающийся новозеландский исследователь Брюс Биггс — на мой взгляд, это один из шедевров сравнительно-исторического языкознания¹.

И при таком огромном количестве неописанных языков австронезийская семья все равно оказывается «лучше всего изученной» из всех австрических семей? Есть ли у нас вообще какое-то четкое представление о праавстронезийском языке?

И. П.: Тут сложилась довольно странная ситуация. Сравнительным изучением австронезийских языков лингвисты занялись всерьез примерно в 1920-е годы. Главное исследование того времени — трехтомный труд великого немецкого лингвиста Отто Демпвольфа (1871–1938) «Сравнительная фонетика австронезийского лексического фонда»², с моей точки зрения, совершенно уникальная по целому ряду парамет-

¹ Сегодня на базе словаря Биггса функционирует онлайн-проект POLLEX (Polynesian Lexicon Online), время от времени пополняемый новыми лексическими данными по полинезийским языкам (<http://pollex.org.nz>).

² *Otto Dempwolff. Vergleichende Lautlehre des austronesischen Wortschatzes. Bd. 1–3. Berlin: Dietrich Reimer, 1934–1938.*

ров работа, с которой вынуждена была считаться вся дальнейшая австронезистика: этимологии Демпвольфа пытались либо опровергнуть, либо уточнить и исправить, но больших успехов ни в первом, ни даже во втором никто не достиг. Большая часть материалов Демпвольфа выдержала проверку временем; все последующие модификации австронезийской реконструкции в основном получены за счет привлечения данных по дополнительным языкам, не учтенным автором.

Реконструкция Демпвольфа основана прежде всего на языках западного ареала Австронезии: малайском, тагальском (это один из крупнейших языков Филиппинских островов), яванском и мальгашском (язык Мадагаскара), а также на нескольких близкородственных языках Океании. Из примерно тысячи языков реально было использовано всего одиннадцать, но подобраны они были так успешно, так «диагностично», что сравнение оказалось максимально информативным, а основанная на нем реконструкция — вполне достоверной.

Негативный эффект от работы Демпвольфа, правда, тоже оказался ощутимым — четкость и завершенность его работы в каком-то смысле лишила последующие поколения австронезистов стимула: вот есть в целом правильная (может быть, нуждающаяся в косметических уточнениях) реконструкция Демпвольфа, а остальные австронезийские языки, вся тысяча «неиспользованных», должны в нее вкладываться, то есть выводиться по однозначным правилам из уже реконструированного праязыка. Вот это глубоко неправильно.

Правильно ли я понимаю, что с точки зрения полноценного учета данных того десятка языков, которые взял Демпвольф, реконструкция сделана идеально — но до тех пор, пока не будет полноценно учтена вся тысяча, считать ее завершенной нельзя?

Г. С.: Чисто теоретически реконструкцию никогда нельзя считать финализированной. Даже если мы учтем данные 999 языков, вполне возможно, что при подключении тысячного окажется необходимым внести какие-то мелкие коррективы. Но на практике, конечно, вероятность этого чрезвычайно мала. Насколько я понимаю, Демпвольфу помогли три обстоятельства: во-первых, австронезийская семья при всей своей огром-

ности не является сверхдревней (возраст ее, по-видимому, сопоставим с возрастом индоевропейской семьи), во-вторых, составляющие ее языки в целом довольно консервативны в плане фонетики (хотя бы по сравнению с теми же индоевропейскими, особенно современными), в-третьих, «выборка», которую он осуществил, действительно оказалась очень удачной с, так сказать, логической точки зрения.

И. П.: Но даже при этом остается некоторый объем исторически важной информации, которая сохраняется только в той части языков, которым не довелось быть использованными при реконструкции.

В каких случаях лингвист может уверенно говорить об «общеавстронезийском» характере слова? Очевидно, тогда, когда рефлексы этого слова представлены в крайних точках распространения австронезийских языков. Условимся, что такими точками (с точки зрения генеалогического древа, а не простой географии), например, будут Полинезия и остров Тайвань. Такие базисные слова, как 'глаз', 'рука' и другие, действительно представлены и там, и там; например, 'глаз' будет *mata* и на языке самоа, и на тайваньском языке бунун, а 'рука' — *rima* и на таитянском, и на тайваньском языке тао.

В случае других слов, в том числе ряда важных культурных терминов, распространение более ограничено. Например, слово 'просо' есть только в языках Тайваня, и поэтому определить, исконно ли оно для австронезийских языков, невозможно, так как теоретически в других языках оно могло утратиться. «Австронезийская цивилизация» обычно представляется как морская — все знают о необычных способностях австронезийцев к мореплаванию, об их замечательных лодках с парусами и рулями и т. д.; на самом деле мы не знаем, существовали ли эти чудесные лодки на самом деле, потому что у нас нет возможности правильно определить, к какому хронологическому уровню относится тот или иной корень — к праавстронезийскому или к какому-то более позднему.

Г. С.: Здесь в принципе очень важно отделять, так сказать, «ранний» период дробления этнолингвистической общности и «классический» период. Про «классический» период, когда австронезийские лодки бороздили Тихий и Индийский океаны (а началось это где-то около четырех

тысяч лет тому назад), нам известно довольно много благодаря труду археологов, которые, сравнивая возраст тех или иных раскопок на тех или иных островах, могут установить примерную хронологию их заселения (причем как «первичного», когда австронезийцы приплывали на ранее необитаемые острова, так и «вторичного», когда они оказывались на островах, уже занятых более древними племенами охотников-собираателей — меланезийцев, папуасов и т. п.).

А вот про «ранний» период, когда праавстронезийский только-только начал дробиться на первичные ветви, а ареал распространения австронезийских народов был еще относительно небольшой, информация остается во многом противоречивой, и каков был уровень технологического и культурного развития австронезийцев, скажем, в конце IV тысячелетия до н. э., сказать трудно.

И. П.: Как всегда, все упирается в вопрос о прародине австронезийцев. Согласно наиболее распространенной сегодня теории (хотя я ей не доверяю; у меня здесь особая точка зрения, которую я объяснял во многих своих статьях), прародиной австронезийцев считается Тайвань. Оттуда (якобы) австронезийцы вначале перебрались на Филиппины, а уже дальше с Филиппин началось постепенное расселение на юг — Северная Индонезия, потом Южная, далее Океания и, наконец, Полинезия. Основана эта теория на том, что якобы именно на Тайване обнаруживается наибольшее разнообразие австронезийских языков. Общее древо австронезийских языков согласно версии ведущего современного австронезиста, Роберта Бласта, состоит примерно из десяти первичных ветвей, причем *девять* из них (атаьяльские, цоу, бунун, рукай, пуюма и др.) находятся на Тайване, а все остальные составляют *одну* ветвь — собственно «малайско-полинезийскую». И тогда, исходя из аргумента максимального разнообразия, получается, что прародиной может быть Тайвань и только Тайвань.

Действительно, если схема «девять на один» верна, то странно было бы предполагать, что на один сравнительно небольшой остров Тайвань откуда-то из другого места в полном составе, но независимо друг от друга перебрались девять австронезийских племен, и только одно, десятое, «не пошло». Но дело в том, что есть и альтернативная точка зрения — а именно что на самом деле языки Тайваня вовсе не образуют

независимые ветви, а восходят к единому праязыку («праформозскому»), который, действительно, может быть одной из первичных ветвей праавстронезийского. При такой схеме необходимость в обязательном порядке связывать австронезийскую прародину с Тайванем отпадает: одна ветвь — на Тайване, другая — нет.

А насколько вообще поиск прародины зависит от имиджа австронезийцев как «образцовых мореплавателей»? Могла ли прародина быть на материке?

И. П.: Имидж, действительно, существует, но все опять-таки упирается в хронологию. Даже самое поверхностное знакомство с географией убедительно показывает, что для ранних миграций австронезийцев, оставшихся в пределах крупных островов Филиппин и Индонезии, никаких особенно выдающихся навыков мореплавания не требовалось — море там спокойное, расстояния между островами сравнительно небольшие, при благополучных климатических условиях с одного острова на другой плавать можно хоть на дощечках.

Есть основания полагать, что так оно и было. Например, праавстронезийскому слову 'лодка' (**qabaŋ*) в сино-тибетских языках, куда оно проникло как заимствование, соответствует слово 'плот' (**рəŋ*). Конечно, не исключено, что это была лодка с аутригером (выносной опорой), которую сино-тибетцы приняли за плот. Но это уже очень натянутое объяснение; к тому же я бы в принципе не стал преувеличивать уровень развития материальной культуры ранних австронезийцев. Если заниматься лексической реконструкцией на самом глубоком уровне, то оказывается, что металлургии у праавстронезийцев не было, земледелие существовало в довольно примитивных формах (скорее всего, было клубневым, как и у других слабо развитых материковых цивилизаций Юго-Восточной Азии) — рис появился уже гораздо позже и далеко не распространился (ни в Океании, ни в южном ареале распространения австронезийских языков рисоводства нет). Так что, скорее всего, на более совершенных судах плавать австронезийцы научились уже после того, как завершилась первая волна заселения «ближних» островов — в ходе культурного обмена с доавстронезийским населением этих островов.

Тем не менее лексическая реконструкция праавстронезийского языка показывает, что с морем его носители были знакомы — у них достаточно слов для обозначения различных рыб и других морских животных, для разного рода терминов, так или иначе связанных с морем и т. п. Параллельно для праавстронезийского реконструируется ботаническая терминология, указывающая на то, что жили они, скорее всего, в субтропическом климате. Субтропики к югу от экватора отпадают (это уже Австралия), а к северу субтропики на морском побережье — это большая часть береговой линии современного Китая. Стоит отметить еще, что 5–6 тысяч лет тому назад, когда по общим прикидкам распался праавстронезийский язык, климат в Юго-Восточной Азии был теплее, чем сейчас (температуры были выше в среднем на 2–4 градуса), и верхняя граница субтропической зоны проходила гораздо севернее, доходя до полуострова Шаньдун. И наоборот — на тех территориях, которые сегодня удовлетворяют «субтропическим» условиям, в то время царил тропический климат. Так что более вероятна гипотеза, согласно которой прародина австронезийцев была на северном побережье Китая.

Г.С.: Что очень неплохо согласуется с наличием уже в ранних слоях древнекитайского языка большого пласта австронезийских заимствований (тот же 'плот-лодка' и многие другие). Если бы прародина была сильно южнее, скажем, к югу от реки Янцзы, это было бы странно, потому что в IV тысячелетии до н. э. в этих областях никаких китайцев не было в помине, и заимствовать австронезийскую лексику им было бы неоткуда. Тут же, наоборот, складывается очень естественный сценарий: китайцы приходят с юго-запада, осваивают долину Хуанхэ, на восточных границах своих новых территорий знакомятся с австронезийцами, перенимают у них ряд навыков и терминов, но при этом самих австронезийцев постепенно вытесняют на юг.

И.П.: Да, либо под протокитайским давлением, либо по каким-то другим причинам, примерно 5–6 тысяч лет тому назад австронезийцы начинают движение на юг, причем двигаются они предположительно вдоль побережья — с чего бы им уходить далеко от моря, которое их кормит? В какой-то момент одна ветвь оказалась на Тайване, где затем начала делиться на более мелкие. Остальные, вместе ли или отдельными

группками, продолжали двигаться на юг и постепенно осваивали острова — Филиппины, Борнео, Яву, Суматру — которые уже до них были освоены более древним населением. И, наконец, «макроэкспансия», с почти полным покрытием Тихоокеанского региона, началась уже сильно позже, порядка трех с небольшим тысяч лет тому назад.

Но уж с этим-то периодом, наверное, археологи с лингвистами разобрались более или менее досконально?

И. П.: С одной стороны, казалось бы, да, с другой — даже во времена не столь отдаленные миграции могли носить довольно сложный характер. Скажем, полинезийцы — вроде бы изучены вдоль и поперек, ничего нового уже не скажешь. Но вот примерно лет десять назад мы с Сергеем Старостиным и Мюрреем Гелл-Манном, работая в Институте Санта-Фе, столкнулись с такой хитрой теоретической проблемой. У меня получилась вполне складная лексикостатистическая классификация полинезийских языков. Но тут (о ужас!) оказалось, что классификация эта откровенно противоречит традиционной, основанной на совместных фонетических инновациях. По традиционной классификации получалось, что первым от остальных полинезийских обособляется язык острова Тонга, а по моей классификации — что тонганский должен объединяться в общую группу с самоанским и некоторыми другими.

Гелл-Манн, как настоящий физик, не мог вынести противоречия в теории и стал требовать от нас со Старостиным объяснений, явно подозревая, что в наши подсчеты вкралась какая-то серьезная ошибка. Мы испугались, стали срочно проверять материалы, алгоритмы, но тут в какой-то момент Старостина осенило — «а ведь противоречия-то нет!». Дело в том, что совместные фонетические инновации могут, с одной стороны, отражать генетический фактор (инновация произошла один раз в общем праязыке и с тех пор закрепилась во всех потомках), с другой — распространяться «волнообразно» в результате контактов. Если перед нами не первая ситуация, а вторая, то все в порядке. Мы взглянули на ситуацию с этой точки зрения, и оказалось, что она побуждает к тому, чтобы пересмотреть заново всю историю не только развития полинезийских языков, но и расселения полинезийских народностей.

Археологические данные нам говорят о том, что в Полинезии существовали два основных типа культур. На западе, в районе островов Тонго и Самоа, примерно с середины II до середины I тысячелетия до н. э. была представлена так называемая культура лапита, известная своей классической керамикой. Однако до восточных районов Полинезии (Таити и далее) эта керамическая культура не дошла — несмотря на то что в прочих отношениях восточные полинезийцы были чрезвычайно продвинуты, плавали на огромные расстояния, до Гавайских островов и Новой Зеландии. Самое интересное, однако, то, что некоторое время спустя культура развитой керамики «умирает» и в Западной Полинезии.

Как эта археологическая картина связана с лингвистической? В нашей интерпретации — самым непосредственным образом. Постепенные миграции полинезийцев с запада на восток привели к формированию нового народа со своим языком и своей культурой, характерной чертой которой стало умение строить большие корабли и путешествовать по морю на большие расстояния. С другой стороны, поскольку на маленьких островах востока Полинезии практически не оказалось глины, пригодной для производства керамики, соответствующие навыки, за ненадобностью, утратились. Параллельно с этим, поскольку восточные и западные полинезийские языки продолжали развиваться совершенно независимо друг от друга, в восточном ареале накопилось некоторое количество характерных изменений, отличавших их от западных.

Следующий этап — обратный: примерно тогда же, когда «восточная» культура начала двигаться в сторону удаленных Гавайских островов и Новой Зеландии, она стала распространяться и назад на «западные» острова, так, что в результате этого на западе исчезла керамика, а мореплавание, наоборот, поднялось на более высокий уровень. Это особенно хорошо заметно на примере языка острова Тонга, где представлено два типа лексики — исконно унаследованная «западная» и новая заимствованная «восточная», привнесенная «возвращенцами». Из-за этого смешения тонганский и стали выделять в отдельную группу, что, на наш взгляд, ошибочно.

Г. С.: Простая аналогия — например, русский, украинский и белорусский образуют единую восточнославянскую ветвь, но, допустим, вы заметили, что в белорусском есть фонетические и лексические элемен-

ты, которые сближают его скорее с польским, чем с русским. Означает ли это, что нам нужно поменять классификацию? Нет, потому что в историческом плане эти элементы являются следами позднейшего влияния польского на белорусский, и концепцию общего правосточнославянского языка как предка русского и белорусского, но не польского, эти более поздние элементы конвергенции совершенно не колеблют.

И. П.: Конечно, вся эта история, подробности которой я опускаю (желающие могут обратиться к соответствующей статье, которую мы написали в соавторстве с Сергеем Старостиным и Гелл-Манном¹), может показаться чисто технической, скучноватой. На самом же деле здесь за скрупулезным подсчетом процентов совпадений и за «скучными» разборками с запутанной сравнительной фонетикой стоит нечто гораздо большее — несколько тысяч лет истории и полная перестройка устоявшихся представлений о расселении народов в этой огромной и прелюбопытнейшей части земного шара.

Перейдем теперь от австронезийских языков к другой крупной семье юго-восточноазиатского региона — австроазиатской. Хотя австроазиатских языков на порядок меньше, чем австронезийских, но здесь еще двадцать лет назад ситуация с описательными исследованиями была намного хуже. Данные были в основном лишь по немногочисленным крупным языкам, типа вьетнамского и кхмерского. Многочисленные материалы по мелким языкам Вьетнама и других стран Индокитая начали появляться лишь совсем недавно, во многом благодаря возросшей активности китайских исследователей, так что мне очень повезло, что как раз в это время я начал заниматься австроазиатской реконструкцией.

Территорию австроазиатские языки занимают гораздо меньшую, чем австронезийские. Это юго-запад Китая (провинция Юньнань и отдельные области к востоку от нее), большая часть Вьетнама, Камбоджи (кхмерский язык), Лаоса, Таиланда, Бирмы. Отдельная ветвь этой семьи представлена в Индии — это так называемые языки мунда; довольно плохо изученной остается еще одна малая ветвь, представленная на Никобарских островах (по крайней мере, до недавнего времени — что там

¹ *Gell-Mann M., Peiros I., Starostin S. Lexicostatistics Compared with Shared Innovations: the Polynesian Case // Аспекты компаративистики. Вып. 3. М.: РГГУ, 2008. С. 13–44.*

осталось после страшного цунами 2004 года, я даже толком и не представляю, сейчас лингвисты там не работают).

В австроазиатскую семью входит несколько старописьменных языков, таких как кхмерский (с IX века, когда он был языком Кхмерской империи с центром в Ангкоре) и монский, язык средневековых городов-государств, располагавшихся в основном на территории современной Бирмы. Большая часть этих городов была впоследствии уничтожена бирманскими племенами, которые, однако, сами переняли от монов их культуру и письменность; сегодня моны на территории Бирмы — это притесняемое национальное меньшинство. Монский язык описан очень прилично, древнемонский представлен текстами V–VI веков, а лет 25 назад выяснилось, что в центре Таиланда отдельные племена до сих пор говорят на языке, очень близком к старописьменному монскому (так называемые диалекты нья-кур).

Разумеется, всем хорошо известен вьетнамский язык, как официальный язык Вьетнама, имеющий свою культурную и литературную традиции, на которые огромное влияние оказал неродственный им китайский язык. При этом в ту же подгруппу, что и «культурный» вьетнамский, входят многочисленные вьетские языки, на которых говорят небольшие племена в горных джунглях на границе Вьетнама и Лаоса. Некоторые из них даже удалось пристально поизучать в ходе советско-вьетнамских лингвистических экспедиций конца 1970-х — первой половины 1980-х годов, например так называемый язык *рук*, на котором говорит сегодня не более ста человек. Это племя охотников-собирателей как раз в конце 1970-х нашли в джунглях вьетнамские антропологи, поймали и, естественно, решили «окультурить» — привезли в деревню, поселили в домах и сказали, что теперь они перейдут на цивилизованный образ жизни. Нетрудно догадаться, что, как только их оставили в покое, они моментально снова исчезли в джунглях. Язык, однако, записать успели, что уже хорошо. А на очень близком к языку *рук* языке *арем* говорят уже не охотники и собиратели, а вполне себе оседлое земледельческое племя на границе Вьетнама и Лаоса, хотя и этот язык сегодня тоже находится на грани вымирания.

Вообще австроазиатская семья очень сильно разветвлена, и названия большинства языковых групп и конкретных языков, из которых она состоит, вряд ли будут известны широкой публике, хотя и языки, и их носители

на самом деле чрезвычайно интересны. Навскидку можно перечислить языки *палаунг-ва*, на которых говорит народность палангви, известная туристам по длинным шеям женщин, которые их вытягивают с раннего детства с помощью специальных бронзовых колец. На *аслийских* языках говорят оранг-асли, темнокожие пигмеи в джунглях Малайзии, которых в свое время разыскивал еще Н. Н. Миклухо-Маклай. Они частично (на юге) занимаются земледелием, частично (на севере) — собирательством, но и те и другие, по-видимому, представляют собой остатки доавстроазиатского населения Малайзии, перешедшие на языки новых соседей.

На особенно плохо изученных *неарских* языках говорят в Камбодже — особенно плохо, потому что они распространены в малярийных и труднодоступных горных зонах, раскиданы по ним такими небольшими островками; это означает, что собственно кхмеры туда пришли позже и вытеснили местное население в наиболее скверные для проживания места. Еще есть *бахнарские* языки Вьетнама; языки группы *кату* во Вьетнаме, Лаосе и Таиланде, и языки *кхму* в Северном Лаосе. К языкам *кхму* близок язык так называемых людей желтых листьев — о них любят рассказывать турагенты в Таиланде, завлекающие туристов байками о диких собирателях, обитающих в северных джунглях, которые якобы никогда не видели женщин; все время клянутся их показать, но так никогда и не показывают. На самом деле это вполне реальные люди, небольшая народность *мрабри* или *млабри*; язык их детально исследован одним датским лингвистом, выпустившим по нему монографию.

Насколько можно понять, все эти племена в основном сидят в джунглях Индокитая, которые вообще с очень большим трудом поддаются исследованию — места труднопроходимые, опасные для здоровья, обстановка нестабильная, насколько вообще реально в таких условиях получить качественный результат?

И. П.: Лично мне очень повезло в 2000 году — именно тогда в Институте Макса Планка в Лейпциге появился проект «Intercontinental Dictionary Series»¹, возглавляемый крупнейшим лингвистом-типологом Бернардом

¹ Текущий адрес веб-сайта проекта IDS: <http://lingweb.eva.mpg.de/ids/>.

Комри, который, в частности, привлек к сотрудничеству и меня. Моей задачей в рамках проекта был сбор материалов по бесписьменным мон-кхмерским языкам («мон-кхмерские» — общее название всех австроазиатских языков Индокитая, то есть фактически всех австроазиатских языков вообще за исключением языков мунда в Индии и языков Никобарских островов). В течение трех лет я возглавлял программу, в которой приняли участие лингвисты многих стран — китайские, тайские, вьетнамские, лаосские, русские, и результатом которой стала коллекция аудиословников и их транскрипций по полторы тысячи слов едва ли не для каждого известного на сегодня мон-кхмерского языка.

Эти, в общем-то, феноменальные результаты проекта позволили вплотную заняться проблемой аккуратной и подробной реконструкции прамон-кхмерского языка — из старых и новых данных мне удалось составить этимологическую базу данных, при работе над которой были полностью выдержаны все основные методологические принципы (регулярные соответствия, реконструкции по мелким группам, последовательно сводящиеся к праавстроазиатскому уровню и т. п.); только языки мунда и никобарские языки, по которым соответствующие данные в рамках IDS не собирались, остались относительно неучтенными. Общий объем базы — около 1000 этимологий праавстроазиатского уровня, она свободно доступна на нашем сайте в Интернете.

Г. С.: Наверное, для полноты картины стоит упомянуть еще об одном важном альтернативном источнике — относительно недавно вышел в свет объемный этимологический словарь мон-кхмерских языков покойного британского лингвиста Гарри Шорто¹. Там около 2000 этимологий, хотя в плане обхвата всего языкового массива словарь, конечно, сильно уступает базе, составленной по данным IDS. Шорто был в первую очередь специалистом по классическому монскому языку, но отдавал должное и данным бесписьменных языков. Думаю, что дальнейшее развитие австроазиатской реконструкции будет происходить на стыке сравнения этих двух этимологических корпусов и «взаимокоррекции» результатов.

¹ *Shorto Harry. A Mon-Khmer Comparative Dictionary. School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, 2006.*

А что дает лингвистическая реконструкция мон-кхмерского праязыка для расширения наших знаний об истории и культуре соответствующего ареала? Кто они, австроазиаты — собиратели, земледельцы, мореплаватели?..

И. П.: Здесь все довольно четко. В отличие от австронезийцев, прамон-кхмеры оказались носителями значительно более технологически продвинутой цивилизации — с развитым земледелием, представленным как корнеплодами, так и злаками (рис, для разновидностей которого восстанавливается не менее пяти-шести корней), скотоводством (водяные буйволы), керамикой, ремеслами (ткачество) и т. п. Это притом что возраст семьи сопоставим с возрастом австронезийского — примерно от шести (мон-кхмерский) до восьми (австроазиатский вместе с мунда и никобарскими, хотя эти данные менее надежны) тысяч лет. Лодки у них тоже были (общемон-кхмерский корень **lung*), но, по-видимому, маленькие, мореплавание — это не про австроазиатов.

Очень важно, что в процессе моих исследований подтвердилась гипотеза о том, что праавстроазиаты контактировали с прасино-тибетцами, а не только с предками китайцев. Выявлены довольно надежные примеры заимствованной лексики, причем заимствования шли в обе стороны. Данные глоттохронологии с этими примерами вполне согласуются и показывают, что обе цивилизации, хотя и имеют совершенно разные генетические корни, в историческом плане были синхронны: на праязыках этих семей говорили приблизительно 6–7 тысяч лет назад.

А где, на каких территориях, происходили эти контакты?

И. П.: Это зависит от того, куда мы помещаем австроазиатскую или хотя бы мон-кхмерскую прародину. В принципе логично было бы предположить для нее либо Юньнань (юго-запад Китая), либо северный Индокитай. Если сино-тибетская прародина — где-то в Гималаях, значит, с этой точки зрения вариант Юньнани, непосредственно к востоку от горных массивов, более вероятен.

Эти очень древние контакты (в ходе которых, например, сино-тибетцы заимствовали у австроазиатов название для 'большой реки' — авст-

роазиатское **kə-ruang* стало сино-тибетским **kro:ng*, откуда далее современное китайское *цзян* ‘река’, как в *Чан-цзян* ‘длинная река’, она же река Янцзы) не следует смешивать с контактами поздними, когда началось сильнейшее влияние китайского языка на некоторые австроазиатские. Например, до 70% лексики современного вьетнамского языка заимствовано из разных источников — тайских, кхмерских, но более всего из китайского, что неудивительно, так как, собственно говоря, все становление вьетнамской цивилизации проходило под знаменем «китаизации» общества начиная с III–II века до н. э.

Собственно говоря, к тайским источникам мы сейчас и перейдем, потому что следующая семья, составляющая часть австрической макросемьи, — это как раз тайская, или, точнее, *тай-кадайская* (сейчас в обиход начинает входить еще одно название — *кра-дайская*).

Тайская ветвь этой семьи известна прекрасно¹: собственно тайский, или сиамский, — язык Таиланда; лаосский язык в Лаосе; чжуанский язык в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая; и еще около десятка. Большинство языков хорошо изучено, некоторые обладают литературными традициями. Выдающиеся китайские и европейские лингвисты много занимались их сравнением, делали реконструкции. Надо отметить, что на раннем этапе своей диверсификации, когда эпицентр распространения тайских языков приходился на прибрежные районы Южного Китая, они были подвержены сильнейшему китайскому влиянию. Но в отличие, скажем, от вьетнамского языка, где это влияние в первую очередь сказывалось на «культурном» варианте, проникая вместе с китайской иероглифической письменностью, тайские языки заимствовали лексику напрямую, в «бытовых» контекстах, а иероглифической письменностью как раз и не овладели — тайское письмо появилось уже после того, как китайско-тайские культурные связи сменились индийско-тайскими.

Г. С.: Напомню, что об этом у нас уже шла речь в контексте дискуссии по сино-тибетским языкам — как тайские и сино-тибетские языки ошибочно считали родственными, до тех пор, пока не поняли, что все

¹ Пратайский (или, точнее, прачжуан-тайский) язык был во многом успешно реконструирован выдающимся китайским лингвистом Ли Фан-Гуем, см.: *Fang Kuei Li. A Handbook of Comparative Tai.* University Press of Hawaii, 1977.

«китайское» в тайских языках — на самом деле заимствования эпохи Хань.

И. П.: Помимо собственно тайских, к тай-кадайской семье относится еще целый ряд мелких ветвей. На *кам-суйских* языках, например, говорят нацменьшинства на юге Китая; известны эти языки были еще с 1930-х годов, но подробные описания появились только ближе к 1990-м. Маленький язык лаккья, на котором говорят всего около девяти тысяч человек, живет в провинции Гуанси, где его носителей иногда путают с носителями соседних языков яо. Целых две мелкие ветви — языки ли и онг-бе — представлены только на острове Хайнань в Южно-Китайском море.

Все эти языки, впрочем, из-за своего географического расположения более или менее легко доступны для описания, так что по ним не только накоплены данные, но и сделаны неплохие исторические реконструкции. Реальные проблемы начинаются, когда мы сталкиваемся с кадайской ветвью. В нее входят, например, мелкие языки *гэлао*, пучок из примерно 5–6 отдельных языков на китайско-вьетнамской границе, очень сильно отличающихся от прочих тай-кадайских языков по своему словарному составу, хотя еще совсем недавно надежных материалов по этим языкам не было вообще.

Г. С.: Сегодня, кстати, ситуация значительно улучшилась — только что наши коллеги, Ирина Самарина и Ольга Мазо, в сотрудничестве с вьетнамскими специалистами выпустили огромный том по материалам полевой экспедиции 2008 года¹, так что это белое пятно, наконец, удалось закрасить. Но теперь стоит новая задача — полноценно встроить эти материалы в уже сложившуюся историческую модель и с их помощью перейти от отдельных мелких реконструкций к итоговой пратай-кадайской.

И. П.: Что в любом случае не очень просто, так как тай-кадайские языки пестрят китаизмами, и пока что легко реконструируется лишь очень небольшой процент исконной лексики. Ее, правда, достаточно,

¹ Самарина И. В., Мазо О. М. и др. Языки гэлао: Материалы к сопоставительному словарю кадайских языков. М.: Academia, 2011.

чтобы провести глоттохронологические подсчеты, по которым пратай-кадайскому — примерно пять с небольшим тысяч лет от роду; это несколько меньше, чем возраст австронезийской и австроазиатской семей, и поэтому, в частности, тайские языки играют не столь важную роль в австрической реконструкции.

Но ее явно недостаточно для того, чтобы восстановить сведения о культуре носителей пратай-кадайского, об их контактах с соседними языковыми группами, об их прародине. В этих лексических сферах китайское влияние вытеснило почти всю исконную информацию, так что за пределами базисного слоя лексики все, что содержат тайские словари, — это бесконечные китаизмы, проникшие туда в эпоху Хань (ну и для отдельных языков типа сиамского — санскритизмы, относящиеся к еще более поздней эпохе). Про прародину можно сказать лишь то, что эпицентр распространения тайских языков в древности находился явно севернее, чем сегодня. Скорее всего это был юго-восток Юньнани, откуда (отчасти под китайским давлением) тай-кадайские племена мигрировали на юг, в сторону Индокитая. Как и когда они оказались на острове Хайнань, не вполне ясно (данных о мореплавательных навыках древних тайцев нет).

Г. С.: В принципе добраться до Хайнаня несложно — там километров двадцать расстояние от материка, можно хоть на бревне — но, скорее всего, тайцы проникали туда отдельными волнами. По данным недавнего (2011) генетического исследования по народности ли, тайцы перебрались на остров из области современной провинции Гуанси не позднее чем семь тысяч лет тому назад, но при этом, конечно, ни о какой семитысячелетней языковой диверсификации на Хайнане речь не идет: праязыку ли можно дать не более двух-трех тысяч.

Хочу еще добавить, что есть всякие забавные косвенные свидетельства того, что тайское присутствие в древности доходило аж до бассейна Янцзы. Например, известно, что царский род древнекитайского царства Чу (с VIII по III век до н. э.), одного из крупнейших государственных образований Южного Китая, с очень специфической культурой и цивилизацией, носил фамилию *Ми*, китайским эквивалентом которой было слово *сюн* 'медведь'. Эта фамилия чрезвычайно близка к общетайскому

названию медведя — *mi* по-чжуански, *hmi* по-тайски и т. д. (пра-тай-кадаиск. **hmi*). Маловероятно, что речь идет о случайности — как минимум это означает, что правящие элиты в Чу имели тайское происхождение. Так что если бы в борьбе древнекитайских царств за господство в Поднебесной победу в конце концов одержало бы не царство Цинь, а царство Чу, как знать, может быть, сегодня Китай был бы не Китаем, а сплошным Таиландом! Впрочем, вряд ли — на самом деле элиты элитами, а основательная китаизация чуской территории имела место уже задолго до объединения Китая в 221 году до н. э., так что тайскому и другим цивилизационным слоям надеяться было не на что.

И. П.: На территории южных царств древнего Китая располагалась и последняя, четвертая, ветвь австрической макросемьи — *мяо-яо*, или *хмонг-миен* (первое название — традиционное китайское, второе — самоназвание двух составляющих семью народов). Она состоит из двух главных ветвей (соответственно мяо и яо) и еще нескольких отдельных языков, занимающих промежуточное положение, например, шэ или недавно обнаруженный одновременно во Вьетнаме и в Китае язык пахынг (бахэн). В ветвь яо входят два-три близкородственных языка, по всем есть словарные данные, но, как и тайские языки, яо основательно «замусорены» китайскими заимствованиями, на прауровень выводятся двести сотни. С языками мяо ситуация сложнее — их в целом больше, но основное разнообразие внутри ветви наблюдается в горных районах китайских областей Гуанси и Гуанчжоу. Относительно недавно отсюда на юго-запад мигрировали отдельные группы, которые все говорят на диалектах одного языка, не самого интересного с исторической точки зрения. При этом описаны в основном как раз именно эти диалекты.

В типологическом отношении языки мяо-яо очень похожи на китайский: слова и корни слов в основном односложные, состоят из начального согласного («инициаль»), гласного и (не обязательно) конечного согласного («терминаль»), а также на каждом слоге обязательно определен свой тон. С этим связана забавная особенность. В языках мяо большое разнообразие инициалей, но почти полностью отсутствуют конечные согласные. В языках яо — наоборот: инициалей относительно мало, а на конце слова, наоборот, представлено большое разнообразие соглас-

ных «терминалей». В результате, когда делаешь реконструкцию праязыка, получается, что со стороны мяо в реконструкцию идет «голова» (согласная инициаль), а со стороны яо — «хвост» (гласный и терминаль).

Например, слово 'язык' на языке вьетнамских мяо будет *mblay*, а на языке яо — *biet*. Прямо-яо форма восстанавливается в виде **mbret*, причем все соответствия вполне регулярны: в мяо по вполне четким правилам упрощается конец слова, в яо — начальное сочетание согласных.

А с чем связано столь различное поведение таких близкородственных языковых групп? Они ведь и географически довольно близки друг к другу?

Г. С.: Близки, но тем не менее после разделения явно попали в разные сферы влияния. Языки яо располагаются восточнее и контактируют в основном с южнокитайскими диалектами; языки мяо — западнее, и в большей степени контактируют с другими австрическими языками. Правда, если говорить о языковых состояниях «пра-яо» и «пра-мяо», сосуществовавших примерно две тысячи лет тому назад, сказать что-то жестко определенное об их тогдашних языковых соседях вряд ли возможно. С уверенностью можно говорить лишь о том, что, как и прототайцы и мон-кхмеры, народы мяо-яо еще две — две с половиной тысячи лет тому назад не ютились в отдельных труднодоступных геоточках Южного Китая, а занимали гораздо более широкие территории; об этом явно свидетельствуют многочисленные заимствования из этих языков в древнекитайских источниках.

И. П.: Да, но после объединения Китая и начала «имперского» периода со II века до н. э. ситуация изменилась на обратную — последние две тысячи лет и мяо, и яо находятся под жестким китайским влиянием. Когда я только начал заниматься этими языками всерьез, в конце 1980-х годов, по тем данным, которые были доступны на тот момент, удалось восстановить не больше сотни корней, которые можно было надежно возвести к прямо-яо уровню, — все остальное оказывалось китаизмами. Сегодня ситуация изменилась, опубликованы большие словари, в пекинском Институте языкознания собрана гигантская картотека на 9000 кор-

ней, но до появления хорошего этимологического словаря по языкам мяо-яо еще, конечно, очень далеко¹.

Итак, мы перечислили четыре основные ветви австрической макросемьи в порядке от самой крупной (австронезийской) к самой мелкой (мяо-яо). Этот же порядок в целом коррелирует и со степенью их исторической изученности, хотя, пожалуй, австроазиатская реконструкция все же надежнее, чем австронезийская — хотя бы потому, что в ней учтены почти все языки семьи, в то время как праавстронезийский до сих пор восстанавливается скорее на основании выборочного, чем целноступенчатого, подхода к данным.

Мы уже тут многократно упомянули термин «австрический», но так еще ничего и не было сказано, откуда вообще он взялся. А кто и когда вообще стал задумываться о возможности макрородства между всеми этими языками?

Г. С.: Самые первые ростки австрической теории появились на почве исторического исследования австронезийских языков. Термин «австрический» ввел в обиход немецкий лингвист Вильгельм Шмидт (1868–1954), который в 1906 году (заметим, всего через три года после того, как Педерсен придумал «ностратический») использовал его для обозначения гипотетической макросемьи, объединяющей австронезийские и австроазиатские языки. Сравнительные данные его были крайне неубедительны, но термин тем не менее прижился.

Следующий этап — это 1942 год, когда уже упоминавшийся выше выдающийся сино-тибетолог Пол Бенедикт, пытаясь распутать сложнейший клубок лингвистических связей в Юго-Восточной Азии, в качестве альтернативы «австрической» гипотезе Шмидта выдвинул «австро-тайскую» гипотезу — о возможном родстве австронезийских и тайкадайских языков. На тот момент это был очень смелый шаг, потому что многие лингвисты, особенно китайские, были еще твердо убеждены в том, что тайские языки родственны китайскому. Бенедикт сумел

¹ Существует целая серия работ, посвященных историческому сравнению мяо-яо и реконструкции праязыка. Из новейших и наиболее актуальных исследований ср., в частности: *Ratliff Martha. Hmong-Mien language history. Research School of Pacific and Asian Studies. Australian National University, 2010.*

не только показать, что никакого китайско-тайского родства не существует (в этом сегодня уже никто не сомневается), но и, наоборот, выстроить очень непростой, но реалистичный и внушительно обоснованный сценарий того, что произошло с тайскими языками после их обособления от австро-тайской языковой общности¹.

И что же с ними произошло?

Г. С.: Чтобы об этом рассказать, надо, наверное, два слова вставить про некоторые типологические особенности языков, о которых идет речь.

Есть такое общее представление о том, что такое «типовой язык Юго-Восточной Азии» — можно даже для краткости говорить о «языках австрического типа», хотя «австрический тип» нельзя ни в коем случае путать с австрической макросемьей как генетической единицей. Языком австрического типа, например, можно считать и современный (но не древне-!) китайский, хотя генетически он объединяется не с австрическими языками, а с сино-тибетскими.

Если говорить очень грубо, то в языках этого типа «слово» обычно бывает равно «слогу», в то время как в более привычных нам европейских языках для слов, наоборот, характерна многосложная структура. Происходит это за счет почти полного отсутствия морфологии — грамматические отношения в «языках австрического типа» чаще всего выражаются служебными словами (предлогами, послелогами, частицами), а не суффиксами или приставками. В них не только отсутствует как таковое «склонение» или «спряжение», но даже словообразовательная морфология развита чрезвычайно скудно; отсюда представление о них как об образцово-показательных «изолирующих» языках, противопоставленных языкам с более сложной морфологической структурой — агглютинативным, как тюркские или уральские, и флективным, как индоевропейские.

При этом «слово-слог» в языках австрического типа обладает очень четкой, жестко ограниченной структурой — как правило, слог может начинаться с большого выбора согласных (иногда даже сочетаний соглас-

¹ Подробное изложение «австро-тайской» гипотезы, включая компендиум возможных этимологий, см. в: *Benedict Paul K. Austro-Thai language and culture, with a glossary of roots*. New Haven: HRAF Press, 1975.

ных), затем идет гласный, и в конце слога дополнительно может быть еще один согласный, хотя тут выбор уже, как правило, очень узкий. Но при этом важнейшая особенность слога — тональность: как в китайском, на каждом слоге среднестатистического «языка австрийского типа» в обязательном порядке определен один из ряда возможных тонов (в простой тональной системе бывает до трех-четырех тонов, в сложной — до восьми и больше). Отсюда — очень характерное звучание этих языков, хорошо известное всем, кто сталкивался с тем, как звучит и китайский, и вьетнамский, и тайский, и любые другие, менее изученные языки этого типа.

Так вот, повторю, что важнейшей особенностью *типологической* характеристики языка, в отличие от *генетической*, является изменчивость — она в большей степени привязана к географии и социологии, чем к истории. В этом смысле Юго-Восточная Азия, а если еще конкретнее — кусок Юго-Восточной Азии, охватывающий весь Индокитай до границы с Бирмой и практически всю территорию классического Китая вплоть до бассейна Хуанхэ, представляет собой такой «моносиллабически-тональный котел»: стоит языку или языковой группе туда попасть, как в нем запускается процесс ассимиляции.

То есть и русский человек, если долго живет в Китае, рано или поздно заговорит «в тональном режиме»?

Г. С.: По-русски — вряд ли (это скорее из области анекдотического), но теоретически вполне мыслима ситуация, когда бы, скажем, язык некоторой русской диаспоры, обосновавшейся в Китае, уже со второго-третьего поколения начал потихоньку дрейфовать в сторону «языка австрийского типа», как это некогда сделал сам китайский. Однако для этого необходимы два условия: во-первых, чтобы эта диаспора была максимально оторвана от своей большой родины, то есть все общение и, самое главное, все новые семейные связи не должны выходить за пределы Китая, и, во-вторых, чтобы при этом у новых поколений существовал стимул продолжать использовать русский язык (или «новорусский» язык) в качестве родного, а не просто отказываться от него в пользу китайского. Поскольку на данный момент представить себе такую ситуа-

цию совершенно нереально, думаю, что русскому языку ни в Китае, ни даже в пограничных районах типа Хабаровска в ближайшее время «переход в тональный режим» не грозит. А вот по состоянию на две, три или пять-шесть тысяч лет тому назад для мелких языков Юго-Восточной Азии это было нормой.

Есть даже очень забавные казусы. Например, тибетский язык — который на самом деле никакой не язык, а вполне себе внушительная языковая группа из пары десятков почти не взаимопонятных «тибетских языков», размером примерно с романскую или славянскую, раскинувшаяся от восточных границ Афганистана и Пакистана до западных провинций классического Китая. Так вот, чем ближе тот или иной тибетский диалект к исконно китайской территории, чем теснее контакты с китайским населением, тем «тональнее» он становится — в классическом тибетском языке никакими тонами не пахнет, а в таких восточных диалектах, как, например, кхамский, по определенным правилам (в зависимости от тех или иных фонетических особенностей слога) начали развиваться тональные системы, причем произошло это максимум тысячу лет тому назад, а возможно, и еще позднее. Да и в самом китайском языке, как я уже говорил, тоны имеют вторичное происхождение — он сам попал в «австрический котел» где-то две с половиной тысячи лет тому назад.

Но тут мы несколько отвлеклись, ушли в сторону, а дело вот в чем. С одной стороны, казалось бы, что в пользу «австрической» гипотезы — генетического родства огромных массивов языков Юго-Восточной Азии — должна как раз работать эта типологическая близость: действительно, очень соблазнительно, увидев, как по структуре близки друг к другу, скажем, вьетнамский, тайский, и хмонгский языки, и как они одновременно разительно отличаются от прочих языков Евразии, решить, что, конечно же, они все восходят к одному праязыку. Однако тут мы сразу же и попадем в ту самую типологическую ловушку, которая уже столько раз подводила интуицию лингвистов — ту самую, из-за которой армянский язык какое-то время считали иранским, дравидийские языки какое-то время считали необычными искаженными вариантами санскрита, а грузинский язык пытались породнить с нахско-дагестанскими. И действительно, правильному развитию австрической гипотезы эта типологическая ловушка довольно долго мешала — чего стоит одна

«сино-тайская» гипотеза, а некоторые китайские лингвисты и до сих пор по старинке говорят о том, что сино-тибетские, тай-кадайские и мяо-яо языки все входят в одну дружную макросемью.

Тем не менее к чести австрической гипотезы надо сказать, что она изначально ориентировалась на то, что типологическая близость — это одно, а общее происхождение от единого праязыка — совершенно другое. Дело в том, что ключевую позицию в австрической гипотезе всегда, во всех ее инкарнациях, играла австронезийская семья, а она-то как раз совершенно ничего общего не имеет с «австрическим типом». Австронезийские языки — не тональные, слова в них поощряют многосложную структуру, морфология хорошо развита. И если уж на то пошло, то и языки мунда, на западной периферии распространения австроазиатских языков, тоже устроены совершенно «не по-австрически», без тонов, с многосложными словами и т. п.

Получается, что для того, чтобы, грубо говоря, «получить австроазиатское слово из австронезийского», надо его как-то ужать, сократить, привести в соответствие с фонетическими особенностями «австрического типа». Это хорошо видно хотя бы на одном из наиболее классических примеров австрической этимологии — слова ‘глаз’. Для праавстронезийского он восстанавливается в виде **mata* (это слово у нас уже фигурировало), а для праавстроазиатского — как **mat* (откуда вьетнамское *măt*, монское *mat* и т. д.). Значит, в данном случае двусложное праавстрическое слово при переходе к праавстроазиатскому уровню утратило последний гласный (обратная гипотеза — «наращение» в австронезийском — более проблематична, потому что тут не обойдешься простой фонетикой: звуки из ниоткуда не возникают, следовательно, это мог быть только какой-то суффикс, а тогда надо понимать, что он значил и т. п. Более экономным на этом этапе решением будет принять за исходную праформу **mata*).

Когда австрической гипотезой занялся Пол Бенедикт и, в частности, стал тестировать гипотезу австронезийско-тайского родства, он сделал еще одно важное открытие: оказывается, бывает и так, что тайский однослог соответствует не первому, а *второму* слогу австронезийского слова. Вот два поразительных примера из области базисной лексики: то же праавстронезийское **mata* ‘глаз’ = тайское **ta*, а праавстронезийское **matay* ‘умирать’ = тайское **tay*! Поодиночке каждый из этих примеров еще мо-

жет быть случайным совпадением, но вместе — вероятность минимальна. А есть еще праавстронезийское **sapiu* ‘огонь’ = тайское **riu* или **viu* (*riu* в языке лаккья и др.); праавстронезийское **nipən* ‘зуб’ = тайское **rap* или **van* (сиамское *van* и др.), и это еще далеко не все. Оказалось, что и на столь древних уровнях родства язык «австрического типа» можно получить путем применения четких и регулярных структурных правил из языка совершенно «неавстрического» типа.

Означает ли это, что собственно праавстрический был языком «неавстрического типа»?

Г. С.: Именно так, да. Получается, что австронезийский сохраняет наиболее архаичную структуру слова — очевидно, за счет того, что все его носители покинули азиатский континент до того, как начал работать фактор структурной перестройки. Остальные три семьи, оставшиеся на территории Китая и Индокитая, все подверглись действию этого фактора, и, следовательно, корректно реконструировать праавстрический можно только опираясь на максимально архаичные структуры австронезийского праязыка.

Это, правда, ставит перед нами дополнительный вопрос — что же это был за фактор, в результате которого язык, близкий по структуре к современным австронезийским, так сильно мутировал? Опыт показывает, что наиболее естественная причина для такой перестройки — сильное субстратное влияние другого языка. А это значит, что, когда носители австрических языков пришли на территорию Юго-Восточной Азии, она уже была хотя бы отчасти занята носителями каких-то еще более древних, совершенно неизвестных нам языков, которые и повлияли на появление в этом регионе «австрического котла». Что это были за языки, и почему *они* были устроены так необычно, остается только догадываться — до тех пор, пока праавстрический не будет убедительно реконструирован на уровне не только базисной, но и культурной лексики, здесь могут быть только спекуляции.

И. П.: Но при этом до недавнего времени о какой-либо австрической реконструкции вообще было нечего говорить — были разве что старые, «допотопные» сравнения Шмидта и Бенедикта, что-то было накопано

лингвистами-любителями в рамках «массового сравнения», все на очень несерьезном уровне. Какое-то количество интересных австрических этимологий удалось найти и мне в ходе работы над языками всего этого ареала, что-то стало медленно складываться, но в конце концов наблюдавшему за моей работой Серёже Старостину это надоело, и он высказался в том духе, что, мол, хватит дурака валять, надо сесть вплотную и сфокусированно сделать костяк реконструкции.

Так что мы сели, выписали все, что было в уже вышедшей литературе, добавили источников и, действительно, довольно быстро составили очень приличный список австронезийских и мон-кхмерских слов общего, предположительно «праавстрического» происхождения. Там, где это легко удавалось, добавляли и потенциальные параллели из тайских и мяо-яо языков. Корпус составлялся сначала на основании фонетического сходства (с учетом принципа «усечения слогов» в неавстронезийских языках), затем мы перешли к установлению фонетических соответствий и разработали, на мой взгляд, довольно правдоподобную модель (о ней Старостин делал специальный доклад на одной из последних своих конференций), которую можно использовать как базу для будущих уточнений. На текущий момент в корпусе около 900 этимологий, из них не менее трети — это параллели в области базисной лексики, так что сама по себе австрическая гипотеза, на мой взгляд, подтверждается очень надежно, хотя конкретные детали, как всегда, еще требуют многочисленных уточнений.

Г.С.: Я могу эту информацию дополнить свежими данными собственных лексикостатистических подсчетов по 50-словной (наиболее устойчивой) половине списка Сводеша. Тут картина такая. Надежнее всего выглядит австро-тайская часть гипотезы — примерно 15 из 50 слов совпадает, что соответствует глоттохронологической дате распада где-то в начале VI тысячелетия до н. э., то есть «праавстро-тайский» должен быть современником праалтайского (это тот возраст, с которого начинается, так сказать, «неглубокая макрокомпаративистика»). Хуже обстоит дело с альтернативной парой — австроазиатско-мяо-яо родством: примерно 5–6 лексических параллелей, связанных скорее фонетическим сходством, чем соответствиями, между отдельными ветвями этих семей. При условии их неслучайности это дает уже скорее IX–X тысячелетие до н. э.

И совсем мало, в пределах статистической погрешности, параллелей между обеими этими парами (3–4 потенциальных когната в лучшем случае). Так что на базе лексикостатистики австрическое родство в целом сегодня не подтвердить — оно выглядит заведомо хуже, чем сино-кавказское, ностратическое (по крайней мере, «узконостратическое», без спорных картвельского и дравидийского) или афразийское.

Но при этом, конечно, списывать со счетов этимологии, представленные в корпусе у С. А. Старостина и Ильи Иосифовича, тоже нельзя — корреляции, обнаруженные между австронезийскими и австроазиатскими языками, и в целом укладывающиеся в рамки регулярных соответствий, слишком многочисленны, чтобы объяснять их случайным совпадением, и слишком глубоки, чтобы объяснять их недавними контактами. Вполне допустимо, что праавстрический, с одной стороны, был несколько древнее, чем, скажем, прасино-кавказский, а с другой — что его языки-потомки прошли через гораздо более сильный этап «лексического вымывания» под влиянием местных субстратных языков.

Довольно проблематична, кстати, и реконструкция общей местоименной парадигмы для праавстрического. Оптимальным кандидатом на роль этой «визитной карточки макросемьи», наверное, должна быть уникальная оппозиция **K*- 'я': **M*- 'ты', но реально такой вид имеет только тай-кадайская парадигма (например, старые формы в тайском: *ku*: 'я', *ming* 'ты'), а дальше дело обстоит так:

- **K*- 'я' есть в общеавстронезийском (*aku* 'я' в большинстве малайско-полинезийских языков и однокоренные формы на Тайване) и во многих языках мяо (но не яо);
- **M*- 'ты', наоборот, характерно для праавстроазиатского (сохранилось, например, во вьетнамском *tau*) и для мяо-яо.

Правда, здесь у австрических языков есть своеобразное оправдание: местоименные системы в языках Юго-Восточной Азии отличаются особой нестабильностью из-за того, что там с незапамятных времен бытуют специальные нормы этикета, требующие постоянного употребления и, главное, регулярного обновления специальных форм вежливости, причем не просто по хорошо известному нам принципу подмены форм единственного числа формами множественного (обращение к собесед-

нику на «вы»), а по более хитрым принципам (например, эвфемистическая замена местоимения 'ты' на слово 'господин', а местоимения 'я', соответственно, на 'слугу' и т. п.). Обычно это связывается с позднейшим влиянием «высококультурных» языков, в первую очередь китайского, но есть основания подозревать, что процесс на самом деле начался намного раньше. Так что нам еще сильно повезло, что до сих пор все-таки сохраняются хотя бы следы древнейшей корреляции.

И. П.: По поводу того, почему отдельные ветви австрической макросемьи так далеко разошлись друг от друга, есть вот еще какие соображения. Большинство австронезийских языков, например, довольно сильно похожи друг на друга; если только речь не идет о какой-то исключительной ситуации «разрушения» языковой системы, сходства эти для любого наблюдателя очевидны. То же самое можно сказать и про любые два произвольно взятых мон-кхмерских языка. Но при этом если взглянуть на сопутствующую этническую картину, окажется, что никакой четкой корреляции нет — носители этих языков выглядят очень по-разному. Например, низкорослые темнокожие жители острова Добу ничем не напоминают высоких, светлокожих полинезийцев, хотя и те и другие говорят на австронезийских языках. На них же говорят и похожие на пигмеев жители Филиппин — а вот схожие с ними по цвету кожи и физическим данным люди, которые живут совсем недалеко, в Малайзии, уже говорят на австроазиатских языках. Значит, скорее всего, и там, и тут все эти группы представляют собой остатки древнего населения, которое перешло на языки пришельцев — где-то пришельцами были австронезийцы, где-то — мон-кхмеры, но исход был в обоих случаях одним и тем же.

Помимо антропологических характеристик, носители австронезийских языков различаются и по особенностям материальной культуры. Среди них есть и профессиональные мореплаватели, и горные, и равнинные земледельцы, и охотники-собиратели, и все они говорят тем не менее на очень близких языках. Следовательно, для всего этого региона наложение «нового» языка на «старый» — скорее норма, чем исключение. А наложение это может протекать разными путями: иногда язык заимствуется без серьезных потерь, иногда же, наоборот, по той или иной причине значительно искажается при вторичном выучивании.

А можно ли, при всей сложности и зыбкости «австрической» конструкции, все-таки что-то определенное сказать о том, где и когда существовал соответствующий праязык?

И. П.: Относительно австрической прародины пока что никаких гипотез нет. Распался ли австрический праязык где-то 12 тысяч лет назад, как это получается по лексикостатистической модели Г. Старостина, или скорее 10–9 тысяч лет назад, как это получалось по нашим старым подсчетам с Сергеем Старостиным, вне зависимости от этого, сказать, где имел место этот распад, без полноценной праавстрической реконструкции невозможно. Можно только предположить что-то очень спекулятивное, приняв во внимание разброс точек, где предположительно локализируются прародины основных ветвей. Первичная прародина австронезийцев — где-то на северном побережье Китая (Тайвань можно считать в лучшем случае «вторичной» прародиной); австроазиатов — где-то в джунглях Индокитая или Юго-Западного Китая (провинция Юньнань), так как в их праязыковой лексике вообще нет слов, связанных с морем и мореплаванием; тай-кадайцев и мяо-яо — также в южных районах современного Китая.

Г. С.: Судя по дистрибуции, получается, что, если хронологическая дистанция между распадом праавстрического и началом распада его основных ветвей не очень велика, то и австрическая прародина, по всей видимости, была где-то в Китае — может быть, в бассейне Янцзы. Было бы, конечно, соблазнительно отождествить ее с первыми рисоводами в этом регионе, но для этого стоило бы сначала хотя бы восстановить праавстрический ‘рис’... Но на самом деле хронологическая дистанция эта может быть и достаточно большой, как показывает лексикостатистика по 50-словным спискам, и тогда вся эта точечная дистрибуция вообще не показательна, потому что попасть в южные районы Китая «древние австрики» могли откуда угодно, хоть с севера, хоть с запада.

Но все эти древние австрические народы, прошлое которых так или иначе связано с Китаем, так или иначе не были собственно «китайцами», то есть ханьцами? Ханьцы (сино-тибетцы) появились позже?

И. П.: Да, старая теория, которая помещала сино-тибетцев, включая предков ханьцев, куда-то в бассейн Хуанхэ, основывалась в основном на идеологических принципах. Сегодня гораздо перспективнее и убедительнее выглядит гипотеза о предгорьях Гималаев — уютные долины Непала и Северной Индии с хорошим климатом, надежно защищенные от внешних вторжений.

При этом любопытно, что, хотя сино-тибетцы, по-видимому, жили относительно недалеко от австроазиатов, культура их, реконструируемая по лексическим данным, была совсем иной. На прасино-тибетский уровень (а это примерно IV–V тысячелетие до н. э.) можно спроецировать слова с такими значениями, как ‘золото’, ‘серебро’, разные названия домашних животных и злаков, даже такие понятия, как ‘разбой’ и ‘воровство’. Австроазиаты же, хотя и имели отчасти сходные земледельческие традиции, не были знакомы с металлами, животных разводили совсем других (кроме свиньи) и в целом выглядят гораздо менее технологически продвинутыми.

Поэтому, наверное, нет ничего удивительного в том, что, когда одна из таких «продвинутых» сино-тибетских групп в какой-то момент двинулась на восток, а затем повернула на север, в сторону Хуанхэ, и столкнулась там с австронезийцами, последние немало от них заимствовали — включая, например, слово ‘красть’ (!). С другой стороны, параллельно и эти самые «протокитайцы» немало заимствовали от австронезийцев — в древнекитайском языке обнаружено немало слов с австронезийскими параллелями, но без тибето-бирманских.

Г. С.: Да, похожих слов между древнекитайским и австронезийскими языками так много, что это даже сподвигло в свое время французского сиолога Лорана Сагара выдвинуть так называемую сино-австронезийскую теорию, согласно которой ближайшим родственником китайского оказывалась как раз австронезийская семья, в то время как схождения между китайским и тибето-бирманскими он пытался объяснить как результат многотысячелетних контактов. Это было где-то в середине 1990-х годов; позже он все-таки признал, что китайский и тибето-бирманские языки входят в одну семью, и сегодня продолжает развивать свою гипотезу уже на более широкой основе — сравнивая сино-тибетскую семью

в целом с австронезийской в целом (а если еще точнее, то даже с австротайской, так как Сагар поддерживает старую идею Бенедикта об особой близости австронезийских и тай-кадайских языков — но не австрическую гипотезу в целом, то есть без австроазиатов и мяо-яо)¹.

Единственное, в чем «сино-австронезистика» Сагара сходится с точкой зрения московских компаративистов — это в том, что ранние австронезийцы не «самозародились» на Тайване, а, действительно, перебрались на острова с материка, где некоторое время находились в непосредственной близости от сино-тибетцев. Дальше точки зрения расходятся — мы склонны считать, что большинство «сино-австронезийских» этимологий Сагара на самом деле говорят о тесных языковых контактах между древними китайцами и австронезийцами, а не о генетическом родстве. Среди этих слов мало приличных базисно-лексических параллелей, но при этом встречаются любопытные культурные термины ('зерно', 'рис', 'курица', почему-то 'метла' и др.), которые могли быть заимствованы как в ту, так и в другую сторону.

И. П.: Тем более что сейчас начинает выясняться, что древние (дописьменные) китайцы на самом деле были чрезвычайно склонны к языковым контактам. Например, известно, что примерно в V–IV тысячелетии до н. э. в долине Хуанхэ процветала древнейшая неолитическая (до металла) культура Яншао. Традиционно считалось, что это была культура предков китайцев — раз там и сейчас живут китайцы, значит, это были их предки. Но если сравнить реконструированную по лексике сино-тибетскую культуру с тем, что установили археологи про культуру Яншао, то оказывается, что они сильно не совпадают. Например, в Яншао толком не было ни риса, ни крупного скота, ни, тем более, металла, а у сино-тибетцев, и, соответственно, у предков китайцев, все это было.

Наоборот, когда Сергей Старостин, Анна Дыбо и Олег Мудрак составили первый крупный корпус праалтайских этимологий, оказалось, что праалтайская культура вполне «совместима» с культурой Яншао. Это

¹ Наиболее «свежая» версия сино-австронезийской гипотезы изложена в статье: *Sagart Laurent. Sino-Tibetan–Austronesian: an updated and improved argument // Sagart L., Blench R., Sanchez-Mazas A. (eds). The Peopling of East Asia: Putting Together Archaeology, Linguistics and Genetics. London: Routledge Curzon. P. 161–176.*

сподвигло Сергея на то, чтобы заняться вопросом вплотную¹ — и в итоге он обнаружил, что в древнекитайском языке, уже в самых ранних письменных памятниках, есть немало слов без сино-тибетских этимологий, но которые при этом очень удобно объяснить как алтайские заимствования, в основном культурные термины: ‘пшеница’, ‘земледелие’, ‘гость’, ‘дань’, ‘меч’ и другие. Доходило даже до курьезов: в древнекитайском языке, например, есть специальные глаголы со значением ‘отрезать нос’, ‘отрезать уши’ (у убитых врагов или преступников) — им соответствуют реконструированные праалтайские существительные ‘нос’ и ‘уши’, то есть контакты, по-видимому, далеко не всегда носили исключительно мирный характер. Из всего этого можно заключить, что китайская цивилизация уже в самих своих истоках сформировалась на стыке как минимум трех культурных традиций — сино-тибетской (основной), австронезийской и алтайской (контактные слои). Что во многом и обусловило ее уникальность.

Г.С.: На этой ноте, наверное, можно закончить наш краткий обзор австрической гипотезы, и вернуться к этому разговору лет через десять, когда будут обработаны новые данные и можно будет уточнить многие спорные моменты — в первую очередь конкретный состав австрической макросемьи, которая, как и все остальные макрогипотезы такого уровня, вполне еще может измениться в своих границах.

Например, совсем недавно у наших западных коллег Джона Бенгтсона и Вацлава Блажека вышла статья о возможном австрическом происхождении вымирающего языка айнов (коренного населения Японии)²; в ней приводятся очень сильные аргументы, в том числе и из области базисной лексики, но из-за того, что айнский — язык-изолят, близких родственников не имеет, удостовериться в неслучайности этих сопоставлений и, самое главное, в их генетическом, а не контактном характере, чрезвычайно сложно. Не исключено, что когда-нибудь состав австрической макросемьи будет расширен и за счет каких-нибудь других ветвей — и в Тихоокеанском регионе, и в джунглях Юго-Восточной Азии

¹ См.: *Starostin Sergei. Altaic and Chinese // Смаростин С. А. Труды по языкознанию. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 850–853.*

² *Bengtson John, Blažek Václav. Ainu and Austric: Evidence of Genetic Relationship // Вопросы языкового родства. 2009. № 2. С. 1–24.*

еще остается масса мелких языков-изолятов и маленьких языковых групп, место которых в общей классификации не определено. (Некоторые, возможно, еще вообще даже не открыты, не то что не описаны.) В общем, область знания эта совсем свежая, и сюрпризов будет еще немало.

Завершая разговор об австрической макросемье, мы тем самым подводим и условную черту под рассказом о всех четырех основных, крупнейших макросемьях на территории Евразии: ностратической, сино-кавказской, афразийской и австрической. С точки зрения Московской школы компаративистики, историческая реальность всех этих макросемей, если и не строго «доказана», то, по крайней мере, обоснована существенными аргументами — именно генетическое родство, а не контакты и тем более не случайное совпадение, лучше всего объясняет систематические сходства языковых данных между включаемыми в них семьями. Таким образом, в рамках нашей текущей модели можно предполагать, что абсолютное большинство языков, распространенных сегодня на территории Евразии, восходит не более чем к *четырем* различным праязыкам, на которых говорили порядка 12–14 тысяч лет тому назад. (Это, разумеется, не означает, что во всей Евразии тогда говорили всего на четырех языках: просто все остальные вымерли, не оставив потомков.)

И. П.: Да, и хотя многие аспекты остаются смутными, всё же все четыре гипотезы на сегодняшний день носят очень конкретный, четко очерченный характер — такие-то семьи так-то и так-то объединяются в макросемьи, датируемые таким-то временем. Что, в свою очередь, позволяет обсуждать и то, как *сами* эти макросемьи могут быть связаны между собой, и каковы генетические связи между ними и другими языками мира — до недавнего времени этот вопрос на серьезном уровне вообще невозможно было поставить.

Незадолго до смерти С. А. Старостин высказал предположение, что эти четыре гиганта могут на еще более глубоком уровне образовывать «макро-макросемью», за которой в наших кругах позже закрепилось неофициальное название «борейской». Предположение это он подкрепил конкретным набором потенциальных борейских этимологий, но финальные границы очерчены не были: осталось неизвестно, могут ли в это же

гигантское объединение попадать и другие макросемьи, за пределами Евразии. Этой проблемой заняться пришлось уже другим участникам проекта — Г.С. Старостину, работающему в основном над Африкой; мне, работающему с Тихоокеанией и Америкой; и С.Л. Николаеву, который также взял на себя большую часть работы по Америке.

С Африкой, насколько я понимаю, ситуация такая, что нигер-конголезская и нило-сахарская макросемья показывают какие-то «борейские» связи, в то время как между койсанами и «борейцами» никаких четких корреляций нет в принципе — так ведь?

Г.С.: По-видимому, так, хотя еще раз хочу подчеркнуть, что речь идет не о том конкретном «нило-сахарском» и «нигер-конголезском» массиве, какими их себе представлял Гринберг, а скорее о крупнейших архаичных блоках внутри этих массивов. Проще всего «борейские» морфемы обнаруживать, если к сравнению привлекать, скажем, отдельно языковую семью банту или отдельно нилотскую семью, чем «нигер-конго» или «нило-сахарский» как таковой, то есть гораздо более аморфные и генетически неочевидные объединения. Иначе говоря, далеко не все некойсанские африканские языки идеально вписываются в «борейскую» картинку. Но какие-то возможные связи прослеживаются, это бесспорно. Если напрямую сравнивать банту с ностратами, похожей лексики не меньше, чем между ностратами и сино-кавказцами.

И.П.: Да, и, забегая вперед, аналогичные ситуации отмечены и в тех ареалах, о которых мы будем говорить сегодня. Итак, в число первых обязанностей по нашему проекту входило сравнительно-историческое обследование языков, которые локализованы на острове Новая Гвинея и соседних островах. Языки эти традиционно называются «папуасскими», но термин это не генетический, а чисто ареальный¹.

Нам удалось установить, что с точки зрения исторических связей уместно делить их как минимум на два очень сильно отличающихся друг от друга «блока». В первый «блок» входит огромная масса, объединяющая порядка 800 языков; за ней в предыдущей традиции со времен ис-

¹ В качестве общего введения в «папуасскую проблематику» можно рекомендовать обзорную работу: *Foley William A. The Papuan Languages of New Guinea. Cambridge University Press, 1986.*

следований выдающегося лингвиста и полиглота Стивена Вурма (1922–2001) закрепилось название «транс-новогвинейской» семьи, так как это единственный «папуасский» блок потенциально родственных языков, охватывающий преимущественно центральную горную часть острова с крайнего запада до крайнего востока. Оказалось, что языки, которые входят в ядро транс-новогвинейской семьи (есть еще и периферийная, более сомнительная часть), обнаруживают тесные связи почти со всеми языками Австралийского континента.

С другой стороны, в том же географическом ареале распространены и плохо изученные языки острова Хальмахера, генетическая принадлежность которых пока неизвестна, а также некоторое количество языков и небольших языковых групп западной (индонезийской) стороны Новой Гвинеи, совершенно непохожих ни на «транс-новогвинейские», ни тем более на австралийские.

Основываясь на материалах, которые мы изучали и которые мы считаем достоверными, можно предложить следующую схему: основные языки транс-Новой-Гвинеи и Австралии, вероятно, тоже достаточно близки к «борейским», тогда как языки острова Хальмахеры и запада Новой Гвинеи не удастся объединить с ними. Тогда получается такая картина: носители «борейских» языков появились на Новой Гвинее, в результате часть местных языков была замещена языками пришельцев, а в местах, куда пришельцы не добрались, старые языки сохранились.

Про вымершие языки жителей острова Тасмания я не знаю ничего, так как от них сохранилось не так много данных. Существуют несколько работ, которые утверждают, что эти языки тоже родственны новогвинейским, но я в это не очень верю — слишком мало лексики, чтобы делать определенные выводы.

Г. С.: В целом, конечно, надо признать, что Австралия и Папуасия для Московской школы компаративистики до сих пор остаются белым пятном. Во всем нашем проекте над этим ареалом работали и продолжают работать всего два человека: Илья Иосифович и наш американский коллега Тимоти Ашер, лингвист-любитель, сумевший перейти от чистого «гринбергианства» к серьезной лингвистической компаративистике (кроме него, это удалось сделать только сино-кавказологу Джону Бенгтсону).

Сейчас он работает над последовательным историческим анализом мелких семей Папуа-Новой Гвинеи, что непросто, так как семей этих на Новой Гвинее около сотни (подчеркиваю — *семей*, не языков), и даже на общий, достаточно неглубокий анализ каждой уходит от полугода до года работы.

В любом случае очевидно, что там, на Новой Гвинее, в этом уникальном «языковом заповеднике» до сих пор сохраняются языки, не имеющие вообще ничего общего с евразийскими макросемьями, — по-видимому, остатки древнейших миграций первой волны переселения из Африки. На территории материковой Евразии все эти остатки были сметены экспансией «борейских» макросемей, а в Новой Гвинее им удалось закрепиться довольно прочно, в основном за счет очень выгодного ландшафта: это гигантский остров, побережье которого ничем не защищено (поэтому там как раз местное папуасское население было в основном вытеснено или ассимилировано австронезийцами), а внутренняя часть представляет собой хаотично изрезанное месиво из горных хребтов и непролазных джунглей — в некоторые районы до сих пор иначе чем на вертолете не добраться, да и, собственно говоря, там чуть ли не в 1970–1980-е годы еще время от времени обнаруживали племена, которые до тех пор в глаза не видывали белого человека.

Как же самим папуасам удалось туда добраться?

Г. С.: Это, наверное, вопрос скорее к этнографу-антропологу, но тут могут быть разные соображения. Во-первых, 50–60 000 лет тому назад, когда, судя по археологическим данным, люди добрались до Новой Гвинеи, природные условия могли быть несколько иными. Во-вторых и в-главных, проникать в труднопроходимые области мелкими, по несколько человек, группками охотников и собирателей проще, чем проникать в них большими племенами — да, собственно говоря, для развитых земледельческих народов территории эти в принципе непривлекательны. Со временем, конечно, земледелие в Новой Гвинее развилось (на вполне самостоятельной основе), а позже от проникших на остров австронезийцев новогвинейцы переняли даже навыки свиноводства, но это произошло уже совсем недавно.

В итоге ситуация с Новой Гвинеей такова, что если, рано или поздно, будут выполнены все надлежащие условия, как то: будут описаны более или менее все языки (сейчас приличные материалы существуют от силы по десятой части всего папуасского языкового разнообразия), будут выполнены подробные реконструкции по всем мелким семьям (наподобие тех, которые сегодня для нас делает Т. Ашер) и будут выявлены все более или менее крупные семьи, то вполне вероятно, что по глубине проникновения в предисторию человечества одна-единственная Новая Гвинея будет «весить» примерно столько же, сколько вся Евразия вместе взятая, если не больше — в зависимости от того, сохраняют ли современные папуасские языки следы разнообразия, восходящего к отметке 50–60 000 лет, или же они, как и евразийские макросемьи, все-таки являются результатом более поздней экспансии какого-то одного «особо удачного» праязыка. Пока что это все, что можно сказать на данную тему.

Но в любом случае получается, что языковых родственников на континенте у папуасов не осталось?

Г. С.: Подавляющее большинство жителей Евразии, которые по своим антропологическим характеристикам близки к населению Новой Гвинеи, Меланезии, Австралии и т. п., говорят сегодня на австрических языках: например, аслийцы в Малайзии, перешедшие на мон-кхмерское наречие. По-видимому, «скрыться» от языкового влияния более поздних миграционных волн не удалось почти никому. Любопытное исключение — жители Андаманских островов (к югу от Бирмы; не путать с Никобарскими островами, где говорят на австроазиатских языках): эти ребята говорят на языках, не имеющих никаких «австрических» признаков, причем крохотная кучка этих андаманских языков, судя по имеющимся сведениям, сама распадается не менее чем на две глубокие языковые семьи (большая андаманская и онганская).

Андаманцы традиционно настроены недружелюбно, даже враждебно по отношению к любым гостям с материка, поэтому контактировать с ними, тем более в целях научного описания, очень трудно (могут встретить ядовитыми стрелами). Тем не менее отдельным отважным исследо-

вателям все-таки повезло — совсем недавно, например, вышел в свет подробный словарь большого андаманского языка, составленный группой лингвистов, которые там оказались уже после цунами 2004 года и задокументировали вполне еще живой язык¹. По онганскому данные тоже есть — другое дело, что убедительно показать их родство с чем-либо внешним никому толком не удалось. Гринберг когда-то пытался объединить новогвинейские и андаманские языки в единую «индо-тихоокеанскую» семью, но лишь на основании очень чахлах каких-то параллелей в рамках «массового сравнения», которые пока что трудно принять всерьез. Интуитивно, конечно, хочется их всех как-то свести друг с другом, но если, скажем, языковые предки современных андаманцев действительно отделились от языковых предков современных папуасов 50 000 лет назад, маловероятно, что это удастся сделать на приличном научном уровне.

И. П.: На континенте при этом, конечно, еще остается парочка необычных, ни с чем не связанных языков. Не могу удержаться, чтобы не рассказать свою любимую историю про один из них — язык кусунда. Еще в 1880-е годы английские исследователи упоминали про то, что где-то в районе Непала вроде бы когда-то был особый народ, называемый кусунда, но уже весь вымер. Проходит сто лет, и вот в 2004 году в Министерстве внутренних дел Непала объявляются три странных человека и просят, чтобы им выдали непальские паспорта — притом что непальцы, говорящие на обычном (индоарийском) непальском языке, почти не могут с ними объясниться. Привлекли по такому случаю американского лингвиста Дэвида Уоттерса, работавшего в Катманду, и тот понял, что перед ним те самые якобы вымершие кусунда. Очень повезло, что он успел с ними тщательно поработать — записать тексты, словарь, составить грамматику. Но отмечу, что фактически ни одно по-настоящему крупное средство массовой информации про эту находку ничего не сообщило — притом что событие было абсолютно уникальным: новый язык Евразии, *вообще* никаким родством не связанный ни с одной семьей! При этом в то же самое время во всех популярных источниках пи-

¹ *Abbi Anvita*. Dictionary of the Great Andamanese Language. Delhi: Ratna Sagar, 2012.

сали, что, например, где-то в Бразилии нашли какой-то редкий вид паука. Пауки — это, конечно, замечательно, но, на мой взгляд как лингвиста, это все-таки величайшая несправедливость, что обнаружение уникального языка, возможно, прямого потомка древнейшего населения Индии, привлекает меньше внимания со стороны средств массовой информации, чем бразильский паук.

А второй изолированный язык — это что?

И. П.: Второй — это нахали или нихали, на нем говорит около 2 000 человек в Центральной Индии. Тоже ни на что не похож. В нем хорошо виден огромный слой заимствований из языков мунда, дравидийских и индоарийских языков, но есть и много базисных слов, которые не этимологизируются.

Конечно, большой надежды на то, что по этим крохам удастся восстановить какое-то достоверное представление о древнейшей языковой картине индо-гималайского региона, нет. К данным кусунда и нахали можно подключить корпус не-индоарийской лексики в современных индоарийских языках, но это дело очень сложное и долгосрочное, до сих пор им почти никто не занимался.

Г. С.: Есть несколько исследований по иноязычным субстратам в санскрите — например, уже в древнейших памятниках древнеиндийского языка, Ведах, обнаружено некоторое количество слов, не имеющих никаких эквивалентов ни в индоевропейских языках, ни в дравидийских, ни в мунда. Есть еще, например, феномен веддов — доиндоарийского населения Цейлона: так называемый язык ведда — это на самом деле диалект сингальского (индоарийского) языка, но в нем сохранился довольно значительный слой лексики, унаследованной веддами от их далеких предков.

Со временем все эти данные удастся отфильтровать, тщательно и системно задокументировать, сопоставить друг с другом и, самое главное, с языковыми данными других семей. Но пока что изучение субстратов в языковых семьях мира — дисциплина, которая только-только зародилась, и путь ей предстоит еще пройти очень долгий.

Хорошо, с доиндоарийской Индией и ее возможными связями с Тихоокеанским регионом более или менее понятно. Осталось, кажется, из всей планеты охватить, хотя бы вкратце, только американский континент.

И. П.: По Америке мы, наверное, тоже ограничимся очень краткой информацией, потому что серьезная компаративистская работа на глубинном уровне для этого региона началась совсем недавно.

Для ясности изложения попробуем хронологическую нить раскрутить в обратном порядке. Если не считать совсем новых волн иммиграции в Америку индоевропейских народов (Колумб и все, что за ним последовало), то на сегодняшний день носители последней по времени волны языков, которые попали в Америку 5–6 тысяч лет тому назад, — это эскимосы. Вопрос о внешних связях эскимосских языков внимательно исследовал О. А. Мудрак¹, которому удалось показать, что их можно включить в ностратическую семью. Однако на тот момент Америка уже была достаточно густо заселена, так что эскимосам удалось закрепиться лишь на крайнем севере, где они сохранили образ жизни, к которому уже успели приспособиться по азиатскую сторону Берингова пролива.

Далее, непосредственно предшествующая эскимосской волна заселения — это языки на-дене, о которых уже шла речь выше: с точки зрения Московской школы компаративистики, на-дене — это крайняя восточная ветвь сино-кавказской, или дене-кавказской макросемьи. Вопросами внешних связей языков на-дене у нас серьезно занимается С. Л. Николаев, а в Америке — Джон Бенгтсон. Эта волна миграции, судя по данным дене-кавказской лексикостатистики, закончилась за несколько тысяч лет до начала эскимосской, то есть где-то 7–8 тысяч лет тому назад.

Дальше начинается самое интересное. Есть две основных, диаметрально противоположных, гипотезы о том, как соотносятся друг с другом все остальные языки Америки. На одном полюсе — представление о том, что все разнообразие языков Северной, Центральной и Южной Америки принципиально несводимо друг к другу, то есть фактически о том, что по территории этих материков разбросано от одной до двух

¹ О. А. Мудраку, в частности, принадлежит авторство огромного компендиума по эскимосской этимологии; см.: Мудрак О. А. Эскимосский этимологикон. М.: Тезаурус, 2011.

сотен семей, не связанных друг с другом генетическим родством или, по крайней мере, таким родством, которое можно было бы убедительно продемонстрировать. Эта концепция на сегодня является «мейнстримом» — ее по умолчанию разделяет подавляющее большинство американских лингвистов; но, справедливости ради, отметим, что подавляющее большинство это обычно и не пытается протестировать возможные гипотезы о родстве между теми или другими семьями. В лучшем случае речь идет о специалистах по отдельным узким семьям, в худшем — о лингвистах, вообще не интересующихся компаративистикой, а просто повторяющих стандартные «модные» штампы о том, что в одной только Америке языковых семей насчитывается больше, чем во всем остальном мире, вместе взятом и т. п.

Противоположная гипотеза была выдвинута и подробно обоснована Джоозефом Гринбергом. Он развил идеи, которые были уже сформированы в начале XX века (в частности, таким великим лингвистом, как Эдвард Сепир), обобщил их и в конечном итоге объявил, что все языки Америки, за исключением поздних волн (на-дене и эскимосско-алеутской), родственны между собой и образуют единую макросемью, которую он назвал *америндской* (Amerind). Этой гипотезе он посвятил большую монографию¹, которая, едва успев выйти в свет, была немедленно встречена в штыки американистическим сообществом, что, впрочем, было вполне предсказуемо.

Г. С.: Причем реакция была настолько сильной, что, кажется, даже сам Гринберг был несколько ошарашен. Выше я уже говорил о том, какие, по моему мнению, причины могли повлиять на такой негатив в отношении американских штудий Гринберга (в то время как африканские его штудии, основанные фактически на той же самой методологии, принимались намного более благосклонно). Очень многое зависело от конкретной конъюнктуры. Но факт остается фактом: к «Language in the Americas»⁷ американисты сегодня склонны относиться примерно с той же степенью уважения, что и, скажем, к Книге Мормона (даже вне зависимости от того, читали они ее или нет).

¹ Greenberg Joseph. Language in the Americas. Stanford University Press, 1987.

И. П.: К сожалению, ни сторонники, ни противники идеи «глобального» родства языков американских индейцев на самом деле не выполнили самого главного — никто из них не провел по-настоящему систематического обследования материала. В книге Гринберга приводятся многочисленные лексические и грамматические сопоставления, на основе которых его ученик Мерритт Рулен впоследствии составил «Америндский этимологический словарь», который на самом деле «этимологическим» можно назвать лишь с колоссальными натяжками. Корпус, как это и бывает обычно при «массовом сравнении», набросан из хаотичных сравнений — нет фонетических соответствий, нет ни одной реконструкции, фактически отсутствует «ступенчатый» подход к сравнению, масса конкретных языковых ошибок (что Гринберга не смущало, поскольку он уверенно считал, что количество все равно неизбежно переходит в качество), в общем, одно сплошное удовольствие для строгого критика.

Но если говорить об этимологических словарях для отдельных мелких языковых семей Америки, то их число тоже можно пересчитать буквально по пальцам. Чтобы разобраться с Америкой в целом, нужно сначала разобраться с ней по частям — и вот тут оказывается, что те самые критики, «уничтожившие» Гринберга, за очень редкими исключениями совершенно не внесли *позитивного* вклада в систематическое историческое изучение американских языковых семей. Даже для тех языковых групп, где сложились довольно благоприятные компаративистские традиции (например, алгонкинская или юто-ацтекская), до сих пор отсутствуют полноценные этимологические корпуса наподобие индоевропейского или уральского — а что уж говорить, скажем, о каких-нибудь мелких семьях, укрывающихся в дебрях амазонских джунглей!

Так что и тут в рамках нашего проекта «Эволюция языка» расчищать эти конюшни приходится нам самим — американисты, как правило, в этом не очень заинтересованы. Работа в течение последних десяти лет велась в основном С. Л. Николаевым и мной; она еще очень далека от завершения, но уже появляются отдельные интересные результаты. В «сыром» виде они представляют собой небольшие, пока что неопубликованные этимологические корпуса, слов по 400–500, в сопровождении предварительно прикинутых фонетических соответствий, списков Сводеша и лексикостатистических подсчетов. Таких корпусов для Южной

и Северной Америки у нас с Сергеем накопилось примерно два десятка; если подключить к ним немногочисленные внешние сравнительные материалы, то поверхностное сравнение, основанное на фонетическом и семантическом сходстве, интуитивной этимологизации и (иногда) попытках нащупать какие-то хронологически глубокие контуры фонетических соответствий, дает примерно следующие результаты (сугубо предварительные, но я их все-таки озвучу, с соответствующими оговорками).

Большой «кусок» языков Америки действительно может образовывать гигантскую единую языковую семью. Если мы зарезервируем гринберговский термин «америндский» именно для этого массива, то в него входят такие семьи, как хока и пенути (в Калифорнии), майя и михе-соке (в Мезоамерике), кечуа и, возможно, чибча (в Южной Америке), и еще ряд языковых групп на западном побережье США и в Центральной Америке.

Г. С.: Насколько я понимаю, одним из отличительных признаков этого массива является общая местоименная парадигма — для «собственно америндских» языков она чаще всего имеет вид *N 'я': *M 'ты'. На нее в свое время внимание обратил уже Гринберг, но при этом ему всегда ставили на вид, что на самом деле есть масса языковых семей в Америке, где никаких следов именно такой парадигмы нет. Так что местоимения в языках Америки, действительно, с одной стороны играют на руку макрокомпаративисту, с другой — все равно не дают свести все разнообразие к единому первоисточнику.

И. П.: Да, и будь то местоимения или любые другие лексические сравнения, остается немало семей, которые совершенно не демонстрируют близости с «узкоамериндским». Наиболее яркие примеры такого «неродства» — это языки ирокезов и индейцев сиу в США и большая группа тупи в Бразилии. Что с ними делать, пока непонятно; возможно, какие-то из этих семей удастся сгруппировать в «альтернативный» блок, но пока что эта перспектива маловероятна.

Есть и еще одно, особенно интересное наблюдение: последние десять лет Николаев тестирует собственную гипотезу о том, что одна из самых больших и лучше всего исследованных языковых групп Северной Америки, алгонкинская (туда входят языки индейцев блекфут, шайенн,

кри, оджибве и др., раскиданные по огромным территориям Канады и северных Штатов), связана генетическим родством с языковой семьей по другую сторону Берингова пролива — чукотско-камчатской. Прачукотско-камчатская реконструкция сегодня представлена этимологическим словарем О. А. Мудрака¹, алгонкинская была в общих чертах пополнена американцами еще в первой половине XX века, хотя удобного этимологического словаря до сих пор не появилось, но, в общем, сравнительный материал находится в приличном состоянии, и порядка сотни общих этимологий, по мнению Николаева, удастся определить.

Не исключено, что границы этой «берингийской» семьи удастся еще расширить: чукотско-камчатские языки, например, тот же Мудрак уже давно сопоставляет с еще одним дальневосточным языком-изолятом — нивхским (вымирающий язык охотников и рыбаков Сахалина и Приамурья), а алгонкинские давно уже сравниваются с двумя другими семьями на западном побережье Северной Америки, сэлишской и вакашской. Возможно, что в конечном итоге все они восходят к общему праязыку. Но в целом это остается пока скорее на уровне спекулятивно-интуитивных соображений — по крайней мере до тех пор, пока мы не получим полноценного этимологического корпуса с фонетическими соответствиями и с лексико-статистикой.

По этой схеме получается, что люди мигрировали в Америку уже не в один поток, и даже не в три, а многочисленными волнами — эскимосы, на-дене, «узкоамеринды», ирокезы, сиу, «берингийцы», еще кто-то... насколько это вообще согласуется с известными историческими сценариями, с археологией, с генетикой? И что с датами?

И. П.: Исторические сценарии могут быть очень различными; в частности, не следует забывать, что даже одна волна миграции могла забросить на территорию Америки сразу несколько этнических групп, говоривших на нескольких, не связанных близким родством языках. Что мы знаем более или менее точно? Что первые люди появляются на террито-

¹ Мудрак О. А. Этимологический словарь чукотско-камчатских языков. М.: Языки русской культуры, 2000. Несколько иной подход к чукотско-камчатской этимологии представлен в словаре западного исследователя М. Фортезкью, специалиста по «палеосибирским» языкам: Fortescue M. Comparative Chukotko-Kamchatkan Dictionary. Berlin: Walter de Gruyter, 2005.

рии Америки не ранее чем 14–15 тысяч лет тому назад (есть и археологические гипотезы о гораздо более раннем заселении, но они чрезвычайно сомнительны). Что в то время Америка была соединена с Азией полосой суши (Берингским мостом), который приблизительно 12–13 тысяч лет назад окончательно ушел под воду. С другой стороны, даже после образования Берингова пролива возможность перебраться с одного материка на другой нельзя исключать полностью — лодки и даже дрейфующие льды теоретически могли при случае поспособствовать хотя бы небольшим группам. Так что нет никаких серьезных оснований придерживаться идеи «единой» миграции как догмы, не подлежащей сомнению.

Г. С.: Совсем недавно вышла статья по сравнительному анализу геномов американских индейцев¹, которая, на первый взгляд, идеально подтверждает теорию Гринберга. Международная команда генетиков проанализировала более сорока образцов ДНК разных индейских народностей и показала, что начиная примерно с 18 000–15 000 лет тому назад из Евразии в Америку были три основных волны миграции, из которых первая была самой мощной — ей удалось докатиться и до Южной Америки; вторая «застряла» в Северной, причем шла в основном вдоль побережья (что, конечно, напоминает миграционную историю на-дене), а третья началась совсем недавно и затронула в основном Аляску и Канаду (это, конечно, эскимосы).

Наши знакомые «гринбергианцы» в свете этого достижения чрезвычайно обрадовались — действительно, страшно приятно, когда генетические данные совпадают с лингвистическими. Но на самом деле радоваться тут рано. Во-первых, сорок образцов ДНК на всю Америку — все-таки очень мало: следует дожидаться более полноценного анализа (что, кстати, непросто, так как индейцы, как известно, очень неохотно сдают образцы крови). Во-вторых и в-главных, общая генетика первых переселенцев в Америку еще совершенно не доказывает общность языка. Группы этих переселенцев по определению не могли быть большими; в ситуации, когда, скажем, в Аляску на протяжении одного тысячелетия перебирается несколько популяций, каждая размером в 100–150 человек и со своим собственным язы-

¹ Reich David, Patterson Nick et al. Reconstructing Native American population history // Nature. 2012. Vol. 488. P. 370–374.

ком, из этого могут образоваться самые разные конфигурации. Смешиваются гены, унифицируются или, наоборот, сохраняются в изначальном разнообразии языки, и в итоге «генетическое доминирование» одной популяции над другой — это один процесс, а «лингвистическое доминирование» — другой. Но, впрочем, мы об этом уже неоднократно говорили.

Так что ответ здесь стандартный: узнать, сколько разных языков за последние 15 000 лет проникли на территорию Америки и, главное, сколько из них оставили живых потомков, можно *только* с помощью стандартных методов сравнительно-исторического языкознания, ни генетика, ни археология здесь ничего не подскажут. А это значит, что предстоят еще многие годы, вероятно, десятилетия упорного труда по составлению словарей, поиску этимологий и т. д.

Вообще, наверное, про языки Америки и их историческую специфику можно наговорить целую поэму, но мы здесь ограничены объемом, и к тому же опыт работы Московской школы компаративистики с языками «америндов» пока что остается довольно ограниченным, равно как и опыт работы с языками Новой Гвинеи и Австралии — поскольку в эту сферу, по большому счету, мы залезли лишь с момента запуска проекта «Эволюция языка», лет 12–15 тому назад. Так что если нашему читателю хочется больше узнать про языки Америки, то я бы порекомендовал для расширения кругозора две книги, представляющие полярные точки зрения, — с одной стороны, это уже упомянутая монография Дж. Гринберга «Language in the Americas», с другой — полноценное введение в американистику, написанное заклятым врагом Гринберга и одним из главных «гиперскептиков» в компаративистике, профессором Лайлом Кэмпбеллом¹. Как обычно, истина, скорее всего, лежит где-то посередине между ними; думаю, что со временем мы с нашим проектом к ней приблизимся на вполне пристойное расстояние. И на этом, наверное, сегодня можно и закончить.

¹ *Campbell Lyle. American Indian languages: the historical linguistics of Native America. Oxford University Press, 1997.*

Беседа X. Заключение. Глобальная перспектива
[Собеседник — Г. С. Старостин]

Е. Сатановский: Ну что же, теперь, наверное, настало самое время от конкретного обзора по отдельным ареалам планеты перейти к оценке ситуации в целом? Понятно, конечно, что нерешенных задач в масштабах отдельно взятых семей и регионов еще остается намного больше, чем решенных, но все-таки — можно ли уже сейчас дать какую-нибудь краткую оценку, может быть, прогноз, как далеко мы сумеем зайти? Что с праязыком человечества — был ли он, и если да, то получится ли его реконструировать?

Г. С.: Давайте для начала подведем черту под всем, что уже было изложено. Итак, в общем и в целом Московская школа компаративистики ответственно утверждает, что подавляющее большинство известных нам сегодня языков восходит к очень небольшому числу праязыков «макро»-уровня. Если взять такие упоминавшиеся выше праязыки, как ностратический, афразийский, дене-кавказский, австрический, нигер-конголезский, транс-новогвинейский, общеавстралийский, «узко-америндский», «узко-нило-сахарский», периферийно- и центрально-койсанский (всего 10 штук), то они уже покрывают собой порядка 90% всего языкового наследия планеты, даже если заведомо исключить из них совсем сомнительные компоненты.

Да, конечно, мейнстримовая западная компаративистика, занимающая «осторожные» позиции, отрицает историческую реальность всех этих праязыков (за исключением, может быть, афразийского и нигер-конголезского), поскольку обосновать их существование и восстановить их облик с такой же степенью точности, как и для «респектабельных» праязыков типа праиндоевропейского, прауральского или прасемитского, невозможно. Но наша по-

зация здесь, на мой взгляд, вполне логична и научна: мы стараемся предлагать для наблюдаемых фактов *наиболее простое из всех исторически реальных* решений.

Скажем, даже самые активные и упорные критики алтайской или ностратической гипотезы не отрицают ни факт самой *возможности* существования праалтайского или праностратического языка, ни факт наличия определенного вида *сходств* между их предполагаемыми языками-потомками, допускающих возможность генетической интерпретации. Это уже очень важно само по себе — потому что такого рода сходства, которые мы наблюдаем, например, между праиндоевропейским и прауральским, мы *не* наблюдаем, например, между праиндоевропейским и прасино-тибетским, или праиндоевропейским и праалгонкинским. И поэтому, если «гипотезу» об «алгонкино-индоевропейском родстве» мы можем отвергнуть практически с порога, то гипотеза об индоевропейско-уральском родстве, подкреплённая достаточно серьёзным материалом, даже рьяными критиками дальнего родства должна рассматриваться всерьёз (и рассматривается — тот же Лайл Кэмпбелл, например, потратил довольно много времени и сил на её опровержение, чего бы он наверняка не стал делать в ответ на чье-нибудь бредовое утверждение об «индоевропейско-алгонкинском» родстве).

Чрезвычайно важно и то, что мы делаем упор на унифицированных стандартах сопоставления. В частности, лексикостатистика и вообще упор на базисную лексику — это вернейший способ избежать субъективности и «вкусовщины», выставить свою исследовательскую интуицию на беспристрастный суд грамотно формализованной науки. Там, где лексикостатистика не даёт показательных результатов, лично для меня остаются серьёзные сомнения. Скажем, я с глубоким уважением отношусь к трудам В. М. Иллич-Свитыча и хотел бы видеть его конфигурацию ностратической семьи полностью подтвержденной — но по крайней мере по отношению к картвельским и дравидийским языкам лексикостатистика даёт очень скверные, непоказательные результаты, и поэтому я не могу пока что понять, насколько убедительны те ностратические этимологизации картвельской и дравидийской лексики, которые содержатся в картотеке Иллич-Свитыча. А вот индоевропейско-уральско-алтайский «костяк» ностратической макросемьи из старых этимологий Иллич-Свитыча и данных лексикостати-

стических подсчетов складывается вполне прочно, и объяснить этот «косяк» иначе чем генетическим родством этих языков я не считаю возможным. Точнее, я просто не вижу *более* удовлетворительного объяснения.

Конечно, можно *каждую* ностратическую этимологию раскритиковать со всех сторон, выявить все сомнительные места, предложить десять альтернативных объяснений, и в конечном итоге поделить их на две категории — случайные совпадения и результаты контактов, как это в своих критических работах и делают «сплиттеры». Один только вопрос — *зачем?* Почему-то с точки зрения классического «сплиттера», если мы будем утверждать, что, например, уральское *wete 'вода' было когда-то заимствовано из индоевропейского *wedor, а не связано с ним генетическим родством, то с точки зрения реконструкции предыстории контактный сценарий будет более «слабым» утверждением, чем сценарий генетического родства. То есть говорить об ареальных контактах — каких угодно, когда угодно, в каких угодно объемах — можно спокойно всегда и везде, а вот чтобы говорить о генетическом родстве, нужно предъявить десять папок доказательств. Некоторые коллеги-компаративисты ровно так и пишут, в стиле: «генетическое родство может считаться обоснованным *только* после того, как будут неопровержимо опровергнуты *все* альтернативные сценарии». Получается, что выдвинуть гипотезу о генетическом родстве двух языковых семей, особенно на хронологически глубоком уровне, для ученого — это что-то вроде предъявления обвинения в убийстве.

Но ведь вы же, выдвигая такую гипотезу, делаете это не абстрактно, а действительно претендуете на то, что за ней стоит историческая истина, касающаяся не только языкового развития, но и культурного, и этнического? Это же очень серьезная претензия.

Г. С.: Разумеется, серьезная, но при этом непонятно, почему, если мы говорим, что «индоевропейцы и уральцы, скорее всего, имеют общих языковых предков», с нас требуют десять коробов доказательств (включая такие, которые в принципе невозможно представить), а если мы говорим, что «индоевропейцы и уральцы, скорее всего, контактировали друг с другом и заимствовали друг у друга лексику», то таких доказа-

тельств не требуется вообще. В обоих случаях делается заявка на (неточное) знание некоторой исторической реальности, на реконструкцию определенной исторической картины мира. Если я вижу, что индоевропейско-уральские, или баскско-кавказские, или австронезийско-тайские параллели гораздо удобнее интерпретировать в рамках генетической, чем ареально-контактной модели, я именно так их и буду интерпретировать, если только эта интерпретация не столкнется с непреодолимыми препятствиями. Для перечисленных мной гипотез таких препятствий пока не видно.

Конечно, традиционная «сплиттерская» критика, что, мол, «ламперов» хлебом не корми, дай только все породнить друг с другом, к Московской школе не применима (этот упрек скорее следует переадресовать гринбергианцам, хотя и они на самом деле бывают очень разными). Мы говорили в основном о крупных макросемьях, но помимо макросемей остаются и многочисленные «мелкие» языковые группы и языки-изоляты, разбросанные по разным уголкам планеты и несводимые к крупным блокам. В одной только Евразии это и палеосибирские языки (чукотско-камчатские и нивхский — может быть, связанные с частью «америндов», может быть, нет), и индийская экзотика в виде кусунда и нахали, и древние письменные языки — шумерский, эламский, этрусский... А в Африке и в Америке таких «неприкаянных» реликтов еще больше.

Конечно, сам по себе факт их наличия не должен удивлять макрокомпаративиста. Любая модель языкового развития, будь она тщательно запрограммирована на компьютере или просто представлена у нас в голове, скажет, что наличие таких изолятов совершенно неизбежно. Ведь все наши макросемьи мы датируем примерно периодом в десять, двенадцать, самое большое — пятнадцать тысяч лет. При том, как была в то время заселена планета (об этом у нас довольно приличное представление благодаря трудам археологов), невозможно представить, чтобы 15 000 лет тому назад во всем мире говорили всего-навсего на 10–12 праязыках, к которым мы сводим все современное разнообразие.

С другой стороны, столь же нелеп и нелогичен вопрос, который часто задают наши оппоненты: «Но вы же все равно *подавляющее* большинство языков мира хотите свести к этим 10–12 праязыкам, куда же вы денете все те остальные языки, на которых в донеолитическую эпоху говорило челове-

ство?» То есть идея такова: если на заре неолита на территории планеты, скажем, была тысяча языков (цифру беру с потолка, хотя ее можно и уточнить, с помощью археологических данных и компьютерного моделирования), то каким же образом мы 90% современного языкового разнообразия сводим не к этой тысяче, а к примерно одному десятку? Одно дело — если бы мы датировали ностратический, дене-кавказский и другие праязыки, скажем, возрастом в 50–60 тысяч лет до нашей эры, когда *Homo sapiens* только начинал экспансию из Африки; на тот период разных языков, действительно, могло быть очень мало, так как говорящее человечество занимало еще очень ограниченную территорию. Но вроде бы ни лексикостатистика, ни этимология, ни весь накопленный опыт изучения скорости развития языка не дают серьезной возможности такой датировки.

На самом деле ответ на этот вопрос очень прост — он игнорирует вполне элементарный и очень часто встречающийся «эффект бутылочного горлышка». Обратим внимание на современную ситуацию. Сколько в мире языковых семей глубиной, скажем, в 4–6 тысяч лет? Порядка 100–150, плюс еще некоторое количество языков-изолятов. На языках скольких семей говорит более 90% человечества? Думаю, не ошибусь, если назову все то же магическое число 10–12: индоевропейская, сино-тибетская (с китайским), австронезийская (с индонезийским), семитская (с арабским), нигер-конголезская (со всеми банту), тюркская, уральская, дравидийская, австроазиатская (с вьетнамским), тай-кадайская (с сиамским), ну еще, допустим, монгольская и северокавказская — вот мы уже эти 90% и покрыли. Подавляющее большинство остальных языковых семей — подчеркиваю, *семей*, а не языков — в ближайшее столетие, скорее всего, перестанет существовать; в самом лучшем случае, отдельным их представителям повезет остаться в качестве «живых ископаемых», языков-изолятов. Например, из всех койсанских языков Южной Африки в долгосрочной перспективе не приходится опасаться только за язык нама в Намибии: все остальные просто не выдерживают конкуренции с соседями — банту, африкаансом, английским.

Но тут по крайней мере понятно, с чем связано это вымирание: на малые народности оказывается колоссальное ассимиляционное давление со стороны более высоко развитых соседей. Правомерно ли

такие же процессы предполагать и для раннеолитического периода, когда технический и культурный уровни разных народов были в целом намного более равномерны?

Г. С.: На самом деле это нам с нашей нынешней «колокольни» кажется, что в далеком прошлом все было гораздо равномернее. Есть два обстоятельства, которые при этом надо учитывать. Во-первых, возможность языковой ассимиляции возникает *всегда*, как только говорить на языке своего соседа становится, по той или иной причине, хотя бы немного выгоднее, чем на своем собственном. Конечно, юный австралийский абориген, стоящий перед выбором — либо сидеть в пустыне вместе с родителями и вести традиционный образ жизни на грани выживания, либо интегрироваться в англоязычное общество с шансом хоть как-то повысить уровень жизни, скорее всего, рано или поздно сделает выбор в пользу второй опции. Но точно так же может поступить и любой охотник-собиратель, попавший в зону влияния соседнего племени, владеющего секретом мотыжного земледелия. И даже среди самих охотников-собирателей, хотя здесь ситуация изучена совсем плохо, но можно вполне допустить, что любое «ноу-хау», которым овладело племя *X* и которое позволяет ему улучшить свои шансы на выживание и процветание в той или иной экологической зоне, одновременно повышает и его шансы ассимилировать соседние племена *Y* и *Z*, в том числе культурно и лингвистически.

Сопротивляться этой ассимиляции, по крайней мере там, где она носит ненасильственный характер, на самом деле не очень сложно — нужно лишь захотеть. Но тут как раз второй момент: для того чтобы захотеть, необходимо иметь ярко выраженное чувство *собственной языковой идентичности* — воспринимать свой и именно свой язык как некую неотъемлемую часть собственной личности (индивидуальной или коллективной). А это чувство, на самом деле, совершенно не врожденное — если бы оно было врожденным, языковых ассимиляций по всему миру было бы намного меньше. Занимаясь Африкой, я, например, вижу, что некоторые племена (как правило, собирательские) уже в третий раз за довольно короткий срок (пять-шесть тысяч лет) переходят на новый язык: старые при этом оставляют несмываемый след (обычно в виде опреде-

ленных слоев субстратной культурной лексики), но самими носителями он уже не осознается как часть древнего культурного наследия.

Так что нет ничего удивительного в том, что время от времени в истории случаются языковые унификации, от локальных до массовых — когда население на огромной территории начинает говорить на одном языке или на языках одной семьи, отказавшись от собственного языкового наследия из соображений удобства или престижа. Причем процесс этот может быть многоэтапным. Скажем, некорректно задавать вопрос: «Что такого было у носителей праностратического языка в XII–X тысячелетиях до н. э., что пол-Евразии захотело перейти на ностратические языки?» Такого, конечно, никогда не было. По наиболее вероятному сценарию, сначала имела место небольшая волна первичной экспансии, в результате которой где-то, скажем, в Передней Азии образовалась группа «ностратоязычных» племен. Массовые же экспансии «ностратов» начались намного позже — это в первую очередь индоевропейская экспансия, начиная с IV тысячелетия до н. э., и уже намного позже — алтайская экспансия (тюрки и монголы, «накрывшие» собой центральноазиатские просторы менее чем две тысячи лет тому назад). Именно в эти периоды, а не раньше, и происходило самое активное «вытаптывание» древнего языкового наследия: сколько мелких языковых групп Европы и Азии прошло через «бутылочное горлышко» индоевропейцев и алтайцев, мы никогда не узнаем. Аналогичным образом в Африке древнее языковое наследие «вытаптывалось» народами банту на юге и афразийцами на севере, в Океании — австронезийцами; в Америке оно до прихода европейцев не вытаптывалось никем, но не будем забывать, что и человек в Америке появился очень поздно, так что обнаружить на этом континенте следов какой-то древнейшей дивергенции невозможно по определению. Сейчас же ситуация такая, что языки американских индейцев, которым не грозит вымирание в ближайшие сто лет, наверное, можно перечислить по пальцам.

Давайте от вопросов прогнозирования перейдем обратно к вопросам реконструкции. Каким все-таки видится ее хронологический предел? И в какой степени эти самые «бутылочные горлышки» препятствуют продвижению в глубь времен, к праязыку — или праязыкам — человечества?

Г. С.: Давайте, конечно, поговорим о праязыке человечества. На практике ни мне, ни моим коллегам слишком уж часто о нем задумываться не приходится, но в рамках наших бесед, наверное, сейчас самое время «расставить точки над *i*» и четко обрисовать наше отношение к этому вопросу — потому что целеустремленно игнорировать его, как это делает большинство компаративистов, неправильно и даже вредно. Замалчивая эту тему, мы тем самым отдаем ее на откуп в лучшем случае любителям, в худшем — откровенным безумцам или, не побоюсь резкого выражения, шарлатанам-проходимцам.

Самый безумный вариант, конечно — это время от времени вылезающие на свет божий попытки свести все языковое разнообразие к какому-то одному ныне живущему или исторически засвидетельствованному языку: русскому (тут все понятно), арабскому (как же язык Корана может не быть праязыком человечества?), ивриту (аналогично с Библией), китайскому (иероглифы, глубокая древность, уникальная мировая цивилизация!), шумерскому (первая в мире письменная культура!), любому другому. Такие «теории» мы не будем даже обсуждать — сразу отсылаю здесь к тому, с чего мы начинали разговор, то есть к возможности обнаружить многочисленные сходства между любыми двумя языками, и к тому, что существуют вполне канонические и строгие критерии проверки любых гипотез такого рода, как правило, игнорируемые авторами «теорий».

Конечно, если вам очень *хочется* поверить в то, что русский — праязык человечества, вы найдете для этого любые аргументы, но это уже что-то из той же области, что и магическая энергия пирамид, «память воды», торсионные поля и т. п. лженаука; всех желающих еще раз получить по этому поводу подробное объяснение «на пальцах» отсылаю к серии работ и публичных лекций одного из наиболее выдающихся отечественных лингвистов, Андрея Анатольевича Зализняка, который не поленился часть своего драгоценного времени отвести на их написание, за что ему большое спасибо¹. А мы вместо этого поговорим лучше чуть-чуть не о «безумных», а о «научно-спекулятивных» гипотезах — таких, которые имеют мало-мальски рациональную подноготную и содержат хотя бы относительно здоровое зерно.

¹ См., в частности: Зализняк А. А. О профессиональной и любительской лингвистике // Наука и жизнь. 2009. Вып. 1–2.

Последней по времени и наиболее известной сегодня из таких гипотез, пожалуй, следует считать так называемые глобальные этимологии, связанные в первую очередь с именем американского лингвиста Мерритта Рулена, ученика Гринберга и наиболее активного продолжателя его линии. Оценки его деятельности бывают очень разными и не в последнюю очередь замешаны на субъективном факторе, поскольку у Мерритта непростой характер, критику он переносит с трудом, и за последние лет двадцать своей научной карьеры успел перессориться с большинством своих коллег-лингвистов в Штатах. Московской школе в целом с Руленом тоже, конечно, особенно не по пути, потому что Рулен — гринбергианец, поклонник «массового сравнения» во всей его красе, к регулярным соответствиям и праязыковым реконструкциям относится еще более скептически, чем его учитель. Но при этом в той степени, в которой мы вообще считаем, что от «массового сравнения» может быть хоть какая-то польза, работа Рулена нам небезынтересна, и по каким-то отдельным аспектам у нас были и элементы сотрудничества.

Кстати говоря, именно Рулену во многом мы обязаны установлением связей между Московской школой и Институтом Санта-Фе; первые пять лет существования международного проекта «Эволюция языка» Мерритт был одним из его соруководителей, вместе с С. А. Старостиным и Мюрре-ем Гелл-Манном. Есть у него и несколько отличных обзорных книжек по языковым семьям мира, где, конечно, различные макрогипотезы излагаются в довольно-таки безапелляционном ключе, но общая картинка складывается очень цельная, и энциклопедической информации дается много.

Так вот, основной задачей своей научной деятельности Рулен как раз видит доказательство того, что все языки и языковые семьи мира восходят к единому «Ursprache», праязыку человечества. Конкретно же доказывает это он своей работой (к которой на разных этапах подключались и другие наши коллеги, например, Джон Бенгтсон и Вацлав Блажек) над постоянно пополняемым списком так называемых *глобальных этимологий* (global etymologies).

Глобальные этимологии — это такие слова (морфемы), которые предположительно существовали уже в праязыке человечества и в том или ином виде до сих пор сохраняются во всех или хотя бы в большинстве макросемей мира (в основном, конечно, корневые морфемы: на реконструк-

цию для праязыка человечества грамматических морфем вряд ли может замахнуться даже такой смельчак, как Рулен — думаю, впрочем, что он вполне допускает, что в праязыке человечества суффиксы и приставки могли отсутствовать как класс). Текущий список таких «этимологий» по версии Рулена не очень большой — несколько десятков; но, в принципе, если можно было бы поручиться за правильность материала, даже нескольких десятков было бы вполне достаточно для того, чтобы считать генетическое единство всех языков мира само собой разумеющимся.

А поясните, почему мы сейчас говорим именно о Рулене. Он первым замахнулся на решение задачи такого масштаба? Или предложил для ее решения какой-то сверхсовременный метод? Или важен конкретно факт того, что он работал вместе с представителями Московской школы?

Г. С.: Нет, у него, конечно, были предшественники; из них самый заметный след в истории оставил итальянский лингвист Альфредо Тромбетти (1866–1929), который уже в 1905 году опубликовал большую работу «Единое происхождение языка» — те сравнения, на основании которых он обосновывал эту идею, фактически ничем не отличались от «глобальных этимологий» Рулена, Бенгтсона и Блажека. Но нужно учитывать, что по состоянию на начало XX века наши знания о языках мира все-таки были чрезвычайно неполноценны — не только в плане охвата материала (который за сто лет вырос в разы), но и в плане методологии и аккуратности описания.

За плечами Тромбетти вообще не было никакой методологии: он обладал неплохой лингвистической интуицией и колоссальной работоспособностью, но в рамках «классической» (на тот момент только-только оформившейся) компаративистики в 1905 году гипотезу о праязыке человечества разрабатывать было невозможно, а других рамок тогда и не существовало. Потребовались теоретические выкладки Гринберга, сформулировавшего принципы «массового сравнения», чтобы хоть как-то оправдать саму возможность сопоставлять гигантские массы языковой информации без строгой системы правил. Разумеется, ни один «классический» компаративист при этом все равно не считает такую возможность оправданной, да и Мос-

ковская школа относится к ней скептически. Тем не менее в определенных отношениях работа Рулена все же представляет собой определенный прогресс по сравнению с Тромбетти и даже по сравнению с Гринбергом — хотя бы в том плане, что Рулен, в отличие от Гринберга, не готов вообще отказываться от помощи со стороны классической компаративистики, и в своих сравнениях там, где они есть, активно использует праязыковые реконструкции вместо форм из современных языков.

Что, собственно, представляет собой типичная «глобальная этимология»? Все довольно просто. В рамках одного этимологического гнезда перечисляется набор форм, похожих друг на друга по звучанию и по значению, с обязательным условием — они должны быть представлены в праязыках (если они реконструированы) или в живых языках если не всех, то, по крайней мере, большинства семей или макросемей планеты. Настоящая «глобальная этимология» должна быть обнаружена и в Евразии, и в Африке, и в Америке, и в Океании — иначе какая же она «глобальная»?

За большинством конкретных примеров отошлю напрямую к работам Рулена и Бенгтсона¹, а здесь приведу лишь парочку наиболее наглядных случаев. Первый — корень вида **TIK*, для которого авторы предполагают исходное значение «палец». Следы его обнаруживаются едва ли не во всех макросемьях, хотя производные значения сильно разнятся: к сравнению привлекаются и слова со значением ‘ладонь’, ‘рука’, и с глагольным значением ‘показывать’ (индоевропейский корень **deik-*), и даже числительное ‘один’ — но с чисто формальной точки зрения здесь придраться трудно, потому что типология семантических переходов допускает все эти развития: известны даже конкретные языки (например, в той же Океании), где ‘один’ — это действительно ‘палец’ (а ‘пять’, соответственно — ‘рука’ или ‘ладонь’).

Второй — корень вида **PAL*, для которого предполагается значение ‘два’; он восстанавливается на основании целой тучи форм, означающих либо ‘два’, либо ‘половину’, либо ‘разрубать, рассекать, делить (пополам)’ и т. п. В конечном итоге к этому же корню восходит и русское *пол-*, которое можно «элегантно» увязать, например, вместе с прабанту **badi ~ *bali* ‘два’ и с прадравидийским **pa:l-* ‘часть, порция’.

¹ Наиболее конкретный и наглядный список из 27 «глобальных этимологий» с потенциальными рефлексамии по языкам мира опубликован как: *Bengtson John D., Ruhlen Merritt. Global etymologies // Merritt Ruhlen. On the Origin of Languages: Studies in Linguistic Taxonomy. Stanford University Press, 1994. P. 277–336.*

В принципе как минимум на четверть базисного списка Сводеша «глобальных этимологий», наверное, хватило бы. Еще навскидку — ‘мужчина’ по версии Рулена примерно восстанавливается как **MAN*- (покрывает все от английского *man* до «америндского» **mano* ‘муж’), женщина — **KUN*- (сюда индоевропейский корень **gwen*-, к которому вполне достоверно восходят, скажем, русское *жена*, английское *queen* ‘королева’ и греческое *гюнэ* — и, с другой стороны, уже совсем без всякой достоверности гипотетическое «америндское» **kuna*), и так далее.

Выглядит очень интригующе, но ведь если нет соответствий и к тому же такой большой разброс в значениях, то чем такой подход принципиально отличается от того, с чего мы начинали, — от «русско-чадского» сравнения?

Г. С.: Если огрублять ситуацию — то ничем, конечно. Ровно поэтому и старые работы Тромбетти, и новые работы Рулена большинством компаративистов никогда не рассматривались всерьез. Даже если чисто случайно, «методом тыка», в них удалось нащупать что-то исторически ценное, то в распоряжении гринбергианцев все равно нет никакого качественного аппарата, чтобы уверенно отделить немногочисленные зернышки от массы плевелов. Доказать это математически нетрудно, так что очень скоро после выхода в свет работ Рулена появились многочисленные публикации, авторы которых вволю «оттоптались» на недостатках «глобальных этимологий».

Сам Мерритт же, на мой взгляд, выбрал ошибочный механизм защиты — вместо того, чтобы учитывать критику хотя бы там, где она была заведомо справедлива, начал популяризировать свои изыскания поверх голов коллег, то есть заниматься откровенным сенсационализмом, и тем самым окончательно испортил свою научную репутацию, хотя по общему уровню своей образованности и по опыту работы с конкретным языковым материалом он на много голов выше среднестатистического «любителя», вообще ничего не знающего о том, как устроен язык.

На самом деле, если подходить к ситуации беспристрастно, то определенное здоровое зерно в «глобальных этимологиях» есть. Во-первых, как я уже сказал, Рулен старается сравнивать не формы в современных

живых языках, не обращая внимания на их историю, а реконструкции. То есть Рулен не станет, скажем, сравнивать напрямую русское *слух*, *слыш-ать* с каким-нибудь сэлишским корнем *tsel-* 'слышать', потому что он хорошо знает, что русское *с-* в этом слове — результат палатализации и что оно достоверно восходит к праиндоевропейскому **kleu-*. Это уже очень хорошо, потому что не просто сближает, хотя бы отчасти, позицию «глобального этимолога» с позицией традиционного компаративиста, а одним махом отсекает от сравнения гору языкового мусора. Мы к сравнению привлекаем не все что угодно из любого индоевропейского языка (каковых несколько сотен), а только надежно реконструированные для праязыка основы.

Другое дело, что это работает только для тех семей, где существует длительная и устоявшаяся традиция исторического анализа. Но вот для папуасов, австралийцев, бушменов, индейцев Южной Америки и т. п. такой традиции нет, и здесь уже Рулену, чтобы соблюсти принцип «глобальности», приходится нарывать синхронные формы из современных языков, просто копаясь в словарях, которые попались под руку. Это, конечно, не дело.

Во-вторых и в-главных, никто не мешает пользоваться «глобальными этимологиями», если на каждой из них висит ярлык «обращаться осторожно!». Это своего рода «сырец» — первичный сравнительный материал, который можно использовать для генерирования предварительных гипотез. Допустим, я вижу, что у меня есть реконструированный на прадравидийском уровне корень **si:r* 'гнида', и совершенно аналогичный корень **sir-* со значением 'вошь' восстанавливается в Африке, для нилотской семьи в Судане и в Кении. Что мешает мне зафиксировать этот случай и положить его в «копилку» как *возможное* отражение древней основы, восходящей, скажем, как минимум к эпохе дравидо-нилотского, а точнее, «ностратическо-нило-сахарского» единства? Ровным счетом ничего. Можно возразить, что это ничем не отличается от «русско-чадского», но это не так. Дело даже не в том, что сходство столь разительно (фонетически почти полное совпадение, семантически — тривиальный, естественный и частотный переход от 'вши' к 'яйцу вши' или наоборот), а в том, что прадравидийский и пранилотский — это самые глубокие хронологические уровни, на которые мы на данный момент можем выйти с помощью строгих компаративистских методов.

«Русско-гуде» сравнение было бредовым в первую очередь потому, что оно тривиально опровергается расширением кругозора. Это как если бы мы повелись на сказку Киплинга и решили, что черепаха и броненосец — близкие родственники, потому что оба закованы в панцирь. Здесь же ситуация такая, что твердой уверенности в том, кто ближайший родственник для дравидов, а кто — для нилотов, у нас уже нет. Да, есть ностратическая гипотеза, и есть нило-сахарская, но дело в том, что мы не знаем, как будет 'вошь' или 'гнида' ни по-праностратически, ни по-пранило-сахарски. Нет таких аргументов, которые бы нам четко показали, что на этих праязыках 'вошь' или 'гнида' не могли звучать как **sir*. Более того, по крайней мере для ностратического уровня есть *обратный* аргумент — оказывается, в пратюркском 'гнида' будет **sirke*, а в древнеяпонском есть *sirami* 'вошь'. Тюркский и японский — наиболее географически и хронологически отдаленные друг от друга ветви алтайской семьи, значит, этот же корень с высокой степенью уверенности был и в праалтайском, значит, повышается его степень «общеностратической» надежности, а вместе с тем и «ностратическо-нило-сахарской», то есть мы действительно выходим на какую-то глобальную стезю...

Но для закоренелого научного скептика все эти рассуждения, наверное, все равно будут восприниматься как воздушные замки, какие-то гипотетические конструкции, оторванные от реальности...

Г. С.: Они совершенно не оторваны от реальности, потому что все эти формы не выдуманы; не будем забывать, что реконструкции — это лишь удобные обобщения того, что реально существует (формы, зафиксированные в живых языках или текстовых памятниках). «Глобальная этимология», если только она напрямую не противоречит фактам, в лучшем своем проявлении — это рациональная попытка наиболее экономным и простым способом объяснить такие сходства между языками, которые мы пока не можем проанализировать на более содержательном уровне. Она недоказательна, но и не безумна.

К сожалению, анализ *конкретных* глобальных этимологий Рулена показывает, что там немало и таких, которые действительно противоречат фактам. Ошибки в материале, неполное владение историко-лингви-

стической литературой по некоторым областям (что в какой-то степени простительно, так как невозможно идеально владеть всей компаративистской литературой по всем языковым семьям мира!), непозволительно широкий семантический разброс в сравнениях — все это приводит к тому, что автору часто приходится занимать оборонительную позу, и конкретные недостатки обесценивают общую идею.

Ну и самое главное — массовое сравнение, будь оно основано на чистой интуиции или на самых что ни на есть строгих математических методах, оперирует исключительно *количеством*, в полном отрыве от *качества*. Даже если допустить, что «глобальных этимологий» Руленом и компанией набрано столько, что в исконном родстве всех языков мира сомневаться уже не приходится, все равно это не дает индивидуальной уверенности по каждому конкретному случаю. Без системы фонетических соответствий, без ясного анализа каждого конкретного совпадения на предмет базисности, дистрибуции, реконструируемости на отдельных прауровнях и т. д. каждая «глобальная этимология» сама по себе оказывается подвешенной в воздухе. А нам интересно не только и не столько ответить на простой вопрос «родственны все языки друг другу или нет?», сколько восстановить конкретные связи между этими языками, понять, из каких реально кирпичиков складывался этот праязык человечества, какими тропами шло развитие от него к отдельным семьям. На все эти вопросы «глобальные этимологии» ответа не дают и не могут дать в принципе — в лучшем случае это только самый первый и самый простой шаг к такому ответу.

Но лично Ваше мнение-то каково — «глобальные этимологии» доказывают или не доказывают, что все языки произошли от одного?

Г.С.: Я не случайно сказал «даже если допустить...» — потому что на самом деле я этого не допускаю. Достаточно хотя бы сказать, что в наиболее интригующей сфере, а именно применительно к койсанским языкам, «глобальные этимологии» не выдерживают никакой критики, так как их авторы отказываются разбираться с самым сложным аспектом этих языков — щелчковыми фонемами. Как правило, щелчковые фонемы они при сравнении просто выкидывают! Например, индоевропейский корень **kwon-* ‘собака’ они сопоставляют с южнокойсанскими формами вида **lxain* ‘гиена’.

Конечно, если сравнивать цепочки *KWON* и *XAIN*, некоторое сходство есть. Но дело-то в том, что настоящая форма — не *XAIN*, а *lXAIN*, где «l» — совершенно самостоятельная фонема (так называемый дентальный кликс, примерно похожий на русское *тс-тс-тс*, если его произносить, всасывая, а не выдыхая, воздух). Просто ее традиционно записывают таким особым символом (вертикальной палочкой), который очень соблазнительно при сравнении просто выкинуть (ведь как-то и не буква даже, а так, недоразумение какое-то). Но тем самым любое сравнение с койсанским материалом автоматически обесценивается — это все равно что из русского *стал* выкинуть начальный *с-*, а потом сопоставлять с английским *table*. Значит, койсанскому материалу в «глобальных этимологиях» доверять нельзя вообще, а это уже само по себе превращает их в «неглобальные».

Или, скажем, папуасский материал. Языков на Новой Гвинее порядка 800, реконструкций фактически нет даже по мелким семьям, не говоря уже о крупных объединениях, значит, к сравнению привлекается все что угодно, ценность этого материала близка к нулю, так как за ним не стоит даже самый примитивный исторический анализ. Выкидываем из «глобальной этимологии» Новую Гвинею — значит, тем самым лишаем себя морального права претендовать на то, что эти «этимологии» отражают что-либо сверхдревнее, потому что, выкинув койсан и папуасов, мы тем самым отсекаем практически все языковое наследие человечества вплоть до первой волны миграции из Африки включительно.

Хорошо, понятно, что о «празыке человечества», действительно, нет смысла говорить до тех пор, пока не прояснится ситуация с бушменами и с папуасами. А дальше что? Есть ли какие-то лингвохронологические точки между «празыком человечества» и гипотетическими периодами существования макросемей типа ностратической, на которые нам могут пролить свет «глобальные этимологии» или сравнительно-исторический метод? Скажем, на временной отрезок от 30 до 20 тысяч лет тому назад?

Г. С.: Где-то на стыке «глобальных этимологий», очень огрубленных попыток применения сравнительно-исторического метода и личной интуиции мы, действительно, некоторые такие точки пытаемся нащупать. Одна-

ко предупреждаю: то, что я сейчас расскажу, настолько «сыро» по сравнению с любой макрогипотезой из числа изложенных в наших предыдущих беседах, что воспринимать эту информацию следует не как научную гипотезу, а, скорее, как своего рода «наводку», которую со временем, может быть, удастся доразвить до состояния нормальной гипотезы.

Так вот, если говорить о попытках продемонстрировать, так сказать, «сверх-сверхглубокое родство языков» более продвинутым способом, чем «глобальные этимологии», то здесь пионерской работой следует считать небольшую статью Сергея Анатольевича Старостина «Ностратический и сино-кавказский», которую он опубликовал в 1989 году¹, фактически «по горячим следам» — всего через пять лет после того, как им же была опубликована статья о собственно сино-кавказской гипотезе. Конкретный сравнительный материал в этой статье во многом устарел, но гораздо важнее для нас не материал, а методологическая основа статьи, сам принцип устройства работы.

Принцип заключался в том, что Старостин брал восстановленные им самим прасино-кавказские корни, сопоставлял их с похожими ностратическими корнями в реконструкции Иллич-Свитыча и искал между этими реконструкциями регулярные фонетические соответствия. Работа абсолютно беспрецедентная, и по смелости замаха до сих пор не превзойденная — я не знаю ни одной другой попытки установить мало-мальски строгие звуковые соответствия между праязыками двух макросемей, каждый из которых датируется самое меньшее десятым тысячелетием до н. э.

И получилось их установить?

Г. С.: А вот это другой вопрос. Да, на материале статьи (чуть более двухсот параллелей между двумя праязыками) установленная система в целом выполнялась. Правда, соответствия в целом были довольно простыми. Сино-кавказская фонетика устроена сложнее, чем ностратическая, и выходило, что праностратический — это такой сильно упрощенный прасино-кавказский.

¹ *Starostin Sergei*. Nostratic and Sino-Caucasian. // Shevoroshkin V. (ed.). Explorations in Language Macrofamilies. Bochum: Brockmeyer, 1989. P. 42–67. Перепечатана в: *Старостин С. А.* Труды по языкознанию. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 448–466.

Главная проблема была и остается не в том, были ли или не были установлены соответствия, а в том, между чем они были установлены. На поверку многие «ностратическо-сино-кавказские» этимологии имели довольно-таки чахлую дистрибуцию. Например, сравнение ностратического **ken-* ‘знать’ с сино-тибетским **qe:n* ‘видеть, знать’ формально регулярно, но это только сино-тибетский корень, не сино-кавказский. Если из 200 этимологий выбросить те, которые представлены только в одной ветви сино-кавказской макросемьи (то есть формально не выводятся на прасино-кавказский уровень), число «сильных» этимологий уже уменьшится наполовину. Есть свои претензии и к оставшимся, поэтому лично мне трудно воспринимать этот список как «доказательный» — скорее как «перспективный», в том смысле, что он в целом корректно закладывает основы «сверх-сверхглубокого» сравнения.

Собственно говоря, Сергей Анатольевич тоже рассматривал его в таком же ключе: в статье (англоязычной) он писал, что сравнительные данные позволяют «assume a deep-level relationship», то есть *допустить*, а не *доказать*, идею такого родства, с тем, чтобы дальше тестировать ее по мере увеличения и совершенствования сравнительного материала. И тестирование это состоялось: уже намного позже, в конце 1990-х — начале 2000-х годов, переработав материал этой статьи и совместив его с теми кусками «глобальных этимологий» Рулена и Бенгтсона, которые производили относительно благоприятное впечатление, Старостин составил большую сравнительную базу данных по четырем крупным макросемьям Евразии: ностратической, сино-кавказской, афразийской (которую, как мы помним, он исключил из состава ностратической, но при этом возможности родства между ними на более глубоком уровне не исключил) и австрической. С формальной точки зрения эту базу можно рассматривать одновременно как небольшой шаг назад, потому что в ней вообще не ставится вопрос о фонетических соответствиях между реконструкциями, и как шаг вперед, потому что сравнительного материала в ней больше, а ностратические и сино-кавказские реконструкции усовершенствованы.

Для гипотетического «пра-праязыка», который впоследствии распадается на праностратический, прасино-кавказский, праафразийский и праавстрический, как мы уже бегло упоминали в предыдущей беседе, было (уже не очень ясно, кем конкретно) предложено условное название

«борейский», то есть «северный» — что как бы подчеркивает непринадлежность к этому мегаблоку большинства языков Южного полушария, в первую очередь Центральной и Южной Африки, Новой Гвинеи и Австралии. (В принципе можно было бы взять и название «евразийский», но этим термином Гринберг обозначал макросемью, которая в его классификации примерно соответствовала ностратической, так что пришлось отказаться во избежание путаницы.)

«Борейской реконструкции» как таковой, конечно, нет — там, где не установлены регулярные соответствия, нет и реконструкции. Аналогом этимологического входа в «борейской» базе данных служит некая фонетическая цепочка, своего рода фонетический инвариант наблюдаемых схождений, опирающаяся в первую очередь на «скелет» из согласных звуков (большинство гласных просто помечены как V, то есть «неизвестный гласный»). Например:

MVWV 'вода, влага, жидкость' объединяет (а) ностратическое **mewV-* (индоевропейское **mī-* 'мыть' и, возможно, алтайское **umV-* 'пить'); (б) афразийское **ma'* - 'вода' (египетское *mw*, семитское **ma'* - и др.); (в) сино-кавказское **(h) meHwa* 'влага' (с параллелями в кавказских и сино-тибетских языках); (г) в австрических языках — праавстро-азиатское **mia* 'дождь'; TVWV 'два' объединяет (а) ностратическое **tu'V* (сюда индоевропейское **dwo* 'два', алтайское **tiubu* 'два'); (б) в афразийских языках — прасемитское **taw'am* 'близнецы' (значение 'близнецы' очень часто образуется от 'двойки', ср. *двойняшки* или англ. *twins* < *two*); (в) сино-кавказское **tq'wa* 'два' (лучше всего сохраняется в абхазо-адыгских языках, например, в убыхском *tq'wa*); (г) в австрических — праавстронезийское **du-sa* 'два' и др.

Поясните, пожалуйста, еще раз, чем эти сравнения все-таки лучше «глобальных этимологий» — на первый взгляд особенной разницы нет...

Г. С.: Разницу, действительно, трудно уловить, особенно тому, кто сам непосредственно не включен в рабочий процесс. Разница в том, что «борейскую» базу составлял классический компаративист (Старостин), позволивший себе на определенном этапе работы позаимствовать часть инструментария массового сравнения. Если для Рулена небольшой на-

бор «глобальных этимологий» — это уже вещь-в-себе, конечный этап процесса «доказательства» того, что все языки родственны друг другу, то для Старостина «борейская» база данных была лишь первым, начальным этапом работы, на котором подбирается первичный сырой материал для сравнения. Но подбирается он при этом не абы как, а по строго ступенчатому принципу. Сначала обосновывается законность этимологии на нижних уровнях, затем — на макроуровнях (ностратическом и т. п.), и только после этого — на «борейском» уровне.

В рамках «глобальной этимологии» не только допустим, но даже приветствуется максимально либеральный подход — можно, например, взять слово из финского языка и сравнить его с китайским. В «борейской» базе данных это недопустимо. Если у финского слова нет параллелей в других уральских языках, а у прауральского слова нет параллелей в других ностратических ветвях, оно в «борейскую» базу не попадет.

Немаловажно и то, что чисто технически «борейская» база данных с ее многоступенчатостью устроена очень удобно. Поскольку все компьютеризировано, любую этимологию можно быстро просмотреть с самого верхнего этажа до самых нижних, оценить ее слабые и сильные стороны (конечно, для этого надо владеть хотя бы азами сравнительно-исторического метода), в то время как «глобальная этимология», как правило, ставит больше вопросов, чем дает ответов — приводится в ее составе, например, какая-нибудь форма из аравакских языков Южной Америки, а больше никаких форм ни из каких америндских языков нет, и что делать? Не побежишь же лично проверять наличие/отсутствие параллелей по словарям всех остальных языков.

Тогда следующий вопрос: «борейские языки», даже при наличии соответствующей базы данных — на данный момент чисто гипотетический конструкт или реальная рабочая модель, на которую вы ориентируетесь в своих практических исследованиях?

Г. С.: Я считаю вполне вероятным и правдоподобным сценарий, согласно которому хотя бы некоторая часть «прикидочных» этимологий, составляющих «борейскую» базу, действительно отражает какое-то сверхдревнее родство основных макросемей Евразии. Статистического подтверждения

этот сценарий на данный момент не получил, потому что до сих пор не разработана корректная методологическая база, чтобы такую статистику провести (классическая лексикостатистика, кстати говоря, даже в своем «предварительном» аспекте на таких глубинах уже отказывается работать категорически). Аккуратного сравнительно-исторического квазидоказательства «борейской» гипотезы тоже нет и в ближайшее время не предвидится. Но тот сырой материал, который накоплен для последующей обработки, скажем так, не оскорбляет мои чувства как компаративиста — я в принципе представляю себе, как то, что уже есть, можно «причесать» и сделать более наглядным и убедительным, просто для этого нужен еще колоссальный объем технической работы, и в первую очередь — даже не над самой «борейской» базой, а над ее составными компонентами. О какой «борейской» реконструкции может идти речь, когда до сих пор нет, например, удовлетворительной австрийской реконструкции?

Но самая большая проблема даже не в этом. Главный вопрос здесь — а почему мы, собственно говоря, решили брать для «борейского» сравнения именно *эти* четыре макросемьи? А остальные чем хуже? Есть риск попасть в ту же ловушку, которая когда-то стояла и на пути Иллич-Свитыча с его ностратической теорией. Ведь тогда, по существу, в ностратическую макросемью были включены все языковые семьи, удовлетворявшие следующим требованиям: (а) расположены, хотя бы частично, на территории Евразии, (б) хорошо исследованы в историческом плане и снабжены собственными этимологическими корпусами, из которых можно черпать материал для реконструкции более глубокого уровня. При этом нам трудно сказать, насколько внимательно Иллич-Свитыч изучал материал других языковых семей. По каким-то семьям изучать было просто нечего: например, северокавказской и сино-тибетской реконструкций на тот момент просто не существовало. Уместно задать вопрос: может быть, *все вообще* родственно, а Иллич-Свитыч углядел это родство только там, где его было легко углядеть?

«Сплиттеры», разумеется, такой вопрос стали бы рассматривать в ироническом ключе: с их точки зрения, сказать «*все* родственно» — все равно что сказать «*ничего* не родственно». Пример: Лайл Кэмпбелл, критикуя америндскую теорию Гринберга, пишет, что, если пользоваться критериями последнего, то с таким же успехом и финский язык попадает

в америндскую макросемью — и приводит примеры лексических сходств между финским и америндскими. Ему отвечает убежденный макрокомпаративист Виталий Шеворошкин: а что здесь смешного? Примеры вполне красивые и убедительно доказывают родство между америндскими и ностратическими языками (в лице финского как типичного представителя), так что большое спасибо уважаемому критику за то, что подбросил нам качественный сравнительный материал.

Мне кажется, что в такого рода споре одинаково неправы обе стороны. Вместо того чтобы огульно отрицать значимость дальнего сравнения, как это делает Кэмпбелл, и вместо того чтобы бросаться с вожделем на каждый случай сходства, как это делают Гринберг и Шеворошкин, надо больше задумываться над *критериями оценки* материала.

Один из главных критериев, конечно — это степень его проработанности. Понятно, что, когда речь идет о гипотезе уровня «борейского», она тестируется на уровне праязыков макросемей. По четырем макросемьям Евразии работа над этими праязыками идет — мало-мальски систематизированные корпуса этимологий есть, сравнение можно вести не по принципу «ткнул пальцем в небо», а системно, учитывая дистрибуцию когнатов, их семантические особенности, даже пытаясь что-то прикинуть в плане регулярных соответствий. Но ничего аналогичного по Африке, Америке и Тихоокеанскому региону у нас нет даже близко — так, отдельные ошметки сравнений.

Поэтому наш условный «борейский» фактически составлен из сырых версий четырех словарей (электронных этимологических корпусов) уровня макросемьи. Допустим, появился качественный пятый словарь, например, «нило-сахарский» или «узко-америндский» — есть ли у нас уверенность в том, что его материал не волеется столь же органично в состав «борейской» базы, как уже влились четыре других? Нет такой уверенности.

Я лично провел с «борейской» базой эксперимент — подобрать к собранным в ней этимологиям параллели с языковой семьей банту. Напомню, что банту — наиболее хорошо изученная семья в составе гипотетической макросемьи нигер-конго, и что для банту, в отличие от нигер-конго в целом, есть классическая реконструкция Малькольма Гасри и большой этимологический корпус. При этом реконструированные основы в банту имеют достаточно архаичный вид, и с некоторыми натяжками их можно в опреде-

ленных целях использовать как временный «субститут» нигер-конго в целом. Так вот, оказалось, что многие корни прабанту, порядка сотни, отлично вписываются в «борейскую» базу, ничуть не хуже, чем, скажем, австрический материал. (Примеров специально приводить не буду; все они включены в базу, которая лежит у нас на сайте в открытом доступе.)

Понятно, конечно, что если прабанту как-то согласуется с «борейским» материалом, то и вся нигер-конголезская семья должна с ним согласовываться. А что с другими макросемьями? Про то, как евразийская 'вошь / гнида' обнаружилась в нилотских языках, я уже говорил; и опять-таки, это не единственный пример, а нилоты — это такие типичнейшие «нило-сахарцы», то есть и эту макросемью можно как-то притянуть. Сергей Николаев обнаруживает «борейские» элементы в америндском материале, а Илья Пейрос — в части языков Новой Гвинеи и Австралии. Но при этом есть и в Африке (койсаны), и в Папуасии, и даже в Америке такие языки, где лексика выглядит принципиально «неборейской». К сожалению, как-то наглядно проиллюстрировать этот тезис в нашем текущем формате невозможно — какие-то примеры того, «что есть», еще можно показать на пальцах, но то, «чего нет», не покажешь без подробного просмотра всего корпуса наших баз данных.

В общем, на данный момент приходится признать, что сходств между четырьмя макросемьями Евразии примерно столько же, сколько сходств между ними и целым рядом других макросемей Старого и Нового Света. Это означает, что «борейская» макро-макросемья (можно для удобства такого лингвистического гиганта называть, например, *гиперсемьей*) на самом деле фантомна, и что сегодня уместнее работать в рамках другой модели — такой, которая от наших базовых макросемей (датируемых примерно мезолитом или ранним неолитом) перескакивает непосредственно к такому праязыку, потомками которого является *подавляющее большинство* современных языков — за исключением отдельных реликтов в Южной Африке, Папуасии и, возможно, еще каких-то уголков планеты (скажем, какие-нибудь кусунда в Непале и т. п.).

Единого термина для обозначения такого праязыка у нас нет. «Борейский» не подходит — тут речь уже идет далеко не только о Северном полушарии. Мюррей Гелл-Манн, с которым мы неоднократно обсуждали эту проблему, как-то раз предложил красивый термин *progonic* — «про-

гонический», то есть 'язык предков'. Красивый, но обманчивый, потому что 'язык предков' уже очень легко перепутать с «праязыком человечества» ('адамическим', 'туридом', как называет его в своих научно-популярных интервью А. Ю. Милитарёв), хотя это совершенно не одно и то же. Есть фундаментальная разница между тремя разными сущностями — «праязыком большинства языковых семей мира», «праязыком всех ныне живущих и исторически засвидетельствованных языков» и «первоязыком человечества», он же условный «язык Адама».

А поясните еще раз «на пальцах», в чем конкретно эта разница с прагматической точки зрения? Имеется ли в виду, что мы, например, должны использовать три принципиально различных методологии, чтобы реконструировать и то, и другое, и третье?

Г. С.: Собственно говоря, «реконструировать» в классическом понимании этого термина мы можем (точнее, можем попробовать) только первую из этих сущностей. Но начнем с третьей.

Определим «первоязык человечества» как такую коммуникативную систему, которая уже не имеет *принципиальных* отличий от среднестатистического языка современного типа. В таком «первоязыке» уже существуют фонемы, морфемы, синтаксические единицы, грамматические категории, определенный (может быть, на несколько сотен, а может, и на пару тысяч) инвентарь лексических корней и т. п. Что ему предшествовало — это уже вопрос не развития, а происхождения человеческого языка из неязыковых систем коммуникации, он в компетенцию компаративиста не входит, хотя, безусловно, результаты работы компаративиста для решения этого вопроса очень важны.

Допустим, что верна теория «моногенеза», то есть такой «первоязык» за всю историю человечества сложился лишь один раз, в одном конкретном регионе (Африка?) в конкретный момент: скажем, сто тысяч лет тому назад. Может быть, и намного раньше, но это уже непринципиально. Принципиально то, что, раз возникнув, «первоязык» должен был почти немедленно начать делиться на языки-потомки: наличие возможности языкового общения дает колоссальные преимущества, следовательно, неизбежно приводит к росту популяций, следовательно, популя-

ции мигрируют в разные стороны, и единый «первозык» начинает преследовать различные пути развития.

Что это были за пути? Примем как одну из возможных такую грубую модель — все языки мира, восходящие к «первозыку», делятся на три класса: (а) «койсанские» — это языки народов, которые никогда не покидали Африку; (б) «языки первой волны миграции» — на них говорили люди, осуществившие первое успешное переселение из Африки примерно 70 000–50 000 лет тому назад; (в) «прогонические» языки — языки «второй волны» миграции, которая носила уже в большей степени культурно-языковой, чем популяционный, характер, и поэтому не так сильно бросается в глаза генетикам.

Означает ли это, что «первозык человечества» — это «ближайший общий предок» языковых массивов (а), (б) и (в)? Не означает, потому что уже сто тысяч лет тому назад (а может быть, и раньше) на территории Африки вполне могли существовать и *другие* потомки «первозыка», представлявшие собой тупиковые ветви развития, то есть исчезнувшие бесследно, точно так же, как бесследно исчезли и в гораздо более близкую к нам эпоху многочисленные языки разных языковых семей, известные нам только по своим названиям в преданиях и летописях. То есть даже если сбудется почти невозможное, и нам когда-нибудь удастся выявить какую-то информацию о «ближайшем общем предке» (а), (б) и (в), этого все равно будет недостаточно для того, чтобы этого «предка» объявить 'языком Адама'.

Если бы мы могли ответственно заявить: «первым в истории человечества фактом языкового деления был момент, когда группа протобушменов, прямые потомки которой сегодня живут в Южной Африке и говорят на языках кьунг и кьхонг, обособилась от группы протопапуасов, которые сегодня живут в Новой Гвинее и говорят на языках бинандере и бенабена», — вот тогда да, «ближайший общий предок» и «язык Адама» были бы фактически одним и тем же. Но чтобы сделать такое заявление, нам нужно: (а) надежно обосновать лингвистическое родство между папуасами и койсанами; (б) усовершенствовать глоттохронологическую методику так, чтобы она начала давать надежные результаты на многие десятки тысяч лет вглубь; (в) обосновать — какими угодно методами, будь то археология, антропология или генетика — что «язык Адама» не мог существовать в более раннее время, чем этот глоттохронологический распад «папуасско-койсанского»

единства. Думаю, что даже самые оптимистичные из «ламперов» признают, что решение всех трех этих задач — из области фантастики. Проще было бы, наверное, сразу изобрести машину времени.

Значит, компаративными методами «язык Адама» восстановить нельзя — а какими-нибудь другими можно?

Г. С.: Никакими нельзя. Можно предложить теорию происхождения языка и его становления как «языка современного типа», исходя из совокупных данных структурной и типологической лингвистики, антропологии, нейробиологии, генетики и т. д. Собственно говоря, теории такие есть, и их немало, и одни выглядят лучше других, но в основном это *общие* теории, они могут пролить какой-то свет на механизмы формирования языка, но не могут помочь восстановить конкретные «кирпичики» «языка Адама» — звуки, морфемы, слова.

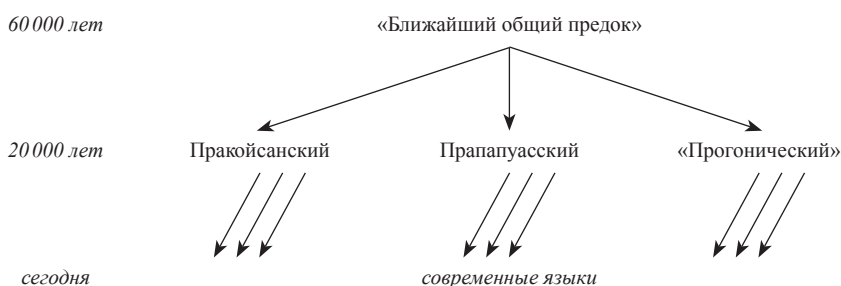
Теперь перейдем к «ближайшему общему предку всех ныне живущих и исторически засвидетельствованных языков». Здесь с теоретической точки зрения ситуация уже принципиально другая. Допустим, у нас есть реконструированные «пракойсанский», «прапапуасский» и «правсе остальное» (на самом деле нет, но от изменения конкретного числа таких верхних узлов ситуация в целом существенно не изменится). Если у них есть «ближайший общий предок», это значит, что теоретически в этих трех праязыках вполне могли сохраниться унаследованные общие праязыковые морфемы, между которыми теоретически же установимы регулярные фонетические соответствия. Но ключевой вопрос — какое хронологическое расстояние отделяет их от ближайшего общего предка?

Даже если мы возьмем по минимуму, скажем, 60 тысяч лет (примерное время первой крупной миграции из Африки), то далее все зависит от возраста «верхних узлов». Если им в среднем тысяч по 20–25 лет, то никакой компаративный метод не позволит нам от трех праязыковых точек 20–25-тысячелетней давности сделать скачок сразу на сорок тысяч лет вглубь — никакие регулярные соответствия опознать заведомо не удастся.

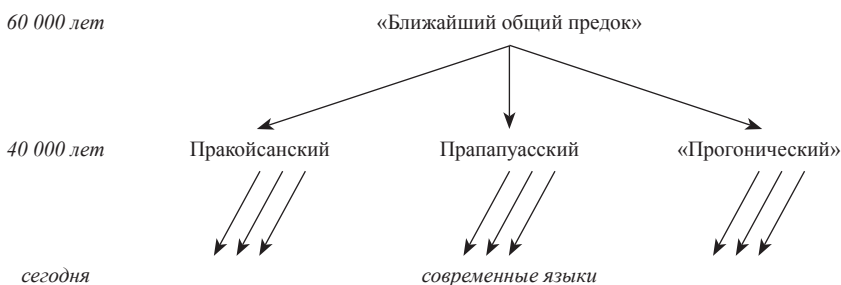
Если им 40–50 тысяч лет, то есть и условные «койсаны», и условные «папуасы» начали делиться относительно скоро после обособления от «ближайшего общего предка», тогда шансы на успешность рекон-

струкции слегка повышаются. Но с другой стороны, если «пракойсанскому» 50 тысяч лет, это означает, что с тем объемом данных по койсанским языкам, которым мы располагаем, у нас никогда не получится восстановить пракойсанский, то есть неразрешимая часть проблемы просто переходит с одного уровня на другой.

Иначе говоря, если дело было примерно так:



... есть слабые шансы разобраться с 20 000-летней давностью, но не более того. Если же ближе к истине такое представление:



... то практически нет шансов что-либо сказать и про отметку в 40 000 лет. Для реконструкции очень существенно, чтобы хронологические расстояния между ступеньками были примерно одинаковыми или хотя бы сопоставимыми, причем эта проблема актуальна для всех уровней.

Например, с каким из ныне живущих индоевропейских языков больше всего проблем при этимологизации? Ответ однозначен — с албанским, потому что он изолирован в своей ветви, известен нам по очень поздним записям, и его ближайший реконструируемый предок — непосредственно праиндоевропейский (в отличие от русского, который от праиндоевропейского отделяют еще как минимум две реконструируемые ступеньки: сла-

вянская и балто-славянская). За те пять-шесть тысяч лет, которые отделяют албанский от праиндоевропейского, он изменился так сильно, что десятки, если не сотни, албанских корней невозможно надежно опознать как отражения того или иного индоевропейского корня. Подчеркиваю — это пять-шесть тысяч лет, что уж говорить о паре десятков тысяч!

Значит, на практике «ближайший общий предок» реконструировать тоже не удастся?

Г. С.: Не берусь гадать. Две показанные схемки, действительно, включают возможность реконструкции, но они не исчерпывают всех возможностей. Может быть, мы заблуждаемся, и на самом деле эта «лестница», ведущая на самый верх Вавилонской башни, все-таки устроена более равномерно. Тогда у последовательной реконструкции больше перспектив. Но, учитывая коварные эффекты «бутылочных горлышек», боюсь, что о настоящей равномерности говорить особого смысла нет.

Верно ли я понимаю, что условный «прогонический» язык тоже рассматривается Вашей группой как следствие «бутылочного горлышка»?

Г. С.: Да, мы об этом уже говорили в связи с «борейской» гипотезой. Логическая цепочка здесь очень простая: (а) большинство языковых семей мира, по-видимому, обладают набором морфемных единиц, который противопоставляет их меньшинству языковых семей мира (койсанам, папуасам, кому-нибудь еще); (б) если мы способны «засечь» этот набор, одного этого факта уже достаточно, чтобы уверенно датировать время их единства периодом, который, с одной стороны, предшествует времени существования основных макросемей, с другой — не отстоит от этого времени далее чем на 5–10 тысяч лет, то есть хронологический предел для такого «прогонического» языка — 20–25 тысяч лет; (в) поскольку по состоянию на 20–25 тысяч лет тому назад большая часть обозримой ойкумены, за исключением разве что Америки, уже была заселена, это означает, что потомки «прогонического» языка должны были заместить собой большую часть языкового разнообразия на тот момент.

Пункты (а) и (б), конечно, остаются спорными: «сплиттеры» будут (и вполне справедливо) ставить под сомнение даже самые сильные из наших «прогонических» сравнений, а датировка в 20–25 тысяч лет основана на презумпции, что языки в то время изменялись (фонетически и лексически) примерно с той же скоростью, что и в более поздние периоды — просто потому, что у нас нет оснований предполагать обратное. Но и твердых гарантий того, что язык какого-нибудь небольшого, стабильного племени собирателей за десять тысяч лет мог почти совсем не измениться, тоже нет.

Однако самый трудный момент этого сценария — объяснить, что же это был за такой чудесный «прогонический» язык и почему его носителям, задолго до наступления неолитической революции, удалось навязать его всем остальным. Причем именно навязать — речь идет о языковой, а не популяционной экспансии. Например, «коренные африканцы» с нило-сахарской и нигер-конголезской языковой аффилиацией по своей генетике очень далеки от населения Евразии, но «прогонические» следы наблюдаются и среди них.

И как Вы предлагаете его решать?

Г. С.: Я — никак не предлагаю, потому что прежде чем бросать все силы на то, чтобы *объяснить* тот или иной сценарий, следует его сначала *подтвердить*. Еще раз подчеркну: наша гипотеза, что *большинство* современных языков восходит к ближайшему общему предку, который существовал 20–25 тысяч лет назад, — это даже не собственно «гипотеза», в отличие от макросемейных гипотез типа ностратической, а сырая прикидка, основанная на одной из возможных интерпретаций лексических сходств между макросемьями и в каком-то смысле подкрепленная интуицией горстки конкретных исследователей. Сейчас наша задача — помочь этой «недогипотезе» встать на ноги и получить конкретное оформление, или, наоборот, отвести ее в сторону, если на ее пути появятся непреодолимые препятствия. Пока это не сделано, всерьез обсуждать вопрос о каких-то сверхъестественных свойствах «прогонического» языка нет никакого смысла.

Если уж очень хочется пообсуждать, то могу сказать лишь следующее: «прогоническая экспансия», если она и имела место, совершенно не обязательно должна была произойти в один этап. Достаточно, чтобы

в момент своего распада тот же «прогонический» язык, например, локализовался где-то на Ближнем Востоке или в соседних регионах (свободных от ледников). Тогда ареал распространения его непосредственных потомков оказывается недалеко от эпицентра последовавшей 10–15 000 лет спустя неолитической революции — и таким образом, «юные» потомки этого единого праязыка оказываются в наиболее привилегированном положении.

То есть все праязыки макросемейного уровня (ностратического, дене-кавказский и так далее) — это языки ранних земледельцев?

Г.С.: Не обязательно все. Вот А.Ю. Милитарёв, например, как мы уже видели, склонен считать, что ранними земледельцами были только афразийцы, а все остальные, видимо, научились от них уже позже. Совершенно точно не могли быть земледельцами ни «америнды», заселившие Америку примерно 15 тысяч лет тому назад, ни та часть папуасов и австралийцев-аборигенов, которую И.И. Пейрос подозревает на «прогоничность», да и про прадене-кавказцев я тоже сильно сомневаюсь. Но то, что неолитические процессы могли серьезно способствовать усилению позиций «прогонических» языков, по-моему, даже не нуждается в доказательстве. В отличие от самой концепции «прогонического» языка — такая вот парадоксальная ситуация.

Еще один спекулятивный сценарий связывает распространение «прогонического» языка с климатическими изменениями, конкретно — с концом последнего ледникового максимума, наступившим примерно 15–16 тысяч лет тому назад. Утверждается, что во время последнего нашествия ледников на планете вообще оказалось довольно мало места, пригодного для жилья; люди должны были сбиваться в кучки в отдельных благоприятных «кармашках», и, когда ледники сошли, один из этих кармашков перехватил инициативу, успешно раскинулся по освободившейся территории и «затер» все остальные кармашки.

Красивый сценарий, но 15–16 тысяч лет — явно недостаточный период для датировки «прогонического» языка, по крайней мере, такого, в который укладывается и Америка, и часть Океании, и часть Африки. Здесь скорее можно было бы думать о датировке этим периодом условного «бо-

рейского», то есть распада крупных языковых семей Евразии, но, опять-таки, для этого надо отдельно обосновать «борейскую» гипотезу.

В общем, подводя итоги, могу лишь еще раз подчеркнуть — в ходе этой беседы мы почти никогда не выходим за пределы того, что я бы назвал «разумными спекуляциями». В западном компаративистском мейн-стриме эти темы для научного дискурса фактически табуированы: принято считать, что даже на уровне раннеолитических макросемей наше знание никогда не будет достоверным, что уж говорить о еще более ранних периодах. Представители Московской школы придерживаются на этот счет самых разных мнений, но думаю, что не ошибусь в одном — табуирования этой тематики у нас нет и никогда не будет. Хотя, конечно, такое решение требует некоторой смелости.

Какого рода смелости?..

Г. С.: Дело в том, что, как только мы выходим за пределы простого, понятного действия классического сравнительного метода, мы оказываемся в очень трудном положении. Столь же просто и понятно объяснить, чем «борейская» или «прогоническая» гипотеза *принципиально* отличается от какого-нибудь любительского безумия вида «шумерский — ключ к разгадке всех языков мира» или, хуже того, «все арабские слова окажутся русскими, если их прочесть справа налево», намного труднее. Очень легко может создаться впечатление, что я сам себе противоречу: начинали же мы нашу беседу с того, как легко можно попасть в ловушку случайных совпадений, а тут вдруг опять переходим к разговору о том, что какие-то гипотезы о сверхдревнем родстве строятся на основании простых фонетических сходств, а не соответствий...

На самом деле самое главное отличие, как мне кажется — это то, что у нас в целом к гипотезам столь глубокого уровня очень спокойное отношение. Гипотезы «макросемейного» уровня, такие как алтайская, но-стратическая, дене-кавказская, мы считаем в целом доказанными «за гранью сомнения», поскольку в их пользу говорит и наличие регулярных фонетических соответствий, и этимологический корпус, и лексикостатистика, и даже иногда какие-то отдельные фрагменты грамматики. Все, что лежит за их пределами, может и, уверен, неоднократно будет пере-

краиваться. Сегодня «прогоническая» гипотеза кажется нам перспективной, завтра вполне может оказаться, что все гораздо сложнее. Для меня это просто некоторая рабочая рамка — модель, задающая определенные рабочие ориентиры.

На практике «борейская» или «прогоническая» идеология сейчас предписывает одну-единственную рекомендацию: ту базу данных, которую некогда начал С. А. Старостин, надо стараться пополнять новыми и уточненными сравнениями между макросемьями мира по мере того, как продвигается над ними работа. Конкретную же оценку этих сравнений, может быть, придется давать уже нашим ученикам.

То есть, Вы не рассчитываете при жизни докопаться до отчетливых следов «праязыка человечества», или хотя бы «ближайшего общего предка»?

Г. С.: Самое большое, на что я могу рассчитывать — это что нам удастся значительно уточнить и углубить существующую классификацию и, может быть, поставить «прогоническую» гипотезу на более прочную основу.

Вы, конечно, заметили, что буквально каждые несколько минут в наших беседах поднимается мотив того, как много по такой-то и такой-то тематике еще предстоит работы и как мало на самом деле сделано. Когда-то давным-давно, в 1960–1970-е годы, на фоне общего лирического оттепелного и послеоттепелного «подъема», было среди московских компаративистов такое идеалистическое представление, что если здесь и сейчас собрать человек 15–20, умных, толковых и работающих, то лет примерно этак за 20 работы все будет описано, все реконструкции на всех уровнях будут выполнены, и вопрос о праязыке или праязыках человечества будет по большому счету решен.

Потом, естественно, оказалось, что юношеский энтузиазм быстро прошел даже у самых умных, толковых и работающих (каковых оказалось от силы человек пять вместо требуемых двадцати) — потому что стало понятно, что за 20–30 лет что-то можно сделать только (а) с хорошо слаженной и согласованной командой, которой в нашей науке так и не оказалось; (б) с идеальными данными по языкам, которых даже сейчас,

в эпоху информационной открытости, продолжает не хватать, а уж что говорить о временах советских; (в) главное — крупных результатов за такой период можно достичь только *примерных, приблизительных*, а это обескураживало и до сих пор обескураживает самых лучших специалистов в компаративистике — люди эти по своей природе обычно перфекционисты и не любят переходить к задаче Б, не разобравшись сначала на все 100% в задаче А.

Позиция перфекциониста проста: чтобы идеально реконструировать даже одну макросемью, надо проработать лет сто, а раз я столько все равно не проживу, то зачем этим вообще заниматься? Лучше заняться более мелкой проблематикой, за которую можно успеть получить свои лавры прижизненно. А будешь работать над крупными проблемами — вместо лавров гарантирована одна сплошная критика. За приблизительность, неаккуратность, а то и за «научную нечистоплотность». По большому счету, так и произошло с С. А. Старостиным, которого многие западные лингвисты часто считают едва ли не сумасшедшим от науки. Разумеется, в погоне за «крупными» целями он нередко допускал досадные ошибки, но никто из критиков, как правило, не утруждал себя заботой посмотреть, насколько критикуемые «мелочи» реально значимы с точки зрения общих выводов. Я далек от того, чтобы относиться ко всему, что делал Сергей Анатольевич, с религиозным почтением, но при этом из всех его «крупных» разработок — сино-кавказской, алтайской, глоттохронологической и т. п. — я пока не видел ни одной, которая бы очевидным образом рухнула под напором массы контраргументов, притом что я стараюсь внимательно следить за основной критикой нашей деятельности.

Получается, что сегодня занятие макрокомпаративистикой — это не только сложный, но и крайне неблагодарный вид деятельности. В России ситуация более благоприятна, так как сначала вокруг В. М. Иллич-Свитыча и А. Б. Долгопольского, а затем и вокруг С. А. Старостина в свое время сложился очень талантливый и продуктивный компаративистский кружок, и сегодня его представители и их ученики занимают в отечественном сравнительно-историческом языкознании передовые позиции. Но пробиться через занятия алтаистикой, ностратикой или, не дай Бог, «глобальным» сравнением в западный лингвистический мейнстрим — откровенное карьерное самоубийство.

Разумеется, к собственно научной деятельности это не имеет никакого отношения. Сегодня конъюнктура такая, завтра — другая. Более того, по-видимому, именно сейчас наступает новая эпоха. В последнее время, в свете крупных успехов генетики и разработки новых вероятностных методов построения филогенетического древа человека (и живых организмов вообще), обострился интерес и к филогенетическим методам в других областях, в частности в лингвистике. В начале 2000-х годов появилась серия публикаций о применении методов анализа, принятых в биологии, к языковой классификации — по сути, это была та же лексикостатистика, хотя конкретные методы построения деревьев были новыми. В западных университетах возникли совершенно новые команды, как правило, состоящие не столько из лингвистов, сколько из антропологов, социологов, биологов, даже физиков и представителей других естественных наук, которые с большим азартом свои методы стали применять к сравнительным языковым данным. Позитивный аспект этого нового движения в том, что на людей не давит груз традиции, и к любого рода макрогипотезам они относятся спокойно. Негативный — в том, что у них, как правило, нет ни лингвистического образования, ни опыта работы с конкретным сравнительным материалом, и поэтому в целом правильные методы анализа они легко могут применять к непроверенным, заведомо ошибочным данным, или просто применять их некорректным образом, не учитывая, например, типичные и хорошо известные лингвистам особенности языковых изменений.

Как бы то ни было, спрос на «грамотную» макрокомпаративистику сегодня, пожалуй, немного подрос по сравнению с ситуацией 10–15-летней давности, что, с одной стороны, обнадеживает, а с другой, обязывает навязывать собственную повестку, потому что все-таки нигде в мире не накоплено столько опыта конкретной работы с макрогипотезами, как в Московской школе. Навязывать же ее, конечно, можно только через активную работу.

Расскажите тогда, пожалуй, в заключение о дальнейших планах Московской школы. Какими видятся ближайшие перспективы? Кто и где занимается их реализацией? Есть ли у вас какая-то кадровая политика?

Г. С.: На повестке дня у нас сегодня стоит несколько глобальных задач, попробую перечислить основные.

Во-первых, необходима дальнейшая разработка теоретической методологии, как для сравнительно-исторического языкознания вообще, так и для макрокомпаративистики в частности. К этому нас особенно активно подталкивают те западные коллеги, которых можно зачислить в число «сочувствующих», — как лингвисты, так и представители смежных областей, например генетики.

Конечно, стандартная методология сравнительно-исторического языкознания уже разработана, и такие ее элементы, как принцип регулярных фонетических соответствий, никто «совершенствовать» не собирается. Вообще, здесь очень важно действовать с умом, не поддаваясь на «тренды», возникающие иногда просто из подсознательного желания «обновить старенькую парадигму, а то что-то она давно не обновлялась».

Но есть и множество проблем, на сегодня действительно остающихся без решения. Одна из них — семантическая реконструкция. В нашей второй беседе я уже поднимал эту тему, а здесь лишь подчеркну еще раз, что для макрокомпаративистики разработка качественных стандартов определения и уточнения значения праязыковой реконструкции просто-таки жизненно необходима.

Уточню, о чем идет речь. Допустим, у нас есть германское слово **lu:s-* ‘вошь’ (англ. *louse* и др.) и тохарское слово *luwa* ‘зверь’. Фонетически они соответствуют друг другу и могут сводиться к единой индоевропейской этимологии. С точки зрения семантики эта этимология, однако, проблемна — мы не знаем, что это за экзотическое развитие такое (сужение из ‘зверя’ в ‘вошь’ или наоборот?) и возможно ли оно в принципе. Аналогичные примеры в других языковых группах, если и существуют, то на дороге явно не валяются. Пока мы их не соберем и не проанализируем, вероятность истинности данной этимологии остается довольно низкой — вполне допустимо и то, что речь идет все-таки о случайном совпадении. Но на самом факте родства германских и тохарских языков эта неуверенность никак не скажется — потому что на каждый такой случай будет другой, где и фонетика, и семантика будут вне подозрений. Например, тохарское *laks* ‘рыба’ и германское **laxs-* ‘лосось’, или тохарское *lip-* ‘оставаться’ и германское **li:ban* (англ. *leave*), если говорить о словах на *l-*, и т. д.

Когда мы переходим на уровень макрокомпаративистики, мы этой «роскоши» — стабильности семантики во всех или хотя бы в большей части этимологий — лишены. Даже в консервативных материалах Иллич-Свитыча хорошо, если в одной из пяти-шести этимологий значение реконструированного индоевропейского корня полностью совпадает с аналогичным значением, скажем, прауральского корня, а в других макросемьях ситуация еще хуже. С точки зрения нашей *интуиции* предлагаемые макрокомпаративистами переходы могут казаться осмысленными: например, в одной семье значение — ‘губа’, в другой ‘язык’, теоретически можно предположить какую-то связь, но какую? Каким было исходное значение — ‘губа’, ‘язык’, что-то еще? В какую сторону и каким образом шло развитие? Есть ли аналогичные случаи в других языках?

И такая ситуация для макросравнения зачастую оказывается *нормой*, потому что сравниваемые семьи отделены друг от друга гораздо более длительными хронологическими интервалами, чем, скажем, пратохарский от прагерманского. Соответственно, гораздо серьезнее встает задача оценки семантических расхождений — какие из них типичны и естественны, а какие, наоборот, редки или вообще невероятны. А это, в свою очередь, требует разработки большого типологического корпуса семантических изменений, ориентированного на работу диахрониста, и к решению этой задачи мы еще только-только подступаем. В теоретическом плане она, может быть, и не очень сложная, но в техническом плане составление такого корпуса требует гигантских трудозатрат.

Вторая область методологических разработок — это математические методы. В первую очередь речь идет о дальнейшем уточнении глоттохронологического метода и повышении надежности лингвистических датировок. Но, помимо этого, сегодня назрела необходимость разработки различного рода статистических тестов, которые могли бы грамотно оценивать наши сравнения и реконструкции на предмет вероятности. Сегодняшние модели и алгоритмы в массе своей очень слабые, так как оценивают они обычно лишь поверхностные сходства современных языков. Но если на уровне современных языков *вручную* обычно не удается ничего предложить в плане языкового родства на сверхглубоком уровне (разве что через массовое сравнение) — то что уж говорить об уровне автоматическом!

Никакая компьютерная модель не установит ностратическое родство, анализируя лексический состав русского и финского языков.

Следовательно, на самом деле нужны гораздо более сложные модели, этикие «нано-компаративисты», которые сами умели бы генерировать ступенчатые реконструкции, предлагать классификации, реконструировать праформы, оценивать сходства на предмет того, укладываются ли они в генетическую модель или в ареально-контактную и т. п. Здесь очень много увлекательных перспектив, и какие-то первые небольшие шажки мы уже делаем в эту сторону, но для того, чтобы получить удовлетворительные результаты, здесь нужна очень грамотная и тесно скоординированная команда из исторических лингвистов и опытных программистов, которой у нас пока нет (по крайней мере, не в таких масштабах, которые необходимы для успеха).

Вторая глобальная задача — это, конечно, продолжение описательной работы по языкам мира. Здесь зависимость простая: чем больше в нашем распоряжении данных, тем точнее и убедительнее выводы. Сравнение двух языков дает меньше, чем сравнение трех языков, сравнение трех — меньше, чем сравнение десяти. В идеале для того, чтобы построить оптимальную модель генетической классификации языков мира и продвинуться на максимально возможную глубину реконструкции, нам нужно иметь исчерпывающие сведения о языковой картине мира на сегодняшний день. Однако реальность такова, что многие языки сегодня вымирают или как минимум пропадают из поля зрения раньше, чем их успевают записать.

По счастью, описательной работой сегодня все-таки активно занимаются лингвисты по всему миру. России в этом плане повезло — благодаря усилиям лингвистов из МГУ, РГГУ, других университетов на территории не только России, но и бывшего СССР фактически не осталось неописанных языков (хотя, конечно, на практике работа полевого лингвиста бесконечна — ведь у каждого языка есть еще и свои диалекты, каждый из которых может представлять отдельный интерес; помимо этого, для *идеального* описания языка на самом деле необходимы годы работы — многие из существующих описаний до сих пор страдают от поверхностности или неаккуратности). Но при этом надо учитывать, что языков национальных меньшинств в России в чисто количественном от-

ношении не так уж и много — примерно около сотни, в то время как в одной Нигерии их более пятисот, а в Новой Гвинее — более восьмисот!

Лингвисты из европейских и американских университетов, конечно, сегодня стараются развивать экспедиционную активность — каждый год выходит в свет десяток-другой словарей и грамматик по редким языкам. Очень активно и успешно за дело взялись китайские лингвисты, стремящиеся с типично китайской дотошностью провести полную инвентаризацию языкового разнообразия своих национальных меньшинств; с несколько меньшим, но все равно достойным уважения энтузиазмом работают индийские ученые. В последние несколько десятилетий в Азии и в Африке наладили работу японские специалисты.

И несмотря на все эти позитивные сдвиги, скорость работы все равно остается неудовлетворительной?

Г. С.: Скорость определяется возможностями финансирования — экспедиции в отдаленные, часто труднодоступные, точки планеты, в отличие от работы компаративиста над сравнительным словарем, удовольствие недешевое. Сами по себе страны Африки, Азии, Южной Америки, как правило, не имеют ни кадровых, ни финансовых ресурсов, чтобы качественно организовать такие экспедиции (в лучшем случае можно рассчитывать на ту или иную степень сотрудничества со стороны правительства). У европейских и американских государственных (реже — частных) организаций такие ресурсы есть, но на всех не хватает, и приходится делать выбор. А на выбор этот влияют очень разные факторы, и значимость для нужд сравнительно-исторического языкознания среди них едва ли не на последнем месте. Поддерживаются скорее такие проекты, которые делают упор на «культурное разнообразие» или на нужды типологического языкознания, которое, в отличие от компаративистики, обычно работает с языковыми выборками, а не цельным пространством.

Типологу, как правило, не нужно подробное описание десяти близкородственных языков — их структурные характеристики по большинству пунктов, скорее всего, будут совпадать; гораздо интереснее по тем или иным параметрам сравнить, скажем, один язык из какой-нибудь южноамериканской семьи с одним языком из индоевропейской семьи, од-

ним — из австралийской, одним — из нигер-конголезской и т. п. Компаративист же так работать не может, потому что он должен ориентироваться на принцип «ступенчатости». Один австралийский язык ничего не скажет ему о том, как выглядел праавстралийский. Даже десять австралийских языков, по одному из десяти разных ветвей, ничего не скажут — он не может сравнивать их напрямую до тех пор, пока не будут реконструированы, хотя бы в самом примерном виде, праязыки этих ветвей. Так что в целом лакуны в описании языков мира компаративисту в его работе вредят больше, чем какому-либо другому лингвисту. Радует лишь то, что все-таки каждый год хотя бы некоторое число этих лакун обростает новым материалом.

Третья важнейшая область работы, тоже во многом техническая — это компьютеризация языкового материала, причем не просто элементарная оцифровка (то есть сканирование и распознавание словарей и грамматик), а организация материала в форме специальных баз данных, снабженных удобными поисковыми механизмами и специальным аналитическим аппаратом. «Дедовские» методы обкладывания себя со всех сторон словарями сегодня уже неэффективны, потому что любая информация в базе данных находится и обрабатывается намного быстрее, чем в словаре, а какие-то виды операций вообще невозможны без помощи компьютера (например, статистические подсчеты).

Наш основной рабочий аппарат сегодня — это программа StarLing, разработанная С. А. Старостиным так давно, что многие ее технические аспекты на сегодняшний день безнадежно устарели; но, с другой стороны, это до сих пор единственный «рабочий станок», в котором можно порождать, заполнять и анализировать лингвистические базы данных, строить лексикостатистические матрицы и генеалогические деревья, даже пытаться автоматическим способом находить регулярные фонетические соответствия. Тот же формат отображается и на нашем интернет-сайте (<http://starling.rinet.ru>), куда регулярно выкладываются обновления этимологических корпусов (проект «Вавилонская башня») и аннотированных списков Сводеша (подчиненный проект «Глобальная лексикостатистическая база данных»).

Сейчас мы работаем как над усовершенствованием рабочего интерфейса программы и веб-сайта, так и над новыми процедурами анали-

за — в частности, над различными алгоритмами сопоставления материала, которые позволили бы обучить компьютер работе «настоящего» компаративиста. Но, конечно, львиную долю времени работы с машиной все равно занимает элементарный ввод и структурирование данных. Каждый словарь, каждая грамматика, каждый сравнительный лексикологический обзор, составленные за последние сто-двести лет, имеют свои индивидуальные особенности — для того чтобы машина могла их корректно сравнить, они все должны быть приведены к общему знаменателю, а это можно сделать только вручную.

Вот эти три линии деятельности (описательная, теоретическо-методологическая и «оцифровочная») сегодня для нас приоритетны — без усовершенствованной теоретической базы, дескриптивной работы и полной компьютеризации данных о том, чтобы шагнуть дальше в глубь веков, чем это сделали В. М. Иллич-Свитыч и С. А. Старостин, не может быть и речи.

Спасибо, это понятно. А есть ли еще какие-то важные технические или содержательные проблемы, которые приходится решать по ходу работы?

Г. С.: Я бы сказал, что важнейшая из «побочных» проблем — это такой аспект, как *кооперация*. В целом должен отметить, что «командный» стиль работы для лингвистов вообще и компаративистов в частности скорее нетипичен; по крайней мере, мой личный опыт говорит о том, что лингвист, способный к самостоятельной работе, скорее будет заинтересован в том, чтобы разработать собственную теорию, а не работать «по-слушно» в рамках уже существующей. Во многом это связано с тем, что языкознание, хотя и претендует по многим параметрам на статус «точной» науки, все же не поставлено на столь строгую и унифицированную основу, как другие «точные» науки — и к тому же очень сильно зависит от сложившихся традиций.

Конкретный пример — система единой, универсальной фонетической транскрипции, разработанная Международной фонетической ассоциацией (по-английски — International Phonetics Association, сокращенно IPA). Пользуются ей сегодня в основном члены этой ассоциации; на са-

мом же деле, как правило, в зависимости от того, с языками какой семьи или ареала работает лингвист, соответствующей традиционной системой записи он и пользуется. По двум причинам: во-первых, сколь бы ни был высок авторитет IPA, он не в состоянии «перебить» авторитет местных традиций, а во-вторых и в-главных, универсальная фонетическая транскрипция, которая была бы одинаково удобна для всех языков и языковых семей, — вещь недостижимая.

То же самое справедливо и по отношению к методологии (методологиям) практической, как описательной, так и историческо-аналитической, работы над языками. Даже такое научное достижение, как сравнительно-исторический метод, основанный на регулярных фонетических соответствиях, при желании может отвергаться исследователем с формулировкой «мои языки, с которыми я работаю, — особенные, для них строгое применение сравнительного метода невозможно, они сложились в особых социолингвистических условиях» и т. п. При этом вполне может быть, что автор такого заявления просто не умеет правильно искать фонетические соответствия или отличать родственные слова от заимствований — но это не мешает ему сделать ответственное заявление о том, что «его» языки не подчиняются общим закономерностям языкового развития.

Там же, где речь идет о макрокомпаративистике, вопрос кооперации встает *особенно* остро, потому что даже самый гениальный исследователь не может в одиночку объять огромный материал даже одной-единственной макросемьи. Идеальная процедура работы над этимологическим корпусом такой макросемьи требует наличия группы специалистов; скажем, если речь идет о ностратике, в такой команде должен быть хотя бы один профессиональный индоевропеист, хотя бы один уралист, алтаист, дравидолог и т. д. При этом все они, во-первых, не должны быть принципиальными противниками дальнего сравнения; во-вторых, должны придерживаться одних и тех же исследовательских принципов, одной и той же терминологии; в-третьих, должны иметь достаточно широкий кругозор (то есть индоевропеист может не разбираться досконально в уралистике и алтаистике, но должен быть знаком хотя бы с азами и т. п.). При нынешнем состоянии лингвистических исследований этот идеал, конечно, недостижим.

Понятно, что идеал в принципе недостижим — на то он и идеал; но можно ли к нему последовательно приближаться?

Г.С.: До тех пор пока к этой деятельности не иссякает интерес — разумеется, можно. Самое главное, на мой взгляд — это не утратить саму идею масштабности проекта, не растерять командный дух, не позволить людям разбежаться по углам, чтобы возделывать свои маленькие научные огороды как «вещи-в-себе», не объединенные в единую систему. Мы с коллегами, конечно, регулярно публикуемся в научных журналах, выступаем на конференциях и семинарах, читаем лекции, но при этом главный наш продукт — это цельная, иерархически структурированная система баз данных, которую мы постепенно создаем и выкладываем в публичное интернет-пространство. Такую систему без хорошо слаженной команды создать невозможно, но при этом только наличие такой системы, а не отдельных мелких публикаций по частным вопросам, может превратить макрокомпаративистику в уважаемую область научного знания и дать понять, как далеко с ее помощью мы можем проникнуть в прошлое.

И последний вопрос, может быть, в каком-то смысле самый важный. А как бы Вы, собственно говоря, определили для себя, или для Вашей науки в целом, смысл этого «проникновения в прошлое»? Здесь же получается двойная проблема: с одной стороны, чем глубже мы копаем, тем менее надежны (и принципиально нетестируемы) получаемые результаты, а с другой — не очень понятно, что они, собственно, дают. Иными словами, может ли условная «ностратика» спасти мир?

Г.С.: Да, этот вопрос в современном мире возникает постоянно — кстати говоря, чем дальше, тем чаще, потому что в последнее время в целом просматривается тенденция все более и более «прагматичного» подхода к фундаментальной науке, совершенно не свойственного даже для ученых XIX века.

Компаративистика здесь оказалась в очень невыгодном положении по сравнению с многими другими областями лингвистики. Если общее языкознание имеет очевидные области практического применения (ма-

шинный перевод, различные другие алгоритмы обработки текста и извлечения из него информации, педагогика, языковая политика и т. п.), то историческое языкознание для удовлетворения повседневных нужд общества совершенно не требуется. Однако, в общем, примерно то же самое актуально для любых научных дисциплин, относящихся к сфере исторических — археологии, палеонтологии, сравнительной антропологии и даже собственно истории как таковой. Все претензии, которые можно предъявить как к обычной, так и к макрокомпаративистике (неточность входных данных, недостаточная формализованность методов работы, отсутствие практической применимости и т. п.), примерно в той же степени можно предъявлять и к истории.

На самом деле важнейшая область применимости всех этих наук — удовлетворение элементарного человеческого любопытства, стремления разобраться в причинно-следственных связях, лежащих в основе всей человеческой цивилизации. И было бы неправдой утверждать, что запрос на такое знание существует только среди самих ученых. Если бы это было так, не пользовались бы такой популярностью лженаучные творения в стиле «все языки мира происходят от шумерского / русского / марсианского». Вообще, понять, почему мы говорим так, а не иначе и откуда берутся большие и малые языки в таких количествах, интересно почти всем людям, которым вообще что-то интересно за пределами сиюминутных потребностей. И если на эти вопросы не будут отвечать ученые, на их место немедленно встанут шарлатаны, некоторые из них, кстати говоря, уже спешат использовать некоторые достижения макрокомпаративистики в своих целях.

В каких конкретно?

Г. С.: Например, время от времени мне попадаются на глаза совершенно чудовищные публикации «геополитического» характера, где авторы любят порассуждать о «ностратических корнях», «ностратической общности народов» и тому подобных вещах, точно в том же самом невежественном ключе, как когда-то любили порассуждать о «великом индоевропейском народе». Увидите любой такой текст — смело отправляйте его в мусорное ведро, потому что нет более грубой ошибки, чем

смешивание *языкового* единства с *этническим*. Если русский и турецкий языки развились из общего языка-предка, на котором говорили десять-двенадцать тысяч лет тому назад, это совершенно не значит, что русские и турки в этническом плане восходят к единому народу, жившему в то же время. Гены (биологические), язык и культура (как духовная, так и материальная) — три очень разные составляющие, которые в одних условиях передаются из поколения в поколение вместе, а в других — раздельно. Именно поэтому полноценную картину исторического развития человечества можно получить только в рамках междисциплинарного подхода.

С другой стороны, конечно, *осмыслить* результаты, которые мы получаем, тоже необходимо, в том числе и с точки зрения их значимости для реконструкции самого процесса зарождения ранних цивилизаций. Я не случайно, например, в одном из разговоров остановился на таком вопросе, как заимствования в древнекитайский язык из языков соседних семей (алтайской, австронезийской и других) — этот факт вскрыт совсем недавно, а значение его огромно: он показывает, что столь великая цивилизация, как китайская, не сложилась «из ничего», на пустом месте, а на самом деле переработала богатый опыт других народов, оказавшись, по-видимому, на стыке сразу нескольких традиций и сумев на их основе синтезировать нечто принципиально иное и, как оказалось, гораздо более жизнеспособное. (Кстати говоря, к аналогичным выводам о Китае, но уже на основании совершенно других данных, сегодня приходят и археологи.)

Культурную жизнь народов времен раннего неолита (не говоря уже о более ранних периодах) мы, скорее всего, реконструировать не сможем никогда из-за высокой «текучести» культурной лексики. Но по крайней мере истоки культурных традиций носителей таких праязыков, как индоевропейский, уральский, австронезийский, сино-тибетский и т. д., макрокомпаративистика способна вскрыть хотя бы частично. Только для этого ее сначала надо, наконец, внедрить в «мейнстримную» компоненту сравнительно-исторического языкознания: довольно трудно заниматься, например, ностратическими корнями культурной лексики индоевропейских и уральских языков, если все время приходится отвлекаться на поиск все новых и новых аргументов в пользу самого факта существования ностратической макросемьи.

И все-таки нельзя не спросить еще раз: имеет ли сравнительно-историческое языкознание, тем более ориентированное на «сверхглубокую» древность, хотя бы некоторую значимость для решения задач, актуальных для современного общества? Не останется ли она в противном случае на уровне «интеллектуальной забавы» для немногих посвященных?

Г. С.: Думаю, все зависит от того, что мы считаем «актуальными задачами». Для меня, например, борьба с лженаукой и мракобесием, особенно там, где последние тайно или явно ставятся на службу конкретным политическим или экономическим интересам, является чрезвычайно актуальной задачей.

Но на самом деле, как и во многих других областях науки, «практическая применимость» получаемых результатов непредсказуема. Думаю, что в первую очередь они, конечно, должны интегрироваться в общую теорию языка. Например, важнейшее для нас противопоставление «базисной» и «культурной» лексики и связанное с этим сравнительное изучение устойчивости различных лексических элементов теснейшим образом связано с теорией «семантических примитивов» Анны Вежбицкой и в какой-то степени выводит нас на раскрытие первичной языковой картины мира носителей ранних форм языка, что может вполне найти применение в компьютерных алгоритмах языкового моделирования (семантика в языковом моделировании, кстати, до сих пор остается совершенно непаханным полем, и здесь пригодятся любые достижения в смежных областях знания).

Изучение того, как взаимодействуют генетически унаследованные черты языка и ареально-контактные влияния, может учитываться в вопросах языковой политики — например, связанных со школьным преподаванием языков национальных меньшинств и с написанием «нормативных» грамматик.

Наконец, извечный философский вопрос о соотношении языка и мышления, на мой взгляд, тоже вряд ли может быть решен без обращения к данным компаративистики, *особенно* на глубинных уровнях, потому что только компаративистика вскрывает конкретные (не общие) механизмы возникновения в языке новых грамматических и лексических

категорий. Даже если, как я уже говорил, мы нашу «Вавилонскую башню» не сумеем достроить до верхнего уровня, по мере строительства определенный свет на проблему происхождения и механизмов функционирования языка пролить определенно удастся.

В заключение этой последней беседы, прощаясь и втайне надеясь на то, что кому-то из наших будущих читателей наши разговоры помогут сориентироваться, хочу еще раз сделать то, что, кажется, делал уже неоднократно — а именно предостеречь от крайностей. Две самые предсказуемые и, в общем, бестолковые реакции на макрокомпаративистику — гиперскептическая («все это бессмысленно, потому что все равно ничего нельзя доказать») и, наоборот, романтически-доверчивая («потрепаясь, ученые доказали, что все языки Евразии (Старого Света, мира) восходят к общему предку!»). Мне бы очень не хотелось, чтобы по итогам чтения этой книги у кого-либо сформировалось либо первое, либо второе отношение.

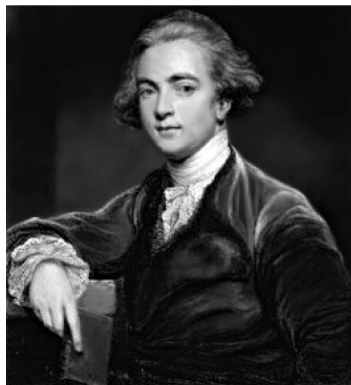
Конечно, сказать «верю» или «не верю» — это самый простой вариант из всех возможных, но к науке как таковой он не имеет отношения. Наука, в том числе и наука о дальнем родстве языков — это данные, системы связей между этими данными и интерпретация этой системы. Чем больше данных, чем системнее их связанность, тем более вероятной оказывается предлагаемая интерпретация. Индоевропейская семья сегодня вероятна практически на уровне факта. Ностратическая макросемья — вероятна на уровне тестируемой рабочей гипотезы. «Борейская» или «прогоническая» макро-макросемья — вероятна на уровне допустимой спекуляции, и так далее.

Сегодня наша главная задача — довести эти гипотезы до такого состояния, чтобы усомниться в них стало так же сложно, как и в индоевропейской. Или, по крайней мере, сделать все, что в наших силах, чтобы их довести до этого состояния. Как в анекдоте: «не догоним, так хоть согреемся», потому что в ходе преследования одной крупномасштабной цели мы на самом деле каждый день решаем массу мелких задач. Но ведь никто и не доказал, что «догнать» невозможно — а мелкие задачи решать гораздо приятнее, когда осознаешь, что все они так или иначе необходимы для решения главной «суперзадачи».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Персоналии

Поскольку сравнительно-историческое языкознание (как научное направление) существует уже более 200 лет, дать общие сведения даже о самых основных его представителях в рамках краткого приложения к одной книге невозможно. Поэтому мы решили ограничиться лишь небольшой «портретной галереей» тех ученых, которые неоднократно упоминались в основном тексте книги (а некоторые даже отчасти оказались ее соавторами). Именно эти люди, на наш взгляд, внесли самый значительный вклад в развитие компаративистики как науки, нацеленной на реконструкцию далекого языкового прошлого — начиная от первых индоевропейцев, заложивших фундамент для всей дисциплины, и заканчивая современными макрокомпаративистами Московской школы, успешно (или, в зависимости от обстоятельств, не очень успешно, но хотя бы последовательно) применяющих «ступенчатый» сравнительно-исторический метод к уже реконструированным праязыкам.



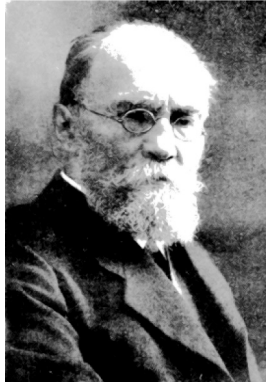
Уильям Джонс (1746–1794). Английский юрист, филолог, востоковед, специалист в области классических языков, один из первых европейских исследователей индийской культуры и древнеиндийского языка (санскрита); основатель Бенгальского азиатского общества (1784). В историю компаративистики вошел в первую очередь благодаря третьей юбилейной лекции, прочитанной на заседании Общества в 1786 году, в которой постулировал существование общего языка-предка для санскрита, латыни, греческого и других классических языков Европы, тем самым фактически положив начало индоевропеистике как научной дисциплине.



Франц Бопп (1791–1867). Немецкий лингвист, автор первых крупных исследований по сравнительной грамматике индоевропейских языков («О системе спряжений санскрита в сравнении с таковым в греческом, латинском, персидском, и германском языках», 1816 г.; «Сравнительная грамматика санскрита, зенда, армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого языков», 1833–1853 гг.), заложивших методологические основы современной лингвистической компаративистики.



Август Шлейхер (1821–1868). Лингвист, востоковед, автор идеи «языка как организма» и концепции генеалогического древа языков, до сих пор остающейся в рамках сравнительно-исторического языкознания моделью «по умолчанию». Значительно усовершенствовал праиндоевропейскую реконструкцию («Сравнительная грамматика индоевропейских языков», 1861); автор знаменитой «басни Шлейхера» — первого связного, хотя и сугубо гипотетического, текста, написанного на праиндоевропейском языке.



Карл Бругман (1849–1919). Наряду с Г. Остгофом, Б. Дельбрюком, Г. Паулем и рядом других немецких исследователей — один из ведущих представителей школы «младogramматиков», окончательно сформировавшей классическую методологию сравнительно-исторического языкознания. Его «Очерк сравнительной грамматики индоевропейских языков» (1886–1892), включающий колоссальный фактический материал, в отличие от большинства предыдущих сравнительных грамматик, которые сегодня представляют скорее исторический интерес, до сих пор не утратил актуальность.



Хольгер Педерсен (1867–1953). Датский лингвист, индоевропеист, кельтолог, автор «Сравнительной грамматики кельтских языков» (1909–1913). В историю макрокомпаративистики вошел за счет ранних сравнительных исследований по индоевропейско-семитским связям и, самое главное — как автор термина «ностратические языки» (1903), к которым он относил индоевропейские, урало-алтайские и семито-хамитские, хотя строгого обоснования своей гипотезы он так и не представил.



Эдвард Сепир (1884–1939). Американский лингвист, антрополог, автор многочисленных работ на стыке обеих дисциплин. Одним из первых (наряду с Л. Блумфилдом) применил сравнительно-исторический метод к языковым группам Америки; автор одной из первых общих классификаций языков этого континента (многие из идей Сепира впоследствии развивал в своих исследованиях Дж. Гринберг). Первым высказал идею о возможном родстве между языками на-дене и сино-тибетскими языками, предвосхитив тем самым «дене-кавказскую» гипотезу.



Моррис Сводеш (1909–1967). Американский лингвист, специалист по сравнительному изучению языков американского континента. В историю компаративистики вошел главным образом тем, что первым четко формализовал и апробировал метод *глоттохронологии* — установления времени языкового распада на основании изменений в базисной лексике. 200-словный и особенно сокращенный 100-словный «список Сводеша», состоящий из особенно устойчивых элементов базисной лексики, до сих пор активно используется в лексикостатистике лингвистами по всему миру, а метод Сводеша, усовершенствованный С. А. Старостиным, остается одним из главных рабочих инструментов Московской школы компаративистики.



Джозеф Гринберг (1915–2001). Американский лингвист, автор многочисленных работ по типологическому и сравнительно-историческому языкознанию. Гринбергу принадлежит авторство спорного метода «массового» или «многостороннего» сравнения языков, позволяющего устанавливать языковое родство, в том числе и на значительных хронологических глубинах, не прибегая к процедуре установления регулярных соответствий и праязыковой реконструкции. Несмотря на сомнительность теоретических установок Гринберга, за свою жизнь ему удалось с помощью этого метода предложить собственные классификации языковых семей Африки, Америки и Евразии, некоторые из которых (в первую очередь — африканская) до сих пор используются как «рабочие модели».



Владислав Маркович Иллич-Свитыч (1934–1966). Советский лингвист, специалист в области балто-славянских и индоевропейских языков. Именно ему принадлежит заслуга научного обоснования и создания первого этимологического корпуса для крупнейшей макросемьи Евразии — ностратической; его «Опыт сравнения ностратических языков», вышедший посмертно, до сих пор остается во многом непревзойденным образцом последовательного применения сравнительно-исторического метода к языковому таксону столь хронологически глубокого уровня.



Арон Борисович Долгопольский (1930–2012). Советский (с 1976 — израильский) лингвист, специалист по индоевропейским и семито-хамитским языкам; параллельно с Иллич-Свитычем занимался разработкой ностратической гипотезы. Исследования в области ностратики были главной сферой деятельности ученого на протяжении более чем полувека — сначала в СССР, затем в эмиграции, где завершил работу над монументальным «Ностратическим словарем» (последнее издание — 2008 год). Хотя в плане методики превзойти Иллич-Свитыча ему, пожалуй, не удалось, систематизированный Долгопольским колоссальный сравнительный материал обеспечил макрокомпаративистов работой вперед как минимум на несколько десятилетий.



Владимир Антонович Дыбо (р. 1931). Компаративист, крупнейший специалист в области балто-славистики и общей индоевропеистики, а также сравнительного изучения акцентных (просодических) систем в языках мира. Был близким другом и коллегой В.М. Иллич-Свитыча, после гибели последнего принял активное участие в издании сравнительных материалов по ностратическому языкознанию и разработке спорных вопросов ностратической грамматики и этимологии, а также в организации Ностратического семинара имени В.М. Иллич-Свитыча, существующего до сих пор.



Сергей Анатольевич Старостин (1953–2005). Лингвист, компаративист, с 1980-х годов — неформальный руководитель Московской школы компаративистики («формальным» руководителем в какой-то степени был с 1991 года, когда возглавил в РГГУ сначала Кафедру сравнительно-исторического языкознания, а затем — Центр компаративистики). Автор / соавтор нескольких этимологических словарей (северокавказских, сино-тибетских, енисейских, алтайских языков), макрокомпаративистических работ в области алтайского, ностратического и особенно сино-кавказского языкознания (ему принадлежит научное обоснование сино-кавказской гипотезы как таковой). Специально для решения сложных задач компаративистики разработал лингвистическую компьютерную среду StarLing, до сих пор являющуюся главным рабочим инструментом Московской школы.



Олег Алексеевич Мудрак (1962). Лингвист, специалист по различным языкам народов бывшего СССР и соответствующим языковым семьям — тюркской, монгольской, а также малым языковым группам Сибири и Дальнего Востока (юкагирской, чукотско-камчатской, эскимосской, нивхской). Соавтор «Этимологического словаря алтайских языков» (2005, с С. А. Старостиным и А. В. Дыбо), автор «Этимологического словаря чукотско-камчатских языков» (2000) и «Эскимосского этимологикона» (2011).



Анна Владимировна Дыбо (1959). Дочь В. А. Дыбо, лингвист, специалист в области индоевропейских, тюркских, тунгусо-маньчжурских языков. Автор работы «Семантическая реконструкция в алтайской этимологии» (1991) — одного из немногих трудов, посвященных детальному изучению изменений значений слов на значительных временных глубинах. Вместе с С. А. Старостиным и О. А. Мудраком — соавтор «Этимологического словаря алтайских языков» (2005).

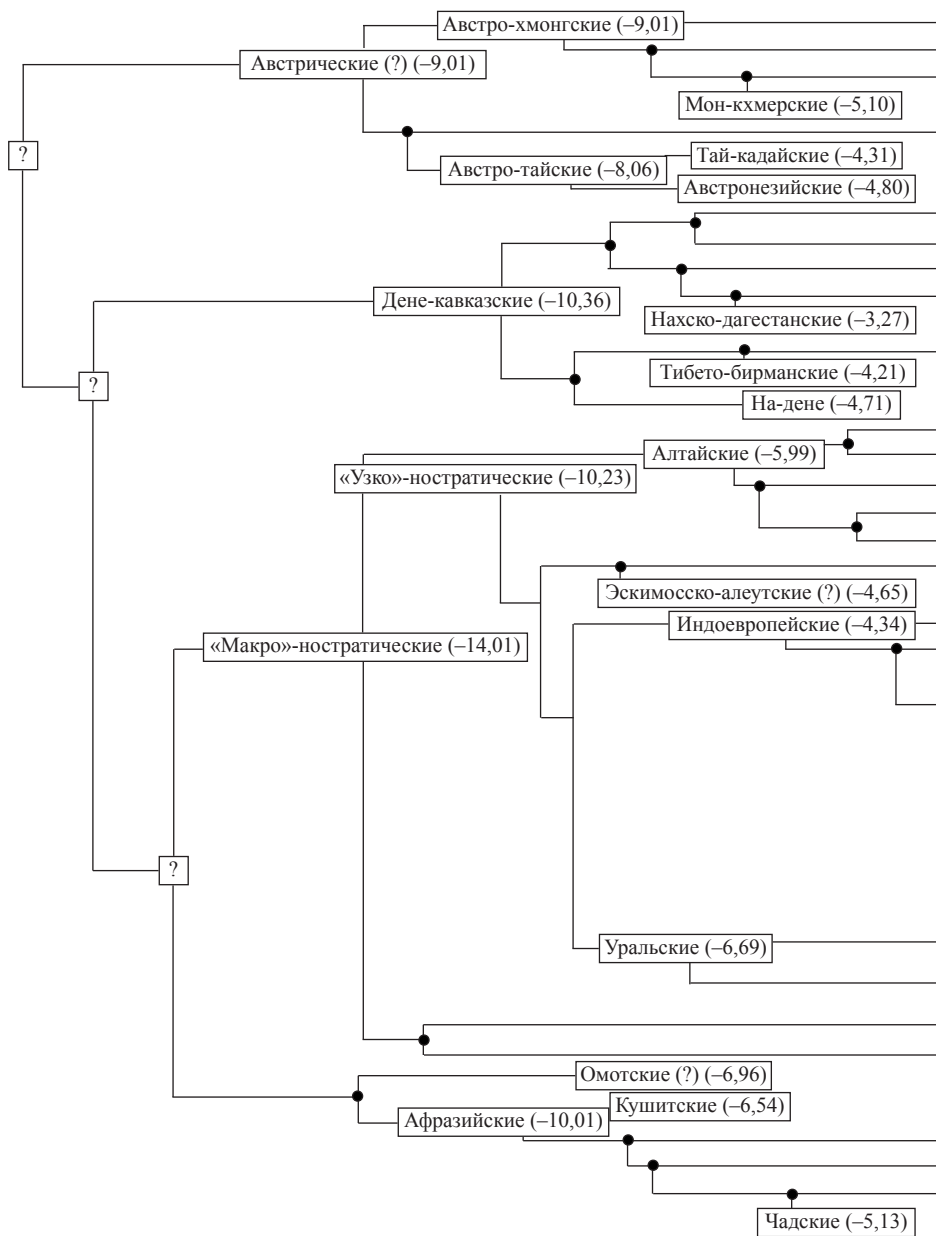


Александр Юрьевич Милитарёв (1943). Лингвист, филолог, специалист в области семитского и афразийского исторического языкознания, автор многочисленных трудов по семитологии, включая первые тома «Семитского этимологического словаря» (в соавторстве с Л. Е. Коганом, 2000–2005). Вместе с И. М. Дьяконовым, О. В. Столбовой и другими принимал участие в первом крупном коллективном проекте по созданию этимологического корпуса афразийских языков; вместе с О. В. Столбовой — автор крупнейшей базы данных по афразийской этимологии (доступной на сайте «Вавилонская башня»). Участник многочисленных научно-популярных интервью на тему сравнительно-исторического языкознания (в журнале «Знание — Сила» и др.).

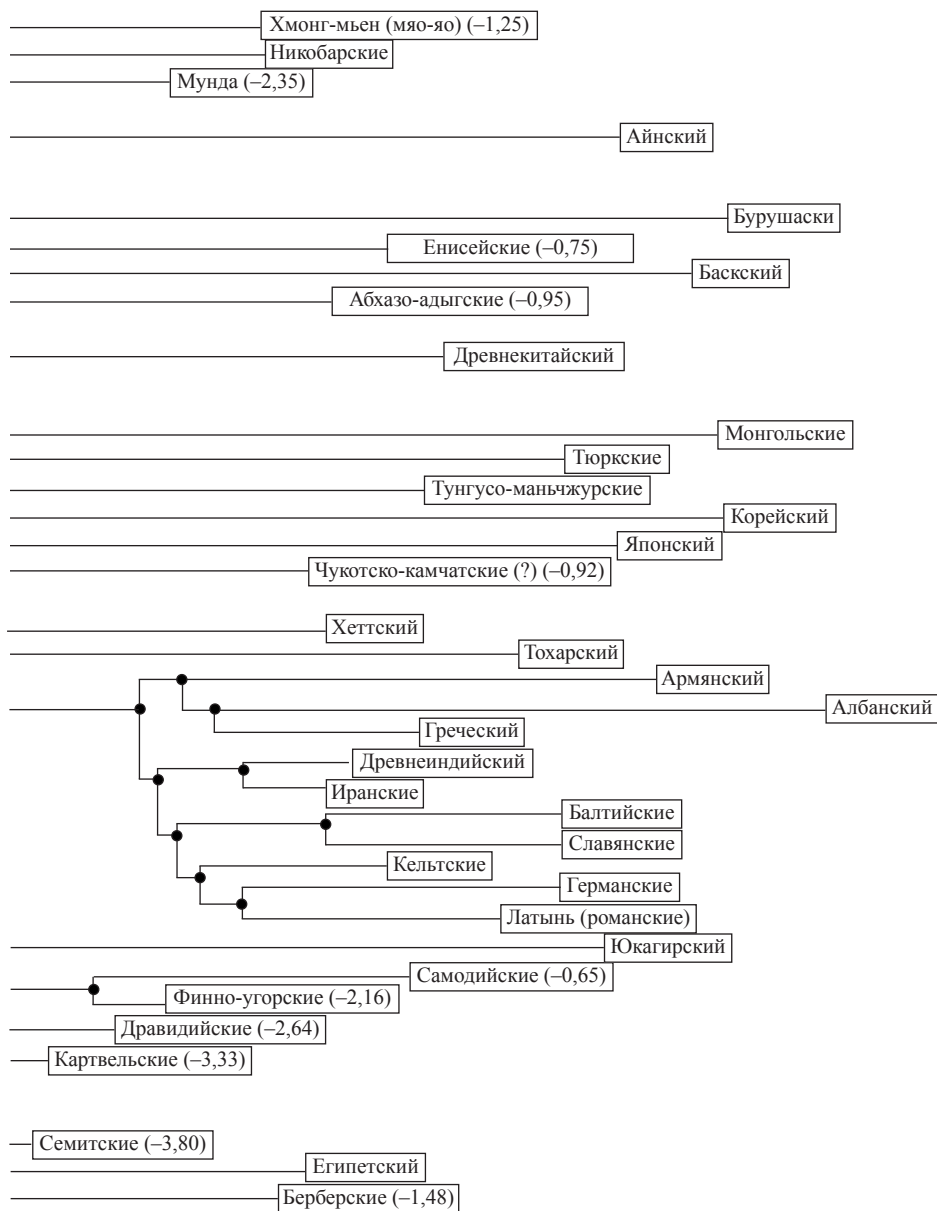


Илья Иосифович Пейрос (1948). Лингвист, специалист в области различных языковых семей Евразии (особенно — Юго-Восточной Азии), Океании, Америки. Автор многочисленных работ по языковой истории Юго-восточноазиатского региона; соавтор (вместе с С. А. Старостиным) много-томного сравнительного «Словаря сино-тибетских языков» (1996), также вместе с С. А. Старостиным принимал участие в разработке модели реконструкции праавстрического языка; автор многочисленных сравнительных баз данных по языкам Азии, Океании и Америки, частично опубликованных на сайте «Вавилонская башня».

Схема классификации языков Евразии по данным спискам (Г. С. Старостин,



предварительной лексикостатистики по 50-словным
2010–2013 гг.)



Приложение 2. Краткий обзор основных языковых макросемей мира

В этом приложении мы решили привести краткую суммарную информацию о наиболее известных и/или перспективных гипотезах «глубокого» языкового родства. В целях аккуратности мы разделили эти гипотезы на две группы — «макросемьи», обоснованные в рамках хотя бы частичного применения сравнительно-исторического метода (с установлением регулярных соответствий и праязыковой реконструкцией), и «метасемьи», обоснованные исключительно «на глазок», в рамках применения метода «массового сравнения» (как правило, Дж. Гринбергом или его последователями). С той или иной степенью подробности все эти гипотезы обсуждаются в основном тексте книги; здесь дается лишь справочная информация, укладываемая в следующую схему:

1. Название (названия) макросемьи.
2. Исследователи, с именем которых в первую очередь связана соответствующая гипотеза (авторы основных публикаций, словарей, баз данных и т. п.).
3. Состав макросемьи (сокращенный, с элементами внутренней классификации; подробную классификацию языков мира от современных живых языков до праязыков уровня макросемей см. в учебнике: *Бурлак С. А., Старостин С. А. Сравнительно-историческое языкознание*. М.: Academia, 2005).
4. Примерная степень надежности/разработанности гипотезы (установлены ли соответствия, реконструирован ли корпус, есть ли международное признание и т. п.).
5. Примерный возраст макросемьи по данным глоттохронологии (для Евразии и для Африки эти данные в основном опираются

на подсчеты по 50-словным спискам, составленным Г. С. Старостиным по материалам Московской школы).

6. Базисная местоименная парадигма ('я' / 'ты'), если есть (как один из наиболее универсальных и устойчивых «диагностических маркеров» родства на уровне макросемьи, хотя переоценивать его значимость тоже не стоит).

Макросемьи

1.1. Ностратическая макросемья.

1.2. Хольгер Педерсен (автор термина); В. М. Иллич-Свитыч (создал первую «рабочую» модель ностратического праязыка с применением сравнительного метода); А. Б. Долгопольский, А. Бомхард (альтернативные модели реконструкции).

1.3. *Ядро макросемьи*: (а) индоевропейские языки (хетто-лувийские, тохарские, греческий, армянский, албанский, индо-иранские, балто-славянские, германские, италийские, кельтские); (б) уральские языки (самодийские, угорские, финно-пермские); (в) алтайские языки (тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский, японский). *Периферия макросемьи*: (а) картвельские языки (грузинский и др.); (б) дравидийские языки (тамильский, каннада, телугу и др.). *Под большим вопросом* вхождение (а) эскимосско-алеутских языков; (б) чукотско-камчатских языков.

1.4. Установлены в первом приближении фонетические соответствия, реконструирован значительный лексический корпус (В. М. Иллич-Свитыч, А. Б. Долгопольский), проведены лексикостатистические исследования (С. А. Старостин, Г. С. Старостин и др.). В целом имеет статус «перспективной рабочей гипотезы» в МШК, пользуется относительным уважением (но не безоговорочным признанием) у многих западных компаративистов.

1.5. *Ядро* — примерно 10 тысяч лет до н. э. (отделение алтайских языков от индо-уральских; распад индо-уральской общности относится к чуть более позднему периоду); *периферия* объединяется с ядром на глубине примерно 13–14 тысяч лет до н. э.

1.6. Реконструируется местоименная парадигма *M- 'я' / *T- 'ты', хорошо сохраняющаяся в «ядерных» компонентах семьи, а также в картвельских языках.

2.1. **Сино-кавказская (дене-кавказская)** макросемья.

2.2. С. А. Старостин (гипотеза о родстве северокавказских, сино-тибетских и енисейских языков; первый опыт сино-кавказской реконструкции); Дж. Бенгтсон (интеграция данных баскского языка); С. Л. Николаев (интеграция данных по языкам на-дене).

2.3. *Западная* ветвь: (а) северокавказские языки (нахско-дагестанские, абхазо-адыгские); (б) баскский язык. *Центральная* ветвь: (а) енисейские языки (кетский и др.); (б) язык бурушаски. *Восточная* ветвь: (а) сино-тибетские языки (китайский; тибето-бирманские); (б) на-дене языки (глингит, эяк, атапаскские).

2.4. Установлены в первом приближении фонетические соответствия, реконструирован значительный лексический корпус (С. А. Старостин), проведены лексикостатистические исследования (С. А. Старостин, Г. С. Старостин и др.). В целом имеет статус «перспективной рабочей гипотезы» в МШК; на Западе гипотеза малоизвестна и вызывает скорее скептическое отношение.

2.5. Распад на основные ветви — примерно 10 тысяч лет до н. э.; к 7–8 тысячелетию до н. э. уже формируются языки-предки шести основных ветвей.

2.6. Для западной и центральной ветвей реконструируется общая уникальная местоименная парадигма *Z 'я' / *W 'ты'.

3.1. **Афразийская (афроазиатская, уст. семито-хамитская)** макросемья.

3.2. Карл Рихард Лепсиус (автор термина «семито-хамитские», 1860-е годы); Марсель Коэн (первый опыт сравнительного словаря, 1924); И. М. Дьяконов, А. Ю. Милитарёв, О. В. Столбова, В. Э. Орёл и др. (советская/российская школа афразистики, многочисленные работы по реконструкции праафразийской языковой системы).

3.3. *Ядро макросемьи*: (а) семитские языки (аккадский, древнееврейский, арабский, эфиосемитские и др.); (б) древнеегипетский язык;

(в) берберские языки; (г) чадские языки (хауса и др.). *Периферия макросемьи*: (а) кушитские языки (сомали, оромо и др.); (б) омотские языки (вхождение омотских иногда оспаривается).

3.4. Установлены в первом приближении фонетические соответствия, реконструирован значительный лексический корпус (многочисленные исследователи, начиная от М. Коэна и включая отечественных специалистов — И. М. Дьяконов, А. Ю. Милитарёв, О. В. Столбова и др.), проведены лексикостатистические исследования (А. Ю. Милитарёв). Одна из немногочисленных «макросемейных» гипотез, в целом получившая признание мировой лингвистической общественности еще в начале XX века.

3.5. Распад праафразийского языка на первичные ветви («южноафразийскую», куда входят кушитские и, возможно, омотские языки, и «северноафразийскую») уверенно датируется 11–10 тысячелетием до н. э.; крупная «северноафразийская» ветвь начинает разделяться примерно в 8 тысячелетия до н. э.

3.6. «Типично афразийской» является местоименная парадигма *N 'я' / *T 'ты' (с вариантом *N / *K для отдельных ветвей).

4.1. Австрическая макросемья.

4.2. Вильгельм Шмидт (автор термина, 1906; австронезийско-австроазиатские сравнения); Пол Бенедикт (1940-е годы, «австро-тайская» гипотеза о родстве австронезийских и тай-кадайских языков); И. И. Пейрос (многочисленные работы по отдельным ветвям, корпус баз данных; «пробная» модель соответствий в соавторстве с С. А. Старостиным).

4.3. Австро-тайская ветвь: (а) австронезийские языки (тайваньские; малайско-полинезийские); (б) тай-кадайские языки (чжуан-тайские, камсуйские, кадайские и др.). Австро-хмонгская ветвь: (а) австроазиатские языки (мунда, никобарские, мон-кхмерские); (б) хмонг-миенские. *Под вопросом* вхождение айнского языка.

4.4. Гипотеза остается плохо разработанной. Собран первичный, «сырой» корпус лексических сопоставлений. Фонетические соответствия не установлены, за исключением краткого предварительного опыта И. И. Пейроса и С. А. Старостина (не приведшего к выработке полноценной системы). Предварительная лексикостатистика (С. А. Старостин, Г. С. Старостин) опирается на элементы фонетического сходства, а не на

соответствия. В рамках МШК гипотезу можно считать скорее «перспективной», чем «рабочей»; среди западных лингвистов поддержка минимальна (хотя «австро-тайское» родство пользуется определенной благосклонностью среди специалистов).

4.5. Распад как австро-тайской, так и австро-хмонгской ветвей датируется примерно 7–8 тысячелетием до н. э. Возраст их общего предка — «праавстрического» языка, если он действительно существовал, скорее всего, превышает 10–12 тысяч лет.

4.6. Допустима реконструкция местоименной парадигмы *К 'я' / *М 'ты', хотя в чистом виде она встречается редко (см. подробное обсуждение в беседе 9).

5.1. Нигер-кордофанская макросемья.

5.2. Дидрих Вестерманн (исследования по «западносуданским» языкам и их родственным связям с языками банту); Дж. Гринберг (постулирование «нигер-конголезской» и «нигер-кордофанской» гипотез на основе массового сравнения).

5.3. (а) языки бенуэ-конго (банту, бантоидные, платоидные и др.); (б) языки адамава-убанги; (в) атлантические языки (включая волоф, серер, фула и др.); (г) языки манде (включая бамана и др.); (д) языки ква; (е) языки кру; (ж) языки догон; (з) иджоидные языки; (и) кордофанские языки.

5.4. Гипотеза считается общепризнанной, в основном за счет наличия убедительных параллелей в области базисной лексики и грамматики (реконструируемы элементы системы именных классов). Однако четкой реконструкции фонологического инвентаря пранигер-конго пока что не предложено, этимологический корпус (за исключением отдельных, разрозненных сравнений) отсутствует, общий состав семьи остается во многих отношениях спорным и т. д.

5.5. Полноценная лексикостатистическая классификация нигер-кордофанских языков на текущий момент отсутствует. Наиболее крупная семья в составе данной макросемьи (бенуэ-конго) датируется примерно 5–6 тысячелетием до н. э. Судя по сохранности базиснолексических и грамматических элементов, возраст пранигер-конго вряд ли превышает 10 тысяч лет.

5.6. «Типично нигер-кордофанской» следует считать парадигму *M 'я' / *W 'ты' (хотя возможны многочисленные отклонения в отдельных ветвях).

6.1. **Нило-сахарская** макросемья.

6.2. Д. Вестерманн (исследования по «восточносуданским» языкам); Дж. Гринберг (постулировал «нило-сахарскую» гипотезу на основе массового сравнения); М. Лайонел Бендер (многочисленные работы по нило-сахарской реконструкции).

6.3. *Ядро макросемьи*: (а) восточносуданские языки (нубийские, сурмийские, нилотские и др.); (б) центральносуданские языки (мору-мади, сара-бонго-багирми и др.). *Периферийные* группы (родство с «ядром» под большим вопросом): (а) сахарские (включая канури); (б) команские; (в) фур; (г) кулякские и др.

6.4. Гипотеза до сих пор считается «перспективной» (то есть продолжает разрабатываться), но в широких рамках, установленных Гринбергом, данный таксон сегодня почти никем не признается. Работу над установлением фонетических соответствий и реконструкцией этимологического корпуса проводили М. Л. Бендер (с переменным успехом) и К. Эрет (безуспешно). Намного лучше разработаны промежуточные уровни — восточносуданский (Бендер, К. Рильи, Г. С. Старостин) и центральносуданский (П. Бойелдьё и др.).

6.5. Крупные семьи, входящие в состав нило-сахарского массива, датируются «средними» глубинами (восточносуданский — примерно 6 тысячелетие до н. э.; центральносуданский — 5–4 тысячелетие до н. э.). Общий возраст нило-сахарского праязыка неопределим ввиду сомнений в самом существовании этого праязыка, хотя «перспективно» по крайней мере объединение восточно- и центральносуданского таксонов на глубине 9–10 тысяч лет до н. э.

6.6. «Типично нило-сахарской», по крайней мере объединяющей восточно- и центральносуданские языки, можно считать местоименную парадигму *A 'я' / *I 'ты'.

7.1. **Койсанская** макросемья.

7.2. Вильгельм и Доротея Блеек (описательные работы, первичная классификация языков бушменов и готтентотов); Дж. Гринберг («койсанская» гипотеза на основе массового сравнения).

7.3. (а) *периферийно-койсанские* языки: (а) северные (жу); (б) южные (туу или кьви-таа); (б) *центрально-койсанские* языки: (а) кхойкхой (включая нама); (б) калахарские кхой. Родство (а) и (б) допустимо, но также остается под большим вопросом.

7.4. Гипотеза остается непризнанной, но «перспективна» за счет небольшого числа базисных схождений между периферийными и центральными языками, которые удобно объяснять генетическим родством (Г.С. Старостин). Фонетические соответствия между семьями не установлены, полноценный этимологический корпус не реконструирован. Как и в предыдущем случае, промежуточные уровни разработаны лучше (периферийный — Г.С. Старостин, центральный — Р. Фоссен).

7.5. Глоттохронологический возраст «периферийно-койсанской» (наиболее глубокой из всех мало-мальски обоснованных макрогипотез по койсанистике) — от 6 до 8 тысяч лет (распад — от 4 до 6 тысячелетия до н. э.). Более глубокие датировки затруднительны.

7.6. Для «периферийно-койсанских» языков характерна местоименная парадигма *NG 'я' / *A 'ты' (иногда в виде *M / *A), для «центрально-койсанских» — *T 'я' / *A 'ты'.

Метасемьи

8.1. **Америндская** метасемья.

8.2. Эдвард Сепир (многочисленные работы по генетическим связям языковых семей Северной Америки); Дж. Гринберг («америндская» гипотеза на основе массового сравнения); Мерритт Рулен (работа над «этимологическим словарем» америндских языков).

8.3. «Америндский» таксон включает все языковые семьи Америки, за исключением на-дене и эскимосско-алеутской.

8.4. «Америндская» гипотеза Гринберга обоснована исключительно на уровне массового сравнения и не признается ни ведущими американистами, ни представителями МШК. В настоящее время макрокомпаративистические исследования МШК по языкам Америки в основном ведутся в отношении таксономически более мелких единиц — «узко-америндской» (И. И. Пейрос), «берингской» (С. Л. Николаев). В западной амери-

канистике исследования ведутся почти исключительно на уровне мелких семей.

8.5. Глоттохронологическое датирование «америндского» по понятным причинам отсутствует. Внушительный возраст показывают даже отдельные мелкие семьи, например, хока или пен-ути в Калифорнии (от 8 до 10 тысяч лет).

8.6. «Общеамериндская» местоименная парадигма отсутствует, хотя, согласно наблюдениям Сепира и Гринберга, для большого числа языковых семей Северной Америки (и значительно меньшего — Южной) характерна парадигма *N 'я' / *M 'ты'.

9.1. **Индо-тихоокеанская** метасемья.

9.2. Дж. Гринберг, М. Рулен (массовое сравнение языков Новой Гвинеи, Австралии, Тасмании и Андаманских островов).

9.3. (а) тасманийские языки; (б) андаманские языки; (в) все языковые семьи Новой Гвинеи (существуют различные модели классификации). Модель Гринберга не включает языки Австралии, составляющие отдельную семью; на самом деле родство австралийских языков с новогвинейскими допустимо, но остается под вопросом.

9.4. Гипотеза Гринберга подкреплена исключительно данными массового сравнения и существует в лучшем случае как «референтная модель». По предварительным лексикостатистическим подсчетам МШК (И. И. Пейрос), родство большей части новогвинейских языков с языками Австралии «перспективно», но серьезные исследования в этой области невозможны до тех пор, пока не будут существенно уточнены представления о генетических связях между «папуасскими» языками.

9.5. Сколь-либо надежные глоттохронологические датировки по крупным узлам «индо-тихоокеанского» массива отсутствуют.

9.6. «Общеиндотихоокеанская» местоименная парадигма отсутствует; значительный разброс вариантов наблюдается даже между мелкими семьями Новой Гвинеи.

Указатель имен

Азимов А. 8
Алексеев М. Е. 330
Алпатов В. М. 51, 266
Аристотель 63
Ашер Т. 222, 223, 491, 493

Бабаев К. В. 438, 439, 451
Беликов В. И. 57
Бенгтсон Дж. 339, 340, 348, 351, 354–360, 370, 376, 382, 491, 496, 511–512
Бендер М.Л. 440–442, 573
Бенедикт П. 332, 477, 480, 481
Бергсланд К. 167–169
Берес С. 8
Бётлингк О., фон 255–257
Биггс Б. 458
Блажек В. 248, 392, 488, 511, 512
Блеек В. 424, 425, 573
Блеек Д. 424, 425, 573
Бленч Р. 447, 449
Блумфилд Л. 555
Бойелдье П. 451, 573
Бомхард А. 296, 299, 300–308, 318, 370, 569
Бопп Ф. 100, 136, 324, 551
Боуда К. 325, 330, 349
Бругман К. 553
Бурлак С. А. 50, 91, 568
Бэкстер Б. 334

Вайда Э. 376, 377
Вамбери А. 290
Ванг У. 132
Вежбицкая А. 547
Вернер К. 240
Вестерманн Д. 413

Вурм С. 491
Выдрин В. Ф. 451

Гамкрелидзе Т. В. 23
Гасри М. 412, 434, 437, 450, 524
Гелл-Манн М. 8, 464, 466, 511, 525
Гибсон М. 66
Гоген П. 458
Гомер 92
Гранде Б. С. 282
Грегерсен Э. 447
Грей Р. 192
Гринберг Дж. 33, 37, 65, 79, 209, 213–234, 249, 250, 255, 259, 315, 324, 340, 354, 358, 359, 414–421, 425, 432–437, 440–447, 494, 497–502, 511–514, 521–524, 555, 557, 569, 572–575
Гумбольдт В., фон 256

Дарвин Ч. 45
Дельбрюк Б. 553
Демпвольф О. 458, 459
Дёрфер Г. 268, 320
Джонс У. 64, 92, 93, 100, 287, 550
Долгопольский А. Б. 244–247, 264, 265, 283–286, 292, 296–299, 308–314, 318, 387, 388, 392, 408, 535, 535, 559, 569
Доннер К. 325, 330, 349
Дыбо А. В. 9, 118, 253–313, 487, 562, 563
Дыбо В. А. 212, 245–248, 264, 284, 292, 560, 563
Дьяконов И. М. 372–374, 387–289, 408, 564, 570, 572

Живлов М. А. 13, 294

Задорнов М. 51, 281
Зализняк А. А. 245, 510

Иванов Вяч. Вс. 23, 125, 245
Иллич-Свитыч В. М. 37, 40–42, 64, 65, 244–250, 261–266, 269, 270–275, 283–286, 290–310, 313–316, 324, 325, 338, 340, 383, 403, 407, 453, 504, 519, 523, 535, 538, 542, 558–560, 568, 569

Карлгрен Б. 334
Касьян А. С. 317, 360, 374, 382
Кашгарский М. 271, 272
Кёлле С. 410, 413
Кернс Дж. 300
Кибрик А. Е. 327, 346
Киплинг Р. 516

- Клосон Дж. 287, 289, 313
Коган Л. Е. 389, 564
Колдуэлл Р. 258, 259
Коллиндер Б. 263
Колумб 9
Комри Б. 469
Коэн М. 314, 386, 387, 403, 570, 571
Крылов Ф. С. 190
Крысин Л. П. 57
Кэмпбелл Л. 182, 211, 221, 504, 523, 524
- Лабов У. 132
Лепсиус К. Р. 386, 570
Ли Фан-гуй 471
Ливингстон Д. 9
Ллойд Л. 424
- Мазо О. М. 472
Майнгоф К. 412, 413, 450
Макальпин Д. 185, 186
Макеба М. 422
Маркс К. 152
Марр Н. Я. 50, 51, 53, 244, 351
Мейе А. 26, 196
Мёллер Г. 257, 300
Миклухо-Маклай Н. Н. 468
Милитарёв А. Ю. 7–9, 13, 126, 246, 318, 383–408, 416, 526, 532, 564, 570, 571
Миллер Р. Э. 266, 279, 286, 294
Мудрак О. А. 246, 259, 294, 315, 323, 487, 496, 500, 562
Николаев С. Л. 246, 327–330, 337, 338, 359, 360, 368, 378, 490, 496, 498, 499, 500, 525, 570, 574
Николс Дж. 145
Норманская Ю. В. 294
Ньютон И. 39
- Обама Б. 443
Орёл В. Э. 350, 370, 371, 389, 390, 570
Оруэлл Дж. 452
Остгоф Г. 553
Откупщиков Ю. В. 91
- Пауль Г. 553
Педерсен Х. 261, 554
Пейрос И. И. 9, 13, 41, 246, 248, 332, 333, 337, 338, 455–502, 525, 532, 565, 571, 574, 575
Пелльо П. 261

- Петр I 61
Плунгян В. А. 253
Поздняков К. И. 435, 451
Позер У. 211
Покорный Ю. 333
Поливанов Е. Д. 266
Поппе Н. Н. 266, 267, 269, 283, 286, 294
Поппер К. 52
Пуллиблэнк Э. 341, 343
Пушкин А. С. 173
- Райт Г. 396
Рамстедт Г. 261, 266, 294
Рассадин В. И. 272, 286
Реден К. 333
Решетников К. Ю. 294
Рильи К. 441, 442, 573
Риндж Д. 219
Рулен М. 218, 222, 223, 358, 359, 376, 420, 421, 511–517, 520, 521, 574, 575
- Сагар Л. 382, 486, 487
Самарина И. В. 472
Сапковский А. 8
Сатановский Е. Я. 8, 11–13
Сводеш М. 37, 148, 150, 152, 155–157, 161, 163, 165–170, 175–182, 187–189, 192, 193, 207, 308, 317, 358–360, 390, 482, 514, 541, 556
Сежерер Г. 435, 451
Семереньи О. 26
Сепир Э. 325, 349, 357, 358, 497, 555, 574
Серебренников Б. А. 230, 287
Сирк Ю. Х. 456
Соссюр Ф., де 147, 257
Сталин И. В. 51
Старостин Г. С. *passim*
Старостин С. А. *passim*
Стёргевант Э. 319
Столбова О. В. 246, 388–390, 564, 570, 571
Страленберг Ф. Ю., фон 254, 255
Стюарт Дж. 450
Сэндс Б. 428
- Тайлер С. 264
Такач Г. 388
Такер А. 414
Тестелец Я. Г. 330

Толкиен Дж. Р. Р. 66
Траск Л. 352, 354, 355
Тромбетти А. 512–514
Трубецкой Н. С. 54, 328

Уоттерс Д. 494
Услар П. К. 77

Флеминг Г. 441
Фогт Г. 167–169
Форни Дж. 381
Фортескью М. 323, 500
Фоссен Р. 450, 574

Хайду П. 262
Хегедюш И. 248
Хелимский Е. А. 246, 248 294, 306
Хит Дж. 79
Хлебников В. 94
Хокинг С. 14
Хомский Н. 48, 165

Цезарь Ю. 59, 71, 105
Цицерон 71, 105

Чашуле И. 136, 381
Чикобава А. С. 51

Шампольон Ж.-Ф. 385
Шапера И. 418
Шеворошкин В. В. 299, 300, 315, 524
Шлейхер А. 45, 138, 195, 284, 552
Шмидт В. 476
Шмидт И. 138, 139, 481
Шнирельман В. А. 395
Шорто Г. 469

Эйнштейн А. 9, 39
Энрико Дж. 82
Эрет К. 121, 123, 441, 442, 573
Эткинсон К. 192

Яхонтов С.Е. 179

Научное издание

Заказное издание

Георгий Сергеевич Старостин
(при участии А. В. Дыбо,
А. Ю. Милитарёва, И. И. Пейроса)

К истокам языкового разнообразия

*Десять бесед о сравнительно-историческом языкознании
с Е. Я. Сатановским*

Выпускающий редактор *Е. В. Попова*
Редактор *О. В. Черкасова*
Художник *В. П. Коршунов*
Оригинал-макет *О. З. Элов*
Верстка *А. И. Попов*

Подписано в печать 15.04.2015. Формат $70 \times 100 \frac{1}{16}$
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 47,08.
Тираж 1000 экз. Изд. № 1140. Заказ №

Издательский дом «Дело» РАНХиГС
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82
*Коммерческий центр – тел. (495) 433-2510,
(495) 433-2502
www.ranepa.ru
delo@ranepa.ru*